

ШЕДЬИ ПИСЬМА · СТАТЬИ · ФРАГМЕНТЫ

ШЕДЬИ



**ПИСЬМА · СТАТЬИ
ФРАГМЕНТЫ**

ШКОЛЬНИК ПИСЬМА · СТАТЬИ · ФРАГМЕНТЫ

ШКОЛЬНИК

ПИСЬМА · СТАТЬИ
ФРАГМЕНТЫ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



SHELLEY



**LETTERS · ESSAYS
FRAGMENTS**

ШЕЛЛМ



**ПИСЬМА · СТАТЬИ
ФРАГМЕНТЫ**

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ

**З. Е. АЛЕКСАНДРОВА, А. А. ЕЛИСТРАТОВА,
Ю. М. КОНДРАТЬЕВ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА, 1972

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Братинский,
А. Л. Гришунин, Б. Ф. Егоров, А. А. Елистратова, Д. С. Лихачев (председатель),
А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Ф. А. Петровский,
Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов, С. Д. Сказкин, С. Л. Утченко, Г. В. Церетели*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

А. А. ЕЛИСТРАТОВА



ШЕЛЛИ

*Портрет, приписываемый Эдварду Э. Вильямсу.
Акварель.*

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ

1

МИСС КЭТ¹

Филд-плейс,

понедельник, 18 июля 1803

Милая Кэт!

Мы хотим в среду провести день на пруду; и если Вы приедете завтра утром, я буду Вам очень благодарен, а если привезете и Тома к нам ночевать, я буду Вам очень обязан. На пруду мы пообедаем закусками, а часов в девять вернемся домой и поужинаем жареными цыплятами с горошком. Мама надеется, что Вы завтра привезете Тома², а если нет, нам будет очень жаль. Скажите подателю письма, чтобы он не позабыл привезти мне гостинцев, а именно: пряников, сладостей, орехов и бумажник. На этом я кончаю.

Ваш непокорный слуга

П. Б. Шелли

2

ЭДВАРДУ ФЕРГИУСУ ГРЭМУ¹

Филд-плейс,

понедельник, 23 апреля 1810

⊙∇≡ ≡ ? . . . — VOZO ≡ || — . . . ⊔ — .

Дорогой Грэм!

В половине первого повелеваю Вам прохаживаться по аллее возле клэпемской церкви, а когда у дверей миссис Феннинг² остановится почтовая карета, подойдите и, не глядя, кто там сидит, заговорите с пассажирами. Тут сокрыта страшная и загадочная тайна: Ваше имя, Эдвард Фергюс Грэм, Вы смените на Вильям Гроув — готовьтесь же к происшествиям необычайным. Огурец — это важнее, чем Вы думаете; и даже два огурца; а они сейчас чуть ли не по 2 шиллинга 6 пенсов за штуку — по

размыслите-ка над этим!!! Все надлежит выполнить в среду, а если Вы заняты чем-либо иным, то нам с Элизабет нет до этого никакого дела.

Когда б Сатана в преисподню не пал,
То Ад бы тебя поджидал³.

Пошлите два экземпляра «Застропци»⁴ сэру Дж. Дэшвуду на Харли-стрит на имя Ф. Дэшвуда, эсквайра. Один пошлите Рэнсому Морленду для мистера Ченевикса.

Остаюсь
преданный Вам
Перси Б. Шелли

NB — Аллея состоит из растительной субстанции в форме деревьев, именуемых на языке толпы вязами. — Так называет их Элизабет; но все они растут наклонно, точно ветер дал им по уху, — по этому признаку Вы их узнаете. — Ступайте вдоль дороги по направлению к ним — но старайтесь быть незамеченным, ибо моя мать принесет окровавленный стилет и намерена заставить Вас погрузить его в сердце ее врага. Оставляйте без внимания демонов смерти и скелеты, встающие из гниющих гробов, которые могут время от времени представлять Вашим пылающим очам. — Упорствуйте, хотя бы перед Вами разверзлись Ад и погибель. — «Думайте обо всем этом в роковой час полуночи, в час, когда Дух Ада склоняется над Вашим ложем и нашептывает мысли, которые приведут Вас к гибели».

Элизабет Шелли
[Текст приписки написан рукой Шелли]

3

ДЖОНУ ДЖОЗЕФУ СТОКДЕЙЛУ¹

Оксфорд,
Юниверсити колледж,
11 ноября 1810

Сэр!

Прошу Вас достать для меня следующую книгу: трактат на древнееврейском языке², доказывающий ложность христианства. Он упоминается в одном из номеров «Крисчен обсервер» за прошлую весну, где некий священник называет его неопровержимым, хотя и полным софизмом: если он переведен на греческий, латинский или какой-либо из новых европейских языков, прошу прислать его мне.

Ваш покорный слуга
Перси Б. Шелли

4

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ¹Филд-плейс,
20 декабря 1810

Дорогой друг!

Как только стал известен твой адрес, я тебе пишу. Сейчас от меня требуется вся моя ловкость, я вынужден прибегнуть к обману. Мой отец побывал у Стокдейла в Лондоне, тот обратил его в христианство, а тебя назвал последователем деизма. Отец написал мне, и сейчас я окружен опасностями, по сравнению с которыми бесы, осаждавшие святого Антония, были весьма безобидны. — На меня нападают за мои возмутительные убеждения, меня считают отверженным, но я бросаю им вызов и смеюсь над их тщетными усилиями. Со Стокдейлом у меня теперь уже ничего не выйдет. Не знаю, кого и рекомендовать. С[токдейл] очень туп, но боюсь, что он не поверит твоим заверениям, а если и поверит и согласится печатать, то найдется много таких, которые разгадают подлинный смысл твоего сочинения², а книгопродавцы влиятельнее, чем мы думаем, и могут помешать распространению любой книги, где высказаны неугодные им взгляды. Я советовал бы предложить рукопись Уилки и Робинсону³ (на Патерностер-роу) и отнести ее самому; они издают сочинения Годвина; едва ли можно предположить, чтобы кто-нибудь, кроме священника, стал утверждать, что там содержится защита евангельских догм; а если не выйдет, напечатай ее сам; конечно, в Оксфорде было бы удобнее править корректуру — у мистера Манди⁴ не слишком строгие принципы — он больше служит Маммоне, чем богу. — О! как нетерпеливо я жду крушения христианства — оно виновно в моем несчастии; пред алтарем оскорбленной любви⁵ я клянусь отомстить ненавистой причине тех следствий, о которых я не перестаю скорбеть и теперь. — Полагаю, что и для блага общества надо уничтожить догмы, способные разрушать самые драгоценные из его уз. — Если я сейчас признаю себя автором романа, который я подготовил к печати, это может доставить мне неприятности. Поэтому я заявляю, что больше печататься не буду; и все здесь верят этому, кроме немногих посвященных. — Я заколю гадину тайком. — Будем надеяться, что кинжал, хоть и направленный тайно, жестоко уязвит сердце нашего врага. Отец хотел взять меня из колледжа я на это не согласился. — Надо мною бушует страшная буря, но я стою словно бы на вышке маяка и с ликующей улыбкой гляжу, как тщетно бьются внизу волны.

Но довольно о себе. — Твои стихи⁶ мне очень нравятся, главная мысль их прекрасна; однако я надеюсь, что контрасты не были писаны с натуры. — Стихи об умирающем гладиаторе хороши, но кажутся написанными наспех. Я сочиняю сатирическую поэму о L'Infâme⁷, издам ее у Манди, если только не узнаю от тебя, что Робинсон готов печатать все, что может иметь сбыт. В таком случае он мне подойдет. — В Холборне

живет не Вильям Годвин, а Джон⁸. Он ему не родственник. — Что касается Веджвуда⁹, то я, будучи в Лондоне, обратился к нему с деликатным письмом. Он обещал ответить нам, когда найдет для этого время; он, видимо, удивился, что я подписался «преподобный», однако на конверте поставил «преподобному». Он, вероятно, крайне изумлен. Я больше не стану писать епископу Притимену¹⁰, да и другим тоже, разве что по особому случаю. — Христиане не вступают в полемику, аргументы разрушают самые основы их доктрины; они противны вере. Как же можно ожидать, чтобы кто-либо из этих свободомыслящих джентльменов выслушал скептический разбор хотя бы огульной анафемы святого Афанасия¹¹? — И еще нечто я должен тебе сказать и сделаю это в другом письме. — Любовь! Сладостная сила! Сколь многим мы тебе обязаны! Насколько даже причиняемые тобою муки превосходят удовольствия, которые мы получаем из других источников. — Насколько страдания, испытываемые твоими жрецами, выше, чем «сытое невежество, довольное собою». Да, мой друг. Я убедился, что монархия — единственная форма правления (в известном смысле), подходящая для влюбленного. Именно в этом одном необходимо подчинение. Люди равны, и я убежден, что равенство будет неперменным следствием совершенствования общества. Но это — утверждение, а не доказательство — таковое невозможно. Тогда, скажешь ты, позволь мне этому верить, — охотно. — «Сент-Ирвин» выходит из печати. Тебе его пришлют на адрес мистера Дейрела¹²; в Лондоне ты можешь получить экземпляр у Стокдейла, сославшись на меня; себя называть не нужно, и так как фамилии еще не пишутся у нас на фасаде, тебе не грозит, что тебя узнают. Как можешь ты думать, что я считаю тебя безумцем? Раз я сам — не безумнейший из детей вдохновения? — Только один предмет оставляет меня холодным (религия), но эта холодность нужна, чтобы вернее направить копье в грудь противника и обогреть его кровью ненавистного христианства.

Прощай. *Ecrasez l'infâme, écrasez l'impie* *, в каковом деле твой искренний друг поддержит тебя изо всех своих слабых сил. Прощай.

[Письмо не подписано]

5

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Филд-плейс,
3 января 1811

Дорогой друг!

Прежде чем усомниться в существовании чего бы то ни было или же поверить в него, надобно составить себе *мало-мальски* ясное понятие об

* Раздавите гадину, раздавите нечестивицу (франц.).

этом предмете. Слово «бог» было и будет источником бесчисленных заблуждений, покуда его не вычеркнут из философского лексикона. — Оно не имеет значения «души вселенной, мудрого и непременно благого двигателя». В это и я верю; быть может, я не сумею привести доказательств, но думаю, что каждый древесный листок, каждая букашка, которую мы топчем ногой, убедительнее всего доказывает, что вселенной управляет некий могучий разум. Если мы не верим в это, то тут же рушатся самые веские доказательства вечности души. Признаюсь, что строка Попа: «Мы все — лишь части общности огромной»¹ — является для меня чем-то большим, нежели стихотворной строкой; она выражает мои убеждения. Невозможность умереть, невозможность вырваться из холодных оков плоти — вот в какое возмездие за грехи я верую². А наградой должна быть любовь, *безграничная*, бесконечная, но (согласно твоей теории) способная к совершенствованию; однако можно ли считать, что эта награда придет сама собою, вытекая из нашей природы, или же наша природа может, без иной причины, сама быть первопричиной, т. е. богом? — Где видим мы следствие без причины и какие причины не порождают соответственных следствий? — Но тут я клянусь — и за нарушение клятвы да покарают меня Бесконечность и Вечность, — я клянусь, что никогда не примирюсь с христианством! Оно — единственное, к чему я позволяю себе питать мстительные чувства; каждый миг я посвящаю осуществлению этой мести и надеюсь, что она не будет мимолетным ударом, от которого враг тотчас оправится, но местью неутомимой и долгой! Я убежден также, что обществу очень вредит предрассудок, угрожающий нежнейшим и драгоценнейшим из всех уз. О, как бы я хотел быть Антихристом, чтобы самому сразить Демона и сбросить его в родной ему Ад, да так, чтобы он больше не поднялся. — Это ненасытное желание я надеюсь сколько-нибудь утолить Поэзией. Ты увидишь и услышишь — но удар мне уже нанесен, она уже не моя, она меня ненавидит как деиста, а ведь *сама* была тех же взглядов³. О, христианство! Пусть бог (если он есть) поразит меня, если я прошу это последнее, худшее из твоих изуверств. Есть ли большая кара в арсенале мести? Но прости меня, я кончаю и писал только из-за твоего настойчивого желания знать, *почему* я терплю большие муки, чем можно выразить в этом коротком письме. — Боюсь, что в любви есть себялюбие, ибо я всякую минуту чувствую, что у меня словно разрывается душа, но я не хочу, чтобы так было! это себялюбие, — я хотел бы разделять чувства других, а что до меня, о, сколь охотнее я испустил бы дух в борьбе! Впрочем, это было бы облегчением. Можно ли считать самоубийство дурным поступком? Прошлую ночь я положил подле себя заряженный пистолет и яд, но, вот, живу. — В понедельник я не мог прийти, моя сестра⁴ не захотела меня отпустить, но скоро я тебя увижу, должен увидеть. — Сейчас сестра сравнительно счастлива; ее чувства были задеты глубоко; если б не она, если б не сознание всего, чем я обязан ей и тебе, я простился бы

с вами навек. Но, быть может, и мертвые чувствуют, — быть может, в ночь небытия проникает какой-то луч?

Прошу тебя, издай «Леонору». Требуй за нее у Робинсона ⁵ 100 фунтов, он заплатит. Роман прекрасен; не скажу тебе, что мне нравится твоя героиня, но образ бедной Мери достоин небес. Я восхищен им. Прощай, дорогой друг.

Искренне твой

П. Б. Ш.

[P. S.] Веджвуд ⁶ написал мне. Я пришлю его письмо; оно слишком длинно, чтобы на него отвечать.

Я по-прежнему пытаюсь рассеять печаль Элизы, занимая все ее время стихами. Завтра ты увидишь кое-что из них. Не могу сказать, когда сумею приехать в город. Я очень бы этого хотел.

6

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Филд-плейс.
пятница 11 января 1811

Дорогой друг!

Я не стану сейчас подробно рассматривать твои доводы, полученные сегодня утром; оставляю это на завтра; они совершенно совпадают с мнением Элизы, которой я их сообщил; ты убедил ее, хотя за недостатком времени я сегодня не смогу выслушать ее суждения с той подробностью, с какою хотел бы сообщить их тебе. Об этом я напишу тебе завтра, и, если ты разъяснишь некоторые оставшиеся сомнения и рассеешь надежды на способность человека к совершенствованию — как человечества, так и отдельной личности, — я охотно признаю систему, против которой сейчас имею серьезные возражения. Но где мне найти слова, чтобы выразить мою признательность за кротость и великодушие, которое ты проявил к моей сестре; с твоим чувствительным сердцем — обещать то, чего я не вправе был требовать, чего никогда не стал бы требовать, если б не забота о душевном покое дорогой мне сестры. — Прости меня, и поверь: то, чему я по видимости препятствую, является моим задушевным желанием. Когда пришло твое письмо, и сестра немедленно отослала его обратно, каких только доводов я ни приводил, чтобы она воротила слугу. Она осталась глуха ко всем просьбам: «Разум, добродетель, справедливость, — говорит она, — запрещают ей это; страсть еще не заговорила в ней, она слушается доводов разума, не заглушаемых чувствами; да он и разочаровался бы в ней, и очень горько!! Нет, она не станет читать письмо. Но даже я, брат, не сумел понять ее доводов. И я подчинился тому, что должно было причинить жестокую боль. Религия! И тут отразилось твое отдаленное влияние. Что мне сказать о твоём письме к Элизе? Разве оно

не продиктовано самым благородным из всех побуждений? И все же я не показал его ей. Надо ли объяснять, почему? Это единственное, что я скрою облаком тайны, единственное, в чем хочу оставаться одиноким; страдать одному и не делиться своими страданиями — это наверняка не может быть дурно и не противоречит долгу дружбы. Она потеряна для меня навсегда — она замужем, замужем за бездушным истуканом и сама станет столь же бесчувственной, и все ее прекрасные задатки погибнут. Не будем больше говорить об этом. Не лишай меня тех остатков душевного спокойствия, какие я еще сохранил, попытаюсь способствовать счастью других; стихи, которые я тебе послал, не относилась к предмету моего безумного бреда. — Надеюсь, что ты уже издаешь «Леонору». Манди сделает это не хуже другого; если он и не возьмется распространять книгу, то хотя бы напечатает ее, а я берусь распространить 500 экземпляров. — Стокдейл знаком с твоей семьей — *hinc illae lacrimae* * — я попытался сделать из моего отца деиста — *mirabile dictu!***

Он некоторое время выслушивал мои доводы; он признал невозможность (говоря отвлеченно) какого-либо сверхъестественного вмешательства провидения; он признал, что не существует ни ведьм, ни привидений, ни чудес. — Но, когда я попытался применить истины, относительно которых мы с ним пришли к полному согласию, он содрогнулся при одной мысли, что Христос не существовал, и заставил меня замолчать лошадиным аргументом — а именно словами: «Я верю потому, что верю». — Мать считает, что я иду прямой дорогой в ад, и воображает, будто я хочу составить деистическое сообщество из моих малолетних сестер. Тебе в Оксфорде, должно быть, одиноко; мне очень хотелось бы тотчас приехать, но по причинам, о которых я расскажу при встрече, мой приезд откладывается на две недели. Я отдал мистеру Манди поэму, которую намерен издать; там есть строки, написанные Элизой, завтра я напишу; там надо сделать кое-какие добавления, и если Манди намерен издать и скажет тебе, что хочет издать под моей фамилией, скажи ему, чтобы ничего не решал до моего приезда.

[дальше идут стихи сестры Шелли — Элизабет]

Стихи написаны Элизой — у нее есть много других, и я когда-нибудь покажу тебе все. Мне они очень нравятся, если брату позволено хвалить сестру. Напишу тебе завтра.

Любящий тебя

П. Б. Ш.

[P. S.] Можно ли это читать?

* Отсюда эти слезы (лат.).

** Удивительно сказать! (лат.)

7

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Филд-плейс,
16 января 1811

Дорогой друг!

Завтра я тебе напишу. А сегодня у меня едва есть время, чтобы сказать, что я тебя не забываю. Ты пишешь, что нужно величие души, чтобы воспрянуть после такого падения, как мое. О, как мне больно спорить с твоим лестным мнением обо мне. Разве я не знаю себя? Разве не ощущаю жгучей обиды, доходящей до подлинного страдания? Увы! Вместе с Годвином я вынужден сказать, что у человека, в его нынешнем несовершенном состоянии, все побуждения являются смешанными; самые лучшие имеют примесь дурного, в самых худших присутствует нечто доброе. Откуда моя обида? Это не только обида за одного себя, но и не только за ту, которую я потерял. Если бы я знал, если бы был уверен, что страдаю только за Нее, я не упрекал бы себя в том, что муки мои постыдны. Но сейчас, когда я боюсь, когда чувствую, что, помимо меня, к этому примешивается сожаление об утраченном большом счастье, я чувствую также, как это постыдно, унижительно! Прощай! Напишу завтра.

[Письмо не подписано]

8

ТИМОТИ ШЕЛЛИ¹Оксфорд, Университи колледж,
6 февраля 1811

Дорогой отец!

Ваше отличное толкование основ религии мне очень нравится. Мне редко случалось читать столь ясное изложение общепринятых догм. Вы убедительно доказываете, что для людей, вовсе неспособных мыслить, — а таковые составляют значительное большинство даже в цивилизованном обществе — необходима сдерживающая сила *религии пред-рассудков*, т. е. что им лучше держаться веры своих отцов, какова бы она ни была; ибо они не могут выполнять свой долг без некой опоры, а лучше хилая опора, чем никакой. Это — для тех, которым лучше все принимать на веру. Но если существо разумное, вернее, наделенное способностью развития мышления, в своем совершенствовании вырастает из того состояния, когда оно не умело рассуждать и не испытывало в этом потребности, и теперь не только рассуждает, но и проявляет интерес к выводам, которые из этих рассуждений следуют, неужели Вы отказываете ему в праве пользоваться своим разумом и именно там, где это всего важнее для его нынешнего и будущего счастья, — в том важнейшем вопросе, который требует особого напряжения этой отличительной способности Человека? Вы не можете лишать его того, что составляет, или должно составлять, самую его суть, иначе Вы отнимаете у него эту суть и

превращаете из «разумного животного» в «неразумное», лишенное отличительных черт Человека, animal bipes, implume, risibile *. Я перерос упомянутую грань, ибо рассуждаю на эту тему, интересуюсь такими рассуждениями и, добавив их к собственным, мог бы убедительно доказать Вам, что свидетельства двенадцати апостолов недостаточны для подтверждения истинности их учения, не говоря уже о том, каким ненадежным стало это свидетельство после столетий и стольких исторических эпох.

Если бы двенадцать человек сообщили Вам под присягой, что видели в Африке змею длиною в три мили, и утверждали, что эта змея питается одними лишь слонами, тогда как Вам известно, что по всем законам природы такой змее не может хватить слонов, — неужели Вы бы им поверили? Здесь перед нами подобный же случай — и, таким образом, ясно, что мы не можем, если поразмыслить, уверовать в факты, несогласные с общими законами природы; для таких фактов нет достаточных доказательств, вернее, существующие доказательства недостаточны. Я мог бы показать это логически, если Вам угодно или если сказанное не кажется Вам убедительным. — Что касается религиозности Локка, Ньютона и других, я хочу рассказать анекдот о последнем. В Кембридже он держал кур и, сделав для них ящик, оставил в нем большое отверстие для наседки и второе, поменьше, для цыплят. Как это непоследовательно для гения, пытавшегося разгадать механизм вселенной! — Христианские верования Локка сейчас уже не могут нас удивлять, особенно если вспомнить Вольтера, лорда Кеймса², мистера Юма³, Руссо, доктора Адама Смита et mille alios **, которые все были деистами и все — людьми самой строгой нравственности; все они при жизни удостоились величайших похвал и были законодателями в литературе и морали. Истина, какова бы она ни была, никогда еще не причиняла ущерба подлинным интересам человечества; и никогда не бывало в истории более мирных времен, чем те, когда о религии никто не упоминал. Гиббонова⁴ «История упадка и гибели Римской империи» убедительно это доказывает. Я почел нужным изложить Вам мои воззрения, дорогой отец, и объяснить, на чем они основаны, насколько это возможно при столь несовершенном средстве общения, как письмо. — Могу ли я просить, когда у Вас найдется время, сообщить мне Ваши возражения (если таковые еще остались) против моих взглядов. «Религия связывает мыслящего человека теми самыми путями, какими удерживает от бесчинств неразумного». И это — мое главное возражение против нее. Пришествие Христа было объявлено εὐαγγελίον, или благой вестью; однако трудно верить, как может быть благою вестью, обрекающая дьяволу более половины человеческого рода, ибо, по словам святого Афанасия⁵, «кто не верит, тому уготован огонь

* Существо двуногое, неоперенное, наделенное способностью смеяться (лат.).

** И тысячи других (лат.).

вечный». — Словно вера зависит от нашей воли, словно это действие, а не страсть души.

На этом я кончаю письмо, ибо знаю Вашу нелюбовь к длинным письмам и боюсь, что утомил Вас. Каковы бы ни были мои убеждения, остаюсь уважающим и любящим Вас сыном

П. Б. Шелли

9

ЛИ ХАНТУ¹, РЕДАКТОРУ «ЭКЗАМИНЕРА»

Оксфорд, Университи колледж
2 марта 1811

Сэр!

Позвольте мне, не будучи знакомым с Вами лично, от всей души поздравить Вас с победой², столь дорогой свободомыслящим людям; позвольте также предложить Вашему вниманию — Вам, в настоящее время одному из наиболее бесстрашных просветителей общества, — проект, касающийся обеспечения безопасности и взаимопомощи для мужественных ревнителей общественного блага, который, если бы его удалось осуществить, представил бы неоценимые преимущества. Я прилагаю к своему письму обращение к читающей публике, содержащее предложение собраться; если Вы окажете мне честь и рассмотрите мой проект, в него можно внести все изменения, какие Вы сочтете нужными.

Моей конечной целью является *собрать* просвещенных соотечественников, чьи независимые взгляды подвергают их бедствиям; между тем как положение их можно было бы облегчить, составив общество, дабы противостоять коалиции врагов свободы, которая в настоящее время делает всякие выступления по политическим вопросам опасными для отдельных личностей. Именно отсутствие подобных обществ позволило коррупции достигнуть той крайней степени, какую мы ныне наблюдаем; если вспомнить, насколько влиятельным сделался еще недавно *иллюминизм*³, невольно убеждаешься, что предлагаемое общество могло бы доставить делу *разумной свободы* столь же прочное основание, какое получили фантастические планы полного уравнения.

Не будучи знаком с Вами лично, я, тем не менее, обращаюсь к Вам, как к такому же другу *Свободы*, полагая, что в делах столь важных и не терпящих отлагательства этикет не должен быть помехой.

Мой отец является членом парламента, и я, по достижении совершеннолетия, вероятно, займу его освободившееся место. Ввиду ответственности, какую налагает на меня пребывание в университете, я, конечно, не решаюсь публично провозгласить все, что думаю, но придет время, когда все мои силы, пусть ничтожные, будут отданы служению Свободе.

Остаюсь, сэр,

Вашим покорным слугой

П. Б. Шелли

10

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Лондон,
29 марта 1811

Дорогой отец!

Вам, конечно, уже известно о несчастье, постигшем меня и моего друга мистера Хогга¹; я очень огорчен тем, что лишился возможностей, какие мне предоставлял Оксфорд, но еще более я огорчаюсь, когда думаю о той тревоге, которую всегда вызывали у Вас мои заблуждения и неудачи и которую, я боюсь, Вы сейчас ощущаете в сильной степени.

Дело было так. — Вы хорошо знаете, что я перестал верить в Писание не из распушенности, а в результате размышлений. Продолжая размышлять на эту тему, мы с моим другом обнаружили, к нашему удивлению, что (как это ни странно) доказательства бытия божия не являются убедительными. Свои сомнения мы последовательно изложили в сочинении «О необходимости атеизма», думая таким образом получить удовлетворительный или неудовлетворительный ответ от людей, посвятивших себя изучению богословия. И как же к нам отнеслись? Отнюдь не так, как того заслуживало наше честное и открытое поведение. Наши доводы никем не были публично опровергнуты; исключив меня и моего друга, наши противники показали уязвимость своих позиций, и, одновременно, свою закоснелость. Вероятно, необходимо добавить, что сперва подозрения пали на *меня одного*. Меня вызвали в зал Коллегии, и, когда я не согласился отречься от своего сочинения, меня исключили. Мой друг мистер Хогг пожелал непременно разделить мою участь; в результате исключили нас обоих. Я слишком хорошо знаю, что Ваша отзывчивая душа будет тронута моим несчастьем. Я надеюсь облегчить Вашу печаль, сказав, что *мне самому* совершенно безразличен произвол, учиненный над нами в Оксфорде. Прошу Вас передать мой почтительный и нежный поклон матушке и привет Элизабет. Сегодня я им не пишу, но был бы рад получить от них известие. Позвольте обратить Ваше внимание на «Обращение», которое заслуживало *ответа*, а не исключения.

Остаюсь, дорогой отец,

Вашим неизменно любящим и почтительным сыном

Перси Б. Шелли

11

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Поланд-стрит 15,
вторник, утро 9 апреля 1811

Дорогой отец!

Так как Вы изъявили желание узнать о моем решении, от которого зависит будущее Ваше отношение ко мне, я считаю своим долгом — как

ни больно мне оскорбить Ваше чувство долга перед самим собою и семьей и чувства христианина — решительно отвергнуть оба предложения¹, изложенные в Вашем письме, и заявить, что на все подобные предложения я неизменно буду отвечать подобным же отказом.

Признательный за Вашу доброту, любящий и почтительный

Ваш сын

Перси Б. Шелли

12

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

*Поланд-стрит 15,
18 апреля 1811*

Дорогой друг!

Конечно, место здесь уединенное, но никто не бывает совсем один, если всюду с ним — он сам, и я чувствую себя неплохо. Я сочиняю стихи, а так как ложусь спать в 8 часов, время проходит быстрее, чем могло бы. Вчера я получил письмо от Уиттона¹ с приглашением посетить его. Разумеется, я ответил отказом. Я написал, что готов отказаться от всех претензий на родовое имение, если мне дадут² 200 фунтов в год, а остальное разделят между моими сестрами. Конечно, такое предложение отец не отвергнет. Ты говоришь, что в hermitage * лорда Эджкома³ мне не о чем было бы говорить, кроме как о себе самом; да и здесь не о чем, разве только повторять jeux d'esprit ** горничной.

Мистер Пилфолд⁴ написал мне весьма учтивое письмо; моя мать перехватила то, которое было написано к моему отцу; она пишет, чтобы я приезжал, и прислала в письме денег; я их, разумеется, возвратил. Только что меня навестили мисс Вестбрук и ее сестра⁵. Это очень мило с ее стороны. Прощай. Почта отправляется.

Любящий тебя

[Письмо не подписано]

13

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

*Лондон,
среда, 24 апреля 1811*

Дорогой друг!

Ты с удивительной мудростью опровергаешь одно мое рассуждение, о котором я совсем позабыл. Кажется, это нечто весьма самодовольное, если судить по твоим замечаниям. Цветистый и высокопарный язык, го-

* Букв.: хижина отшельника, зд. уединенный домик (франц.).

** Остроты (франц.).

воришь ты. Что же поделаешь, ты видишь меня в самом невыгодном для меня свете; могу только сказать, что я и не думал шутить, ибо это, по твоему мнению, может оказаться не в мою пользу; впрочем, не знаю, так ли это, раз не помню точно, о чем я писал. — Галилеянин¹ не принадлежит к числу моих любимцев. Я не только не благодарен ему, но, должен признаться, втайне имею зуб против его плотничьей милости. Мыслящая часть человечества, та, чьим счастьем мы более всего озабочены, конечно, не нуждается в его нравственном учении, которое там, где отсутствует порок, сковывает добродетель. — Тут мы с тобою согласны — пусть этот несносный Галилеянин правит Canaille*. Я от нее отступаюсь. Я не стану более сочетать политику и добродетель, они несовместимы. — Моя маленькая приятельница Харриет Вестбрук отправилась в свою тюрьму. Она здорова, по крайней мере говорит, что здорова, хотя ее вид свидетельствует об обратном. Я виделся с нею вчера: я побывал с ее сестрой у мисс Х[оукс]² и часа два гулял с ними по клэпемскому лугу; младшая — очень милая девушка, старшая самонадеянна, но весьма снисходительна. В воскресенье я причастился вместе с нею. — Ты говоришь, что я философски отнесся к доброте, которую она проявила, навещая меня. Она очень добра и отзывчива. Я всегда буду думать о ней с благодарностью, ибо не заслужил этого, а она подвергала себя возможному осуждению. — Едва ли я делаю ей добро, а может быть навлекаю на нее несчастье, указывая ей дорогу, на которую она так бесстрашно хочет вступить, — дорогу, ведущую к совершенству, но совершенство это, пожалуй, не возмещает всех тягот пути. А что ты об этом думаешь? Если известное направление мыслей и развитие умственной энергии имеет хоть сколько-нибудь влияния на посмертную жизнь души, если это — нечто большее, нежели простая гипотеза, тогда я, быть может, оказываю ей дурную услугу. Однако куда это я забрался? Кажется, в дебри еще одного несуразного рассуждения. Не стану продолжать, не то, пожалуй, потом позабуду, о чем говорю сейчас, и не сумею должным образом ответить на твою критику.

Нынче утром я был у Джона Гроува³. В коридоре повстречался с моим отцом и учтиво осведомился о его здоровье; он мрачно нахмурился и сказал: «Ваш покорный слуга!» Я низко ему поклонился и, пожелав доброго утра, прошел дальше. Он очень разгневан моими «Предложениями»⁴. Я не имею права отказаться от чего-либо, пока мне не исполнится 21 год, так что еще три года я могу размышлять над предметом, о котором ты пишешь. Скоро я думаю побывать в Филд-плейс. Я жду мистера Пилфолда и отправлюсь туда вместе с ним. Старик решил, чтобы я не жил в Филд-плейс. А я буду, если захочу, во всяком случае некоторое время — об этом моем решении ему сообщили. «Ну, тогда я увезу отсюда его сестру, прежде чем он приедет». — А я за ней последую, ведь не мо-

* Чернью (франц.).

жет же ее местопребывание остаться тайной. Из-за этого мне, вероятно, придется некоторое время скитаться. Но где бы я ни был, я тебе напишу, если все окажется бесполезным, мы увидимся в Йорке или в Элсмире, если ты все еще там будешь. — Тамошние пейзажи наводят грусть. Мне очень жаль, что это так. Я надеялся, что будет как раз наоборот. Можно думать, что Йорк так же скучен, как Оксфорд. Однако там ты не бродил один по горам. Я, должно быть, буду жить у подножья Сноудона. А что, если нам обоим поехать туда теперь же? Не удивляйся, если увидишь меня в Элсмире. Впрочем, удивляйся, потому что это и в самом деле было бы удивительно. — Я почти поправился. Не странно ли, что Флориан⁵ не сделал выводов из своих собственных рассуждений. — Как может надежда на награду делать поступок добрым, когда самая суть добродетели состоит в бескорыстии, — а это признают все, кто хоть что-нибудь знает о добродетели, и признает *он сам*. Как непоследовательна религия! Как она извращает суждения, а в конце концов и ожесточает сердца даже лучших людей, которые ей доверяются! Я хотел бы очутиться в горах вместе с тобой; разве мы не могли бы там жить?

Пиши мне на Поланд-стрит 15. Завтра я напишу в Йорк.

Твой любящий друг

П. Б. Ш.

[P. S.] Твой Брюстер⁶ хуже чем глуп; он выводит меня из терпения. Но есть же кто-нибудь, с кем можно общаться? Ну хотя бы крестьянин, дитя природы, или паук?

И это пишет отшельник, философ! Ты прав, когда надо мной смеешься. Я закончил небольшое стихотворение, одна из строф которого тебе понравилась. В общем это очень глупая вещь, и ты это признаешь, когда я в один прекрасный день обрушу ее на твои ни в чем не повинные уши. Но мне больше нечем позабавиться, а эта забава никому не причиняет вреда, да и противиться ей невозможно. По-моему, не так уже плохо быть безумным. Этот вид безумия ты даже оправдываешь в строфах почти вдохновенных, которые я нынче нашел среди твоих бумаг.

Прощай. Иду обедать к мисс В[естбрук]. Ее отца нет дома. Напишу завтра.

14

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Линкольнс-инн-Филдз,
28 апреля 1811

Я сейчас у Гроува. Не знаю, где я сейчас и где я буду. Будущее, настоящее, прошедшее — все в каком-то тумане, и кажется, будто я начинаю жизнь сначала и при недобрых предзнаменованиях. — Но нет, чепуха. Моя бедная маленькая приятельница¹ была больна, позавчера

вечером ее сестра послала за мной. Она лежала на кушетке, бледная. — Отец ее, как ни странно, учтив со мною, а сестра — даже слишком; она начала говорить о *l'amour* *, я стал философствовать, а младшая сказала, что не может вынести разговоров — так сильно у нее болит голова. Затем сестра ушла, а я просидел с ней до половины первого. У отца ее внизу было много гостей, он звал и меня. Но я отказался. Да! Гнусная гадина будет раздавлена. Харриет станет одним из ее сокрушителей; старшая — тоже, если ее несколько приручить. Обе они очень умны, а младшая (моя приятельница) очень мила. Вчера ей стало лучше, сегодня отец заставил ее вернуться в Клэпем, куда я ее отвез и сейчас возвратился. Стоит нам расстаться, как моя ненависть к христианству вспыхивает с недолимой силой — отчего это? Чувство ли говорит во мне? Или страсть? Я охотно убедил бы себя, что ни то, ни другое; охотно убедил бы себя, что все хорошее, все светлое гибнет под его властью и что я должен неустанно с ним бороться. А ты говоришь, что миллионы дурных людей необходимы для существования немногих, наделенных высокими достоинствами. Но разве это не деспотизм добродетели, противоречащий самой природе добра? Разве это не похоже на азиатского деспота, который опустошает страну, чтобы населить свой сераль? Или на акулу, которая поглощает миллионы рыб, лишь бы жить самой? Я часто говорил, что твоя теология вызывает у меня сомнения, а если из нее следует и такое утверждение, тогда я не просто сомневаюсь, но надеюсь, что мои сомнения имеют под собой твердое основание. Я считаю, что термин «превосходство» плох, раз из него вытекают столь ужасные следствия, и должен быть заменен термином «совершенство»; чтобы каждый стремящийся к нему мог надеяться его достичь, а каждый *мужчина* мог бы способствовать достижению его женщиной, а значит и сам при этом совершенствоваться; правда, подобно тени, бегущей впереди предмета, или спирали, можно вечно приближаться, но не достигать. — Моя сестра² не придет в город, я не вижу к этому никакой возможности. Не стану тебя обманывать, она потеряна, потеряна для всего. Христианство ее испортило; она толкует о боге и Христе — я не утверждал бы этого, если б не был вполне убежден, что это именно так. *Быть может*, она потеряна не безвозвратно, впрочем, увы, это так. Молодая девушка, которая лишь однажды, на краткий час, воспользовалась своим правом свободно мыслить, но воспитана в христианских догмах и имеет перед глазами примеры того, к чему ведет атеизм, или хотя бы скептицизм, — а первый должен ей теперь казаться прямым следствием второго; у которой есть мать, добрая и терпимая, но тоже христианка, — как можно такую девушку освободить из-под власти христианства? Я откровенно высказываю тебе, дорогой друг, все свои мысли и убеждения — вот одно из них. Я не жду, что ты скажешь: «Оно так для тебя мучительно, что ты

* Любви (франц.).

о нем никогда больше не заговоришь»; я не думаю, что ты скажешь: «Лучше пребывать в приятном заблуждении; другу не подобает рассеивать туман, скрывающий страшную правду». Во всех других вопросах ты возвысился над предрассудками, ты исследовал их, не страшась, и решил сделать из этого все выводы. Так ты и поступил. Отчего же должен оставаться вопрос, который ты боишься рассмотреть, — ибо я не позволю тебе говорить о некомпетентности. Заблуждение ни в каком виде не может быть благом, этого я не могу даже представить себе. Ты говоришь, что люди легковверны, склонны к суеверию и всегда были рабами самых низменных заблуждений. Следует ли из этого непременно, что так будет и впредь? Ты говоришь: «Я не представляю себе общества, свободного от ложных понятий почти во всех областях». Разумеется, нет. Точно так же и первый человек на земле, если таковой когда-либо существовал, не представлял бы себе, каково плодородное поле, очищенное от сорняков; он глядел бы на него и считал непригодным, между тем как более тщательное исследование убедило бы его, что оно принесет больше пользы при меньшей затрате труда, нежели бесплодная почва, на которой не растут даже сорняки.

Поможет ли ветер умчаться стремительной ламе³
 Когда, крадучись, алчущий тигр на охоту идет?
 Покинет ли лев свое логово, усеянное костями?
 Спасется ли проворная серна, его обогнав в свой черед?
 Нет! К земле их придавит отчаянья гнет,
 Чудовище их обезволит, и кровь их в пустыне
 Вместе с жизнью прольется в песок и застынет. . .
 И крик их предсмертный подхватят в напевах природы
 Индийские скалы и неба индийского своды!

Но птица, гнездо защищая, бесстрашно умрет
 Среди мертвых песков, когда, жажда кровью упиться,
 Свирепый стервятник низвергнется с горных высот,
 Пощады не знает он, этот крылатый убийца!
 Он жизнь отнимает — как мы — человеческий род,
 Но есть для него оправданье:
 Ведь голод, а не честолюбье приносит страданье
 И смерть его жертве. Не будит он мечь,
 И не увенчает убийцу ни слава, ни честь.

Пусть я лани слабей, уступлю безобиднейшей ламе,
 Пусть мой шаг не похож на прыжки среди круч и высот, —
 Я склоняться хочу над прозрачными родниками,
 Хоть ужасная bestия, тигра свирепей, ползет,
 Смерть неся, безнадежность и гнет, —
 Воцарившись над трупной, угрюмою, смрадной землею,
 И сердца леденя нескончаемым страхом и мглою

И набросив густую, зловещую тень
 На сверкающий красками солнечный день.
 Томимые жаждой, стремятся к источнику люди,
 Их поит, земнородных, небесною влагой струя.
 Они окунаются в волны, мечтая о чуде,
 И гибнут, и гибнут, как я:
 От религии тщетно бегу я, тая,
 К несчастным любовь, что сдавлены, словно тисками,
 Руками церковников, цепкими, злыми руками. . .
 Бегу. А меня настигают. Так что я могу?
 Лишь клясть их бессильно, и горестно пасть на бегу! *

Вот безумные излияния, вырвавшиеся из-под моего пера нынче утром. — До твоего отъезда из Лондона я решил не прибегать к закладу⁴. Я говорил тебе, что поделюсь с сестрами, а все остальное представлю судьбе.

Твой любящий друг
 П. Б. Ш.

15

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Поланд-стрит 15,
 29 апреля 1811

Дорогой друг,

Отец снова свиреп, как лев. На днях он приезжал в город. Джон Гроув виделся с ним и сумел с помощью лести выудить у него обещание выдавать мне 200 ф. в год и предоставить меня *бедственной* судьбе. Сейчас он уехал из города и написал, что отменяет все, что обещал. Немус (это «Гроув» ** по-латыни) льстит ему, как царедворец, и, может быть, снова уговаривает. Он хочет, чтобы я поехал в Оксфорд извиниться перед Гриффитсами¹ и т. д. Разумеется, нет.

Полагаю, что ты сейчас в Йорке. Очень хотел бы к тебе приехать, в особенности потому, что ты, боюсь, слишком много думаешь о вещах, которые лучше предать забвению. Пиши что-нибудь, например, роман, займись чем-нибудь, что *может* тебя увлечь. Позволь *мне* быть твоим доктором Виллисом². Я бы не стал сажать тебя в темную комнату, как грозился сделать в Пьянце; нет, я прописал бы тебе режим, во всем противоположный тому, который советовал тогда.

Ты пишешь, что пейзажи Уэлса *чересчур* красивы. Но почему бы не заинтересоваться ими, почему не развивать в себе вкус к поэзии, которым

* Перевод Б. Н. Лейтина.

** Grove — роща (англ.).

ты уже обладаешь, — это бесполезно было бы отрицать. Я в самом деле хочу приехать в Йорк. И *приеду*, как только сумею; не то, чтобы я боялся утомиться, я уже почти здоров, но хочу уладить денежные дела. Сейчас они у меня в порядке. Помни, что между нами не может быть *денежных счетов*, и, хотя в политике это не годится, ты должен признать, что золотой запас, движимость и пр. у нас с тобой общие. Поэтому напиши, если нуждаешься в наличных; ведь я почти истощил твои запасы, и стыдливость тут неуместна, как у сестер, когда они раздеваются друг перед другом. Наша прекрасная дама говорит, что почта отправляется. А потому прощай.

Любящий тебя П.

[P. S.] Напишу, когда получу что-нибудь от тебя. Это я отправляю в Й[орк].

16

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Лондон,
9 мая 1811

Разве ты забыл, что «законы сочиняются не для людей чести?» Память может тебе изменить, это свойственно людям; но ужасен вывод, который ты делаешь, и я вижу, что ты в этом не признаешься. Есть вещи, в которых нельзя убедиться посредством рассуждения; насчет Ахиллеса и черепахи¹ никто не может меня убедить, хотя бы от меня и требовали в них поверить, потому что это доказано, и против доказательств мне нечего возразить. Я не мирился бы с идеей брака, даже если бы не имел доводов в подтверждение своей антипатии; но мне кажется, что доводы у меня есть. Я начну *à la Фабер*², а как далеко зайду, суди сам. — Твое первое положение, на котором зиждется все остальное, ты и не пытаешься доказать, но основываешь его на общепринятом мнении, против которого возражали лишь немногие личности, особенно блестящие или особенно темные. Вот оно: «Наш долг — подчиняться законам нашей страны». Я это отрицаю. В таком случае добродетель не существует, а если существует, то в столь неопределенном виде, в столь изменчивом облики, меняющемуся смотря по климату, что поступок, считающийся в Англии преступлением, в Алжире оказывается не только простительным, но может быть даже похвальным; каждая река, горная цепь или морской залив являются границами между двумя разными понятиями о долге, а добродетель вынуждена приспособливаться к обоим. В чём состоит истинная добродетель — в побуждении или в следствиях? Конечно, в первом. Чем более человек себялюбив, тем он дальше от добродетели;

доказательство я предоставляю Аристотелю. Быть может, мы возьмем годвинов критерий целесообразности? — О конечно, нет³! Ждать особенно благодетельных последствий от общей реформы, мне кажется, к сожалению, невозможно. Люди в своей массе, в отличие от отдельных примеров добродетели, безнадежно испорчены, — для *них* законы необходимы, это не *люди чести*, они не воспринимают высоких понятий о добре, не способны чувствовать нежность отдельно от себялюбивого желания. Хорошо ли, что из таких людей состоит мир? Разумеется, нет, если бы это можно было исправить, но исправить *нельзя*, и все попытки человеколюбивых реформаторов кончались неудачей. Однако любой, самый малый шаг к этой цели хорош, ибо это шаг к тому, что несущественно, но если бы было существенно, то было бы желательно. Вот почему я возражаю против брака. Это мнение (в том виде, как мы его сейчас обсуждаем) может разделяться всеми, кто хотя бы любит добро. Если бы все могли любить, все были бы счастливы. Это невозможно; но ясно, что чем больше любящих, тем больше счастливых. Так неужели свет может вмещаться, свет, погрязший в себялюбии и низменных страстях из-за неумения мыслить? Неужели он может диктовать законы душам, которые с презрительной усмешкой отвергают его мертвящее влияние, которые спокойно выдерживают бурю предрассудков и счастливы сознанием ἀφιλαντία* своих побуждений? О, нет. Можно ли сравнивать Элоизу с каким-нибудь негодяем? Элоизу, которая отреклась от себя ради другого⁴, с Макхитом⁵, принесшим всех в жертву себе? Их побуждения противоположны, как антиподы, как они сами, как добродетель и порок. Выбери же себе мерило и из него исходи. — Если тебе требуются еще доводы, прочти, ради бога, слова брачного обряда, прежде чем допустить, чтобы любимую женщину подвергли такому унижению. — Но ты предубежден, а я не признаю источника, породившего это убеждение. Это — рыцарство, а я не поклонник рыцарей; их повиновение не было основано на разуме, и если бы мы были странствующими рыцарями, тебе бы пришлось одному потрясать копьём. — А теперь скажи, на что тебе 600 фунтов в год? Вместе с любой милой избранницей ты отлично проживешь на половину этой суммы; поверь мне, это — соображение совершенно второстепенное. — Я, конечно, отвлекаюсь, но неужели Антигона безнравственна⁶? Неужели она поступила дурно, когда благородно попрадала законы общества, подчиненного предрассудкам? Я знаю, у тебя достанет прямотушия признать, что твоя посылка не выдерживает критики. Зато я спешу *целиком с тобой согласиться* в том, что политика и мораль — вещи разные и не могут быть объединены. Завтра я еду в Филд-плейс. Пиши мне туда, пока я снова не подам весть; ибо, если они увезли Элизу⁷, я за ней последую. Тогда мои письма станут интереснее, ибо будут посвящены предмету, который занимает нас обоих. —

* Бескорыстия (греч.).

Да хранит нас небо от разочарования. Обе мисс Вестбрук здоровы; я завязал с ними переписку и надеюсь больше сообщить тебе о старшей.

Любящий тебя

П. Б. Ш.

[P. S.] Пока не дам знать, пиши мне на имя капитана Пилфолда⁸, Кэкфилд, Сассекс.

17

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

*Кэкфилд, дом капитана Пилфолда,
воскресенье, 12 мая 1811*

Твое письмо пришло сегодня утром и застало меня здесь. Странно! Ты ничего не получил от меня, а ведь я, будучи в Лондоне, писал почти ежедневно.

Завтра я еду в Филд-плейс, откуда снова тебе напишу. Напишу также Ф[абери]¹. Несчастный глупец! Его христианская кротость и бесконечное прощение обид забавляют меня; вот *le vrai esprit du Christianisme*^{*}, о котором говорит Гельвеций²; именно его он назвал бы христианином.

Я живу у дяди³; это очень сердечный человек; он отнесся ко мне весьма великодушно, а я в благодарность просвещаю его. Вчера у нас обедал врач по фамилии Дж.⁴ — человек фанатически религиозный; капитан, еще не остывший после чтения «Необходимости атеизма»⁵, схватился с ним; и доктор ушел от нас потрясенный.

До этого письма ты, наверное, получишь еще хоть часть моих писем. Надеюсь, что ты будешь писать часто; будешь получать отчеты о Филд-плейс, куда отныне прошу адресовать письма. Я получил твоё прелестное стихотворение; я, кажется, не подтвердил его получение, но от этого оно нравится мне не меньше. Сюжет его печален, зачем ты продолжаешь об этом думать? Но ты говоришь: «Поэзии так же нужна печаль, как жизни — дыхание; ибо Музы — дочери Памяти, а значит Печали». От старшей мисс Вестбрук я сегодня получил письмо; она выигрывает при ближайшем знакомстве; а может быть, это только кажется по контрасту с окружающим безразличием и нравственным упадком? Впрочем, все достоинства относительны и выявляются только сравнением; следовательно, я прав. Младшая находится в темнице⁶; в ней есть нечто более благородное, хотя она менее развита, чем сестра, — этот алмаз крупнее, но не так отшлифован. Прекрасно ее безразличие и презрение к предрассудкам среды. Но, быть может, старшей просто не представлялось случая? Признаюсь, я не способен, подобно тебе, судить о достоинствах жен-

* Истинный дух христианства (франц.).

щины — по отпечатку ножки, складкам одежды и т. п., но, может быть, этой меркой можно мерить только *ангелов*, а не смертных.

Зачем ты хвалишь «Сент-Ирвин»? Я никогда не читал делилевского романа, а вот с моего, должно быть, был пла...⁷

Прощай. Дорогой друг, я твой навек. Завтра напишу. Спешу кончить.

Любящий тебя

П. Б. Шелли

18

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Филд-плэйс.
14 мая 1811

Дорогой друг!

Пишу тебе уже отсюда. Я *наконец* добрался до места назначения. Знаю, что ты с нетерпением этого ждешь. Сестру я застал больной, у нее *скарлатина*, которая, по-моему, затянулась из-за невежества здешних врачей; сейчас ей гораздо лучше, но горло еще болит, так что она едва может говорить. Подробнее напишу в следующем письме. Признаюсь, что к моему огорчению примешалось удовольствие, когда я узнал, что она не писала мне из-за болезни. — С отцом мы договорились; условия я нахожу очень хорошими. Я буду получать 200 фунтов в год. На это я отлично смогу жить, каков бы ни был присланный тобой совет адвоката. В выборе места жительства мне предоставлена свобода; излишне говорить, что именно я выберу. *Когда же ты приедешь в Лондон* — через год, через полгода или четыре месяца? *Фаберу* напишу сегодня; можешь положиться на мое красноречие. — *Общее сочинение*¹, о котором ты писал, будет очень странным, ничего более странного не могу себе представить. Попробуй — напиши. Я *наверняка* не сумел бы. Единственное, что до сих пор написано в этом роде, это — «Исповедь» Руссо²; это или позор для исповедующегося или сплошная ложь — вероятно, второе. Свет сказал бы то же самое о нашем творении, и я не мог бы его за это осудить; ибо сообщаемые факты оценивают по их правдоподобию, а оригинальность должна быть неправдоподобна, иначе она не была бы оригинальна; не думаю также, чтобы свету часто приходилось встречать у двух молодых людей подобные доводы, подобные заключения и столь странные критерии рассуждений. Последние — всего страннее. — Как подвигается «*Леонора*»? Ты о ней ничего не пишешь. От *Манди* не могу получить ответа. — Боятся они, что ли? — Я полагал, что *абингдонский издатель*³ слишком глуп; пусть хоть один ханжа докажет, что книга — против христианства. Если утверждение самого автора в его книге считается выражением его намерений, то книга поддерживает христианство. *Большого ты сделать не мог.* Что касается *моей*⁴, то ее печатать невозможно; она не лучше *Nécessité*⁵

* Необходимости (франц.).

и против нее наверняка возбудили бы дело. — Сейчас эта опасность миновала. Да и вообще это были только слухи. — А теперь приведу тебе пример самого отъявленного лицемерия, какое я когда-либо встречал. — Один мой родич⁶ гулял с моим дядюшкой⁷ (который, кстати, отлично уладил мои дела). И вот сей христианин говорит: «сказать по правде, — я — атеист». — «Нет, — думает капитан, — старого воробья на мякине не проведешь». — «В самом деле?» — холодно спрашивает он, и больше от него ничего не удалось добиться. Рассказываю это так, как слышал от капитана. Неужели это существо, неспособное мыслить, действительно убеждено в том, к чему мы пришли путем логических рассуждений? Если так, то это — позор для разума, и наше дело, к сожалению, от этого лишь проигрывает. Но он никакой не «ист», и ему не знакомы никакие «измы», кроме чванизма и неразумизма. Отец запретил мне общаться с моей сестрой, но капитан его урезонил; все же он старается мешать мне в этом, как только может, но может очень мало. Моя мать очень рассудительна, она говорит: «Молитвы и благодарения по-моему бесполезны. Хорошему человеку, будь он атеист или христианин, будет хорошо везде, где нам суждено быть после смерти». Это я считаю широким взглядом. Скоро напишу тебе еще — сейчас пишу Фаберу. Я знаю, что ты извинишь длинное письмо, так как я прочту его Элизе.

Твой неизменно любящий друг

[Письмо не подписано]

19

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР¹

Филд-плейс (Хоршем),
5 июня 1811

Сударыня!

Я просил, чтобы Вам прислали из Лондона сочинения Локка; две книги Вам вручит капитан: «Проклятие Кехамы»² и «Народное Просвещение» Энсора³. Это последнее — сочинение весьма умного человека. Поэтому Вы можете читать сколько пожелаете, а вторая книга понадобится мне через месяц-другой, впрочем, я еще до этого буду иметь удовольствие увидеться с Вами. Боюсь, что наши споры слишком длительны и откровенны, чтобы это хорошо получалось на бумаге. Чувства, запечатленные черным по белому, выглядят не так хорошо, как рассуждения. Однако если бы Вы, будучи тверды в вере, попытались меня обратить, поверьте, что я охотно подвергся бы этой опасности. Но я знаю, что Вы, подобно мне, молитесь алтарю Истины. Истина — вот мое божество, все равно, будет ли это воздух, вода, земля или электричество; но и Ваше, я полагаю, может быть сведено к тому же простому принципу Божественного. Говоря серьезно: если Вы очень — или хоть сколько-нибудь — расходитесь со мной в вопросах, о которых мы недавно с Вами спорили, то

единственным моим возражением против полемики в письмах является боязнь, что Ваше время заслуживает лучшего применения; что до моего, то оно ничем не занято. Вальтер Скотт выпустил в свет новую поэму — «Видение дона Родерика»⁴. Я уже заказал ее. Вы получите ее, как только я прочту. Я не принадлежу к восторженным почитателям Вальтера Скотта. Аристократический тон его писаний не располагает меня в его пользу, ибо я считаю, что поэтические красоты должны подчиняться нравственной цели... что язык образов должен быть приятным средством наставления в вещах полезных и важных. Но о поэзии прочтите лучше у Энсора.

Прощайте.

Искренне Ваш
Перси Шелли

20

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Филд-плейс,
19 июня 1811

Я писал тебе в воскресенье. Ты прав, говоря, что я буйствовал, — я был безумен; ты знаешь, как мало нужно для того, чтобы я безобразно захмелел. Я выпил бокала два вина, поддавшись уговорам матери, и начал безумствовать. Чтобы успокоить меня, она дала мне перьев, чернил и бумаги. Я написал тебе. Она [Элиза] действительно тебя недостойна. Не доверяйся слишком ее стихам. У мисс Филипс вдвое больше таланта — и более нежное сердце, — если оно доказывается способностью растрогать, ты не станешь этого отрицать. Но ты так предубежден.

Я живу совершенным отшельником; не с кем слова сказать. Иногда обмениваюсь с матерью двумя фразами о погоде — предмет, где она необычайно красноречива, — и снова воцаряется молчание. Я брожу по усадьбе и по парку без всякой цели. Не могу писать — разве что иногда тебе, а иногда мисс Вестбрук — рука начинает спешить, а я устаю, и мне становится скучно. Единственное, что заинтересовало меня, не считая твоих писем, это — книга «Миссионер, индейская повесть» мисс Оуэнсон¹. Прочти; это поистине прекрасно. Индианка Луксима — настоящий ангел. Как жаль, что мы не можем облечь плотью эти создания воображения; самая мысль о них вызывает в душе трепет. Прочтя эту книгу, я не читаю других — но много думаю.

Посылаю тебе нечто причудливое и сумбурное, сочиненное мною вчера, при полночной луне.

Сладчайшая звезда! Ты льешь сиянье²
Сквозь пряди облаков на темный мир.
Гладь озера, вечерний сбросив полог,
Сверкает блестками, нам озарив

Часы святой любви, что слаще сердцу,
 Чем бледный пламень меркнувшей луны.
 Сладчайшая звезда! Когда, поникнув,
 Природа спит, стихает все кругом,
 И только нежный говор вперемежку
 С благим дыханьем западного ветра
 Нашептывает в уши тишины,
 Что ты — любовь, что, сострадав взглядом,
 Ты убаюкиваешь слуг наживы, —
 О, в этот час глядеть бы неотступно
 Мне на тебя, пока не ослабеют
 Тиски тревог. . .

Долго ль длится упованье? ³
 Юный, будь всегда готов
 Воспринять любви страданье —
 В дивной колкости шипов.
 Да — молвит юность — он жесток,
 Но, жар неся предсмертной данью,
 Он мой — пурпуровый цветок!
 Фантазии нам дорог дар,
 Хоть рано блекнет он.
 Небесной розы сладок жар,
 Хоть на земле рожден.
 Как листья, что отцвели,
 Пав на землю, — млад и стар,
 Спите вы, рабы земли.
 Годам не оборвать любви —
 Ее растопчет шаг измены.
 Тогда обратно не зови:
 Обрушатся беседок стены.
 Годам не оборвать любви,
 А козни гасят и в гробнице
 Сполох любви, ее зарницы.

Мне уже слышится, как ты восклицаешь: *Ohe! jam satis dementiae* *.
 Я четыре дня думаю о смерти и Небе. Что же такое это последнее? —
 Не отправиться ли нам туда, и есть ли загробная жизнь? И кому будет
 вред от нашего ухода? И не будет ли кое-кому польза? Прошлой ночью,
 глядя из беседки на луну, прятывшуюся за одну из печных труб, я ду-
 мал, не единственный ли она свидетель нашего ухода. — Но я так не
 говорю и даже не думаю; когда мы вместе, я едва решаюсь — но сейчас
 все же решаюсь. Увидимся через три недели. Я буду в Йорке по дороге

* Увы! Уже достаточно безумия (лат.).

в Уэлс, куда, быть может, и не поеду — но, как бы то ни было, ты меня увидишь. Думаю отправиться пешком.

Человек с почты ждет. Прощай.

Любящий тебя
[Письмо не подписано]

[P. S.] Напишу тебе в понедельник.

21

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Филд-плейс,
воскресенье, 23 июня 1811

Дорогой друг,

Наконец-то ты рассуждаешь разумно. Безумие я могу оправдать, ибо сам часто бываю безумен; но мне приятнее воздавать заслуженную похвалу разуму, особенно, когда его проявляют в трудных обстоятельствах. А твое сегодняшнее письмо содержит очень много разумного. Ты уже не считаешь огульно всякий скептицизм *кощунством*, ты согласен, что все человеческое может быть несовершенным. Ты признаешь это неохотно, ибо слишком сильны чувства, которые вызывали у тебя люди. Ты прав; ты поступаешь разумно. Я рад, что ты решил мыслить самостоятельно. Я рад, что ты наконец установил критерий, которым будешь руководствоваться в этой необъятной проблеме.

Приезжай же, дорогой друг; я буду *поистине* счастлив разделить с тобой мой маленький кабинет; счастлив, что ты приедешь с целью, которая, возможно, вернет мне душевный покой. В доме две комнаты, целиком отданные в мое распоряжение, сестра не войдет сюда, и никто другой тоже; здесь ты будешь жить со мной. Тебе придется спать на матрасе, и ты будешь в заключении, как государственный преступник. Выходить будешь только в полночь, вместе со мной, чтобы тебя не обнаружили. Мое окно смотрит на лужайку, где ты часто сможешь видеть то, ради чего стоит приехать, — предмет твоих нежных чувств¹. Время и удобный случай сделают то, чего сейчас не удастся достичь уговорами, — помогут тебе снискать ее расположение. Я считаю, что больше на эту тему писать не должен, мы поговорим при встрече.

Не обременяй себя багажом; у меня найдется для тебя сколько угодно чистого белья.

Из Йорка в Лондон ты доедешь в почтовой карете, а оттуда в Хоршем — местным дилижансом; там в полночь я тебя встречу и проведу в свою комнату.

Приезжай, прошу тебя; в Йорк мы вернемся вместе. Я настаиваю, чтобы ты приехал. Буду ждать.

Любящий тебя
[Письмо не подписано]

22

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Кум Элан, Райадер,
Радноршир, Южный Уэлс,
13 июля 1811

Сударыня!

Ваше письмо только что получено мною, вернее, только что вручено мне, после того как я оправился от непродолжительного, но сильного нервного заболевания. Оно было вызвано несколькими бессонными ночами и днями спешной и усиленной работы; ничто другое не помешало бы мне посетить Вас в городе; но мои занятия были из тех, что не терпят отлагательства или отдыха; каким бы я ни считал себя стойким, но, пока бременное тело сковывает наши духовные силы, оно по временам подчиняет их себе и напоминает нам, притом внушительно, насколько душа и тело зависят друг от друга. Но вот, наконец, я пишу Вам; удовольствие встречи с Вами я должен отложить до моего возвращения в Сассекс, но тешу себя надеждой, что это не относится к нашей переписке. Я надеюсь, что стою выше светского этикета; если нет, то, значит, противоречу собственным заявлениям: отваживаясь быть свободным, обрекаю себя на ярмо. Но нет, я не таков, и когда я пишу: «удовольствие переписываться с Вами» — это значит, что мысли, обозначаемые этими словами, действительно в них присутствуют.

Читали ли Вы в газетах отчет о суде над неким негодяем из Тортолы¹, убившим своего раба? Если нет, прочтите; и обратите внимание на то, что он сказал присяжным: «У меня есть надлежащие религиозные чувства, и я не боюсь». Жестокость этого человека могла бы заставить Нерона возгордиться своим человеколюбием, а он, видите ли, «не боится». Неужели это мерило настолько вытеснило подлинную нравственность, что негодяй, убив человека, ликует, подобно Бруту? Это учит нас двум вещам: что религия развращает людей и что Бруту суждено ликовать вечно, а тирану нет. Недавно я прочел у французского писателя Гельвеция следующие отличные строки²: «Способы молиться различны и, следовательно, созданы человеком, тогда как нравственность повсюду одинакова и поэтому является творением бога». Только я бы сказал: является *Нравственностью*, которую я считаю синонимом действительного божества. — Пейзажи Уэлса необычайно величавы; утесы, громоздящиеся один на другой на огромную высоту, реки, сбегаящие водопадами с их уступов, долины, поросшие лесом, создают волшебную картину. — Но отчего они чаруют нас, отчего восхищают больше, нежели вид равнины? Чувство это не может быть врожденным, значит, оно приобретено? — Так познание уничтожает удовольствие, невольно возникающее у нас при попытке удержать мимолетное видение — летучее, почти как эфир химика, оно исчезает перед нашим взглядом; оно бежит ото всех, за исключением рабов страсти и нездоровой чувствительности, не способных подвергнуть чувство анализу. Расскажите Вам происше-

ствии, которое меня поразило; единственное приключение, какое меня здесь встретило: окно мое находится над кухней, утром я распахнул его и кончал одеваться, когда услышал: «Светлым именем милосердия». Слова эти были произнесены так, что, обернувшись, я с удивлением убедился, что они принадлежат старому нищему, которому слуга тотчас вынес немного пищи. Я сбежал вниз и подал ему кое-что. Он, казалось, был мне признателен. Я хотел вступить с ним в разговор — но напрасно. Я шел за ним целую милю, задавая бесчисленные вопросы. Наконец, я с ним расстался, убедившись, после следующих его слов, что настаивать бесполезно: «Вижу по Вашей одежде, что Вы человек богатый. А богатые несчетное число раз обижали меня и всех моих. У Вас, как видно, хорошие намерения, но не могу им верить, пока Вы живете в таком доме и носите такую одежду. Будьте милосердны и оставьте меня».

А теперь прощайте.

Искренне ваш

Перси Шелли

23

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Кум Элан, Райадер,
около 3 августа 1811

Дорогой друг,

Быть может, мы увидимся прежде, чем ты ответишь на это письмо, а может быть и нет. Бог знает! Я наверняка приеду в Йорк, но сейчас или через 3 недели — это решит Харриет Вестбрук¹. Отец притесняет ее самым ужасным образом и хочет принудить вернуться в школу. Она спросила у меня совета. Я посоветовал сопротивляться и одновременно попытался смягчить старого В[естбрука], но тщетно! В результате она отдалась под мое покровительство! В понедельник я еду в Лондон. Как лестно меня отличили! Я думаю о тысячах вещей одновременно. То, что я наговорил, было, пожалуй, нелепо. Я посоветовал ей сопротивляться — она написала, что сопротивление бесполезно, но что она готова бежать со мной и отдается под мое покровительство. У нас будет 200 фунтов в год; когда окажется, что этого не хватает, нам, очевидно, придется жить любовью. Признательность и восхищение требуют, чтобы я полюбил навеки. Мы увидимся с тобой в Йорке. Я выслушаю твои доводы в пользу брака, которые меня уже почти убедили. Думаю, что в Йорке сумею найти квартиру. Пиши мне на имя [Эдварда] Грэма², Сэквил-стрит 18, Пикадилли.

Получил твое письмо с вложением 10 фунтов. Теперь я должен тебе 30 фунтов. Философия философией, но мне несколько стыдно, что я столь бесцеремонно черпаю из твоих денежных источников; но, дорогой друг, признательность, которую я питаю к тебе за твое общество и твою при-

вязанность, так велика, что об этом можно бы и не говорить; однако я должен с тобой расплатиться, когда смогу.

Думаю, что дух этого письма должен убедить тебя, что я в духе. Но я думаю сразу о тысячах вещей. Приеду и поселюсь вблизи тебя под именем «мистера Пейтона» и твоего преданного друга

П. Б. Ш.

[P. S.] Я побываю на Сэквил-стрит, во всяком случае, пиши мне туда. Не посылай больше денег. В Лондоне я достану un peu*.

24

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Лондон,
10 августа 1811

Сударыня!

По-видимому, в Кум Элан меня ждет письмо. — Я его еще не получил. Мое внезапное возвращение было вызвано важными делами. Завтра я буду в Филд-плейс и, вероятно, увижусь с Вами еще до сентября. Мои дела помешали мне уделить много времени теме наших бесед. . . Я вижу здесь дворцы, где какой-нибудь тридцатой части довольно, чтобы удовлетворить все потребности изнеженных хозяев. . . Вижу театры, из училищ нравственности превратившиеся в места, где учат забвению всех нравственных принципов, а надменный аристократ и коммерсант-монополист сообща узаконивают собственным примером развращенность, которую последний породил, ввозя к нам предметы роскоши. — Все монополии являются злом. . . Клеймя обогащение коммерсанта, я не считаю, что должен поэтому восхвалять богатство наследственное. Оба они являются наглым вызовом свободе. Ни одно не может быть противоядием от другого. Если взять даже лучшего из аристократов — взгляните на наших вельмож, полистайте «Придворный Календарь», послушайте, что говорят о них даже свет, который благожелателен к великим. Самые хвалы, которые он им расточает, являются оскорблением разуму. Да, возьмем даже лучшего из аристократов. Он владеет большим домом, золотой посудой, роскошной одеждой; даже слуги у него разряжены. — Чем же одна монополия отличается от другой? Скарденный герцог от того скареда, что меряет шагами портал Биржи? Однажды признав, что общество, основанное на равенстве (если оно достижимо), лучше всякого другого, мы неизбежно приходим к признанию нелепости самого существования аристократии. А умственное неравенство не может быть уничтожено, пока не достигнуто совершенство нравственное — тогда изгладятся все различия.

Искренне Ваш
П. Б. Ш е л л и

* Немного (франц.).

25

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Эдинбург,
27 сентября 1811

Дорогой отец!

Вы не удостоили ответом ни одно из моих писем, хотя их содержание было таково, что требовалось, по крайней мере, подтвердить их получение. Я не могу долее притворяться, будто не понимаю причины Вашего молчания; не могу также не высказаться относительно этой причины. Я это уже сделал в своем последнем письме, вполне почтительно, так что у Вас нет оснований обижаться, тем более, что Вы действительно заняли ту позицию, какой я опасался. Я женился — об этом Вы не имеете права сожалеть. Истинный отец должен желать, чтобы сын честно устроил свою жизнь, а Вы не осмелитесь назвать иначе мое нынешнее положение; оно санкционировано законами моей страны, оно предписано также и религией, которую Вы исповедуете: я осуществил свои гражданские права, узаконив свое положение. Я не преступил ни обычаев, ни приличий, ни даже общепринятых религиозных обязанностей. В этом отношении мое поведение окажется безупречным перед самым строгим судом. Я полагаю, что не найдется никого, кто решился бы, наперекор очевидности, утверждать, что я совершил нечто преступное. Если я не спросил Вашего совета, то потому, что Вы не смогли бы войти в мое положение. Каким бы мудрым судьей Вы ни были в других случаях, Вы, надеюсь, не претендуете на непогрешимость суждений или безошибочность интуиции; было бы почти невозможно предвидеть Ваше мнение о выборе другого человека, особенно если его вкусы вообще составляют полную противоположность Вашим. — Допустим, однако, что я оскорбил Вас; допустим, что я преднамеренно Вас огорчил, и для моей вины нет никаких смягчающих обстоятельств. Но разве Вы не христианин, отец? Если уже поздно взывать к Вашей отцовской любви, я обращаюсь к Вашему долгу перед богом, которому Вы молитесь, к тому страшному дню, когда, согласно Вашим верованиям, решится судьба смертных, кои обретут тогда бессмертие, — отец, разве Вы не христианин? Так не судите же, да не судимы будете¹. Помните, что христианство учит прощать обиды; и если бы даже мое преступление было чернее, чем отцеубийство, то и тогда прощение было бы Вашим долгом. Как! Неужели Вы не простите? Какими же предстанут людям христианские правила, которыми Вы похваляетесь? Ведь если Вы не прощаете, то не можете быть христианином; лицемерно притворяясь христианином, Вы оказываетесь ниже безнравственного атеиста; ибо атеист нравственный осуществил бы на деле то, что Вы проповедуете, и мирно даровал бы виновному то прощение, на которое Вы не способны, при всей Вашей похвальбе.

Простите же! И покажите мне, что проповедь не расходится у Вас с делом; вернее, покажите это людям — если уж Вы не боитесь божьего суда, то этот трибунал наверняка будет Вас судить. — Я не совершил ни-

чего такого, что не было бы естественно и законно. У молодежи подобные свадьбы увозом — вещь обычная, а неумолимые отцы в наше время встречаются только в устарелых фарсах, да в глупых романах; быть может, Вы хотите ввести их в моду, но я надеюсь, что свет, вместо того чтобы подражать Вам, посмеется над Вами.

Однако под прощением я не разумею пустой формальности, когда ограничиваются одним словом «прощаю» и на этом кончают, как бы исполнив свой долг. Не тому учил Иисус Христос. Вы должны сотворить плоды, достойные покаяния². Вы должны отнестись ко мне как к сыну, и по всем законам человеческим излишек Ваших достатков должен быть употреблен на мое содержание. Этого я имею право ожидать.

Мои слова могут показаться суровыми, но их вызывает только Ваша неумолимость. Нет более почтительного сына, чем я, и все сказанное выше выражает мое мнение лишь в том случае, если Вам изменит доброта, которая до сих пор всегда Вас отличала. Прощайте. Кланяюсь матушке, сестрам и всем домашним.

Остаюсь любящим Вас сыном
П. Б. Шелли

Будьте добры немедленно выслать 50 фунтов — мое содержание за три месяца — на Эдинбургский почтамт.

26

СЭРУ БИШИ ШЕЛЛИ¹

Йорк, Нони-стрит, дом мисс Дансер,
13 октября 1811

Сэр!

Простите, что я, никогда ранее Вам не писавший, обращаюсь к Вашей доброте сейчас, когда оказался в беде. Я утратил — и считаю, что утратил незаслуженно — расположение отца за то, что женился по собственному выбору. А ведь если есть что-либо важное для счастья, так именно это; и, разумеется, тот, кого дело касается больше всего, имеет и больше всего прав его решать. Послушание в подобных случаях неуместно, ибо нравственность не может быть не чем иным, как только путем к наивысшему счастью; и когда высказывается мнение, противоречащее этому основному принципу, разум вправе подвергнуть его сомнению. Я привик откровенно высказывать свои убеждения; это навлекло на меня немало бед, но из-за этого я не перестал говорить то, что думаю. Язык нам дан для того, чтобы выражать наши мысли, — а кто стремится сковать его, те — ИЗУВЕРЫ и ТИРАНЫ; они-то и свергли меня в бедствия. От Вашей справедливости и великодушия я жду правильного истолкования того, что облеченные властью люди могут назвать дерзостью. Между тем у меня ее нет и в мыс-

лах. Я пишу правдиво и искренне. Если Вы пришлете немного денег, чтобы помочь мне и моей жене (а я знаю, что Вы великодушны), я не только стану чтить Вас как деда, но и любить как своего избавителя.

Прощайте.

С почтением
Перси Биши Шелли

27

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Йорк,
15 октября 1811

Дорогой отец!

Вы, очевидно, писали мистеру Хоггу-старшему. Я не знаю содержания Вашего письма, но, судя по некоторым неприятным результатам, Вы написали в нем нечто такое, что восстановило против меня семью моего друга. Это — низкий, подлый и презренный способ преследования; мало того, что Вы лишили меня средств к существованию (а Вы мне их прямо и *недвусмысленно* обещали); Вы еще пользуетесь родством, которое делает меня беззащитным против Вас, чтобы *клеветать* на меня. Неужели Вы забыли, что такое клевета? Неужели память Ваша *так слаба*, что Вы не помните, какая опасность грозила Вам за отзыв о книгопродавце Стокдейле? Но к законам страны, защищающим от Вас других людей, я не могу прибегнуть. Вы поступили со мной *гнузно*. Когда меня исключили за атеизм, Вы сказали, что лучше бы я погиб в Испании. Такое пожелание очень похоже на убийство; на мое счастье, убийство карается английскими законами, а *трусы* этого страшатся. Я постараюсь как можно скорее встретиться с Вами; если *Вы* не хотите слышать моего имени, я буду повторять его. Не думайте, что я — червь, раздавленный несчастьем. Будь у меня достаточно денег, я бы встречал Вас в Лондоне и кричал Вам в самое ухо: «Биши, Биши, Биши», да, «Биши», пока Вы не оглохли бы.

[Письмо не подписано]

28

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Йорк,
среда, 16 октября 1811

Я пишу Вам сегодня, ибо на такое письмо, как Ваше, нельзя не ответить немедленно, горячо и, добавлю также, благодарно. Но уже в пятницу вечером (18) я буду в Кэкфилде. Дорогой друг (ибо так я буду называть Вас), *Вас*, которая понимает мои побуждения, смею думать, созвучные Вашим собственным, — *Вас*, которая презирает светские предрассудки и раз-

деляет мои взгляды, я *люблю*; и не боюсь низменного толкования этого священного слова, не боюсь предположения, что моя любовь обращена на комок организованной материи, в которую облечена *твоя душа*, а не на душу, которая одна лишь и достойна такой любви. Отныне я Ваш — искренне и безусловно. У меня не будет мысли, которая не искала бы отзвука в Вашем сердце, не будет порыва, которого я не позволил бы остудить Вашему более трезвому разуму; решив так, разве не избираю я арбитра более непогрешимого, нежели собственное мое сознание добра и зла (хотя и от него не следует отказываться)¹, ибо что же может быть ужасней для честного ума, чем столкновение двух нравственных требований. Это, без сомнения, единственная мука, какую способна чувствовать душа, не признающая над собою иной власти, кроме добродетели. — Сегодня вечером я уезжаю из Йорка в Кэкфилд, куда приеду в пятницу. Мой отец, упорствуя в своем заблуждении, отказал нам в деньгах и запретил упоминать при нем наши имена. Как ни испорчено ложью наше общество, я полагал все же, что подобное упрямое озлобление давно стало достоянием скучных комедий и фарсов или используется современным романом для отягчения бедствий, переживаемых героем и героиней, а, значит, и для усиления их взаимной привязанности. Я не однажды писал этому безрассудному человеку, а теперь решил к нему поехать, чтобы испытовать силу правды, хотя мне кажется, что ее изрядно преувеличивают, как и силу музыки, якобы способной «расколоть могучий дуб»². Некоторые философы приписывают сознанию безграничную мощь, но я сомневаюсь, чтобы оно было способно наделить чернильницу свободой воли. Кажется, это звучит очень сурово. Но я, знаете ли, уподобившись иудейскому богу, не взираю на лица, и в свете разума родство представляется мне столь же ничтожным, как пук соломы перед огнем.

Я люблю Вас больше любого из родственников, каких имею³; Вы — сестра моей души, самая дорогая ее сестра, и мне кажется, что моя душа должна перестать существовать, прежде чем из нее исчезнет эта привязанность. Некоторые философы прилагали огромные усилия, дабы убедить нас, что *родство душ* — это чепуха⁴, — но разум бессилен объяснить или доказать истинность *чувства*. . . Я рассмотрел этот вопрос со всех сторон; рассудок твердит мне, что со смертью жизнь человека кончается, но я чувствую и верю, что дело обстоит как раз наоборот. . . Единственным источником познания являются ощущения, и некое внутреннее чувство убеждает меня в этом. Однако как я отклонился от темы и как одно рассуждение влечет за собой другое, образуя бесконечную цепь! Поистине, все между собою связано; и в нравственном мире, и во внешнем событиях соединяются в цепи, и есть вероятность — пусть малая, но которую отрицать невозможно, — что нынешний ход моих мыслей может быть возведен к покорению Англии Вильгельмом Завоевателем. Кстати, я хотел о чем-то поговорить с Вами — о деньгах. Я жажду их иметь. Как? — можете Вы сказать. Неужели Вы сребролюбец, стяжатель, неужели Вы стали рабом самой пре-

зренной из страстей? Нет; и все же я хотел бы иметь деньги, хотел бы потому, что сумел бы, как мне кажется, ими распорядиться. Деньгами можно оплатить труд, на них можно купить досуг; а доставить досуг тому, кто употребит его на распространение истины, — значит принести людям лучший дар, какой может им принести отдельный человек. . . Хочу Вам открыться. Когда мне *достанется* имение, которое по законам света считается моим, но на которое я в действительности имею не больше, а быть может меньше прав, чем Вы, справедливость потребует, чтобы я разделил его с моими сестрами, не так ли? Но все люди — тоже мои сестры и братья, и делиться надо со *всеми*. Однако это невозможно, придется ограничиться немногими. Но ты — моя сестра *по духу*, а он — брат⁵; вы оба наверняка имеете права. Поразмыслите над этим и напишите мне; отвлекитесь от своего «я», отделите его от себя, я знаю, что Вы это умеете; отбросьте также и слова-пугала: *благодарность, обязательства и скромность* — свет зовет их добродетелями; для света они годятся, ему нужны цепи, он их себе сковал, но перед сестрою моей души у меня нет обязательств, к ней я не питаю благодарности, с нею я не руководствуюсь этикетом, иначе говоря, неискренностью. Мысли, вызываемые этими словами, бывают различны, часто ошибочны и всегда *себялюбивы*. . . *Любовь*, в том смысле как мы ее понимаем, не нуждается в подобных заменителях. Итак, подумайте над тем, что я предложил. Я знаю, что Вы выше того напускного признания собственной никчемности, которое свет именует скромностью, и Вы должны сознавать, что стоите многого. Умаление своих достоинств — большее зло, чем обратная крайность; первое сковывает, тогда как второе побуждает к действию. Но лучше всего — правильная их оценка. Мой друг Хогг и я считаем наше имущество общим, и я всей душой призываю наступление того дня, когда и у нас с вами будет так же. Мой дядя⁶ — человек очень великодушный; если б он не помог нам, мы поныне были бы прикованы к грязи и *торгашеству* Эдинбурга. Как ни гнусна аристократия, но еще презреннее торгоши — их невежество, их тупость, гордая своим кошельком. Я все еще считаю религию безнравственной. — Когда я созерцаю гигантские храмы, воздвигнутые суеверием, когда думаю, сколько они поглотили времени, которое люди могли бы употребить на умственное совершенствование, — я считаю, что каждый из них отдалил наступление царства истины. Каждое ненужное украшение, все эти колонны, железные ограды, резные обшивки, даже чистка каминных решеток, как говорит Саути, — все это требует физического труда, который в каждом отдельном случае, быть может, и велик, но в целом уничтожает огромное количество бесценного досуга. Сколько вещей, без которых мы могли бы обойтись, как бесполезны столы *красного дерева*, серебряные сосуды, бесчисленные яства и напитки или, еще хуже, дорогие книги. Огляните даже убогое жилище, самую грязную хижину, и Вы найдете бесконечные примеры того, как украшения приносятся в жертву чистоте и досугу. Но я опять далеко отклонился. Не иначе, как хочу

собственным примером доказать существование бесконечной цепи связей, о которой я только что говорил. — Письмо, адресованное на Филдплейс, было вскрыто, прочитано и нагло обсуждалось, но, разумеется, не было понято. Отныне у меня не будет от Вас тайн, и в самом деле, мне о многом надо Вам рассказать: об удивительных переменах! Пишите мне на адрес капитана, пока не получите следующего письма. В Сассексе я пробуду всего два дня, но увижу Вас.

Сестра моей души, прощайте.

С любовью (надеюсь, вечной)

Ваш

Перси Шелли

29

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Таунхед, Кесвик,
8 ноября 1811

Вы удивитесь мой друг, получив это письмо из Кесвика, в Кемберленде; но еще более удивитесь, узнав причину нашего отъезда. При одной мысли об этом кровь стынет у меня в жилах. Я готов утратить веру в могущество истины и ее неизменность. Как велика человеческая испорченность! Даже те, кому мы безгранично доверяем, к кому относимся без малейшей подозрительности, оказываются столь же развращенными, как и прочие. Чем одареннее человек, тем больше оказывается его способность причинять зло. Неужели так будет всегда? Вы помните, как я рассказывал Вам о Хогге, как горячо его защищал, как любил. Вы знаете, что я считал его почти совершенством. Я говорил Вам о нем, описывал его, не думая ничего преувеличивать, считая, что лишь воздаю должное своему другу. Сейчас я решил, как Ваш друг, вверить Вам тайну — ужасную для меня. — Хогг совершил проступок страшный, мерзкий. Но сейчас Вы все узнаете и сможете судить о причиненном зле, которое так сокрушает меня. Тот, в ком я восхищенно зрел поборника добродетели и врага предрассудков, сам сделался жалким рабом наиболее гнусного из них — это ли не ужасно! Но послушайте — я словно вижу, как Вы быстро пробегаете эти строки. — Вы знаете, что я поехал в Сассекс для устройства некоторых дел и оставил Харриет в Йорке, поручив ее заботам Хогга. Вам известны безграничное доверие, какое я к нему питал, моя неизменная привязанность к нему, мое высокое мнение о его нравственном совершенстве. Представьте же себе, что он пытался *свернуть мою жену*, выбрав для этого время, когда я всего более ему доверял, всего менее в нем сомневался. Впрочем, разве я *когда-либо* вообще сомневался в нем? Тем не менее, мой друг, именно так он поступил. И как пытался. Можете вообразить, как искусны были его доводы, с какой

силой он склонял ее к пороку, ибо талант всегда исполнен силы. Но нет, никогда его не видел, Вы не можете себе представить его неотразимое и волнующее красноречие, его вдохновенное лицо, на которое я порою за-сматривался, думая, что одно лишь это лицо может обратить мир к добру. Вы никогда не видели и не слышали его; иначе Вы сочли бы Харриет героиней, или бесчувственной, раз она не послушала его! *Последнего* о ней не скажешь. — Подумайте, мой друг, как я люблю Вас, как твердо верю в *Вашу* нравственную стойкость, как непоколебима моя уверенность в Вашем благородстве. А потом представьте, каково мне было потерять столь ужасным образом друга, подобного Вам, — и он потерян не для меня одного, но для мира! Добро лишилось одного из своих защитников, а порок приобрел нового адепта. Эта мысль приводит меня в содрогание. Но неужели так должно быть, неужели я не в силах помешать этому? Не могу убедить его? Неужели он мертв, окаменел, не существует? Нет, о нет! Он не пал, подобно Люциферу, чтобы уже не подняться¹. Уезжая из Йорка, я говорил с ним. Наша беседа длилась долго. Он был молчалив, бледен, подавлен неожиданным разоблачением, а также, я надеюсь, сознанием своей низости. Я сказал, что прощаю ему, прощаю всецело и не питаю гнева. Ужас и ненависть внушают мне его пороки, но не он сам. Я сказал, что по-прежнему жажду для него *истинного* блага; что неудача, постигшая его на стезе порока, является залогом успеха в добрых делах. Я взял с него обещание писать. Вы понимаете, что и я буду ему писать часто и много. Сегодня я очень занят, но должен был отдать эту дань нашей дружбе. Желая Вам никогда не испытать столь горького разочарования. Пишите. Я живу у мистера Д. Кроствейта, Таунхед, Кесвик, Кемберленд. — Ландшафты здесь великолепные; *даже* в такое время, как сейчас, они меня восхищают. Прощайте, пишите. Я нуждаюсь в Вашем сочувствии. Харриет и ее сестре понравились здешние места, а мне, когда пришлось уехать так внезапно, было безразлично, куда мы поедем. Полагаю, что в Йорке меня ждет письмо. Х[огг] перешлет его. Прощайте, мой почти единственный друг.

Навсегда искренне Ваш
[Перси Б. Шелли]

30

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Кесвик, Честнат-хилл, Кемберленд
Четверг, 14 ноября 1811

Дорогой друг,

Возможно, что еще рано ждать ответа на мои письма из Кесвика, но я имею еще кое-что рассказать о недавнем ужасном событии¹.

В день нашего отъезда он написал мне несколько писем — первое, очевидно, в бешенстве разочарования (ибо я не сообщил ему час нашего

отъезда). «Я должен получить прощение Харриет или застрелиться у ее ног». — Следующие письма, написанные уже более спокойным тоном, позволили не опасаться за него. Я понимаю, как все это поражает и возмущает Вас. О, это ужасно; этот удар почти сразил меня. Если б не любимый друг, чье счастье мне так дорого, чье счастье я, быть может, когда-нибудь устрою; если б у меня не было в жизни святой и высокой цели, я мог бы уснуть навеки. Нет, не то; я мог бы угодить в Бедлам. Но стойте — я обещал рассказать все. Начну по порядку. Я заметил, что Харриет очень изменилась к моему другу, что она относится к нему неприязненно. Мне это было очень больно, и я ей об этом сказал. Ее мрачные намеки на его недостойное поведение встревожили меня, но смутно; поверьте, в эту тревогу не закралось ни малейшего подозрения, что он предал дружбу и добродетель. Представьте же себе мой ужас, когда, расспросив ее более настойчиво, я узнал о его предательстве. Я разыскал его, и мы прошли в поля за городом. Я хотел знать все подробности. Я их услышал от него самого и думаю, что он говорил правду. Все, что я запомнил о том страшном дне, — это то, что я простил его от души, сказал, что готов и дальше быть ему другом и надеюсь скоро убедить его, как прекрасна добродетель; что негодую не на него самого, но на его проступок; что ценю человека не по тому, чем он был, а чем является сейчас; и надеюсь, что со временем его ужасный проступок будет внушать ему такое же отвращение, как и мне. — Он почти все время молчал, был бледен, испуган и раскаивался. Эта роль не в его природе; она не идет ему, и это ненадолго. Вот что он рассказал: он приехал в Эдинбург, увидел меня, увидел Харриет и *полюбил* ее. (Я употребляю это слово, потому что именно так сказал он. Вы понимаете, сколь разные понятия с ним связываются.) Итак, он полюбил ее. Этой страсти он не только не противился, но поощрял ее в себе — намеренно поощрял, имея цель, не казавшуюся ему тогда предосудительной. По приезде в Йорк он ей признался. — Харриет запретила ему говорить, но мне ничего не сказала, надеясь, что это не повторится. Когда я уехал из Йорка в Сассекс (где мы с Вами виделись), он снова стал настаивать, пользуясь в качестве доводов отвратительными софизмами: «Кто ничего не знает, тому не обидно. Что дурного, если Вы позволите мне любить Вас, раз муж Вас не разлюбит?» Это не имело успеха. — Наконец, Харриет сказала ему, как безнравственно его предложение, и (хотя я боюсь, что в логике она не могла его превзойти) он признал свою вину и, чтобы отчасти искупить ее, предложил обо всем написать мне. Этого Харриет не позволила, опасаясь, чтоб на расстоянии такая весть не поразила меня слишком сильно; она не знала, когда я вернусь. Я вернулся на следующий же день. Насколько я помню, вот то главное, что хладнокровное размышление может извлечь из его рассказа. Все это правда, и Харриет рассказывает то же самое. С тех пор я писал ему часто и подробно. В его письмах звучит раскаяние. Я покажу Вам их. Но оставим пока эту тему. — Нет, дорогой друг, я никогда не перестану Вам писать.

Я никогда не смогу перестать думать о Вас. Счастье, мимолетное порождение обстоятельств, где ты? Ваше письмо я читал с восторгом; но и к *этому* восторгу примешивается грусть. А Вы! Скажите мне, что и Вы несчастливы, — и я выпью чашу горечи до самого дна. Но разве Вы не говорили, что мы должны поддерживать друг друга на пути добродетели? Так неужели я отступлю первым? Нет, надо стряхнуть горестное оцепенение и не дать ему овладеть мной. Видите, мое второе «я», я снова прежний, и снова заслуживаю Ваше уважение, — Харриет посмеялась над Вашими предположениями. Она приглашает Вас к нам, *где бы мы ни были*; она делает это искренне и просит передать Вам привет. С нами здесь Элиза, ее сестра. Это, по-моему, женщина, возвышающаяся над общим уровнем. У нее есть свои предрассудки, но они не кажутся мне непобедимыми. Некоторые мне уже удалось побороть. — Здешняя природа великолепна. Из нашего окна открывается вид на два озера и на исполинские горы, которые их замыкают. Но всего интереснее для меня — жилище Саути. Сейчас он в отъезде; когда вернется, я его навещу. Прощайте, дорогой друг. Неизменно искренне Вам преданный и любящий

Перси Шелли

31

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Кесвик,
14 (?) ноября 1811

Вы жестоко обманываетесь, мой друг. Это еще раз доказывает мне, что Вам следовало написать Харриет — как Вы и сделали. В то же время это убеждает меня в Вашей искренности и по-прежнему сильной страсти, которая лишь на расстоянии кажется Вам *уважением и почтением*. Я больше, чем когда-либо, убеждаюсь, что Вам не следует жить с нами и что, согласившись на это, я способствовал бы несчастью Вашему и Харриет. Я все более убеждаюсь, что из такой близости, даже духовной, может произойти одно лишь несчастье, и раз Вам это неясно, значит Ваша страсть обманывает рассудок. О себе я или действительно не думаю, или только *делаю вид*; но это мы обсуждать не будем: там, где следствия все равно неизбежны, поиски причин являются напрасным трудом. — Вы боитесь, пишете Вы, что я утратил прежнее хорошее мнение о Вас. «Хорошее мнение» включает весьма многое. Конечно, я уже не верю в Вашу способность противиться страсти. Конечно, я уже не считаю, как прежде, что Ваш разум выше софистики чувств. Как я могу — после того, как Вы ей поддались? Насколько же низко пал этот разум, который я некогда считал почти всемогущим. Я признаю, как и Вы, разницу между ошибкой и преступлением, и в последнем отно-
дью Вас

не виню; но как ужасна была Ваша ошибка! Она длится и донныне. — Вы не могли считать Ваши стремления *добродетельными*, но, быть может, настолько были обмануты своим чувством, чтобы считать, что добродетель их не запрещает. — Я написал, что Вы кажетесь мне неискренним; я не удивляюсь, что Вы содрогаетесь при этом обвинении, но в то же время умаляете и оправдываете свой проступок и считаете себя образцом бескорыстия, каким Вы и были когда-то и каким я надеюсь увидеть Вас вновь. Итак, я сказал, что Вы неискренни. Я сказал так, потому что именно так думал. Я продолжаю так думать; Вас обманывает чувство, но ложь от Вас далека. Одно место Вашего длинного письма (письма Вашей души) убеждает меня, что Вы все еще находитесь во власти чувства — и это только один из примеров: «Я должен убедить Вас и т. д. Должен, иначе — я стою перед ужасным выбором, но решился. Вы мне поверите и т. д. или же поймете, когда будет *слишком поздно*». Эти слова огорчают меня, они показывают, что Вы не только не руководитесь разумом, но хотите доказать мне Вашу искренность с помощью поступка, который ничего не доказывает, кроме Вашего эгоизма; или отомстить мне за недоверие этим поступком, который, Вы это знаете, омрачит всю мою жизнь. Как иначе понять Ваше «когда будет *слишком поздно*»? Это неубедительно, мой друг; таким способом можно (если предположить, что Вы все еще находитесь в том состоянии, которое продиктовало Вам эти слова) заставить меня сказать, что я Вам верю, но *не внушить* мне доверие. Что же может заставить меня снова считать Вас таким, как прежде? Для этого надо просто вернуть себе качества, рождавшие то доверие, об утрате которого Вы сокрушаетесь. Подумайте, рассудите. Ваша теперешняя неспособность к этому, мое убеждение, что эта неспособность еще усилится при встрече с Харриет — вот что меняет мое мнение о Вас. Мне кажется, я поступаю как искренний Ваш друг, когда не соглашаюсь сейчас на нашу совместную жизнь: тем самым я лишаю себя очень большого удовольствия, доставляемого Вашим обществом; но это необходимо, и необходимости приходится подчиниться. В письме к Харриет Вы говорите, что благодарны мне за знакомство с нею. А между тем, если я в чем и виноват, так именно в том, что невольно подверг Вас соблазну этого знакомства и его печальным последствиям. Здесь опять-таки дает себя знать Ваше чувство, которое может вновь разбить наши надежды. — Думайте обо мне как о друге, еще более преданном, чем раньше, ибо несчастья дорогих нам людей делают их еще дороже для нас. Вы — мой друг и будете им, и были им, кроме одного только случая, когда Вы впали в заблуждение. Станем же снова тем, чем были. Я останусь неизменным, и Вы тоже — *через какое-то время*. Забудем об этом событии, вычеркнем его из памяти, словно его и не было. Сколько смятения принес последний год нашей жизни, а ведь это всего один год. Как же Вы можете утверждать, что ничего хорошего уже не будет, что мы уже не будем такими, как прежде? Хорошее и плохое

постоянно сменяются; если в этом месяце я несчастлив, следующий может увидеть меня счастливым. — Вы можете на это сказать, что мне легко так рассуждать; я холоден, флегматичен и бесчувствен; я примирительно отношусь к грехам, к которым склонен, и браню те, к которым склонности не имею. В первой части этого обвинения есть доля истины, я это не раз чувствовал. Но могут ли особенности темперамента служить мерилom нравственности? Поверьте, что именно ими я более чем оправдываю нынешнюю безрассудность, нелепость и непоследовательность Ваших слов и поступков; это, однако, не мешает мне видеть их нелепость и, видя, искренне желать, чтобы они были иными. Сумейте убедительно доказать мне, что добродетель не существует, что она призрачна, как мальчишеские мечты, а тогда лишайте себя жизни. Такая и мне не нужна. Я не согласился бы жить, дышать, существовать, если это существование состоит в поглощении окружающих соков, без иной цели, кроме собственного питания. — Растение не рассуждает о добре, которое оно делает воздуху, поглощая из него азот; пантера убивает антилопу не ради общественного блага; лев любит львицу ради себя, но не ради нее. Докажите мне, что и человек таков же; мое последнее деяние, может быть, будет проявлением того же эгоизма, но оно и положит ему конец; а мир пусть бы оставался тем, кто в состоянии в нем жить. Докажите это, и я скажу, что Ваши поступки были мудры. Это я и хотел сказать, когда в своем последнем письме говорил о нравственности. — Но, хотя я считаю Вас неискренним (только Вы этого не сознаете), я не думаю, чтобы таково было сейчас Ваше мнение; впрочем, постоит — что я заметил в Вашем письме к Харриет? Оно показывает одновременно и искренность Вашей страсти, и ту неискренность, которая ее невольно выдает. — Вы пишете о совершенстве женщины. Мужчина предстает в Ваших тирадах существом неизмеримо более низким, который, даже стремясь к добродетели, лишь обнаруживает свое бессилие достичь ее. Харриет, по-вашему, воплощает всю эту противоположность мужчине. Самая жгучая страсть, когда-либо пылавшая в груди человека, не могла бы внушить более преувеличенного комплимента (чтобы не сказать — лести). Она это поняла¹ (ибо показала мне письмо) и с негодованием отметила в нем ту постоянную лесть, к которой Вы прибегаете с самого начала знакомства с нею. — Я хотел бы, дорогой друг, чтобы Вы разобрались в природе Вашего чувства; и тогда окажется, что главное в нем — чувственность. Ваша «чрезмерная возбудимость при виде красоты», которую Вы сами искренне признаете в письме к Харриет, ясно показывает, что именно с Вами происходит. Это и явилось причиной Вашей ошибки, и я не удивляюсь. Я не осуждаю Вас, а жалею; и жалею не пренебрежительно, но с подлинным *сочувствием*. — Надеюсь, я доказал Вам, что не считаю Вас *лживым предателем*. Разве я избрал бы такого в друзья, разве любил бы его неизменной, а быть может, даже бóльшей, любовью? Разум скажет Вам, что это невозможно. Как же далеко завели Вас само-

обман и *софизмы*, если чувственность в этом случае, да и в любом, показала Вам похвальной. Я несчастлив. Говорю Вам это. Мое последнее письмо было написано под действием этого чувства. Но разве Вы хотели бы видеть меня счастливым? Будьте уверены, что все мои желания относительно Вас сбудутся; а кроме этих у меня лишь одно желание, о котором сейчас я говорить не стану. — Прощайте, дорогой друг. Харриет завтра к Вам напишет. Я прошу, чтобы Вы, в доказательство победы над собой, бросили ее письмо в огонь, подавив *обожание*, порожденное, как я подозреваю, одной лишь чувственностью. Но письмо придет раньше; Вы прижмете его к губам, спрячете на груди. Воображение нарисует Вам руку, которая его писала, — а отсюда так близко до самых безумных грез неутоленного желания! О, как переменяла Вас *софистика страсти*! Стать игрушкой женской прихоти, рабом ее непостоянства, безделушкой, на которую она сердится, подножкой, которую она попирает. Станьте вновь тем, чем были. Любите! Поклоняйтесь! Это Вас возвысит, сделает из человека — богом. Но не любите ту, которая не может ответить Вам взаимностью, а если бы могла, то *должна была бы* подавить свое чувство. — Любовь — не ураган, которому нельзя сопротивляться.

Прощайте, дорогой друг, прощайте.

Всегда Ваш, и, надеюсь, искренне

Перси Шелли

[P. S.] Мы живем в Кесвике — не приезжайте, но пишите. Можете прислать мой сундук. Раскрывайте *все* письма, которые приходят для меня в Йорк.

Я выполняю просьбу, высказанную в Вашем сегодняшнем письме, — не пишу, что я несчастлив. Я и правда не так несчастен, как был, когда писал те письма. Если бы Вы увидели меня теперь, Вы нашли бы, что я очень спокоен; *надеюсь*, что и Вы также. С письмом Вашей души я не расстанусь и перечитываю его. Прощайте. Будьте счастливы.

Не приезжайте *теперь*.

32

ТОМАСУ ЧАРЛЗУ МЕДВИНУ¹

Кесвик, Кемберленд,
26 ноября 1811

Дорогой сэр!

Сейчас мы находимся в этом прелестном местечке, где временно обосновались. Домик (с мебелью) обходится нам 1 фунт 10 шиллингов в неделю. Мы не намерены оставаться тут постоянно и хотели бы снять дом в Сассексе. Быть может, Вы сумеете найти нам что-нибудь. Хорошо было бы в уединенном и живописном месте, — например, в Сент-Леонардс Форест. Пусть это будет не ближе к Лондону, чем Хоршем, и подальше

от населенных промышленных городов с их испорченностью. Не хотелось бы также и близости казарм. — Нельзя ли до моего совершеннолетия достать денег под терпимые проценты? Я слышал, что у Вас была *gensontre* * с моим отцом. Меня удивило, что он осмелился напасть на Вас, но люди всегда ненавидят тех, кому причинили зло. Эта-то *ненависть* и двигала им, заменив собою храбрость. Уиттон² мне написал, что мне не подобало посылать такие письма матери и сестре; я возвратил его письмо, сделав на обороте язвительную приписку³. Оказывается, дело, о котором шла речь в этих письмах, стало достоянием всех праздных сплетников Хоршема. Мне приписывается честь его *изобретения*. Это весьма лестно для моей выдумки, но очень нелестно характеризует их собственную проницательность.

Привет всем друзьям.

Преданный Вам

П. Б. Шелли

[P. S.] На этой неделе мы будем обедать у герцога Н[орфолка] в Грейстоке⁴. Поверьте, что я не забуду о Вас, хотя его светлость не сочли нужным ответить на эту часть моего послания.

33

ТОМАСУ ЧАРЛЗУ МЕДВИНУ

Кесвик, Кемберленд,
30 ноября 1811

Дорогой сэръ!

Во время нашей последней встречи Вы упомянули о возможности занять денег из 70 процентов, одновременно указав на неосмотрительность таких займов, даже в нынешнем моем возрасте. — Мы сейчас так бедны, что нам ежедневно грозит отсутствие самого необходимого для поддержания жизни. Вы дали мне понять, что через два года я смогу получить деньги под законный процент. «Не воля соглашается, а бедность»¹ (как говорит аптекарь Ромео), когда я прошу указать мне, как это поскорее сделать. По достижении совершеннолетия я мог бы вернуть капитал и проценты почти без ущерба для своего состояния. Если Вы знаете простой способ это сделать, я прошу перевести мне небольшую сумму на текущие расходы. Если нет, прошу не делать этого, ибо все сделки, производимые мною до совершеннолетия, неизбежно сопряжены с известным риском, а я решил никогда больше не заставлять Вас расплачиваться за мое безрассудство. Мистер Вестбрук прислал немного денег, предупредив, чтобы мы не ждали от него ничего больше; этого хватит на немедленную уплату нескольких долгов; на последнюю гинею мы поедем завтра в Грейстоук

* Стычка (франц.).

к герцогу Норфолку и вернемся в Кесвик в среду. На этот визит я не возлагаю почти никаких надежд. Приглашение вернуться в лоно Авраамова, вероятно, требует каких-нибудь гнусных уступок, которые именуются *долгом*.

[Последние слова письма и подпись, отрезаны.]

34

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Кесвик, Кемберленд,
10 декабря 1811

Вчера Вы получили от меня очень торопливое послание. Чтобы немедленно подтверждать получение Ваших писем, стоит, по-моему, посылать даже просто чистые листы. Ваши письма, дорогой друг, служат мне неисчерпаемым источником радости. После утомительной аристократической пустоты, вынужденный все свое время проводить среди ничтожеств, составляющих свиту герцога¹, — который в качестве простого человека был бы совсем неплохим, — как я рад общаться с душой, которая не носит личины и ценность которой не нуждается ни в каких ухищрениях². Я восхищаюсь Вашим отцом, но нахожу, что он все же неспособен Вас понять. Как Вы знаете, я считаю, что ум формируется образованием, что, смотря по письмам, которые на нем намеренно или случайно запечатлевают, он приобретает черты, и они могут быть различными. Отнимите у каждого явления то, что его искажает, и зло перестает существовать. Поэтому я способен полюбить человека не за то, что он состоит со мною в *кровном* родстве, но потому, что ощущаю мое духовное с ним родство. Наш долг по отношению к родным — когда он не противоречит более высоким обязательствам — является таковым потому, что по случайности рождения нам легче всего способствовать именно их счастью. Таков и Ваш долг, и Вы его благородно выполняете. Мне ясно, что Ваш отец кое в чем неправ. Не можете ли Вы убедить его отказаться от внешней грубости? Она выглядит как чистосердечие, но разве на деле не является обманом? В заботах о его благополучии Вы проявляете столько благородства, столько деликатности, так стремитесь достичь цели; если бы он понимал это, он не только любил бы, но и глубоко уважал Вас. Мне кажется, что он Вам не равен; он не составляет исключения из правила, в котором я убежден, а именно — что равных Вам нет; иначе как мог бы он не ценить Ваше внимание? Нет, надо, чтобы он был *подобен* Вам, прежде чем я стану сравнивать вас обоих. О Вашей матери я не составил себе высокого мнения; она представляется мне одной из тех заурядных натур, которые не уменьшают массы предрассудков, а скорее приумножают ее. *Послушание* (если бы общество было тем, чем я желал бы его видеть) должно бы стать словом без смысла.

Если бы добродетель зависела от выполнения долга, тогда благоразумие было бы добродетелью, а неблагоразумие — пороком, и единственное отличие маркиза Уэлсли³ от Вильяма Годвина состояло бы в том, что последний более хитро позаботился о собственном благе. Так быть не может. Благоразумие — всего лишь подручный добродетели, помогающий обратить ее на пользу. Добродетель заключается в побуждении. «Моральная философия» Пэли⁴ начинается словами: «Почему я обязан держать слово? Потому что стремлюсь к Небесам и ненавижу Ад». Слова «обязанность», «долг» не могут служить мерилami совершенства. Однако довольно на тему повиновения, отцов и детей. Согласны ли Вы с моим определением добродетели как бескорыстия? Отчего я спрашиваю? Так же, как и Вы, я ничего не имею против Туллия⁵, я благодарен ему за понятие «тирании». Локка Вы действительно понимаете — это одна из его сложных идей, — сюда входят понятия *власти, зла, страдания* и ясное понимание двух последних, из которых слагается понятие ненависти.

То, что Вы пишете о нашей жизни по соседству с Вами, — справедливо. Мы не сумели бы сразу найти там дом. Но летом, а может быть и раньше, Вы приедете к нам сюда — это уж наверное. О, как восхитит Вас здешний ландшафт! Сейчас вершины гор покрыты снегом. Озеро видится мне отсюда спокойным и застылым, как стекло. Снежная пыль, окрашенная в прелестные цвета преломления, проносится много ниже этих гигантских утесов. Здесь даже зимний закат невыразимо прекрасен. Облака принимают формы, свойственные им только в этих краях; что же будет летом, когда приедете Вы! Дайте мне скромную хижину среди этих красот, пусть все живут в таких же мирных жилищах, и пусть гибнут храмы и дворцы вместе с их владельцами. Пусть бы только общество было цивилизовано, и Вы были бы с нами, и мы жили бы вечно — и мне не нужен рай, в который верят религиозные люди. Мне кажется, что христианский Рай (с его Адом) для нас не был бы раем, скорее им были бы места, подобные здешним! — Куда, однако ж, завлекло меня перо! После Вашего визита к нам (видит бог, я хотел бы, чтобы он *длился вечно*), мы намерены посетить Ирландию⁶. Отсюда очень близко до Порт-Патрика — нельзя ли Вам будет задержаться и сопровождать нас? Но я, кажется, строю замки на фундаменте, более зыбком, чем воздух. Оглядываясь на прошедший год, о чем могу я говорить с уверенностью, кроме как о неизменности моих чувств к Вам? Моя дружба к Вам, дорогой друг, крепнет с каждым днем — с каждым днем я сильнее ощущаю вечность нашего бытия — с каждым днем яснее вижу, насколько тщетны и недостаточны все попытки доказать это. Но неужели мы, неужели души, способные из своего тесного обиталища мерить пространство до звезд, — неужели мы всего лишь пузырьки, поднявшиеся из болотной тины, чтобы вновь быть поглощенными ее гниющей массой? Думаю, что нет; чувствую, что нет, — можете ли

Вы это доказать? В бессмертие человека верили *всегда*; оно — нечто большее, чем одна из догм непоследовательной религии, хотя все религии берут его за основу. — Американский индеец, который никогда не слышал о Христе и не имеет понятия о первородном грехе, чей «Великий Дух» является не чем иным, как душою природы, — и тот не может смириться с мыслью об уничтожении; и у *того* есть *свой* рай. И разве «улучшенная земная жизнь» ирокеза не лучше, чем перспектива окружать с *арфами* в руках *золотой* престол того, кто обрек *половину* своих созданий на вечную гибель? — Но довольно об этом. Сейчас, дорогой друг, я задумал поэму⁷. Я намерен предвосхитить в ней картину нравов и простых радостей идеального, но земного общества. — Не хотите ли помочь мне? Мысль о такой поэме пришла мне в голову прошлой ночью. Хочу написать ее и опубликовать. А потом я изобразю *небо*. Этого я тоже не смогу без некоторых Ваших советов — и Вы в них, конечно, не откажете. Я уже писал Вам о странном человеке⁸, которого я здесь недавно встретил. Я увижусь с ним еще. Увижу также Саути, Вордсворта и Кольриджа⁹. И тогда опишу Вам их. Я задолжал Вам несколько писем — и не замедлю выплатить этот долг. Уже сейчас у меня найдется много что сказать, но я никогда не сумею выразить удовольствия, какое доставили мне Ваши *три* письма. Чтобы так написать их, дорогой друг, Вы должны были угадать все мои мысли. Передайте привет Энн¹⁰ — что она думает обо мне? Ваши рассказы о ней меня восхищают. Каждый побежденный предрассудок, каждое искорененное заблуждение, каждое доброе побуждение, которое удалось вызвать, — все это победы на пути к совершенству. Я помню об этом постоянно; вижу, что и Вы тоже. Скажите Энн, что, если она мне напишет, я буду ей отвечать. А сейчас прощайте, дорогой друг, — у меня кончилась бумага; но не желание делиться с Вами мыслями. Я Вам должен несколько писем и не премину расквитаться. А что Вы скажете о моем предприятии¹¹? Не угожу я в тюрьму? Харриет очень боится, как бы его величество не уготовал мне приют за то рвение, с каким я хлопочу о благоденствии его подданных.

Думаю также подготовить к печати выбранные ранние стихи. Вы похвалите их нравственное направление. Итак, прощайте, дорогой друг, которому я, с тех пор как писал прошлый раз, обязан каждой своей мыслью.

Искренне Ваш

Перси Ш.

[P. S.] Харриет шлет Вам привет. Милая девочка сама Вам напишет.

35

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

*Кесвик, Кемберленд
13 декабря 1811,*

Дорогой сэръ!

Я только что вернулся из Грейстоука, куда был приглашен герцогом Норфолком, желавшим поговорить со мной о прискорбной размолвке, вызванной некоторыми моими поступками. Его совет заключался в том, чтобы я написал к Вам и выразил сожаление, что оскорбил чувства столь близких мне лиц. Я могу сделать это со всей искренностью, ибо, когда я вижу свою вину, никто с большей готовностью, чем я, не сознается в ней и не стремится исправить вред, который могло причинить мое поведение.

Когда меня исключили из Оксфорда, Вы соблаговолили назначить мне содержание в сумме 200 фунтов в год. К этому Вы присовокупили обещание предоставить мне самую полную свободу; пользуясь этим, я женился на девушке с безупречной репутацией; а раз уж так случилось, обстоятельства потребовали тайны, хотя я очень сожалею, что пришлось к ней прибегнуть. За это я был лишен содержания; без денег, не зная ни души на 400 миль вокруг, я оказался перед угрозой самой безысходной нищеты. Можно проявить некоторое снисхождение, если вспомнить, что письма, которые Вы тогда от меня получили, были написаны именно в этом состоянии беспомощности и заброшенности. — А теперь позвольте сказать Вам, что я очень желал бы примириться с Вами; я прошу Вас простить причиненные огорчения; прошу верить, что я искренне и твердо хочу успокоить Вашу тревогу; семейные ссоры я считаю большим злом и очень сожалею, что в какой бы то ни было степени подал к ним повод.

Надеюсь, что следующие мои слова Вы не сочтете за обиду или непочтение, но я считаю своим долгом предупредить, что в вопросах политики и религии я не могу обещать скрывать свои взгляды, какие бы выгоды ни сулили мне подобные уступки. Я считаю нечестным подать Вам надежды, которых я не сумею оправдать. — Во всем, что я сказал, мною руководило самое искреннее желание вернуться к тем отношениям, какие еще не так давно существовали между нами. Я не лицемерю, когда говорю, что сожалею о причиненных Вам огорчениях. Но я не хочу унижаться, делая уступки там, где этого не позволяет долг. Это было бы недостойно нас обоих. Надеюсь, что Вы примете это во внимание, и остаюсь, искренне желая, чтобы мы вполне друг друга поняли,

Вашим почтительным и любящим
П. Б. Шелли

36

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Кесвик,
воскресенье, 15 декабря 1811

Дорогой друг!

Вы, наверное, уже получили мое предыдущее письмо. Я испытывал такое же недоверие к почте, какое чувствовали Вы, не получая ответа на свои письма. Я сожалел, что отлучался в Грейсток, ибо, задержавшись там, наверняка заставил Вас тревожиться. За это время я получил письмо от капитана П[илфолда]; там говорится, что мой отец и дед намерены предложить мне немедленное *увеличение* моего нынешнего содержания настолько, что оно будет больше отцовского, если я соглашусь закрепить имение за моим старшим сыном, а в случае моей бездетности — за моим братом. — Глупцы! Неужели они думают, что меня можно подобным образом купить и вынудить к столь бесполезной несправедливости; что я поступлюсь своими принципами ради 2000 годовых; что расположение, которое я мог бы за эти деньги купить, или недоброжелательство, которое мог бы преодолеть, вознаградят меня за утрату уважения к себе и сознания правоты? И как осмеливаются они делать мне столь оскорбительное предложение? Как смеет *один* из них ставить подобные условия мне — или любому *честному* человеку — и не провалится сквозь землю под тяжестью его презрения? — Чтобы я отказался от 120 000 фунтов, на которые можно дать людям заработок, которые можно употребить на благие цели, в пользу кого-то мне неизвестного и кто, вместо благодетеля людей, может оказаться для них проклятием и употребит во зло то, что достойные наследники этого богатства, дарованного мне случаем, могли бы сделать орудием добра. — Нет, Вы не сочтете меня способным на это. То, что я Вам рассказал, показывает в истинном свете благородство аристократических принципов и презренное тщеславие, готовое, в угоду *противоположной* страсти, жертвовать всеми требованиями справедливости и гуманности.

Так похоть, будь с ней ангел лучезарны^o
Пресытится и на небесном ложе,
Тоскуя по отбросам¹.

Я написал Вам это письмо тотчас же, как получил письмо капитана. В своем негодовании и презрении² я, кажется, пишу путаным слогом и неразборчивым почерком. Но я привык, дорогой друг, сообщать Вам, Вашей чувствительной и отзывчивой душе, всякую рождающуюся у меня мысль, точно себе самому.

Хогг в конце концов показал себя одним из тех неистовых себялюбцев, которые хладнокровны, когда разрушают чужой покой, и мстительны

до идиотизма, когда их планы терпят крах. В ответ на письмо, где я настойчиво убеждал его, что было бы преступлением вновь подвергаться соблазну страсти, против которой он оказался бессилён, и рисковать счастьем Харриет, — в ответ на это письмо он написал о моей *последовательности* в отрицании религии, в отрицании дуэлей и в отрицании искренней дружбы — и далее вновь намекает на дуэль, думая таким образом заставить меня принять его вызов. На это я ответил, что драться с ним я не стану, что бы он ни говорил и ни делал; что я не имею права ни рисковать собственной жизнью, ни отнимать жизнь у него; и, к тому же, по некоторым причинам желал бы продлить свою жизнь. Я не считаю также, что его жизнь равноценна моей; ибо я остался верен своим принципам, а он от них отрекся и пограл всякую мораль вообще. Пусть объяснит, чем я его обидел, и я готов полностью возместить обиду, но драться на дуэли не стану. Теперь, дорогой друг, — каким некогда был и он, — теперь я спокоен. Он оказался всего лишь одним из многих негодяев, разгуливающих по Сент-Джеймс-стрит, хотя даже негодяй из него получился импозантный. Едва ли мне удастся когда-либо вернуть его на путь добродетели и человеколюбия. Овладевшая им животная страсть, из которой ложная утонченность света сотворила божество, окруженное фимиамом, опьянила его и лишила способности воспринимать что-либо, кроме доводов себялюбия. Насколько более достойно мыслящего существа чувство дружбы; в нём ничуть не меньше пылкости, которую иные приписывают только тому, другому чувству; но оно сохраняет способность рассуждать, оно не слепо, хотя и желает видеть в своем предмете нечто близкое к совершенству; это — чувство, но чувство небесное и духовное, чуждое низменным земным страстям.

Саути переменился. Скоро я с ним увижусь и упрекну за отступничество. — Он, ненавидевший фанатизм, тиранию и закон³, теперь поклоняется этим идолам и притом в самой омерзительной форме. Он поет хвалу англиканской церкви, ее Аду и всему прочему; он восторгается испанской войной⁴, где людская кровь льется рекою ради славы правителей; он протитирует свое перо восхвалением английской конституции, ее Уэлсли, ее Пэджета и ее Принца. Мне отвратительно видеть, как все, что я считал прекрасным, великим и достойным подражания, рушится в бездну заблуждения. Но мы и на краю бездны будем бороться до конца, а если придется пасть, мы утешимся сознанием, что боролись против всемогущества Природы⁵, и что оно, а не собственная подлая трусость, навлекло на нас позор поражения. Вордсворт, прежний соратник Саути, еще сохраняет независимость, но он так беден, что не имеет даже на рубашку⁶.

Ну, прощайте, мой дорогой друг. Многое меняется, друзья вокруг нас падают; то, что некогда было великим, погружается в слабоумие. Империи будут уходить в небытие, короли будут становиться крестьянами, а кре-

стьяне — королями, но мы никогда не перестанем уважать друг друга, ибо никогда не утратим на это право. Моя Харриет шлет Вам поклон.

Ваш навеки

П. Б. Шелли

Скоро напишу еще; а эти письма считаются, я полагаю, за один лист.

37

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Кесвик,

23 декабря 1811

Дорогой сэръ!

Ваше письмо, доставленное вчера вечером, было мне очень приятно; спешу подтвердить его получение и выразить радость по поводу того, что я уже не вызываю Вашего недовольства. Мистер Вестбрук в настоящее время дает своей дочери 200 фунтов в год; это не позволит повториться тем неприятностям, какие мы имели в Эдинбурге.

Мои принципы остаются все теми же, за которые меня исключили из Оксфорда; когда случается, что на эту тему заговаривают в обществе, я высказываюсь спокойно и с умеренностью. — Надеюсь, что Вы не возражаете против моего образа мыслей. Я мог бы скрыть его, но это было бы ложью и лицемерием. Поверьте, что все, сказанное мной, продиктовано искренним уважением.

Надеюсь, что иногда буду иметь удовольствие получать от Вас письма; надеюсь также, что матушка и сестры здоровы. Мистер Уиттон вскрыл одно из писем, адресованных матушке. Я не знаю в точности, как обстоит дело, о котором я там пишу, но не считаю, что был неправ, когда в него вмешался.

Прошу передать привет матушке и сестрам и остаюсь, с совершенным почтением,

Любящим Вас сыном

Перси Б. Шелли

38

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Кесвик,

26 декабря 1811

Дорогой друг!

Я не писал Вам два дня, чтобы мои письма не следовали одно за другим с перерывом всего в один день. К тому же я много времени провожу в беседах с Саути. Вы можете судить о его высоких достоинствах, если при столь коренном различии в наших взглядах, которое должно бы вну-

шать мне предубеждение, я нахожу его человеком замечательным и достойным уважения. В сущности Саути — поборник свободы и равенства. Он мечтает о таком обществе, где все достигнет совершенства, и материя подчинится всемогущему духу; но сейчас он — сторонник существующих установлений; он говорит, что три статуи в его «Кехаме»¹ символизируют республику, но не в наше время. Саути ненавидит ирландцев, он высказывается против равноправия католиков и парламентской реформы. По всем этим вопросам мы с ним расходимся, и эти расхождения были темой долгой беседы. Саути называет себя христианином, но не верит, что евангелисты были вдохновлены свыше. Он отрицает троицу и считает, что Иисус Христос был таким же человеком, как он сам. И при этом называет себя христианином, — а ведь если есть точное определение деиста, то это именно его символ веры. Но, хотя Саути и не слишком силен в рассуждениях, это большой человек. Он обладает всеми качествами поэта — пылким красноречием, но при этом и упрямством, менее всего поддающимся аргументам. Это — человек нравственный, он никогда не станет кривить душой. Убеждения его полностью согласуются с его поступками. В другой раз я продолжу рассказ о нем. — С Калвертом, о котором я упоминал в том крохотном письме к Вам², мы теперь знакомы, ему известно все, касающееся моей семьи и меня самого, — о моем исключении из Оксфорда и убеждениях, которые к этому привели, он также знает. У него-то мы и встретились впервые с Саути. — Калверт был с нами весьма любезен. За наш коттедж мы платили две с половиной гиней в неделю, с нашим бельем. Он заставил хозяина снизить плату до одной гиней, а белье одолжил нам сам. Поэтому мы, вероятно, еще проживем здесь — на этих условиях мы сняли коттедж на три месяца — после этого плата за него будет повышена.

Поверьте, бесценный друг, что я не менее Вас дорожу искренностью и честностью, скрытность мне ненавистна и чужда; я хотел бы ничего не таить. Если бы мир состоял из людей, подобных той, с которой я делюсь, весь мир был бы моим духовником. Но, во-первых, я не уверен, что предательство Хогга — такого рода, чтобы его полезно было огласить; а не будучи уверенным, я совершил бы тяжкий проступок, допустив эту опасную огласку. При всем моем уважении и любви к дяде и тетушке³, а я никогда не сумею должным образом отблагодарить за их безграничную доброту, я не знаю, какую пользу могло бы принести такое объяснение — разве что внесло бы ясность, зато негодование дяди было бы столь велико, что он был бы способен, как мне часто казалось, преступить границы справедливости. Тетушка тоже стала бы громко возмущаться; мне кажется, она задолго до случившегося предчувствовала это ужасное разочарование. *Вам* я поверяю все, что происходит в моей душе, и даже тайные мысли, предназначенные лишь самым близким. Но ведь Вы — мой *лучший* друг; а пока существует нынешний порядок вещей (который, к сожалению, еще не собирается рухнуть), до тех пор придется делить людей на тех, кого

просто очень уважаешь и ценишь, и тех, кто может быть тем, чем является для меня Элиза Хитченер.

После того как я ответил на письмо Хогга, я получил от него еще одно. Оно было написано по получении моего ответа; его тон — смиренный и кроткий; он говорит о своей увлекающейся натуре, о своем чувстве чести. Я ничего не ответил и не намерен этого делать. — Он чересчур глубоко погряз в лицемерии, чтобы мои доводы могли на него подействовать. Предоставляю его судьбе. Если б я мог спасти его! Но это — тщетное желание, последнее желание, которое я высказываю над могилой его утраченных достоинств. Как я любил его, *Вы* можете понять, — но он уже не тот, кто, быть может, был всего лишь созданием моего пылко го воображения. Я не могу любить, когда уже нет того, кого я любил. — И не хвалите меня так; *Вы*, моя советчица, можете этим расшатать Вами же воздвигаемое здание. *Вы* укрепляете меня в добродетели, но не ослабляйте действия своего примера, предлагая свое бесценное одобрение в награду за правильные поступки. Они подсказаны мне моими убеждениями. — Предложение (если оно будет сделано) докажет тупость аристократов. Мои размышления заставляют меня все сильнее *ненавидеть* весь существующий порядок. Я задыхаюсь, стоит мне только подумать о золотой посуде и балах, о титулах и королях⁴. Я повидал нищету. — Рабочие голодают. Мой друг, в Ноттингем посланы войска⁵. — Да будут они прокляты, если убьют хотя бы одного истощенного голодом жителя. Однако, будь я другом убитого и сам на краю голодной смерти, я, пожалуй, поблагодарил бы их за то, что они избавили друга от оскорбительной комедии суда. — Саути полагает, что революция *неизбежна*; и это один из его доводов за то, чтобы поддерживать нынешний порядок. — Но мы не отречемся от наших убеждений. Пусть объедаются, распутничают и грешат до последнего часа. — Стоны бедняков могут оставаться неслышными до конца этого постыдного пиршества — пока не грянет гром и яростная месть угнетенных⁶ не постигнет угнетателей. — Я оставил пока свою поэму⁷; *сейчас* у меня не лежит к ней душа. Сейчас я пишу эссе, которые думаю опубликовать летом. Мелкие стихотворения⁸, о которых я упоминал, *Вы* скоро прочтете; я собираюсь отослать их издателю. — Я считаю, что не следует ничего печатать анонимно. Я издам их под своей фамилией, с предисловием, где изложу свои взгляды, так как стихотворения не совсем бесполезны. «Пою, и песнь моя свободе будет милой»⁹. Можете ли *Вы* помочь мне в трудах более важных? Харриет сетует, что я не щажу своего здоровья, и боится, как бы я не угодил в тюрьму. — Милая девочка шлет Вам привет — она в Вас положительно влюбилась. Что *Вы* посоветуете мне относительно Хогга и дядюшки? Если *Вы* считаете нужным, я ему скажу. Будьте моим наставником, руководителем, советником, половиною моей души. Я настаиваю на этом. О Паркинсоне¹⁰, я не слышал. О Ксенофоне¹¹ я не могу говорить за нехваткой места. За «Органическими остатками и т. д.» я пошлю. «Политическая справедливость»¹² Вам

понравится; Вы подготовлены для взглядов, которые там высказаны (надеюсь, что у Вас — *первое* издание) — главы об истине и искренности потрясают своей правдой; впрочем, я не хочу предварять Ваши впечатления. Я не сказал еще тысячи вещей — оставляю их до следующего письма.

И все-таки я *буду* жить после смерти.

Ваш, ваш навеки

Перси Ш.

[P. S] Если с Вас возьмут как за двойной лист, покажите им это или вскройте письмо, и они убедятся сами.

39

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ¹

*Кесвик, Кемберленд,
3 января 1812*

Вас удивит это письмо от незнакомца. Меня не представили Вам и, вероятно, никогда не представят, следовательно, это могут назвать вольностью; но, хотя такая вольность не дозволена обычаями, разум ее не осуждает; ради блага человечества необходимо, чтобы пустой этикет не «держал человека вдали от другого». Имя Годвина всегда вызывало во мне уважение и восхищение, я привык видеть в нем светоч, слишком яркий для обступившей нас тьмы. С тех пор как я ознакомился с его идеями, я горячо желал приблизиться, на правах личного знакомства, к высокому уму, чьими творениями я наслаждался.

Поэтому Вы не должны удивляться тому волнению, с каким я узнал, что Вы живы, и где живете. Я числил Вас среди великих усопших. Я сожалел, что Ваша славная жизнь окончилась. Но это не так — Вы живы и — я твердо верю — по-прежнему обращаете все свои помыслы на благо человечества.

Я еще только вступил на жизненную арену, но мои чувства и мысли — те же, что и Ваши. — Мой путь был короток, но я уже немало пережил. Я столкнулся со многими людскими предрассудками, немало страдал от преследований, но из-за этого не перестал желать обновления мира. Враждебность, которую я встретил, лишь укрепила убежденность в правоте моих взглядов. Я молод — я горячо предан делу человеколюбия и истины; не подумайте, что во мне говорит тщеславие. Мне кажется, что не оно диктует мне этот автопортрет. Я лишь беспристрастно описываю свое душевное состояние. Я молод — Вы выступили прежде меня; не сомневаюсь, что в сравнении со мной Вы — ветеран в боях с преследователями. Что же странного, если я, отбросив предрассудки, нарушив обычаи, хочу принести пользу и для этого ишу дружбы с Вильямом Годвином? Прошу Вас ответить на это письмо. Как ни ограниченны мои способности, желание мое горячо и твердо. — Посвятив мне полчаса, Вы сделаете доброе дело. Быть

может, мне дали неверный адрес. Быть может, по причинам, о которых мне не дано судить, Вы ищете уединения. Словом, я могу не получить ответа на свое письмо. Если так, то я разыщу Вас, когда буду в Лондоне. Я уверен, что сумею найти слова, чтобы убедить Вас, что я не совсем недостойн Вашей дружбы. Во всяком случае, если для этого нужно желать всеобщего счастья, то это желание я докажу.

Прощайте. С нетерпением буду ждать Вашего ответа.

Перси Б. Шелли

40

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Кесвик, Кемберленд,
7 января 1812

Вот уже два дня откладываю письмо к Вам; и это хуже для меня, чем для Вас. Отчасти это объясняется тем, что мне не хотелось отрываться от сочинения, которым я сейчас поглощен¹; отчасти же — унынием. Поверьте, я с радостью к Вам возвращаюсь. Я о Вас думал, дорогой друг, и сейчас решил не откладывать долее и поразмышлять вместе с Вами. Не бойтесь, меня не посадят в тюрьму². Говорят, что я еще всего лишь змеиное яйцо — полон яда, но жалить не способен. К тому же им ко мне не подобраться. Я справлюсь по Блэкстону³, он мне скажет, какие пункты подсудны, а какие — нет. Поэтому тюрьмы я не жду. Излишне говорить, что я ее не боюсь. — Впрочем, нет, боюсь; это чересчур огорчило бы нашу Харриет, расстроило Вас и могло бы помешать мне сделать много полезного, что можно осуществить только будучи на свободе. — Годвин еще жив; а ведь если бы правительство могло в свое время уничтожить человека, Годвина уже не было бы на свете. Томас Пейн⁴ умер своей смертью — а его сочинения были гораздо резче направлены против правительства, чем когда-либо будут мои. Я хочу поставить счастье человечества на прочную основу. Народные восстания и революции я не одобряю. Если им суждено свершиться, я стану на сторону Народа, но своими рассуждениями я буду стараться отвести эту угрозу от земных Правителей, хотя ненавижу их всей душой. А почему жив еще сэр Фрэнсис Бердетт⁵? Если б мистер Персиваль⁶ мог его казнить, он это уж наверное сделал бы. Нет, дорогой друг, не опасайтесь за мою жизнь; этого они не могут и не посмеют. Не спорю, они это сделали бы, если бы могли. Непростительно, что мисс Адамс⁷ терзает Вас этими страхами. — Подруга души моей, отбросьте их. Бревно от сей кровли может ударить по Вас. Надеюсь, однако, что этого не будет. Я убежден, что в Херсте Вы в безопасности. Если бы не эта уверенность, все епископы, взятые вместе, не сумели бы придумать такого ада, куда я не отправился бы, чтобы встретиться с Вами. Харриет сегодня Вам написала; она сообщает Вам о наших планах — че-

рез месяц я закончу повесть⁸ о причинах того, почему Французская революция не смогла принести счастья человечеству. В конце следующего месяца мы думаем ехать в Дублин, где я ее опубликую; в мае мы хотим видеть Вас у себя в Уэлсе, это на 50 миль ближе Кемберленда. — По правде сказать, мой друг, здесь, в Кесвике, природа прекрасна, но люди отвратительны. Фабрики, со всей сопутствующей им грязью, заполонили мирную долину и пятнают красоту природы человеческой скверной. Развращенные слуги местной знати довершают падение нравов. Кесвик похожит более на лондонский пригород, чем на деревушку в Кемберленде. В реке часто находят младенцев, которых топят несчастные фабричные работницы. Уэлс — совсем иной; и там Вы нас навестите. Расстояние несколько меньше, а ландшафты столь же прекрасны. — Саути говорит, что целесообразность должна быть основой политики, но не морали. А я твержу, что нет более роковой ошибки, чем разделение политики и этики; что первая должна всецело подчиняться второй, ибо то, что правильно в поведении личности, должно быть правильным и для общества, представляющего собой сумму личностей; что «политика — та же нравственность, только более обязательная». — Саути не согласился с моим рассуждением; когда правда — против него, он умеет сказать: «Ах, поживите с мое, и Вы будете думать, как я». Это он применил и в данном случае. Нет ничего слабее такого довода. Для каждой существующей вещи можно найти обоснование. А если нельзя, она может существовать, но в нее уже нельзя верить. Вы увидите в «Юбере Ковене» (так называется моя повесть), что я говорю о неразборчивости в средствах, неискренности, секретности, которые я считаю не последними среди причин насилий и кровопролития во время Французской революции; их роковые следствия можно обнаружить всюду, где мы встречаемся с пороком и несчастьем. — Я уже не столь высокого мнения о Саути, как прежде, — надо признать, что у себя дома, в семейном кругу он предстает в самом приятном свете. Но я хочу сказать, что он не является и не может быть тем великим человеком, каким я его некогда считал. Его ум для этого поразительно узок. А когда-то он был таким — воплощением деятельного добра. — Сейчас он развращен светом, подчинился обычаю; мое сердце разрывается, когда подумаю, кем он мог бы быть. — С Вордсвортом и Кольриджем я еще не встречался. Посылаю Вам стихотворение⁹ — сюжет его не является вымыслом; оно вылилось у меня нынче утром. Все описанное в нем — правда; а последняя строфа — правда дословная. Бедняк сказал: «В нашем роду никто еще не жил на приходскую милостыню, и я лучше умру с голода. Я беден, но мне после этого было бы стыдно людям».

1.

Она была немолода, и годы
С ней шли, как по уступам горных круч.
Она была немолода, но луч,

В слезе мерцавший, был сильнее туч
Угрюмой, злобной, тягостной невзгоды.
Она была калекой, и нужда
Сдружилась с ней, казалось, навсегда.
Порою смутно думалось несчастной,
Что с нищетой бороться — труд напрасный:
С усталых плеч позорная беда
Когтистых, тяжких лап не снимет никогда.

2.

Рос нежный сын. Его любовь мешала
Ей оборвать с постылой жизнью связь;
Она жила, со слабостью борясь,
Она жила и скорби не сдалась,
Как те, что звали смерть душой усталой.
Но вот на юношу насильник злой
Наслал вербовщиков, чтоб шел войной,
Сражая неугодных властелину.
И, боль познав, что злей, чем меч стальной,
Сказав прости единственному сыну,
Рыдала мать в суровую годину.

3.

И в одиночестве неразделенном
Прошло семь лет. В густой тени дубров
Ее могла ты встретить: для костров
Сбирала хворост, находила кров
В час непогоды под шатром зеленым.
Но скудная еда и воздух чистый
Не в силах были хоть на краткий час
Взор прояснить унылый, тусклый, мгlistый —
Взор наводивших ужас впалых глаз.
Она стонала: жизнь отдать готова,
Когда б сбылась мечта — увидеть сына снова!

4.

Июньский вечер. Звезды лили свет,
И о покое каждая гласила.
А мать среди вереска одна бродила,
И боль пронзала сердце с новой силой:
Он здесь был с ней, его здесь больше нет.
Потом ей сладкой грусти покрывало
Согрело душу, злая боль бежала. . .
Но грусть, смешавшись с горечью невзгод,

Была — как яд на острие кинжала.
 Страдалица ждала за годом год
 Мгновенья, что предел тоске положит,
 Когда она обнять сыночка сможет!

5.

И наконец-то счастье к ней пришло.
 Насилий, рабства миновали сроки.
 Вернулся. Хоть на нем их след жестокий —
 Глаза ввалились и увяли щеки, —
 Измученное сердце расцвело.
 В ней снова засверкало жизни пламя.
 Свершение взлелеянной годами,
 Казалось бы, несбыточной мечты,
 Подхваченной фантазии крылами
 В просторы недоступной высоты!
 Кичливый принц! Люби и будь любим,
 Как эти двое, став в величье равен им.

6.

Сражался сын, покорен чуждой власти,
 Был ранен, на себе ловил стократ
 Подстерегающий, тяжелый взгляд,
 Вливавший в чашу юной жизни — яд
 И навлекавший на него напасти.
 И видит мать: не отрок светлых дней —
 Тень, только тень того вернулась к ней,
 Кто честный хлеб им добывал когда-то,
 Чьей милой лаской мать была согрета
 (Чем злей нужда, тем речь его нежней)
 Но Власть швырнула сына в дым сраженья,
 Несчастной отказав в последнем утешенье.

7.

Подачки милосердия бесплодны,
 Не в силах сына с матерью спасти.
 Дорогу к смерти легче им найти,
 Чем повстречать на гибельном пути
 Законника и взгляд его холодный,
 Злорадством искаженные черты
 При виде горя и беды народной —
 Законом освященной нищеты. . .

Прощайте, дорогой друг. Считайте приложенные стихи скорее изображением моих чувств, нежели образцом моего творчества. Скоро я напишу

Вам снова. Ваши письма служат неиссякаемым источником для мыслей и споров. — Благодаря им Саути не отделался так легко, как мог бы в ином случае. Впрочем, я и сам не сторонник принципа наибольшей целесообразности ни в морали, ни в политике. Я не стану творить зло, дабы из этого проистекло добро, — так, по крайней мере, было до сих пор.

Прощайте. Харриет шлет привет. Прощайте, дорогой друг.

Вечно Ваш

Перси Б. Ш.

[P. S.] Вы, кажется, начали сомневаться в бессмертии души. Я — нет. Но об этом в другой раз.

41

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Кесвик,

10 января 1812

Сэр!

Не может быть сомнения, что Ваши занятия я ценю намного выше того удовольствия или пользы, которые достались бы на мою долю, если бы Вы пожертвовали для меня своим временем. Как бы мало времени ни заняло прочтение этого письма и сколько бы удовольствия ни доставил мне ответ, я не настолько тщеславен, чтобы воображать, что это удовольствие важнее того счастья, которое Вы способны принести за это же время другим.

Вы жалуетесь, что обобщенность моего письма лишает его интереса; что Вы не видите во мне индивидуальности. Между тем, как ни внимательно я знакомился с Вашими взглядами и сочинениями, мне необходимо познакомиться с *Вами*, прежде чем я могу подробнее сказать о себе. Как бы чисты ни были побуждения, едва ли непрошеное обращение незнакомца к незнакомцу может иметь иной характер, кроме самого обобщенного. — Спешу, однако, исправить свою оплошность. Я — сын богатого человека из Сассекса. С отцом у меня никогда не было согласия во взглядах. С детства мне внушали и от меня требовали безмолвного послушания; требовали, чтобы я любил, потому что это — *мой долг*, — едва ли нужно говорить, что принуждение возымело обратное действие. Я пристрастился к самым неправдоподобным и безумным вымыслам. Старинные книги по химии и магии я поглощал с восторгом, почти готовый в них уверовать. Ничто внутри меня не сдерживало моих чувств; внешних препятствий было множество, и мне их ставили весьма сурово; но их действие было лишь кратковременным.

Из читателя романов я стал их сочинителем; еще не достигнув семнадцати лет¹, я опубликовал два — «Сент-Ирвин» и «Застроуди», которые

оба совершенно не характерны для меня сейчас, но выражают мое тогдашнее душевное состояние. Я велю послать их Вам; не считайте, однако, что это налагает на Вас обязательство тратить попусту Ваше драгоценное время. — Прошло уже более двух лет с тех пор, как я впервые познакомился с Вашей бесценной книгой о «Политической справедливости»; она открыла мне новые, более широкие горизонты, повлияла на образование моей личности; прочитав ее, я сделался мудрее и лучше. — Я перестал зачитываться романами; до этого я жил в призрачном мире; теперь я увидел, что и на нашей земле достаточно такого, что может будить сердце и занимать ум; словом, я увидел, что у меня есть обязанности. — Вы представляете себе, какое действие могла оказать «Политическая справедливость» на ум, уже стремившийся к независимости и обладавший особой восприимчивостью.

Сейчас мне *девятнадцать лет*; в то время, о котором я пишу, я учился в Итоне. — Едва у меня сложились мои нынешние взгляды, как я стал их проповедовать. Это делалось без малейшей осторожности. Меня дважды исключали², но принимали обратно по ходатайству отца. Я поступил в Оксфорд. — Оксфордская среда была мне невыносима, чужда моим взглядам. Я не мог опуститься до тамошнего образа жизни; высокая поэзия, героические деяния, обращение человечества к истине, установление равенства между людьми — вот что наполняло мою душу. — Вы можете себе представить, какой контраст я составлял с тамошним моим окружением. Пребывание в Оксфорде я заполнил изучением классиков и сочинением стихов. — Тем временем я стал атеистом — если понимать «бога» в обычном смысле. Я издал памфлет³, излагавший мои убеждения и путь, каким я к ним пришел. Я анонимно разослал несколько экземпляров умным и ученым людям, желая решить спор с помощью разума. Я не намеревался отречься от своего сочинения. В числе других его получил мистер Коплстоун⁴ в Оксфорде; он показал его декану и профессорам Университи колледжа. Послали за мной; мне было сказано, что если я отрекусь от написанного, то дело на том и кончится. Это я отказался сделать, и был исключен. Чтобы Вам была понятнее эта часть моей повести, необходимо сказать, что я являюсь единственным наследником имения в 6000 фунтов годового дохода. — Мои взгляды заставляют меня считать майорат большим злом. Понятия моего отца о фамильной чести противоречат моим понятиям об общественном благе. Этими последними я не пожертвую ни при каких условиях. — Отец всегда считал меня позорным пятном на его чести. Он решил лишить меня содержания и этим вынудить поступить на военную службу и принять назначение в какой-нибудь дальний гарнизон; а в мое отсутствие возбудить дело против моего памфлета, чтобы поставить меня вне закона и сделать своим наследником моего младшего брата. — Таковы главные события в истории человека, который Вам пишет. Есть и другие, но я счел нужным сделать выборку — не потому, чтобы хотел что-либо скрыть, но потому, что их перечисление

было бы нескромным. — Судите же теперь, в каком случае Вы принесете больше истинной пользы: позволив мне поддерживать с Вами знакомство, или продолжая занятия, от которых поддержание этого знакомства могло бы Вас оторвать. Сейчас я усердно тружусь. Я пишу «Исследование причин, по которым Французская революция не смогла принести счастья человечеству»⁵. Я поставил своей целью не упускать ни одной возможности для распространения истины и счастья. Я женат на женщине, исповедующей подобные же взгляды. — К Вам, который образовал мой ум, я всегда буду относиться с подлинным уважением и благоговением.

Искренне Ваш
П. Б. Шелли

42

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Кесвик,
воскресенье, 26 января 1812

Дорогой друг!

Спешу ответить на Ваше письмо. — Оно содержит очень дурные вести. Меня печалит человеческая испорченность, но я далек от того, чтобы отчаиваться, ибо вижу, что все зло, даже в самых юных умах, проистекает из ложных понятий, царящих в обществе.

Неудивительно, что люди, не способные размышлять, заметив, как рано проявляются дурные наклонности, делают отсюда заключение о природной порочности человеческой природы. Но если подумать, сколько усилий затрачивается нянюшками и родителями, чтобы укоренить в детских душах ложные понятия, должно ли удивляться ранним проявлениям зла и заблуждений. Я искренне сочувствую Вашим огорчениям; но они из числа тех, которые случаются столь часто, что их надо стараться встречать спокойно и в сознании своей правоты. черпать благородную гордость, которая вселяет в душу возвышенный покой. — Я не ожидал, что Энн¹ так отплатит Вам за Ваши заботы; отныне она смешается с толпой; посеянные Вами семена взойдут среди плевел и терний²; пошлая повседневность погубит побеги, даже не дав им окрепнуть. Вот и еще одно добавление к бремени разочарований, которое гнетет душу и не дает расцвести надеждам. Я буду держаться тех, кто сейчас является надежной опорой моих упований; а если и они обманут, человеческая природа представится мне заглохшим садом³, и на всей земле не будет чудовища более жестокого и уродливого, чем человек. — Не подумайте, даже на минуту, будто я усомнился в Вас. Мое доверие к чистоте и непоколебимости Ваших принципов превосходит доверие, которое я питаю к своим собственным. — Только что высказанное предположение — кощунство против любви и дружбы; считайте его случайно мелькнувшей мыслью, тучкой, которая на

миг заслоняет месяц, а затем уплывает в ночную синь. — Харриет написала Вам о событии⁴, которое ее встревожило. Я считаю его совершенной случайностью, которая может произойти однажды, но тем менее вероятно ее повторение. Этот человек, очевидно, хотел меня ограбить; я упал внутрь комнаты, и это помешало ему осуществить свое намерение. Вам незачем обо мне тревожиться. Я боялся, как бы Вы не прочли об этом в газете и не подумали, что мне нанесены серьезные ушибы. Отбросьте все мысли о подосланных убийцах, о слежке и тюрьме. Я хочу от Вас уверенности в нашем благополучии и успехе в добавление к добрым пожеланиям, которые надуют паруса нашего судна и будут нашими ангелами-хранителями. — Все уже готово для Ирландии, только не получено еще 100 фунтов, со дня на день ожидаемые от поверенного Уиттона. (Кстати, отец согласился выдавать мне 200 фунтов в год, присовокупив к этому лестное замечание, что делает это, чтобы я не надувал посторонних!) Итак, все готово. Я усердно сочинял «Обращение к ирландцам»⁵, которое будет напечатано, как печатались сочинения Пейна, и расклеено на улицах Дублина. Там будут также напечатаны мои стихи, «Юбер» и эссе. А потом мы встретимся с Вами в Уэлсе. — Я хотел бы поселиться в каком-нибудь старинном феодальном замке, где полуразрушенные башни будут символами одряхлевшего царства неравенства и угнетения, а плющ взовьвет над башнями зеленые знамена свободы, пышно разрастаясь на здании, пытавшемся раздавить ее корни. Привидения я также готов приветствовать, хотя Харриет просит их не вызывать. Но они рассказали бы нам предания старины; и их легкие тени, скользя под сводами склепов, очень способствовали бы живописности обстановки.

К нам в гости мог бы приехать капитан и тетушка с малютками; может быть, и Вы привезли бы милых маленьких американок⁶ и мою мать — мисс Адамс. Быть может, приедет и Годвин — я постараюсь его уговорить. Этот замок сейчас, кажется, воздушным, но что тут дурного, если люди тешатся надеждами? Мои всегда несколько призрачны. Но если мы с Вами будем живы, главное в наших планах сбудется. Я узнал от дяди, что сэру Б[иши] Шелли осталось недолго жить, что он скоро умрет. Он — убежденный атеист и все свои надежды строит на исчезновении. Он очень дурно обходился с тремя своими женами. Вообще он дурной человек. Я никогда его не уважал; я всегда считал его бичом общества. — О его смерти я не стану горевать. И траура не надену, и на похороны не явлюсь. Его смерть для меня — это смерть закоснелого распутника⁷. Я никогда не соглашусь ложно представлять свои чувства.

Имею смелость думать, что Вам понравится мое «Обращение к ирландцам». Его цель — разъяснить необразованным умам понятия свободы, человеколюбия, мира и терпимости. Втайне оно предназначено служить введением к другим памфлетам, которые пошатнут основы католицизма и предложат квакерские и социннианские принципы в политике, не затрагивая самого христианства, ибо сейчас это не нужно толпе, а может бро-

сильная тень на остальные изложенные в них идеи. Томик стихотворений окажется, я боюсь, плохим; он может быть интересен одним лишь философски настроенным умам, которые любят проследить зарождение чувств и взглядов и умеют быть снисходительны к нескольким неудачным стихам. Никто лучше Вас, мой друг, не сумел бы составить о них верное суждение, хотя, впрочем, Ваше пристрастие к их автору не позволяет ему считать Вас непогрешимым судьей в том, что касается его дарований. О «Юбере» я Вам уже писал. Саути сожалеет о нашем отъезде. Калверты⁸ были против и даже яростно против, исключая миссис Калверт, которая от души желает нам успеха. И мы его достигнем. Я убежден в невозможности неудачи. Пусть Ваш чистый дух воодушевляет нас на дело. О если б Вы были с нами! Вы считаете себя некрасивой, но если Вам не удалось бы очаровать придворных Дублинского замка⁹ гладкой кожей и стройным станом, то Ваша горячая речь и огненный взор заставили бы их почувствовать свое ничтожество и завоевали всех, чьи сердца откликаются на зов справедливости и человеколюбия.

За этим письмом меня застал обеденный час. После этого я прочел Ваше письмо к Харриет. О дорогой друг, пусть мелкая неблагодарность какой-то змеи не ранит Вас так глубоко. Старайтесь не чувствовать ее. Или нет, чувствуйте, чтобы я мог чувствовать вместе с Вами, чтобы каждый трепет нервов передавался от Вас ко мне и от меня к Вам. Дерзайте! Вы неверно поняли Харриет; она не беременна. Это было бы счастьем, которого я не жду. Могу вообразить себе Ваши надежды и чувства при этой мысли. Я надеюсь иметь много детей. Это теснее свяжет нас: Вас, меня и Харриет. Веря во всемогущество воспитания, я не сомневаюсь: все у них в конце концов сложится благополучно.

[Следует приписка Харриет Шелли]

Харриет исписала почти весь этот лист, пока я писал Капитану. Не считайте это за письмо. Оно за мной. И я рассчитаюсь сполна. Как может подтвердить Харриет, я совершенно оправился от нервного заболевания, о котором писал. Не тревожьтесь ни о моих нервах, ни об убийцах, соглядателях, правительстве и тюрьме. Я уже сказал, что для попутного ветра в Дублин мне нужны Ваши надежды и уверенность.

Женщина-почтальон ждет; поэтому я прощаюсь с Вами, дорогой друг. Да сопутствуют моему другу счастье и надежда до нашей встречи на дублинском почтамте.

Ваш
П. Б. Ш.

Я в сильных, хоть и вульгарных выражениях заверил почтмейстера, что здесь всего один лист.

43

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Дублин,
24 февраля 1812

Дорогой сэръ!

После весьма утомительного путешествия по морю и суше мы прибыли к нашей цели; я на несколько дней запоздал уведомить Вас об этом, зато сейчас могу вложить в письмо свою только что отпечатанную брошюру¹ и таким образом избежать лишних почтовых расходов. Я намеренно упростил язык своей брошюры, чтобы приспособить ее содержание к вкусам и понятиям ирландского крестьянина, отупевшего от векового невежества и порока. — Я полагаю, что сейчас в нем стали пробуждаться лучшие чувства; личные интересы в какой-то мере уступили общим под влиянием гонений на католиков и акта об униии; поступки Принца² вызвали негодование, которое может привести к стихийному бунту, — подобным кризисом нельзя не воспользоваться. — У меня печатается еще одна брошюра³, где я обращаюсь уже к другим общественным группам с призывом создать филантропическое общество. Ему не будет угрожать *противоестественное единогласие*; если меньшинство будет откалываться по отдельным вопросам, общество может распасться на двадцать отдельных обществ, и все они будут едины в главном, хотя и разойдутся в частностях.

Наше путешествие было очень утомительным. Переправляясь с острова Мэн, мы были отнесены бурей к северной оконечности Ирландии. Харриет (моя жена) и Элиза (свояченица) были крайне утомлены сильной качкой, длившейся двадцать восемь часов. Сейчас они несколько оправились. Я очень признателен Вам за рекомендательное письмо к мистеру Керрану⁴. — Его речи заинтересовали меня еще прежде, чем я решил поехать в Ирландию. Он, по-видимому, единственный человек, ставший в страшное время мятежей на защиту заключенных. Я побывал у него дважды, но не застал его дома. Надеюсь, что мотивом, побуждающим меня печататься в столь молодом возрасте, является не желание выделиться, но стремление принести пользу. Прежде всего, мое здоровье не позволяет мне рассчитывать на столь долгую жизнь, как Ваша, — кто в девятнадцать лет страдает нервами и легко утомляется, тот не может надеяться, что будет здоров и крепок в пятьдесят. Поэтому я решил бережливо расходовать свои силы, чтобы успеть свершить возможно больше. — Я заметил, что за сочинением и в споре мой ум, отдавая все, что имеет, одновременно черпает новые силы; темы рождаются у меня в беседе; иной раз я начинаю писать на какую-либо тему, еще не имея определенной точки зрения, — она выявляется в ходе самого рассуждения. Вот почему я пишу и печатаю, ибо не напечатаю ничего такого, что не побуждало бы к добру, и, следовательно, если мои сочинения вообще оказывают какое-либо воздействие, то это воздействие доброе. — Мои взгляды на общество и мои

надежды встречают сочувствие лишь у немногих; но любовь к добродетели и истине свойственна многим. Я стану пользоваться только этими средствами в моей деятельности; и как бы несбыточна ни казалась иным предлагаемая мною цель, поступая добродетельно, они тем самым вместе со мною будут содействовать ее достижению. — Для моралиста и философа мои сочинения представят плоды ума, быть может необработанного, но который с самого начала шел по собственному пути; отвергать эти ранние его черты, значило бы стереть те, которые от встреч со светом не утратили угловатой оригинальности. Но довольно о себе.

Мне жаль, что Вы не сможете приехать летом в Уэлс; я мечтал встретиться с Вами впервые в таком месте, которое было бы похоже на место встречи Флитвуда и Рuffиньи⁵; Ваши мудрые наставления слились бы тогда в моей душе со зрелищем Природы, где она предстает во всей своей прекрасной простоте и великолепии, и так запомнились бы навек. Этому пока не суждено быть. Я буду, однако, надеяться, что когда-нибудь в будущем закатные лучи Вашей жизни осветят мою душу среди подобных зрелищ. — Осенью я приеду в Лондон; летом нас обещает навестить в Меррионетшире очень дорогой нам друг⁶, и должен признаться, что я не настолько стоик, чтобы не чувствовать, как радости дружбы усиливаются под воздействием красоты и величия природы. К тому же Вы знаете, что я *являюсь*, или воображаю себя, немного поэтом. — Вы упоминаете о моей жене; она шлет Вам и всем Вашим близким свой самый сердечный привет. Это — женщина, чьи стремления, надежды, опасения и горести были столь схожи с моими, что несколько месяцев назад мы поженились. Я надеюсь до конца этого года представить ее Вам и Вашей семье, как представлялся я сам. Таковую вольность я могу позволить себе только с теми, кто сделал меня тем, что я есть.

Прощайте. Скоро я напишу еще. Передайте мой почтительный привет всем Вашим близким. Я чувствую себя почти у Вашего домашнего очага.

Искренне Ваш

[Подпись отрезана]

[P. S.] Прислали ли Вам книги? Я послал Вам брошюру, за которую меня исключили⁷. С тех пор мои взгляды не изменились. Я знаю, что Мильтон верил в христианство, но не забываю, что Вергилий верил в древнюю мифологию.

44

ГАМИЛЬТОНУ РОУЭНУ¹

Дублин, Лоуэр-Сэвил-стрит 7,
25 февраля 1812

Сэр!

Хотя я и не имею удовольствия быть лично знакомым с Вами, я считаю мотивы, побудившие меня сочинить прилагаемый памфлет², доста-

точно вескими, чтобы позволить себе послать Вам несколько экземпляров и отбросить церемонии там, где дело касается общественного блага. — Сэр, я — англичанин, но сочувствую делу Ирландии. Я покинул страну, к которой принадлежу по случайности рождения, с единственной целью — добавить свою скромную лепту в тот фонд, которым, я надеюсь, располагает Ирландия, и помочь ей в ее неравной, но священной борьбе. Через несколько дней я опубликую еще один небольшой памфлет³, который будет Вам послан. Я намеренно упростил слог того, который сейчас прилагаю. Я отпечатал 1500 экземпляров и сейчас распространяю их в Дублине.

С уважением остаюсь

Вашим покорным слугой

П. Б. Шелли

45

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

*Лоуэр-Сэквил-стрит 7,
27 февраля 1812*

Не подумайте, что я Вас забыл. — Я усиленно занимаюсь именно тем, что должно Вам доказать мою привязанность. — Я укрепляю неразрывные узы нашей дружбы; я не писал Вам два дня, но оба они были употреблены на распространение идей человеколюбия и свободы. Я распространил уже 400 экземпляров своего памфлета¹, и они произвели в Дублине большую сенсацию. Осталось распространить еще 1100. — Экземпляры разосланы в 60 таверн; никто еще не пытается привлечь меня к ответственности — и сделать это им, по-моему, не удастся. Поздравьте меня, мой друг, ибо все идет хорошо. Более быстрого успеха я не мог ожидать. Люди, с которыми я познакомился, одобряют мои принципы и считают неопровержимыми идею равенства, необходимость реформы и вероятность революции. Однако они расходятся со мной относительно методов, какими я осуществляю эти идеи, и считают, что в политике надо использовать все средства, ведущие к цели, как это делают противники нового. Я надеюсь убедить их в обратном. Ожидать, что из зла может произойти добро, а ложь способна породить правду, — не более разумно, чем вообразить короля-патриота или камергера, который был бы честным человеком.

Дорогой мой друг, неужели Вы не жаждете быть с нами? — Я уверен в этом, если существует родство добродетельных душ; ибо чувствую, что Ваше присутствие мне необходимо, и не только ради невыразимого удовольствия общения, но и потому, что Вы разделили бы со мной великую радость — пробуждать благородный народ от спячки, в которую он впал, будучи в оковах; а также потому, что Ваш могучий ум помог бы развить

мои еще незрелые замыслы. — Здесь все полно напряженного ожидания. Я каждый день посылаю человека распространять экземпляры, указывая ему, как и где это делать. По его сведениям, брошюра имеется уже у множества людей. Я стою на нашем балконе, жду, когда покажется подходящий на вид человек, и бросаю ему экземпляр. В понедельник выйдет из печати еще одна моя брошюра²; эта адресована другим слоям общества и призывает объединяться в ассоциации. — Я задумал также обращать в свою веру студентов дублинского колледжа. Тех, кто не погрузился окончательно в распутство, удастся, быть может, спасти. Я знаю, сколько *доброто* заложено в человеке, несмотря на ужасающую развращенность, насаждаемую современным воспитанием. Почти повсюду я встречаю проявления доброты и доброй воли; нет сомнения, что соответствующее образование или намеренно внушенные впечатления помогли бы укреплять добро и искоренять зло. Наша «Филантропическая ассоциация»³ ставит своей целью и то, и другое. — Пока Вы будете с нами в Уэлсе, я попытаюсь организовать такое общество там, и оно установит связь с дублинским: быть может, я мог бы создать их по всей Англии и таким образом осуществить *мирную* революцию. — Каково настроение умов в Сассексе? Много ли там мыслящих людей? Прежде чем ожидать следствий, надо найти соответствующую причину. Я не могу слышать восхвалений Славной Революции 1688 года⁴. — Можно ли называть славным время, когда парламент с самоуверенностью, равной только его тупости, и с близорукостью, возможной лишь при самом слепом эгоизме, провел закон, навечно отдав себя и потомство Вильгельму и Марии и их наследникам. Вчера я впервые видел этот закон; и вся кровь моя кипит при мысли, что кровь Сиднея⁵ и Хемпдена⁶ пролилась напрасно, и что даже защитники свободы, как их называют, пали так низко и попытались преградить людям путь к совершенствованию. Я не читал Э. Флауера⁷, но прочту. Я о нем слышал. Если он и был кальвинистом, то теперь нет. Это я утверждаю на основании одной лишь его маленькой заметки, которую я видел. Я достану его книгу и напишу ему, и Вы таким образом с ним познакомитесь. Читали ли Вы «Мемуары о якобинстве»⁸ аббата Баррюэля? Хоть они наполовину состоят из самой гнусной и бездоказательной лжи, их все же стоит прочесть. Вам, которая умеет отличать истину, я это советую. — Здесь мне очень мешает моя *молодость*. Странно, что об истине не судят по ее собственной ценности, не взирая на то, кто ее изрекает! — Думая усилить *выгодное* впечатление, слуга сообщил, что мне всего 15 лет. Этому, разумеется, не поверили.

С Керраном я еще не виделся. Мне не нравится, что он согласился принять должность судебного архивариуса. Здесь сейчас находится О'Коннор, брат мятежного Артура⁹, я к нему написал. Не бойтесь того, о чем Вы говорите в своих письмах. Я решил. — Принципиальные люди здесь редки. Газеты выражают мнение оппозиции или министерства; оба одинаково жалки и узки. Мне хотелось бы изменить все это. Меня, ра-

зумеется, ненавидят обе партии. — Я возлагаю больше надежд на остатки «Объединенных ирландцев»¹⁰, которые ненавидят Англию, ибо не прощают ей обид. Я не встречал решительных республиканцев, но обнаружил таких, которых можно демократизировать. Встречаю колеблющихся между христианством и деизмом. — Попытаюсь побудить их отбросить все дурное и принять все хорошее, что содержится в еврейских книгах. — Я часто думаю, что нравственные изречения Иисуса Христа могли бы быть весьма полезными, будучи очищены от окружающей их таинственности и безнравственности; это я хочу показать в небольшом задуманном мною сочинении¹¹. Мы уедем отсюда в конце апреля. Я и в Уэльсе не буду праздным. — Там Вы к нам приедете. Привезите с собой милых маленьких американок¹², оставьте преподавание в школе и поселитесь с нами навсегда. — Я твердо убежден, что долг и польза требуют этого не менее, чем счастье и дружба. Мы обязаны кое-что сделать в этом мире, и для этого нам отведен лишь определенный срок. — Какой убедительный довод в пользу объединения наших умственных усилий!

[Приписка рукой Харриет]

Дорогой друг,

Перси велел мне дописать этот лист, но я, право, не знаю, что сказать. О, вчера я получила очень ласковое письмо от милой миссис К[алверт]. Пожалуйста, не ревнуйте, когда я о ней упоминаю. Она боится, что мы здесь не принесем пользы и что изменим наше мнение об ирландцах, — мы пока еще мало с ними встречаемся, но, когда они больше узнают Перси, думаю, что и мы узнаем их лучше. Перо у меня, как обычно, плохое. Я уверена, что Вы бы посмеялись, если бы видели, как мы распространяем памфлеты. Мы их бросаем из окна и раздаем людям, которых встречаем на улице; я просто умираю со смеху, когда это делается, а Перси сохраняет полную серьезность. Вчера он вложил экземпляр в капюшон плаща одной женщине. Она ничего не заметила. А я едва могла идти дальше, так я корчилась от смеха.

[Приписка рукой Шелли]

Меня позвали по делу, пока Харриет тут что-то царापала. По тому, как я запустил нашу переписку, Вы можете судить, насколько я занят. Прощайте. Почта отправляется. Скоро напишу снова.

Неизменно Вас любящий

Перси

46

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Дублин, Сэквил-стрит,
8 марта 1812

Дорогой сэр!

Ваше письмо доставило пищу моим мыслям — прошу Вас, наставляйте меня и направляйте. Прощайте мне все мои слабости и мою непоследовательность; к моему искреннему уважению и любви, внушенным Вашими высокими качествами, не примешивается даже мысль о каком-либо внешнем давлении на меня; когда Вы мне выговариваете, это говорит сам разум; я подчиняюсь его решениям. — Я знаю, что тщеславен, что берусь играть роль, быть может, несоразмерную с ограниченностью моего опыта, что мне недостает скромности, которую обычно считают необходимым украшением юношеской непосредственности. — Я не пытаюсь скрывать от других и от себя самого эти недостатки, если они таковыми являются. Я сознаю, что заблуждался, когда вел себя именно так; но думаю, что в противном случае мои заблуждения были бы серьезнее. «Убеждение, что он действует на благо, присутствует в любом действии человека»¹. — Да, конечно, я убежден, что мои нынешние действия направлены на благо; если я утрачу это убеждение, тогда изменятся и мои действия. Исследовать факты несомненно нужно, более того, без них нельзя обойтись. Я стараюсь читать книгу, содержащую нападки на самые дорогие мне идеи, с тем же спокойствием, что и книгу, где я нахожу им подтверждение. — Ваши сочинения я читал не поверхностно; они произвели на меня глубокое впечатление; их доводы еще свежи в моей памяти; я ежедневно имею случай обращаться к ним, как к союзникам в деле, которое я отстаиваю. Им и Вам я обязан бесценным даром, вдохнувшим в меня силы, тем, что избавился от умственной хилости и пробудился от летаргии, в которую был погружен два года назад и которая породила «Сент-Ирвин» и «Застроцци» — произведения болезненные, хотя и не оригинальные.

Я отнюдь не забыл того, что Вы писали о союзах. — Но «Политическая справедливость» была впервые издана в 1793 году; с того времени, как распространились ее идеи, минуло почти двадцать лет. И что же? Разве люди перестали сражаться? Разве исчезли на земле пороки и несчастья? — Разве осуществилось рекомендуемое Вашей книгой общение у домашнего очага? Из множества читателей этой бесценной книги сколько было ослеплено предрассудками; сколько людей прочли ее лишь ради удовлетворения минутной тщеславной прихоти, а когда она перестала быть новинкой, отбросили ее и поддались моде на аргументы мистера Мальтуса!² Я предложил создать «Филантропическую ассоциацию»³, которая, как мне кажется, не противоречит принципам «Политической справедливости», но в точности им соответствует. «Обращение»⁴ предназначалось главным образом для ирландских *простолюдинов*. Кто еще находится в столь тяжелом положении, как они? Пьянство и тяжкий труд

превратили их в машины. Устрица, подвластная приливам, находится, как мне кажется, почти на том же умственном уровне. — Неужели невозможно пробудить нравственное чувство у тех, кто, по-видимому, так мало пригоден для осуществления высокой миссии человека? Быть может, простое изложение нравственных истин, приспособленное к их пониманию, произведет самое лучшее действие. Общество движется не вперед, а назад; если в надеждах, которые я лелею, есть хоть доля истины, это должно измениться. Но даже если человечество стоит на одном месте, то и тогда ему нужна деятельность гуманистов. Я с досадой и нетерпением думаю о том, как мало успела человеческая мысль за последние 20 лет. — Сознаюсь, мне очень хочется, чтобы что-то было сделано. Но вернемся к предлагаемой мною «Ассоциации». В Замечаниях о ней я пишу следующее: «Чтобы любое число людей, встречаясь ради человеколюбивых целей, в дружеской дискуссии выясняли те вопросы, по которым они расходятся, и те, в которых они согласны; и, проверяя их разумом, достигали единогласия, основанного на разуме, а не того поверхностного согласия, какое мы слишком часто находим у политических партий; чтобы по любому важному вопросу меньшинство, не согласное с мнением большинства, могло отколоться. В результате такого отсева некоторые ассоциации могут включать не более трех-четырех членов». — Я не думаю, чтобы подобные общества противоречили Вашей главе о союзах; они не предлагают насильственных или немедленных действий; их цель — способствовать изучению положения и осуществлять рекомендуемое Вами доверительное общение. Посылаю Вам «Предложения», а скоро пришлю и «Замечания»⁵.

До сих пор я не представлял себе, в какой нищете живут люди. Дублинская беднота несомненно самая жалкая из всех. В узких улочках гнездятся тысячи — сплошная масса копошащейся грязи! Каким огнем зажигают меня подобные зрелища! И сколько уверенности они придают моим стараниям научить добру тех, кто низводит своих ближних до такого состояния, худшего, чем смерть. Именно к ним я мысленно обращался. Как быстро изменились мои взгляды на этот предмет. И, однако, как глубоко сама эта перемена укрепила убеждения, приведшие меня сюда. — Я не думаю, чтобы моя книга в малейшей степени призывала к насилию. Я так настойчиво, даже повторяясь, твержу о мирных средствах, что каждый воитель и мятежник, прежде чем стать таковым, будет вынужден отвергнуть почти все положения моей книги и таким образом снимет с меня ответственность за то, что он им стал. Я содрогаюсь при мысли, что даже кровлей, под которой я укрываюсь, и ложем, на котором сплю, я обязан людскому бессердечию. Надо же когда-нибудь начать исправлять это. — Ясно ли я изложил свои взгляды? — Неужели мы и теперь расходимся?

Я еще не виделся с мистером Керраном. Я был у него не раз, оставил свой адрес и памфлет. Но до отъезда из Дублина я увижу его непременно.

Посылаю газету⁶ и «Предложения». Я не имел понятия, что посланный мною пакет будет отправлен по почте. Я думал, что он будет доставлен Вам дилижансом. — Харриет, вместе со мной, посылает Вам поклон. — Может быть, Вы все же перемените решение относительно Уэлса? Разве Вашим детям не будет полезна поездка?

Искренне уважающий Вас

П. Б. Шелли

[P. S.] В газете Вы найдете упоминания обо мне. Я тщеславен, но не так глуп, чтобы быть польщенным — а не раздосадованным — газетной похвалой. — Я повторил свою просьбу касательно «Сент-И[рвина]» и «Э[астроцци]».

Слово *затраты* я употребляю в своем «Обращении» в нравственном смысле.

47

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

Дублин, Графтон-стрит 17,
10 марта 1812

Мой любимый друг!

Ваши письма получил. Чтобы побеседовать с Вами, я урываю время от необычайно интересных дел. Ум мой не успевает советоваться с сердцем, а сердце — с умом, но с оставленной частью меня самого, с тобой — *триединством* моего существа, я хочу побеседовать. Не могу перечислить всех ужасных примеров неограниченной и узаконенной тирании¹, о которых я здесь слышу, — хорошо, если бы я сумел рассказать о тех, которые видел сам. — В Лиссабоне одного ирландца² разлучили с женой и семьей за то, что он беженец, и заставили служить рядовым в португальской армии; это сделал *Бересфорд*³, чудовище антипатриотизма и жестокости, кумир воюющих. Скоро Вы прочтете копию его письма и услышите, как я или сэр Ф. Бердетт⁴ выступаем в его защиту. Он *будет* свободен; здешний народ пробудится. Обстоятельства этого дела поражают сочетанием подлости и произвола. Вся кровь моя бешено кипит при мысли об этом. — Мальчик, которого я нашел в неопишимо грязном и нищем логове, где он голодал вместе с матерью, которого я спас оттуда и хотел научить грамоте, — этот мальчик был схвачен по ложному обвинению в том, что был дерзок с каким-то проклятым чиновником, и тот предоставил ему выбор между *штрафом* и военной службой. Он не хотел ни того, ни другого, но его силой взяли в солдаты. Об этом я узнал нынче утром. Я решил вырвать его хоть бы из самой пасти правительства, постаравшись при этом (если удастся) вырвать и ядовитые зубы. — Вдова с тремя малолетними детьми была схвачена двумя констеблями. — Я увещевал, я просил, я сделал все, что было в моих силах. Квартирная хозяйка растро-

галась. Констебль смягчился, а когда я спросил, есть ли у него сердце, он сказал: конечно, разве он не человек; но его по таким делам посылают раз по двадцать за вечер. Преступление женщины заключалось в краже хлеба ценою в пенни. — Но она пьет, и ни я и никто другой все равно не спасут ее от голодной смерти. Я не в силах более выносить этот город, я жажду быть с Вами и иметь покой. Богачи втоптывают бедняков в грязь, а потом презирают их за это. Обрекают их на голод, а потом вешают, когда те украдут кусок хлеба. — Но довольно об этом. Ты, дорогой мой друг, среди этих ужасов светишь нам, как звезда мирного счастья, — мы ждем его от Тебя; пускай не полное, ибо земное, оно все же ни с чем не сравнимо и позволяет предчувствовать то время, когда не будет страданий и пороков. Ваш новый план — чтобы мы приехали к Вам в Херст — великолепен. Так оно и будет. Я еще не показывал Вашего письма Харриет и Э[лизе]; они сейчас на прогулке с неким мистером Лоулессом⁵ (ценным человеком); но я решаюсь прочесть радостное согласие в книге их сердец, даже не перевернув страницы. Из Уэлса мы уедем вместе с Вами, но сейчас довольно об этом. К тому же я не хотел бы жить вдалеке от дяди⁶; я ценю, люблю и уважаю его; он был против этой поездки, да и совесть — это такой суд, решение которого я не смею обжаловать. Через день-два я пошлю Вам пакет — *дилижансом*. С предыдущей посылкой вышла досаднейшая ошибка⁷. Это все честный, но бестолковый ирландец, которому она была поручена. Пришлите мне сассекские газеты. Поместите или заставьте их поместить отчет обо мне. Это может быть полезно для подготовки общественного мнения. Посылаю Вам сегодня два таких. — С «Ассоциацией» дело подвигается медленно⁸, и я боюсь, что ее не удастся создать. Предрассудки против моих взглядов столь сильны, что меня чаще ненавидят как безбожника, чем любят как поборника свободы. — В той газете, что меня расхваливала, Вы прочтете на той неделе мое письмо редактору. Некоторые найдут, что оно составлено в чересчур резких выражениях. Но по крайней мере я здесь все-таки был услышан и кое-кого разбудил. Может быть, я чего-то достигну, но боюсь, что потерплю неудачу в главном — в создании «Ассоциации». В Дублине это всего труднее. За Уэлс я не опасуюсь. За Льюис бояться смешно, в нем я уверен. Ваш книжный клуб — отличная идея, развивайте ее, не давайте угаснуть ее духу. Мексиканская республика процветает⁹. Я видел американские газеты, но еще не успел их прочесть. Знаю только, что в Южной Америке республиканское движение ширится; считается, что скоро не останется ни одной провинции, где признавали бы старую испанскую династию. Я надеюсь здесь принять участие в издании газеты. Ко мне с этим делом приходит ежедневно немало людей; но ни один не годится. Очень силен здесь фанатизм.

48

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

*Дублин, Графтон-стрит 17,
18 марта 1812*

Дорогой сэр!

Я уже сообщал, что подчиняюсь Вашему решению¹, и слово у меня не расходится с делом. Я изъясился в обращении сочинения², в которых высказал ошибочные взгляды, и собираюсь покинуть Дублин. Но я это сделал не потому, что считаю, будто объединения, такие, какими я их себе мыслил, способны принести вред. Совершенствование человека может быть ускорено или задержано; союзы, которые я рекомендовал, содействовали бы первому; возможность отколоться позволила бы избежать показного единогласия, а гласность не допустила бы никаких насильственных перемен.

Я не из тех, кто из гордости не желает признать своей близорукости или высказать убеждения, противоречащие прежним. Я признаю, что мои планы объединения невежественных людей несвоевременны; опасными я их не считаю, ибо одновременно я требовал полной гласности; к тому же я не думаю, чтобы крестьянин стал внимательно читать мое обращение, а прочитав его, проникся кровожадными чувствами. Нестерпимо больно видеть человеческие существа, способные подняться к вершинам науки, подобно Ньютону и Локку, и не пытаться пробудить их от спячки, столь далекой от этих вершин. Часть города, называемая Либерти³, представляет зрелище такой нищеты и бедствий, что его не выдержал бы и более хладнокровный человек, чем я. Но я подчиняюсь. Я не стану больше обращаться к неграмотным. Я буду ожидать событий, участие в которых будет для меня невозможно, и содействовать достижению цели, которая будет достигнута спустя столетия после того, как я стану прахом; надо ли говорить, что такое решение требует стоицизма. Вернуться к бездушной суете обыденной жизни, заинтересоваться неинтересными мелочами — этого я не смогу. Чтобы всецело абстрагировать свои взгляды от себя самого, несомненно нужно неслыханное бескорыстие; а ведь нет ничего более абстрактного, чем трудиться для отдаленных веков. — Моя идея «Ассоциаций» была, конечно, результатом тех понятий о политической справедливости, которые я впервые почерпнул из Вашей книги на эту тему. Но я недаром прочел в ней также и о дружественных беседах, которые Вы советуете проводить повсеместно, и недаром получил предостережение против формального единогласия. Последнее я имел случаи наблюдать на банкетах. Особенность моих ассоциаций состояла бы в том, чтобы принять первые и избежать второго. — Кроме того, я хотел пренебречь ближайшими требованиями ради более общих и отдаленных целей совершенствования общества. Я хотел воспользоваться нынешней возможностью и попытаться содействовать приближению этого, а целью моей было создание кружков для дружественных беседований, которые не

получили еще всеобщего распространения. Мне кажется, что в пору издания «Политической справедливости» Вы ожидали более скорых перемен к лучшему; я считаю, что если бы Ваша книга была так же широко распространена, как Библия, мир выглядел бы сейчас совсем иначе. Я прочел Ваши письма; прочел с тем вниманием и уважением, какого они заслуживают. Если б я, подобно Вам, был свидетелем французской революции, возможно, что я стал бы еще осторожнее. — Я видел и слышал достаточно, чтобы усомниться во Всесилии Истины в том обществе, где мы живем. Я буду сообщать Вам о всей своей деятельности; а если стану ошибаться, поправляйте меня строго.

Если б я был один и не был связан некоторыми обязательствами, я приехал бы в Лондон немедленно. — Сейчас я должен это несколько отложить. — Мы уедем из Дублина через три недели. Одна особа исключительных дарований⁴, которую я имею счастье числить среди своих друзей, обещала навестить меня в Уэльсе. Миссис Шелли очень просит меня еще раз попытаться уговорить Вас тоже приехать в Уэльс — если уж Вы не можете, быть может, Ваша милая семья, — с которой все мы жаждем познакомиться, — захочет вместе с нами подышать чистым воздухом гор? — Чтобы все было по форме, миссис Шелли передает поклон миссис Годвин и всей семье и повторяет приглашение. С нами здесь находится мисс Вестбрук, моя свояченица; и в одном у нас во всяком случае нет недостатка, а именно в пылкости и искренности.

Не опасайтесь больше, что я стану способствовать в Дублине какому-то насилию и опасным мерам. Я не пришел к определенному мнению относительно ассоциаций. В одном смысле они кажутся мне полезными, в другом — вредными. Я подчиняюсь Вашему решению. Меня не назовешь гордецом, чрезмерно замкнутым или упрямым. Надеюсь, время покажет, что Ваш ученик более достоин Вашего хорошего мнения, чем до сих пор оказывалось, — во всяком случае, он будет неизменно искренен с Вами и верен Вам.

П. Б. Шелли

49

ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

*Нантгвилл, Райадер, Радноршир,
16 апреля 1812*

Дорогой друг!

Как Вы должно быть удивлены моим долгим молчанием и чему только не приписываете его, каких не испытываете страхов и подозрений. — Поверьте, все это я чувствовал, но не хотел писать, когда не о чем было рассказать, кроме мелких огорчений. Вот уже две недели, как я считаю каждый день последним днем наших странствий, и надеюсь, что скоро уже смогу встречать Вас у себя дома. Мы уехали из Дублина и после

долгого пути прибыли в Холихед; мы проехали весь Уэлс, не найдя для себя ни одного дома, — на каждом постоялом дворе нас вновь обнадеживали и тут же разочаровывали. От Бармута до Абериствита мы плыли 30 миль в лодке и наконец прибыли в *Райадер*, где я провел прошлое лето, и сейчас готовимся снять дом, откуда нынешний владелец вынужден выехать из-за банкротства; это всего в какой-нибудь миле от мистера Гроува¹. — Дом хороший; этим я хочу сказать, что тут хватит места для нас всех. При нем — 200 акров пахотной земли и немного леса; все это — за умеренную плату в 98 фунтов в год, которая, я надеюсь, с лихвой окупится доходом от фермы. *Дом еще не наш*, хотя мы уже поселились в нем; он будет нашим через месяц. О друг мой, как описать окружающую природу? *Вы сами скоро будете любоваться ею вместе с нами, и тогда здесь будет истинный рай.*

Я знаю, какие опасения мы испытываем, долго не получая вестей от друга; когда мы думаем, что он *мог бы* написать, но, должно быть, охладел, или иные занятия привлекают его больше, чем дружба. Обо мне так думать не надо. Я не стану здесь повторять заверения в дружбе; для нас с Вами достаточно одного слова о том, что я по-прежнему ощущаю все Ваши совершенства. — Конец июня — вот время, назначенное для нашей встречи. О, скорее бы проходили часы, отделяющие нас от него; но оно непременно настанет. Шаги Времени неизменны; ни надежды тех, кто ждет встречи, ни страхи тех, кто боится разлуки, не могут их ускорить. У меня есть некий план. Дом здесь большой; в нем найдется семь спален. Не взять ли Вам с собою отца? Он знает, что такое ферма, и распоряжаться ею будет ему приятно. Он смог бы тогда *постоянно* быть с Вами, а сейчас это невозможно; и ему на склоне дней было бы утешительно видеть Вас *независимой*, ибо Вы будете *независимы и обеспечены*. Подумайте над этим. Сейчас Вы уже получили нашу посылку и ее содержимое; я оплатил доставку, сколько было можно, то есть через Канал, и знаю, что она пошла не по почте. «Декларацию прав»² полезно было бы иметь в деревенских домах; именно так Франклин³ распространял среди американцев свои взгляды на торговлю. В Вашем письме Вы настаиваете, чтобы мы уехали из Дублина. Мы получили его незадолго до того, как решили уехать. Хабеас корпус⁴ не отменен и, вероятно, отменен не будет. Мы уехали из Дублина потому, что я сделал все, что мог; если это и было плодотворно, то лишь в малой степени. Я недоволен результатами, но не самой попыткой, хотя дорожные расходы оказались значительными, а я не забываю, что «бережливость есть истинная щедрость». В Манчестере, Карлайле, Бристоле и других больших городах происходят волнения. Этому негодяю, П[ринцу] Уэльскому, требуется все больше денег, принцессам тоже, мистеру Мак-Магону тоже⁵. А на что? На то, чтобы наполнять авгиевы конюшни принца такой грязью, какую не под силу расчистить никакому новому Геркулесу. Здесь надо бы применить «тройное правило». Если убийца семьи Марр⁶, состоявшей из шести человек, за-

служивает виселицы, чего же заслуживает Принц, который своим поведением губит миллионы людей? В Уэльсе все относится к политике очень безразлично. Когда Вы приедете, мы обсудим, что тут можно сделать. Как отнесутся к нашей деятельности Гроувы? Что они скажут о Вас? Если Вы считаете это полезным, я пошлю письмо председателю, или как там Вы его зовете, Вашего книжного клуба, с рекомендациями, как дальше наладить дело. Что Вы об этом думаете? Я написал стихи о Роберте Эммете ⁷, которые Вы скоро прочтете; я их помещу в свой сборник стихов.

Мы живем сейчас в уединении гор, лесов и рек, тихих, безлюдных и древних, вдали от городов, в шести милях от ближайшего — Райадера. В доме водится привидение, которое слуги не раз видели. По соседству имеется несколько ведьм и большой запас всякого рода домовых. Ну вот, дорогой друг, у меня нет большего листа, и я должен с Вами проститься. Помните, что я Ваш неизменный друг. Харриет и Элиза шлют Вам привет. Харриет сейчас пишет к миссис Ньюджент ⁸, отличной женщине, с которой мы познакомились в Дублине и о которой Вам расскажем. — Прощайте.

Ваш навеки
П. Б. Шелли

50

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Нантгвилл, Райадер, Радноршир,
24 апреля 1812

Дорогой сэр,

Последнее Ваше сообщение, полученное через мистера Уиттона, не позволяет надеяться на восстановление в ближайшее время тех добрых отношений, которые я желал бы сохранить с Вами и со всей семьей. Мне пришло в голову, что возможной причиной Вашего внезапного гнева является моя попытка тайно переписываться с Эллен. Вам отлично известно, что я не мог писать открыто ни одной из моих сестер и естественно попытался поддержать, хотя бы у одной из них, привязанность ко мне, когда я в размовке с остальными. Кроме того, я хотел с помощью этой переписки развить ее ум и заставить раскрыться сердце.

Я сейчас нахожусь в Нантгвилте, в графстве Радноршир и, желая поселиться с женой в уединенном месте, думаю снять здесь дом и ферму. Ферма имеет около 200 акров, дом очень хороший, арендная плата составляет 98 фунтов в год. Нужно, однако, заплатить за мебель и инвентарь, что составит 500 фунтов. Такую сумму я могу достать только под огромные проценты, да и то с трудом. Если Вы ссудите ее мне, то я, благодаря Вам, буду иметь вполне достаточный годовой доход, который иначе будет растрочен в поисках какого-либо иного способа содержать себя и жену.

Вы можете доставить Вашему наследнику возможность спокойно и с достоинством продолжать занятия, которые со временем, на более обширном поприще, позволят ему не посрамить Ваш род.

Если Вы склонны ссудить мне эту сумму на упомянутую цель, но не хотели бы давать ее наличными, Вашей подписи будет достаточно. Я нахожусь сейчас в доме мистера Хупера (Нангтвилт), который разорился; с его уполномоченными я веду переговоры об аренде, покупке мебели и пр. В случае согласия на мою просьбу, как и в случае отказа, прошу Вас оповестить меня по возможности скорее, ибо я нахожусь в довольно неприятном состоянии неизвестности. Ваша невестка больна перемежающейся лихорадкой, и это усугубляет подавленность, вызываемую нашим неустроенным положением. Я надеюсь, что в Филд-плейс все находятся в добром здравье.

С уважением
Перси Б. Шелли

51

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Нангтвилт, Райадер,
Радноршир, Южный Уэлс,
25 апреля 1812

Дорогой сэръ!

Мы наконец в какой-то степени устроены. Найти в Уэлсе дом (как и многое другое) оказалось труднее, чем я предполагал. Уезжая из Дублина, мы думали поселиться в Меринетшире, где провел свое детство Флитвуд¹, но там мы не смогли найти даже временного пристанища. Мы тщетно изъездили весь Северный и часть Южного Уэлса, и эти странствия заняли почти все время с тех пор, как я писал Вам в последний раз.

Мы покинули Дублин! Нигде я не видел столь разительных контрастов роскоши и нищеты, как в этой несчастной стране. Как я почувствовал справедливость размышления, вложенного Вами в уста Флитвуда: что в деревне, где нищета встречается редко, ее вид учит милосердию, тогда как в городе, взывая о помощи непрестанно, она, напротив, делает человека черствым к страданию ближнего. В Англии общественное неравенство не чувствуется столь резко, как здесь. Но, несомненно, даже при нынешнем политическом устройстве положение Ирландии можно как-то улучшить. — Керран² наконец навестил меня. Я дважды у него обедал. Это безусловно человек с большими способностями, но мне кажется, что он себя недооценивает, когда растрчивает их на свои излюбленные темы. Быть может, мне не хватает чувства юмора или его непрестанные шутки предъявляют к этому чувству непосильные требования. У него не тот склад ума, к какому я питаю наибольшее уважение и любовь. Словом, хотя у Керрана, несомненно, сильный интеллект и богатое воображение,

я не испытывал бы к нему того восхищения, какое вызвал первый его приход, не будь он *Вашим* близким другом.

Нантгвилт, где мы сейчас живем, находится поблизости от мест, глубоко запечатлевшихся в моей памяти благодаря мыслям, которые владели мною, когда я побывал здесь впервые. Призраки старых друзей выглядят смутно и странно, воскресая после стольких перемен, происшедших с тех пор, как они были для меня живыми. Я еще не рассказывал Вам подробно свою короткую, но полную событий жизнь; если при встрече я не сделаю этого со всей честностью и искренностью, я буду недостоин такого друга и наставника, каким являетесь для меня Вы. — Мы еще не знаем наверняка, сможем ли мы арендовать дом, где сейчас остановились. При нем имеется ферма в 200 акров, а арендная плата составляет всего 98 фунтов в год. Дешевизна, красота природы и уединенность делают это место подходящим во всех отношениях. У меня здешний ландшафт — горы и утесы, словно ограждающие тихую долину, куда, быть может, никогда не ворвется житейская суета; невинные нравы валлийцев — неизменно вызывают мысли о Вас, Вашей жене и детях и еще одном моем друге³; без этого мое представление о счастье не может быть полным. — Уважаемый друг, если возможно, оторвитесь на одно лето от бездушной деловой суеты и приезжайте в Уэлс.

Прощайте. Харриет вместе со мной шлет привет Вам, миссис Г[одвин] и всей семье, и так же, как я, просит всех вас навестить нас.

[Подпись отрезана]

52

КЭТРИН НЬЮДЖЕНТ

Нантгвилт, Райадер,
Радноршир, Южный Уэлс,
7 мая 1812

Сударыня!

Харриет поправляется от перемежающейся лихорадки, вызванной нашими утомительными странствиями. Я за нее немало тревожился, но не сомневаюсь, что скоро она сможет поблагодарить Вас за любезное письмо и сама сообщит Вам о своем выздоровлении. Ваше письмо пришло вчера утром, примите за него нашу общую искреннюю благодарность, ибо хотя Вы переписываетесь с Харриет, но *подружились* сперва со мной. Мне не забыть величия души, явившегося мне при знакомстве с Вами.

Как неравно распределяет бедность и богатство гнусная система, управляющая человеческими делами! Как Вы страдаете от этого неравенства. Если бы Вы обладали миллионами, которые достанутся Принцу, каким благом это явилось бы для Англии! А что она потеряла бы, если бы он сидел в мастерской мистера Ньюмена¹ и пришивал меха к атласу? — Поверьте, я не хочу Вам льстить, но Вы слишком недооцениваете свои спо-

собности. Не знаю, насколько, по Вашему мнению, Вы соответствуете своему отвлеченному представлению об идеале; знаю только, что если сравнивать Вас с действительно существующими людьми, то Вы достойны уважения и привязанности, какие питает к Вам наш маленький кружок.

Боюсь, что наши английские волнения² вызваны только голодом; перемены, какие могут произойти в результате их, не будут, по-моему, принципиальными и последовательными. Я искренне надеюсь, что справедливое негодование против коронованного подлеца и негодяя Принца будет расти, но пока оно не усиливается. Возле Карлайла и других больших городов для усмирения толпы была вызвана местная милиция, которая ближе всего к населению. Раз Правительство решилось поручить это местным властям, значит оно не считает волнения следствием недовольства правительством (разве лишь в связи с голодом).

Война с Америкой представляется неминуемой. Чиновники, а именно капитан Генри и сэр [Джеймс] Крэг об этом *постарались*³.

Письма Редферна⁴ еще не розданы. Они были в ящике, который мы оставили в Холихеде, но мы ждем его сегодня вечером с посыльным. Передайте привет Рейнольдсу⁵, скажите, что о деле Редферна я похлопочу и сообщу ему, как только чего-нибудь достигну. Мы надеемся, что в будущий четверг [14 мая] дом и ферма уже будут наши; и Вы, мой досточтимый друг, отныне встретите там самый теплый и сердечный прием. Поверьте, если Вы что-либо можете добавить к нашему удовольствию увидеть Вас, Вы сделаете это, приехав как можно скорее. Самые искренние пожелания здоровья и душевного покоя от меня, Харриет и Элизы.

Ваш

П. Б. Шелли

[P. S.] Читали ли Вы речь сэра Ф. Бердетта о казармах в Мэриленбоне⁶?

53

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

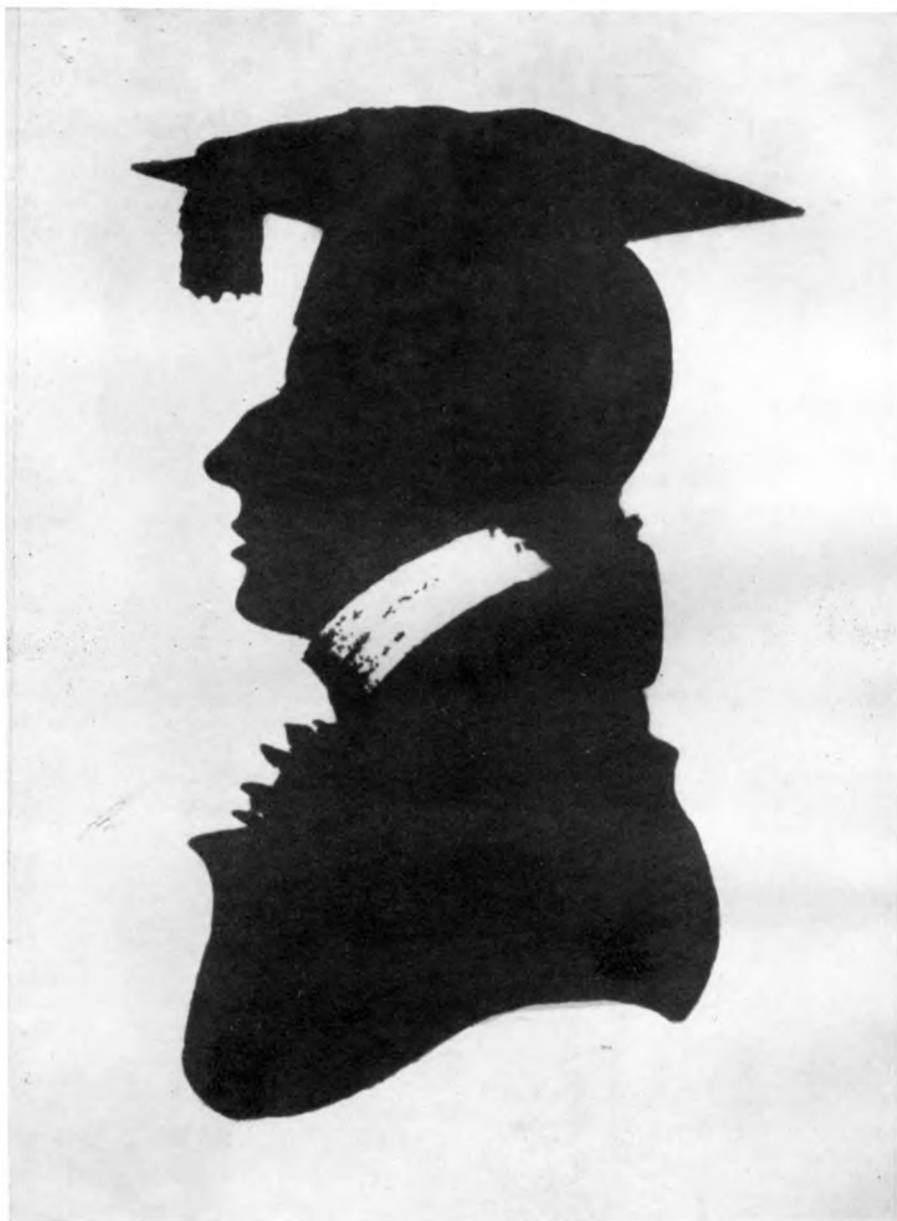
Нантгвилл,
3 июня 1812

Дорогой сэр!

Спешу рассеять неблагоприятное впечатление, по-видимому, произведенное на Вас моим молчанием. В письме к моей жене миссис Годвин упоминает о Вашем письме, посланном в Ирландию; оно до меня не дошло; я помню ясно, что последнее Ваше письмо было помечено числом, значительно более ранним, чем 30 марта. С тех пор, как я Вам писал, я был нездоров и измучен каждодневными юридическими проволочками, связанными с арендой нашего дома. Я не хочу сказать, что это, или что угодно другое, может вполне извинить небрежность в отношении Вас; но, быть



ШЕЛЛИ РЕБЕНКОМ.
Миниатюра работы неизвестного художника.



ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН ХОГГ СТУДЕНТОМ.
Силуэт.

может, моя вина уменьшается тем, что я со дня на день ожидал более благоприятного настроения, а также письма от Вас.

Я надеюсь, высокочтимый друг, что скоро Вы позволите мне показаться Вам; Вы сможете взглянуть в лицо, которое неспособно лгать, и тогда заблуждение будет для Вас невозможно. Я с удовольствием перечитываю заключительную часть Вашего письма и умоляю отбросить мысли, продиктовавшие Вам первую часть; поверьте, что они более не повторятся. До моей женитьбы я непрерывно хворал; эти недуги нервного происхождения нередко мешали мне в занятиях; однако в периоды улучшения я усердно читал *романы*, притом такие, где было больше всего чудес, и погружался в фантазии Альберта Великого¹ и Парацельса²; первого я читал по-латыни и, вероятно, больше успел в ней в результате этого чтения, чем преподавания ее в Итоне. Подрастая, я охладел к натуральной магии и к призракам; я прочел Локка, Юма, Рида³ и всех философов, какие мне встретились, не отказываясь, вместе с тем, от поэзии, которой я оставался верен при всех моих блужданиях и сменах вкусов. Однако по-настоящему думать и чувствовать я начал лишь после прочтения «Политической справедливости», хотя с того времени мои мысли и чувства сделались тревожнее, мучительней и живее, и я стал более склонен к действию, нежели к умозрениям. Прежде я был республиканцем — образцом государства были для меня Афины, но теперь я считаю Афины столь же далекими от совершенства, как Великобританию от Афин. Я боюсь, что мне недостает той кроткой и ровной доброжелательности, о которой Вы спрашиваете, но я надеюсь, что становлюсь лучше; во всяком случае, стремлюсь к этому, а «желание неизменно рождает и способность». Мои познания о веке рыцарства весьма скудны. Не думайте, что так оно будет и впредь. Всю свою жизнь я размышляю и читаю; большую часть этой работы я совершил впустую; но хочу надеяться, что мне пригодится хоть что-то из столь неразумно накопленных запасов. Я только что прочел «Le Système de la Nature par M. Mirabaud» *⁴. Не знаете ли Вы настоящего имени автора? Книга кажется мне необычайно талантливой.

Посылаю Вам это письмо с обратной почтой, ибо хочу поскорее заверить Вас в своей верности. Скоро я напишу еще, более подробно, и дам более удовлетворительные ответы на вопросы, заданные Вами в конце Вашего письма.

С искренним уважением

П. Б. Шелли

* «Систему природы» Мирабо (франц.).

54

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Лаймут,
7 июля 1812

Дорогой сэр!

Человек, посланный мной вчера в город за почтой, вернулся. Он принес письма от Вас и Вашей семьи, которые были пересланы из Кум Элана¹ и Чепстоу.

Какое странное совпадение, что в последнем своем письме я подробно описал свою жизнь и объяснил Вам причины, из-за которых, после неудачи с домом мистера Итона², я был вынужден искать жилище подешевле. — Сердце мое забилось от радости, когда я прочел о Ваших опасениях; надеюсь, что я до некоторой степени их рассеял. — Мое письмо от 5-го докажет Вам, что я не стремлюсь ни к роскоши (которую ненавижу), ни к удовлетворению прихотей (которые презираю). Я был бы недостоин высокого назначения, ожидающего каждого Вашего друга и ученика, если бы на практике не следовал тому учению, пламенная проповедь которого навлекла на меня ненависть и подозрения. — Наша хижина, ибо она действительно ничем иным не является, не лучше окружающих крестьянских жилищ. Постели — из самых простых, даже грубых материалов; единственно полное отсутствие удобств помешало мне в моем предыдущем письме настаивать на просьбе, столь дорогой моему сердцу: чтобы Вы приехали в этот прелестный уединенный приют и положили конец знакомству издалека, мешающему нашему *полному* сближению. Я уже начал фразу в середине второй страницы моего письма, чтобы звать Вас *сюда*, но Харриет остановила меня, напомнив, что Вы слабы здоровьем, а наши комнаты не лучше, чем у *слуг*. Я так и не закончил фразу. Она добавила, что нам надо поскорее ехать в Лондон, и там *все вы* должны жить с нами. Так мы в тот миг подумали, и так я Вам написал, не комментируя. Таково мое оправдание. — Тем не менее, высокочтимый друг, примите мою благодарность; считайте, что я еще больше полюбил Вас после того, как Вы пожурили меня за предполагаемые ошибки; как нежный и мудрый отец, будьте постоянно на страже, подстерегая пороки, которые еще не проявились, но уже начертаны на скрижалях моего характера; чтобы я не сходил с пути, Вами первым проложенного в жизненной пустыне.

В предыдущем письме я говорил, что есть однажды приобретенные привычки, которым необходимо следовать. — Я не хотел сказать, что роскошный дом или выезд являются насущной необходимостью; но если бы я работал за станком или ходил за плугом, а моя жена стряпала и хозяйничала, то при нынешнем устройстве общества мы скоро стали бы совсем другими людьми и, хочу добавить, менее полезными человечеству. Существует также стыдливость, не позволяющая лицам разного пола, не связанным известными отношениями, спать в одной комнате. Возможно,

что в обновленном обществе труд крестьянина и рабочего будет сочетаться с просвещенным умом и отличным воспитанием; возможно, исчезнет и предрасудок в отношении лиц разного пола. Но сейчас пахарю трудно приобрести утонченность ума; а сближение полов, при нынешних нравах, приведет к самым пагубным последствиям. В доме мистера Итона было слишком мало спален — их едва хватало для нас, а где-то надо спать и Вам, и Вашей семье; ибо верьте, дорогой друг, мне не хочется снимать дом на сколько-нибудь долгий срок, если Вы не можете туда приехать.

Быть может, я написал недостаточно связно? Или недостаточно правильно и ясно сказал о привычках? Простите, ибо я спешу как можно скорее высказать свои мысли.

Харриет пишет Фанни³. Если она особо приглашает Фанни, это не означает, что приглашение адресовано ей одной. Здесь спален достаточно, и если Вас не смущает их скромная обстановка, надо ли повторять: приезжайте, дорогой и чтимый друг, мы будем счастливы.

Прощайте. Искренне и всегда Ваш

П. Б. Шелли

55

МИССИС ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Кофейня Сент-Джеймс,
7 ноября 1812

Дорогая матушка!

Я пишу Вам с просьбой прислать мне, если возможно, гальваническую машину и солнечный микроскоп, оставшиеся в Филд-плейс. Последний инструмент необходим мне для той области науки, которой я сейчас занимаюсь.

Пользуюсь случаем послать привет Вам и сестрам и заверить, что готов выполнить в городе любое Ваше поручение, и что благодаря помощи одного бескорыстного друга, доставившего мне некоторую независимость, я не так стеснен в средствах, как Вы можете думать, и могу оказать Вам любую маленькую услугу.

Как бы Вы ни были обижены тем, что я женился втайне от Вас, Вам будет приятно узнать, что сейчас я один из счастливейших людей и что только мысль о временном отчуждении между мной и моими близкими мешает мне стать самым счастливым.

Искренне любящий Вас сын

Перси Б. Шелли

[P. S.] Вы можете немедленно выслать указанные мною вещи почтовой каретой, так как через день или два мы уезжаем из города в нашу хижину в горах Карнарвоншира.

56

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Таниролт,
3 декабря 1812

Дорогой друг!

Ваше письмо начинается с имени герцога Норфолка; при этом имени я широко раскрыл глаза; с тех пор, как мы расстались, и вплоть до получения Вашего письма я вспоминал о герцоге Норфолке не больше чем о человеке на луне. Я сию же минуту сяду и, во искупление своего греха, напишу его светлости длинное и льстивое письмо, а Вас своевременно извещу об успехе этого эксперимента. Я не надеюсь смягчить отца, разве что доводами прямой выгоды, и считаю, что для него столь же невозможно договориться со мной до моего совершеннолетия, как и стоять на своем после этого. Как бы то ни было, я предоставляю ему такой случай; избражу на лице все возможное для меня смирение, но небу известно, что и тогда на нем останутся следы Гримгриффинхоффа¹. При встрече я стану говорить самые любезные вещи, но лицо мое не выразит любви, ибо я его не люблю.

Вы полагаете, что из-за того, что Вы так далеко отошли от меня в своих нравственных и политических воззрениях, я отношусь к Вам менее дружественно. Но ведь главная заслуга состоит в добрых намерениях; а столь независимые от нас вещи, как убеждения и мнения, не могут служить верным мерилом нашего отношения к людям. Убеждения становятся преступными лишь в том случае, когда проистекают из низких и недостойных мотивов.

Подобных мотивов я Вам не приписываю; но Вы грешите известной долей нетерпимости, в которой косвенно обвиняете меня и которая порождена той самой подозрительностью, что и это обвинение.

Вы неверно толкуете мои взгляды на нравственность, если считаете, что мне свойствен хоть в какой-то степени республиканский фанатизм.

Я, конечно, весьма убежденный республиканец (если это слово подходит) и решительный скептик; но, считая их суждения несостоятельными, я, тем не менее, понимаю, что некоторые мыслящие люди придут к признанию аристократии и епископата из самых благородных чувств. Юм был сторонником аристократии, а Локк — набожным христианином.

Бурый Демон², как мы прозвали нашу недавнюю мучительницу, школьную наставницу, должен получать вспомоществование. Я выплачиваю его скрепя сердце, но приходится. Из-за нашей безрассудной поспешности она потеряла место, где дела у нее шли неплохо; а теперь, по ее словам, она лишилась доброй славы, здоровья и душевного покоя; и все из-за моей жестокости; испытала все душевные и телесные муки, от каких когда-либо страдала героиня романа. Это не совсем так; но она действительно бедна и оказалась в затруднении; и мы, будучи отчасти в этом виноваты, должны его устранить. Она — хитрое, скудоумное, уродливое,

мужеподобное чудище, и никогда я так не дивился своей глупости, непостоянству и дурному вкусу, как после ее четырехмесячного пребывания под нашим кровом. Если такая женщина попадет на Небо, что же такое Ад?

Общество в Уэлсе очень скучное. Все здесь — аристократы и святоши; но это, как я говорил, я бы еще простил; гораздо хуже то, что они травят насмерть людей, которые на них не похожи.

Мисс Вестбрук здорова. Харриет, как и я, желает Вам всего самого лучшего, а я остаюсь искренним Вашим другом

Перси Б. Шелли

Напишите поскорее, Ваши письма нас *ВСЕХ* забавляют.

57

ТОМАСУ ХУКЕМУ¹

*Таниролт,
17 декабря 1812*

Дорогой сэр!

Не знаю, сообщал ли я Вам, что Ваша последняя посылка нами получена. Перевод «Георгик» — это не совсем то, что мне нужно, но я его возьму; не посылайте, пока я не попрошу особо, других сочинений, кроме самых космополитических и антихристианских.

Через день или два Вы получите «Извлечения из Библии»² по двухпенсовой почте. Я поручил это одной особе, едущей в Лондон. Не согласится ли Даниель И. Итон³ издать их? Нельзя ли спросить его об этом?

Я готовлю также том мелких стихотворений. Относительно его издания мне нужен Ваш совет как издателя и как друга. Встает вопрос: станут ли его покупать?

Прилагаю список книг⁴, которые хотел бы получить от Вас возможно скорее. Я намерен заняться тем, что внушает мне величайшее отвращение, но что больше всего необходимо человеку, если он хочет быть услышан как реформатор застарелых зол; а именно Историей, этой летописью преступлений и страданий. Вы увидите, что в списке названо лишь весьма немного трудов по философии, к которой более всего лежит мое сердце.

Прошу позаботиться об одном — чтобы классические труды по истории и т. д. были в самых дешевых изданиях. С философскими трудами я готов быть менее экономным.

Спинозу Вы можете и не достать. Канта какой-то англичанин перевел на латынь; я предпочел бы, чтобы греческие классики были даны с латинским переводом. Если такие нельзя достать, пусть будут какие есть. Миссис Шелли с большой решимостью изучает латынь и уже читает многие оды Горация. Вместе со мной и своей сестрой она шлет наилучшие пожелания Вам и Вашему брату.

Ваш искренний друг

П. Б. Шелли

Кант

Спиноза

Гиббон. Упадок и гибель Римской империи (самое дешевое изд.) История Англии (самое дешевое изд.).

Юм. Опыты.

Дарвин. Зоономия.

Верто. История Рима (по-франц.).

Гилли. История Греции.

Геродот

Фукидид

Ксенофонт

Плутарх

} с латинским или английским переводом

Адольфус. Продолжение истории Англии (самое дешевое изд.)

Мур. Индийский Пантеон

Румфорд⁵ о печах

Спенсер. Сочинения. Королева Фей и др. (самое дешевое изд.).

Саути. История Бразилии.

Посылка дойдет, если Вы адресуете ее, как обычно. К этим книгам (которые никак не назовешь легким чтением) можете добавить что-либо из новинок, что считаете заслуживающим внимания. — На Ваш адрес придет для нас посылка, которую прошу переслать вместе с книгами.

Есть еще сочинение французского врача Кабаниса⁶, которое также прошу прислать.

Известна ли Вам знаменитая французская «Энциклопедия», составленная Вольтером, д'Аламбером и другими? Это сочинение я очень желал бы иметь — можно ли его найти? Можете ли Вы достать его?

58

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Таниролт,
27 декабря 1812

Дорогой друг!

Из Вашего письма к Харриет можно понять, что у Вас вскоре окажется свободное время. Я искренне надеюсь, что Ваши дела позволят Вам посетить Таниролт. Наличие почты в пределах 17 миль совершенно устраняет все трудности. Мы все очень желаем, чтобы Вы приехали, и надеемся, что Вы намекали на это не просто так, чтобы потом отказаться. — Мы удивлены, что в Лондоне жалуются на холод. Правда, день или два, по утрам, он немного пощипывал, но не более того.

Поверьте, я вполне разделяю Ваше мнение о Буонапарте и о мире. К Буонапарте я отношусь крайне отрицательно; я его ненавижу и презираю. Побуждаемый самым низменным честолюбием, он творит дела, которые отличаются от разбойничьих только числом людей и средств, на-

ходящихся в его распоряжении. — Его способности я нахожу совершенно ничтожными; ведь он не умеет связать самые очевидные мысли, не в состоянии вкушать ни одной подлинной радости. — Исключая лорда Каслри¹, Вы не могли бы назвать никого, кто внушает мне большее отвращение, чем Буонапарте. Что касается побед, одержанных на Севере², то они хороши, если способствуют миру, а в противном случае плохи. — Вот с какой мерой я буду к ним подходить. Вместе с тем я должен сказать, что первыми моими чувствами при этой вести были ужас и сожаление.

Защитительная речь Брума³ была хуже, чем могла бы быть; он был стеснен местом, скован положением, в котором находился, и не располагал полной свободой слова, ибо его могли обвинить в государственной измене или клевете; поэтому не мог защищать подсудимого с точки зрения справедливости. — Он был вынужден колебаться, когда правда готова была сорваться с его уст; все, что он сказал, могло быть сказано лишь с помощью околичностей и иронии. Речь Генерального Прокурора я нахожу верхом наглости, а выступление лорда Элленборо — таким бесстыдным угодничеством, что я уверен — он про себя смеялся над тем, что говорил.

Я еще не получил ответа от герцога Норфолка⁴. И едва ли получу. Мой отец не заинтересован в том, чтобы договориться со мной до моего совершеннолетия, а пожалуй и после. Но я никак не могу себя убедить, что это столь уж важно. Харриет очень счастлива в нынешнем положении, и я тоже очень счастлив; я не уверен, что близкие отношения с родственниками сделают нашу жизнь спокойнее. — Они станут интриговать, все перевернут вверх дном или познакомят нас с людьми, которые это делают; или будут нагонять скуку, или без причины кого-нибудь невзлюбят, и уж наверняка стеснят нашу свободу. Я, конечно, написал герцогу. Я могу с чистой совестью сказать: «Я сделал все, что мог»; но в случае неудачи не буду слишком огорчен.

Я продолжаю питаться растительной пищей; Харриет до весны намерена иногда позволять себе животную. Здоровье мое от этого значительно улучшилось; но этим я, быть может, обязан также удаленностью от Вашей столицы, которая терзает нервы и подавляет дух.

Мы никак не можем решить: действительно ли Вы намерены этой зимой порадовать нас своим приездом, или пошутили.

Любящий Вас

Перси Б. Шелли

59

ТОМАСУ ХУКЕМУ

Таниролт, Тремадок.
26 января 1813

Дорогой сэръ!

Отвечаю на Ваше письмо немедленно, с обратной почтой, так как раздражен бестолковостью людей, которые должны были отправить по-

сылку. Я ни в коем случае не хочу, чтобы Вы ее дожидались. Фургон отправляется от таверны «Замок и сокол», на улице Олдерсгейт. Лучше всего адресовать так: «переслать из Бангора, карнарвонским дилижансом». — Да, мне нужны все сочинения Канта. Об «Энциклопедии» я справлялся больше из любопытства.

Я надеюсь к марту закончить «Королеву Маб» и другие стихотворения. «Королева Маб» будет состоять из десяти песен, около 2800 строк. Другие будут, вероятно, такой же длины. Примечания к королеве Маб будут длинные и философские. Я воспользуюсь этой возможностью, которую считаю безопасной, чтобы высказать свои взгляды, вместо того, чтобы наводнять силлогизмами поэму. Очень дидактическую поэзию я считаю весьма глупой.

Не думаю, чтобы доводы сэра Вильяма Драммонда¹ были столь уж вески. Его «Эдип»² меня совершенно не убедил.

Когда же мы будем иметь удовольствие видеть Вас в Таниролте? До или после марта? Надеюсь, что и Ваш брат также придет.

Ваш верный друг

П. Б. Шелли

Термометр показывает 12 ниже нуля. — Это уже прямо русские морозы.

60

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Таниролт,
7 февраля 1813

Дорогой друг!

Последние две недели меня донимали всякие беды. Если бы Вы знали, сколько у меня было разнообразных неприятностей, Вы приписали бы мое молчание чему угодно, только не забвению или холодности.

Я имею в виду дело с дамбой¹, в которое я легкомысленно вмешался; ибо, возвращаясь домой к Харриет, я становлюсь счастливейшим из счастливых. Не помню, писал ли я Вам, какое удовольствие доставит нам Ваш приезд в марте. Надеюсь, что это будет в начале месяца и что Вы так устроите дела в Лондоне, чтобы пробыть здесь как можно дольше.

Мы, люди простые, живем здесь в доме, не менее просторном и изящном, чем вилла итальянского князя. Арендная плата высока, как Вы можете себе представить, но нам разрешили подождать с уплатой до моего совершеннолетия. — Что сказала Харриет об Америке? — Вам надо ехать почтовой каретой до Капел Керига и сообщить мне время приезда — и я Вас встречу. Вы, кажется, никогда не были в этой части Северного Уэлса. Ландшафт между Капел Керигом и нашим домом — самый величественный из всех, что я видел. Дорога идет у подножья Сноудона; Вас окружают горы, вздымающие свои вершины выше облаков, внизу лежат лесистые долины и темные горные озера, отражающие все оттенки и все

формы окрестного пейзажа. Дороги очень плохи. Я приеду за Вами с верховой лошастью, тогда Вы лучше все увидите, чем трясясь в коляске.

«Маб» подвигается медленно, хотя почти закончена. Мне было тут не до стихов. Кое в чем я последовал Вашим советам, только никак не мог решиться на рифму. Дидактическая часть написана белым героическим стихом, а описательная — белым лирическим размером. Если для оправдания этой особенности надо ссылаться на авторитеты, можно назвать «Самсона-агониста» Мильтона, греческие хоры, а также (Вы станете смеяться) «Талабу» Саути². — Я прочел Ваше последнее письмо к Харриет. Она ответит на него со следующей почтой. Нечего говорить, что Ваши письма очень радуют меня, но не все Ваши взгляды. Та гордость, которую Вы в себе поощряете, по-моему, не выдерживает проверки разумом. Не говорите мне, что разум — судья холодный и бесчувственный. Разум представляет собою сумму лучших наших чувств; это — та же страсть, рассматриваемая в особом ее проявлении. — Рыцарская гордость была хороша в век варварства и грубости, но недостойна века девятнадцатого. — Сейчас начала распространяться более высокая точка зрения; не умаляя жара любви и постоянства дружбы, она сочетает личные чувства с общественной пользой и уже не допускает вражды между истинной Страстью и истинным Разумом. Жажду быть уважаемым гордость превратно принимает за желание стать подлинно достойным уважения. По-моему, фальшивое и лицемерное христианское смирение едва ли более унизительно и слепо. Я помню, как мы рассуждали о разных предметах у нашего оксфордского камелька; вообразите, что я и сейчас мысленно с Вами, и сознайтесь в «тщете людской гордыни».

Вы можете сказать, что и я горд своими республиканскими убеждениями; они, конечно, очень далеки от кабацкого демократизма; я знаю, с какой улыбкой надлежит слушать лесть непостоянной толпы³; но хотя щека умеет не краснеть, приняв удар обиды, душа не содрогнется ни перед эшафотом, ни перед костром, ни перед деяниями, которых страшатся стоящие у власти рабы. Правда, мое республиканство предпочитает аристократов утонченных и рыцарственных — аристократам вульгарной коммерции, но не из гордости, а потому, что первых я считаю ближе к тому, чем должен быть человек. — На этом мы кончим о гордости.

Написав Вам это письмо, я вчерне закончил свою поэму⁴. Поскольку я ничуть не убавил в ней атеистического духа и космополитизма, этого достаточно, не говоря уже о бесчисленных погрешностях, невидимых только слишком снисходительным глазом, чтобы сделать ее весьма непопулярной. Подобно всем эгоистам, я утешусь тем, что могу рассчитывать на сочувствие немногих избранных, способных чувствовать и думать, а также друзей, которых любовь ко мне делает слепыми ко всем недостаткам. К поэме я хочу приложить пространные философские примечания.

У Харриет созрел смелый план — написать Вам по-латыни. Если у Вас есть «Метаморфозы» Овидия, привезите, она будет Вам благодарна. Я не обучаю ее грамматике — я избрал более легкий метод: перевожу латинские слова на английский, с тем чтобы потом дать общее понятие о грамматике. Она вместе со мной желает Вам всего лучшего.

[Подпись отрезана]

61

ТОМАСУ ХУКЕМУ

Таниролт,
15 февраля 1813

Дорогой сэръ!

Во мне кипит негодование — я только что узнал о возмутительно несправедливом приговоре¹, вынесенном Ханту и его брату; именно об этом я пишу Вам. Это наложило на Англию печать рабской низости.

Я отнюдь не отказываюсь от подписки в пользу вдов и сирот бедняг, которых повесили в Йорке², но 1000 фунтов, которые должны уплатить братья Хант, — вещь более важная. — Хант — мужественный, порядочный и просвещенный человек. Я уверен, что читающая публика, для которой Хант так много сделал, частично вернет свой долг защитнику ее свобод и добродетелей — если нет, значит она мертва, бесчувственна, окаменела в вековом рабстве. Как бы то ни было, можно призвать ее хоть в какой-то мере вознаградить заслуги Ханта. Российским тиранам посылают сотни тысяч³, а он томится в тюрьме, лишенный всего, за что мы дорожим жизнью.

— Ну что ж — я сейчас довольно-таки беден, но есть 20 фунтов, без которых можно пока обойтись. — Прошу Вас открыть подписку в пользу Хантов; запишите меня на указанную сумму, а когда сообщите мне, что это сделано, я ее пришлю. Если при этом встретятся какие-либо трудности, преодолите их во имя свободы и добродетели. — О если бы хоть на одну ночь добраться до Английского Банка!

Я с огорчением узнал, что Вы не можете приехать к нам до августа. Я надеялся, что мы будем иметь это удовольствие не позже июня. Неужели в это время в Лондоне томится так много читающих семейств?

«Королева Маб» закончена и переписана. — Сейчас я пишу длинные философские примечания. — Вы получите ее вместе с другими стихотворениями. Мне кажется, что все они как раз составят том; но это мы можем обсудить позже.

Что касается французской «Энциклопедии», мне очень хотелось бы ее иметь, и если б Вы могли несколько месяцев подождать с уплатой (сейчас я не располагаю наличными), я охотно приобрел бы ее.

Сколько времени понадобится на опубликование стихов после того, как Вы их получите?

Извините, дорогой сэр, настойчивость первой части письма. Я принимаю это дело близко к сердцу и льщу себя надеждой, что пока ничто не грозит Вашей свободе, Вы не откажетесь мне содействовать.

Миссис Ш[елли] и мисс В[естбрук] шлют лучшие пожелания Вам и Вашему брату, а я остаюсь искренним Вашим другом

П. Б. Шелли

Если подписку нельзя организовать иначе, не дадите ли Вы сами соответствующее объявление в газете, вместе с моей подпиской, чтобы поощрить других?

Я передумал и решил эти 20 фунтов послать Вам тут же, в письме.

62

ТОМАСУ ХУКЕМУ

*Бангор Ферри,
6 марта 1813*

Дорогой друг!

По дороге в Дублин¹ нас нагнало Ваше письмо. Как выразить мою благодарность, удивление и радость — не столько потому, что Ваш денежный перевод выручил нас из затруднений, но потому, что нашелся человек, который своим бескорыстным и полным доверием утолил боль, причиненную нам подозрительностью, черствостью и подлостью света. Если испытываешь чистую радость при открытии истины, насколько радостнее встреча с добром!

Я только что оправился от болезни, вызванной недосыпанием, усталостью и потрясением, и мы едем в Дублин, подальше от мест, где испытали такую тревогу.

Мы надеемся прибыть туда 8. Тогда я напишу подробно о наших злоключениях. Пуля из пистолета убийцы (он стрелял в меня дважды) пробила мою ночную сорочку и ушла в стену. Его еще не нашли, но подозревают, как Вы узнаете из моего следующего письма.

Не зная нас достаточно близко, Вы не можете себе представить, какую искреннюю и горячую признательность и уважение питают к Вам вместе со мной моя жена и сестра.

Ваш преданный и любящий

Перси Б. Шелли

Хотя у нас немало собственных бедствий, мы отнюдь не равнодушны к делу свободы и добра. Из Вашего письма я понял, что Вы употребили присланные мной 20 фунтов для помощи Ханту. Я хотел бы знать, как подвигается это дело. Мой адрес²: Ирландия, Дублин, Стивенс Грин, Грейт-Кафф-стрит 35.

Ваша доброта и великодушие избавили нас от всех денежных затруднений. Нам была нужна лишь короткая передышка, которой не давали

посыпавшиеся на нас беды. Я выплачу 20 фунтов, как только спишусь с моим лондонским корреспондентом, но чем могу я оплатить дружбу и бескорыстную готовность мне поверить?

63

ТИМОТИ ШЕЛЛИ

Дорогой отец!

Я снова осмеливаюсь писать Вам и выразить свое искреннее желание, чтобы меня сочли достойным возобновить отношения с Вами и моей семьей — отношения, на которые я потерял право из-за своих безумств. — Недавно я высказал свои чувства по этому поводу в письме к герцогу Норфолку. Я был приятно удивлен, когда он на днях навестил меня, и я очень жалел, что болезнь помешала мне явиться к нему на следующее утро в назначенный час. Однако, если бы я сумел убедить Вас, что я преодолел некоторые наихудшие черты своего характера и готов на все уступки, какие могут понадобиться в интересах моей семьи, я смею думать, что в посредничестве Его Светлости уже не будет нужды. Я надеюсь, что близится время, когда мы увидим друг в друге отца и сына, проникнемся еще большим, чем прежде, взаимным доверием, и я перестану быть причиной неудовольствия для моей семьи. Я рад был услышать от Джона Гроува, который с нами вчера обедал, что Вы находитесь в добром здравье.

Моя жена и я шлем Вам почтительный поклон, а я остаюсь Вашим любящим и почтительным сыном

Перси Б. Шелли

64

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

*Бракнел,
16 марта 1814*

Дорогой друг!

Я обещал Вам писать, когда буду в настроении. К сожалению, общение между нами слишком часто прерывалось. Я не находил в себе сил, необходимых для письма. Моя привязанность к Вам не уменьшилась; но я — слабое, колеблющееся, страдающее лихорадкой существо, которое нуждается в поддержке и утешении, хотя я чересчур измучен, чтобы отвечать тем же.

Последний месяц я провел в семье миссис Б[ойнвил] ¹; в утешениях философии и дружбы я нашел прибежище от удручающего общения с самим собою. Они поддержали в моем сердце угасавший огонек жизни

Я ощутил себя в раю, где нет ничего земного, кроме быстротечности времени; сердце мое сжимается при мысли о неизбежности, которая скоро разлучит меня с этим спокойным и счастливым домом — ибо он стал моим. Деревья, мост и каждая мелочь уже нашли себе место в моем сердце.

Друг мой, Вы счастливее меня. Ваша способность сильно чувствовать доставляет Вам не только муки, но и радости. А для меня наступила преждевременная старость и истощение; я сохранил лишь незавидную способность к напрасной надежде и болезненный ужас перед предметами моего отвращения и ненависти.

Мои житейские дела понемногу налаживаются; я дивлюсь своему безразличию к ним. Я живу здесь точно мошка, радующаяся солнечному лучу, который может навсегда заслонить первая же туча. Я очень изменился. С сожалением вспоминаю я наши счастливые вечера в Оксфорде и с удивлением — надежды, которыми я тешился, как безумец. Помните, у Бернса²:

Ведь счастье — словно маков цвет:
Сорвешь цветок — его уж нет.
Часы утех подобны рою
Снежинок легких над рекою.

Элиза еще с нами — не здесь! — но будет со мной³, когда злобный рок заставит меня отсюда уехать. Я сейчас не расположен с этим спорить. Знаю только, что ненавижу ее всей душой. Я испытываю невыразимое отвращение и ужас, когда она при мне ласкает бедную маленькую Ианту, которая может когда-нибудь стать моим утешением. Временами я совершенно изнемогаю от необходимости сдерживать свою ненависть к этому гнусному созданию. Но она всего лишь отвратительный слепой червь, который не видит, куда жалит.

Я снова принялся за итальянский язык. Читаю «*Dei delitti e репе*» * Беккариа⁴. Там содержатся некоторые отличные мысли, но я не нахожу, что книга заслужила ту славу, какая ей выпала. Корнелия [Гернер] помогает мне изучать язык. Я, кажется, когда-то говорил Вам, что нахожу ее холодной и необщительной. Совсем наоборот: она противоположность этому и противоположность всему дурному. Она унаследовала все совершенство своей матери.

Что Вы написали? Я все время был не в силах написать даже простое письмо. Я принуждал себя читать Беккариа и Бентама в переводе Дюмона⁵. Порою я забывал, что не являюсь членом этой чудесной семьи — что придет время и я снова буду выброшен в беспредельный океан ненавистного мне общества.

* «О преступлениях и наказаниях» (итал.).

Я сочинил всего одну строфу⁶, ничего не значащую и записанную пока только у меня в голове.

Запал мне в грудь твой влажный взгляд,
 Но не развел меня с тоской:
 В душе он взбаламутил яд —
 Прощай, холодного отчаянья покой!
 Покорствуя веленьям долга,
 Я нес достойно своенравный рок.
 Удав цепей, сжимавший душу долго,
 Разжался, сгнил, сломить ее не смог!

Здесь запечатлен бред, горячее видение, исчезающее в холодном, ясном свете утра. Его дивная, невыразимая прелесть не более осязаема, чем краски осеннего заката. Прощайте!

Неизменно преданный Вам

П. Б. Шелли

[P. S.]. Я слышал, что Вы часто видите с Н[ьютонами]⁷. Прошу передать мой низкий поклон миссис Н[ьютон], а также ее мужу, который, как Вам известно, поссорился со мной, но я с ним ссориться не намерен.

65

ХАРРИЕТ ШЕЛЛИ

*Труа, в 120 милях от Парижа, на пути в Швейцарию,
 13 августа 1814*

Милая Харриет,

пишу тебе из этого мерзкого города; пишу, чтобы показать, что я не забыл тебя. Пишу, чтобы звать тебя в Швейцарию, где ты найдешь по крайней мере одного надежного и неизменного друга, которому всегда будут дороги твои интересы и который никогда умышленно не оскорбит твоих чувств. Этого ты не можешь ждать ни от кого, кроме меня. Все другие равнодушны или себялюбивы, или, как миссис Бойнвил, имеют собственных близких, на которых сосредоточена вся их привязанность.

Я напишу тебе подробнее из Невшателя или Ури. До получения следующего моего письма пиши мне в Невшатель, au bureau de Poste*.

Из Парижа мы двигались пешком; мул вез наш багаж, а также Мери¹, которая была нездорова и не могла идти. Наш путь лежал через плодородный край, но мало интересный как своими жителями, так и ландшафтами. За четыре дня мы проделали 120 миль. В последние два дня мы ехали местами, по которым прошла война. Не могу описать тебе страшные зрелища разорения. Деревня за деревней совершенно разрушены и со-

* В почтовое отделение (франц.).

жжены: между прекрасных деревьев белеют бесчисленные развалины. Жители голодают. Когда-то зажиточные семьи нищенствуют в этом несчастном крае. Нет пищи, нет крова — всюду грязь, нищета и голод (ничего подобного ты не увидишь по пути в Женеву). Должен сказать тебе, что, несмотря на их ужасные бедствия, жители почти не вызывают во мне сострадания. Это самые неприветливые, негостеприимные и несговорчивые люди на свете.

Отсюда в Невшатель мы поедem на какой-нибудь повозке, так как я растянул ногу и не смогу идти. Я надеюсь, что к тому времени это пройдет, а в последний день пути я совершенно не мог ходить, и Мери уступила мне мула. Если не считать этого, путешествие было довольно приятным. Нам не встретилось ни одного разбойника, которыми нас пугали в Париже. Ты узнаешь о наших приключениях более подробно, если только, приехав в Невшатель, не окажется, что я скоро буду иметь удовольствие увидеть тебя лично и отвезти в какой-нибудь уютный уголок, который найду для тебя в горах.

Я написал Пикоку², чтобы он занялся нашими денежными делами. Он невнимателен и холоден, но все же не настолько коварен и неблагодарен, чтобы забыть нашу к нему доброту. К тому же он в этом деле заинтересован и поэтому постарается.

Прошу тебя захватить с собою оба документа, которые должен тебе приготовить Таурден³, а также копию дарственной записи.

Своих денег не трать. Но что делать с книгами? Посоветуйся с кем-нибудь на месте. Целую мою милую маленькую Иангу.

Всегда искренне твой

Ш.

Писал наспех. Мы сейчас выезжаем.

[Письмо не подписано]

66

МЕРИ УОЛСТОНКРАФТ ГОДВИН

Лондон,
понедельник, 24 октября 1814

Стэплз-Инн находится на территории Миддлсекса. Мы совершенно безопасно можем встретиться¹ у Адамса, Флит-стрит, № 60. Я приду в лавку ровно в 12 часов.

Наша разлука нестерпима; я не в силах выносить твое отсутствие. Я думал, что это будет не столь мучительно. У меня в сердце, там, где была ты, — тоска и пустота. Но это ненадолго, любимая. Благоразумием и терпением мы победим наших врагов. Нужно быть осторожными и энергичными.

Скоро я с тобой увижусь.

Не опоздай. Захвати с собой письмо.

67

МЕРИ УОЛСТОНКРАФТ ГОДВИН

Лондон,
вечер понедельника, 24 октября 1814

Я не мог встретиться с тобой у Адамса; не сумел прийти до часу, и мы, конечно, разминулись.

Моя любимая, скоро мы будем вместе. Мучения разлуки внушат мне небывалое красноречие и энергию, соответственную опасности. Я сейчас печален и подавлен; но это — счастье в сравнении со счастливейшими минутами моей прежней жизни. Еще несколько дней, быть может — часов, и самые заклятые наши враги уже не смогут нас разлучить.

День я провел у Боллахи¹. Я красноречиво описал ему ужас своего положения. Он ленив и апатичен, но это не хладнокровный негодяй, вроде Хукемов. Он послал за своим приятелем, биржевым маклером мистером Уоттсом. Это — старый лысый человек, добродушный на вид. Он сказал, что, быть может, сумеет ссудить мне 400 фунтов! Ответ он даст в четверг. Он, кажется, тронулся моими несчастьями и возмущен предательством Хукемов. Я имею основание думать, что, если он ссудит мне денег под будущее наследство, это можно будет записать на кредит человеческой натуры.

Я потрясен повсеместным коварством, злобой и бессердечием людей. Мери целиком искупает самые черные их дела. Но должен тебе признаться, что меня ошеломила холодная несправедливость Годвина². Места, где я видел благородный облик этого человека, живее напоминают мне столь горькую для меня жестокость. Хукемы меня не тревожат. Я уничтожу их иронией и сарказмом, если окажется, что они замышляли зло. Но в разлуке с тобой, свет моей жизни, моя надежда, я временами почти с отчаянием думал о том, каким холодным и мелочным оказался Годвин.

Когда и где мы встретимся? Я сейчас в Лондонской кофейне. Напиши мне. Но не посылай посыльного. Пошли Пикока или приходи сама. Οὐκ ἔχω ἀργύριον*.

Посылаю тебе «Таймс»³. Прочти, где я отметил чернилами, и сдержи ужас и негодование до нашей встречи.

Я так страстно люблю мою Мери, что мы не можем быть разлучены надолго.

Передай привет Джейн⁴. Мне кажется, она к тебе искренне привязана. Ἐμὸν κριτήριον τῶν ἀγαθῶν τοῦτε**.

* У меня нет денег (греч.).

** Это — мое мерило людской доброты (греч.).



ВИЛЬЯМ ГОДВИН.
Гравюра Робертса по портрету Томаса Керсли.



МЕРИ ШЕЛЛИ В ВОЗРАСТЕ ДЕВЯТНАДЦАТИ ЛЕТ.
Акварель работы неизвестного художника.

68

МЕРИ УОЛСТОНКРАФТ ГОДВИН

Ночь на 27 октября 1814

О, любовь моя, зачем наши радости столь кратки и тревожны? Неужели так будет еще долго? Знай, лучшая моя Мери, что вдали от тебя я опускаюсь почти до уровня грубых и нечистых. Я словно вижу их пустые, неподвижные глаза, уставленные на меня, и вдыхаю отвратительные миазмы, которые грозят подавить во мне волю. О, хоть бы перед сном осиял меня искупающий взгляд Мери! Похвали меня за терпеливость, любимая, за то, что я не бегу безрассудно к тебе — урвать хоть минуту блаженства. — К чему промедление — разве и ты не стремишься ко мне? Все, что есть во мне хорошего и сильного, влечет меня к тебе, — упрекает в медлительности и холодности — смеется над страхами и презирает благоразумие! Отчего я не с тобой? — Увы! Встретиться нам нельзя.

Я написал длинное письмо к Джейн, хотя вовсе не был расположен писать. Я надписал конверт измененным почерком, чтобы удивить ее.

Я не выразил тебе, ибо не мог, своего восхищения твоим письмом к Фанни¹. Какими простыми и впечатляющими словами ты высказала свою мысль, как обосновала каждую ее часть, какую полную нарисовала картину того, что хотела изобразить, — все это превзошло мои ожидания. Как упрям и жесток должен быть тот, кто не признает в тебе самого тонкого и очаровательного ума, не признает, что среди женщин тебе нет равных, — и я владею этим сокровищем. Как же безмерно мое счастье. Я открыт им — и что бы ни случилось, я счастлив.

Если не дам знать до того, приходи завтра в 3 часа в собор Св. Павла. Прощай; вспоминай любовь — в вечерний час перед сном.

Свою молитву я не забываю.

[*Письмо не подписано*]

69

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

*Бишопгейт,
конец августа 1815*

Дорогой друг,

я рад узнать о Вашем благополучном прибытии и о невинных симптомах лихорадочного оживления, которые Вы описываете. Я после Вашего отъезда вел очень правильную, ничем не возмущаемую жизнь. Под наблюдением Лоуренса¹ мое здоровье значительно окрепло, и я настолько освободился от постоянного раздражения, что могу более плодотворно отдаваться занятиям. Я прочел некоторые из речей Цицерона. Речи против Верреса² содержат необычайно сильные места, но в целом они кажутся мне менее интересными, чем его философские трактаты, которые я тоже

прочел. Это несомненно оттого, что они хуже сами по себе; иначе было бы странно, чтобы обращение к страстям вызывало меньше интереса, чем обращение к разуму. Я начал также читать «Фарсалии»³. Мое мнение о сравнительных достоинствах Лукана и Вергилия столь же противоречит общепринятому, как и некоторые другие мои мнения.

Я дивлюсь тому, как бесплодно растрчивает человек свои духовные силы. Подумать, что такая доброта и таланты, какими, по-видимому, наделен Ваш попутчик — миссионер, расточались в столь бесплодных стараниях и лишь подвергали своего обладателя постоянным разочарованиям. И все же, кто только не гонится за призраками, не тратит лучшие свои дни на пустые мечты, просыпаясь лишь для того, чтобы понять свое заблуждение и пожалеть, что смерть так близка? Есть один такой; это человек холодный и расчетливый; он слишком умен, чтобы зря растрчивать жизнь, но увы! Он не способен ей радоваться. Даже люди, повелевающие народами, истощают свои силы в бесконечной погоне за пустыми видениями; слава и власть, которых они ищут, не дают им радости — ни предвкушение их, ни обладание ими, ни воспоминание о них; ибо что такое слава самого искусного обманщика или разрушителя? И какая власть не порождает больше желаний, чем способна утолить?

Вы увидите из газет, что союзники продолжают начатую ими политику, и прочтете весьма энергичный протест министров французского короля против бесчинств их войск. Думая о последних политических событиях, я стараюсь отвлечься от преходящих впечатлений и считать их уже историей. Это трудно. Окружающие нас люди помимо нашей воли заражают нас своими мнениями настолько, что не позволяют нам быть беспристрастными наблюдателями проблем, порождаемых событиями нашего времени.

Сейчас уже на исходе август. Листья утратили летнюю свежесть, а когда мы снова увидимся, они будут уже облетать на осеннем ветру. Такова жизнь смертных.

Ваш любящий друг

П. Б. Ш.

70

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Бишопгейт,
22 сентября 1815

Дорогой друг!

Ваше письмо лежит у меня вот уже неделю, ежедневно меня упрекая. Я получил его, вернувшись из поездки по Темзе¹, о которой подробно напишу в другой раз. Движение и рассеяние, доставляемые такой поездкой, столь благоприятно повлияли на мое здоровье, что меня почти покинули обычное уныние и раздражительность, и я без труда занимаюсь

по шесть часов в день. У меня зародилось сейчас несколько литературных планов², и если теперешнее мое расположение продлится, зимой они, вероятно, будут осуществлены. Я оставил Цицерона и только понемногу читаю его философские диалоги. Я прочел также речь в защиту поэта Архия³ и сожалею лишь о том, что она так коротка.

По поводу одного из изучаемых мною предметов мне пришлось заглянуть в Бейля⁴. Я нахожу у него неверные взгляды и грубые чувства. Прочел я также первые четыре книги «Фарсалий» Лукана, которые кажутся мне гениальной поэмой, превосходящей вергилиеву.

Мери прочла V книгу «Энеиды», и ее успехи в латыни не оставляют желать ничего лучшего.

Дует восточный ветер, ветер осени, и деревья в лесу облетают при каждом его порыве. Когда ждать Вас? Сентябрь уже почти прошел, близится октябрь, месяц, когда Вы обещали вернуться, а мы будем рады снова видеть Вас у нашего очага. Ничто здесь, как Вы знаете, не нарушает нашего спокойствия. Прощайте.

Неизменно любящий Вас

Перси Б. Шелли

71

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

*Лондон, Норфолк-стрит 13,
6 марта 1816*

Сэр!

Первая часть Вашего письма касается предмета, очень мне близкого и относительно которого я хотел бы полного объяснения с Вами. Признаюсь, что мне непонятно, каким образом существующие между нами денежные обязательства в чем-либо влияют на Ваше ко мне отношение. Этих обязательств не было, — во всяком случае, с Вашего ведома или согласия, — когда я вернулся из Франции, а между тем Ваше поведение в отношении меня и Вашей дочери было в точности таким же, как сейчас. Быть может, следует сделать исключение для отзыва, какой Вы дали обо мне в беседе с Тернером¹, что, впрочем, никак не подтверждается Вами и могло быть им истолковано чрезмерно благоприятно. Я считаю, что ни я, ни Ваша дочь, ни ее ребенок² не должны встречать то отношение, какое к нам всюду проявляют. Мне всегда казалось, что именно Вы, с чьим мнением люди считаются, должны особенно заботиться о том, чтобы к нам относились справедливо и чтобы молодую семью, невинную, доброжелательную и дружную, не ставили на одну доску с распутницами и совратителями. Когда наибольшую безжалостность и жестокость проявили Вы сами, я был поражен и, признаюсь, возмущен тем, что, зная меня, Вы из каких бы то ни было побуждений могли поступать так жестоко. Я оплакивал крушение надежд — тех надежд, которые, под дей-

ствием Вашего гения, возлагал некогда на душевные Ваши достоинства, — когда оказалось, что ради себя, своей семьи и своих кредиторов Вы готовы возобновить со мной отношения, от которых однажды с гневом отказались и на которые Вас не могло склонить сострадание к моим мукам и лишениям, добровольно взятым мной на себя ради Вас же. Не говорите мне вновь о *прощении*; моя кровь кипит и сердце исполняется горечи против каждого существа, имеющего человеческий образ, при мысли о враждебности и презрении, которые я, шедший к людям с добрыми делами и пылкой любовью, испытал от Вас и от всех людей.

Чувства, которые Вы во мне всколыхнули, не дают мне возможности ответить подробно на деловую часть Вашего письма. Я могу сказать только, что Вы чересчур оптимистичны, но я сделаю все, что могу, чтобы не разочаровать Вас. Я предвижу немало трудностей и даже опасность, но я не склонен преувеличивать свои затруднения. Я наверняка пробуду в Лондоне несколько дней, быть может и дольше, смотря по тому, сколько потребуют дела. А пока прошу Вас найти письмо, где я говорю о Брайанте³, и переслать мне как можно скорее его адрес. Я оставил его письмо на Бишопгейт. При первой возможности я подробно отвечу на Ваше письмо, если не представится иного способа объясниться.

[Письмо не подписано]

72

РОБЕРТУ САУТИ

Грейз-Инн-сквер 5,
7 марта 1816

Дорогой сэръ!

Не могу отказать себе в удовольствии послать Вам небольшую поэму¹, плод нескольких мирных часов прошедшей прекрасной осени. Я никогда не забуду приятного времени, проведенного в беседах с Вами, и Вашего гостеприимства в течение моего недолгого пребывания в Кемберленде несколько лет назад. Крушение некоторых юношеских надежд и последующие более тяжкие бедствия — только этим могу я оправдаться в том, что не писал Вам из Ирландии, как обещал. Всего, что кроется за этим извинением, Вы не знаете. Достаточно сказать, что в знак моего восхищения поэтом и моего уважения к человеку я посылаю Вам свою первую серьезную попытку обратиться к лучшим человеческим чувствам; я верю, что Вы достаточно великодушны, чтобы забыть — как забываю я, — сколь несхожи наши политические и нравственные убеждения, и приписать эти различия лучшим мотивам, нежели те, какие толпа обычно усматривает в отступлениях от общепринятых взглядов.

Искренне Ваш
Перси Б. Шелли

73

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Дувр,
3 мая 1816

Вы несомненно хотите знать о моих делах. Я был бы рад дать Вам о них более благоприятный отчет, нежели тот, который вынужден представить сейчас. Я сожалею о своих стесненных обстоятельствах потому, что в числе других подобных планов не сумею доставить Вам те удобства и независимость, какие, по справедливости, давно уже должно было бы обеспечить Вам общество.

Канцлерский суд постановил¹, чтобы ни я, ни мой отец не распоряжались имением. Решено также, что весь лес, оцененный, как говорят, в 60 000 фунтов, должен быть срублен и продан, а деньги внесены в суд, на случай выкупных платежей. Это Вы уже знаете от Фанни.

Таким образом, по отношению к Вам я снова оказываюсь почти в том же положении, какое описывал Вам в марте. От отца я не получу ничего, кроме милостыни. Возможности достать денег под обеспечение будущего наследства весьма сомнительны; а сделки под ежегодную ренту наверняка могут дать лишь очень немного.

Отец должен выдать мне известную сумму на погашение тех обязательств, которые я брал на себя за время, пока решалось дело. Эта сумма очень невелика и почти целиком уйдет на уплату тех моих долгов, которые я вынужден был указать, чтобы вообще получить эти деньги; останется несколько сот фунтов; из них Вы в течение лета получите 300 фунтов. Эту сумму я должен обеспечить своим будущим наследством; документы будут составлены за полтора-два месяца, и я должен вернуться, чтобы их подписать и получить деньги. Если только моему отцу не станет известно, что я обращался также к другим работодателям, деньги для Вас наверняка будут получены ко времени общего учета векселей.

Боюсь, что с Брайантом ничего не выйдет. Он обещал ссудить мне 500 фунтов, *просто под расписку*; разумеется, он не сдержал слова, и это не сулит ничего хорошего в будущем. Эта возможность перед нами не закрыта, но я считаю, что единственным, во всяком случае лучшим, ходом было бы Ваше вмешательство. Может быть, Вам не хочется, чтобы Вас сочли за моего личного друга, но это необходимо, если только Вы согласны. Я убежден, что это будет весьма благоприятствовать делу. Должен предупредить, что соблюдение тайны является сейчас необходимою.

Хейуорд² тоже кое-что хочет устроить. Он надеется, что сможет достать мне 300 фунтов под обеспечение наследством.

Ни Брайант ни Хейуорд не знают, что я уехал из Англии; так как я по всей вероятности, и даже наверное, должен буду через несколько недель вернуться для подписания документов, если на это согласятся, и,

во всяком случае, для получения денег от отца, то я решил, что они меньше станут стараться, если узнают, что я за границей. Я сообщил им, что на две-три недели еду в деревню. Я даже оставил за собой квартиру на Марчмонт-стрит.

Причины, побудившие меня покинуть Англию и изложенные мной в одном из предыдущих писем к Вам, с тех пор требуют этого все более настоятельно. Надолго оказавшись в положении, когда то, что я почитаю предрассудком, не позволяет мне занять равноправное положение среди людей, я предпринял решительный шаг. Я увожу Мери в Женеву, где обдумаю, как устроить нашу жизнь; я оставляю ее там лишь на время поездки в Лондон, где займусь исключительно делами.

Итак, я покидаю Англию, — быть может навсегда. Я вернусь туда один и не ради дружеских встреч, или дружеских услуг, или чего-либо, способного смягчить чувства сожаления, почти раскаяния, какие испытывает в подобных обстоятельствах каждый, кто покидает родину. Вас я почитаю и думаю о Вас хорошо, быть может лучше, чем о ком-либо из прочих обитателей Англии. Вы были тем философом, который впервые пробудил, — и как философ и поныне в значительной степени направляет — мой ум. Мне жаль, что те Ваши качества, которые наименее достойны похвал, пришли в столкновение с моими понятиями о том, что правильно. Но я слишком дал волю негодованию и был к Вам несправедлив. — Простите меня. — Сожгите письма, в которых я проявил несдержанность, и верьте, что как бы ни разделяло нас то, что Вы ошибочно зовете честью и репутацией, я навсегда сохраню к Вам чувства лучшего друга.

П. Б. Шелли

Мой адрес: Женева, до востребования. Я писал наспех, ежеминутно ожидая отплытия пакетбота.

74

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ¹

*Женева,
15 мая 1816*

Дорогой Пикок!

После десятидневного путешествия мы прибыли в Женеву. На нашем пути — как на дороге жизни — перемежались дождь и солнце, хотя многочисленные дожди² были для меня, как Вы знаете, весенними ливнями, которые быстро проходят и сулят погожее лето.

В некоторых отношениях поездка была восхитительна, но хлопоты, необходимые, чтобы ехать без задержек, и постоянный страх перед расходами изрядно уменьшают удовольствие от любого путешествия.

Нравы французов³ любопытны, хотя англичанам они меньше по душе, чем когда-либо. Угрюмое недовольство проявляется ими постоянно.

Я меньше презираю эту нацию, когда вижу, что, будучи рабами и оказавшись для этого вполне пригодными, они все же не научились носить свои цепи с улыбками угодливой признательности. Всего лучше было бы им любить истинную свободу и добиться ее — но хорошо уж и то, что рабство вызывает у них ропот.

Вы живете на берегах тихой реки, среди небольших лесистых холмов. Вы живете в свободной стране, где можно действовать без помех и владеть имуществом без опасений; покуда вообще существуют государства со всеми себялюбивыми понятиями, до них относящимися, Англия остается наиболее свободным и просвещенным.

Быть может, Вы избрали благую часть; но если я вернусь и последую Вашему примеру, я не стану жалеть о том, что повидал иные края. Много дурного и много хорошего, много такого, что вызывает отвращение, и такого, что возвышает душу, не познаёт и не почувствует тот, кто не покидал пределов родной страны.

Пока человек остается тем, каков он сейчас, опыт, о котором я говорю, не научит его презирать страну, где он родился; напротив, подобно Вордсворту⁴, он лишь тогда поймет, какая любовь связывает его с родиной, когда разлука с ней заставит его сердцем почувствовать ее красоту; наши поэты и мыслители, наши горы и озера, сельские дороги и поля, у нас особенно своеобразные, — вот связи, которые, пока я живу и чувствую, ничто не может порвать. Все это — и память об этом, если мне не суждено возвратиться, — все это и привязанности, от которых они неотделимы, ибо некогда составляли их часть; все это навеки сделает для меня дорогим имя Англии, моей родины, даже если я туда не вернусь. Это и есть для меня родина; в этом соединяется все, что мне в этой мысли дорого.

Однако я полагаю, Вы не для того платили за это письмо, чтобы читать одни лишь чувствительные излияния: боюсь, что я еще нес скоро сделаюсь заправским туристом, но скажу: чтобы попасть в Женеву, мы переехали через Юру — ответвление Альп.хлопоты с лошадьми и с огромными гостиничными счетами, с возницами и с врунами-трактирщиками Вы легко себе представите; заполните эту часть картины согласно собственному опыту, и наверняка выйдет похоже. Юрский хребет очень высок. Он образует ландшафты поразительной красоты. Непроходимые сосновые леса, где не ступал человек и куда ему не добраться, простираются здесь во все стороны. Порой они спускаются по склону горы, сопровождая путника в долину, одевая отвесные скалы, цепляясь узловатыми корнями за голые расщелины. Иногда дорога подымается высоко в царство вечной стужи, и там лес становится реже, а деревья гнутся под тяжестью снега. Деревья здесь поражают своей величиной и разбросаны отдельными кучами по белой пустыне. Я еще не видел более дикой и мрачной местности, чем та, которую мы проехали за последний день пути. Безмолвие, свойственное этим безлюдным горам, составляло странный контраст с голосами наших проводников, ибо в здешних местах приходится нанимать несколько

человек, чтобы помогать лошадям тащить экипаж по снегу и не давать ему свалиться в пропасть.

Сейчас мы в Женеве; здесь или в окрестностях мы, вероятно, пробудем до осени. Но очень скоро, через две-три недели, я, возможно, вернусь в Англию для участия в последних усилиях Лонгдилла⁵ по устройству моих дел; разумеется, я при этом повидаяюсь с Вами; а пока мне интересно все, что Вы напишете о себе.

Мери сейчас занята, пишет; иначе она написала бы Вам по-латыни, на которой мне не удастся выразить свои мысли. Не жду от Вас подражания тому, что Вы наверняка сочтете непростительным и варваризмами.

Б. П. Шелли

75

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Женева,
17 июля 1816

Мое желание найти уголок на земле и назвать его нашим домом, и убеждение, что привязанность к этому уголку является источником прекрасных и добрых чувств, наконец привело меня к решению приобрести такое жилище.

Вы — единственный человек, который достаточно расположен ко мне, чтобы с охотой заняться этим делом, и вкусы которого достаточно схожи с моими, чтобы я мог доверить Вам его осуществление.

Я не обременяю Вас извинениями по поводу хлопотливого поручения. Это всего-навсего переговоры о найме дома, приведение в порядок запущенного сада, починка какой-нибудь изгороди и перевозка книг. Мне ничего не нужно, кроме сельского образа жизни и дальних прогулок.

Хорошо бы, если б Вы перевезли из Бишопгейта все мои книги, всю мебель и все другие принадлежащие мне вещи. Я писал к —, с просьбой переслать все мои вещи оттуда к вам. Я написал также Л[онгдиллу], чтобы с 3 августа отказаться от тамошней квартиры.

Когда все мое имущество окажется у Вас, я хотел бы, чтобы Вы подыскали квартиру для меня, Мери, Вильяма и котенка, который сейчас отдан *en pension**. Пусть это будет дом без мебели, по возможности с хорошим садом, поближе к Виндзорскому лесу; арендовать его надо на четырнадцать лет или на двадцать один год. Дом не должен быть слишком тесным. Мне хочется, чтобы все как можно больше напоминало Бишопгейт; думаю, что нечто подобное можно найти на Саннинг-хилл, Уинкфилд-плейн или около Вирджиния-уотер.

* На пансион (франц.).

Домов сейчас много, и они чрезвычайно дешевы; но я в этом деле всецело полагаюсь на Вас.

Разумеется, Вы напишете о том, что Вами сделано, и я немедленно переведу деньги на все расходы, какие Вы почтете необходимыми. Но может быть, Вы продадите из бишопгейтской мебели то, что ненадобно — например, эти ужасные портьеры и т. д.

Пожалуйста, напишите Л[онгдиллу], что я уполномочил Вас 3 августа вместе со слугами леди Л[амли] пересчитать по описи вещи, если им угодно, и сделать все, что понадобится. Я удовольствовался бы домом в Бишопгейте, хоть он и дорог, если б леди Л.¹ согласилась подождать с оплатой до получения мной наследства. Это я говорю для того, чтобы Вы могли сделать ей такое предложение, если увидите возможность этого.

Я намерен вернуться в Англию и навсегда поселиться в этой отличной стране. Весьма вероятно, что мы вернемся будущей весной — быть может и раньше, быть может позже, но вернемся непременно.

Рассказ о причинах и следствиях моего путешествия я приберегаю на будущее, до какой-нибудь зимней прогулки или летней экскурсии. Одно несомненно: прежде чем мы вернемся, мы повидаем, услышим и переживем много такого, о чем будем рассказывать и что сделает нас несколько более достойными людской дружбы нежели перед отъездом.

Мы предполагаем², если удастся, спуститься по Дунаю водным путем, посетить Константинополь и Афины, потом Рим и города Тосканы и вернуться через южную Францию, все время по большим рекам — Дунаю, По, Роне, Гаронне; реки — это не то, что дороги, творения человеческих рук; подобно нашему духу, их свободный путь ведет по непроходимым пустыням и мимо прекраснейших уголков, недоступных иначе. Имеют они и более низменное преимущество — путешествовать по ним дешевле.

План путешествия на Восток только сейчас завладел нашим воображением. Боюсь, что когда дойдет до практических подробностей, он окажется неосуществимым, подобно всем другим дерзким и прекрасным мечтам; но мы, во всяком случае, напишем Вам, где бы мы ни оказались и какие бы приключения ни готовила нам судьба.

Взамен сообщите мне все английские новости. Что с моей поэмой³? Надеюсь, что она нашла приют в лоне своей матери, Забвения, из которого только я мог так безжалостно ее извлечь.

Пишите о политической обстановке в Англии, о литературе — говоря о ней, я имею в мыслях Кольриджа, — а также о себе, о Ваших делах и Ваших исторических трудах.

Я успел написать это, когда пришло Ваше письмо к Мери, помеченное 8-м числом. То, что Вы пишете о Бишопгейте, разумеется, меняет часть моего письма, где о нем говорится. Признаюсь, я не без грусти узнал о предстоящем разорении⁴; но может быть для меня даже лучше, что столь дорогое обиталище теперь для нас недоступно.

Вам придется приютить моих бездомных пенатов, посвятить им какой-нибудь новый храм и в моем отсутствии исполнять обязанности жреца. Это невинные божества, и их культ не требует кровавых или нелепых жертв.

Предоставим как Маммону, так и Иегову тем, кто наслаждается злом и рабством, — их алтари запятнаны кровью или осквернены золотом, этой ценою крови. А алтари пенатов — это дрова, пылающие в очаге, или окна, оплетенные вьющимися растениями; вместо гимнов там слышится мурлыканье котят и пение чайника, долгие беседы о прошлом и об умерших, детский смех, теплый летний ветерок, залетающий в мирный дом, и злая зимняя вьюга, которая тщетно хочет туда ворваться. Кстати, о пенатах; разве не похож я на Юлия Цезаря, посвящающего храм Свободе?

Как я сказал в начале этого письма, в выборе дома я целиком полагаюсь на Вас. Я предпочитаю Виндзорский лес из-за рощ и парков и обитающих там животных. Но я равнодушен также и к красотам Темзы, и любая подходящая местность, о которой Вы напишете, может заставить нас позабыть полюбившийся нам Бишопгейт.

В пользу Темзы говорит и то обстоятельство, что вблизи нее поселились Вы. Но не забудьте, что мы ищем жилище постоянное, на всю жизнь, а потому внутренность его имеет для нас большее значение, нежели окружающий пейзаж; каков бы он ни был в начале, он вскоре примет ту окраску, какую ему придадут наши привычки.

Я рад, что обстоятельства не позволяют мне выбирать самому. Я подчинюсь Вашему выбору, как люди подчиняются неизбежности своего рождения.

Лорд Байрон — чрезвычайно интересный человек; как жаль поэтому, что он — раб самых низких и грубых предрассудков, да к тому же шальной, как ветер.

П. Б. Ш.

76

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Шамони, отель «Лондон»,
22 июля 1816

Дорогой лорд Байрон!

Мы только что прибыли в Шамони — вечером следующего дня после нашего отъезда. Мне представляется случай послать Вам письмо. Не стану пытаться описывать места, по которым мы проехали. Я надеюсь вскоре прочесть в поэтических строках о чувствах, которые они вызовут у Вас. Долина Арвы (она в сущности является продолжением долины Шамони) становится чем дальше, тем прекраснее и, наконец, в местечке Серво, там, где Монблан и соседние с ним горы замыкают долину с одной стороны, превосходит и затмевает все, что я доныне видел или воображал.

Дело не только в том, что горы эти громадны по размерам, а леса необозримы; в самих их очертаниях и красках есть величие, которое производило бы впечатление даже и при меньших масштабах. Я пишу в надежде — позволите ли Вы ее высказать? — что мы увидим Вас здесь до нашего отъезда. Едва вступив в эту восхитительную долину, мы решили остаться здесь на несколько дней. Когда мы подъезжали, обрушилась лавина. Мы слышали грохот ее падения, а спустя несколько мгновений стал виден клубящийся след ее пути; поток, вытесненный ею из русла, затопил всю лошину, в которой протекал. Я хотел бы, чтобы чуда и красоты этих «дворцов Природы»¹ побудили Вас посетить их, пока мы, которые столь высоко ценим Ваше общество, еще находимся здесь.

Как наш маленький Вильям²? Здоров ли?

Клер³ шлет Вам привет, Мери также просит передать поклон.

Преданный Вам

П. Б. Шелли

Р. С. Дороги здесь прекрасные, и для путников все предусмотрено. До Салланша можно доехать в экипаже, а потом, хотя остаток пути можно проделать в *char du pays**, я советую Вам последовать нашему примеру и нанять мулов. Можно обойтись без проводника, хотя у нас он был; ибо дорога, за одним лишь незначительным исключением, отличная и совершенно ровная. Между Женевои и Шамони есть, видимо, небольшой подъем.

77

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Портсмут,
8 сентября 1816

После девяти дней скучного пути по суше и по морю мы добрались сюда. Но во время путешествия по Франции у нас были и приятные минуты, подобные проблескам солнца в ненастье. Мы ехали не через Париж, а более коротким путем, через Версаль и Фонтенбло, где останавливались, чтобы осмотреть знаменитые дворцы, которые, как я расскажу Вам после, заслуживают внимания как памятники людского могущества; они величавы, хотя и несколько потускнели; второй из них был ареной некоторых из наиболее интересных эпизодов Французской революции — этого главного события нашей эпохи. Переезд из Гавра был тяжелый — 26 часов. Сейчас мы как раз успели пообедать, и мне говорят, что почта отправляется через несколько минут, — но я спешу возможно скорее сообщить Вам о благополучном прибытии «Чайльда»¹. Единственное приключение, по-

* Деревенской тележке (франц.).

стигшее его с тех пор, как он покинул отчий кров, не имело в себе ничего славного. Его приняли за контрабандиста, и засаленный таможенник вертел его так и сяк, думая, не спрятаны ли в нем кружева и т. п. Сейчас он в безопасности — заперт в моем саквояже.

Через три дня я напишу Вам снова. Прощайте — берегите здоровье — будьте покойны — и верьте, вместе с Кольриджем, что «надежда — наш священный долг и мать всех других добродетелей»². Поверьте, что такого человека, как Вы, она не покинет, если только не гнать ее безжалостно.

Мери присоединяется к моим искренним пожеланиям счастья. Клер велит передать Вам нечто лучше задуманное, нежели выраженное.

Ваш искренний друг

П. Б. Шелли

[P. S.]. Прошу передать мой поклон Хобхаузу — а также мистеру Дэвису³. Надеюсь, что первый развеял всякие угрызения, какие Вы могли почувствовать, когда расстались с Полидори⁴. История, которую он мне рассказал вечером накануне моего отъезда из Женевы, заставила меня похолодеть.

78

ЛОРДУ БАЙРОНУ

*Лондон, Марчмонт-стрит 26,
11 сентября 1816*

Дорогой лорд Байрон!

Я только что виделся с Мерреем и передал ему поэму¹. Он был со мной чрезвычайно учтив и сказал, что ему не терпится прочесть ее. Он уже слышал, что ее считают лучшим из всех Ваших произведений и что таково мнение госпожи де Сталь². Завтра я побываю у мистера Киннерда³. Меррей говорит, что леди Байрон находится в Лондоне, и здоровье ее значительно улучшилось. Это подтверждается уже самим ее приездом.

Мери и Клер расстались со мной в Портсмуте и отправились в Бат. Я приехал на прежнюю свою квартиру; в ней очень пусто и одиноко. Никого со мною нет, кроме призраков старых воспоминаний, и каждый является с каким-нибудь упреком, на который не находишь ответа. Мой поверенный, оказывается, находится в Ланкастере. Я написал ему, чтобы он приехал; но это заставит меня еще больше времени провести в этой многоядной пустыне. Вчера вечером у меня была Фанни Годвин, она рассказала о делах своего отца, которому, к счастью, скоро будет оказана помощь. Она сказала, что его роман очень продвинулся⁴. Сказала также, что художник Норткот⁵, пламенный поклонник всех Ваших произведений, посоветовал Годвину прочесть «Гленарвон»⁶ и утверждает, что многие места в нем свидетельствуют о необыкновенном таланте.

Урожай еще не собран. Явных признаков недовольства пока незаметно, хотя народ, как говорят, сильно бедствует. Но вся тяжесть положения обнаружится вполне только зимой. Всей душой надеюсь, что отчаяние не толкнет народ на преждевременную и бесцельную борьбу.

Скоро напишу Вам снова — сейчас меня терзает спазматическая головная боль, которая не дает связно мыслить. Прошу Вас написать мне и прислать о себе хорошие вести. Глубокий интерес, какой я чувствую ко всему, что Вас касается, заставляет меня с нетерпением ждать малейших подробностей.

Остаюсь, дорогой лорд Байрон,
Ваш искренний друг

П. Б. Шелли

79

ЛОРДУ БАЙРОНУ

*Бат,
29 сентября 1816*

Дорогой лорд Байрон!

Вы уже знаете от Киннерда о том, как уладилось дело с «Чайльд Гарольдом». Вам за него причитается 2000 гиней. Меррей не возражал, хотя вышло маленькое недоразумение из-за того, что он думал получить его за 1200, но все тотчас же разъяснилось. Надеюсь скоро известить Вас, что получена первая корректура. Я виделся с Киннердом и имел с ним длительную беседу. Он сообщил мне, что леди Байрон сейчас совершенно здорова и живет с Вашей сестрой¹. Это сообщение очень меня порадовало. Я считаю, что вторая часть его является решительным опровержением единственной серьезной клеветы, какую на Вас когда-либо возводили. На эту тему, во всяком случае, свет должен отныне молчать. Киннерд говорил также о некоторых слухах, какие, по его словам, усердно распространяет о Вас Каролина Лэм. Я не могу относиться к подобным сплетням с той серьезностью, с какою относятся к ним иные. Они были бы безобидны уже из-за самой своей невероятности, если б не были еще безобиднее из-за своей глупости. Это — искры от горящей соломы, которые гаснут, когда она сгорает. Поверьте, что Вам суждено занять такую высоту во мнении человечества, куда не достигнет мелочная вражда. Надо только, чтобы Вы ясно сознавали свое предназначение и не пренебрегали им, и это разом освободит Вас от всех докучных тревог, какие причиняют слишком чувствительным умам суждения переменной толпы. Сейчас Вы в Италии² и, быть может, забыли все, о чем явилась Вам напомнить моя непрощенная забота. Вы созерцаете предметы, которые возвышают, вдохновляют и успокаивают. Чувства, вызванные этим созерцанием, Вы сообщаете человечеству, а быть может и далеким потомкам. Неужели это мало — надежда рождать великое и доброе, которому суждена, быть мо-

жет, вечная жизнь? Неужели это мало — стать источником, из которого мысли других людей будут черпать силу и красоту? Неужели этого мало для честолюбия того, кто может презирать всякое иное честолюбие? Вы уже обнаружили дарования необыкновенные. Создав уже столь много и с легкостью, совершенно несоразмерной с результатами, чего не сможете Вы свершить в будущем? Что было бы с человечеством, если бы Гомер или Шекспир ничего не сочинили? Или если бы ложная скромность или заблуждение относительно своего таланта помешали им создать те непревзойденные творения, которые стали для нас таким благодеянием? Я не сравниваю Вас с ними. Мне неизвестно, каких высот мысли Вам суждено достигнуть. Знаю только, что талант Ваш огромен, и он должен развернуться в полной мере.

Не то, чтобы я советовал Вам добиваться славы. Побуждения Ваши должны быть более чистыми и простыми. Вы должны лишь стремиться выразить свои мысли; должны искать отклика в тех, кто способен думать одинаково с Вами. Слава последует за теми, кого она недостойна вести к собою. Я не хотел бы, чтобы Вы немедленно принялись за эпическую поэму или иной труд, который потребует сосредоточения всех Ваших сил. Я хотел бы, чтобы ничто не мешало Вашему естественному развитию или तो ропило его. Я восхищаюсь многим из уже написанного Вами. Я надеюсь еще на многое, созданное с той же свободой и пылкостью чувств. Я надеюсь всего лишь на то, что Вы, когда ясный ум Ваш покажет Вам «истину вещей»³, почувствуете, что Вы из всех людей избраны на великий подвиг мысли; и что с той минуты все Ваши занятия будут вести к одной этой цели; что все Ваши привязанности и все земные надежды, какие Вам остались, будут связаны с этим замыслом. *Что именно* это должно быть — судить не мне. Однажды я осмелился предложить Французскую революцию как тему, содержащую все наиболее интересное и поучительное для человечества. Но посвящая себя столь великому свершению, Вы не должны руководиться чьим-либо разумением, кроме Вашего собственного, — а моим менее всего.

Увидим ли мы Вас весной? Как Ваши дела? Не напишете ли мне о них? Хотя я очень хотел бы знать, как обстоит с Вашими именными, я не побывал у Хенсона⁴, опасаясь, что мой визит будет неуместен. Сейчас мы все в Бате, здоровы и довольны. Клер пишет Вам, Мери читает у камина; кошка и котенок спят под кушеткой, и маленький Вилли⁵ только что уснул. Мы подыскиваем дом в каком-нибудь уединенном месте; и главной радостью, какую мы станем тогда ждать, будет Ваше посещение. Если Вы не сдержите своего обещания, Вы нарушите все наши планы сельской жизни. Более того: из жизненной цепи выпадет тогда звено, которого нам очень будет не хватать — так мы ценим Вас и Ваше общество. Прощайте.

Ваш искренний друг

П. Б. Шелли

80

ЛОРДУ БАЙРОНУ

*Бат, Эбби-Черч-ярд 5,
20 ноября 1816*

Дорогой лорд Байрон!

Мы рады были узнать, что Вы благополучно прибыли в Милан и не оставили мысли побывать весною в Англии. Газеты сообщают, что Вы отправились в Албанию. Но я надеюсь, что сведения, полученные от Вас лично, более достоверны. Бедной Клер подходит время родить, и хотя она чувствует себя не хуже, чем большинство женщин в ее положении, мне кажется, что она пала духом. Она почти утратила давнюю живость и беззаботность, которых Вы в ней, должно быть, и не помните. Я показал ей Ваше письмо, чего не сделал бы, если бы мог предвидеть, в какое состояние оно ее приведет. Я не сомневаюсь, что и Вы этого не ожидали. Но малейшее упущение и самое случайное слово часто ранят человека, больного телом или душою. Все мои заверения, что Вы поступите как должно, были бы излишни; она питает к Вам неограниченное доверие, и, естественно, каждое воображаемое проявление невнимания с моей стороны считает за измену Вам. Едва ли нужно заверять Вас, что и Мери, и я окружим ее всем необходимым вниманием и заботой. Если Вы не хотите сами писать Клер, пришлите ей несколько добрых слов через меня, а я, принося необходимую жертву предрассудкам, брошу письмо в огонь.

Вы, разумеется, получили известия о волнениях в Англии. Весь общественный порядок находится там в угрожающем состоянии. Самым верным предвестником близких перемен является то значение, какое внезапно приобрела народная партия, а также все более громкие и яростные призывы демагогов. Но народ проявляет разумное спокойствие даже в чрезвычайных обстоятельствах, и реформа может осуществиться без революции. Парламент соберется 28 января; а до тех пор — ибо толпа не совершает насилий, она только собирается, принимает резолюции и петиции, — до тех пор все классы общества будут угрюмо ждать результатов парламентской сессии. Говорят, что налоги нельзя собрать; если так, то не удастся погасить и национальный долг — а разве землевладельцы не обязались его уплатить? Я надеюсь, что без полного переворота, который отдал бы нас в жертву анархии и поставил над нами властителями невежественных демагогов, можно ждать от предстоящей парламентской борьбы самых радикальных изменений в английском политическом устройстве.

Меррей и еще один книгопродавец открыли военные действия в рекламных колонках «Морнинг кроникл». Последний — этакий нахал! — публично утверждает, будто Вы продали ему за 500 гиней право издания нескольких стихотворений. Кстати, Меррей отказался прислать мне на просмотр корректуру Ваших поэм, ссылаясь на то, что Вы, в письме к нему, якобы поручили их исключительно заботам Гиффорда¹. Еще не зная этого, я увидел объявление о скором выходе их в свет; а обратившись

к Меррею, получил приведенное выше объяснение. Мне было несколько неловко перед Мерреем, когда оказалось, что я хочу взять на себя заботы, которых мне не поручали. Разумеется, я не могу теперь сделать то, что сделал бы со всей тщательностью, — т. е. проследить за правильностью текста, — но не сомневаюсь, что это сделает и мистер Г[иффорд]. Я не уверен, что Меррей не досадует на меня, так как из-за меня переплатил 800 фунтов. «Эдинбургское обозрение» напечатало рецензию на «Кристалль»² и вынесло о ней весьма неблагоприятное суждение. Там сказано также, что Вы напрасно ее хвалили. По-моему, «Эдинбургское обозрение» столь же мало пригодно судить о достоинствах поэта, как Гомер для составления комментария к ньютоновой системе.

Примите нашу благодарность за интересное описание импровизаторов и миланских достопримечательностей. У нас никаких новостей нет.

Остаюсь, дорогой лорд Байрон,

Вашим искренним другом

П. Б. Шелли

81

ЛИ ХАНТУ

Марло,
8 декабря 1816

Я получил оба Ваши письма, вчера и сегодня, и виню себя, что огорчил Вас своей поспешностью. — Но письма Ваши доставляют мне искреннее и притом высокое удовольствие. В своих отношениях с людьми я еще ни разу не встречал доброты и сочувствия, которые так тронули бы меня и на которые мне так хотелось бы отвечать тем же.

В своих отношениях с Вами я постараюсь заслужить Ваше лестное расположение. А сейчас позвольте покончить с вступительными фразами и беседовать с Вами как со старым другом.

Прежде всего, отвечаю на Ваши вопросы. Как на грех, я читал каждый номер «Экзаминера», исключая номер за прошлую неделю¹. Получив вчера Ваше письмо, я приложил все усилия, чтобы его найти, но тщетно. Все здешние подписчики уже переслали его своим друзьям в другие города. Я слышал, что он имеется в одной деревне, в 5-ти милях отсюда; неизвестно, удастся ли мне его раздобыть, поэтому я принимаю Ваше любезное предложение прислать его. Вообще же я регулярно покупаю «Экзаминер», так что не трудитесь посылать Ваш собственный экземпляр. Во-вторых, согласен ли я подписаться под «Гимном Духовной Красоте»²? Все равно — как Вам будет угодно. А между тем я слагал эти стихи под влиянием чувств, волновавших меня до слез, так что они, по-моему, заслуживают лучшей участи, чем быть подписанными именем столь непо-

пулярным и поносимым (насколько мне известно) как мое. Вы скажете, что это не так, что я болезненно чувствителен к тому, что кажется мне несправедливым непризнанием — я не говорю, что оно несправедливо, — забвение, постигшее мою скромную попытку, «Аластора», было само по себе заслужено, я готов это признать; но оно несправедливо, если вспомнить, какой успех имеет иная презренная чепуха. Я уже не льщу себя надеждой, что обладаю достаточным талантом, чтобы сильно воздействовать на людей или сколько-нибудь способствовать их улучшению. Насколько мое поведение и взгляды свели на-нет все усердие и пыл, с какими я за это взялся, — я не знаю. Самолюбие заставляет меня приписывать делу важность, какой оно, быть может, и не имеет. Но одно я не пытаюсь от себя скрывать: я отвергнут обществом; мое имя ненавистно всем, кто вполне понимает его значение, — даже тем, чье счастье я так горячо желаю обеспечить. — Для немногих, более благожелательных, я являюсь предметом сострадания, все же прочие ненавидят и избегают меня. Вам, и может быть некоторым другим (хотя, я боюсь, в меньшей степени), пришлось по душе моя кротость и искренность, ибо они сами кротки и искренни; они верят в самоотвержение и великодушие, ибо сами великодушны и самоотверженны. Быть может, я отказался бы от задачи, которую я взял на себя с юности: в наши злые времена и среди злых языков бороться с тем, что представляется мне пороком и несчастьем — если бы был обречен на сердечное одиночество. По счастью мой семейный круг заключает в себе то, что возмещает мне потерю, — но это все — темы для личных бесед; а сейчас я вижу, что воспользовался данным Вами правом на Вашу дружбу и предался себялюбивой болтовне, которую только друг может извинять и терпеть.

Когда Вы пришлете мне свои поэмы? Я не знал, что Вы опубликовали что-либо еще кроме «Римини»³, которую я читал с восторгом. Сюжет этой поэмы представляет необычайный и особый интерес — хотя мне показалось, что, слагая ее, Вы подчинили себя некоторым правилам, которые сковывают Ваш талант и ослабляют впечатление от Вашего замысла. Хотя я и не во всем поэт, я достаточно чувствую поэзию, чтобы не читать «Римини» без волнения. — Когда же Вы пришлете мне другие Ваши произведения?

Пикок является автором «Хедлонг Холла». Он был весьма польщен Вашим одобрением, и действительно, это одобрение многие были бы счастливы снискать! — Сейчас он пишет «Мелинкорт»⁴ — в том же роде, что и «Хедлонг Холл», но, как мне кажется, много лучше. Это — приятный человек, обладающий большой эрудицией и хорошим вкусом, враг деспотизма и обмана в любом их виде. — Я намереваюсь снять дом среди здешних лесистых холмов и зеленых лугов, у здешней живописной реки — и здесь, если буду когда-нибудь иметь счастье Вас видеть, я познакомлю Вас с Пикоком. В Лондоне мне делать нечего, но приехать очень хотелось бы, хотя бы для того, чтобы провести с Вами вечер; так я и сде-

лаю, если сумею, хотя по завершении здешних дел хотел бы поскорее вернуться в Бат.

И, наконец, последнее. — Вы нуждаетесь в нескольких сотнях фунтов; а в Женеве я виделся с лордом Байроном, высказавшим мне то высокое мнение, какое он себе составил о Ваших достоинствах и заслугах. Не сомневаюсь, что он охотно даст не менее 100 фунтов, чтобы выручить человека, которого он столь высоко ценит. Недавно он написал мне из Милана; так как он дал мне кое-какие поручения, я уверен, что мое письмо по данному им адресу до него дойдет. — Если Вам неудобно сделать это самому, хотите, я напишу ему об этом? Мое письмо выразит то искреннее участие, которое я в Вас принимаю и которое не ограничивалось бы пустыми уверениями, будь у меня хоть сколько-нибудь свободных денег.

Мой друг согласен на проценты и готов для Вас стать иудеем. Но в свою очередь имеет к Вам просьбу, в которой отказать было бы нелюбезно. Наверняка имеются какие-нибудь маленькие литературные предметы роскоши, какие-нибудь удовольствия, привлекательные для человека со вкусом, в которых Вы себе отказывали, считая, что в Вашем трудном положении не можете себе этого позволить. Вас просят — и Ваш отказ причинит такое огорчение, какого Вы наверняка не хотите причинить — истратить прилагаемую сумму именно на такое удовольствие; пусть оно напомнит Вам об этом дружеском споре, придающем пятифунтовой ассигнации ценность, какой она вероятно никогда ранее не имела. Прощайте.

Любящий Вас

П. Б. Шелли

Я пришлю Вам экземпляр «Аластора».

82

МЕРИ УОЛСТОНКРАФТ ГОДВИН

Лондон,
16 декабря 1816

Сегодняшний день, любимая, был для меня днем мучительных переживаний, какие неизбежно вызывает зрелище злобы, глупости и жестокосердия. Ли Хант был все время со мной; его нежная и трогательная заботливость, его дружелюбные упоминания о тебе помогли мне перенести ужас этого испытания.

Детей мне еще не отдали. Я повидался с Лонгдиллом, который советует действовать обдуманно и вместе с тем решительно. Мне кажется, он заинтересовался этим делом. Я сообщил ему, что должен жениться на тебе, и он сказал, что в таком случае отпадают все предлоги, чтобы не отдавать детей. Хант с большой деликатностью заметил, что это будет для

тебя утешительной вестью. — Да, любовь моя, единственная моя надежда, это будет еще одним из бесчисленных благодеяний, которыми ты меня осыпала, но все же меньшим, чем величайший из этих даров — ты сама, — только благодаря тебе могу я вынести ужас воспоминаний о неслыханных злодеяниях, приведших к этой трагической смерти ¹.

Завтра мне предстоит узнать от Дессе ², придется ли мне отстаивать свои права на детей. — Меня по крайней мере утешает мысль, что если возникнет спор о детях, он закончится нашим официальным бракосочетанием; и что ты не только подарила мне целый мир истинного счастья, но даже и связанные с этим формальности принесут свою пользу.

По-видимому, несчастная женщина — самая невинная из всего этого семейства чудовищ — была выгнана из отцовского дома и доведена до проституции, пока не сошлась с грумом по фамилии Смит ³, а когда он ее бросил, она покончила с собой. — Нет сомнения, что эта мерзкая гадина, ее сестра ⁴, не добившись выгод от родства со мной, довела бедное создание до гибели, чтобы заполучить наследство старика — он находится при смерти. Во всяком случае, все указывает на то, что, хотя я потрясен ужасной гибелью человека, некогда столь мне близкого, мне едва ли есть в чем раскаиваться. Хукем, Лонгдилл, словом, все воздают мне должное, подтверждают, что я вел себя по отношению к ней честно и великодушно, и все в один голос винят омерзительных Вестбруков. Если они осмелятся передать дело в Канцлерский суд, на свет всплывут ужасы, которые покроют их позором.

Что Клер? Я не пишу ей, но тебе я могу сказать, как близко я принимаю к сердцу ее благополучие. Было бы излишне поручать ее твоим заботам. Передай ей мой нежный привет и успокаивай ее, как умеешь.

А успокаивать тебя мне нет надобности. — Я здоров, хотя несколько расстроен и утомлен; но теплое внимание Ханта поддерживает меня больше, чем я в состоянии выразить. А ты, любимая, самая лучшая, — ты ищи успокоения в собственном чистом сердце, в сознании того, как ты мне дорога и сколько для меня значишь, — сколько тебе, быть может, суждено сделать добра. Помни о моих бедных малютках — Ианте и Чарлзе. Какую нежную мать они в тебе найдут! — И милый Вильям ⁵ тоже! Глаза мои полны слез. Завтра напишу еще. Напиши мне большое письмо и ответь Ханту.

П. Б. Шелли

83

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Лондон,
17 января 1817

Я пишу Вам, дорогой лорд Байрон, после того как испытал самые неожиданные и тяжкие беды ¹, и сейчас подвергаюсь опасностям и преследованиям. Однако у меня есть для Вас и добрые вести. Клер благополучно

родила прелестную девочку². Мать и ребенок чувствуют себя хорошо; о ребенке Мери говорит, что он великолепно сложен и с первого дня обнаруживает совершенно необычную живость и осмысленность. Впрочем все это, и больше, Вы узнаете из писем Клер.

Моя бывшая жена умерла. Это произошло при обстоятельствах столь ужасных, что я едва решаюсь о них думать. Сестра ее, о которой Вы от меня слышали, несомненно (если не в глазах закона, то на деле) убила ее ради отцовских денег. Поэтому событие, которое я считал для меня безразличным, после гораздо более тяжкого удара³, потрясло меня так, что я не знаю, как я это пережил. Сейчас ее сестра подала на меня в Канцлерский суд с целью отнять у меня моих несчастных детей, ставших мне теперь дороже, чем когда-либо; лишить меня наследства, бросить в тюрьму и выставить у позорного столба за то, что я РЕВОЛЮЦИОНЕР и атеист. Как видно, живя у меня, она похитила некоторые бумаги, подтверждающие эти обвинения. По мнению адвоката, она несомненно выиграет дело, хотя мне, быть может, удастся избежать полного разорения в денежном смысле. Итак, меня повлекут перед судилище деспотизма и изверства и отнимут у меня детей, имущество, свободу и доброе имя за то, что я обличал их обман и бросил вызов их наглому могуществу. Но я не сдамся, хотя мне намекали, что можно купить победу ценой отречения. Я слишком горжусь тем, что избран их жертвой.

Вот неполный перечень моих бедствий (хотя осенью случилось нечто, потрясшее меня гораздо сильнее); я привел его не затем, чтобы Вам доучать или привлекать к ним Ваше внимание, но чтобы сказать, что «я написал бы Вам раньше, не будь я сражен несчастьями, превышающими всякую меру».

В прошлом месяце я неожиданно получил письмо от Вашего друга Ли Ханта, которого после этого навестил. Это отличный и весьма доброжелательный человек. Я мало встречал таких, каким он мне кажется. Он участливо выслушал повесть о преследовании, какому подвергает меня распутная и мстительная женщина⁴, и теперь помогает мне советом и собственным участием.

Вот все мои новости, дорогой лорд Байрон, кроме этого могу сообщить то, что для Вас уже не новость: что я часто говорю, а еще чаще думаю о Вас; и хотя я не виделся с Вами полгода, меня все еще гнетет собственная незначительность и бессилие, мешающее мне доказать, сколь мне дорого Ваше благополучие. Прощайте.

Преданный Вам

П. Б. Шелли

[P. S.] Хант просит Вам кланяться.

84

ЛОРДУ БАЙРОНУ

*Олбион-хауз, Марло, Бэкингемшир,
23 апреля 1817*

Дорогой лорд Байрон!

Это письмо отправляется искать Вас по свету, и очень мало вероятности, что это удастся. Ходят слухи, что Вы в Венеции, и утверждают, будто Вы готовитесь к экспедиции в Грецию и Азию. В прошлый раз я писал Вам под впечатлением некоторых горестных событий и в разгаре судебного преследования, которое сейчас уже обрушило на меня свой самый тяжкий удар¹, о коем говорить излишне, хотя другому делу — против «Королевы Маб»² — пока не дан ход. Но все людские беды либо приканчивают свою жертву, либо сами кончаются, и сейчас я, как обычно, спокойно и счастливо живу в доме, который снял неподалеку от Марло.

Однако я пишу Вам не за тем, чтобы рассказывать о себе, но чтобы рассказать о Клер и о маленьком создании, которое мы — не имея еще права дать ей христианское имя, — зовем Альба, т. е. Заря. Она очень красива и, несмотря на некоторую хрупкость сложения, совершенно здорова. У нее самый умный взгляд, какой я когда-либо видел у такого крошечного ребенка. У нее черные волосы, синие глаза и прелестно очерченный ротик. Мы выдаем ее здесь за ребенка наших лондонских друзей, которого отправили в деревню, чтобы поправить здоровье; а Клер — снова на положении девицы. Все эти предосторожности стали сейчас более необходимы, чем когда-либо, так как мы возобновили отношения с Годвином, а это явилось результатом моей женитьбы на Мери, перемены — если можно считать это переменой, — главной причиной которой было ее желание шадить чувства Годвина. Излишне говорить, что мы пошли на это только ради удобства и что наше мнение о значении этого так называемого освящения союза и обо всех связанных с ним предрассудках остается прежним.

Каковы же Ваши намерения относительно девочки? Мне нечего говорить, что мы с Мери с удовольствием позаботимся о ней во время Вашего отсутствия и вообще столько времени, сколько Вам будет удобно. Но нам необходимо, чтобы Клер жила с нами; следовательно, всегда может обнаружиться, что ребенок — ее. Нет ничего легче, чем объявить, что так оно и есть, и что ребенок — плод тайного брака, заключенного во Франции. Но умные люди говорят, что такое объяснение заставит думать, что он — мой, а при подобном обвинении жители нашей христианнейшей страны не потерпят моего здесь пребывания. Наилучшим выходом из затруднения было бы Ваше скорое возвращение. Мы слышали, будто в Албании свирепствует чума, и надеемся, что это удержит Вас от поездки в страну, откуда европеец никогда не может твердо рассчитывать возвратиться.

Что касается нашей страны, Вы, конечно, слышали, что министры одержали победу, и никто при этом не роптал, если не считать голодающих,

а для их усмирения имеются наемные войска. Кое-чего я, вероятно, не знаю. Мы здесь проводим время с той спокойной размеренностью, которой так приятно наслаждаться, но о которой нечего рассказать. У меня есть мои книги и сад с лужайкой, окаймленной высокой живой изгородью и затененной елями и кипарисами вперемежку с яблонями, которые сейчас цветут. На реке у нас есть лодка, в которой мы совершаем прогулки, когда дни стоят ясные и солнечные, как в последнее время. Можно ли надеяться, что Вы когда-нибудь навестите нас? Клер была бы самой счастливой из нас всех при виде письма от Вас. Сейчас я не сказал ей, что пишу Вам. Мери просит передать искренний привет, а я остаюсь неизменно преданный Вам

П. Б. Шелли

85

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Марло,
9 июля 1817

Дорогой лорд Байрон!

На днях я был у Роджерса¹ по делам, касающимся Ханта, и услышал о Вас, а именно, что Вы ездили в Рим, а сейчас вернулись в Венецию. Первое я узнал уже из сцены в Колизее² в «Манфреде». Отчего же я ничего от Вас не получал? Сперва я истолковал Ваше молчание благоприятно, как знак скорого возвращения. Это отчасти подтверждается объявлением о продаже Ньюстеда³. Я буду в числе первых, кто будет приветствовать Вас здесь.

Сейчас я пишу единственно, чтобы осведомиться о Ваших намерениях относительно маленькой Альбы. Она все еще находится у нас, под вымышленной фамилией. Но это для нас несколько затруднительно. Ее присутствии неизбежно вызывает расспросы. Близится время, когда от наших слуг и гостей уже нельзя будет отделываться отговорками. Здесь в городе живут две весьма достойные молодые особы, которые готовы взять ее к себе, если на это будет Ваше согласие. Тогда Клер сможет ее навещать; и я вынужден посоветовать этот временный выход, если иное решение сейчас для Вас неудобно. Если Вы возвратитесь в Англию осенью или даже зимою, мы сумеем без труда отложить решение вопроса до того времени.

Должен сообщить Вам, что Ваша маленькая дочь здорова и весела. Она очень хорошеет и, хотя для своего возраста миниатюрна, отличается необычайной живостью и понятливостью. Наша женевская няня по целым дням гуляет в саду с ней и с Вильямом; как и его, мы купаем ее в холодной воде.

Вы, вероятно, знаете, что гражданская и религиозная тирания, угнетающая нашу страну, обрушилась и на меня. От этого она не стала для

меня ни хуже, ни лучше, ибо всегда была предметом моей безграничной ненависти. Но мне, быть может, придется уехать из Англии. Возможно, что решение Канцлерского суда относительно двух других моих детей будет распространено и на Вильяма. В таком случае я уеду. А что делать тогда с Альбой?

«Манфреда» я прочел с величайшим восторгом. В нем видна та же свобода от признанных правил, что и в III песни «Чайльд Гарольда» и в «Шильонском узнике»; именно этого не хватало всем Вашим более ранним произведениям, исключая «Лару». Но поэма навеяла на меня глубочайшую грусть; боюсь, что и на других Ваших друзей в Англии тоже. Зачем Вы предаетесь такому унынию? Я слышал, что «Манфред» пользуется огромным успехом; его считают весьма смелым произведением.

У меня здесь бывал Хант, и мы часто говорили о Вас. Хант отличный человек и имеет о Вас весьма высокое мнение.

Как Ваше здоровье — и те решения, от которых оно зависит? Я хотел бы знать, оправились ли Вы от угрожавшего Вам недуга. У меня недавно случился рецидив моей постоянной болезни⁴ и если Канцлерский суд будет угрожать моему домашнему очагу, я уеду в Италию — искать прибежища от нелепого деспотизма наших законов и одновременно от болезни.

Полагаю, что Клер напишет Вам сама. Мери шлет сердечный привет.

Искренне Ваш

П. Б. Шелли

[P. S.] Глаза у Альбы синие, а волосы были сперва черные, но те выпали, и теперь мы никак не решим, какого они цвета. Клер говорит, что каштановые. С Вильямом они большие друзья.

86

ЛОРДУ ЭЛДОНУ¹

*Марло,
20 сентября 1817*

Милорд!

Надеюсь, что естественная любовь отца к детям будет признана Вами за достаточное основание для того, чтобы я мог беспокоить Вашу Светлость этим письмом.

Когда Ваша Светлость заседали в Линкенз-инн, мой поверенный, мистер Лонгдилл, сообщил поверенному мистера Вестбрука, мистеру Морфету, что я намерен — если Ваша Светлость на этом заседании еще не вынесет решения о детях — обратиться к Вашей Светлости с просьбой, чтобы дети во время каникул могли провести две недели в семье мистера Лонгдилла и я мог их там увидеть. Мистер Морфет сказал, что нет необходимости беспокоить такой просьбой Вашу Светлость, так как он не пред-

видит к этому никаких возражений. 9 числа этого месяца мистер Лонгдилл написал мистеру Морфету, чтобы взять к себе детей, и, не получив ответа даже после нескольких попыток, послал одного из своих клерков к мистеру Вестбруку с просьбой дать ответ; однако там сообщили, что семья вместе с детьми уехала из города, а на вопрос куда? служанка ответила, что ей говорить не велели. Мистер М[орфет] позже известил мистера Лонгдилла, что они уехали в Хастингс, что он немедленно переслал туда все письма мистера Л., но пока сообщает только, что мисс В[естбрук]² ничего ему не отвечает.

Я не видел одну из моих детей уже более двух лет и никогда не видел младшего; не допускаю мысли, что Ваша Светлость сочтет мое желание увидеть их ненадолго, но без помех, чем-то неестественным или неподобающим. Вследствие некоторых обстоятельств, которыми я не хочу обременять внимание Вашей Светлости, я не могу надеяться на это без вмешательства Вашей Светлости. Прошу поэтому Вашу Светлость сообщить поверенному мистера Вестбрука, что Вашей Светлости угодно, чтобы детей немедленно отвезли погостить там, где было решено.

Имею честь быть
Вашей Светлости
покорным слугою
П. Б. Ш.

87

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Паддингтон, Лиссон-гроув, Норт,
24 сентября 1817

Дорогой лорд Байрон!

После получения Вашего письма я сам находился в такой неопределенности, что ничего не предпринял для девочки. Если удастся, я проведу эту зиму в Пизе и тогда сам буду Львом при этой маленькой Уне¹. Если же мне придется остаться в Англии, я поручу ее заботам кого-нибудь, на кого смогу вполне положиться. Здоровье мое очень плохо, так что придется о нем позаботиться, если я не хочу, чтобы дело быстро кончилось смертью. Это событие я обязан отвратить, да и не равнодушен к радостям земной жизни. В качестве лучшего лекарства мне советуют Италию.

Я уже писал Вам², что я думаю о «Манфреде». На читающую публику он произвел, насколько я могу судить, такое же впечатление. «Жалоба Тассо», мне кажется, не обладает таким совершенством и цельностью. Отдельные места в ней очень впечатляют, а те строки, где Вы описываете чувства юного Тассо³ — смутное предчувствие своего величия, которое гений ощущает среди одиночества и пренебрежения, — полны глубокого и волнующего пафоса, который, должен Вам признаться, вся-

кий раз исторгает у меня слезы восторга. «Эдинбургское обозрение» очень хвалит «Манфреда»⁴, но гораздо меньше, чем он того заслуживает; ибо эти похвалы, хоть и безмерны, а все же заученны и холодны. Вы знаете, что я живу вдали от света и новостей не слышу. Хант, питающий к Вам величайшее уважение и интерес, считает, как и я, что III песнь — лучшее из всего написанного Вами донныне. В некоторых других отношениях его вкус сильно рознится с моим. Ему не нравится «Манфред», не потому, что в нем недостает силы и поэтического воображения, но потому, что он, по его словам, содержит нечто нездоровое. Я сказал бы, что это было заметно в некоторых Ваших ранних сочинениях, но «Манфред» от этого свободен. Все мы с нетерпением ждем IV песни⁵ и надеемся что-то узнать о прекрасной венецианке.

С тех пор как я Вам писал, Мери родила мне дочь⁶. Мы назвали ее Кларой. Маленькая Альба и Вильям, которые очень дружны и разговаривают друг с другом на совершенно непонятном языке, крайне озадачены появлением незнакомки и считают ее очень глупой, потому что она не идет играть с ними на полу.

Этим летом я был всецело поглощен одним трудом. Я написал поэму⁷, которую пришлю Вам, когда закончу, хотя не хочу испытывать Ваше терпение и заставлять Вас читать ее. Она написана в том же стиле и с той же целью, что и «Королева Маб», но переплетается с повестью о человеческой страсти и отличается большей заботой о чистоте и точности слога и о связи между отдельными частями. Некоторые из друзей отзываются о ней одобрительно, особенно Хант, чье мнение весьма лестно. Она предназначена для печати — ибо я не разделяю Вашего мнения относительно религии и пр., по той простой причине, что не боюсь последствий для себя лично. Преследования я переживаю мучительно потому, что горько видеть порочные заблуждения преследователей. Что касается меня, то хуже смерти мне ничего быть не может; меня могут растерзать на части или предать незаслуженному позору; но умру ли я по воле природы и обстоятельств или за истину, которая, как я верю, принесет большие блага человечеству, — это мне не безразлично.

Я узнал, что Ньюстед назначен к продаже, а покупателя не находится. Так пишут газеты. Неужели Ньюстед нельзя спасти? Мне хотелось бы, чтобы я мог его выкупить.

Клер здорова, но тревожится. Я не сказал ей ничего такого, на что Вы меня не уполномочивали. Мери оправляется после родов; она одна из многих, включая и меня, кто Вас помнит и уважает.

Искренне Ваш

П. Б. Шелли

88

МЕРИ ШЕЛЛИ

[Лондон, Лиссон-гроув 13, Норт,
понедельник, 6 октября 1817]

Моя любимая!

Завтра ты меня не увидишь — постараюсь, если будет возможно, приехать в среду почтовой каретой, если до этого не узнаю от тебя ничего, что может меня задержать.

Милая Мери, не лучше ли тебе сразу приехать в Лондон? Мне думается, мы распорядимся домом не хуже, если ты будешь в Лондоне — т. е. если вы будете там все. В этом случае я посоветовал бы уложить все книги, которые мы решили взять, в большой ящик и прислать их сюда прежде всего. Я бы тогда запер библиотеку и на первое время оставил в доме кухарку, но сначала повидался бы с Мэддоксом¹ и поручил ему за всем присмотреть. Я хочу сказать, что все это сделаешь ты, если согласна на такой план. А если нет, напиши на адрес Лонгдилла немедленно, иначе я не получу твоего письма вовремя. Напиши в любом случае, и если ты не согласна на мое предложение, я приеду в тот же вечер, если смогу; и, во всяком случае, пришлю письмо с той же каретой, а приеду со следующей.

Все говорит за то, чтобы нам ехать в Италию. Здешняя погода очень мне вредна. Я лечусь сам, и за мной очень заботливо ухаживают эти добрые люди. Я думаю о тебе, моя любимая, и до мелочей забочусь о своем здоровье. Сегодня я мучаюсь желудком, и у меня болит бок; очевидно, наступит облегчение, но сегодня весь день мешает выйти из дому. Из-за этого я отложил встречи с Лонгдиллом и Годвином, перенеся их на завтра. Я занял у Хорейса Смита² 250 фунтов, они сейчас у моего банкира.

Самая дорогая и лучшая на свете, как радуют меня твои письма, когда я далеко от тебя. — Сегодняшнее принесло мне величайшую радость. Ты пишешь с таким спокойствием и силой, так утешительно — это почти как если бы я тебя обнимал.

Итак, завтра я не приеду, любимая, но послезавтра непременно, если ты так решишь.

Если же ты приедешь, надо будет снять квартиру попросторней.

Я не забуду ни одного из твоих поручений.

Поцелуй всех малышей. Бедный маленький Вильям, отчего он так мерзнет? И Альбу поцелуй, и Клару.

Передай мой нежный привет Клер и скажи, что я предлагал ее книгу³ Лекингтонам, а также Тейлору и Хесси⁴, но они ее отклонили.

Сегодня мне трудно писать, но завтра будет лучше. Прощай, моя единственная любовь, целую много раз твои милые губы.

П. Б. Ш.

89

ИЗДАТЕЛЮ ¹

Лиссон-гроув 13, Норт,
13 октября 1817

Сэр!

Посылаю Вам первые 4 листа поэмы под названием «Лаон и Цитна, или Революция в Золотом Граде».

Полагаю, что начало дает достаточное представление обо всей поэме. Я знаю, конечно, что последние песни, где действие убыстряется и страсти достигают апогея, написаны более сильно и ясно; и что читать по частям произведение, где автор стремился к единству, значит получить о нем не совсем благоприятное впечатление. Но если Вы отдадите его на суд мистера Мура, он сделает нужную скидку на это обстоятельство.

Вся поэма, исключая первую песнь и отчасти последнюю, является повестью о людях, без малейшей примеси сверхъестественного. В некотором смысле I песнь представляет собой самостоятельную поэму, хотя необходима и как часть целого. Я говорю это потому, что если бы вся поэма была написана в манере первой песни, она не могла бы заинтересовать сколько-нибудь многочисленных читателей.

Работая над ней, я стремился обращаться к обычным, извечным чувствам человека; так что, хотя она повествует о насилии и революции, это смягчено описаниями любви, дружбы и всех естественных привязанностей.

Действие предположительно происходит в Константинополе и в современной Греции, но я не пытаюсь подробно изображать мусульманские нравы. Это — повесть о Революции, какая могла бы произойти в европейской стране, как следствие взглядов, именуемых (по моему мнению, ошибочно) современной философией, в борьбе со старыми понятиями и теми благами, которые ожидают от них их приверженцы. Это — Революция, представляющая собой как бы beau idéal* революции французской, но рожденная гением отдельных личностей и общей просвещенностью. Ее совершают мой герой и героиня, названные в заглавии поэмы.

Мои друзья высказали о моем труде весьма высокое — а потому, несомненно, весьма неверное, — мнение. Об этом я, однако, не в праве судить. Но я решил дать эту возможность другим и хотел бы знать, во-первых, не желаете ли Вы приобрести рукопись — что не должно быть Вам в убыток, если во мнениях моих друзей лорда Байрона и Ли Ханта о моих способностях есть хотя бы частица истины; во-вторых, если Вы не примете этот вариант, для меня несравненно более желательный, то не согласитесь ли Вы издать поэму за мой счет.

* Идеал (франц.).

Во всяком случае, я надеюсь, что Вы не сочтете за труд послать рукопись мистеру Муру и спросить его мнение о ее достоинствах.

Имею честь быть, сэр,

Вашим покорным слугой

Перси Б. Шелли

90

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ¹

Марло,
3 декабря 1817

Дорогой сэр!

Этот Макмиллан² — упрямый старый пес, столь же бессовестный, сколь несносный. Слава богу, как говорят старушки, что я вообще добился от него напечатания поэмы³. Пусть дает список опечаток, пусть объявит в нем, если хочет, что во всем виноват автор, а сам он — невинен, как агнец божий. Пусть только сделает это поскорее, а если не хочет, пусть это сделает кто-нибудь другой.

Я забыл написать, что в конце объявления об этой поэме следует объявить⁴ и об «Аласторе». Если будет спрос на второе издание «Аластора», я переиздам его вместе со многими другими сочинениями, имеющимися у меня сейчас.

Я был бы рад узнать все достоверные высказывания, печатные и устные, о том, как читатель принял поэму — мне довольно безразлично⁵, будут ли то хорошие отзывы или плохие.

На обороте Вы прочтете нечто, что надо дать вместе со списком опечаток.

Нельзя ли просить Вас о любезности: послать прилагаемое объявление в «Морнинг кроникл» и в «Таймс», чтобы его поместили дважды в каждой из них.

Это письмо я вкладываю в посылку, отправляемую в Лондон.

Ваш покорный слуга

Перси Б. Шелли

91

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Марло,
7 декабря 1817

Дорогой Годвин!

Начну с самого важного — договаривайтесь поскорее с Ричардсоном¹. Если б я мог считать, что он действительно это предлагает, каким облегчением это было бы для меня после стольких тревог! — От Лонгдила ничего нет, хотя я настойчиво просил его известить меня.

Здоровье мое заметно ухудшилось. Иногда я чувствую какое-то опеченение, иногда, наоборот, бываю столь сильно возбужден, что — если приводить в пример хотя бы только зрение — каждая травинка и каждая отдаленная ветка видятся мне резко, точно в микроскоп. К вечеру я ощущаю страшную вялость и часто подолгу лежу на софе между сном и бодрствованием, в каком-то мучительном душевном раздражении. В таком состоянии я нахожусь почти непрерывно. Для работы я с трудом нахожу промежутки времени. Однако не это побуждает меня ехать в Италию, даже если я найду там облегчение. Дело в том, что у меня был приступ несомненно легочной болезни, и хотя сейчас он миновал почти бесследно, но ясно показал, что в основе моей болезни лежит туберкулез. Хорошо еще, что этот недуг обычно развивается медленно, и если за ним следить, то теплый климат может принести излечение. Если он примет более острую форму, поездка в Италию станет моим немедленным долгом; я поеду только в случае необходимости; этого не хотелось бы ни Мери, ни мне, из-за Вас. Но едва ли нужно напоминать Вам, что моя смерть, помимо горя, причиняемого близким, имела бы ряд нежелательных следствий. Я потому пишу об этом столь подробно, что Вы, очевидно, неверно меня поняли. В Италию я поехал бы не ради здоровья, но ради самой жизни, и притом не для себя — я способен побороть подобное слабодушие — но ради тех, кому моя жизнь нужна для счастья, полезной деятельности, покоя и чести и у кого моя смерть могла бы отнять все это. Кроме того, я не могу долее питаться мясом.

То, что Вы пишете о Мальтусе, придает мне новые духовные силы. Я призываю то время, когда Вы дождетесь спокойного и независимого положения. Но когда я думаю о том, сколько света Вы проливаете над миром и каким благом для нового поколения было бы, чтобы этот свет достигал их беспрепятственно, не омраченный ни единой тенью, — когда я так думаю, я поднимаюсь над всеми мыслями о Вас и о себе как личностях и ощущаю себя всего лишь частицей бесчисленных далеких умов, которым необходимы Ваши книги.

Я намеревался писать Вам только о «МанDEVиле», но при моей слабости и раздражительности не смог этого, хотя мне казалось, что имею много что сказать. Я прочел «МанDEVиля», но должен его перечесть. Ибо он настолько захватывает, что читатель, увлекаемый, точно облако, гонимое вихрем, не имеет времени оглянуться и понять причину стремительного движения. Я/ нахожу, что «МанDEVиль» по своей силе может сравниться с лучшими Вашими творениями, исключая лишь образ Фокленда; и что нигде так не проявилась творческая мощь, которой Вы наделены более всех современных писателей. Фокленд, однако, остается непревзойденным; в отличие от МанDEVиля — мятежной души, увлекаемой бурей, — Фокленд — это Спокойствие, непоколебимое посреди ее неистовства! Но вообще «Калев Вильямс» так не потрясает душу, как «МанDEVиль». Надо сказать, что в этом последнем Вы правите железной рукой.

В картине отсутствуют светлые краски; и непонятно, откуда берете Вы мрак, чтобы так сгустить на ней тени, что слова «десятикратная ночь» перестают быть метафорой. Слово Smorfia * затрагивает какую-то струну со столь жестокою силой, что я содрогнулся, и мне на мгновение почудилось, будто Мандевиль — это я сам, и его чудовищная усмешка отражается на моем собственном лице.

По красоте слога и силе изображения «Мандевиль» истинно велик; и мало что может сравниться с ним в красоте и энергичности чувств. Образ Клиффорда представляет собой великолепный и утешительный контраст; ни у кого, за исключением, может быть, Платона в речи Агатона из «Пира» (да и то я не уверен), не находим мы более возвышенных нравственных размышлений, воплощающих все самое прекрасное и высокое в природе человека, чем в речи Генриетты, обращенной к Мандевиллю после приступа безумия. — Сказать ли Вам? Когда оказалось, что она при этом втайне молила за своего возлюбленного, а потом покинула — малодушно покинула несчастного Мандевилля, у меня невольно сжалось сердце.

Прощайте.

Неизменно любящий Вас

П. Б. Ш.

P. S. В другой раз мы поговорим о том, что горячо интересует и Мери и меня — о Вашем Вильяме².

92

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Марло,
11 декабря 1817

Дорогой сэр!

Прискорбно, что Вы не позаботились ранее о своей безопасности и выгоде (если считаете, что издание моей книги¹ представляет для них угрозу); тогда Ваш отказ издать ее не нанес бы мне столь серьезного ущерба, как теперь, когда она уже была Вами принята. К угрозам и брани, на которые Вы ссылаетесь, Вы, насколько я понимаю, были готовы. Если нет, то справедливость по отношению ко мне требовала, чтобы это было обдумано Вами заранее. Вы предвидели, Вы знали наперед все, что скажут эти люди. Отказываясь от книги после того, как Вы взяли ее напечатать, Вы делаете все, чтобы повредить ей еще до появления в свет; теперь ее не возьмет никакой другой издатель, раз один уже отверг. Вы должны понимать, какой огромный вред Вы мне этим причините. Если б я не считался с Вашими интересами, моя книга была бы встречена

* Гримаса (итал.),

без предубеждения. А сейчас о ней сперва объявляют, а затем издатель — словно автор обманул его относительно содержания поэмы, — словно неизбежным следствием ее издания будет кара и позор, — словно это нечто такое, до чего страшно дотронуться, — издатель отступает в такой момент, когда это может быть оправдано разве лишь самой крайней и непредвиденной необходимостью.

Я прошу Вас пересмотреть Ваше решение ради Вас не менее, чем ради меня. Займите возвышенную и надежную позицию мужества. Посетители Вашей книжной лавки и жалкий ханжа, который перешел от Вас к другому книгопродавцу, — это еще не публика. Публика уважает талант; и немалая ее часть уже освободилась от тех предрассудков, против которых восстает моя книга. Вы потеряете нескольких клиентов, зато приобретете новых. Ваша торговля получит характер, более соответствующий собственным Вашим принципам. Впрочем, книгоиздатель отнюдь не обязан разделять все мнения, высказываемые в его изданиях, ни даже какие-либо из них. Продавая каждый экземпляр, он может оспаривать как истинность, так и благоразумность принципов, высказанных в книге. Но есть и гораздо более важное соображение. Вы, как-никак, издаете книги не впервые. Если книгу издать спокойно, обычным порядком, я не думаю, чтобы правительство заинтересовалось этим сочинением, написанным для немногих, весьма далеким от интересов толпы. Власти не так легко решатся вторгнуться в высшие круги литературной республики. Но если они увидят, что мы боимся, то не станут разбираться. Они почувствуют свою силу. Если Вы сейчас дрогнете, именно это и может обрушить на нас карающую руку закона. Как только эти мерзавцы видят, что люди их боятся, они хватают их и выставляют перед всем светом преступниками, изобличенными их собственным страхом. Стоит пасть ниц, и вас растопчут. Как они были бы рады добраться до кого-либо из круга Ханта с помощью самого могучего их оружия — испуга жертвы и ее самообвинений. Прочтите все дела *ex officio**, и Вы увидите, какую награду получали книгопродавцы и издатели за свою покорность.

Если, наперекор здравому смыслу и справедливости, Вы решите отступить от моей книги, Вы не понесете ни малейшего ущерба от того, что имели со мною дело, а мне причините ущерб весьма серьезный. Вы не понесете убытку ни на один фартинг. Насколько это в моих силах, я по-прежнему буду заботиться о Ваших интересах. В случае иного Вашего решения, если даже оказалось бы, что Вы ничего не зарабатываете на книге — а я постарался бы, чтобы так не случилось, — я готов полностью компенсировать любые убытки, какие Вы можете понести.

Есть один возможный компромисс, для меня все же, конечно, невыгодный. Шервуд и Нили² хотели быть главными моими издателями. Обратитесь к ним и скажите, что вышла ошибка, и Вы взяли издать

* По долгу службы (лат.).

мою книгу, тогда как я *хотел*, чтобы это сделали они, и именно так Вам написал. Это будет выгодно для Вас, а для меня хотя и неблагоприятно, но все же не совсем разрушит мои планы. Если Ваше имя не будет фигурировать вовсе, это будет для меня горькой и незаслуженной обидой.

Прошу ответить мне с обратной почтой. Надеюсь, что Вы согласитесь выполнить Ваши обязательства по отношению ко мне и выпустите книгу в свет, как того требует справедливость ко мне, Ваши собственные, правильно понятые интересы и Ваша репутация. Надеюсь, что Вы не посрамите отличного девиза на Вашей печати³ и не позволите, чтобы воркотня нескольких ханжей перевесила серьезные и принципиальные соображения, изложенные в моем письме. На их нападки Вам достаточно ответить: «Книгу писал не я; я за нее не отвечаю; вот адрес автора — ему и выражайте свои претензии. Я только продаю ее тем, кто ее спрашивает; и если они недовольны покупкой, автор уполномочил меня принимать книги обратно и возвращать деньги». Что касается вмешательства правительства, то оно крайне маловероятно; но если что и будет, то только из-за Ваших необоснованных опасений, продиктовавших Вам сегодняшнее письмо; Ваши страхи будут истолкованы как доказательство виновности.

Я только что получил весьма любезное и ободряющее письмо от мистера Мура⁴ относительно моей поэмы. Сейчас как раз можно надеяться, что публика примет мое произведение непредубежденно; я могу приобрести известность (Вы знаете, *во имя какой цели* я этим дорожу). Теперь, когда Вы объявили, что будете издателем книги, в Вашей власти разрушить эту надежду и представить меня человечеству как сочинителя отверженного и стоящего вне закона. И это не в отплату за причиненное Вам зло, а в ответ на предпочтение, которое Вы сейчас ошибочно считаете опасным для себя, но о котором Хант в свое время хлопотал и которое я оказал Вам с самыми лучшими намерениями.

Остаюсь, дорогой сэръ, искренним Вашим доброжелателем

Перси Б. Шелли

93

ТОМАСУ МУРУ

Олбион-хаус, Марло,
16 декабря 1817

Дорогой сэръ!

Существующее издание «Лаона и Цитны»¹ подлежит изъятию, но недели через две поэма будет переиздана под названием «Восстание Ислама», с некоторыми изменениями, которые заключаются главным образом в замене словами *подруга* и *возлюбленный* слов *сестра* и *брат*. Дело в том, что моя затворническая жизнь столь часто оставляла меня наедине с моими мыслями, что я составил себе критерии хорошего и

дурного, весьма отличные от принятых меж людьми; в результате, вовсе того не желая, я отталкиваю и возмущаю многих из тех, кто склонен в общем разделять мои взгляды.

Как только я обнаружил, какое впечатление это производит, я поспешил сделать исправления — не из страха или раскаяния, но из искреннего желания принести всю возможную пользу и доставить все возможное удовольствие, какое может исходить от столь малоизвестного человека, как я. Не знаю, зачем я докучаю Вам всем этим; но Ваше одобрение начальных строф поэмы дало мне смелость надеяться, что это объяснение может Вас заинтересовать.

Маленькая книжка², авторов которой Вы столь проникательно отгадали, состоит из двух моих писем, подписанных Ш., и еще нескольких, а также «Дневника», подписанных М. и принадлежащих перу миссис Шелли. Должен сказать, что «Дневник» писался несколько лет назад — слог его почти детский, и он был издан в надежде, что авторство не будет обнаружено. — Письма из Женевы³ были написаны летом 1816 года, а поездка вокруг озера, описанная в одном из них, была совершена в обществе лорда Байрона; это освещает ее в моей памяти волшебным светом, который никогда не погаснет. Я говорю это потому, что Вы были частой темой наших бесед, из которых я узнал о Вашей с ним дружбе. Следует сказать, что миссис Шелли хотя и досадует, что ее тайна вышла наружу, но восхищена тем, что ее книга хоть сколько-нибудь Вас позабавила. — Позвольте сказать в ее защиту, что «Дневник шестинедельной поездки» был написан, когда ей еще не было семнадцати лет, и что у нее есть еще один литературный секрет⁴, который я скоро буду просить Вас хранить за то, что Вы раскрыли этот.

А вообще по какому праву я Вам все это написал?

С признательностью,

искренне Ваш, дорогой сэръ,

Перси Б. Шелли

94

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Марло,
17 декабря 1817

Дорогой лорд Байрон!

С тех пор как я писал Вам, я каждую неделю ожидал, что должен буду уехать из Англии, а в таком случае я сам привез бы Вам Вашу дочь. Но дела мои были в столь неопределенном положении, что лишь теперь, после стольких промедлений, было решено, что я останусь в Англии. Как только это выяснилось, я стал искать надежного человека, которому мог бы доверить маленькую Альбу. Но это оказалось непреодолимой

трудностью. Вы понимаете, насколько тщательно следовало выбирать, и знаете, как уединенно мы живем. Это помешало мне найти подходящего человека. Поэтому я пишу, чтобы спросить, — быть может, Вы что-то предложите? Нет ли у Вас доверенного лица или друга, который собирается из Англии в Италию? У Вас множество влиятельных и преданных Вам друзей, и любой из них мог бы позаботиться, чтобы она была благополучно доставлена Вам, если Вы пожелаете. Я прошу лишь об одной предосторожности — чтобы имя Клер при этом не упоминалось.

Маленькая Альба, или Клара, как она теперь будет называться, удивительно хороша, а ее характер утратил в значительной степени свою *vivacité** и стал ласковым и мягким. Она — подруга игр Вильяма, который так ее любит, что будет одним из многих, кто станет оплакивать ее отъезд. Они вместе сидят на полу и часами играют удивительно дружно. Большую часть изюмин и всего прочего, что ему дают, Вильям кладет ей в рот. Клер хочет окрестить ее и дать ей свое имя¹, но откладывает этот *важный обряд*, пока я не узнаю, не предпочитаете ли Вы какое-либо другое имя.

От такого отшельника и инвалида, как я, Вы не можете ждать новостей. Однако я намерен скоро (этак через неделю) послать Вам стопку книг, которые говорят сами за себя; если окажется, что они благополучно минуют запрет, я вложу также несколько газет. Моя большая поэма под заглавием «Восстание Ислама» сейчас печатается. Кроме того, Вы получите «Мандевиль» Годвина — демоническое подобие Чайльд Гарольда Первого — и еще две-три новые книги.

Надо ли говорить, что мы будем очень счастливы узнать, как Вы живете и что делаете — все еще влюблены — разлюбили — или влюбились снова. Право, если бы Вы знали, как много думают о Вас некоторые из Ваших английских друзей, я не уверен, что Вы стали бы так строго придерживаться старого правила: *regiturgae rescere chartae*** , пока Вы не склонны *щадить* тех, кого Ваш гений может увековечить...

Мы уже слышали о IV и последней песни², но еще не видели ее.

Прощайте, дорогой лорд Байрон.

Искренне Ваш

П. Б. Шелли

* Живость (франц.).

** Щадить гибнущую бумагу (лат.).

95

ЛИ ХАНТУ

Лион,
22 марта 1818

Дорогой друг!

Зачем Вы не разбудили меня тогда вечером, накануне нашего отъезда из Англии, Вы и Марианна? Это я считаю с Вашей стороны довольно недоброй добротой. Но, принимая во внимание разделяющие нас шестьсот миль, я Вас прощаю.

Мы ехали навстречу весне, которая спешила к нам с юга; и хотя погода здесь была сперва отвратительная, сейчас стоят теплые солнечные дни, веет легкий ветер и небо ярко голубое, — такого ясного неба я еще не видел. Сегодня здесь так же тепло, как в Лондоне в разгар лета. Такая перемена благотворно сказывается на моем здоровье и состоянии духа. Надо сказать, что в Лондоне я был столь же слаб духом, как и телом, а между тем я предъявлял им обоим требования, которые было трудно выполнять.

Я прочел «Листву»¹ — бóльшая часть стихотворений уже была мне известна. Как прелестно стихотворение «Нимфа»! В особенности вторая его половина. Оно истинно поэтично, в самом высоком смысле этого слова. Если б не расстояние в шестьсот миль, я сказал бы: как жаль, что Вы не опустили слово «скользкие», чтобы стихотворение было столь же безупречно, как и прекрасно. Но боясь испортить следующее Ваше стихотворение, я не скажу ни слова.

Передайте мой привет Марианне и ее сестре² и скажите Марианне, что она задолжала мне поцелуй, не разбудив меня перед уходом, и так как я не могу передать его иначе, то прошу, чтобы долг уплатили Вы. Когда же я снова увижу вас всех? Если б это могло быть в Италии! Признаюсь, что мысль о возможности долгой разлуки наводит на меня грусть. Прощайте, дорогие друзья. Напишите поскорее.

Любящий Вас

П. Б. Ш.

96

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Милан,
6 апреля 1818

Дорогой Пикок!

Вот мы и добрались до цели нашего путешествия — точнее, находимся в нескольких милях от нее, ибо думаем провести лето на берегу озера Комо. Путь наш был нелегок из-за холодов и не отмечен ничем интересным, пока мы не перевалили через Альпы, — кроме, разумеется, самих Альп; но едва мы прибыли в Италию, как красота местности и ясное

небо сразу все изменили для меня, — вот, что необходимо мне, чтобы жить, ибо в дымных городах, среди шумных толп и холодных туманов и дождей нашей родины мое существование едва ли можно назвать жизнью. — С каким восторгом я слушал в Сузе, как женщина, показавшая нам триумфальную арку Августа, говорила на ясном и полнозвучном языке Италии, хотя я лишь с трудом понимал ее после гнусавой и отрывистой какофонии французов! Руины великолепной арки в греческом стиле на зеленом лугу, испещренном фиалками и примулами, на фоне огромных гор, грациозная блондинка, несколько напоминающая Еву Фюзели¹, — вот первое, что мы увидели в Италии.

Город очень приятен. — Вчера мы посетили оперный театр, выстроенный с большим великолепием. Сама опера была не из числа популярных, а певцы много хуже наших. Зато балет, или, вернее, род мелодраматической пантомимы с танцами, оказался лучшим зрелищем, какое мне довелось видеть. Здесь нет мисс Миллани², но в остальном Милан без сомнения нас превосходит. Выразительный жест, законченность сцен, отлично выражающих содержание, простая, естественная манера держаться, отличающая всех актеров, даже детей, делали представление более впечатляющим, чем я мог ожидать. Это был «Отелло»³ и, странно сказать, он не оставил тяжелого впечатления.

Хотя я и пишу, но сейчас писать не расположен; более подробных, если не более занимательных, писем ждите примерно через неделю, когда я немного отдохну с дороги. Прошу сообщать нам все новости, как о наших детищах, оставленных в Англии на попечение нянек, так и о детях наших друзей. Сообщайте также о Коббете и о политике, — о Ханте, которому Мери как раз сейчас пишет, и особенно о Ваших планах, о себе и Марианне. Обо мне и моих планах Вы скоро узнаете. Здоровье мое уже лучше — настроение тоже, у меня множество литературных замыслов, особенно один⁴, к которому жажду приступить, как только мы устроимся.

Я поручил Оллиеру послать Вам для правки несколько листов корректуры⁵.

Прощайте.

Неизменно преданный Вам

П. Б. Ш.

P. S. Мери и Клер шлют поклон.

97

ЛОРДУ БАЙРОНУ

*Милан,
13 апреля 1818*

Дорогой лорд Байрон!

Я пишу прежде всего затем, чтобы справиться, получили ли Вы мое письмо из Лиона, и чтобы сообщить, что Ваша маленькая дочь прибыла сюда здоровая и веселая, а глаза ее синеют, как небо над нашей головой.

Мы с Мери только что вернулись с озера Комо, где искали дом на лето. Если Вы не бывали в этих удивительных местах, мне кажется, они этого стоят. Не хотите ли летом провести несколько недель с нами? Мы ведем размеренную жизнь, как в Женеве, а местность, которую мы, кажется, выбрали — Вилла Плиниана, — уединенная; мы окружены величавыми ландшафтами, а у наших ног лежит озеро. Если бы Вы нас навестили — а я не знаю, где Вы могли бы найти более сердечный прием, — Вы увезли бы с собой маленькую Аллегру.

Мы с Мери шлем Вам лучшие пожелания, а Клер просит меня спросить, получили ли Вы прядь волос Аллегры, которую она послала Вам зимой.

Искренне Ваш, дорогой
лорд Байрон,
П. Б. Шелли

P. S. Я получил для Вас несколько книг в одном ящике с моими. Не переслать ли их в Венецию?

98

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

*Милан,
20 апреля 1818*

Дорогой Пикок!

Я не представлял себе, какая даль нас разделяет, — если мерить ее временем, за которое доходят письма. Только сейчас я получил Ваше от 2-го и не знаю, когда Вы получите мое, посланное отсюда несколько позже. Я огорчен тем, что Вы были вынуждены остаться в Марло, ибо общение составляет почти жизненную необходимость; особенно потому, что мы не увидим Вас нынешним летом в Италии. Но тут, как видно, ничего не поделаешь. Я часто переносюсь мыслями в Марло. Проклятие нашей жизни состоит в том, что все познаваемое познается навсегда. Живешь в местности, которая до твоего приезда туда была для тебя так же безразлична, как любое другое место на земле; а когда приходится ее покинуть, это оказывается невозможным; она держит тебя воспоминаниями о событиях, которые, когда ты их переживал, не обещали быть

вечными, и таким образом мстит тебе за неверность. Время идет, места меняются, иных друзей уже нет с нами, но то, что было, еще как бы существует, только оцепенелое и безжизненное. Вот извольте — написал Вам целый этюд для «Аббатства кошмаров».

После моего предыдущего письма мы побывали в Комо, в поисках жилья. Озеро превосходит красотой все виденное мною до сих пор, за исключением рощ земляничного дерева в Килларни, на островах. Озеро — длинное и узкое и кажется огромной рекой, вьющейся между гор и лесов. Из городка Комо мы отправились на паруснике в местность, называемую Трезина, и повидали другую часть озера. Горы между Комо и этим селением, вернее группой селений, поросли каштаном (съедобным каштаном, которым жители питаются в неурожайную пору); местами этот лес спускается к самому берегу озера, нависая над водой своими мощными ветвями. Но чаще на берегу растет лавр, мирт, дикие фиги и маслины; подымаясь из расселин скал, они осеняют устья пещер и края глубоких ущелий, где сверкают водопады. Растут там и другие цветущие кустарники, названия которых мне неизвестны. Среди темной зелени леса белеют колокольни деревенских церквей. На противоположном берегу горы сходят к озеру менее круто; и хотя они там гораздо выше и кое-где покрыты вечными снегами, между ними и озером тянутся более низкие холмы, перемежаясь с ущельями; такими я воображаю себе склоны Иды или Парнаса.

Здесь находятся плантации маслин, апельсиновых и лимонных деревьев, которые сейчас так осыпаны плодами, что не видно листьев; есть также и виноградники. По этому берегу сплошь тянутся селения, а миланская знать имеет тут виллы. Роскошная и буйная природа столь тесно соприкасается здесь с цивилизацией, что граница между ними почти незаметна. Но всего красивее Вилла Плиниана, названная так потому, что во дворе находится описанный Плинием Младшим¹ источник, который переполняется водою через каждые три часа. Этот дом, некогда великолепный, а сейчас наполовину развалившийся, мы и пытаемся снять. Вместе с садом он размещается на террасах, подымающихся со дна озера, у подножья крутого откоса, выгнутого полукругом и поросшего густым каштановым лесом.

Вид с колоннады — самый удивительный и прекрасный, какой когда-либо представлялся взору. С одной стороны виднеются горы, а ближе — купы необычайно высоких кипарисов, словно пронзающих небо. Сверху, прямо из поднебесья, низвергается большой водопад, разделенный скалами на множество ручьев, сбегających в озеро. По другую сторону раскинулось среди гор озеро; на горах белеют шпили, на озере — паруса. Комнаты в Плиниане огромные, но старинные и почти не обставленные. И поистине великолепны террасы над озером, затененные огромными, подлинно пифическими лаврами. Мы провели в Комо два дня, а сейчас вернулись в Милан. ждатель исхода наших переговоров о доме.

Комо находится всего в 6 лье от Милана, и его горы видны с вершины собора. Этот собор — удивительное произведение искусства. Он выстроен из белого мрамора и состоит из высочайших шпилей очень тонкой работы, богато украшенных скульптурой. Вид белоснежных башен, взмывающих ввысь на фоне глубокого и ясного итальянского неба, или при луне, когда гроздь звезд словно увенчивают их резные верхушки², превосходит все, что я считал возможным для архитектуры. Внутри собор великолепен, но это уже нечто более земное; цветные витражи, массивные гранитные колонны, перегруженные старинной скульптурой, у бронзового алтаря — серебряные неугасимые лампы под черным балдахином, и мраморная резьба купола делают его похожим на роскошную гробницу. В одном из приделов, за алтарем, есть укромное место, освещенное тусклым желтоватым светом, — его я избрал, чтобы читать там Данте.

Это лето и будущий год я хочу посвятить сочинению трагедии о безумии Тассо; тема, если поразмыслить, — и драматичная, и поэтическая. — Вы скажете, что я лишен таланта драматурга. В известном смысле это так; ну что ж, я решил посмотреть, какую трагедию способен создать человек, лишенный таланта драматурга. Во всяком случае, мораль в ней будет лучше, чем в «Фацио», а стихи — получше, чем в «Бертраме»³.

Вы ничего не пишете о «Рододафне»⁴, которая должна, по моему, иметь огромный успех.

Кто живет сейчас в моем доме в Марло, и как им думают распоряжаться? Я уверен, что его местоположение было вредно моему здоровью, иначе я до смешного интересовался бы, к кому он теперь перейдет. Поездка сюда обошлась нам дорого, — но сейчас мы живем в здешней гостинице, на пансионе, по весьма умеренной цене, а когда заведем свое хозяйство, то надеемся убедиться в пресловутой итальянской дешевизне. Лучший хлеб, из просеянной муки, самый белый и вкусный, какой мне приходилось есть, стоит всего *один английский пенни* за фунт. Остальные необходимые продукты так же дешевы. Зато предметы роскоши, например чай и другие, очень дороги, — а англичан к тому же обычно отчаянно надувают, так что им надо быть начеку. Мы здесь ни с кем не знакомы, а в опере до вчерашнего дня давали все время одно и то же. Маленькая Альба еще у нас, но, очевидно, ненадолго. Лорд Байрон, как мы слышали, снял в Венеции дом на три года; не знаю, увидим ли мы его; это отчасти зависит от того, найдем ли мы дом, куда его можно пригласить. Проезжающих англичан здесь множество. В нынешнее смутное время им лучше было бы сидеть дома. Поведение их непростительно. Здешние жители безобидны, но кажутся жалкими и телом, и душою. Мужчины мало походят на мужчин; это — племя тупых, сгорбленных рабов. С тех пор, как мы перевалили через Альпы, я, кажется, не видел проблеска разума ни на одном лице. Женщины в поработенных странах всегда лучше мужчин; но здешние туго зашнурованы, и лицом и всем своим

видом (как непохоже на француженок!) являют смесь кокетства и чопорности, напоминающую худшие черты англичанок. Кроме людей, все здесь гораздо лучше, нежели во Франции. Чистота и удобства в гостиницах иной раз совсем английские, земля хорошо возделана; словом, если Вы способны, как и следует, находить счастье в самом себе, здесь можно жить отлично и удобно.

Прощайте. Мери и Клер шлют сердечный привет.

Ваш любящий друг

П. Б. Ш.

Клер хочет, чтобы Вы написали историю мадемуазель Миллани. Мери просит в летней посылке прислать булавок, сургуча, щетку для ногтей, такую, как у миссис Хант, и черепаховый гребень шириной в 3 дюйма, с зубьями в 2 дюйма.

99

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Милан,
22 апреля 1818

Дорогой лорд Байрон!

Клер сама подробно напишет Вам о том, какими чувствами и побуждениями она руководится, расставаясь, по Вашему желанию, с Аллегррой. Как мать, она имеет больше прав вмешиваться, чем я, который всегда руководствовался лишь искренней дружбой ко всем заинтересованным лицам. На этом я мог бы кончить письмо, но не хотел бы, чтобы на этом кончилось дело.

Вы пишете так, словно с момента отъезда всякая связь между Клер и ее ребенком должна прерваться. Я не верю, чтобы Вы могли этого ожидать или даже хотеть. Будем судить по себе: если отцовское чувство столь сильно, каковы же должны быть чувства матери? И что подумаем мы о женщине, которая отдает малолетнего ребенка с тем, чтобы никогда больше его не видеть, хотя бы и отцу, на чью любовь она вполне полагается? Если она принуждает себя к этой жертве ради блага ребенка, то в таком подавлении самого сильного из всех чувств, самого неутолимого из инстинктов есть нечто героическое. Но свет будет судить иначе; он заклеймит ее презрением, как бессердечную мать, и это сделают даже те, кто не был бы склонен осудить ее, когда она стала матерью без брачных формальностей. Она откажется от единственного своего сокровища, а взамен получит всеобщее презрение. К тому же она может спросить: «Как поверить, что отец будет нежен к ребенку, когда он так мало посчитался с чувствами матери?» Не говоря уж о том, что ребенок будет расти, не зная или презирая одного из своих родителей; а это чревато большими опасностями. Я знаю, какие доводы у Вас готовы; но, право же,

и знатность, и репутация, и благоразумие — ничто по сравнению с правами матери. Если узнают, что Вы хотели их пограть, свет действительно заговорит о Вас, и с таким осуждением, что Вашим друзьям не удастся Вас оправдать; это будет нечто совсем иное, чем нелепые, фантастические рассказы, которые распространяют о каждом выдающемся человеке и которые лишь заставляют Ваших друзей в Англии потешаться над изобретателями этих сплетен. Уверяю Вас, дорогой лорд Байрон, что говорю искренне и серьезно. Я вовсе не стараюсь выступать адвокатом Клер; это, как Вы должны бы знать, отнюдь не в моих интересах. Не пытался я и влиять на нее. Я считал своим долгом предоставить ее собственным ее чувствам, ибо это тот случай, когда только чувства дают какие-либо права. Но если Вы хотите, чтобы она согласилась расстаться со своим ребенком, ее нужно успокоить и утешить. Столь близкую к сердцу связь нельзя рвать грубо. Именно поэтому (хотя у меня тысяча других причин желать Вас видеть) я надеялся, что Вы примете наше приглашение на Виллу Плиниана. Если бы Клер увидела своего ребенка с Вами, это смягчило бы ее боль и рассеяло бы страхи, которые от Вашего письма пробудились вновь, так как позволило бы надеяться, что посещение может быть повторено. Ваше теперешнее поведение представляется мне очень жестоким, какие бы оправдания Вы для себя ни находили. Если ошибаться, то лучше в сторону излишней доброты, чем излишней суровости. В данном случае Вы можете вовремя остановиться; и не так уж Вы слабовушны, чтобы ласковые слова и мягкое обращение завели Вас дальше, чем Вы того хотите.

В этом мучительном споре я являюсь третьим лицом, которое в своей незавидной роли посредника не может иметь иных интересов, кроме интересов главных действующих лиц. Я не имею возможности что-либо сделать сам, но очень хотел бы убедить.

Вам известны мои побуждения, поэтому я не боюсь снова звать Вас к себе в Комо и просить, ради благополучия Вашего ребенка, чтобы Вы успокоили оскорбленные чувства Клер некоторыми заверениями. Насколько я ее понял, получив эти заверения, она отдаст ребенка. Быть может, Вы боитесь, что она станет Вам докучать; но первой ее мыслью при чтении Вашего письма (которое я, кстати, не хотел ей давать) было поселиться на время где-нибудь в городе, en pension*, раз Ваш приезд требует ее отсутствия. А что касается сплетен — если Вы придаете им значение, — то едва ли в Комо могут сплетничать больше, чем в Венеции. Вы не представляете себе нелепости, которые повторяет о Вас толпа, но над которыми смеются все разумные люди и все наши просвещенные соотечественники. Таков общий удел тех, кто возвысился над людьми. Когда Данте проходил по улицам, кумушки говорили, указывая на него: «Вон тот, кто побывал в аду с Вергилием, глядите, у него ведь и борода

* В пансионе (франц.).

обожжена». Рассказы иного рода, но столь же неправдоподобные и чудовищные, распространяют о Вас в Венеции; только я не понимаю, зачем Вам обращать на них внимание. У нас Вы будете желанным гостем; а раз все мы будем, или можем быть, безвестны, никакая клевета не найдет тут лазейки.

Если Ваш посланец прибудет раньше, чем Вы с Клер придете к приглашению, я задержу его в ожидании Ваших распоряжений, если только Вы не распорядитесь специально, чтобы он не задерживался. У Аллегры няня-англичанка, очень чистоплотная и добродушная молодая женщина, которую я спокойно могу Вам рекомендовать, если эти прискорбные разногласия наконец кончатся.

Расходы, о которых Вы говорите, были в нашем семейном бюджете столь ничтожны, что я не знаю, какую сумму назвать, чтобы не оказаться с прибылью, а этого я допустить не могу. Позвольте мне просить Вас не ставить меня в столь унижительное положение и не заниматься подобными подсчетами.

Я уверен, что Вы правильно поймете серьезность, с какою я пишу Вам на эту неприятную тему; и верьте, дорогой лорд Байрон, что мне очень дороги Ваши интересы и Ваша честь.

П. Б. Шелли

Аллегра с каждым днем хорошеет, но сейчас нездорова — у нее режутся зубки.

100

ЛОРДУ БАЙРОНУ

*Милан.
28 апреля 1818*

Дорогой лорд Байрон!

Мне доставило большое удовольствие самому привезти Вашу маленькую дочь в Италию, ибо я не мог найти никого, кому можно было бы это доверить; но цель моего путешествия, к сожалению, с этим никак не связана. Мое здоровье всегда было слабым, но появились такие симптомы, что врачи посоветовали мне немедленно ехать в более теплые края. Позвольте мне также снова заверить Вас, что к последним поступкам Клер в отношении ребенка я не причастен и никак на них не влиял. Переписку, которая повела к этим недоразумениям, я взял на себя единственно потому, что Вы отказались сами переписываться с Клер. Моя позиция в этом вопросе была простой и ясной. Я сожалею, что неверно понял Ваше письмо, и надеюсь, что с обеих сторон недоразумения на этом кончатся.

Вы найдете Вашу маленькую Аллегру вполне здоровой. По-моему это самый прелестный и обаятельный ребенок, какого я когда-либо видел. Напишите нам, как Вы ее найдете и не обманула ли она Ваших ожиданий,

С ней едет не та няня, о которой я писал в предыдущем письме; эта — швейцарка, которая ходила за моими детьми, которой миссис Шелли всецело доверяет и которая покидает нас неохотно; а Мери расстается с ней единственно для того, чтобы Клер и Вы могли быть уверены, что Аллере обеспечена почти материнская забота.

Клер, как Вы можете себе представить, очень страдает. Так как Вы ей не писали, у нас вошло в обыкновение показывать ей Ваши письма ко мне: а Вы знаете, что иногда пишете такие вещи, которые едва ли сказали бы ей прямо. Осторожность в этом отношении несколько бы Вас не скомпрометировала; раз Вы не пишете ей самой, я не могу отказываться показывать ей Ваши письма. Тех, что она писала Вам, я не видел, а часто даже не знал, когда она их посылала.

Ваши книги Вы получите. Хант посылает Вам свою¹, только что вышедшую в свет, а мне поручено одной Вашей старой приятельницей послать Вам «Франкенштейна» с просьбой сохранить имя автора в тайне, даже если Вы его угадаете. Дело в том, что автор — миссис Шелли. В Англии книга имела изрядный успех; но она велит сказать, что «Ваше одобрение сочтет более лестным».

Следующее Ваше письмо адресуйте «Пиза, до востребования», так как мы завтра туда уезжаем. Наш дом в Комо не оправдал наших надежд, а в Пизе я попытаюсь рассеять печаль Клер, и для этого воспользуюсь некоторыми рекомендательными письмами. Клер безутешна, и я не знаю, чем ее успокоить, пока не придет обратная почта. Надо сказать, что мы будем в Пизе задолго до обратной почты, а с ней мы ждем (и очень просим не обмануть наших ожиданий) Вашего письма, которое известит о благополучном прибытии нашей маленькой любимицы². Мери, как и я, шлет Вам привет и тревожится о маленькой Аллере, которую привыкла любить почти как собственных детей.

Покаюсь, что позабыл взять вторую часть «Путешествия в Корею»³ и поэму «Беппо»⁴, которые мне прислал для Вас Меррей. Летом Пикок будет посылать мне книги, а вместе с ними придет и эти. У нас Элиза⁵ получала жалованья 20 луи.

Всегда искренне Ваш, дорогой лорд Байрон,

П. Б. Шелли

101

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

*Ливорно,
5 июня 1818*

Дорогой Пикок!

Мы ничего не получаем от Вас с середины апреля — т. е. после нашего отъезда из Англии получили всего одно письмо. Это несомненно означает, что какие-то письма не дошли. Адресуйте их теперь мистеру

Гисборну в Ливорно — и я их получу, быть может кружным путем, зато наверняка.

Мы уехали из Милана 1 мая и через Апеннины добрались до Пизы. — Эта часть Апеннин куда менее красива, чем Альпы; горы дики, ландшафт какой-то неопределенный — и воображению здесь негде приютиться. Равнины вблизи Милана и Пармы прекрасны; это сплошной сад, возделанный луг; злаки и луговые травы растут под большими деревьями, соединенными гирляндами виноградных лоз.

На седьмой день мы прибыли в Пизу, где провели три-четыре дня; это большой и неприветливый город, почти безлюдный. Потом мы приехали в здешний большой торговый город, провели здесь месяц, а через несколько дней уедем в Баньи ди Лукка, нечто вроде курорта в Апенинах; природа вокруг него прекрасна.

Мы познакомились с очень приятной и образованной дамой, миссис Гисборн; это единственное, что есть хорошего в этом крайне непривлекательном городе. Мы не думали оставаться здесь на месяц, но она сделала наше пребывание даже приятным. Итальянское общество стоит, видимо, немногого. Мы увидим его в Баньи ди Лукка, куда ездит наиболее фешенебельная публика.

Когда будете отправлять посылку — которую прошу адресовать мистеру Гисборну, — хорошо бы вложить туда две последние части «Путешествий» Кларка¹, где идет речь о Греции; это — книги Хукема. Как Вы знаете, я там подписчик². Хотел бы также выписывать сюда «Экзаминаер». Буду признателен, если Вы, после того как прочтете сами, будете еженедельно посылать его по указанному адресу, подрезав так, чтобы он поменьше весил. Пришлите также наше белье, оно у миссис Хант и крайне нам нужно. Пришлите все, кроме бумажных простынь. Если их не окажется у миссис Хант, значит они на нашей последней лондонской квартире.

Пишу, и мне кажется, что письмо так и не дойдет.

Самые лучшие пожелания от нас всех.

Искренне Ваш

- П. Б. Ш.

102

ДЖОНУ И МАРИИ ГИСБОРН¹

Баньи ди Лукка,
10 июля 1818

Вы не можете знать, как знают некоторые наши друзья в Англии, с которыми моя переписка еще более непростительно запущена, что наше молчание не означает забвения или пренебрежения.

По правде говоря, мне нечего сказать, кроме того, что я был бы счастлив увидеть Вас снова и возобновить наши восхитительные про-

гулки, пока нас не повлечет дальше желание, или необходимость, повидать новое. Мы провели здесь уже месяц в привычном нам одиночестве (исключая один вечер в казино), а потом прибыло лучшее общество всех времен, которое я перед отъездом из Англии тщательно упаковал в большой сундук. Сейчас я, за неимением лучшего, перевозжу своим слабым и несовершенным слогом дивное красноречие Платонова «Пира»²; просто ради упражнения и отчасти, чтобы дать Мери некоторое представление о нравах и чувствах греков, — во многом столь отличных от любого существовавшего общества.

Мы почти дочитали Ариосто — занимательного и изящного, а *иногда* и поэтичного. Простите, о поклонники более спокойной и терпимой музыки, если Ариосто нравится мне меньше, чем вам. Но где у него кроткая серьезность, тонкая чувствительность, спокойная и неизменная сила, без которой нет подлинного величия? К тому же он так жесток в своих описаниях; наиболее ценимые им добродетели — это почти откровенные пороки. Он постоянно превозносит и приукрашивает самую злобную мстительность и наиболее пагубные суеверия, какими только бывал заражен мир. Как это непохоже на нежные и возвышенные восторги Петrarки и даже на тонкое нравственное чувство Тассо, правда, несколько затемненное его искусственным слогом.

Здесь мы много читаем, тогда как в Ливорно читали мало. Только раз мы с Мери ездили верхом в горы, к месту, называемому Прато Фиорито. Дорога, вьющаяся среди лесов, по берегу потоков и по краю зеленых ущелий, необыкновенно красива. Я не могу описать ее вам и только умоляю — увы, тщетно, — чтобы вы сами приехали на нее взглянуть. Я с наслаждением наблюдаю здесь смены погоды и скопление грозовых туч, которые часто собираются к полудню³, но к вечеру развеиваются стаями легких облачков. Наши светляки быстро исчезают, зато Юпитер величаво восходит на южном небосклоне, над расселиной лесистой горы, и каждую ночь в небе мерцают бледные летние зарницы. Само провидение повелело, чтобы, когда гаснут светляки, низко парящая сова все же могла отыскать дорогу домой. —

Передайте привет Машинисту⁴.

С нетерпением жду нашей встречи осенью.

Искренне Ваш

П. Б. Шелли

103

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Баньи ди Лукка.
25 июля 1818

Дорогой Пикок!

Получил сразу Ваши письма от 5-го и от 6-го, одно — посланное в Пизу, другое — в Ливорно; оба были мне очень приятны.

Наша здешняя жизнь так же бедна внешними событиями, как если бы мы жили в Марло, где поездка вверх по реке или в Лондон — составляет целое событие. Со времени моего последнего письма я дважды побывал в Лукке, раз вместе с Клер и раз — один; мы были в казино, где я не заметил ничего примечательного; женщины лишены всего, что самый снисходительный наблюдатель мог бы назвать красотой или грацией, и, видимо, не искупают этого никакими умственными достоинствами. Оно, пожалуй, даже и лучше, ибо танцы, в особенности вальс, до того восхитительны, что были бы несколько опасны для нас, пришельцев с далекого севера, и наших только что размороженных чувств. Ну, а так опасности нет — разве что в темноте. Погода здесь, в отличие от остальной части Италии, бывает облачная; среди дня собираются тучи, иногда приносящие грозу и град величиной с голубиное яйцо; к вечеру все стихает, и остается лишь легкая дымка, какая бывает в английском небе, да стаи пушистых, медленно плывущих облаков, которые на закате исчезают; ночи всегда ясны, а вечером на восточном небосклоне мы видим звезду — кажется, это Юпитер, — почти столь же прекрасную, как была прошлым летом Венера; но ей не хватает легкого серебристого блеска, нежной и вместе волнующей красоты, которые отличают Венеру; — должно быть, потому, что она и богиня, и женщина. Я забыл спросить у дам, не производит ли на них подобного действия Юпитер. Я с наслаждением слежу за всеми этими переменами в небе. По вечерам мы с Мери часто ездим верхом, так как лошади здесь дешевы. Днем я купаюсь в лесном водоеме, образованном течением ручья. Он окружен со всех сторон отвесными скалами, а с одной стороны в него низвергается водопад. На окружающих скалах растет ольха, а еще выше — огромные каштаны, которые четко вырисовываются на густой синеве неба своими длинными остроконечными листьями. Вода в этом водоеме — который, если перефразировать стихи, имеет «шестнадцать футов в длину и десять — в ширину»¹, прозрачна, как воздух; камешки и песок на дне его словно дрожат в полуденном свете. Но она необыкновенно холодна. Я раздеваюсь, сажусь на камень и читаю Геродота, пока не остыну, а затем прыгаю с камня в воду — что в жару очень освежает. Река вся состоит из чередующихся бочагов и водопадов, и во время купанья я иногда забавляюсь тем, что взбираюсь вверх по ее течению, с трудом карабкаюсь по мокрым скалам, а она обдает брызгами все мое тело.

В последнее время я чувствовал себя совершенно не способным к оригинальному творчеству. Поэтому по утрам я занимался переводом «Пира»

и закончил его за десять дней. Сейчас Мери его переписывает, а я пишу вступительную статью. Я почти ничего не читаю, кроме греков и немного — итальянскую поэзию, вместе с Мери. Мы с ней прочли Ариосто — чего я не смог бы снова проделать сам.

«Франкенштейн» был, кажется, хорошо принят; правда, ему повредили недружелюбные рецензенты из «Куотерли»², но это лишь доказывает, что его читают, и им трудно, сохраняя видимость беспристрастия, совершенно отрицать его достоинства. Их заметка обо мне³, разоблачающая подлинные причины, которые побудили их оставить мою книгу незамеченной, показывает, что между нами существует открытая вражда.

Вести о результатах выборов, особенно в столице, весьма ободряющие. Я получил письмо⁴, помеченное двумя днями позже Вашего, извещающее об их неудачном исходе в Уэстморленде. Жаль, что Вы не прислали мне выдержек, содержащих примеры поразительной подлости этих отступников. Каков гнусный и жалкий негодяй Вордсворт⁵. И чтобы такой человек мог быть таким поэтом! Я могу сравнить его только с Симонидом⁶ — льстецом сицилийских тиранов и, одновременно, самым безыскусственным и нежным из лирических поэтов.

Как я был бы рад, если б мог на крыльях воображения преодолеть разделяющее нас расстояние и очутиться среди вас. Я ничего не знаю более прекрасного в своем роде, чем Вирджиния-уотер. Мои воспоминания все еще с нежностью льнут к Виндзорскому лесу и к рощам Марло, подобно низко плывущим облакам, которые цепляются за лесистые вершины и, даже уйдя и растаяв, оставляют на них самую свежую свою росу.

Вы пишете, что закончили «Аббатство кошмаров». Надеюсь, Вы не дали врагу пощады. Помните, что это — священная война. Мы нашли отличную цитату у Бен Джонсона⁷: «Всяк по-своему». Я переписал ее, ибо не думаю, чтобы эти пьесы нашлись у Вас в Марло.

«Мэтью. О, это тонкость вашего настроения, ваша истинная меланхолия рождает тонкость вашего ума, сэр. Я сам иногда меланхолик, сэр, и тогда я ничего другого не делаю — беру перо и бумагу и строчу дюжину-другую сонетов в один присест.

Эд. Ноуэлл. Сейчас он, наверное, признается, что испускает их gros-сами.

Стивен. Неужели, сэр? Я все это безмерно люблю.

Эд. Ноуэлл. Честное слово, это лучше, чем в меру. Я полагаю так.

Мэтью. Ах, прошу Вас, сэр, пользуйтесь моим кабинетом — он к Вашим услугам.

Стивен. О, благодарю вас. У меня смелости хватит, ручаюсь вам. А имеется ли там стул, на котором можно предаться меланхолии?»

«Всяк по-своему», действие III, сцена 1.

Последняя фраза была бы неплохим эпиграфом.

[Письмо не подписано]

104

ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

Баньи ди Лукка,
25 июля 1818

Дорогой Годвин!

Мы еще не видели в Италии ничего, что говорило бы нам о ее минувшем величии. Ясное небо, восхитительные пейзажи и сладкие плоды южного климата — те же, какими наслаждались древние. Но нам еще только предстоит увидеть Рим, Неаполь и даже Флоренцию; если бы мы сейчас описали Вам свои впечатления, Вы и не подумали бы, что мы пишем из Италии.

Я в восторге от предложенного Вами замысла¹ — правдиво написать о наших оклеветанных республиканцах. Это как раз для Мери; если бы она не опасалась, что потребуются книги, которых здесь нет, она, мне думается, начала бы работу здесь, а книги заказала. — Я, к сожалению, мало сведущ в английской истории, и интерес к ней во мне так слаб, что я чувствую себя обязанным знать ее лишь в общих чертах.

Мери вместе со мною только что прочла Ариосто² и приобрела вполне достаточные познания в итальянском языке. Сейчас она читает Ливия. Я не прекращаю литературных занятий, но пишу мало, — не считая переводов из Платона, которые предпринял ради упражнения, отчаявшись сочинить что-либо сам. «Пир» Платона представляется мне одним из ценнейших среди древних памятников как по собственным своим достоинствам, так и потому, что освещает изнутри нравы и взгляды древних греков. Я его перевел; и он побудил меня попробовать написать эссе³ о причинах некоторых различий во взглядах древних и новых мыслителей на предмет этого диалога.

В Ваших последних письмах нас радуют две вещи: что Вы вернулись к полемике с Мальтусом⁴ и что всеобщие выборы обернулись так благоприятно. Если министры не отыщут какой-нибудь предлог — не представляю себе какой, — чтобы ввергнуть страну в войну, неужели они удержатся у власти? Англия в ее нынешнем состоянии нуждается только в мире, чтобы на покое и на досуге искать средство — не против неизбежных зол любого общества — но против того порочного управления, при котором это зло у нас усугубляется. Я хотел бы обрести здоровье и душевные силы для участия в общественных делах и найти слова для выражения всего, что я чувствую и знаю.

Современные итальянцы кажутся несчастными людьми; лишенными чувствительности, воображения и интеллекта. Внешне они благовоспитанны и общение с ними легко, хотя ничем не кончается и ничего не приносит. В особенности пусты женщины; наделенные тем же поверхностным изяществом, они неразвиты и лишены подлинной тонкости. В здешнем казино по воскресеньям дают балы, на которых мы присутст-

вuem, — но ни Мери, ни Клер не танцуют. Не знаю, что их удерживает, — философия или протестантская вера.

Я слышал, что книга бедняжки Мери — «Франкенштейн» — подверглась в «Куотерли ревью» самым злобным нападкам. Но мы слышали и о хвалебных отзывах, в том числе Вальтер Скотта в «Блэквудс мэгезин»⁵.

Если у Вас есть что прислать, — а все, касающееся Англии, поверьте, нам интересно, — передайте книготорговцу Оллиеру или Пикоку — они каждые три месяца посылают мне посылки.

Мое здоровье, по-моему, улучшилось и продолжает улучшаться; но у меня еще много докучных мыслей и удручающих забот, которые хотелось бы стряхнуть — ведь сейчас лето.

Тысяча лучших пожеланий Вам и Вашей работе.

Любящий Вас

П. Б. Ш.

105

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Баньи ди Лукка,
16 августа 1818

Дорогой Пикок!

Со времени моего предыдущего письма в моей жизни не произошло новых событий; или только такие, которые могли произойти как на берегах Темзы, так и на берегах Серкио. Я замышляю небольшую поездку — этак на неделю, в некоторые ближние города; а 10 сентября мы уезжаем отсюда во Флоренцию, откуда я, по крайней мере, смогу написать Вам о чем-то таком, чего Вы не увидите из своих окон.

Воспользовавшись несколькими днями вдохновения, — на которые Камены¹ сейчас очень скупы, — я окончил небольшую поэму², которую посылаю в Лондон для издания. Оллиер пришлет Вам корректуру. Ее композиция легка и воздушна, сюжет идеален. Размер соответствует духу поэмы и меняется, следуя настроению.

Я перевел «Пир»³, Мери переписала его, так же как и поэму; сейчас я намерен сочинить трактат⁴ на тему «Пира», рассматривая ее с точки зрения различий между чувствами греков и современных народов, — тема эта требует осторожности, какую я не могу или не хочу соблюдать в других делах, но которую здесь признаю необходимой. Это не означает, что я всерьез думаю об издании как трактата, так и перевода «Пира», во всяком случае до возвращения в Англию, а там мы обсудим, насколько это уместно.

Итак, «Аббатство кошмаров» окончено. Что же там содержится? Что это такое? Вы так это скрываете, словно священные страницы его продиктованы жрецом Цереры. Однако я надеюсь узнать со временем, когда

прибудет вторая посылка. А еще не пришла и первая. С каким судном Вы ее послали?

Скажите, исцелились ли Вы от Вашей «нимфолепсии»? Это сладкий недуг, но из числа самых упорных и опасных, — даже когда Нимфа является Полиадой⁵. Так это или нет, надеюсь, что Вы не оставили Вашу нимфолептическую повесть⁶. Это — отличный сюжет, если приправить его в должной мере вакхическим неистовством и воскресить нравы и чувства того божественного народа, который даже в заблуждениях своих является зеркалом всякой грации и изящества. Как хорошо это место в «Федре»⁷ — кажется, начало одной из речей Сократа, — где прославляется поэтическое безумие и определяется, что такое поэзия и как становятся поэтами. Каждому нашему современнику, желающему писать стихи, следовало бы, чтобы предохранить себя от ложных и узких критических систем, извергаемых всяким шарлатаном-стихоплетом, и чтобы попасть в число тех, о ком они сказаны, проникнуться высокими и гордыми словами Тассо⁸: «Non c'è in mondo chi merita nome di creatore, che Dio ed il Poeta»*.

Погода стоит все время удивительная; здесь, в горах, осенний воздух стал не так жарок, особенно по утрам и по вечерам. Каштановые рощи сейчас несказанно прекрасны, ибо листву украшают крупные плоды. На восточном небосклоне виден Юпитер; а сразу после захода солнца появляется Венера, вечерняя звезда.

В следующий раз напишу больше и лучше. Мери и Клер шлют привет.

Ваш верный друг

П. Б. Шелли

106

МЕРИ ШЕЛЛИ

*Флоренция,
18 августа 1818, 11 часов*

Милая Мери!

Нас здесь задержали на четыре часа из-за австрийского паспорта, но сейчас мы уже отправляемся с веттурино¹, который взялся за три дня доставить нас в Падую. Таким образом, мы заночуем в дороге всего три раза.

Намерения Клер относительно Альбы то и дело меняются; сейчас она хочет, чтобы я увиделся с Альбе², а она подождет меня в Фучино или в Падуе для того, чтобы не раздражать его пребыванием в одном с ним городе, но не для того, чтобы скрыть свой отъезд из Лукки, — в этом она, по-моему, права. Главный недостаток этого плана заключается в том, что

* Никто в мире не заслуживает именоваться творцом, кроме Бога и Поэта (итал.).

он не удастся, а она всегда будет думать, что не было сделано все возможное. Однако посмотрим.

Вчерашнее путешествие по скверной дороге в одноколке почти без рессор было чрезвычайно утомительным. Больше всего страдала от него Клер — что касается меня, то утомление иногда действует на меня, как лекарство, — я не ощущал боли в боку с самого отъезда — очень приятная передышка. Местность была разнообразна и удивительно красива. Мы ехали то возделанными долинами с кудрявыми виноградниками, где крупные гроздья как раз начинают темнеть, то между высоких гор, увенчанных необыкновенно величавыми готическими руинами, которые угрюмо глядели с отвесной скалы или чуть выглядывали из оливковой рощи. Вблизи Флоренции местность стала оживленнее, в долине множество красивейших вилл; они виднеются также на склонах гор, насколько хватает глаз, — ибо долина здесь окружена со всех сторон туманными синими горами. Лозу здесь растят на низких, крестообразно сплетенных шпалерах, и они густо усыпаны поспевающим виноградом. Часто встречаются упряжки красивых белых быков, которые, как во времена Вергилия, тащат плуги и повозки по маленьким полям, разделенным лозами. Флоренция — т. е. собственно Лунг-Арно (ибо дальше я не был) — самый прекрасный город из всех, что я видел. Она окружена возделанными холмами; с моста, перекинутого над широкой Арно, открывается самый оживленный и красивый ландшафт, какой мне случалось видеть.

Вдали видны еще три или четыре моста, один из которых опирается на коринфские колонны; белые паруса лодок на темно-зеленом фоне леса, доходящего до самой воды, и склоны холмов, по которым разбросаны нарядные виллы. Вокруг теснятся купола, и всюду удивительная чистота. По другую сторону видны складки долины Арно, холмы, покрытые оливковыми рощами и виноградниками, за ними — рощи каштанов, а еще выше теряются вдали синие сосновые леса на вершинах Апеннин. Я редко видел город, который с первого взгляда так поражал бы своей красотой, как Флоренция.

Через несколько часов мы отправимся отсюда со скоростью почты, — ибо за три дня покроем расстояние в 190 миль, что составит несколько более 60 миль в день. Теперь у нас будет удобный экипаж и два мула — благодаря Паоло³ он достался нам совсем недорого, — считая вместе со всеми расходами до Падуи. — На завтрак у нас были отличные фрукты — хорошие фиги и персики, к сожалению, собранные незрелыми, но ароматные, как райские цветы.

А ты не очень скучаешь, милая моя Мери? Скажи правду, любимая, ты не плачешь? Я получу от тебя письмо в Венеции и еще одно, когда вернусь сюда. Если ты меня любишь, ты не станешь тосковать или хотя бы не будешь скрывать этого, ибо я не таков, чтобы мне льстила твоя грусть, хотя весьма польстила бы твоя веселость, а еще больше — такие плоды нашей разлуки, как те, что принесла Женева.

С кем ты познакомилась за это время? Я мог бы ехать до Падуи с одним немцем, ехавшим из Рима, который оплатил бы дорогу. Он только что перенес малярию, подхваченную недели две назад на Понтийских болотах, и я поддался мольбам Клер и твоим заочным советам и упустил этот случай, хотя не очень верю в возможность заразиться. Жара не слишком сильна, по крайней мере для меня, и меня беспокоят только комары по ночам, жужжащие над ухом, как волчки, а zenzariere * не всегда удается достать. Как Вилли-мышонок и маленькая Ка? ⁴ Поцелуй их за меня; и почаще говори обо мне с Вильямом, чтобы он не позабыл меня. Прощай, милая девочка, надеюсь, что мы скоро свидимся. Из Венеции я напишу еще — прощай, милая Мери.

Прочел «Благородных родичей» ⁵, но, не считая той прекрасной сцены, которой ты добавила столько прелести своим чтением, пьеса меня разочаровала. Дочь тюремщика — слабое и искаженное подражание. Сюжету недостает нравственного чувства и целомудрия.

Я не верю, чтобы хоть одно слово принадлежало Шекспиру.

[Письмо не подписано]

107

МЕРИ ШЕЛЛИ

*Венеция,
воскресенье утром, 23 августа 1818*

Милая Мери!

Мы приехали сюда вчера в полночь, а сейчас утро, еще не завтракали; разумеется, я еще ничего не могу тебе сообщить о будущем; хотя я не стану запечатывать это письмо до отправления почты, я не знаю, когда это будет. Но если тебе уж очень не терпится, загляни в конец письма; может быть, в следующие дни у меня будет, что сказать. Клер раздумала оставаться в Падуе — отчасти из-за плохих постелей, кишущих насекомыми, которых итальянская деликатность запрещает называть, а отчасти потому, что ей было бы там одиноко. Я, очевидно, передам Албанцу письмо от нее, а сам не стану прямо вмешиваться. Сейчас он еще не вставал, и она тем временем хочет навестить миссис Хоппнер ¹. Все это, как видишь «полно зловещих предзнаменований для дела нашего» ².

Из Падуи мы приехали в гондоле, и гондольер — по собственному почину — принял говорить об Альбе, что он — giovenotto Inglese с nome stravagante **, который живет на широкую ногу и тратит массу денег. Недавно он написал из Англии двух своих дочерей, и одна из них выглядит не моложе его. Кажется, этот человек был гондольером у Альбе. Не успели мы приехать в гостиницу, как слуга заговорил о нем же — ска-

* Пологи от комаров (итал.).

** Молодой англичанин со странным именем (итал.).

зал, что он очень часто бывает у миссис Хоппнер, на ее conversazioni *. — Это противоречие разъяснит только время.

Наша поездка из Флоренции в Падую не была примечательна ничем таким, чего я не мог бы рассказать и позже. В Падуе, как я уже сказал, мы наняли гондолу и в 3 часа уехали оттуда. Гондолы — самые красивые и удобные из всех лодок. Они устланы черными коврами и окрашены черной краской. Сидения необычайно мягки и устроены так, что можно удобно и лежать, и сидеть. В окнах — венецианское узорчатое стекло или, по желанию, венецианские жалюзи или занавеси из черного сукна, не пропускающие свет. Погода здесь очень холодная, иногда просто нестерпимо, а вчера начался дождь. Мы переезжали лагуну ночью в сильную бурю, под проливным дождем, при вспышках молнии. Было интересно наблюдать небесные стихии в таких судорогах, а вода оставалась при этом почти спокойной; ибо эти лагуны, имеющие в ширину пять миль, — достаточно, чтобы в бурю утопить любую гондолу, — так мелки, что лодочки отталкиваются шестом. В море вода, яростно волнуемая ветром, рассыпала искры, точно звезды. Венеция тускло светилась, то видимая, то скрытая завесой дождя. Нам в каюте было удобно и безопасно — хотя Клер временами немного пугалась. Прощай, дорогая. Вечером я, как мисс Байрон³, «снова возьмусь за перо».

*Ночь на понедельник,
5 часов утра*

Итак, попытаюсь рассказать все по порядку. Позавтракав, мы наняли гондолу и отправились к Хоппнерам. Клер вошла первой, а я, не желая делать визита, остался в гондоле. Вскоре явился слуга и пригласил меня в дом. Там были мистер Хоппнер и Клер, а потом вошла и миссис Хоппнер, очень приятная и приветливая дама, которая поспешила оказать Клер самое милое внимание. Меня они также приняли весьма учтиво и выразили большое участие к успеху нашей поездки. Очень скоро — миссис Хоппнер тут же за ними послала — явились Элиза и маленькая Ба⁴. Она так выросла, что ты ее с трудом узнала бы, — побледнела и утратила большую часть своей живости, но все так же красива, только стала более кроткой. Об Альбе они, к сожалению, говорят то же, что мы уже слышали, хотя это несомненно несколько преувеличено. Мы долго обсуждали, как мне лучше за него взяться, и наконец решили, что присутствие Клер следует скрыть, ибо он, по словам мистера Хоппнера, часто с ужасом говорит о ее возможном приезде и о том, что в этом случае ему придется немедленно уехать из Венеции. Хоппнеры входят во все это, точно в свое личное дело. — В три часа я посетил Альбе. Он был очень рад меня видеть; разговор, разумеется, начался с цели моего приезда. Успех пока еще сомнителен, хотя неожиданно уже и то, как он встретил нашу просьбу и как явно хочет удовлетворить нас и Клер. Он сказал, что

* Эд.: приемах (итал.).

не хотел бы отпускать дочь так надолго во Флоренцию, ибо в Венеции решат, что она ему надоела и он ее отослал; он и так уж прослыл капризным. Потом он сказал: Клер не захочет расстаться, как сейчас не хочет быть с нею в разлуке, она снова к ней привыкнет, а предстоит второе расставание. Но если угодно, пусть ее отвезут на неделю в Падую, к Клер (это он сказал, думая, что вы все там); в сущности, добавил он, я не имею прав на ребенка. Если Клер хочет его взять, пусть берет. Я не скажу, — продолжал он, — как большинство сказало бы в подобном случае, что тогда я не стану обеспечивать ребенка и откажусь от него; но Клер сама должна понимать, как неосмотрителен был бы такой шаг. Вот как прошел разговор, милая Мери, и я не знал, на чем еще можно настаивать: ведь кое-чего мы уже добились самым дружественным тоном переговоров. Он отвез меня в своей гондоле — мне очень не хотелось ехать, ибо я спешил вернуться к миссис Хоппнер, где в тревоге ждала Клер, — через лагуну, к длинному песчаному острову, ограждающему Венецию от Адриатики. Выйдя из гондолы, мы сели на ожидавших его лошадей и, беседуя, поехали вдоль песчаного берега. Он поведал мне о своих оскорбленных чувствах, расспросил о моих делах и заверил в своей дружбе и уважении. Сказал, что если бы был в Англии, когда дело слушалось в Канцлерском суде, он бы перевернул небо и землю, чтобы не допустить подобного решения⁵. Поговорили и на литературные темы; о его IV песни⁶, которую он считает очень хорошей, — и он прочел мне несколько строф, действительно очень сильных: а также о «Листве»⁷, над которой он смеется. Когда мы вернулись в его палаццо, который.

[Верхняя часть 3-го листа письма оторвана]

[Хоппнеры] самые приятные люди, каких я встречал. Представь себе, что они отложили свою увеселительную поездку, чтобы заняться нашим делом, — и все это так деликатно и незаметно! Они очень привязаны друг к другу, у них есть милый мальчик, семи месяцев. Мистер Хоппнер отлично пишет красками: поездка, которую он сейчас отложил, имела целью Юлианские Альпы, недалеко отсюда, чтобы делать там наброски для картин, которыми он займется зимой. У него всего лишь две недели свободного времени, а он посвятил из них два дня чужим людям, которых впервые видит. У миссис Хоппнер светло-карие глаза и милое лицо — как у тебя, Мери. *[Пропуск, т. к. часть листа оторвана]*... а это ему несомненно повредит.

Сейчас мне надо спешить, иду к банкиру, чтобы взять денег тебе на дорогу; вышло их во Флоренцию, на почтамт. Пожалуйста, немедленно приезжай в Эсте, где я, Клер и Элиза будем с нетерпением тебя ждать. Начни укладывать вещи как только получишь это письмо; следующий день можешь тоже употребить на это. А затем вставай в четыре часа и поезжай почтовой каретой до Лукки; ты приедешь туда в шесть. Там найми веттурино до Флоренции, чтобы приехать в тот же вечер. От Фло-

ренции до Эсте три дня. пути, если с веттурино, и едва ли будет быстрее почтовой каретой. Пусть Паоло⁸ находит тебе хорошие гостиницы; нам попадались очень плохие; в Болонье только не «Tre Mori», *perche sono cose inespessibili nel letto**. Не думаю, чтобы тебе это удалось, однако *попытайся* доехать из Флоренции до Болоньи за один день. Только не почтовой каретой, она не намного быстрее, а очень дорога. Я был вынужден все это решать без тебя, думал, как лучше, а ты, моя любимая Мери, приезжай скорее побранить меня, если я придумал плохо, и поцеловать, если удачно, а сам я не знаю, это покажет опыт. По крайней мере мы избавлены от хлопотливых официальных представлений и познакомились с дамой⁹, которая так добра, красива и ангельски кротка, что, будь она более образованна, была бы вылитая Мери. Но образования ей не хватает. Глаза у нее — словно отражения твоих. И держится как ты — когда ты кого-нибудь хорошо знаешь и любишь.

Знаешь, любимая, как писалось это письмо? Урывками, ежеминутно прерываемое. Сейчас прибыла гондола, чтобы отвезти меня к банкиру. Эсте — маленький город, найти квартиру там легко. Я отсчитаю четыре дня, пока дойдет мое письмо, один день на сборы, четыре на дорогу сюда. Через девять-десять дней мы увидимся.

К отправке почты я опоздал, но пошлю нарочного вдогонку.

Прилагаю чек на пятьдесят фунтов. Если бы ты знала все, что пришлось проделать!

Любимая, будь здорова, будь счастлива, приезжай ко мне и ложись на твоего верного и любящего

П. Б. Ш.

[P. S.] Поцелуй за меня голубоглазых малюток и не давай Вильяму забыть меня. *Ка не может* меня помнить.

108

КЛЕР КЛЕРМОНТ

Венеция,
пятница, 25 сентября 1818

Милая Клер!

Мы приехали в Венецию вчера, 24 сентября, около пяти часов. Наша малютка стала слабеть¹, у нее начались судорожные подергивания рта и глаз, что заставило меня искать врача. По дороге от Фузины в гостиницу ей стало хуже. Я оставил ее и тотчас же отправился в гондоле за доктором Алиетти. Его не оказалось дома. Вернувшись, я застал Мери в вестибюле гостиницы; она была в страшном горе.

*«Три Мавра», потому что постели там кишат неопикуемой нечистью (*итал.*).

Появились более опасные симптомы. Прибыл другой врач. Он сказал мне, что надежды нет. Час спустя — как мне сказать тебе — она умерла — молча, без мучений. Мы уже похоронили ее.

Хоппнеры немедленно приехали и взяли нас к себе; эту любезность я не решился бы принять, если бы неожиданный удар не поверг Мери в полное отчаяние.

Сегодня ей лучше.

Я послал сказать Альбе², что не могу с ним сегодня увидеться — разве только он придет к нам. Мери хочет попытаться уговорить его, чтобы он дал Аллегре побыть с тобой.

Все это ужасно — не правда ли? И, однако, надо терпеть [одна строка вымарана] — Но прежде всего, дорогая, береги себя.

Твой любящий друг

П. Б. Ш.

109

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Эсте,
8 октября 1818

Дорогой Пикок!

Я не писал Вам, кажется, шесть недель. Я много раз собирался и чувствовал, что многое надо Вам сказать. У нас не было недостатка в печальных событиях; в их числе — смерть моей маленькой дочери. Она умерла от болезни, обычной в здешнем климате. У всех нас очень скверно на душе, а у меня к тому же скверно и со здоровьем. Но я намерен скоро поправиться — нет такого недуга, телесного или душевного, которого нельзя одолеть, — если он не одолел нас.

Мы уехали из Баньи ди Лукка, кажется, на другой день после моего письма к Вам¹, и отправились в Венецию — отчасти, чтобы осмотреть этот город, а отчасти, чтобы маленькая Альба могла провести месяц-другой с Клер, прежде чем мы поедем в Рим и Неаполь. Там мы свели приятнейшее знакомство с мистером и миссис Хоппнер; он — англичанин, она — швейцарка, и хотя не слишком образованна, зато свободна от предрассудков, в самом лучшем смысле этих слов. Их любезность очень скрасила наше недолгое пребывание в Венеции. Мы — т. е. Мери и я — увиделись с лордом Байроном и едва его узнали, так он переменялся, — более бодрого и счастливого человека мне не случилось видеть. Он мне прочел I песнь своего «Дон Жуана» — поэмы в стиле «Беппо», но несравненно лучше, с посвящением Саути² в десяти или двенадцати строфах; не сатира, а польнь пополам с ярь-медянкой. Негодяй будет корчиться под ее ударами.

Венеция изумительно красива. Вид с лагуны на город, протянувшийся над синей водой длинной цепью сверкающих куполов и башен, представ-

ляет собой один из великолепнейших архитектурных миражей. Он словно встает из волн, — да так оно и есть. Его безмолвные улицы вымощены водою: слышны только всплески весел и иногда — ругань гондольеров (песен из Тассо я от них что-то не слышал). Сами гондолы выглядят чрезвычайно романтично и живописно; их можно сравнить только с бабочками, которые вместо коконов вышли из гробов. Они задрапированы черным, покрашены в черный цвет и устланы серыми коврами; нос и корма загнуты кверху, а на носу — что-то вроде стального клюва, сверкающего на конце всей этой черной массы.

Дворец Дожей с его библиотекой представляет собой внушительный памятник могуществу аристократии. Я видел казематы, где эти негодяи пытали свои жертвы. Казематы были трех видов; в одних, примыкающих к зале суда, держали заключенных, которым скоро предстояла казнь. Туда я не мог спуститься, ибо в тот день был Festa *. Другие помещались под крышею дворца, и там страдальцев сжигало до смерти или доводило до безумия жаркое итальянское солнце; третьи, называвшиеся поцци, т. е. колодцы, находились в подземелье и сообщались с верхними посредством потайных ходов; там узников держали иногда по пояс в зловонной воде. Когда в город вошли французы, они нашли в этих темницах только одного старика; он разучился говорить. Но сейчас Венеция, некогда бывшая тираном, являет собою нечто почти столь же мерзкое — рабыню. Как только олигархия узурпировала права народа, Венеция перестала быть свободной и достойной наших сожалений как нация. И все же я думаю, что она никогда не была так унижена, как под французским и особенно австрийским владычеством. Австрийцы отнимают у нее в виде налогов шестьдесят процентов доходов и ставят солдат на постой. Орда немецких солдат, столь же порочных, как венецианцы, и еще более отвратительных, оскорбляет несчастный народ. Пока я не прожил несколько дней среди венецианцев, я не представлял себе, до чего могут дойти алчность, подлость, суеверия, невежество, грубая похоть и все проявления скотства, унижающего человека.

Прошедший месяц мы провели вблизи городка, откуда я посылаю это письмо, на отличной вилле, предоставленной в наше пользование; а сейчас собираемся во Флоренцию, Рим и Неаполь; в последнем мы думаем провести зиму, а весной — вернуться на север. Здесь позади нас высятся Евганейские холмы, менее прекрасные, чем горы в Баньи ди Лукка, и Арква, где бережно сохраняют дом Петрарки и его могилу. В конце нашего сада стоит большой готический замок, населенный сейчас одними лишь совами и нетопырями; там жила семья Медичи, прежде чем переселиться во Флоренцию. Перед нами простираются плоские равнины Ломбардии, над которыми всходят и заходят солнце и луна, встает вечерняя

* Праздник (итал.).

звезда и клубятся золотые осенние облака. Но больше всего восторгов я сберегаю для Неаполя.

Я занят сочинением лирической и классической драмы, которую назову «Освобожденный Прометей»³; первый акт я уже закончил. Не поищите ли Вы у Цицерона, что сказано о драме Эсхила⁴ под тем же названием? Кроме того, я прочел Мальтуса⁵ во французском переводе. Мальтус очень умный человек, и человечество с большой для себя пользой могло бы прислушаться к его наставлениям — если бы только было способно прислушаться к чему-либо, кроме вздора, — но, боже правый! что он хочет сказать иными из своих выводов?

В следующем письме прошу Вас сообщить название судна, с которым Вы отправили мои книги, и все сведения о нем; книги еще не прибыли, и ясно, что мы не сумеем их получить без таких сведений.

Мери и Клер шлют наилучшие пожелания

[Подпись отрезана]

Я напишу Вам из Рима или Флоренции — когда, надеюсь, буду в лучшем настроении и смогу сообщить более радостные вести. Видели ли Вы в IV песни прекрасные строфы о нимфе Эгерии?⁶ А я ни слова не говорил ему о нимфолепсии — надеюсь, Вы мне верите. Надеюсь также, что Вы из чрезмерной деликатности не станете вычеркивать все нимфолептическое.

Взяли ли Ханты наши вещи с Рассел-стрит? Если нет, спросите об этом от моего имени, когда будете в городе. Писать бесполезно. Хант никогда не отвечает на письма. У Хукема остались два тома стихов лорда Байрона, которые надо переплести. Получили ли Вы их? Если нет, напишите ему.

110

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

*Феррара,
6 ноября 1818*

Дорогой Пикок!

Мы едем в Неаполь и вчера выехали из Эсте. Дороги здесь на редкость плохи, так что за два дня мы проехали всего 18 и 24 мили; только хорошие лошади смогли вообще тащить по размытой и глинистой дороге экипаж с пятью пассажирами и тяжелым багажом. Дальше, однако, дороги будут хорошие.

Местность плоская, но пересечена полосами леса, оплетенного виноградом, у которого сейчас на широких листьях уже краснеет печать увядания. Там и тут встречаются землешцы и плуги, бороны или телеги, запряженные молочно-белыми или сизыми быками огромной величины и редкой красоты. Это воистину мог бы быть край Пасифеи¹. На одной

ферме мне показали в стойлах 63 таких быка, великолепных и очень упитанных.

Фермы в этой части Италии несколько отличаются от английских. Прежде всего дом — он велик и высок, со странными некрашеными ставнями, обычно закрытыми, и выглядит крайне уныло. Но двор и хозяйственные постройки содержатся в отличном порядке. Гумно не имеет навеса; подобно описанному в «Георгиках»², оно трамбуется обломком колонны, и ни крот, ни жаба, ни муравей не найдут в нем ни единой трещинки, где они могли бы приютиться. В это время года вокруг него навалены кучи листьев и стеблей недавно обмолоченного маиса. Неподалеку громоздятся кучи ярких «цукки», или тыкв, иногда огромных, предназначенных на зимний корм свиньям. По двору разгуливают индюки и другая домашняя птица, а также собаки, которые яростно лают. Работающие здесь люди не выглядят оборванными или голодными, а их угрюмая неучтивость имеет в себе нечто английское, весьма приятное после наглой лживости лощеных горожан. Земледельческие богатства страны представляются мне огромными, раз она выглядит столь цветущей, несмотря на губительное влияние деспотической власти. Надо, впрочем, сказать, что одна из ферм принадлежит венецианскому банкиру-еврею — новому Шейлоку. Поздно вечером мы добрались до постоялого двора, откуда я сейчас пишу Вам; некогда это был дворец венецианского вельможи, а сейчас — отличный постоялый двор. Завтра мы пойдем осматривать Феррару.

7 ноября

Всю ночь была гроза и сильный дождь; он еще не кончился, так что мы поехали по городу в экипаже. Сперва мы посетили собор, но нищие очень скоро обратили нас в бегство, и я так и не выяснил, есть ли там, как говорят, копия с картины Микеланджело. Посещение публичной библиотеки было более удачным. Это — великолепное хранилище, где собрано, как говорят, 160 000 томов.

Мы видели иллюминированные нотные записи церковной музыки, где стихи псалмов написаны между нот и окружены тончайшим рисунком удивительно ярких цветов. Они принадлежали соседнему монастырю в Чертольде и насчитывают 300 или 400 лет, но так свежи, точно выполнены только вчера. Один конец большого библиотечного зала занимает гробница Ариосто; она сложена из различных пород мрамора, увенчана выразительным бюстом поэта и украшена латинскими стихами, несколько менее скверными, чем обычные в таких случаях. Но наиболее интересны рукописи Ариосто и Тассо и принадлежавшие им вещи, которые бережно сохраняются тут от варварства французов. Здесь есть кресло Ариосто — простое старое деревянное кресло; на его жестком сиденье некогда лежала подушка, которую оно пережило, как и своего хозяина. Мне представлялся сидящий в нем Ариосто; а рядом — сатиры, написанные его

рукой, и его собственная старая бронзовая чернильница, обильно украшенная фигурами, усиливали иллюзию. Чернильница напоминает скорее античную. С боков выглядывают три нимфы, а на крышке стоит крылатый купидон с факелом в руке и луком в другой; рядом лежит его колчан. К скелету Ариосто была привязана медаль с его портретом. Портрет не показался мне выразительным, но это, должно быть, вина художника. На обороте изображена рука с ножницами, отрезающая язык у змеи, которая выглядывает из травы; и надпись: *pro bono malum* *. Что означает эта перефразировка хваленной христианской максимы и как ее применить к Ариосто-сатирику или эпическому, — я сказать не сумею. Гид пытался объяснить и, должно быть, именно этим и запутал меня; а ведь смысл скорее всего самый простой.

Здесь имеется рукопись всего «Освобожденного Иерусалима», собственноручно написанная Тассо; рукописи некоторых стихов к герцогу Альфонсо, сочиненных в темнице; сатиры Ариосто, также писанные его рукою; а также «*Pastor fido*» ** Гварини³. «Иерусалим», хотя очевидно не раз переписанный, испещрен многочисленными пометками, особенно к концу. Почерк Ариосто — мелкий, твердый и острый, выражающий, как мне кажется, пронизательный, деятельный, но несколько ограниченный ум. Почерк Тассо — крупный и свободный, лишь иногда чем-то затрудненный, — и тогда буквы становятся мельче, чем в начале слова. Он выражает ум пылкий и могучий, порой выходящий за собственные пределы, но охлаждаемый водами забвения, которые плещут у его дерзновенного подножья. — Вы знаете, что в видимом я всегда ищу проявления чего-то, лежащего за его пределами; и здесь мы с Вами, быть может, расходимся, как расходимся в физиогномике. Однако я взялся рассказывать о своих впечатлениях, а не пытаться внушать их другим. — Некоторые из рукописей Тассо содержат сонеты к его гонителю, полные так называемой лести. Если б спросить дух Альфонсо, по вкусу ли ему сейчас эта хвала, не знаю, что он сказал бы. Но у меня эти мольбы и хвалы вызывают скорее жалость, чем осуждение. Тассо подобен христианину, который молится своему богу и славит его, зная его за беспощадного, капризного и неумолимого деспота, но зная также его всемогущество. Тассо был в ином положении, чем узники наших дней, ибо сейчас голос из темницы может в конце концов пробудить в общественном мнении эхо, страшное для тирана. Но тогда не было никакой надежды. Я с неизъяснимым волнением смотрел на начертанные рукою Тассо уже истлевающие слова подобострастной мольбы, обращенные к глухому и тупому деспоту в тот век, когда героическая добродетель подвергала своего обладателя неумолимым гонениям и когда избежать их не мог даже ни в чем не повинный гений, — так неразрывна связь гениальности с добродетелью.

* Злом за добро (лат.).

** «Верный пастух» (итал.).

Потом мы пошли в госпиталь святой Анны взглянуть на его темницу; посылаю Вам щепку от той самой двери, которая на семь лет и три месяца разлучила славного певца со светом и воздухом, а между тем только они могли рождать вдохновение, которое он в своих стихах передал тысячам людей. Темница низкая и темная; назвать ее вполне сносною темницей я могу лишь после того, как повидал тюрьму в венецианском дворце дожей. Но это — страшное обиталище даже для самого грубого создания в человеческом образе, а тем более для человека, наделенного чувствительностью и воображением. Она низкая, с зарешеченным окном; углубленная на несколько футов под землю, полна нездоровой сырости. В самом темном ее углу видны в стене следы цепей, которыми узник был скован по рукам и ногам. Позднее, по настоянию кого-то из его друзей-кардиналов, герцог разрешил сложить там очаг; следы его еще сохранились.

При входе в библиотеку нам встретился кающийся грешник; он был с головы до ног окутан белым покрывалом, на босых ногах были сандалии, а на лице — подобие сетчатого забрала, совершенно его закрывавшее. Я полагаю, что такое наказание было наложено за преступление, известное только ему самому и его духовнику; разительный пример власти католических суеверий над умами людей! Проходя мимо нас, он потряхивал деревянным ящиком для сбора подаяний.

Прощайте. Напишу снова, еще до приезда в Неаполь.

Искренне Ваш

П. Б. Ш.

[P. S.] Милли хочет послать своей тетке и родне 1 фунт стерлингов. Не откажите как-нибудь зайти в Литтл Марло, спросить Рэйчел Нэш и передать ей 1 фунт стерлингов от Амелии Шилдс, служанки мистера Шелли; из этой суммы 10 шиллингов для нее, а 10 — для матери Амелии. Кажется, я уже просил об этом; будьте добры сделать это для меня и сообщить, как мне лучше переслать Вам деньги.

111

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Болонья,
понедельник, 9 ноября 1818

Дорогой Пикок!

Я повидал здесь множество разных вещей — церквей, дворцов, статуй, фонтанов, картин, и голова моя уподобилась портфелю архитектора или лавке эстампов или записной книжке коллекционера. Попытаюсь вспомнить что-нибудь из виденного, ибо для этого действительно требуется усилие.

Сперва мы осмотрели собор, где нет ничего примечательного, кроме раки, а точнее, мраморного балдахина, отягченного скульптурой и опирающегося на четыре мраморные колонны. Затем мы отправились во дворец — не помню названия, — где осматривали большую картинную галерею. В галерее, разумеется, запоминаешь примерно одну картину из трехсот. Я, однако, запомнил интересную картину Гвидо¹, изображавшую похищение Прозерпины; Прозерпина томно оборачивается, словно сожалея о цветах, которые не успела собрать в лугах Энны. Была там еще отлично выполненная картина Корреджо — четверо святых, из которых один держит на поводке ручного дракона. Мне сказали, что это он так связал Дьявола, который, однако, может сотворить, что хочет, со всеми четырьмя, так что не поймешь, что они тут делают.

Другая картина того же мастера — Христос, причтенный к лику блаженных, — несказанно прекрасна. Фигура Христа наполовину выступает из облаков, окрашенных розоватым неземным цветом; руки его раскинуты, фигура словно вырастает и полна выразительности, лицо напряжено под бременем экстаза; губы чуть раскрыты и дышат глубоким, но сдержанным волнением; в глазах покой и кротость. Волосы, разделенные надвое, густыми прядями ниспадают по обе стороны лица. Фигура недвижна, но кажется готова ожить от малейшего дуновения. Краски, должно быть, очень хороши, если даже я заметил это и понял. Небо окрашено в бледно-оранжевый цвет, подобный тонам догорающего заката. Оно не просто написано позади фигуры, но как бы пронизывает всю картину. Других картин Корреджо мы, кажется, не видели, но этот образчик дает мне о нем чрезвычайно высокое понятие. Мы осмотрели один бог знает сколько дворцов — Рануцци, Манишалипо, Альдобранди. Если Вам для чего-нибудь понадобятся итальянские фамилии — вот они. Мне они очень пригодились бы, если бы я сочинял роман. Видел я также множество картин Гвидо — в том числе Самсона среди убитых филистимлян, пьющего воду из ослиной челюсти. Зачем он это делает, известно только одному богу, пославшему ему эту челюсть, но картина отличная. Фигура Самсона четко выступает на переднем плане, окрашенная всеми оттенками живой плоти, исполненная силы и изящества. Вокруг лежат филистимляне в тех позах, в каких застигла их смерть. Одно из тел распростерто; лоб еще искажен судорогой страдания, а на губах и подбородке уже почует смерть, как крепкий сон. Другой оперся на руку, и кисть руки свисает, недвижимая и бледная. Поодаль видны еще трупы. А за ними — синие горы, синее море и безмятежный белый парус.

Есть еще «Избиение младенцев» того же Гвидо, превосходное по колориту и выразительности; но сюжет чересчур ужасен, и художнику словно не хватило на него силы — во всяком случае, только самая возвышенная и поэтическая концепция этой темы может примирить с созерцанием картины. Есть отличный «Распятый Христос» того же художника.

Но каков бы ни был замысел и выполнение, вас под конец утомляет бесконечное повторение распятого тела, представленного в обязательной позе страдания; зато нельзя вдоволь наглядеться на Магдалину, прильнувшую к кресту и с выражением тихого отчаяния поднявшую свою белокурую голову, и на святого Иоанна, который тянется к нему всем телом, стиснув руки и сплетя пальцы в порыве мучительного сострадания; фигуры эти божественны, но вместе с тем человечны.

Есть также «Фортуна» Гвидо — вещь редкостной красоты. Фортуна несется на шаре, а Амур ловит ее за волосы; она слегка обернулась к нему, длинные каштановые волосы вьются по ветру и затевают ее прекрасный лоб. Лукавый взгляд ее карих глаз обращен на догоняющего, на губах порхает легкая улыбка. Краски ее нежного тела теплы и воздушны. Но, быть может, самой примечательной из всех картин Гвидо является его «Madonna lattante» *. Она склонилась над младенцем, и наполняющая ее материнская любовь отражается на ее нежном лице и в ее простой позе. Холодный наблюдатель, быть может, нашел бы в ее лице вялость. Глаза ее почти закрыты, губы сомкнуты; все мускулы, выражающие обычные чувства, у нее расслаблены. Но это оттого, что душа ее — или как бы мы ни называли то, без чего телесная оболочка безжизненна, — душа ее склоняется под бременем любви, почти непереносимой по своей силе.

Есть здесь также художник из Болоньи по имени Франческини, разумеется, далеко уступающий Гвидо, но все же отличный. Одна из церквей, доминиканская, целиком расписана им одним. В Англии, кажется, нет его картин. Колорит их менее теплый, чем у Гвидо, но они чрезвычайно четки и изящны. Он словно окунал свою кисть в звездный полумрак. Отсюда эта нежность и воздушная красота. Глаза его фигур светятся невинностью и любовью, губы дышат нежным чувством; его ангелочки — самые прелестные создания человеческого воображения. Они обычно присутствуют (в виде херувимов или купидонов) на всех его картинах, неизменно *религиозного* содержания; их прелестные детские игры трогают своею скромною красотой.

Кроме того, мы видели картину Рафаэля — «Святая Цецилия» — эта написана в ином, более высоком стиле. Глядя на нее, забываешь, что это картина, а между тем она не похожа ни на что, именуемое нами реальностью. Это — идеал, задуманный и осуществленный с тем же вдохновением, с каким древние создавали свои шедевры поэзии и скульптуры, которым позднейшие поколения напрасно стараются подражать. В ней есть непередаваемое единство и совершенство. Центральная фигура святой Цецилии погружена в тот же экстаз, какой испытывал, вероятно, и создавший ее образ художник; ее глубокие, темные, выразительные глаза обращены ввысь, каштановые волосы откинута со лба, одна рука

* Мадонна, кормящая грудью (*итал.*).

прижата к груди, лицо проникнуто глубоким и тихим восторгом, и все это пронизано теплым, ликующим светом жизни. Она внимает небесной музыке и, очевидно, только что пела, ибо лица окружающих обращены к ней, особенно святой Иоанн, склонившийся к ней с восхищением и нежностью, словно изнемогая от волнения. У ног ее лежат разбитые музыкальные инструменты. О красках я не говорю, они превосходят природу, сохраняя, однако, всю ее правду и красоту.

Видели мы картины Доменикино, Альбани, Гверчино, Элизабетты Саррани. От двух первых — напоминаю, что не выдаю себя за знатока, — я не в восторге: у последней есть несколько прекрасных мадонн; Гверчино принадлежит множество картин, которые считаются хорошими; должно быть, так оно и есть, ибо от их сложности у меня кружилась голова. Одна из них в самом деле выразительна. Она изображает основателя ордена картезианцев, умерщвляющего плоть в пустыне, где вместе с ним преклонил колена у алтаря мальчик-служка. На другом алтаре мы видим череп и распятие, а за ними — скалы и деревья. Подобной фигуры я не видел нигде. Морщинистое лицо словно обтянуто сухой змеиной кожей и прорезано длинными, жесткими бороздами. Сморщены даже руки. Он похож на ходячую мумию. На нем длинное фланелевое одеяние мертвенного цвета, каким, должно быть, бывает саван, облекавший покойника в течение двух месяцев. Этот желтый, гнилой, жуткий оттенок оно отбрасывает на все окружающее, так что лицо и руки картезианца и его спутника светятся той же могильной желтизной. К чему писать книги против религии, когда достаточно вывесить подобные картины? — но люди не могут, или не хотят, в них взглянуть.

Но довольно о картинах. Я видел место погребения Гвидо и его возлюбленной, Элизабетты Саррани. Эта дама была отравлена в возрасте 26-ти лет другим своим поклонником, разумеется, отвергнутым. Наш гид сказал, что она была очень некрасива и что завтра мы сможем увидеть ее портрет.

А сейчас спокойной ночи. Завтра «к новым пастбищам спешим»².

Сегодня (10 ноября) мы прежде всего вновь вернулись к дивным картинам Рафаэля и Гвидо, а затем поехали за город, в горы, в часовню, посвященную мадонне. Мне было грустно видеть, что некоторые картины реставрируют и покрывают лаком, а иные исколоты французскими штыками. Живопись принадлежит к самым недолговечным созданиям искусства. Скульптура сохранилась в течение двадцати столетий. Аполлон и Венера остались те же. Но, пожалуй, единственными ровесниками человечества являются книги. Софокла и Шекспира можно издавать снова и снова, до бесконечности. Но как эфемерны картины по самой своей природе! Творений Зевксиса и Апеллеса³ уже нет, а ведь в эпоху Гомера и Эсхила они, быть может, значили то же, что картины Гвидо и Рафаэля в эпоху Данте и Петрарки. Одна только мысль может нас утешить. Материальная оболочка этих творений обречена на исчезновение, но они

живут в душе людей и связанные с ними воспоминания передаются от поколения к поколению. Поэт воплощает их в своих стихах, философы, обращаясь к ним, строят системы, проникнутые большей человечностью, общественное мнение, имеющее силу закона, подвергается воздействию этих воспоминаний; люди становятся лучше и мудрее, и так, вероятно, сеются незримые семена, из которых вырастет нечто более прекрасное, чем их источник. Впрочем, эти мысли можно было бы высказать не только в Болонье, но и в Марло.

Часовня мадонны представляет собой прелестное здание в коринфском стиле — отсюда открывается красивый вид на плодородные поля, на складки Апеннин и на город. Я только что гулял по Болонье при лунном свете. Это — город колоннад, и лунное освещение придает ему необычайную живописность. Здесь есть две башни, уродливые кирпичные строения, — из которых одно имеет 400 футов в высоту, — наклоненные в противоположные стороны; при обманчивом свете луны может показаться, что город качается от подземных толчков. Говорят, они построены так нарочно, но я заметил, что по всей Ломбардии церковные колокольни имеют такое наклонное положение.

Прощайте. Дай Вам бог терпения прочесть это длинное письмо и мужества в ожидании следующего. Прошу держать их на Вашем столе отдельно от «Коббетов». Пусть лучше воюют с ними в вашем сознании⁴.

Всегда искренне Ваш

П. Б. Ш.

112

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Рим,
20 ноября 1818

Дорогой Пикок!

Итак, я в столице исчезнувшего мира. Но я еще ничего не видел, кроме собора Святого Петра, Ватикана, смутно виднеющегося вдали, и *Dogana* *, куда нас привели для досмотра багажа; она выстроена среди развалин храма, посвященного Антонину Пию¹, — коринфские колонны высятся над меньшими зданиями современного города, а резные карнизы как бы переходят в источенные волнами края утесов, возносящиеся высоко над нашими головами.

Воспользуюсь нынешним дождливым вечером и, прежде чем Рим слонит для меня все другие впечатления, попытаюсь воспроизвести только что виденные нами места. Мы уехали из Болоньи — не помню, в какой день, — и через Римини, Фано и Фолиньо и Терни прибыли по *Виа Фламиния* в Рим после десяти дней несколько утомительного, но очень интерес-

* Тамбжия (итал.).

ного путешествия. Самым примечательным из того, что мы видели, были римские раскопки в скале в Фурло и большой водопад в Терни. Вы, разумеется, слышали, что в Римини есть Римский мост и Триумфальная Арка и что архитектура их великолепна. Мост несколько напоминает мост на Стрэнде — но более тяжелых пропорций и, конечно, гораздо меньше. После Фано мы отклонились от адриатического побережья и вступили в предгорья Апеннин, следуя течению Метавра, на берегах которого был некогда разбит Газдрубал; говорят, что у Ливия² имеется весьма точное и живое описание этого сражения — можете в него заглянуть. Я все это позабыл, но взгляну, как только будет распакован наш багаж. Вдоль русла реки долина сужается, берега становятся крутыми и каменистыми, а по ним, над изумрудными водами, растут рощи дуба и падуба. Примерно в 4-х милях от Фоссомброне река пробивает себе ложе среди отвесных гор, самых высоких в Апенниннах, которые она подрывает своим бурным течением. Утро было пасмурное, и мы не ожидали зрелища, какое нам вскоре представилось. Северный ветер внезапно разорвал низкие облака, раздвинул их, точно тюлевый занавес, и в ясном свете дня четко обозначились горы с их черными зубцами и пиками, пронзающими небо. Дорога идет над рекою, на значительной высоте, а потом проходит туннелем. Там еще видны отметки, оставленные легионерами римского консула. Так мы ехали, день за днем, до Сполето — наиболее романтического из всех виденных мною городов. Там есть поразительно высокий акведук, соединяющий две скалистые вершины; внизу — каменное ложе потока, белеющее среди зелени долины, а над ним — укрепленный замок, как видно, огромный и мощный, который нависает над городом, так что его мраморные бастиины составляют прямой угол с обрывом. Нигде не видел я ничего более впечатляющего; природа здесь величава, но еще величавее — создания человеческих рук, славные своею древностью и мощью. Замок был выстроен не то Велизарием, не то Нарсесом³, но именно в их эпоху.

Из Сполето мы отправились в Терни и видели водопады Велино. Самым величественным зрелищем, какое я видел, являются глетчеры Монтанвера и истоки Арвейрона. Эти водопады можно поставить на втором месте. Представьте себе реку 60 футов шириной, многоводную, текущую из большого высокогорного озера, которая низвергается с высоты 300 футов в невидимую бездну, где над черными утесами непрерывно встают белоснежные клубы, а оттуда опять вниз, образуя 5 или 6 водопадов, каждый высотой от 50 до 100 футов, которые повторяют то же зрелище в меньших размерах и с необычайно красивыми вариациями. Впрочем, никакие слова, а тем более картины, не могут их описать. Станьте напротив, на площадке, образуемой краем утеса. Вы увидите, как неугомонный поток устремляется вниз. Он набегает большими рыжеватыми валами, которые слоятся, как то бывает со снегом, скользящим по склону горы. Они не кажутся полыми внутри, но снаружи неровны, подобно складкам небрежно брошенного белья. Вы следите гла-

зами за потоком, и он исчезает внизу, но не в окружающих черных скалах, а в собственной пене и брызгах, в кипении, которое не назовешь ни дождем, ни туманом, ни пеной, но водой в каком-то особом, невиданном обличи. Эта вода бела, как снег, но плотна и непроницаема для взгляда. Она ставит в тупик наше воображение. Из бездны доносится шум, тоже необыкновенный. Он не умолкает, но то и дело меняется: следуя изменениям движения, он становится то громче, то тише. Мы провели здесь в созерцании полчаса, показавшиеся нам мгновением. — Окружающая природа по-своему прекрасна, как только можно себе вообразить. Во время первой нашей прогулки мы прошли оливковые рощи, где большие старые деревья изгибают во всех направлениях свои искривленные седые стволы. Затем мы шли берегом реки мимо апельсиновых деревьев, отягощенных золотыми плодами, и через большую рощу падуба, где вечнозеленые ветви, осыпанные желудями, сплетались над извилистою тропой; узкая долина замыкалась высокими пирамидальными вершинами, покрытыми самой разнообразной вечнозеленой растительностью: высокими соснами, простершими в синем небе перистую зелень своих ветвей; падубом — старейшим обитателем здешних гор — и земляничным деревом с пунцовыми плодами и блестящей листвой. — После часа ходьбы мы вышли на полмили ниже порогов; ближе этого к ним подойти нельзя, ибо путь прегражден рекою Нар, которая сливается здесь с Велино. Затем по узкому естественному каменному мосту мы перебрались через реку, образуемую этим слиянием, и увидели пороги с той площадки, о которой я говорил выше. — Мы думаем еще раз посетить их в будущем году. Гостиница очень скверная, иначе мы пробыли бы тут дольше.

Вчера вечером мы приехали из Терни в местечко Непи, а сегодня прибыли в Рим через *Camagna di Roma* *, о которой сказано столько плохого, но которая мне очень пришлась по душе; это — улучшенное издание Багшот-Хис, да к тому же еще Апеннины по одну сторону и Рим с собором Святого Петра — по другую; сама равнина пересечена ложбинами, заросшими падубом и земляничным деревом.

Прощайте. Мои домашние шлют Вам самые лучшие пожелания

Преданный Вам

П. Б. Ш.

Напишу Вам на другие темы, как только получу что-нибудь от Вас. Пишите в Неаполь, до востребования.

* Римскую Кампанью (итал.).

113

ЛИ ХАНТУ

Неаполь,
20 декабря 1818

Дорогой друг!

Письмо от Вас всегда так приятно, что при получении его я менее всего склонен пенять Вам за то, что это удовольствие доставляется мне столь редко. Я не получал ни пакета от Оллиеров, ни писем, в него вложенных. Признаюсь, мы иногда говорим: «Как это похоже на Ханта!» — оно действительно похоже, только мы никогда не приписываем Ваше молчание пренебрежению или холодности.

Вы не сообщаете, вышла ли Ваша книга ¹ или еще нет. Что до моего стихотворения, я могу лишь пожалеть, что оно столь мало достойно дамы, которой посвящено; Вы отвели ему место, которое оно не может украсить, но которое для него почетно.

В Венеции я видел «Куотерли» ², и мне очень понравилась рецензия на «Франкенштейна», хотя сюжет изложен неверно. Что касается отзывов о Вас и обо мне, то грустно видеть злобу, подсававшую анонимному рецензенту оскорбительные намеки на мое семейное несчастье и превратное изображение Вашей личности. Что касается меня, то к политической вражде несомненно примешана и личная ненависть. Мне известно, что Саути сказал однажды одному из своих приятелей, что знает меня за самого последнего негодяя. Если подумать, кто и кому бросает подобное обвинение, остается только молча улыбнуться. Я хотел, было, написать Саути, но если это действительно он, письмо может лишь вызвать криво-толки; по возвращении я попытаюсь встретиться с ним лично и спросить, чем я вызвал у него такую страстную ненависть; и если я его чем-нибудь невольно обидел, постараюсь исправить это, а если нет — потребую у него доказательств, действительно ли я заслуживаю наименование, которое он употребляет. Что касается читающей публики, то защищаться надлежит не тому, кому Саути бросает свои обвинения, но тому, кто мудрейшими и лучшими из современников признан виновным в измене гражданскому долгу и чести. К тому же я не склонен делать свою или чужую личную жизнь предметом публичного обсуждения; ибо кому может она быть понятна, кроме самих участников? Если они были виновны — а часто и когда были невиновны, — неужели они уже не искупили своей вины страданием? Моя репутация как поэта, как автора, писавшего на политическое, моральные и религиозные темы, как приверженца той или иной партии или дела — это все, разумеется, является общим достоянием и можно подвергать критике мою добросовестность или недобросовестность в этой моей деятельности, мой талант, мою пронизательность или, наоборот, тупость. Я почти уверен, что с критикой Ваших произведений выступил Саути, а не Гиффорд ³. С Гиффордом я никогда не встречался, и он не мог меня так возненавидеть. Гиффорд фанатически привержен своей

партии, в голове у него изрядная путаница, но от людей, знающих его, я слышал, что нрав у него довольно смиренный, и он, кажется, не перебегал из одного стана в другой. — Но довольно обо мне. Что касается Вас, то я, кажется, понимаю, за что Саути может Вас ненавидеть — «Экзаминаер» был в течение многих лет тем терновым венцом, который нес на своем челе сей неискупленный Искупитель.

Видитесь ли Вы с Пикоком? Он расскажет Вам, где мы побывали, что делали и что видели; обо всем этом я даю ему отчет, а дважды писать одно и то же не люблю. Есть две Италии; одна состоит из зеленых просторов, прозрачного моря, могучих древних руин, заоблачных вершин и теплого, благостного света, которым все они пронизаны. Вторая — это современные итальянцы, их дела и их нравы. Первая представляет самое прекрасное зрелище, какое доступно человеческому воображению, вторая же — самое низкое, гнусное и отвратительное. — Можете себе представить, знатные молодые женщины едят — что бы Вы думали? — чеснок. Наш бедный друг лорд Байрон совершенно опустился, живя среди этих людей; и, право, ведет себя недостойно. Он часто говорит о Вас и между прочим сказал, что желал бы Вашего приезда в Италию, и просил Вам передать, что, если дело стало за этим, он одолжит Вам денег на дорогу (400 или 500 фунтов). Не думаете ли Вы, что Вам было бы полезно посетить эту удивительную страну? Будущей весной мы вернемся в Венецию; какой радостью было бы встретить там Вас! Боюсь (если Вы позволите мне затронуть эту щекотливую тему), что Вы едва ли сможете взять с собой всю Вашу семью, но Вам лучше знать. Я бы не удивился, если бы к Вам присоединился и Пикок; тогда весной мы вернулись бы все вместе. — У Италии есть то преимущество, что жизнь здесь чрезвычайно дешева, стоит только сюда добраться, особенно если самим ходить на рынок, иначе слуги так вас обчитывают, что цены приближаются к английским. — Если Вы не хотите непременно побывать и во Франции, можно плыть из Лондона в Ливорно, и тогда мы встретились бы на месяц раньше. Мне думается, Вы можете, не стесняясь, принять предложение лорда Б[айрона] (если б я мог, Вы знаете, что я сам сделал бы его Вам, вместо того чтобы давать советы); он это предложил от чистого сердца, и Ваше общество было бы ему не только приятно, но и весьма полезно. Напишите поскорее, что Вы думаете об этом плане, который мне очень понравился.

Мери и я кланяемся Марианне, мисс К[ент]⁴ и всем детям. Прошу ответить поскорее, как обычно, в Ливорно; мне не терпится узнать, приедете Вы или нет. Следует добавить, что и здоровье, и настроение у меня сейчас неважные, и Ваш приезд улучшил бы то и другое.

Ваш искренний и любящий друг

П. Б. Ш.

114

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Неаполь,
25 февраля 1819

Дорогой Пикок!

Я с большим интересом узнал, как продвигается дело с Вашим переездом в Лондон, особенно потому, что Хорейс Смит сообщил мне о преимуществах, которые это Вам сулит, — гораздо бóльших, чем я мог судить из Ваших слов. Никто не радуется любой Вашей удаче более искренне, чем я.

Мы сейчас собираемся из Неаполя в Рим. Окрестности здесь прекраснее любого другого места в цивилизованном мире. Я, кажется, еще не писал Вам об озере Аньяно и о Качча д'Астрони. С тех пор я видел то, что заслонило в моей памяти их пленительный образ. Обе эти местности представляют собою кратеры потухших вулканов; на угасший или дремлющий огонь природа набросила покровы в виде рош дуба и падуба, расстелила над ним мшистые поляны, разлила прозрачные озера. Первый кратер (озеро Аньяно) — больше, и местность там более дикая; к воде спускаются пологие лесистые холмы, травянистые луга и виноградники, где лозы обвиваются вокруг тополей. Там обитает великое множество водяной птицы, совершенно ручной. Вторая местность (Качча д'Астрони), окруженная высокими и крутыми холмами, является королевским охотничьим угодьем; попасть туда можно только через дубовые ворота, откуда внезапно открывается вид на отвесные горы, замыкающие небольшую округлую долину. Горы густо заросли падубом, миртом и вечнозеленой калиной; под порывами ветра, пролетающего по ущельям, блестящая листва падуба сверкает на фоне темной зелени, как морская пена на синеве волн. Эта замкнутая долина имеет в окружности не более трех миль. Часть ее занимает озеро с крутыми берегами, поросшими вечнозеленой растительностью, с лесистым мысом, где замшелые ветви нависают над молчаливой водой, темно-лиловой, как итальянская полночь; остальное занимает лес, где все деревья огромны, в особенности дубы; их узловатые безлистные в эту пору ветви лохматы от лишайников и оплетены мощной и темной листвою плюща. Видные сквозь листву темные холмы, окружающие долину, придают всей картине прелестную задумчивость. Однажды мы видели там диких кабанов и оленя; а в другой раз (зрелище, мало соответствующее античному духу местности, где должен бы царить Аполлон) — короля Фердинанда, который целился в кабанов из зимнего охотничьего домика. Подлесок состоит главным образом из вечнозеленых растений, различных красивых папоротников, дрока и золотого дождя — разновидности дрока, с красивыми желтыми цветами, — а также мирта и восковницы. Ивы только что выбросили золотистые и зеленые почки и сверкали в зимнем лесу, подобно язычкам пламени. Видели мы и Grotto del Cane*, потому

* Собачью пещеру (итал.).

что ее осматривают все, но не позволили ради удовлетворения нашего любопытства мучить собаку¹. Бедные животные медленно и печально виляли хвостами, покорные своей участи, — воплощение добровольного рабства. Действие газа, способного погасить факел, вызывает удушье, сопровождающееся таким ощущением, точно легкие разрывает изнутри какое-то острое орудие. Так сказал нам врач, который испробовал это на себе.

В 60 милях к югу от Неаполя находился греческий город Посидония, нынешний Пестум, где еще сохранились три этрусских храма — один почти полностью. Сейчас мы как раз вернулись оттуда. Погода отнюдь не благоприятствовала нашей экскурсии; после двух безоблачных месяцев полил проливной дождь. Первую ночь (23 февраля) мы провели в Салерно, большом городе, расположенном у глубокого залива, окруженного горами того же названия. В нескольких милях от Торре дель Греко мы вошли в ущелье, отделяющее перешеек от огромных скалистых массивов, которые образуют южную границу Неаполитанского залива и северную — залива Салернского. По одну сторону виднелся огромный конический холм, увенчанный развалинами замка и покрытый террасами возделанной земли всюду, где крутые склоны оврагов и лощин могут взрастить хоть что-нибудь, кроме пядуба, способного укореняться в скале. По другую сторону возносились снежные вершины гигантской горы, чьи грозные очертания то скрывались, то открывались в клубах гонимых ветром облаков. В полумиле оттуда, среди апельсиновых и лимонных садов прелестного селения, повисшего над кручей, — где золотые плоды выделялись на фоне белых стен и темных листьев, менее многочисленных, чем плоды, — сверкало море. Его освещали лучи заходящего солнца. По краю обрыва шла дорога в Салерно. Ничто не могло быть великолепнее этого ландшафта. Огромные горы со снежными вершинами, покрытые редкостной и прекрасной растительностью здешнего края, пересеченные складками долин и темными ущельями, куда едва решилось бы проникнуть воображение, круто спускались к морю. Перед нами лежал Салерно, выстроенный на склоне, между горами и морем. За ним, смутно видимая сквозь грозу, вздымалась еще одна гора, прорезая небо. Внизу, в пропасти, куда спускалась дорога, в море выдавались скалистые мысы, где росли оливы и падуб или подымались разрушенные зубчатые стены какой-нибудь норманнской или сарацинской крепости. Мы заночевали в Салерно, а на другое утро (24 февраля) еще затемно поехали в Посидонию. Ночью была буря; путь наш пролегал по прибрежному песку. Было совершенно темно, и только пена длинных волн, с шумом разбивавшихся, смутно и холодно белела под беззвездным небом. Когда рассвело, оказалось, что мы едем пустынной равниной между Апеннинскими горами и морем, то и дело пересекаемой причудливыми лощинами. Иногда попадает лес, а иногда только подлесок или кусты папоротника и дрока и высохшие за зиму плети ползучих растений. Кроме как в Альпах, я нигде не видел столь великолепных гор. Проехав 15 миль, мы достигли реки; мост был сломан, а вода стояла так высоко, что паром не взял наш эки-

паж. Пришлось идти через унылую Маремму, — семь миль пешком по грязной дороге, приведшей нас к древнему городу. Воздух был пропитан упоительным ароматом огромных фиалок удивительной красоты. Наконец, на пустынном горизонте обозначились величавые колоннады. Мы вошли через древние ворота, которые сейчас представляют собой всего лишь пролом в стене. Рядом глубоко ушли в землю остатки одной из гробниц, которые по обычаю древних возводились при дороге. От первого, самого маленького из храмов, уцелел внешний ряд колонн с архитравом и двумя расколотыми фронтонами. Пропорции его величавы, а архитектура чрезвычайно проста и лишена всяких украшений. Высота колонн кажется не более сорока футов, но это оттого, что их огромность умеряется их безупречными пропорциями; видимо, именно неровность и неправильность форм заставляют нас воспринимать величину. Между колоннами этого храма видно с одной стороны море, куда спускается пологий холм, на котором он выстроен, с другой — величавый амфитеатр высочайших из Апеннинских гор, темно-лиловых, увенчанных снегами, а в ту пору — перечеркнутых длинными полосами мрачных свинцовых туч. Эти зубчатые горы и, с другой стороны, ровная линия морского горизонта, видная между группами огромных колонн, представляют несказанно величественное зрелище. Второй храм гораздо больше и лучше сохранился. Кроме внешней колоннады здесь есть еще внутренняя, двухъярусная, а также развалины стены, которой было ограждено святилище. Не считая мелких различий отделки, архитектура его та же, что и в первом храме. Все колонны покрыты каннелюрами и сделаны из пористой вулканической породы, которую время окрасило в красивый желтый цвет. Колонны второго храма на одну треть больше и тоже утончаются от основания к капители; если бы не их безупречные пропорции, они казались бы глазу большими, нежели на самом деле; хотя, пожалуй, правильнее будет говорить не о том, что эта симметрия скрывает от нас их размеры, а о том, что она отодвигает на второй план восприятие размеров, устанавливая собственные внутренние соотношения, которые разрушают наше представление о соотношении ее с другими предметами, — а именно от этого и зависят наши понятия о размерах. Третий храм представляет собой так называемую базилику; от внутренней колоннады остались всего три колонны, внешняя сохранилась отлично, не считая того, что карнизы и фриз во многих местах обвалились. Этот храм занимает большую площадь, чем другие, но по величине колонны его — меньше, чем у второго, и больше, чем у первого.

Мы созерцали эти великолепные памятники каких-нибудь два часа и, разумеется, унесли с собой лишь очень смутную память о них, точно какой-то полузабытый сон.

Королевское собрание картин здесь довольно жалкое. Наиболее примечательным является, пожалуй, этюд Микеланджело для фресок Страшного Суда, которыми расписана Сикстинская капелла в Ватикане. Там они так сильно попорчены, что совершенно неразличимы. Мне кажется, что ге-

ниальность этого художника сильно преувеличивают. Он не только лишен сдержанности, скромности и ощущения границ, которые должно себе ставить искусство (этим грешат порой и величайшие гении), но он лишен также и чувства красоты, а значит — самой сути того, что составляет творческую силу. Нельзя изобразить ужасное без контраста и без связи с прекрасным. Как хорошо знал этот секрет Данте, с которым так дерзко сравнивают этого художника! Что за урод его Моисей, до чего лишен и естественности, и величия, — почти так же отвратителен, как его исторический прототип. На описываемой мною картине Бог склоняется с Небес, словно радуясь последнему акту трагедии, которую он поставил на сцене Вселенной. Под ним — святой дух в виде голубя. Еще ниже стоит Иисус Христос, словно произнося речь перед собравшимися. Эта фигура, которая, согласно сюжету, — вернее, той трактовке сюжета, какой ему следовало держаться, — должна быть исполнена спокойного и сурового величия, вместо этого выражает всем своим видом обыкновенное злорадство. По одну сторону от него стоят Избранные, по другую — небесное воинство; им следовало бы, как говорят христиане, преобразиться, т. е. парить в воздухе, сияя вечным светом, испепелившим их смертную оболочку (я говорю с точки зрения их веры). Здесь — это совершенно обычные люди. Внизу помещено, как я полагаю, чистилище; одни из душ увлекаемы демонами; другие падают вниз как бы под действием собственной тяжести, третьи парят в позе, напоминающей гроб Магомета, какую, видимо, готовится принять большинство умеренных христиан. Чем ближе к аду, тем более мощно проявляется дарование художника. Изображая погибшие души, он обнаруживает большую силу воображения. Ад и Смерть — вот его родная стихия. Внизу картины — большая скала с пещерой; у входа толпятся черти; одни тащат туда души грешных, другие выходят на добычу. Позади их черных фигур горит кровавым огнем адская бездна. По одну сторону уродливые черти справляются с грешниками, уже осужденными спасителем; те задыхаются, стиснутые кольцами змей, или корчатся на скале, подвергаемые различным пыткам. По другую сторону — страшные мертвецы, выходящие из могил. Таков прославленный «Страшный Суд» Микеланджело — своего рода «Тит Андроник»² в живописи — однако автор никак не может равняться с Шекспиром. Из других картин назову одну или две картины кисти Рафаэля или его учеников — они полны прелести. «Даная» Тициана³ — нежные и сладострастные формы, томные глаза, возведенные вверх, теплое, но инертное тело. «Магдалина» Гвидо — темноволосяя, темноглазая, с нежным и печальным взглядом. Несколько отлично исполненных картин Аннибале Каррачи⁴. Остальные не стоят того, чтобы на них снова оглянуться. — О скульптурах писать не могу; для этого нужен был бы целый том, а не письмо. — А в Риме, тем более, что смогу я сделать!

Только что просмотрел сентябрьский номер «Куотерли». Полагаю, что Вам в настоящее время не удастся создать свой журнал. Очень жаль.

«Куотерли», бесспорно, издается весьма талантливыми людьми, и это дает противникам нового огромный перевес. Если бы и стойкие друзья реформы, решительные и вместе разумные атеисты, были объединены в столь же тесный и прочный союз, каким является эта литературная коалиция, сплоченная фанатизмом и своекорыстием.

Прощайте — следующее письмо адресуйте в Рим, — откуда я скоро напишу Вам еще. — Мери и Клер присоединяют свой привет к моему.

Преданный Вам

П. Б. Ш.

Со мной здесь повозился доктор и, как мне кажется, с немалой пользой. В числе прочих приятных средств он прикладывал мне к боку каустик. Можете себе представить, каким покоем я наслаждался.

Нам важно знать, где ящики, оставленные нами в Лондоне. Не будете ли Вы любезны навести нужные справки? Если они не у Хантов, их, быть может, еще удастся разыскать.

115

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Рим,
6 апреля 1819

Вчера я отправил Вам пространное письмо о римских древностях, которое Вам лучше прочесть когда-нибудь позже, на досуге. Вчера же получил письмо от Вас и от Ханта. Итак, Вы знакомы с Бойнвилами! Миссис Б[ойнвил] в свое время представлялась мне самым замечательным человеком, какого я встречал. Ее нрав и обхождение, казалось, были высшим совершенством, возможным на земле. Едва ли я еще встречу эту женщину, которая вызывала у меня такое восхищение. Когда Вы ее увидите, прошу Вас передать ей, что я не забыл ни ее, ни других членов собиравшегося вокруг нее кружка и посылаю ей привет, какой может себе позволить изгнанник и *пария* по отношению признанного члена общества. Я слышал, что они у Вас обедали. Но ничего не было сказано об Альфреде и его жене — где они? Корнелия, в то время еще очень юная, уже унаследовала отличные качества матери и, будучи, конечно, менее обворожительной, наверняка столь же мила и более непосредственна. При той тонкости чувств, что у миссис Бойнвил, ей трудно быть вполне откровенной и постоянной.

Меня беспокоит исход Вашего дела с Индиа-хаус¹ — мало кто будет больше радоваться Вашим успехам в этом или любом другом деле, чем я. Сообщите мне о нем как можно скорее.

Вы спрашиваете, когда я вернусь в Англию. Пифия уже воссела на свой треножник, но ответа не дает. Через месяц-полтора мы намерены — и я не знаю, что может это намерение изменить, — вернуться в Неаполь,

где мы почти решили остаться до начала будущего, 1820 года. Можете себе представить, чего нам стоит оставаться при этом решении, когда мы получаем такие письма от Вас и Ханта — да и не только от Вас. Здоровье мое заметно улучшилось. Настроение — не блестящее, но это мы объясняем нашим одиночеством. Я счастлив — но с чего бы я стал веселиться? Правда, мы встречаемся иногда с итальянцами; римляне мне очень нравятся, в особенности женщины, которые ухитряются быть интересными при совершенной необразованности ума, чувств и воображения. В этом отношении они подобны простодушным дикаркам. Их невинность и крайняя наивность, их ласковое и свободное обхождение и полное отсутствие аффектации делают общение с ними приятным, как приятно общение с неиспорченными детьми, которых они часто напоминают своею прелестью и простотой. В здешнем обществе я встретил двух женщин безупречной красоты — с точеными чертами и роскошными темными волосами, оттеняющими нежный цвет лица и губ, — и только пошлости, слетающие с этих губ, делают их неопасными.

Единственное, что в них менее прекрасно, — это глаза; хотя и кроткие, они лишены глубины и многоцветных оттенков, которыми образованные женщины Англии и Германии увлекают сердце, суля духовные радости. — Сейчас Святая неделя, и в Риме очень многолюдно. Прибыл австрийский император²; ожидают также Марию-Луизу³. В других городах Италии ее приветствовали громкими криками «Да здравствует Наполеон!» Глупые рабы! Подобно лягушкам в басне, они выражают свое недовольство бревном, призывая аиста, который их пожирает. Скоро состоятся великолепные *festas* и *funzioni**, на которые мы не можем достать билеты; здесь находится сейчас 5000 иностранцев, а Сикстинская капелла, где исполняется знаменитое «*Miserere*»**⁴, вмещает всего 500 человек — вот единственное, о чем я сожалею. В конце концов Рим вечен; если бы исчезло все, что есть, осталось бы то, что было — руины и статуи, Рафаэль и Гвидо — вот единственное, о чем стали бы сожалеть из всего, что родилось из пагубной тьмы и хаоса христианства.

На площади Святого Петра работает человек триста каторжников в цепях — выпалывают траву, проросшую между каменных плит. На ногах у них тяжелые кандалы; некоторые скованы по двое. Они сидят за прополкой длинными рядами, все — в полосатой одежде. Возле них сидят или прохаживаются группами солдаты с заряженными мушкетами. В воздухе стоит железный звон бесчисленных цепей, составляя ужасающий контраст мелодичному плеску фонтанов, дивной синеве небес и великолепию архитектуры. Это как бы эмблема Италии: моральный упадок на фоне блистательного расцвета природы и искусств.

* Празднества и богослужения (итал.).

** «Смилуйся» (лат.).

Англичан здесь не видно; мы едва ли попали бы в их общество, если бы даже и захотели, а я уверен, что оно показалось бы нам несносным. Богатые англичане ведут себя совершенно недопустимо и важничают, как никогда не решились бы у себя дома. Результаты выборов⁵ для Хобхауза мне еще неизвестны. Я знаю, что на 14-й день за Лэма было 4000 голосов, за Хобхауза — 3900. Надежды мало. Неугомонный Коббет расколол и ослабил народную партию, так что клики хищников, терзающие наш край, смогли объединиться и вытеснить ее.

Ньютонов Вы еще не видели. Любопытно, что получится из Октавии⁶; обещала она много. Скажите Хоггу, что его Мельпомена находится в Ватикане, а ее поза и одежда даже лучше, чем лицо, если это возможно. Мой «Освобожденный Прометей» закончен⁷, и через месяц-два я его пришлю. Это — драма, новая по своей концепции и героям; мне кажется, что она написана лучше всех моих прежних сочинений. Кстати, не видели ли Вы Оллиера? Он мне ничего не пишет, и я так и не знаю, получил ли он стихи, озаглавленные, помнится, «Строки, написанные близ Евганейских холмов», которые я послал ему из Неаполя. Что до рецензий, там наверняка одна брань, — недостаточно крепкая или искренняя, чтобы быть забавной. К печатающейся сейчас поэме я равнодушен. Заключительные строки ее звучат естественно.

Мне кажется, мой милый Пикок, Вам хотелось бы, чтобы мы вернулись в Англию. Но как это возможно? Здоровье, возможность безбедного существования и покой — все это Италия дает мне, а Англия отнимет. Там все, кто меня знает или слышал обо мне, — кроме, пожалуй, пяти человек, — считают меня редкостным воплощением злодейств и пороков; считают, что даже мой взгляд полон скверны. Да и то я, кажется, насчитал слишком много и мог бы назвать только Вас, Хогга и Ханта. Таков английский дух и за границей и дома. Правда, эти немногие возмещают мне всех остальных, и я смеялся бы над этим, если бы был один, или достаточно богат, чтобы делать все, что захочу, — а этого никогда не будет. Посочувствуйте мне, ибо я лишен радостей общества, которые я мог бы найти в Англии и которые умею ценить. И все же в один прекрасный день я вернусь — просто из слабодушия.

Мы так и не получили вторую посылку, и не получим, пока не знаем фамилии капитана и названия корабля. Постарайтесь их узнать для нас. Посылаю на Оллиера чек на 5 фунтов для поручений, которые дала Мери, и на почтовые расходы по деловым письмам.

Пишите, как обычно, на адрес Гисборнов, пока я не извещу, что мы обосновались в Неаполе.

Ваши сообщения из Марло удивляют меня и очень огорчают. Мне был известен только один неоплаченный счет — [Роллса] на 19 фунтов. Меня крайне огорчает, что Медокс⁸ не получил причитающейся ему суммы. Я всецело полагался на Лонгдилла, у которого еще остались мои деньги, за вычетом его собственного счета. Передайте Медоксу мои извинения

и искренние сожаления; скажите, что через месяц-два я надеюсь оплатить эти счета. Если нет, я буду надеяться, что придет время, когда я смогу так или иначе вознаградить его за терпение.

Преданный Вам
П. Б. Шелли

[P. S.] Пожалуйста, выполните поручения Мери.

116

ЛИ ХАНТУ

Рим,
29 мая 1819

Дорогой друг!

Посвящаю Вам, издавек и после разлуки, в которой месяцы тянулись, как годы, это последнее свое произведение ¹.

То, что я издавал до сих пор, было немногим более чем видениями, воплощавшими мои понятия о прекрасном и справедливом. Кроме того, я вижу в них литературные погрешности, свойственные молодости и нетерпению; это — мечты о том, что должно быть или может быть. Драма, которую я Вам сейчас посылаю, — печальная действительность. Я отказываюсь от самонадеянной роли наставника и довольствуюсь тем, что живописую красками своего сердца то, что было.

Если б я знал человека, в большей мере, чем Вы, наделенного всеми качествами, какими должен обладать человек, я попросил бы у него позволения украсить свое создание его именем. Но я еще не встречал никого более кроткого, благородного, чистого и отважного; никого, кто был бы более терпим ко всем замышляющим и творящим зло, но сам более чужд зла; никого, кто лучше умел бы и принять благодеяние и оказать его, хотя всегда оказывает их больше, нежели может принять; никого, кто живет более простой и чистой жизнью в высшем смысле этого слова; а между тем я был счастлив в друзьях еще до того, как к их списку присоединилось Ваше имя.

Давайте же всецело и до конца, поддерживая на этом пути друг друга, посвятим себя упорной и непримиримой борьбе с тиранией и ложью в политике и в нравах — борьбе, которая составляет суть Вашей жизни и составляла бы мою, если бы мне хватало на это здоровья и таланта.

Да сопутствует Вам счастье во всем!

Ваш любящий друг
Перси Б. Шелли

117

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Рим,
8 июня 1819

Дорогой друг!

Вчера, проболев всего несколько дней, умер мой маленький Вильям. С самого начала приступа уже не было никакой надежды. Будьте добры известить об этом всех моих друзей, чтобы мне не надо было писать самому. — Даже это письмо стоит мне большого труда, и мне кажется, что после таких ударов судьбы для меня уже невозможна радость.

Если вещи, которые Мери просила прислать в Неаполь, еще не отсланы, пошлите их в Ливорно.

Завтра утром мы уезжаем отсюда в Ливорно, где сняли квартиру на месяц. Оттуда я напишу.

Любящий Вас
П. Б. Шелли

118

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Ливорно,
20 июня 1819

Дорогой Пикок!

Здесь заканчивается наше печальное путешествие; но мы еще вернемся во Флоренцию, где думаем остаться на несколько месяцев. — О, если б я мог возвратиться в Англию! Как тяжело, когда к несчастьям присоединяется изгнание и одиночество — словно мера страданий и без того не исполнилась для нас обоих. — Если б я мог возвратиться в Англию! Вы скажете: «Желание непременно рождает возможность». Да, но Необходимость, сей вездесущий Мальтус, убедил Желание, что хотя оно и рождает Возможность, это дитя не должно жить. — Однако, довольно Печали! «Аббатство кошмаров» хоть и не излечило, но облегчило ее. Я только что получил его через Мальту, вместе с выпусками «Экзаминера». Я восхищен «Аббатством кошмаров». Сайтропа я считаю отлично задуманным и изображенным¹ и не нахожу довольно похвал легкости, чистоте и силе слога. В этом Ваша повесть превосходит все, Вами написанное. Развязка великолепна — Мораль, насколько я понимаю, может быть выражена словами Фальстафа: «Бога ради, говори как житель здешнего мира»². А все же, если взглянуть глубже, разве не бестолковый энтузиазм Сайтропа составляет то, что Иисус Христос назвал солью земли? Мои друзья Гисборны тоже в восторге. Я, кажется, уже писал Вам, что они (в особенности она) — люди высокой культуры; она весьма образованна и обладает тонким вкусом. Коббет восхищает меня все более, при всем моем отвращении к кровавым фразам, содержащимся в его кредо. Его намерение обесценить банкноты

посредством изготовления фальшивых крайне потешно. Один из томов Беркбека³ очень меня заинтересовал; письма я нахожу скучными, но, должно быть, они принесли свою пользу.

Не описываю Вам свою поездку, как я это делал обычно, ибо у меня не было ни сил, ни охоты делать заметки. Здоровье мое начало, было, поправляться, но тревога и бессонные ночи вызвали новое ухудшение. Доктора (впрочем, я мало верю даже лучшим из них) велят провести зиму в Африке или Испании; если уж выбирать, я предпочел бы вторую.

Уж не женились ли Вы? Иначе почему не пишете? А это было бы весьма уважительной причиной.

Мери и Клер вместе со мной шлют лучшие пожелания и поздравления новобрачной, если таковая существует.

Когда же я Вас увижу?

Преданный Вам

П. Б. Ш.

[P. S.] Пожалуйста, не забудьте о вещах для Мери. Писем от Вас не было с середины апреля.

119

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Ливорно,
июль 1819

Дорогой Пикок!

Мы все еще в Ливорно и пробудем здесь около двух месяцев. В доме у нас печально, и единственной радостью являются письма из Англии. Я получил Вашу записку, где говорится о трех письмах, отправленных в Неаполь, и послал за ними; кроме того, я получил письмо от Хогга, подтверждающее известие о Вашем успехе¹, которому я очень рад.

Цель настоящего письма — просить Вас об услуге. — Я сочинил трагедию², основанную на событиях, хорошо известных в Италии и, по моему, весьма драматических. Я постарался сделать произведение пригодным для сцены, и те, кто его уже прочел, судят о нем благоприятно. Там нет мнений и взглядов, отличающих другие мои сочинения; ибо я старался только беспристрастно развить характеры возможно ближе к их реальным прототипам и извлечь из такого развития наибольший театральный эффект. Посылаю Вам перевод итальянской рукописи³, послужившей основой для моей пьесы; главного обстоятельства⁴ я коснулся в ней весьма осторожно, ибо успех пьесы всецело зависит от того, будет ли тема кровосмешения допущена на сцену в какой бы то ни было форме. Думаю, однако, что возражений не будет, потому что, во-первых, события эти стали достоянием истории, а, во-вторых, я постарался подойти к ним с особой деликатностью.

Я очень хотел бы, чтобы моя попытка удалась. Сейчас я склонен в это верить, и мои надежды основываются на следующем: пьеса написана ничуть не хуже любой из современных пьес, какие шли на сцене, за исключением «Раскаяния»⁵; сюжет ее гораздо интереснее и правдивее, и она не содержит ничего, помимо того, что публика считает для себя понятным, — как в слогe, так и в чувствах и суждениях. — Я хочу сохранить строгое инкогнито и надеюсь, что Вы при всех обстоятельствах поможете мне в этом. Это совершенно необходимо для успеха пьесы. После ее постановки и успеха (если на него можно надеяться) я признаю свое авторство, если захочу, и исползую свою известность в нужных мне целях.

Вас я прошу добиться постановки пьесы в Ковент-Гарденском театре. Роль главной героини Беатриче особенно подойдет для мисс О'Нийл⁶, она словно для нее написана (не дай бог мне видеть ее в этой роли — мои нервы этого не выдержат) и вообще пьеса подходит именно для Ковент-Гарденского театра. В главной мужской роли мне, признаюсь, хотелось бы видеть только Кина⁷. — Так как это невозможно⁸, придется довольствоваться менее крупным актером. Вы, кажется, знаете их или, во всяком случае, кого-то, кто их знает; и когда Вы прочтете пьесу, Вы сможете сказать о ней достаточно, чтобы они не отвергли ее с порога; этого, впрочем, судя по трагедиям, которые были ими приняты, можно, кажется, не опасаться.

Ответьте мне как можно скорее, потому что я хочу ее поставить, — а если театр ее отвергнет⁹, то издать уже в наступающем сезоне. Иначе сюжетом может воспользоваться кто-нибудь другой; сейчас он существует только в рукописи, но уже становится известен здешним англичанам. Перевод, который я Вам посылаю, надо напечатать вместе с пьесой, а также портрет Беатриче. У меня имеется копия ее портрета¹⁰ кисти Гвидо, находящегося сейчас в Риме, в Палаццо Колонна; это самое прелестное создание, — какое можно вообразить.

Разумеется, Вы никому не должны показывать рукопись; а мне напишите с обратной почтой — к тому времени пьеса будет готова для отправки.

Мери очень нужны вещи, о которых я писал, — надеюсь, судьба была настолько милостива, что посылку, во-первых, не заслали в Неаполь, а, во-вторых, действительно отправили в Ливорно; если какая-либо случайность задержала ее до сих пор, Вы окажете мне большую услугу, поставившись послать ее нам как можно скорее — в Ливорно.

Надеюсь скоро написать снова и не только о себе. Что касается Оллера, я не знаю, что он издал и что получил. «Прометей» хотя и готов¹¹, но я его не пошлю, пока не получу более точных сведений.

Преданный Вам

П. Б. Ш.

Кажется, у Вас еще осталось 2 или 3 фунта на почтовые расходы по деловым письмам. Если нет, я пришлю.

120

ЛИ ХАНТУ

Ливорно,
15 августа 1819

Дорогой друг!

Как мило с Вашей стороны писать нам так часто и такие хорошие письма. Но это все равно, что ссужать деньги нищему. — Чем могу я отплатить Вам?

Хотя вокруг меня — скорбь и страдания, и я был сражен нашей неожиданной бедой, я не проводил время в праздности. Мой Прометей окончен, а скоро я закончу еще одно произведение¹, совершенно непохожее на все, чего Вы могли бы от меня ожидать; оно предназначено для более широкой публики и может рассчитывать на большее внимание, насколько на это может вообще рассчитывать мое произведение. «Мой друг, пребудь в неведенье, чтоб сразу возликовать»².

Посылаю Вам небольшую поэму³, чтобы Вы передали ее Оллиеру для опубликования, но анонимно. Корректуру будет держать Пикок. Я писал ее, предполагая послать в «Экзаминар», но она чересчур длинна. Она была написана в прошлом году в Эсте: двоих из персонажей Вы узнаете; третий также до некоторой степени списан с натуры, но только не принадлежит данному времени и месту. Мне кажется, эта небольшая вещь соответствует Вашим идеям о том, какова должна быть поэзия.

Я писал ее тем непринужденным слогом, каким разговаривают в жизни люди, которым образование и известная тонкость чувств не позволяют пользоваться вульгарными речениями. Слово *вульгарный* я употребил в его наиболее широком смысле; вульгарность модного света в своем роде столь же груба, как и вульгарность нищеты; ее жаргонные словечки также выражают обнаженные понятия, а потому равно непригодны для Поэзии. Этот простой язык, однако, недопустим для сюжета возвышенного и даже для житейского — там, где страсть, перейдя известные границы, тоже подымается к пределам возвышенного. Сильная страсть пользуется для своего выражения как далекими, так и близкими образами и на все кладет печать своего величия. Впрочем, что же это я? Если моя бабушка умеет есть яйца, ведь не я ее этому обучил.

Если б Вы взялись выправить корректуру, мне не пришлось бы обременять этим Пикокка, у которого и без того хватает дела. Если я предпочитаю обременить Вас, нельзя ли, чтобы Вы посчитали это за комплимент?

Мне не хотелось бы, чтобы мое авторство стало известно; во всяком случае, я не подпишу эту поэму — а Вам предоставляю судить, что лучше: бросить ее в огонь или издать. Но довольно о себе. Все «Я» да «Я» — вот репей, который так и цепляется ко мне. Никак не могу от него освободиться. Ваши добрые слова о моей эклоге⁴ были мне очень приятны, и вообще одобрение тех, кто ко мне расположен, служит мне главным

стимулом. Остальное — всего лишь обязанность. Я также был очень рад, что Вы¹ о нас думаете и строите для нас планы. Мы еще не можем вернуться домой. Бедняжка Мери все еще страшно подавлена⁵. А я не могу в таком состоянии подвергнуть ее встрече с Годвином. Я написал этому бессердечному человеку (первое письмо, написанное мною за целый год) о ее тяжких душевных муках и умолял, чтобы он в следующем своем письме постарался ее утешить. В этом следующем письме, присланном на ее имя вчера, он называет ее мужа (т. е. меня) «бессовестным и наглым», пытается убедить ее, что я обязался достать ему еще денег (после того, как уже дал ему 4700 фунтов) и требует, если она не хочет порвать с ним всякие отношения, чтобы она вынудила меня раздобыть ему денег. Он не в силах внушить ей, что я не то, что я есть, или поселить между нами хотя бы тень вражды, — но он терзает ее все больше. Я еще не показал ей его письмо, но придется. Я уже подумываю, не следует ли разоблачить этот ходячий напыщенный обман; ибо именно таков Годвин. Но по нашему обычаю (Вашему и моему) я согрешу скорее излишним долготерпением. Надеюсь, моя репутация не понесет из-за этого ущерба в глазах тех, кто знает нас обоих. Я приобрел горький опыт, заплатив за него 4700 фунтов. Лучше бы они достались Вам!

Как называется Ваша трагедия⁶? Каков ее сюжет? И кто те дураки, которые берут всякую чушь, а ее отвергают? Посылку, бумажники и портреты я еще не получил. Допросите о них Оллиера, я ничего от него не узнаю. По-прежнему ли он хорош с Вами? Ведь умы большинства жителей земли подобны луне, а, вернее, ветру, и если сегодня с ними обстоит так, это не значит, что то же будет и завтра. Если у Вас есть причины, по-Вашему основательные, для того, чтобы я обратился к другому книгопродавцу или не имел больше дела с этим, — так и скажите и соответственно поступайте. В противном случае я не склонен менять книгопродавца, хотя бы и нерадивого.

От Бесси и Марианны писем нет. Ничего не слышно и о вещах, о которых просила Мери. Это нехорошо с Вашей стороны, Марианна. Тем не менее, привет Вам и всем.

[Подпись отрезана]

По тому, что я написал о Годвине, Вы можете видеть, что я [часть листка оторвана] не показал это письмо Мери.

121

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Ливорно,
24 августа 1819

Дорогой Пикок!

Прежде всего должен сказать, что еще не получил одного из Ваших писем, адресованных в Неаполь, — в Италии это нелегко; но Ваше последнее письмо сообщает мне о Вас все, что я желал услышать.

Мое время проходит так: я просыпаюсь обычно в 7 часов, читаю в течение получаса, затем встаю и завтракаю. После завтрака *подымаюсь в свою башню* и читаю или пишу до двух. Затем мы обедаем — после обеда я читаю Данте вместе с Мери, немного болтаю, ем виноград и фиги, изредка гуляю, а в половине шестого иду к миссис Гисборн, которая занимается со мной испанским, почти до семи. Потом мы заходим за Мери и гуляем до ужина. Миссис Гисборн — довольно приятная и весьма образованная дама, *δημοκρατική* и *ἀθεή**, а насколько она *φιλανθρωπή*** — не знаю, ибо она не отличается восторженностью, совсем наоборот. Ее муж — маленький человек с тонкими губами, скошенным подбородком и огромным носом — удивительно нудное создание. Его нос порою имеет в себе нечто от Слокенберга¹. Он поражает воображение — это тот нос, который все звуки «г», издаваемые его обладателем, превращает в «к». Однажды увиденный, он никогда не забывается, и, чтобы простить его, требуется все наше христианское милосердие. У меня, как Вы знаете, нос маленький и вздернутый; у Хогга — большой, крючковатый, но сложите их вместе, возведите в квадрат, в куб — и Вы получите лишь слабое представление о носе, о котором идет речь.

Я всей душой хотел бы жить вблизи Лондона. Ричмонд — это чересчур далеко, а все ближайшие места на Темзе не годятся для меня из-за сырости, не говоря о том, что не слишком мне нравятся. Я склоняюсь к Хэмпстеду, но, может быть, решусь на нечто более подходящее. Что такое горы, деревья, луга или даже вечно прекрасное небо и закаты Хэмпстеда по сравнению с друзьями? Радость общения с людьми в той или иной форме — это альфа и омега существования.

Все, что я вижу в Италии, — а из окна моей башни мне видны величественные вершины Апеннин, полукругом замыкающие долину, — все это улетучивается из моей памяти, как дым, стоит вспомнить какой-нибудь знакомый вид, сам по себе незначительный, но озаренный волшебным светом старых воспоминаний. Как дорого становится нам все, чем мы в прошлом пренебрегали! Призраки прежних привязанностей являются нам в отместку за то, что мы отвернулись от них, предоставив забвению.

* Демократка и атеистка (греч.).

** Человеколюбива (греч.).

Вы не пишете, видите ли Вы с семьей Бойнвил: не попали они и в список *conviti* * на ежемесячный симпозиум². Я буду присутствовать на нем мысленно.

Одно мне любопытно — и если письма из Неаполя до меня не дойдут, скажите мне, — что именно Вы делаете в Индия-хаус? Хант пишет, что Вам дали там *должность*, Хогг — что *должность эта почетна*, Годвин пишет Мери, что Вы получаете *столько-то*, — но ни слова о том, что Вы там *делаете*. Черт бы побрал эти общие выражения; мало того, что они изгнали из мира всю поэзию, теперь они ополчились и на собственных союзников, точнее, родителей — на сухие факты. Не будь наш век веком общих мест, кто-нибудь наверняка сообщил бы мне, что Вы *делаете*.

В последние три недели мне гораздо лучше — работа над «Ченчи», которую я окончил за два месяца, сводила на нет действие всех лекарств от нервов и поддерживала боль в боку, как хворост питает костер. С тех пор мне стало лучше. Я слишком мало гуляю. Клер, которая меня иной раз сопровождает, не всегда одевается достаточно быстро. У меня нет стимула для прогулок. Теперь я иногда хожу в город по делам, и это мне полезно.

Судя по некоторым парижским газетам, положение в Англии очень тревожное. Подозреваю, что они несколько преувеличивают, но, когда я слышу, что там поговаривают о платежах золотом и даже принимают к этому меры, признавая, что амортизационный капитал — это просто мошенничество и т. п., — я уже не удивляюсь. Но надо, чтобы перемены шли сверху, иначе после вспышки анархии нас ожидает деспотия. Я жду и трепещу. *Вы-то* в безопасности в Вашей Ост-Индской Компании. Никакие перемены не могут Вас коснуться.

Читаю Кальдерона³ по-испански. Этот Кальдерон — своего рода Шекспир, и я подумываю, за неимением лучшего, перевести кое-что из его пьес, а также из греческих. Но голова моя вообще полна самых разнообразных планов.

«Экзаминер» получаю. Хант в качестве политического публициста нравится мне все больше. — Прощайте. Мери и Клер шлют лучшие пожелания.

Ваш самый верный друг

П. Б. Шелли

[P. S.] Пожалуйста, пришлите мне несколько книг, а Клер будет очень благодарна, если пришлете ей *ноты*.

* Приглашенных (итал.).

122

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Ливорно,
6 сентября 1819

Дорогой сэръ!

Вашу посылку с портретом Ханта я получил недели две назад, а письма за № 1, 2 и 3 — вчера; но № 4 я не получал, оно, вероятно, затерялось вследствие крайней небрежности итальянской почты.

Неблагоприятные вести о моих поэтических опытах достаточно объясняют Ваше молчание, но, по правде сказать, я пишу более для себя, чем для читателей. Поскольку посылка будет идти, может быть, еще год, я прошу, если это письмо будет получено Вами вовремя, послать мне статью из «Куотерли»¹ почтой, а остальное — в посылке. Мне, конечно, приятно, когда мои сочинения кому-нибудь нравятся, но *любопытство* возбуждают только враждебные суждения. Мой «Прометей» уже совсем закончен; сейчас его переписывают и скоро будет Вам послан для издания. По моему мнению, это — лучшее из всего, что я до сих пор пытался сделать; и, пожалуй, наименее подражательное. Я пришло Вам еще одно сочинение², рассчитанное на широкую публику и совершенно отличное от всех других моих вещей. Оно будет прислано уже напечатанным. «Прометей» я прошу Вас отпечатать как обычно.

Миссис Шелли, в ответ на Ваши дружеские советы, просит передать Вам, что не намерена соглашаться на прежние условия Лекингтонов³; но, если они примут ее условия, ей будет неловко с ними расстаться; если бы Вы были ее издателем, она проявила бы точно такую же деликатность. Нечего и говорить, что если Лекингтоны окажутся несговорчивы, она послушается меня и предложит свою книгу⁴ Вам.

Я вижу, что в «Розалинду и Елену» вкратились опечатки, тем более досадные, что это — опечатки смысловые. Если нам *грозит* 2-е издание, я их исправлю.

Я прочел Ваш «Олтам», поэму Китса и сочинения Лэма⁵. Что касается второй, то прочтение ее я вменяю себе в немалую заслугу, ибо автор, как видно, ставил себе целью, чтобы никто не мог дочитать ее до конца. Однако там много проблесков высочайшей поэзии; и все, что написано, мог написать только поэт. Если бы он издал страниц 50 отрывков, я восхищался бы Китсом как поэтом более, чем следует; сейчас этой опасности нет. — В «Олтаме» Вы меня удивили и восхитили. Это — простая повесть, рассказанная без всякой эффектации, и к тому же чистым и энергичным английским языком, что весьма редко. Вы, как видно, недаром изучали наш язык; но мне, вероятно, следовало дожидаться «Инезили»⁶.

В тот же день, что и Ваше письмо, я получил весть о событиях в Манчестере⁷, и негодование еще кипит во мне. Я с нетерпением жду, как страна ответит на кровавые убийства, совершенные угнетателями. «Нет, нужно что-то сделать; что — не знаю.»⁸

В посылке (которую я прошу послать понадежнее, по всем правилам, переслав мне накладную, чтобы она дошла за 6 недель, а не за 12 месяцев) прошу прислать «Греческую грамматику» Джонса⁹ и немного сургуча.

Экземпляры каждой из моих книг прошу посылать следующим лицам:

Мистеру Ханту
 Годвину
 Хоггу
 Пикоку
 Китсу

Томасу Муру
 Хор[ейсу] Смиту
 Лорду Байрону (в адрес издателя Меррея).

Преданный Вам и благодарный
 Перси Б. Шелли

Получение всего мной посылаемого прошу Вас подтверждать.

123

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Ливорно,
 9 сентября 1819

Дорогой Пикок!

Посылаю Вам трагедию¹ на адрес Стэмфорд-стрит, так как боюсь, что Вам неудобно получать на Индиа-хаус столь объемистые пакеты. Вы увидите, что я трактовал сюжет иначе, нежели Вы предлагали, и поймете, почему он не поддается иной трактовке. Дело в том, что, когда я получил Ваше письмо, пьеса уже печаталась, и она написана так, что против ее сюжета не может возникнуть возражений. Как Вам известно, на чопорной французской сцене представляют «Эдипа»² — пьесу, гораздо более нескромную, чем моя. Признаюсь, я питаю некоторые надежды, и кое-кто из здешних друзей уверяет меня, что для этого есть основания.

Очень благодарен Вам за газеты, содержащие важные и страшные вести из Манчестера. Это словно отдаленный гром надвигающейся ужасной грозы. Как и перед французской революцией, наши тираны пролили кровь первыми. Пусть только их омерзительные уроки не будут усвоены с такой же готовностью! Я по-прежнему думаю, что дело не дойдет до схватки, пока финансовое положение не столкнет лицом к лицу угнетателей с угнетенными. Прошу Вас сообщать мне самые свежие политические новости, какие покажутся Вам важными в это тревожное время.

Неизменно преданный Вам

П. Б. Ш.

Письмо я посылаю на Индиа-хаус, а трагедию — на Стэмфорд-стрит.

124

ЛИ ХАНТУ

Ливорно,
понедельник, 27 сентября 1819

Дорогой друг!

Мы собираемся уехать отсюда во Флоренцию, где сняли хорошую квартиру на полгода, т. е. до 1 апреля — до того времени, когда из земли появляются новые цветы, а в голове — новые мысли. Куда мы поедем потом — еще не решено. Я не видел Флоренцию, не считая внешнего вида ее улиц; но, судя по ее физиономии, это — город многих прекрасных качеств, хотя от республики там осталась всего лишь тень. Хотелось бы, чтобы весною мы встретили там Вас; мы попытались бы сформировать *lieta brigata* *, которая, оставив позади чуму, — т. е. память о пережитых бедах, — заново разыграла бы все удовольствия боккаччиевых рассказчиков¹. Я недавно читал этого божественного писателя. Он — поэт в высоком смысле слова, и слог его обладает ритмом и гармонией стиха. Разумеется, я не приравниваю его к Данте или Петрарке, но ставлю намного выше Тассо и Ариосто — детей позднейшего, более холодного века. Первых трех я считаю порождением цветущего и здорового детства новой нации; струями того же источника, который питал величие республик Флоренции и Пизы, ослабляя влияние германских императоров; из которого более скрытыми путями Рафаэль и Микеланджело извлекали свет и гармонию своих вдохновенных творений. Когда писали второстепенные поэты Италии, тлетворный дух тирании успел поразить каждый расцветающий гений. Силы, простоты и цельности замысла уже не было. Тщетно станем мы искать даже в лучших строках Ариосто и Тассо что-либо приближающееся к стихам Петрарки и Данте. Как восхищает меня Боккаччо! Как хороши описания природы в его маленьких вступлениях к каждому дню! Это — утро жизни, с которого сорвана пелена привычного, делающая его таким тусклым. Мне кажется, Боккаччо обладал глубоким пониманием идеала жизни и общественных отношений. Его взгляды на любовь, там, где он трактует ее серьезно, в особенности близки моим. Часто он говорит в легком тоне, но тоже вещи, имеющие серьезный и прекрасный смысл. Это нравственный казуист, противоположность христианской, стоической и филистерской морали. Помните одно его краткое замечание, вернее афоризм, который хорошо противопоставить ограниченному ходячему пониманию любви: «*Vossa bacciata non perde ventura; anzi riprova, come fa la luna*» **. Если покажете это Марианне, передайте ей мой привет и скажите, что я не имею в виду $\times \times \times \times \times$ — !! ? () ?

Мери в конце октября должна родить, и одна из причин нашего переезда во Флоренцию — это желание обеспечить ей помощь мистера Белла,

* Веселую компанию (итал.).

** Уста от поцелуя не умаляются, а, как месяц, обновляются (итал.)²,

знаменитого шотландского хирурга, который как раз там будет. Я побоялся бы доверить ее даже лучшему из итальянских врачей. Рождение ребенка, возможно, рассеет до некоторой степени ее меланхолию.

Я с большим удовольствием познакомлюсь с мистером Ллойдом³. Когда я жил в Кемберленде, я попросил Саути одолжить у него том Беркли⁴ и, помнится, видел там карандашные пометы, которые показались мне очень острыми. Одна в особенности поразила меня как выражение принципа, который я разделял задолго до того и на котором в большой степени основаны мои взгляды на происхождение Вселенной. «Дух не способен создавать, он только воспринимает». Спросите его, помнит ли он, что написал это. Мое мнение о Лэме⁵ Вам известно. Вы — свидетель того, как я сожалел, что клевета врага лишила меня его общества в бытность мою в Англии. — Оллиер сообщает, что «Куотерли» готовит на меня рецензию; лакомый, должно быть, кусочек; так как я приобрел вкус к смешному и комическому, мне будет любопытно прочесть. «Освобожденного Прометея» я послал Пикоку — если попросите у него, он Вам покажет, — думаю, что Вам понравится.

Пока я ездил во Флоренцию, Мери к Вам написала, но я не видел ее письма.

Ну, прощайте. В следующий понедельник напишу Вам из Флоренции. Привет всем.

Ваш любящий друг

П. Б. Ш.

Вы, должно быть, скоро увидите мистера Гисборна. Кажется, я уже писал Вам о нем.

125

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Флоренция,
15 октября 1819

Дорогой сэр!

Потешные рассуждения «Куотерли» и великодушное заступничество Ханга¹ дошли до меня аккуратно, как обычно доходит подобный яд, и аккуратнонее, чем обычно доходит противоядие.

Я намерен прислать Вам 250 экземпляров сочинения², отпечатанного мной в Италии; Вам придется заплатить за него четыре или пять фунтов пошлины; отнесите их на мой счет. Хант объяснит Вам, что это такое, а я в течение зимы пришлю инструкции касательно издания; до получения их прошу не открывать ящик, а если непременно придется открыть, то не разглядывайте сами и не давайте другим разглядывать его содержимое. Полагаюсь на Вас, ибо это важно. А пока спешу заверить Вас, что там нет ничего, что прямо или косвенно касалось бы политики, религии или

сатиры на определенных лиц, и что это чисто литературная предосторожность.

Одновременно Вам будет доставлена в рукописи поэма «Прометей», написанная в лучшей моей манере, хоть это, быть может, и далеко от совершенства; ее Вы можете напечатать и издать в этом сезоне. Это — мое лучшее произведение.

Рецензию, о которой идет речь, написал Саути³, я это отлично знаю. Заметьте, с какой наглостью он говорит о себе. Единственное, что заслуживает внимания, это — его утверждение, будто я подражаю Вордсворту. Можно с тем же успехом сказать, что лорд Байрон подражает Вордсворту или что тот подражает лорду Байрону, ибо оба они — великие поэты и оба извлекают из новых источников мыслей и чувств, которые открылись взорам благодаря великим событиям нашей эпохи, сходные образы и средства выражения. Все лучшие писатели одной эпохи неизбежно отмечены некоторыми чертами сходства, ибо дух времени отражается во всех. Это я объяснил в предисловии, но у рецензента не хватило добросовестности на него сослаться. Что касается прочей чепухи, в особенности неуклюжих и злобных нападок на мою личность, которые меня совершенно не трогают, — то это все пустяки. А что до той части, которая содержит намеки на Ханта, то я рад, что именно сейчас, как Вы увидите, посвятил этому превосходному человеку произведение⁴, имеющее все шансы на популярность. Позабавило меня и заключение; оно похоже на финал первого акта оперы, когда в оркестре звучит оглушительная согласная разноголосица, и все разом говорят и поют. Там описывается исход моего сражения с их всемогущим богом; он увлекает меня под воду за волосы, как фараона; я кричу, как дьявол, который гибнет, но не сдается, проклинаю и ругаюсь всеми смешными и страшными ругательствами, точно французский фореитор на Мон-Сени; убеждаю всех, чтобы они тоже шли ко дну, уверяю, что сам я не думаю тонуть, между тем как *уже* утонул, и, наконец, *действительно* тону. Вы окажете мне особую любезность, если зайдете к Ханту и спросите, когда был отправлен мой пакет, с каким кораблем, как фамилия капитана и есть ли у него накладная, а если есть, то прошу прислать ее, вместе с остальными сведениями, обратной почтой, по адресу: Флоренция, почтамт.

Искренне Ваш

П. Б. Шелли

126

РЕДАКТОРУ «ЭКЗАМИНЕРА» [ЛИ ХАНТУ]

Флоренция,
3 ноября 1819

Дорогой друг!

Суд над Карлайлом¹ преисполнил меня негодованием, которого я не стану и не должен скрывать.

Во имя всех наших надежд на человека, что делает английский народ? Вернее, долго ли еще будет он и те, кто по долгу рождения обязан им управлять, допускать чудовищные беззакония, жертвами которых они становятся сегодня, а завтра — орудиями? Каждая почта приносит известия о новых ужасах. То мы слышим о разъяренных владельцах мануфактур, которые, несмотря на увещевания регулярных войск, кидаются с саблями на толпу своих голодающих рабочих и истребляют их без различия пола и возраста, отрезают груди женщинам и разбивают о камни головы младенцам. То приходит весть, что человек обвинен в непонятном преступлении, которое его обвинители называют богохульством, состоявшем, между прочим, в том, что он отрицал, будто убийство детей и насилдование женщин совершалось по прямому велению Творца всего сущего. Так мы одновременно видим, с одной стороны, людей, якобы уполномоченных на это обществом, которые топчут и убивают безоружную толпу, не различая пола и возраста, а с другой — суд, карающий человека за утверждение, что подобные деяния, совершенные в отдаленную эпоху и в иной стране, не совершались по божьему велению. За что же, как не за это, судят мистера Карлайла? За отрицание божественного происхождения всех памятников древнееврейской литературы.

Его отрицаю и я. Надеюсь, что это не богохульство и что наши политические противники не повлекут меня на родину, чтобы принести в жертву фанатичной ярости правящей клики. Впрочем, я готов выполнить свой долг с любыми вытекающими из него последствиями.

Говорят, что вина мистера Карлайла установлена судом присяжных. В делах о клевете присяжные зачастую подбираются незаконно и пристрастно, и, когда это можно доказать, обвиняемый имеет право на новое разбирательство. Это соображение, настолько простое, что его могли упустить из виду именно вследствие его очевидности, только что представилось мне, и мне кажется несомненным, что именно таким, незаконным и пристрастным, был подбор присяжных, вынесших обвинительный приговор мистеру Карлайлу, и что он имеет право на новое разбирательство.

Одним из прав англичанина является суд присяжных, притом присяжных, равных ему. Кого же считать равным человеку и каков юридический смысл этого слова? Попробуем проверить букву закона его духом. Знатный должен быть судим равными себе, дворянин, негоциант,

фермер — тоже; словом, равные человеку — это люди того же класса, положения, вероисповедания, что и он.

Смысл этой статьи закона состоит в том, чтобы лица, которым поручается установить вину или невиновность обвиняемого, были, вследствие общности интересов, привычек и взглядов, способны живо ему сочувствовать и не допустили в отношении его несправедливости по небрежности или неприязни, а также могли правильно понять суть дела и разобратся в нем. На этом основании в присяжные не берут мясников и хирургов, ибо закон полагает, что их занятия чужды той бережности к человеческой жизни и страданию, какая требуется от людей, которые своим решением могут его причинить. Исходя из того же принципа, всякий раз, когда обвиняемый оказывается иностранцем, присяжные подбираются наполовину из англичан, а наполовину из иностранцев. Причина, отчего не целиком из иностранцев, ясна; теоретически наиболее справедливо, чтобы спор обвиняемого со страной решали только его равные; однако на практике неосведомленность иностранцев в превосходных особенностях английских законов свела бы на нет их преимущества; при строгом соблюдении видимости правосудия исчезла бы его сущность. Таков закон и дух закона о присяжных; и именно так он издавна и постоянно осуществляется в практике английских судов.

Кто были равные мистеру Карлайлу? Мистер Карлайл — деист, обвиненный в богохульстве против религии тех, кто называет себя христианами. Кто же на деле равен ему? Христиане? Отнюдь нет. Это опровергается самой формулировкой обвинения. Это означает, что присяжные выбираются из числа обвинителей; что оскорбленные судят того, кто, по их заявлению, оскорбил их; менее нелепым было бы предоставить ближайшим родственникам убитого судить человека, подозреваемого в этом убийстве. Ни один честный христианин не согласился бы войти в такой состав присяжных, если не проникся всецело той терпимостью, какую проповедовал предполагаемый основатель его религии; а это, как мы знаем по собственному опыту, отличает только людей необыкновенных. Он сам должен знать, что неспособен быть беспристрастным. Перед ним — враг его бога, уже обреченный мукам ада и сокрушающий всех вокруг своими коварными софизмами. Слушая защитительную речь обвиняемого, он, вероятно, и сам начинает колебаться в вере, а это, естественно, удваивает его негодование. Как может такой человек считаться равным обвиняемого, если под этим разумеется тот, кто вследствие общности обычаев и интересов может взглянуть на дело беспристрастно? Он принадлежит к той же секте, что и обвинитель, объявивший подсудимого злобным богохульником. Он менее равен ему в подобном деле, чем землешаец — вельможе; скорее этот не вынесет несправедливого решения из зависти к высокому рангу, чем христианин — из ненависти к религиозным взглядам обвиняемого. Христианин может быть равным деисту в любом деле, кроме обвинения в оскорбле-

нии религиозных чувств христианина (ибо богохульство означает именно это, если вообще что-нибудь означает); потому что тогда у них могут оказаться те общие интересы и чувства, благодаря которым один человек способен быть справедливым к другому; но в данном деле он не может быть ему равным, будучи одним из тех, кого обвиняемый якобы оскорбил; ибо то, что он считает для себя наиболее важным, вынудит его судить обвиняемого слишком сурово и быть на суде скорее пострадавшим, обвинителем и судьей, чем беспристрастным присяжным.

Таким образом, ни практика судопроизводства, ни закон, на который, по утверждению юристов, эта практика опирается, ни человеческий разум, являющийся основой не только для закона, но и для любого человеческого общества, не допускают, чтобы христианин считался равным деисту в тех случаях, когда деист обвиняется в оскорблении религиозных воззрений христианина. Предположим, что деист подает в суд на христианина за поношение его убеждений; как бы отнесся британский суд к требованию, чтобы присяжные состояли не из христиан, но из деистов, и как принял бы он возражения обвинителя против того или иного из присяжных по подозрению, что он считает библию божественным откровением? А между тем утверждают, будто христианство, иначе говоря, учение, основанное на принципе: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой»² — будто это учение входит составной частью в законы нашей страны.

Кого же можно счесть равным деисту? Боюсь, что мы должны признать существование закона против *богохульства*. Будем надеяться, что какой-нибудь законодательный акт скоро вычеркнет этот позор из анналов нашего времени. А покуда существует закон, осуждающий за так называемое богохульство. Но кому быть судьями при этом? Ни богохульнику, ни, тем более, тому, кого он хулит, или лицам, оскорбленным и разгневанным его богохульством. Судить должны равные обвиняемого? Кто же они — равные деистам? — Разумеется, деисты. «Нет, — возразит христианин, — они его наверняка оправдают». А христианин его осудит, справедливо или нет. Что же, пусть тогда решение, как и в примере с иностранцами, будет компромиссом между теоретической справедливостью и конкретными требованиями дела. Пусть половина присяжных будут деистами, а половина христианами. Пусть, как и для иностранцев, судимых за особо тяжкие преступления, присяжные состоят наполовину из людей, имеющих с ним общие интересы и чувства, а наполовину из лиц, чуждых этим интересам. Все иное является открытым издевательством, отрицанием правосудия. «Но, — скажет христианин, — не будете же вы настаивать на том, чтобы убийцу судили убийцы, на том основании, что только они являются его равными, потому что только они имеют с ним одинаковые интересы и чувства. — Зачем же делать деистов присяжными при суде над деистом?» — Мой ответ дерзкому фанатику будет прост. Деизм, согласно английским законам, не

является преступлением, как и секта Сэндмена или унитарянство³. В обвинении значится не деизм, а богохульство. Он обвиняется в произнесении выражений, оскорбительных для известного вероисповедания, а не в заявлении о своем непризнании этого исповедания. Простое неверие законно. Настолько законно, что, если человека публично спросят, верит ли он в божественное происхождение Библии, а он ответит: «Глубоко убежден, что нет», — это признание не навлечет на него по закону никакой кары.

Могут возразить, что деиста нельзя привести к положенной присяге, он не может поцеловать Библию. Он не верит, что она ниспослана свыше и, разумеется, не может видеть в ней слово и воплощение божье. Но этого не может и мусульманин, и индус, и китаец, однако каждого из них приводят к присяге согласно их исповеданию, и мы еще не слышали, чтобы показания кого-либо из них были отвергнуты британским судом на религиозных основаниях. Допустим, что вместо правоверного мусульманина будет вахавей⁴. Или североамериканский индеец, или таитянин, или тупинамбо⁵, готтентот. Иные из них — деисты, иные — политеисты, а иные имеют лишь смутные понятия о сверхъестественном в природе, которые едва ли можно считать за религию. Неужели показания разумного и мыслящего человека, способного давать их беспристрастно, будут отвергнуты из-за того, что он не может указать книгу, где были бы записаны его взгляды на происхождение мира и управление им? Разумеется, нет. Его призовут торжественно заявить, что он будет говорить правду, и объявить, в какую высшую силу он верит; ему напомнят о суровой каре и позоре, полагающихся за лжесвидетельство, и показания его будут выслушаны. А унитариец⁶? Тот открыто отрицает божественность Христа или, точнее, если я верно понимаю его догматы, полагает, что каждый великий учитель нравственности вдохновлен свыше в меру ценности его учения и что Иисус Христос был учителем, особо выдающимся. Он считает целые страницы Библии позднейшими вставками и подделками. Книгой Иова и Соломоновой «Песнью» он восхищается так же, как Эсхилом или Анакреоном, и считает эти образцы поэтического вдохновения всего лишь земными творениями гениев. Но едва ли можно думать, что сэр Сэмюэль Ромилли⁷, открыто исповедующий унитарянство, был бы отстранен от обязанности присяжного, раз он не был лишен за это места в парламенте. Что мистер Вильям Смит или мистер Джонс или мистер Белшем⁸ были бы отстранены — опять таки потому, что отрицают божественность Иисуса Христа. «Но они поцеловали бы Библию». Как! Не веря во все, что в ней утверждается, и во что верят те, кто предлагает им целовать ее; не веря в то, что она является божественным откровением? Да, они бы это сделали. Так же сделал бы и я. Более того, я берусь найти еще пятерых деистов, которые, не колеблясь, сделали бы то же самое. В этом нет обмана. Я никого не обманываю и не имею такого умысла. Сэр Сэмюэль Ромилли и мистер

Вильям Смит — это люди, не способные на преднамеренный публичный обман. Вслед за ними и мы можем считать целование Библии простою формой, вовсе не обязывающей соглашаться с содержанием всей книги или любой ее части. Отличие простой формы от рассчитанного обмана зависит в обществе от различия, которое неопытным людям трудно уловить. Это — чистая условность, подобно языку или одежде. Достаточно положиться на тех из наших известных современников, которые обладают как безупречной репутацией, так и наибольшим запасом наблюдений и опыта. Они, а вслед за ними я, считают эту церемонию чем-то подобным сниманию шляпы или уплате шиллинга или любой другой обычной формальности, издавна сопровождающей в Англии отправление правосудия. Присяга — это действительно нечто серьезное и святое, но суть здесь не в том, чтобы приложиться губами к некоему кожаному переплету, а в убеждении в святости истины, которого это действие отнюдь не укрепляет, и в наказании, полагающемся за ложь, которого это действие нисколько не усугубляет. Правда, показания квакера⁹ не признаются в уголовных делах, и для этого, на первый взгляд, есть некоторое основание. Он как бы протестует против юрисдикции суда, отказываясь выполнить формальность, которой подчиняется каждый гражданин Англии. И не просто отказывается, но, отказываясь, признает божественность Писания, которым он, тем не менее, не соглашается подтвердить правдивость своих слов. Это можно толковать как желание оставить себе лазейку. Она может быть использована теми, кто намерен лжесвидетельствовать и в то же время, чтобы избежать возмездия своего бога, не призывает его в свидетели этой намеренной лжи. Все это выглядит правдоподобно. Но Иисус Христос решительно запрещал придавать с помощью клятв какому-либо утверждению больший вес, чем другим. Это квакеру известно. Можно опровергнуть доводы, на основании которых суд не признает показаний квакера; сейчас можно удовлетвориться доказательством того, что доводы, лишаящие квакера его прав (ибо все гражданские обязанности являются правами) в качестве свидетеля и присяжного, неприменимы к деисту.

Вот почему я считаю, что мистер Карлайл имеет право требовать нового разбирательства; и не понимаю, почему Суд королевской скамьи¹⁰ отказывает ему в этом; если только не допустят, чтобы несколько недавних прецедентов — вызванных оплошностью, которая ныне исправлена, — опрокинули самые основы закона, ими же извращенного.

Один довод в защитительной речи мистера Карлайла следует особо подчеркнуть. Правосудие должно быть единым для всех. Нельзя вешать одного из двух убийц, а другого, совершившего такое же преступление и обличенного такими же уликами, оставлять на свободе. Из двух лжесвидетелей нельзя ставить одного к позорному столбу, а второго посылать с посольством. Так и не делают, ибо это — преступления реальные, а не условные. Но разве мистер Карлайл является единственным дей-

стом, а мистер Пейн — единственным дейстом среди писателей, что одного так сурово наказывают, а книги другого так яростно проклинают в особом постановлении? Разве не был дейстом Юм? Разве Гиббон, чьи сочинения обязательны для каждой библиотеки, не обличал христианство весьма тонкими аргументами, сделав его посмешищем и притчей во языцех? Разве сэр Вильям Драммонд, наиболее проникательный философ нашего времени, человек обширной учености, занимавший высокие государственные должности и имевший безупречную репутацию, не отвергал христианство так же открыто и смело, как мистер Пейн? Если мистер Годвин в своей «Политической справедливости» и в «Энкуайрере»¹¹ воздержался от развернутой критики его, то разве не относится он к нему как к устарелому суевию, недостойному внимания столь крупного авторитета в вопросах этики? Разве мистер Бердон¹², весьма богатый человек, не опубликовал книги под заглавием «Материал для размышлений», где прямо высказывает неверие в божественность Библии? Разве не дейст мистер Бентам?¹³ Кто из выдающихся людей, чей ум не развращен соблазнами житейских выгод, не является дейстом? Кто из наших известных писателей, — кроме получающих вознаграждение за проповедь религии, неотъемлемо связанной с источником этого вознаграждения, — не является дейстом? Даже среди тех, кто громче всех поносит и чернит других за отрицание христианства, кое-кто *известен мне как дейст*. Если б я считал возможным нарушить тайну частной беседы, пусть и с благой целью, как иные нарушали ее во зло, я мог бы назвать их имена. Те, кого я называл — ибо они объявляют себя дейстами открыто, — люди, выделяющиеся талантом, состоянием или высоким положением, оказывают своим примером и силой доводов большое влияние на поступки и взгляды своих современников. А кто такой мистер Карлайл? Очевидно, книгоиздатель со скромным достатком, который с невинным намерением заработать на содержание жены и детей воспользовался отменой законов, карающих за отрицание божественности Иисуса Христа, и издал несколько книг, опровергающих эту божественность и авторитеты, на которых она основана. Главное из этих сочинений — «Век Разума» прославленного Пейна — выбрано обвинителями неудачно, ибо, при всех возможных слабостях его доводов, оно написано большим и хорошим человеком при обстоятельствах, в каких всегда оказываются только большие и хорошие люди, а именно в тюрьме, в ежечасном ожидании смерти, грозившей ему за сопротивление тирану. Оно отличается той проникновенной искренностью — а это немало в наш век лицемеров, — с какой говорят на смертном одре.

Отчего не заклеить другие сочинения, более ученые и лучше систематизированные, чем этот труд Пейна? Отчего не заклеить те, что были написаны не в одиночном заключении, без доступа к справочникам, а в удобных, хорошо подобранных библиотеках и более обдуманно? Отчего не осудить мистера Бентама или сэра Вильяма Драммонда?

Зачем понадобилось губить бедствующего издателя и предавать анафеме книгу, которая, быть может, достаточно хороша для своей цели, но неизбежно несовершенна по самим обстоятельствам своего создания? Конечно, если бы среди борцов за свободу тираны обнаружили человека выдающегося таланта и высокого положения, против которого, из-за особого стечения обстоятельств, удалось бы возбудить суеверную толпу, они раздавили бы его с наслаждением, особенно если бы можно было совершить это тайно. Тираны, в сущности, — всего лишь вид демагогов; им надо льстить многоголовому Зверю. Но нападки на кого-либо из действ-аристократов* сулят большую вероятность поражения и мало шансов на успех. Обвинителям нет дела до религии, а если есть, то только потому, что она служит маской и покровом, помогающим облечь их властью. Предавая суду Карлайла, они использовали религиозные предрассудки для удара по политическому противнику; вернее, в его лице они бьют по всем своим политическим противникам. Они знают, что господствующая церковь зиждется на вере в некоторые сверхъестественные явления, имевшие место в Иудее восемнадцать столетий назад; что, не будь этой веры, фермер отказался бы отдавать десятую долю плодов своего труда на содержание в праздности ее служителей; а если их не содержать в праздности, им придется заняться чем-то другим, вместо того, чтобы отвлекать народ от борьбы за реформу деспотического правления; и тогда реформа эта будет осуществлена, и народ станет получать за свой труд справедливое вознаграждение, — а это несовместимо с роскошной праздностью, в которой хотят жить правители. Экономия — сокращение трат — роспуск постоянной армии — постепенное погашение национального долга какими-либо справедливыми, но быстрыми и эффективными мерами, — и такая реформа представительных органов, которая, допустив народ к участию в управлении, предотвратила бы зло, оставляющее нам ныне только выбор между деспотизмом и революцией, — вот против чего бессознательно выступили присяжные, когда из религиозной нетерпимости признали мистера Карлайла виновным.

Как подобный приговор мог быть вынесен людьми, давшими присягу, сколько бы ни возмущалось их религиозное чувство взглядами обвиняемого, должно удивлять всякого здравомыслящего человека независимо от его философских воззрений. Приговор обвиняет Карлайла не просто в кощунственной клевете, но в клевете *злостной* и *предумышленной*. Пусть они считают себя компетентными по части *кощунства*, ибо это — слово их собственного изобретения, и они вольны придавать ему любой смысл. А *злостный* и *предумышленный* — это общепонятные английские слова, означающие намерение причинить зло. Однако не может

* Слово это не употреблено в каком-либо неодобрительном смысле, и вообще слово «аристократия» не допускает отрицательного значения. Для обозначения тиранической власти немногих есть слово «олигархия».

быть *злостным* отрицание истинности чего-либо, даже если истинность эта настолько же очевидна, насколько сомнительна истинность событий, отрицавшихся м-ром Карлайлом. Утверждение, что черное — бело, есть признак безумия, но не злого умысла. Слово «*предумышленный*» — юридический синоним «злостного» — также неприменимо к вере или неверию в тот или иной факт или догмат; неприложимо оно и к публичному оглашению своего мнения, если нельзя доказать, что, оглашая его, обвиняемый имел намерение причинить кому-либо зло. Что касается публики, то наука о человеческом сердце установила, что каждый считает собственные верования самыми истинными, а распространение их вернее всего способствующим счастью человечества. Присяжные могли бы судить об этом по собственному негодованию, вызванному столь смелым оспариванием их веры. Таким образом, отсутствие малейших доказательств *злостных* и *предумышленных* действий мистера Карлайла заставляет считать, что намерения его были невинны. Если для присяжных эти два слова были всего лишь словами и единственным обвинением было кощунство, то они поступили против совести. Они отбросили единственные слова обвинения, имеющие общепонятный смысл, и осудили своего религиозного противника на основании слова, с которым невозможно связать какое-либо точное понятие. Усомниться, что они так или иначе считали действия мистера Карлайла *злостными* и *предумышленными*, значило бы клеветать на них; но присяга — дело святое, и нарушивший ее, оглядываясь назад, будет сокрушаться о своем проступке. Я слышал об одном присяжном, который вынес обвинительный приговор лицу, обвинявшемуся в *злостной* и *предумышленной* клевете, а затем, в знак раскаяния, послал осужденному тысячу фунтов. Эта сумма, не из гнева или презрения, но из самых великодушных чувств, была решительно отвергнута. Как жестоки были, должно быть, угрызения совести у этого присяжного! Как глубоко и искренне его тщетное раскаяние!

«Однако некоторые из книг, за издание которых мистер Карлайл был привлечен к ответственности, были, видимо, достаточно неумеренными». Так оно действительно представляется, судя по цитатам из них, напечатанным в газетах, — где один из авторов объединял Моисея, Магомета и Иисуса Христа, обнаружив столько же разборчивости, сколько тот, кто вздумал бы соединить имена лорда Каслри, Бонапарта и мистера Оуэна¹⁴ из Ланарка. Нельзя сказать, чтобы в науках нравственных он оказался Линнеем¹⁵. «Речь мистера Карлайла в свою защиту так же была далека от высокого и полного достоинства красноречия Сократа в его Апологии, как ее приводит Платон»¹⁶. Конечно. А всегда ли и христиане бывают умеренны и сдержанны, и следует ли карать их, если, выступая против неверующих, они переходят границу той умеренности и нелицеприятности в споре, которыми наделяет человека только глубокий и широкий взгляд на все проявления человеческой природы и великодушная кротость, свойственные высокому нравственному и интеллек-

туальному уровню? Ведь тогда Ньюгейт¹⁷ был бы полон епископами, священниками и диаконами! Кто из них, кроме епископа Норичского¹⁸, остался бы на свободе? Мистер Ривингтон¹⁹ был бы беднее, чем сейчас мистер Карлайл. В недавнем номере «Куотерли ревью» я видел статью против Сократа²⁰, которая тем более меня огорчила, что, кажется, принадлежит перу выдающегося ученого. Часть «Наблюдателя» Кемберленда²¹ посвящена той же цели: опорочить славного философа; воспользовавшись изменениями, происшедшими в некоторых условных понятиях нравственности, в нарушении которых его обвиняют, — и я готов доказать, что ложно. Я считаю его творцом некоторых из высочайших этических принципов; для науки общественного поведения людей он был тем же, чем Бэкон — для систематизации наук естественных и философии, Я считаю, что его личность, больше чьей-либо другой, была величавым и простым образцом всего, что мы считаем великим и прекрасным в человеке. Я полагаю, что многие из общепринятых моральных правил, которые под именем христианства смягчили нравы Европы в новое время, были почерпнуты из глубокого и полноводного источника его философии. Это для меня — нечто подобное религии; но каким зловным глупцом я выглядел бы, если бы стал обходить кабинеты ученых эллинистов Лондона и Кембриджа, побуждая их схватить автора статьи о греческой философии и заключить его в темницу, вместо аргументов предлагая ему хлеб и воду, а затем издать яростное обличение его самого и его взглядов. Я испытываю сильный соблазн, если только позволит здоровье, избрать менее христианский метод и представить читателю ту же тему в совершенно ином свете — со всем уважением к Аристофану и его ученому переводчику.

В каждом случае нетерпимости к образу мыслей, какие за последние годы проявляли наши суды, было отрадно видеть, что низшие классы, которые в менее просвещенные времена всегда легче других становились орудием религиозного фанатизма, неизменно принимали сторону жертвы. Они справедливо заключали, что этот человек страдает за их дело. Дружба и общность рождаются у людей, когда есть общий враг, от которого страдают они все. Только общественному устройству, уродливому во всех отношениях, было суждено породить союз между темной и угнетенной массой и борцами за свободу мыслей. Так избыток зла порождает добро; порочное управление ввергло свои жертвы в такое глубокое и жалкое невежество, навлекло на них столько тяжелых бедствий, что низвело их даже ниже суеверий, донныне бывших пределом человеческого падения. Правители увидели свою ошибку и пытаются предотвратить ее последствия, учредив систему просвещения, построенную согласно их собственным догмам. Будем надеяться, что их хлопоты запоздали и что бедняки, которым предлагается такое просвещение, из чувства самосохранения отделят в этой мешанине питательные вещества от яда.

Свое письмо я начал под влиянием негодования при первом известии о событиях, которым оно посвящено. Я не предполагал написать более важное письмо, чем обычно, разве что хотел несколько более длинным посланием возместить те, которых не успел написать в последние понедельники. Однако по мере того, как я писал, мне представились такие стороны вопроса, которые побуждают меня обратиться к Вам через посредство журнала. Я считаю, что каждый, кого это волнует так глубоко, как меня, должен добиваться отмены подобных толкований (незаконных и чуждых духу закона), если убежден так же твердо, как я, что им суждено надолго стать позором для его страны и его поколения.

Остается еще один вопрос, быть может, наиболее важный, ибо он всецело зависит от нас. Мистера Карлайла надо защищать и оказать ему помощь. Поскольку мистер Карлайл, издавая книгу, содержащую некоторые принципы, которые он считал популярными, не имел иных мотивов, кроме похвального желания прокормить жену и детей, когда все другие источники честного заработка были, вероятно, исчерпаны или захвачены другими, он имеет право получить от своей страны возмещение всех потерь или ущерба, какие он мог понести, занимаясь своим законным ремеслом. Главной целью общественной жизни, ради которой мы приносим столько жертв, является защита каждого, кто действует в своих интересах, не вредя при этом чьим-либо другим. Если бы мистер Карлайл имел более высокие цели, само сознание их уже было бы ему высшей наградой. Я надеюсь, что в его пользу будет открыта подписка, как было сделано для мистера Хона²², и что недостойное правило, по которому награда достается одним лишь победителям, не восторжествует и не помешает одному получить в компенсацию за поражение, сопряженное с тюремным заключением и конфискацией имущества, по крайней мере столько же, сколько другой получил в награду за победу, не повлекшую за собой подобных страданий. Докажем тиранам, что все их попытки сломить свои жертвы нуждой и позором приводят к тому, что к этим жертвам немедленно обращаются симпатии честных людей и им обеспечено безбедное существование. Мне не надо просить Вас навестить его в заключении; Вас, которого лучшие люди страны посещали в тюрьме²³ из чувств уважения и восхищения, как теперь будут посещать мистера Карлайла из сострадания. Мне известно, как драгоценно Ваше время и как хрупко здоровье, и я сожалею, что по зимнему времени не могу сопровождать Вас при исполнении этого долга. Но главное — это успешная подписка. Я буду участвовать в ней насколько позволяют мои средства: надеюсь, что Вы сделаете то же и проведете подписку среди всех наших друзей. Пусть каждый даст хоть сколько-нибудь. Надо бы даже пустить подписку по пени, это — отличное выражение общественных чувств. Угнетатели льстят себя надеждой, что с помощью приговора Карлайлу они добились частичной победы и могут — ибо таково волшебство успеха, даже неправого — противопоста-

вить ее одобрению, которое Принц-Регент выразил, по их совету, чудовищным преступлениям в Манчестере²⁴. Пусть они убедятся в своем бессилии; и пусть те, кому прежде всего угрожает их ярость, те, кто идет в авангарде их противников, увидят в открытом и бесстрашном единении борцов за Свободу прибежище от всех бед, какие могут обрушиться на них гонители.

Мы живем в грозные времена, дорогой Хант. Решается вопрос — введут ли наши нынешние правители военную и судебную деспотию или же из бури гнева, которая сейчас грозит их смести, возникнет какая-то форма правления, более отвечающая подлинным и неизменным интересам всех людей. Мы твердо знаем, к какому стану примкнуть; и какие бы ни произошли революции, как бы угнетение ни меняло свое название, а названия ни теряли силу, — нашей партией будет партия свободы, партия угнетенных. Хотя Вам и кажется, будто в политической теории у нас с Вами много расхождений, я надеюсь доказать Вам, что они меньше, чем Вам представляются и что я всей душой сочувствую Вашей политической практике.

Продолжайте всеми силами Вашего просвещенного ума сопротивляться окружающим Вас тиранам и обманщикам. И, поскольку час схватки, видимо, близится, я предостерегаю Вас как от открытых фанатических врагов свободы и их наемников, так и от тех, кто якобы защищает наше дело, а сам оскверняет его, провозглашая законность убийств под благовидным, но гнусным предлогом возмездия и воздаяния.

[Подпись отрезана]

127

ДЖОНУ И МАРИИ ГИСБОРН

Флоренция,
6 ноября 1819

Дорогие друзья!

Только что закончил письмо на пяти листах о деле Карлайла¹ и с часу на час жду, что Мери родит. Полагаю, что это извиняет мое молчание.

Не буду писать Вам, как я намеревался, о Ваших доходах в качестве кредитора английского правительства², так как Вы, видимо, не распоряжаетесь Вашими вложениями единолично, а в таких случаях заблуждение обычно рассеивается только на опыте, после потерь. Если бы мне и удалось убедить Вас, Генри³, вероятно, не сумеет убедить своего дядюшку. Но в подкрепление сказанного позвольте мне обратить ваше внимание на последние события в Англии. Чтобы покрыть национальные расходы, а вернее, соблюсти видимость этого, введен налог в 3 000 000 фунтов. Первым следствием этого явилась растрата государственного дохода в размере 3 000 000 фунтов в год. Даже когда в стране

царит спокойствие и процветание, министр в подобных случаях должен снизить процент на национальный долг или увеличить сумму этого последнего, а это в конце концов приводит к еще большему снижению процента. Но страна близка к народному восстанию, и наименее непопулярные из числа знати видят необходимость возглавить движение, которое уже нельзя подавить. За признание этой необходимости (а такое признание надменные аристократы делают очень неохотно, поверьте) лорда Фицвильяма лишили должности губернатора⁴. Приказано создать дополнительную армию в 11 500 человек. Близится кровавое столкновение, и если министры победят, они несомненно снизят процент по национальному долгу; ибо никакая самая жестокая деспотия не сможет собрать достаточно налогов, чтобы его погасить. Если победит народ, держатель государственных бумаг тоже пострадает, так как невозможно предположить, что народ примирится с вечным существованием двух аристократий. Быть может, воспользуются коронными и церковными землями, и десятина будет ассигнована на частичную компенсацию держателей бумаг. Народ конфискует имущества своих политических противников. Но этого не хватит для погашения даже десятой части долга. Существующее правительство, при всей его гнусности, является самым надежным для держателя государственных ценных бумаг — он может говорить, что *на его век хватит*, зато, если не хватит, разорение будет более полным, чем в случае народной революции. Я слишком хорошо Вас знаю, чтобы считать способными на такого рода рассуждения. Я просто излагаю положение вещей.

Ваши доходы с 210 фунтов могут снизиться до 150, затем до 100, а там, с выпуском огромного количества бумаг на покрытие потребностей одной из враждующих партий, и еще более; или же весь капитал пропадет разом. Я не сомневаюсь, что министры давно уже решили создать правительство с абсолютной властью, а если нет, то теперь они запутались настолько, что будут вынуждены к этому инстинктом самосохранения, ибо если отступят, то погибнут. Но они не отступают, и мы стоим на пороге больших событий.

Передайте сердечный привет Генри. Надеюсь, что нехватка денег не задерживает его дела; я наверняка пришлю то, что ему нужно, через месяц после моего последнего письма. Его письмо из Пистойи я получил, и оно не вызывает у меня замечаний, кроме одного, весьма серьезного, — оно слишком коротко. Как обстоит с португальским языком — и с Феокритом?⁵ Я покинул благоуханные сады изящной словесности и пустился в путь по песчаной пустыне политики⁶; однако же, как Вы понимаете, не без надежды обрести какой-нибудь волшебный Эдем. Но скорее всего меня настигнет там один из песчаных самумов, которые постоянно проносятся по этой неисследованной пустыне со скоростью вихря и яростью хаоса. А тем временем в каком-нибудь счастливом оазисе Вы будете оплакивать мое исчезновение. Это называется — перекальдеронить са-

мого Мьюли. Здесь у нас часты грозы и дожди. Мне очень нравится Кашины, и я там часто прогуливаюсь в одиночестве, любуясь деревьями и водами Арно.

Я полон всевозможных литературных планов.

А пока остаюсь вашим преданным

П. Б. Ш.

128

ЛИ ХАНТУ

Флоренция,
13 ноября 1819

Дорогой друг!

Вчера утром Мери родила мне сына¹. Ее муки длились не более двух часов, а сейчас она чувствует себя настолько хорошо, что даже удивительно, зачем она в постели. Ребенок также здоров и начал брать грудь. Можете представить себе, какое это утешение для меня во всех моих горестях — прошедших, настоящих и будущих.

С тех пор, как я в последний раз писал Вам, произошли некоторые обстоятельства, о которых нет нужды распространяться в письме, поставившие меня в весьма стесненное положение. Врачи решительно запретили мне приезжать в Англию зимой, но весной я Вас, вероятно, навещу. Среди всех огорчений и неприятностей, какими встретит меня Англия, я с удовольствием жду свидания с оригиналом того серьезного и доброго лица, которое сейчас висит напротив кровати Мери². Это будет единственное, в чем Мери мне позавидует и что будет действительно завидного в моей поездке, — ибо я приеду один. Ради того, чтобы позвать Вам руку, ее стоит предпринять; все остальное — ничего не стоит.

В следующем письме я подробнее напишу о себе и своих занятиях.

Кланяйтесь от меня Марианне, Бесси и всем детям. Бедняжка Мери (наконец-то) начала понемногу утешаться. Как Вы можете себе представить, прошедшие пять месяцев были для нас ужасными³.

[*Последние слова и подпись отрезаны*]

[P. S.] Я ничего не получал от Вас в течение месяца.

129

ГЕНРИ РЕВЛИ

Флоренция,
17 ноября 1819

Дорогой Генри!

Ваше письмо было для меня крайне интересным¹, и я могу только благодарить Вас за то, что по моей просьбе и для моего удовольствия Вы заставили себя вернуться к давно оставленным занятиям. Удачная

отливка цилиндра — большое дело; пусть оно явится счастливым предзнаменованием и для дальнейшего. Я надеюсь через несколько дней переслать Вам деньги, необходимые для завершения работ. А пока нельзя разве употребить время на ту их часть, которая не требует расходов? Неужели из-за этого промедления Вы потеряете много времени и понесете убытки?

То, что Вы пишете об изменении формы судна, представляется мне как улучшение — впрочем, одно из многих. Мне не терпится взойти на борт и стать недостойным участником триумфа, который устроят Вам изумленные ливорнцы, когда судно вернется из поездки вокруг Мелории². Когда же, по Вашему мнению, оно сможет выйти в море?

Ваше пылкое описание рождения Цилиндра весьма характерно как для Вас, так и для него. Представляешь себе, что именно так радовался делу рук своих Бог, когда создавал землю, и гранитные горы и кремнистые мысы отлились в нужную форму, а их расплавленное сияние наполнило миллионы миль мирового пространства, точно хвост кометы. Итак, Бог созерцает вращение своей машины вокруг солнца и радуется на нее и берет патент на поставку того же изделия всем солнечным системам. — Ваша шхуна будет на земных океанах тем, чем Земля является в океане воздушном, — быстрым и удачливым путешественником.

Когда же мы увидим вас всех? Вас, я полагаю, не прежде, чем будет готово судно, а тогда — а может быть и раньше — мне самому, конечно, придется приехать в Ливорно. Наши планы на зиму еще не определились — мы склоняемся к тому, чтобы февраль и март провести в Пизе, где общение с Вами будет менее затруднительным и не только письменным. Чарлз (Клермонт)³ уехал от нас неделю назад, со всеми сетованиями, какие подобают в таких случаях верному влюбленному. Он должен составить для меня описание триестского парового судна, которое я перешлю Вам.

Миссис Шелли и мисс Клермонт, как Вы их торжественно величаете, возвращают Вам с процентами Ваши пожелания — платежи такой монетой не затрудняют Мери.

Любящий Вас

П. Б. Ш.

130

ТОМАСУ МЕДВИНУ

Дорогой Медвин!

Зима даже во Флоренции была, по здешнему климату, необычайно суровой, но я полагаю, что в Швейцарии Вы натерпелись достаточно, чтобы пожалеть, зачем не поехали куда-нибудь южнее. — Во всяком слу-

Флоренция,
17 января 1820

чае, я твердо надеюсь, что весною мы Вас увидим. На этот год мы останемся в Тоскане, и по ливорнскому адресу¹ Ваши письма всегда нас найдут.

Быть может, Вы принадлежите к племени во всем изверившихся, и ничто не поражает и не удивляет Вас в политике. У меня же осталось достаточно еще не разбитых надежд, чтобы ужасаться событиям в Англии. Однако я несколько утешаюсь мыслью, что притеснения, поощряя насилие, зачастую рождают отпор. Нынешние времена не располагают к Поэзии; хотя в воздухе чувствуется бодрящая свежесть, которая даже среди уныния оттачивает ум и будит воображение.

Вероятно, озеро² сейчас представляет собой ледяную равнину, а вокруг снежные горы в белых одеждах, резко отделяющихся от воздушно-розовых красок вечных ледников, — зрелище более грандиозное, но похожее на Южный полюс. Если здоровье позволяет Вам кататься на коньках, тогда эта равнина для Вас — сущий рай; весь белоснежный мир летит назад на Вашем пути. А вдруг наступила оттепель или Вы уехали, и тогда это письмо застанет Вас в совсем иной обстановке?

Поверьте мне, Италия — прекрасный край, в особенности Рим и Неаполь. Тоскана прелестна в течение восьми месяцев в году; но со здешней зимой я никак не могу примириться, тем более с адскими холодами, терзавшими мои нервы последние десять дней. В Неаполе все неприятности длятся не более трех недель. — Когда Вы сюда приедете, Вы должны поселиться у меня, и я поделюсь с Вами всем опытом, какой приобрел — по обычной рыночной цене — за полтора года пребывания в Италии.

Помнится, Вы когда-то очень хорошо писали красками и, если не ошибаюсь, питали склонность к *belle arti**. В таком случае Италия — самое подходящее для Вас место — рай изгнанников — прибежище отверженных, — но тут уж я имею в виду себя скорее, чем Вас.

Если Вы хотите повидать старого друга, который очень хочет повидать Вас, — если этим можно Вас соблазнить, — приезжайте в Италию.

[*Низ листа срезан; не хватает последних слов и подписи*]

131

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Пииза,
6 марта 1820

Дорогой сэр!

У меня нет сведений о получении Вами «Прометей» и «Ченчи»; считаю поэтому нужным написать Вам, как и когда их получить, если Вы их еще не получили.

* Изыщным искусствам (*итал.*).

Отдайте накладную, посланную Вам мистером Гисборном, какому-нибудь комиссионеру в Сити, который получает для Вас пакеты и платит пошлину за переплетенные книги. — Судно ушло в середине декабря и наверняка давно уже прибыло.

Должен сказать, что «Освобожденный Прометей» является моей любимой поэмой; поэтому я особо поручаю Вам обласкать его и побаловать хорошей печатью и хорошей бумагой. «Ченчи» предназначается широкой публике и должна бы иметь хороший сбыт. А «Прометей», судя по его достоинству, едва ли разойдется более чем в двадцати экземплярах. Я ничего не получаю ни от Ханта, ни от Вас, вообще ни от кого. Если благоволите мне написать, сообщите о Китсе.

Особо прошу посылать экземпляры всех моих сочинений, которые будут печататься, Хорейсу Смиуту.

Возможно, что летом Вы меня увидите, но в таком случае я к следующей зиме наверняка возвращусь в здешний «Рай Изгнанников»¹.

Если в каких-либо рецензиях будут меня ругать, прошу посылать вырезки. Если будут хвалить, можете не утруждаться. Мне было бы стыдно заслужить второе; а первое, смею думать, будет более чем заслуженной данью. Если же меня похвалит Хант, прошу прислать, ибо это совсем иное дело.

Преданный вам
Перси Б. Шелли

132

ЛИ ХАНТУ

Пииза,
5 апреля 1820

Дорогой друг!

Вы можете себе представить, как я был удивлен и опечален, узнав от Вас и от Бесси — которой я писал именно для того, чтобы узнать о Ваших денежных делах, — что Вы пережили все муки, описанные в Вашем письме. А когда я думаю, что начал для Вас то, чего не смог завершить, и, желая освободить Вас, оставил посреди нагромождения трудностей, которые были для Вас столь мучительны, — я принимаю все это очень близко к сердцу. Однако Ваше письмо убеждает меня, что теперь дела пойдут лучше, а тем временем я смогу с Вами увидеться.

Есть одно дело, в котором я, из-за своей финансовой бестолковости, прошу Вашей помощи. Кажется, в нынешнем году истекает срок счетов за мое и Ваше фортепиано¹. Вы, конечно, знаете, что я совершенно не способен использовать свое пребывание за границей, чтобы скрываться от справедливого долга, да еще такого долга. Но у меня нет денег на немедленную уплату. Не могли бы Вы попросить об отсрочке? Конечно, фортепианный мастер беспокоится об окончательной уплате, и я сделал бы

все, что он потребует, чтобы успокоить его на этот счет. Я готов также предоставить ему любую компенсацию за промедление, а если он не захочет ничего такого, я сделаю все, когда буду иметь возможность, чтобы он не оказался в убытке из-за своей терпеливости. Я уж не помню, как это дело было слажено, но, если не ошибаюсь, его устроил Новелло. Я ни за что не хотел бы уронить себя в глазах столь прекрасного и доброжелательного человека, как Новелло, и сочту за важную дружескую услугу, если Вы все это объясните и уладите за меня, не теряя времени.

Мы здесь живем так, что далеко не проживаем наших доходов, но у нас, к несчастью, есть много других серьезных обязательств, о которых я сообщу при случае. Однако если так пойдет и дальше, мы скоро встанем на ноги. У нас хорошая квартира на Арно, в верхнем этаже, и мы наконец почувствуем себя людьми, ибо всю эту суровую зиму прожили в тесноте, и я безмерно раздражался оттого, что не имел кабинета. Поэтому я ничего не делал вплоть до этого месяца, а сейчас мы начали наши обычные литературные занятия. Мы ни с кем не видимся, кроме одной ирландской дамы и ее мужа², которые здесь поселились. Она в высшей степени любезна и умна, он также очень приятен. Вы можете сказать, что мне суждено встречать или воображать в каждом городе, где я живу, какую-нибудь даму лет 45 без всяких предрассудков, с философским умом, глубоко постигшим лучшие веяния времени, полную обаяния и расположенную ко мне. И все же эта дама именно такова.

Мы пробудем в Пизе до июня, потом переедем в Баньи ди Лукка; а куда поедем после этого, еще не решено. Мне усиленно рекомендуют еще более теплый климат для моего здоровья, которое за эту зиму очень пошатнулось; если б я мог думать, что для этого подойдет Испания, я был бы, пожалуй, склонен туда поехать ради славных дел, какие там сейчас вершатся³. Вы знаете мою страсть к республике или любому ее подобию.

Очень хотел бы прочесть Вашу трагедию⁴. Мне кажется, Вы обладаете даром живописать страсти и, что еще более необходимо, изображать их в единстве и развитии. Эта последняя задача драматического писателя дается мне с необычайным трудом; если она мне удалась хоть сколько-нибудь, я уже заслуживаю похвалы. Но Вам это легко. А если Ваша трагедия перестала Вам нравиться, я убежден, что это всего лишь действие критики на Ваши нервы. Во всяком случае пришлите ее мне, как только она будет напечатана. Тем временем очень хотелось бы знать Ваше мнение о моей⁵. Боюсь, что сюжет Вам не понравится, но прочтите хотя бы предисловие, где я его защищаю. Я придаю большое значение изложенным там доводам, предвосхищая различия во мнениях, вызываемые литературными произведениями. Театр отверг пьесу в самых дерзких выражениях⁶. Я убежден, что они отгадали автора. Но это меня не слишком печалит. Из всего, что я послал за последнее время, мне больше всего нравится «Прометей».

Мы слышали, что на Ваш приезд в Италию нет никаких надежд, а между тем, как она понравилась бы Вам, — как мы были бы рады Вашему обществу! Вам следовало бы побывать в Риме — он остается поныне столицей искусства и древностей; мы вместе любовались бы прекрасными картинами, статуями и развалинами — они великолепнее, чем я сумею Вам описать.

Прощайте покуда. Пишите мне прежде всего о своих делах, идут ли они на лад.

Прощайте. Мери шлет привет вам всем.

Любящий Вас

П. Б. Ш.

[P. S.] Не помню, подтвердил ли я получение «Робина Гуда»⁷ А Вы не сообщили о получении «Питера Белла»⁸. Око за око, зуб за зуб! Начальные стихи мне очень понравились, но дальше Вы их разбавили, избрав такой размер. Далее следует «Esquisse de la législation»* Торнтон⁹, у которого и Бентам, и Беккариа, несомненно, списали все свои речи, приспособив их к пониманию толпы. Зато в мою пользу — письмо о Карлайле¹⁰, которое, должен Вам сказать, очень меня увлекло.

133

ТОМАСУ МЕДВИНУ

Пииза,
16 апреля 1820

Дорогой Медвин!

Я долго не отвечал на Ваше письмо и не высказал Вам своего мнения о его ценном вложении из-за того необъяснимого *impiccio*** на женеvской почте, поглотившего последнее Ваше послание, в котором еще предстоит разобраться. Когда я увидел, что добыть его оттуда — дело бесконечно долгое, я решил немедленно написать Вам и просить прислать еще один экземпляр с дилижансом Дежана, который идет во Флоренцию, адресовать же банкиру, мистеру Клейберу, для меня; он не замедлит мне его переслать. Я догадываюсь, что это — книга, упоминаемая в Вашем письме¹; утешаюсь тем, что потеря и огорчение не так велики, как если бы то была рукопись.

Эта книга, если она подобна «Пиндареям»², несомненно должна произвести большое впечатление. Благодаря своему сюжету поэма Ваша должна стать популярна; избранные Вами обстановка и ситуации очень привлекают наших современников. Я равно восхищен как обилием и разнообразием образов, так и легкостью и богатством слога, в который они

* «Этюд о законодательстве» (франц.).

** Недоразумения (итал.).

облечены. Быть может, взыскательный друг, нетерпимый к малейшей ошибке, найдет некоторые строки и фразы, которые могли бы быть улучшены. Но их немного, и я считаю себя вправе разве только указать на них; а если, — что весьма вероятно — я покажусь чересчур придирчивым, Вы будете знать, каким мотивам и чувствам надлежит это приписать. Со следующей почтой я пришлю Ваши «Пиндарей» со списком отмеченных мною строк и с теми исправлениями (раз уж Вы их просите), какие я сумел сделать. Но помните, я не ручаюсь, что они не окажутся много хуже того, что призваны заменить. — Единственной общей ошибкой Вашей поэмы, если считать это за ошибку, является употребление индийских слов, которые Вы переводите в примечаниях. Мне думается, что в поэме каждое выражение должно быть понятно само по себе. Однако то, чего никогда не делали великие поэты прошлого, нашим современникам так нравится, что я не решаюсь советовать Вам отступить от этого. К тому же на Вашей стороне Мур и лорд Байрон; будучи гораздо лучшими поэтами, чем я, и пользуясь большим успехом, они должны лучше знать к нему путь, нежели тот, кому успех не дается.

Я готовлюсь издать кое-что³; и я настолько тщеславен, что хотел бы показать это Вам. Не то чтобы стихи мои нашли сбыт; в этом отношении они составляют прямую противоположность бритвам Питера Пиндара⁴. Человеку, подобному мне, удастся быть поэтом только если он будет недоедать, чтобы оплатить счета типографии — т. е. только на этих условиях он может печататься. Но у Вас есть все основания надеяться на лучшее.

Осенью Вы застанете меня в Пизе. Вплоть до декабря климат Пизы будет для Вас самым подходящим, не хуже Неаполя или Сицилии, — если учесть все обстоятельства. Солнце в Неаполе, конечно, горячее, но, если Вы не утеплите специально Ваше жилище, трамонтана своим ледяным дыханием проникнет в каждую его щель.

В Неаполе я жестоко страдал от холода, гораздо сильнее, чем во Флоренции, где у меня была теплая комната, — в одном из этих городов я провел зиму, в другом — следующую. Мы, во всяком случае, будем осенью в Пизе и почти наверное останемся там на зиму, в хорошей вилле за городскими воротами. Мы постараемся, чтобы Вам было там удобно, но наша семья слишком погружена в философию, чтобы заботиться о внешней роскоши. Мы постараемся возместить ее добрым отношением. Миссис Шелли просит передать Вам, что Ваш приезд был бы ей очень приятен. Если Вы приедете до осени, то найдете нас в Баньи ди Лукка, прелестном местечке милях в тридцати отсюда. Если только не произойдет коренной перемены, Вы застанете меня совершенным инвалидом.

Что до стоимости жизни в Италии, то она очень невелика — на одну крону здесь можно купить столько же, сколько в Англии на фунт ст.; это касается всех съестных припасов, а также одежды. В Женеве, мне

кажется, жизнь почти так же дорога, как и в Англии; но это, может быть, потому, что меня ужасно обкрадывали.

Мне следует сказать, что в обществе мы не бываем. Немногие, с кем мы видимся, это — те, кто нам подходит и, кажется, только нам. Салоны и комплименты нагоняют на меня тоску, хотя вообще я чрезвычайно общителен. — Надеюсь встретиться с очаровательной дамой и Вашим другом⁵, если они приедут в Италию.

[Здесь кем-то, не Шелли, вымарано 6 строк]

Простите мне шутку на тему, которая должна была бы быть священной для каждого поэта.

Мужайтесь; когда мы встретимся, мы придавим к земле наше уныние и наши недуги, свяжем их, как злых духов, и утопим в Тирренском море, на глубине девяти фатомов⁶ — Прощайте.

Любящий Вас

П. Б. Ш.

134

ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Пииза,

20 апреля 1820

Дорогой друг.

Я долго не имел известий ни от Вас, ни о Вас. Пикок на своей индийской должности¹ стал крайне лаконичным корреспондентом; он, как видно, убежден в истинности христианской максимы²: Да будет слово Ваше: «да, да, нет, нет», а все, что сверх этого, то от лукавого. Хант мне иногда пишет и сообщает, что, бывая в городе, Вы часто проводите с ним воскресенья; вот и все. Поэтому я решил к Вам написать, чтобы Вы хотя бы знали, что я хочу иметь от Вас вести, даже если и Вы стали песчинкой в вихре, стремящемся за деньгами и славою.

Кажется, я еще не писал Вам после того, как Мери родила мне сына, которого я назвал Перси. Ему сейчас пять месяцев, это прелестный и очень здоровый ребенок, но после ужасных событий³ прошлого года Вы можете себе представить, как мы над ним дрожим.

Самое суровое время зимы мы провели во Флоренции, а сейчас живем в Пиизе, где собираемся снять отличный дом, сразу же за городскими воротами. Мне здесь посчастливилось познакомиться с весьма интересной женщиной⁴, в обществе которой мы проводим большую часть времени. Она замужем и имеет двоих детей; ее муж, как это слишком часто бывает, стоит много ниже ее, хотя все же не так, как в семье Гисборн. Вы составите себе о ней некоторое понятие, когда я скажу Вам, что сейчас читаю с ней «Агамемнона» Эсхила.

Надеюсь, Вы получили от Оллиера экземпляр «Ченчи». Я велел ему послать Вам, но он очень небрежен, и возможно, об этом не позаботился. Если так, то возьмите у него, когда Вам случится идти мимо его лавки.

Вы увидите, что драма сознательно написана совершенно иначе, чем все другие мои сочинения; насколько лучше или хуже — рассудят, каждый по-своему, те, кто будет ее читать. Я посвятил ее Ханту; это, пожалуй, единственный среди моих друзей, кому посвящение от столь непопулярной личности, как я, не может причинить вреда.

Нынешняя зима даже в Италии была крайне суровой, и я страдал от нее сильнее обычного, но с приходом весны я оживаю. Зиму я провел во Флоренции и все солнечные дни посвящал изучению тамошней галереи; там — знаменитые статуи Венеры, Минервы, Аполлона, но особенно Ниобеи с детьми. Ни одна статуя, даже Аполлон, не производила на меня столь сильного впечатления, как эта Ниобея. Вы, конечно, видели копии с нее. Сейчас мы в Пизе, где останемся на неопределенное время (не считая нескольких недель в середине лета, которые думаем провести в Баньи ди Лукка).

Вы помните, что мы с Вами когда-то думали вместе посетить Италию. В то время, как бывало не раз, несчастливое сочетание обстоятельств, ныне уже не существующих, лишило меня радости общения с Вами. Нет никого, кого я бы так уважал и ценил, как Вас, от кого ждал бы столько хорошего для себя, и никого, с кем я бывал столь часто разлучен несчастной и почти необъяснимой сложностью моего положения. А сейчас, когда с моей стороны осуществление нашего плана представляется возможным, он, быть может, невыполним для Вас.

Но хочу все же остановиться на другой стороне проблемы. Не смогли бы Вы посетить нас в Италии? Нельзя ли совместить это с Вашими профессиональными обязанностями?

В июне и июле Вы из-за жары едва ли сможете много увидеть в Италии, а нам в это время надо быть в Баньи ди Лукка, где, конечно, красиво, но нет тех произведений искусства, ради которых прежде всего стоит ехать в Италию. Но если Вы всерьез склонны подумать о моем предложении, я не стану ставить Вам никаких условий, разве только приехать возможно скорее и не уезжать как можно дольше. Я знаю, что сессия начинается в середине ноября⁵, но разве Вам непременно надо явиться к первому дню? Ехать лучше через Францию до Марселя, а оттуда путь в Ливорно иногда удается проделать за 36 часов, но обычно за три дня. Или можно прямо из Лондона заказать все путешествие через Альпы, но это очень утомительно и гораздо дороже.

Следует добавить, что Мери разделяет мое желание видеть Вас. Разумеется, никто из моих друзей не присоединится к Вам, но нечего и говорить, что Пикока мы встретили бы с радостью.

Видите ли Вы Бойнвилей? Или Ньютона? Если да, передайте им, в особенности миссис Бойнвил, что я их не забыл. Я удивляюсь, почему никто из них не забрел в эту райскую страну, и, наевшись лотоса, подобно мореходам Одиссея⁶, не остался здесь, как это сделал я.

[Подпись отрезана]

135

ЛИ ХАНТУ

Пииза,
1 мая 1820

Дорогой друг!

Через несколько дней после получения этого письма Вас могут посетить Гисборны, которые сейчас отправляются в Англию. Ее Вы найдете очаровательной, если дадите себе труд заставить ее разговориться. Меня очень обрадовало Ваше письмо и содержащиеся в нем похвалы моей книге¹. Признаюсь, я не ожидал, что она так понравится Вам или кому бы то ни было, хотя я сочинял ее с некоторой надеждой на популярность и ради этого, поступившись своими принципами, взял сюжет, в основе которого лежит проступок против нравственности. Но Ваше одобрение и одобрение немногих избранных судей более всего удовлетворяют мое авторское честолюбие и значат больше, чем осуждение «целого театра прочих»². Я с нетерпением жду отзыва в «Экзаминере», но признаюсь, что с большим удовольствием узнал бы Ваше мнение, из Вашего личного письма, ибо здесь никакие соображения дружбы не заставили бы Вас смягчить отрицательное суждение.

Что касается Оллиера, боюсь, что проступки его тяжки, раз даже Вы их заметили. Я хотел бы знать, что он сделал, но, впрочем, кажется, догадываюсь. Боюсь, что я нахожусь в какой-то мере в его власти, ибо не могу надеяться печататься ни у какого другого книгоиздателя; а ведь если бы мои книги вдруг сделались популярны, он стал бы смирен, как ягненок. В сущности все они — мошенники. Честность и нечестность определяются не столько личными свойствами человека, сколько его положением, так что честный книгопродавец, или любой продавец, является чем-то вроде Иисуса Христа. Весь нынешний общественный порядок со всей воздвигнутой на нем надстройкой из форм и принципов должен быть разрушен до основания, прежде чем общение с людьми, — не считая немногих избранных, — станет приносить нам что-либо, кроме разочарования. Это дело не из легких. И все же великие духом все силы свои направляют к его осуществлению. Если вера является добродетелью, то прежде всего в политике, а не в религии, ибо именно там рождается то, что вера возвещает и вместе с тем побуждает осуществить.

Но довольно проповедей. — Гисборны пробудут в Лондоне месяца полтора, а Хогга я пригласил в Италию, так что он, возможно, придет вместе с ними. Не смею надеяться, что и Вы к ним присоединитесь. Я пытался найти для Вас в Ливорно и Пизе «Декамерон» и пр., но безуспешно. Его можно найти во Флоренции, и он будет Вам послан вместе с вазами, предназначенными Хорейсу Смигу; это — алебастровые копии античных ваз, которые Вам, мне кажется, понравятся. Я хотел спросить, не знаете ли Вы книгоиздателя, который согласился бы издать маленький том песен для народа³ — целиком политических, предназначенных про-

будить и увлечь воображение борцов за реформу. Я вижу, как Вы улыбаетесь, но прошу все же ответить. О современной политике Вы никогда не пишете. А я читаю только парижскую газету на английском языке⁴, с извлечениями из «Курьера». — Вы, вероятно, знаете, что моя трагедия⁵ переиздана в Париже по-английски.

[Письмо не подписано]

136

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пииза,
26 мая 1820

Дорогой лорд Байрон!

Возвратясь из поездки в горы, я нашел Ваше письмо. Клер говорит, что уже ответила на ту его часть, которая касается Ваших с ней разногласий относительно Аллегры; это избавляет меня от тяжелой необходимости писать о делах, в которых я, как видно, не имею влияния ни на нее, ни на Вас. Жаль, что в Вашем письме Вы так жестко говорите о Клер — ведь ей поневоле пришлось его прочесть; и я убежден, что Вы напрасно думаете, будто она хочет помешать Вашим планам относительно Аллегры, — даже просьбы, которые Вам докучают, являются следствием нрава доброго и привязчивого. Она согласилась отказаться от поездки в Равенну, — что действительно было бы большим неудобством для Вас и для меня, но в чем я не мог ей отказать, принимая во внимание цель ее поездки. При встрече я объясню Вам некоторые кривотолки, имеющие касательство к Аллегре, и тогда, я полагаю, Вы поймете тревогу Клер. Какие письма она Вам пишет, я не знаю; возможно, что они способны вызвать раздражение, но во всяком случае лучше прощать слабому. Я не говорю — и не думаю, — что Ваши решения неправильны, но только высказывайте их мягко и очень прошу, *не ссылайтесь на меня*.

Я прочел Вашего «Дон Жуана»¹ и вижу, что Ваш издатель опустил некоторые из лучших строк. Впрочем, о личных выпадах, хотя они и кажутся мне чрезвычайно сильными, я не сожалею. Как ужасна буря на море, а оба отца — как правдивы, и в то же время какой контраст!² Сам Данте едва ли мог бы написать лучше. А к концу какими лучами божественной красоты Вы озарили обыденность сюжета! Любовное письмо со всеми подробностями³ — это шедевр изображения человеческой природы, блистающий вечными красками человеческих чувств. Где Вы научились всем этим секретам? Я хотел бы пойти в обучение туда же. Не могу сказать, что в такой же мере одобряю то, как письмо было использовано; или что жестокая насмешка над нашей слабостью, которая тут проявилась, представляется мне вполне достойной Вашего гения. Но сила изображения, его красота и остроумие искупают это — прежде всего потому, что опровергают. А может быть, глупо желать, чтобы



ТОМАС Л. ПИКОК В 1803 г.
Портрет работы неизвестного художника.



КЛЕР КЛЕРМОНТ.
Портрет работы Амелии Керра

совсем уж нечего было искупать? Моя трагедия покажется Вам менее ужасной, чем Вы ожидали. Во всяком случае она реальна. Если б я знал, что Вы пожелаете ее прочесть, я послал бы Вам экземпляр, так как я напечатал ее в Италии и послал в Англию для распространения. Видели ли Вы мою небольшую поэму «Розалинда и Елена»? Это всего-навсего экспромт и, кажется, немного стоит. Если Вам интересно, я могу прислать.

Надеюсь, Вам известно, как я и Мери относимся к Аллегре. Мы еще не излечились от привязанности к ней; и что бы Вы с Клер ни решили относительно ее будущего, помните, что мы, как друзья обеих сторон, были бы очень счастливы способствовать ее благополучию. Ваш протест против того, что Вы зовете моим кредо, вызвал у меня улыбку. Напротив, я считаю, что целомудрие в нынешнем мире весьма необходимо для молодой девушки — собственно, для ее счастья, — да и во все времена это — хорошая привычка. Что касается христианства — тут я уязвим, хотя столь же мало склонен наставлять ребенка в неверии, как и в какой-либо вере. У Вас ложные сведения также и о нашей системе физического воспитания, но я догадываюсь, откуда эти неверные сведения. Все это я говорю не затем, чтобы Вы отказались от Вашего намерения (да и Клер не согласилась бы надолго оставить Аллегру у нас), но единственно для того, чтобы Вы знали наши чувства, которые были и всегда будут дружественными к Вам и ко всем, кто Вам близок.

Я с величайшим удовольствием побывал бы у Вас и увиделся с Вами в любой другой роли, лишь бы не в качестве посредника, вернее, толкователя, в споре. Во всяком случае мы когда-нибудь увидимся в Лондоне и надеюсь, *auspicio meliore* *.

Мери просит напомнить о себе, а я остаюсь, дорогой лорд Байрон, искренне Вашим

П. Б. Шелли

137

РОБЕРТУ САУТИ

Пиза,
26 июня 1820

Дорогой сэр!

Некоторые из моих друзей упорно считают Вас автором рецензии на «Восстание Ислама»¹, появившейся некоторое время тому назад в «Квотерли Ревью».

Ничто не доставило бы мне более искреннего удовольствия, чем возможность утверждать, на основании собственных Ваших слов, что Вы не повинны в ее сочинении. Должен сказать, что против Вашего автор-

* При лучших обстоятельствах (лат.).

ства я вижу столь веские внутренние доказательства, не говоря об известном мне великодушии Вашего характера, что, если бы речь шла только о собственном моем убеждении, я не стал бы беспокоить Вас просьбой опровергнуть то, до чего Вы — по моему твердому убеждению — не могли унизиться.

Наше кратковременное личное знакомство² я всегда вспоминаю с удовольствием и (памятуя энтузиазм, который тогда вызывали во мне Ваши произведения) с благодарностью за Ваше ко мне внимание. Мы расстались, как мне кажется, со взаимными добрыми чувствами. Рецензия, о которой идет речь, если не считать возможности, что она написана Вами, сама по себе не заслуживает ни малейшего внимания.

Когда беспринципный наемный писака, не имея что сказать о произведении, без всякого повода издевается над семейными несчастьями писателя из враждебного ему лагеря — несчастьями, о которых их жертва, быть может, боится вспоминать, — когда он делает эти несчастья темой для грязной и лживой клеветы, — когда это делается анонимно, так же трусливо и так же злобно, как действует убийца из-за угла, — это является слишком обычным актом милосердия у христиан (Христос научил бы их другому), слишком обычным попранием гуманности среди так называемых друзей общественного порядка, чтобы я стал говорить о нем; но я хотел показать Вам, к каким средствам прибегает партия, ради которой Вы отреклись от дела, воспетого в Ваших ранних творениях³. Я намеревался по возвращении в Англию посетить Вас, чтобы лично высказать то, что сейчас пишу; но плохое состояние здоровья удерживает меня здесь и доставляет моему противнику, — если он достоин того, чтобы с ним сразиться, — легкую, хотя и бесславную победу, ибо я не любитель бумажной войны. Однако на все есть свое время.

Ваше молчание я, к сожалению, буду вынужден считать за подтверждение того, о чем я спрашиваю, и поэтому я уверен, что получу ответ⁴.

Примите, дорогой сэр, лучшие пожелания Вашего

П. Б. Шелли

138

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

*Ливорно,
12 июля 1820*

Дорогой Пикок!

Помнится, когда Обер¹ женился, Вы говорили: боюсь, что нам теперь редко доведется его видеть и слышать. «Есть два голоса, — говорит Вордсворт, — один — с гор, другой — с моря, и оба они могучи»². А у Вас две жены — одна с гор³, чьи права я готов признать, чей гнев надеюсь

отвратить и от которой не жду ничего плохого; а другая — морская, — Индиа-хаус⁴, которая, как видно, заставляет Вас так много писать, что у Вас не остается времени черкнуть нам. Я решился написать Вам, узнав, что Вы правите корректуры «Прометея», за что приношу Вам благодарность и посылаю некоторые добавления. Я узнаю о Вас от мистера Гисборна, а от Вас самого ничего не получаю. Как обстоит с фондами и с романом?⁵ По-видимому, близится безболезненная кончина Коббета, и я думаю, что по случаю апофеоза национального долга у Вас состоятся весьма шумные празднества⁶.

Ничто, по-моему, так не обнаруживает добродушного легковерия англичан, как то, что они, несмотря на все свои предрассудки и ханжество, возвели в героини дня ее величество королеву⁷. Я, со своей стороны, не желаю ей зла, даже если она — в чем я твердо убежден — не вполне пристойно забавлялась с курьером или бароном. Но я не могу не указать, как на одну из нелепостей монархического строя, что вульгарная женщина с низменными вкусами, которые предрассудок именует пороками, с манерами и повадками, которых каждый сторонился бы, будь она простой смертной, и без всяких искупающих достоинств стала героиней только потому, что она королева или — как побочная причина — потому, что ее супруг — король; а он, не менее своих министров, до того противен, что все им враждебное, как бы оно ни было отвратительно, вызывает восхищение. Парижская газета⁸, которую я выписываю, перепечатала из «Экзаминера» несколько отличных заметок на этот счет.

Сейчас мы живем в Ливорно, в доме Гисборнов, и я превратил мастерскую мистера Ревли в свой кабинет. Libecchio * весь день воет, точно хор демонов, но погода хороша — ничуть не жарко, днем туман, а ночи восхитительно ясные. Я с большим удовольствием читаю греческие романы. Самый лучший из них — пастораль Лонга⁹; но и все другие очень занимательны и были бы отличны, будь в них меньше риторики и украшения. Я перевожу ottava rima ** гомеровский «Гимн Меркурию»¹⁰. Конечно, точный перевод при этом размере невозможен. Я попытаюсь сделать его таким, чтобы он читался, — качество, весьма желательное для переводов.

Говорят, что в журналах и т. п. меня ругают вовсю. Удивляюсь, для чего я пишу стихи, ибо никто их не читает. Это вроде болезни, от которой врачи прописывают поток брани, но вряд ли это подходящее лекарство.

Бек и Инглиш¹¹ снова ко мне написали, и я попросил Хогга найти какого-нибудь адвоката для переговоров с ними.

Посылаю еще два стихотворения¹²; их надо добавить к остальным, после «Прометея»; посылаю их Вам из опасения, что Оллиер не будет

* Западный ветер (итал.).

** Октавами (итал.).

знать, что́ делать, если некоторые фразы в строфах пятнадцатой и шестнадцатой встретят у него возражения; и чтобы Вы в таком случае заменили их звездочками, с возможно меньшим ущербом для смысла. Другое стихотворение посылаю Вам, чтобы не вышло двух писем. Мне нужна «Греческая грамматика» для Мери, которая усиленно изучает греческий. Я думал прислать ее по почте отдельными листами, но это, оказывается, будет стоить не меньше, чем посылка; тогда уж лучше посылкой, и добавьте еще несколько книг, которые очень прошу прислать с *первым же кораблем*. Посылайте нам только последние рецензии на произведения лорда Байрона, так как мы получаем их здесь. Спросите Оллиера, мистера Гисборна, Ханта, нет ли у них что́ послать.

Любящий Вас, мой дорогой Пикок,

П. Б. Ш.

Джонс «Греческая грамматика», Шревелиев «Лексикон»¹³, «Упражнения по греческому языку», «Мелинкорт», «Хедлонг Холл», газеты и «Указатели» и все, что Вы сочтете интересным. «Ответ Мальтусу» Годвина¹⁴, если он вышел. Шесть экземпляров 2-го издания «Ченчи»¹⁵.

139

ДЖОНУ КИТСУ¹

Пииза,
27 июля 1820

Дорогой Китс!

Я с большим огорчением узнал об опасном приступе, который Вы перенесли, а мистер Гисборн, сообщивший мне об этом, добавляет, что у Вас и сейчас есть признаки чахотки. Эта болезнь особенно любит людей, сочиняющих такие хорошие стихи, как Вы, и ей часто помогают в этом английские зимы. Я считаю, что молодые и симпатичные поэты вовсе не обязаны поощрять ее и не заключали на этот счет никакого договора с Музами. Если же говорить серьезно (ибо я шучу на тему, вызывающую у меня большую тревогу), я полагаю, что после случившегося Вам лучше всего провести зиму в Италии, и если Вы тоже находите это необходимым, пожить в Пизе или ее окрестностях сколько Вам захочется. Миссис Шелли присоединяется к моей просьбе поселиться у нас. Вам лучше ехать морем до Ливорно (во Франции смотреть нечего, а морской воздух особенно полезен для слабых легких); оттуда до нас — всего несколько миль. Вам непременно надо увидеть Италию; Ваше здоровье, ради которого я это предлагаю, для Вас может быть поводом.

Избавляю Вас от восторженных похвал статуям, картинам, развалинам, а также — от чего мне особенно трудно удержаться — горам, потокам, полям, краскам неба и самому небу.

Недавно я перечел Вашего «Эндимиона» и снова убедился, какие поэтические сокровища он содержит, — правда, рассыпанные с беспорядочной щедростью. Этого публика обычно не терпит, и вот причина, отчего было продано сравнительно мало экземпляров. Я уверен, что Вы способны создать великие произведения, стоит Вам захотеть.

Я всегда прошу Оллиера посылать Вам экземпляры каждой моей книги. «Освобожденного Прометея» Вы, вероятно, получите почти одновременно с этим письмом. «Ченчи», я надеюсь, у Вас уже есть — это произведение сознательно написано мною в ином духе, «до *доброто* далеко, но с *великим* может спорить»².

Я в поэзии стараюсь избегать вычур и какой-либо определенной системы. Хотелось бы, чтобы так поступали и более талантливые, чем я.

Останетесь ли Вы в Англии или приедете в Италию, верьте, что всюду и во всех Ваших делах Вас будут сопровождать мои горячие пожелания здоровья, счастья и успеха и что я искренне Ваш

П. Б. Шелли

140

МЕРИ ШЕЛЛИ

Каза Сильва, Пиза,
воскресенье утром, 30 июля 1820

Любимая!

Я, кажется, снял отличную просторную квартиру в Баньи ди Пиза, на 3 месяца — дорогую, как и все они. За 3 месяца придется отдать 40 или 45 цехинов, еще не знаю точно, сколько. Есть и другие, несколько дешевле, но гораздо хуже, а ведь если мы намерены писать, надо, чтобы было просторно.

Завтра вечером или послезавтра утром мы, вероятно, увидимся. Тэтти¹ собирается в Англию спасать свое имущество на случай революции, которая, по его убеждению, должна вот-вот разразиться. Я в это не верю и не боюсь, что следствия ее сразу окажутся столь разрушительны для всего старого порядка. Платежи в банках будут приостановлены, денежный курс сильно понизится, и мой доход, как и доход миссис Мейсон, в *денежном* выражении, окажется под угрозой — но земле опасность не угрожает. К тому же все это не произойдет столь мгновенно. Будем надеяться на реформу. Тэтти успокоится, если события будут развиваться постепенно — теперь, когда шум вокруг королевы, кажется, утих. Из Палермо пришли дурные вести² — солдаты сопротивлялись народу, и произошло кровавое столкновение; число убитых достигает, по слухам, 4000. Но так должно было быть — Сицилия теперь свободна, как и Неаполь³. Судя по кратким и небеспристрастным сообщениям флорентийской газеты, энтузиазм населения был велик; женщины лили из окон кипящее масло на головы нападавших. Мне обещали доставить денежный

перевод⁴ в Вену 5-го, как раз когда будет оплачена моя долговая расписка и когда я собираюсь уехать из Ливорно.

Миссис Мейсон очень огорчена тем, что Тэтти едет в Англию, хотя очевидно понимает необходимость этого. Надо же ему когда-нибудь привести свои дела в порядок, и они считают, что лучше всего это сделать сейчас. Я не намерен уезжать из Италии: — нам сейчас самое лучшее — экономить, и, если дело примет крутой оборот (а я убежден, что так оно и будет, хотя, пожалуй, только через два-три года), я успею предъявить свои права. А может произойти и кое-что другое⁵, что решит нашу судьбу.

Поцелуй милого малютку и себя тоже — за меня. Люблю тебя нежно.

П. Б. Ш.

[P. S.] Я снял дом на три месяца за 40 цехинов — недорого, и дом очень хороший по здешним местам — это выйдет примерно 13 цехинов в месяц. Завтра пойду посмотреть обстановку; жди меня поэтому во вторник утром.

Воскресенье, вечер.

141

РОБЕРТУ САУТИ

Пииза,
17 августа 1820

Дорогой сэр!

Разрешите выразить искреннее удовольствие, которое доставили мне первые строки Вашего письма¹. Содержащееся в них опровержение было именно тем, чего я с уверенностью ожидал.

Позвольте заверить Вас, что угрозы в моем письме не имели ни малейшего отношения к Вам. Я не считаю, что там вообще содержались угрозы. Помню, что я выразил там свое презрение в надежде, что у Меррея² или где-либо еще Вам встретится жалкий наемник, который так имитировал Ваш слог, что ввел в заблуждение всех, кроме тех, кто Вас знает, — и Вы бросите ему в лицо мое письмо в наказание за попытку посеять вражду между теми, кто желает друг другу только хорошего, как Вы и я.

Должен признаться, что Ваш совет — принять систему взглядов, которую Вы называете христианством, — не кажется мне убедительным, разумеете ли Вы под ним общепринятые суеверия со всеми догмами или какую-либо более утонченную концепцию учения, положившего конец грациозным верованиям греков. Если судить об учениях по их результатам, можно сказать, что эта вера именуется религией Христа и Милосердия *ut lucus, a non lucendo**, когда видишь, как она преобразует Вас

* Эд.: наперекор очевидности, по недоразумению (лат.).

и других добрых и просвещенных людей, так что, даже проповедуя христианство, Вы не можете, наперекор завету Христа, удержаться от оскорбительного тона.

Каких убеждений Вы от меня хотели бы? Вы обвиняете меня — не знаю, на каких основаниях, — в *преступлении*. Это — сильное слово, сэр, и на него следовало бы отвечать в ином тоне, если бы Вы адресовали его любому, кроме меня. Вместо того, чтобы не судить, «да не судимы будете»³ — Вы не только судите, но и осуждаете и притом на такое наказание, что Ваша жертва должна или пасть крайне низко или возвыситься над всеми, чтобы это наказание не было для нее горше смерти. Вы, следовательно, — из тех безгрешных, каких Иисус не сыскал во всей Иудее, чтобы бросить первый камень в женщину, виновную в прелюбодеянии⁴!

Как тщательно, по сравнению с Вами, взвешивают улики даже самые жестокие суды, как они обеспечивают обвиняемому его права, как неохотно произносят свои суровые и самонадеянные приговоры! Из жизни, не только беспорочной, но посвященной страстным поискам добра, Вы берете одну страницу⁵, на которой можно увидеть пятно, и то лишь потому, что я устроил свою личную жизнь, не посчитавшись с предрассудками толпы, хотя мог бы сделать с полным удобством то же самое, если бы опустил до их низменных понятий, — и это Вы зовете преступлением. Я мог бы ответить Вам по-другому, но Бог свидетель, — если подобное существо сейчас слышит нас с Вами, — и я берусь повторить это пред его лицом, если мы предстанем перед ним после смерти, как Вы, вероятно, надеетесь, — что Вы осуждаете меня напрасно. Я не повинен в зле ни делом, ни помышлением; последствия, на которые Вы намекаете⁶, произошли независимо от меня. Если бы Вы были мне другом, я мог бы рассказать Вам повесть, которая заставила бы Вас раскрыть глаза; но я никогда не стану поверять своих тайн посторонним.

Вы пишете, что судите об убеждениях по их плодам; я тоже, но только по плодам созревшим — таковыми являются опрометчивые суждения, как видно внушенные Вам христианской верой. Ближайшие результаты всех новых взглядов действительно несут несчастье своим сторонникам и проповедникам; но на нас ведь ничто не кончается; добродетель в том и состоит, чтобы поступать правильно, пренебрегая ближайшей выгодой.

Я отлично знаю, что правящая партия, к которой Вы примкнули, всегда требует терпимости, с презрением ее встречает и никогда не проявляет к другим. Но «в делах людей прилив есть и отлив»⁷, а он как раз сейчас надвигается.

Другим примером Вашего христианского милосердия является Ваше суждение о моих стихах по бранным рецензиям. Я просил мистера Оллиера послать Вам последние из опубликованных — быть может, они Вас позабавят, ибо одно из них — да в сущности оба — не имеют отношения к вопросам, в которых мы расходимся.

Я не могу надеяться, что Вы будете достаточно прямодушны, чтобы почувствовать — или, почувствовав, признаться в этом, — что поступили дурно, когда обвинили, хотя бы мысленно, невинного и гонимого человека, чья единственная действительная вина состоит в его убеждениях относительно существующего общественного строя — убеждениях, которые некогда разделяли и Вы⁸. А без этого дальнейшая переписка теперь, когда достигнута цель, ради которой я возобновил ее, будет, из-за несходства наших взглядов, тягостной и бесплодной. Я надеюсь когда-нибудь встретиться с Вами в Лондоне; десятиминутная беседа стоит десяти томов переписки. А пока прошу верить, что среди Ваших доброжелателей нет более искреннего, чем

Ваш покорный слуга

П. Б. Шелли

P. S. Мне следовало добавить, что я болел достаточно долго и сейчас еще едва в силах писать из-за жестоких болей в боку. Но это не свидетельствует в пользу того, что Вы, а также другие, зовете христианством; право, лучше было бы пожелать мне здоровья и хорошего самочувствия. Я-то надеюсь, что цыплята не вернутся на насест⁹!

142

МЕРИ ШЕЛЛИ

*Каза Риччи, Ливорно,
1 сентября 1820*

Боюсь, моя любимая, что не смогу приехать к тебе завтра вечером, хотя буду всячески стараться. Дель Россо¹ я не видел и не увижу до вечера. Джексона² видел, он будет сегодня вечером пить с нами чай и принесет «Конститусьонель».

Ты, должно быть, уже читала газеты, но я думаю, что последних и наиболее важных известий там нет. Из частных писем от negociантов наверняка известно, что в Париже — большое восстание³, и во вчерашних вечерних сообщениях говорится, что народ продолжает осаждать Тюильри.

В Неаполе конституционная партия заявила австрийскому послу, что, если император объявит им войну, они прежде всего умертвят всех членов королевской семьи. Необходимая и совершенно справедливая мера при таком неравенстве борющихся сил и дел, за которые идет борьба. Было бы отлично повсюду сделать королей заложниками свободы!

Что станет с Гисборнами⁴ и англичанами в Париже? И скоро ли Священный Огонь перекинется на Англию, а быть может, и Италию? А если от солнечной системы обратиться к песчинкам, — что станет с нами?

Поцелуй за меня малютку и себя самое. Мне немного получше — хотя бок еще немножко дает себя знать.

Любящий тебя

Ш.

Р. С. Прилагаю письмо от Пикока, единственное, какое было на почтамте в Ливорно.

143

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пииза,
17 сентября 1820

Дорогой лорд Байрон!

Я не имею никакого понятия о содержании писем, которые Вам послала Клер, и лишь очень приблизительное — о предмете Вашей переписки с ней вообще. Одно или два ее письма я, правда, видел, но уже давно: так как я нашел их крайне ребячливыми и нелепыми, я попросил ее не посылать их, а она позднее сказала, что вместо них написала и послала другие; не могу сказать, были ли Вам посланы те, что я видел. — Но я удивляюсь, что они Вас раздражают, хотя весьма вероятно, что они способны раздражать. Вы сознаете, что выполняете свой долг по отношению к Аллегре, и свой отказ отпустить ее к Клер так далеко считаете также своим долгом. Что Клер хочет ее видеть, — естественно. Что, не добившись этого, она раздосадована, а досада диктует ей нелепые письма, — тоже в порядке вещей. Но она, бедняжка, очень несчастна и хворает, и к ней надо проявлять всю возможную снисходительность. Слабые и глупые в этом отношении подобны королям; они не могут быть неправы.

Надеюсь, что я достаточно убедительно объяснил, отчего я не хотел бы быть передатчиком ее желаний и чувств к Вам; разумеется, я всегда с радостью передам ей Ваши. Но сейчас, по-моему, Вам не о чем беспокоиться, и следует лишь позаботиться, чтобы она регулярно имела известия о здоровье Аллегры и пр. Вы можете писать мне или поручить Вашему секретарю писать ей (раз не хотите писать сами), словом, делать это, как Вам будет удобно. Я, конечно, буду рад Вашим письмам на любую тему.

Галиньяни сообщает¹, что 17 августа Вы прибыли в Лондон и тотчас же поехали к королеве с депешами из Италии. Если полученное мной письмо писано Вашим призраком, он же получит и настоящий ответ. Принимаете ли Вы участие в многозначительных пустяках, которые самое могучее в мире собрание² сейчас обсуждает с такой смешной медлительностью? А если министры потерпят неудачу, станете ли Вы по крайней мере претендовать на какую-то часть власти, которую они утра-

тят? Их преемники, я надеюсь, — а если среди них будете Вы, то уверен, — употребят эту власть для иных целей, чем они. Что касается меня, я остаюсь пока в Италии. Раз Вы действительно едете в Англию, а Аллегру оставите в Италии, мне кажется, лучше позволить Клер, если она пожелает, в Вашем отсутствии видеться с Аллегррой. Тех помех, которые есть теперь, тогда уже не будет; и такая уступка устранит все дальнейшие споры на эту тему. Люди сильно желают только того, в чем им отказывают или препятствуют. К тому же Вы покажете себя выше всех обидных слов, какие она могла Вам написать, — а ведь так оно, конечно, и есть.

Я был бы очень рад письму от Вас и известиям о новых песнях «Дон Жуана» или чего-либо другого. Последнее время Вы нас этим не баловали. Миссис Шелли присоединяется к моим лучшим пожеланиям, а я, дорогой лорд Байрон, остаюсь искренне Вашим

Перси Б. Шелли

P. S. Если бы я поехал в Левант и Грецию³, могли ли Вы быть мне чем-нибудь полезны? Если да, то Вы весьма меня обяжете.

144

МАРИАННЕ ХАНТ

*Баньи ди Пиза,
29 октября 1820*

Дорогая Марианна!

Я с удовольствием узнал, что Вы жалуетесь на мое молчание, хотя у меня гораздо больше оснований жаловаться на Ваше. Это, по крайней мере, сулит мне письмо от Вас, а Вы даже не знаете, с какой радостью мы получаем и с каким нетерпением ждем вестей от Вас — почти единственных оставшихся у нас друзей.

Я боюсь, что суровая экономия, к которой Вы вынуждены, очень Вас раздражает и вредит здоровью Ханта, так же как и непосильная работа, о которой я сужу по «Индикаторам» и «Экзаминарам»¹. Как я хотел бы чем-нибудь помочь Вам — но раз Вы знаете, что это желание искренне, уже одно выражение его, быть может, Вас подбодрит.

Гисборны приехали, привезли вести о Вас, а также книги; но большую их часть еще предстоит получить морским путем. Мы получили новую книгу Китса²; отрывок, озаглавленный «Гиперион», показывает, что ему суждено стать одним из лучших поэтов нашего времени. Остальные его произведения достаточно несовершенны и — что еще хуже — написаны в том дурном стиле, который входит в моду у тех, кто думает, будто подражает Ханту и Вордсворту. Но хуже всего — том Барри Корнуолла, озаглавленный «Сицилийская повесть». Сама «Сицилийская повесть» довольно мила, но надеюсь, что остальные вещи в этом томе³

Хант найдет прескверными, хотя он со своей обычной добротой напечатал в «Экзаминере» единственные хорошие три строфы из «Гигеса». Впрочем, мне не пристало осуждать Ханта за доброту, ибо никто стольким не обязан ей, как я. — Неправда ли, вульгарность этих жалких подражаний лорду Байрону достигает тут своего предела? К тому же эти непристойности, сексуальные и прочие, совсем не к лицу автору. Он только прикидывается распутником⁴; а на деле, как я слышал, — это весьма приятный, любезный и дружелюбный человек. Ну разве это не ужасно? У лорда Байрона это согласуется с его натурой, а остроумие и поэзия у него столь ярки, что в их блеске теряется все, что есть тут темного. Они даже противоречат ему, ибо доказывают, что сила и красота человеческой природы способны победить все, что по видимости с ними несовместимо. Но, когда писатель одновременно и непристойен и скучен, это преступление против богов, людей и печатного слова. Только ради бога не показывайте мое письмо никому, кроме Ханта; я не хотел бы потревожить осиное гнездо обидчивого племени поэтов.

Где сейчас Китс? Я с нетерпением жду его в Италии, где окажу ему всяческое внимание. Я считаю его жизнь весьма драгоценной и принимаю близко к сердцу его благополучие. Я хочу лечить и тело его, и дух; первое буду держать в тепле, а второй — обучать греческому и испанскому. Я сознаю при этом, что вскормлю соперника, который оставит меня далеко позади; это служит мне дополнительным мотивом и явится дополнительным удовольствием.

Мы сейчас переезжаем из Баньи ди Пиза, так как река Серкио вышла из берегов, и все вокруг затоплено. У нас гостит мой старый друг и земляк капитан Медвин⁵, мы с нетерпением ждем Китса, которому я написал бы, если бы знал куда.

Прощайте, милая Марианна. Напишите поскорее, поцелуйте за меня всех детей, сообщите, как они, и передайте мой привет Бесси и Ханту.

Неизменно любящий Вас

П. Б. Шелли

145

КЛЕР КЛЕРМОНТ

Милая Клер!

На днях я нацарапал тебе несколько слов, только чтобы показать, что я тебя не забыл; так как к письму была приписка от Мери, я ничего не написал там из того, что хотел. Миссис Мейсон только что передала мне твое письмо, привезенное супругами Тантини¹. Вчера вечером я у них был и с грустью услышал подтверждение твоего письма. Они говорят,

*Пиза,
29 октября 1820*

что ты выглядишь очень печальной и унылой, но приписывают это погоде. Тебе, должно быть, очень плохо, если это стало заметно даже им. Бодрись, дорогая девочка, до нашей встречи в Пизе. Если б не миссис Мейсон, я сказал бы: возвращайся немедленно и откажись от плана, который так тебе не по душе, — но сейчас я считаю, что тебе следует потерпеть, — хотя бы до приезда сюда. Впрочем, что бы ты ни решила, ты знаешь, где найдешь неизменно любящего друга, который так скучает в твоём отсутствии, что всегда будет рад твоему возвращению. К тому же я считаю, что в твоих же интересах соблюдать известные... Что до рекомендаций; я о них похлопочу. Сейчас я мало вижу м-сс Мейсон, а ведь даже если и увижусь, привлечь ее внимание к интересующему нас предмету можно разве только обратившись с прямой просьбой, что в данном случае для меня затруднительно. Друзья Медвина² еще не прибыли. Я почти уверен, что после их приезда сумею получить от него рекомендательные письма для тебя. Я еще не говорил с ним об этом, но знаю, что он сделает все от него зависящее.

На прошлой неделе у меня был сильный приступ моего недуга и возобновились спазмы. Утешаюсь мыслью, что очаг болезни находится в почках, и, следовательно, она не смертельна. Боли я готов терпеть; но нервная раздражительность, которую они после себя оставляют, — большое зло для меня; если бы я не боролся с нею непрерывно, а окружающие не старались мне это облегчить, она превратила бы мою жизнь в сплошную пытку. — Сейчас мне гораздо легче. Помогают веселые беседы Медвина, но что это в сравнении с твоими милыми утешениями, моя Клер.

Мы переехали в квартиру на Лунг-Арно, достаточно удобную; она стоит 13 цехинов в месяц. Она находится рядом с тем мраморным дворцом, называется Палаццо Галлетти и состоит из отличного mezzanino* и двух комнат на четвертом этаже; все они выходят на юг; есть два камина. Верхние комнаты — в одной из которых живет Медвин, а в другой я устроил себе кабинет (поздравь меня с уединением) — очень хороши; нынешний день я посвящу разбору книг и разложу бумаги, чтобы были под рукой. У Мери отличная комната внизу, и для малютки тоже достаточно места. Надеюсь, пизанская вода принесет мне облегчение, если болезнь моя — именно то, что предполагают.

В последнее время я ничего не читаю и не пишу, занят своими болями и Медвином, который очень интересно рассказывает о внутренних областях Индии. Говорили мы с ним также о планах одного из его друзей, человека очень богатого, который приедет в Ливорно весной и хочет посетить Грецию, Сирию и Египет³ на собственном корабле. Этот человек восхищается моими стихами и больше всего хотел бы, чтобы я его сопровождал. Насколько это осуществимо при моих денежных ресурсах, я еще

* Второй этаж (итал.).

не знаю. Знаю только, что если бы осуществилось, то доставило бы мне огромное удовольствие, которое от твоего присутствия удвоилось бы, а без тебя — уменьшилось вдвое. Все это со временем выяснится и решится, а пока запомни, что я говорю, и не упоминай об этом в письмах к Мери.

Гисборны в деле с паровой яхтой поступают как нельзя хуже⁴. Мистер Гисборн намерен сам использовать машину для раздувания мехов при литье чугуна — это придумано, чтобы нас обмануть. Генри недавно приехал в Баньи; у нас был долгий и очень решительный разговор, и я заявил, что если яхтой займется мистер Гисборн, то я категорически отказываюсь принимать участие в этом деле и ограничусь только тем, что получу деньги, которые они найдут возможным мне выплатить после продажи материалов. Я сказал также, что, если он изберет именно этот путь (т. е. передаст дело мистеру Гисборну), я оповещу своих друзей о том, как гнусно обошлись со мною он и его семья. Из разговора выяснилось, что для достройки судна нужны 400 крон, что эта сумма будет выручена от продажи материалов и немедленно употреблена именно на это. Таким образом, у меня есть надежда, что работы будут завершены — раз они сами будут заинтересованы, а я заявил о своей решимости не давать больше денег; конечно, я завишу от продажи материалов; если мистер Гисборн снова сумеет как-нибудь ей помешать, вся прибыль будет поглощена долгами. Впрочем, от продажи мне причиталось бы очень мало, а в другом случае мне, может быть, вернут все: Гисборны совершенно бесчестные люди. Это вообще самые противные животные, с какими я когда-нибудь встречался. — Они не приходят к Мери, как обещали, но, если придут, я уйду из дома, чтобы не надо было их принимать. Я укроюсь у миссис Мейсон.

Собираюсь изучать арабский язык — как ты понимаешь, с определенной целью. Узнай, нельзя ли купить во Флоренции арабскую грамматику и словарь, а также другие арабские книги, печатные или рукописные. Сперва спроси об этом доктора Бойти⁵, а если он не знает, обратись в библиотеку Молини⁶. Во всяком случае повидай Молини и сообщи мне все, что узнаешь. Полагаюсь в этом на твою доброту и любовь.

Вместе с деньгами на книги я могу и тебе прислать те скуди, которые тщетно пытался переслать во Флоренцию. Прости мне, милая, упоминание о скуди и не люби меня за это меньше, ибо они — часть неизбежной жизненной прозы, от которой не свободна и наша с тобой дружба.

Любящий тебя Шелли

146

ВИЛЬЯМУ ГИФФОРДУ, РЕДАКТОРУ «КУОТЕРЛИ РЕВЬЮ»

Пииза,
ноябрь 1820

Сэр!

Если прежде, чем читать это письмо, Вы взглянете на подпись, Вы можете подумать, что оно касается клеветнической статьи¹, некоторое время назад появившейся в Вашем журнале. Но я не обращаю внимания на анонимные нападки. Негодяй, написавший статью, несомненно нашел дополнительное удовлетворение в сознании руководивших им мотивов, не считая 30 гиней за лист, или сколько там Вы ему платите. Разумеется, Вы не можете нести ответственность за все, что помещаете, а я не сержусь на Вас за опубликование упомянутой брани; меня так позабавило сравнение меня с фараоном, что я охотно прощаю редактору, издателю, наборщику и переплетчику, словом, всем, доставившим мне это развлечение, кроме презренного писаки. Если говорить серьезно, я не имею привычки волноваться по поводу того, что обо мне говорят или пишут, хотя, вероятно, иной раз меня бранят с полным основанием. А что касается данного рецензента, «я утвердился там, куда он не взлетит»².

Иное дело — и именно это побудило меня писать Вам — автор «Эндимиона»³, на чувства и положение которого я заклинаю Вас обратить внимание. Я не вполне знаком с обстоятельствами дела, но убежден, что, если обращаюсь к мистеру Гиффорду и взываю к его гуманности и справедливости, он признает, что *fas ab hoste doceri**.

Я понимаю, что рецензент имеет прежде всего обязанности перед читающей публикой; я готов признать, что «Эндимион» — поэма далеко не совершенная и, быть может, заслужила все упреки, какие высказаны на страницах Вашего журнала. Но, не говоря о презрительном тоне, от которого не удержался рецензент «Эндимиона», я считаю, что он не воздал должного его достоинствам. Несомненно, что при всех своих погрешностях это произведение является выдающимся для человека столь юного, как Китс, и обещает в будущем достижение им таких высот, какие редко сулили даже сочинения тех, кто впоследствии снискал громкую литературную славу. Загляните в кн. 2, строки 833 и следующие, или в кн. 3, строки 113—120; прочтите всю эту страницу и дальше, начиная со строки 193. Я мог бы указать еще много мест, чтобы убедить Вас, что поэма заслуживала более благоприятного отзыва. Мне непонятно, зачем было вообще рецензировать эту поэму, если не для того, чтобы указать на ее достоинства, — ибо ее читают очень немногие, и можно не опасаться, что она распространит дурной вкус, который я в ней также признаю.

Рецензия повергла несчастного Китса в ужасное состояние, она омрачила ему жизнь; я уверен, что это не входило в намерения рецензента,

* У врага дозволено учиться (лат.).

однако ж он очень этому способствовал, — а следствием явилась болезнь, от которой он едва ли оправится. Мне рассказывали, что сперва он был близок к безумию, и только неустанный надзор помешал ему покончить с собой. Страдания его привели в конце концов к разрыву сосуда в легких, и у него началась чахотка. Он скоро приедет ко мне в Италию⁴, но я боюсь, что если не удастся сохранить ему душевный покой, то на один здешний климат нельзя возлагать больших надежд.

Однако я не хотел бы ничего вымогать, взывая к Вашей жалости. Я только что прочел вторую его книгу⁵, опубликованную, очевидно, с безразличием отчаяния. Я поручил своему книгопродавцу послать Вам экземпляр ее и прошу Вас обратить особое внимание на отрывок, озаглавленный «Гиперион», не законченный из-за упомянутой рецензии. Большая часть его бесспорно является самой высокой поэзией. Я говорю это беспристрастно, ибо принципы, каким Китс следует в других своих сочинениях, прямо противоположны моим. Предоставляю Вам судить самому — предположение, что Вы, пусть даже из самых лучших чувств, введете читателей в заблуждение, было бы для Вас оскорбительным⁶.

[Письмо не окончено]

147

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Пииза,
8 ноября 1820

Дорогой Пикок!

Я также медлил с ответом на последнее Ваше письмо, дожидаясь, чтобы было что сказать, во всяком случае что-либо для Вас интересное. Ящик с моими книгами, в том числе с Вашим трактатом¹ против занятий поэзией, еще не прибыл; а тем временем я дивлюсь, как Вы отстаиваете подобную ересь в наш деловой и сребролюбивый век. Благодарю Вас за правку корректур «Прометея», который, я боюсь, причинил Вам много хлопот. Среди полученных мною новых книг имеется томик Китса, сам по себе незначительный, но содержащий отрывок поэмы, озаглавленной «Гиперион». Едва ли Вы успели его прочесть; но это вещь несомненно замечательная и дает мне о Китсе представление, какого, должен признаться, у меня раньше не было.

От мистера Гисборна я узнал, что Вы царите над Хаосом бюллетеней и отчетов, в склепе, где оцепенела в глубокой спячке куколка многоцветной Психеи². Надеюсь, что когда-нибудь Вы оживете и подарите нам еще один «Мелинкорт». Ваш «Мелинкорт» очень нравится читателям, по-моему гораздо больше других Ваших произведений. На сей раз читатели судят верно. В нем больше живости и мысль определеннее, чем в «Хедлонг Холле» или в образе Сайтропа.

К литературным трудам у меня ослабела воля. Есть большие замыслы, но мало надежды их осуществить. Я читаю, но хотя я достаточно невежествен, из книг, по-видимому, я ничему не научусь. Правда, прием, оказанный мне читателями, способен охладить какой угодно пыл. Можно сказать, что публика права. Весьма справедливо, я в этом не сомневаюсь, и чем справедливей, тем менее приятно. В этом отношении мой опыт состоял из множества ушатов холодной воды. Сейчас я читаю одних только греков и испанцев. Платон и Кальдерон стали моими божествами. А живем мы в городе Пизе. У меня гостит школьный товарищ³, приехавший из Индии; мы вместе начинаем изучать арабский язык. Мери пишет роман⁴ о нравах средневековой Италии, которые она выкапывает из десятков старых книг. Я считаю, что он произведет впечатление; если нечто совершенно оригинальное может иметь успех, то я не обманусь в своих ожиданиях.

К Вам явится от меня человек, которому надо отдать фортепиано⁵. Если оно находится в Марло, Вы можете дать ему необходимые указания, как его получить.

Прощайте. *In publica commoda recessit, si longo sermone* *.

Преданный Вам

П. Б. Шелли

148

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Дорогой сэр!

Пиза,
10 ноября 1820

Мистер Гисборн прислал мне экземпляр «Прометея», очень красиво изданный. Жаль, что в нем так много опечаток, часто уничтожающих смысл, тем более, что стихи и без того понятны лишь немногим и лишь немногим могут понравиться. Список опечаток я пришлю через день или два.

Прилагаю несколько стихотворений, которые надо добавить к «Юлиану и Маддало»¹. У Вас, кажется, есть еще несколько мелких стихотворений для того же сборника; Вы, вероятно, знаете, что я не хочу, чтобы моя фамилия печаталась на титульном листе, хотя я и не делаю тайны из своего авторства.

Посылаю еще одно стихотворение², которое надо напечатать не с «Юлианом и Маддало», а в конце второго издания «Ченчи» или любых моих произведений, где указана моя фамилия, если бы готовилось их переиздание, чего я не жду. У меня есть причины для такого именно подбора, и эти стихи я отметил крестом.

* Столь длинной проповедью я погрешил бы против общественной пользы (лат.).



БАЙРОН ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ ВЕРХОМ.
Силуэт работы Марианны Хант.



МЕРИ ШЕЛЛИ.
Миниатюра работы Реджинальда Истмена.

Сердечно сочувствую горю Вашего брата. Жестокая судьба судила и мне видеть медленную смерть любимого ребенка и пережить его. Передайте брату мои соболезнования.

У меня гостит мой друг капитан Медвин, который показал мне свои стихи об охоте в Индии³, посланные Вам для опубликования. Они несомненно написаны очень изящно и правильно, хотя не относятся к высокой поэзии. Я был бы удивлен, если бы стихи были отвергнуты. Могу я просить Вас сделать все, что возможно?

Я напишу Вам со следующей почтой или со второй. «Юлиан и Маддало» и сопровождающие стихи представляют собой собрание наиболее печальных моих произведений. В дальнейшем я намерен к слезам примешивать больше улыбок.

Ваш покорный слуга

П. Б. Шелли.

149

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Пииза,
15 февраля 1821

Дорогой Пикок!

Последнее письмо от Вас, написанное почти четыре месяца назад, дошло до меня в посылках, которые Гисборны послали морем. Я рад узнать, что Вы здоровы телом и духом. Я получил одновременно Ваши печатные обличения поэзии¹ вообще и рукописные, касающиеся некоторых отдельных ее творений, и столь же решительно соглашаюсь со вторыми, сколь несогласен с первыми. Человек, у которого не разливается желчь от *ottava rima** Барри Корнуола, наверняка вообще лишен желчи. Мир чахнет от этой нездоровой пищи. Вместе с тем Ваши анафемы самой поэзии пробуждают во мне священную ярость, или *caloethes scribendi*** , отомстить за оскорбленных Муз. Мне очень хотелось скрестить с Вами шпаги на страницах журнала за честь моей возлюбленной Урании², но бог сотворил меня чересчур ленивым и лишил Вас славы подлинной победы. После того, как Вы сбросили с коня поэзию и мудрость величайших мудрецов всех времен, Вам слишком легко досталась бы победа надо мною — рыцарем призрачного щита и копья из паутинки³. К тому же я в то время читал Платонова «Иона», которого и Вам советую перечитать. Пожалуй, если сопоставлять теории Платона и Мальтуса, Цицеронов *navis egrae**** является резонным доводом. Но на сей предмет у меня имеется в запасе полный колчан аргументов.

* Октав (итал.).

** Благой порыв писать (лат.).

*** Предпочитаю ошибаться (лат.).

Читали ли Вы ответ Годвина апостолу богачей? ⁴ Что Вы о нем думаете? До меня он еще не дошел, как и Ваша посылка, которую жду со дня на день.

У нас в Италии надвигается кризис. Неаполитанская и австрийская армии быстро сближаются ⁵, и можно ежедневно ждать сражения. Первая вступила в Папскую область, взяла в Риме заложников, чтобы обеспечить себе нейтралитет с его стороны и, видимо, намерена испробовать свои силы в открытом бою. Нечего говорить, что у недисциплинированных неаполитанских рекрутов очень мало шансов устоять против войск, превосходящих их числом и опытом. Но история рождения свободы у народов изобилует примерами, когда обычные расчеты бывали опрокинуты; а поражение австрийцев послужило бы сигналом к восстанию по всей Италии.

Я обдумываю довольно обширные литературные планы. Но нет ничего труднее и безрадостней, чем писать без уверенности, что найдешь читателей; и если уж моя пьеса «Ченчи» почти не нашла их, я отчаялся написать что-либо, что заслужило бы их внимание.

Включаете ли Вы «Гипериона» Китса в число современных поэтических опытов, которые Вы поносите? Я нахожу эту поэму прекрасной. Другие его стихи немного стоят; но если «Гиперион» не является высокой поэзией, значит наши современники вообще ее не создали.

Подозреваю, что Вы ничего не пишете, кроме законов для Индии и т. п. ⁶ Я весьма смутно представляю себе Ваши занятия, но догадываюсь, что Вы имеете дело с пером и чернилами.

Мери просит передать Вам сердечный привет, а я остаюсь, дорогой Пикок, преданным Вам

П. Б. Шелли

150

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Пица,

16 февраля 1821

Дорогой сэръ!

Посылаю Вам три вещи — «Оду к Неаполю» ¹, сонет ² и более длинное произведение, озаглавленное «Эпипсихидион» ³. Два первые — мои собственные, и я прошу издать их при первой возможности, на удобных для Вас условиях.

Более длинную — поэму — я просил бы не считать моей; она как бы принадлежит той части моего «я», которой уже нет; так что в этом смысле предупреждение будет соответствовать истине ⁴. Она должна быть издана для немногих посвященных; а имя автора я хочу сохранить в тайне, дабы избежать злости тех, кто даже сладчайшую пищу превращает в отраву одним лишь своим разлагающим прикосновением. Я хотел бы,

чтобы поэма была напечатана немедленно, как можно проще и всего в ста экземплярах; людей, способных правильно оценить и воспринять столь отвлеченное сочинение, навряд ли найдется в таком количестве, — во всяком случае среди тех, кого заинтересует никому не ведомое анонимное произведение, а мне вовсе не хотелось бы, чтобы его читали невежды. Если у Вас есть книготорговый резон против издания в столь малом количестве экземпляров, просто разошлите их тем, кто, по-Вашему, получает удовольствие от такой поэзии, и, как только сможете, пришлите мне один по почте. Я писал так, чтобы доставить как можно меньше хлопот наборщику и редактору. Буду очень Вам признателен, если последнюю обязанность Вы возьмете на себя.

Есть ли надежда на второе издание «Восстания Ислама»⁵? Мне надо там многое исправить, а одну часть совершенно переделать. У меня в поэзии новые и высокие замыслы; но они, пожалуй, потребуют нескольких лет труда.

Мы здесь ежедневно ожидаем услышать о сражении между армиями Австрии и Неаполя. Последняя наступает на Рим; и первое столкновение, вероятно, произойдет в Папской области. Можете себе представить, как все здесь этого ждут.

Посылайте мне вести о моих духовных детищах. Что до «Прометей», то я не жду и не желаю его широкого распространения. «Ченчи» должна бы иметь успех.

Остаюсь, дорогой сэр,

Вашим покорным слугой

Перси Б. Шелли

151

ДОКТОРУ ТОМАСУ ЮМУ¹

*Пииза,
17 февраля 1821*

Сэр!

Я весьма сожалею, что вследствие недоразумения, вызванного временными трудностями, за мной оказалась в прошлом квартале задолженность по ежегодной сумме, присужденной моим детям. Если Вы возьмете на себя труд вручить прилагаемую записку моему другу мистеру Смиту², на Фондовой бирже, в любой день после 25 марта, и прошлый и текущий квартал будут оплачены; и я принял меры, чтобы подобные недоразумения впредь не повторялись.

Разрешите, пользуясь этим случаем, осведомиться о здоровье и умственном развитии моих детей; не имея удовольствия быть с Вами лично знакомым, я тем не менее уверен, что Вы извините и выполните эту просьбу отца, которого беспримерный произвол лишил родительских прав, расторгнув узы, донныне почитавшиеся священными даже при

жесточайших литературных гонениях. Я упоминаю о своих обидах, — ибо час справедливости еще впереди, — чтобы заранее выразить Вам и миссис Юм благодарность за доброту и заботливость (я не хотел бы довольствоваться словом «долг»), с каким Вы несомненно выполняете в отношении моих несчастных детей все, кроме того, что может только родитель. Когда они будут мне возвращены, я уверен, что время, проведенное ими под Вашей опекой, и они и я запомним как время, когда неизбежное зло этой противоестественной разлуки было для них в какой-то степени смягчено.

Прошу передать мой почтительный привет миссис Юм и остаюсь Вашим признательным и покорным слугой

Перси Б. Шелли

152

КЛЕР КЛЕРМОНТ

Пииза,
воскресенье, 18 февраля 1821

Милый друг!

Посылая чек, я написал всего несколько слов¹, которые ты, надеюсь, получила. В тот день у меня не было времени ответить на твои письма.

Ты продолжаешь изучать Германию, немецкую литературу и нравы и пытаешься завязать там знакомства. Попробовать несомненно стоит, если окажется подходящий случай, ибо всегда можно и отступить, если ты обманешься в своих ожиданиях. Конечно, положение *dame de compagnie** обычно сулит мало хорошего, но я готов верить, что в твоём случае будет исключение и что каждый, кто тебя близко узнает, обязательно к тебе привяжется. Но таковы ли твои возможности, чтобы взвешивать «за» и «против», точно дело зависит от тебя? Разве княгиня² — или другие твои флорентийские знакомые — обещали заняться твоими делами? Если ты действительно имеешь возможность поехать в Германию с какой-нибудь знатной немецкой дамой, мне кажется, что при твоём нынешнем настроении тебе не следует упускать такой случай. Не то, чтобы у тебя не было в запасе прибежища, куда ты можешь отступить. А к твоему нынешнему положению ты всегда сможешь вернуться.

Ты очень быстро *онемечиваешься*; твои замечания о том, как душевный мир отражается на лице или на всем облике итальянца или австрийца, составлены совершенно в духе *критики чистого разума*³. В них большая доля истины, но истины, ограниченной столькими исключениями, что для практической физиогномики она совершенно утрачивает значение. Надеюсь, что Германия и немцы оправдают твои ожидания. У меня не было случая составить о них понятие. Их философия, на-

* Компаньонки (франц.).

сколько я ее понимаю, созерцает одну лишь серебряную сторону щита истины; этим она лучше французской, которая видела только его острые края.

Ты извещаешь нас о Неаполе и тамошних делах; мы знаем о них лишь то, что сообщают из Флоренции. С каждой почтой можно ждать самых важных сообщений; но важно уже и то, что они защищаются против такой огромной и хорошо снаряженной армии⁴. Мне отвратительна низкая злоба, с какою Сгриччи⁵ рассказывает гнусные анекдоты о неаполитанцах; рабы, не смеющие последовать высокому примеру и обнять хотя бы тень Свободы, говорят о невежестве и буйстве толпы, которую именно гнет превратил в дикарей. Кто отрицает, что неаполитанская толпа груба? Она не умеет импровизировать трагедии, как Сгриччи, но верно ли, что она неспособна на большую любовь к родине? К тому же речь идет не о ней, а обо всем народе Неаполитанского королевства, о его крестьянах; внезапный и сильный толчок может пробудить в них мужество и гражданское сознание, как то было с французами и испанцами⁶, и превратить их в строителей новой жизни, в которой исчезнет нынешняя анархия, царящая в Европе. Со стороны тосканцев подло так относиться к Неаполю⁷.

Что до австрийцев, то они, несомненно, дисциплинированные солдаты, повинующиеся главной пружине, подобно частям исправного механизма; быть может, отдельные люди среди них и лучше неаполитанцев (хотя я этому не верю), но перед Духом Обновления все они — лишь соломинки перед бурей; события и самые стихии будут против них, негодование и отпор будут преследовать их до самых альпийских долин — Ломбардия возобновит некогда столь удачный союз против императорской власти⁸, а в довершение всего Германия тоже вырвет у своих угнетателей власть, переданную им на условиях, которые они отказались выполнять...⁹ Ты, должно быть, читала или слышала о ноте Британского кабинета министрам союзным державам. Даже беспринципный Каслри¹⁰ не решился поддержать их против Неаполя и осудил их позицию, по существу запретив им затрагивать Испанию и Португалию. Если австрийцы встретят сильное сопротивление, им лучше сразу же отступить, ибо Всемирный Дух Добра восстал против них. Если же они пойдут на Неаполь беспрепятственно, нам останется предаться печали, ибо это — конец наших надежд на политический прогресс.

Постарайся, милая, чтобы прошение Эмилии¹¹ было вручено герцогине. Я обещал ей добиться этого, и хотя надежды мало, какая-то возможность успеха все же есть. Прощение, по ее просьбе, написал я, хотя она сама сумела бы это сделать в тысячу раз лучше; она написала княгине Роспильози с просьбой поддержать ее прошение и написала так трогательно и жалостно, что письмо должно подействовать. В прошении ничего этого нет. Впрочем, подобные вещи зависят больше от фактов, чем от слов. Может быть, прошение мог бы вручить Бойти? Нет, это не

годится. Может быть, ты попросишь об этом мадам Мартини или мадам Орландини? ¹² Прошу тебя, сделай что-нибудь, иначе мне придется самому приехать во Флоренцию, а это мне совсем не подходит.

Дель Россо ¹³ я еще не видел. Вчера я предполагал ехать в Ливорно, но Вильямс, который должен меня сопровождать, задержался до сегодняшнего дня. Оттуда я напишу.

Как я рад узнать, что ты здорова! Нет ничего ценней здоровья, телесного и душевного, как слишком хорошо знает автор этих строк, лишенный и того и другого. — Напиши мне подробно, как ты ладишь с итальянскими друзьями, как занимаешься немецким языком. Я пришлю тебе словарь, если найду таковой в Ливорно. «Будь счастлива, сильна будь и люби» ¹⁴, как велит Мильтон. Прощай, дорогая девочка, и верь моей неизменной и нежной привязанности.

Любящий тебя

Ш.

Китс в Неаполе, и очень болен ¹⁵. Я написал ему, приглашая в Пизу, но не к нам в дом. Мы для этого недостаточно богаты. Бедняга! Я возмущен наглостью Сгринчи и, разумеется, не позволю ему воспользоваться мной для целей, о которых ты пишешь.

153

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Пиза,
22 февраля 1821

Дорогой сэръ!

Эссе Пикока ¹ находится сейчас во Флоренции. Я за ним послал, а свою статью о поэзии ² перешлю Вам, как только она будет написана. т. е. через несколько дней. Однако я не хотел бы, чтобы Ваш журнал ³ запоздал, пока Вы ее дожидаетесь. За статью я ничего не возьму, ибо давно решил написать ее и обещал ее Вам еще до того, как узнал о Ваших щедрых условиях; но в дальнейшем, если мне придут в голову мысли, достойные опубликования, я с удовольствием буду сотрудничать в Вашем журнале на этих началах. А пока Вы можете напечатать «Оду к Неаполю», сонет ⁴ или любое мое короткое стихотворение, которое у Вас имеется.

Полагаю, что поэма «Юлиан и Маддало» ⁵ уже вышла. Если нет, не добавляйте к ней «Атласскую волшебницу». «Волшебницу» можете, как обычно, подписать моим именем. Последнюю посланную мною поэму ⁶ я уже, кажется, просил Вас напечатать немедленно и без подписи. Я буду очень рад получить несколько экземпляров посылкой, но не хочу, чтобы печатание долее откладывалось.

Я сомневаюсь относительно «Карла Первого»⁷; но, если уж я его напишу, он будет исполнен суровых и возвышенных чувств. С удовольствием отдам его Вам на предлагаемых Вами условиях; как только я увижу и почувствую, что могу его написать, можно будет считать его уже написанным. Я стремлюсь создать нечто гораздо более высокое; но для осуществления этого замысла понадобится несколько лет. Сейчас я пишу главным образом затем, чтобы проверить, по тому приему, какой мне оказывают, гожусь ли я на столь великое дело. Боюсь, что Ваш отчет не слишком меня обрадует.

Можете ждать от меня письма, вместе с ответом Пикокку, в течение недели. Я постараюсь разработать предмет в основных его частях и разоблачить тайного идола этих заблуждений.

Если какой-либо достойный внимания журнал станет уж очень меня бранить или наоборот, будьте добры прислать его мне по почте.

Если не слишком поздно, прошу в посылке прислать следующие книги: наиболее полную и точную историю геологических открытий. Если таковая не исчерпывается какой-либо одной книгой, пришлите две или три. Историю последней войны в Испании; кажется, такую написал Саути⁸. Рассказ об осаде Сарагосы — майора такого-то — это маленькая брошюра. «Историю его времени»⁹ Бернета и «Старую английскую драму» в трех томах¹⁰.

Прошу извинения за отвратительные перья, чернила и бумагу. Не могу найти пера, которое бы хорошо писало; а если не извиняете, пришлите несколько английских.

Я очень рад слышать об успехе Проктера¹¹ и надеюсь, что он и впредь будет пожинать лавры. Прошу сообщить, как был встречен «Освобожденный Прометей».

Ваш покорный слуга
Перси Б. Шелли

154

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Пииза,
21 марта 1821

Дорогой Пикок!

С этой почтой я посылаю Оллиеру 1-ю часть эссе из трех частей¹, которым я намерен возражать на Ваши «Четыре Века Поэзии». Вы увидите, что я толкую поэзию более широко, чем Вы, и, быть может, согласитесь с некоторыми из моих положений, которые не затрагивают Ваших. Впрочем, прочтите и судите сами; не станем уподобляться мистеру Прайсу и Пейну Найту², которые рычали друг на друга, точно плохо обученные гончие, когда они не могут догнать зайца.

Я с удовольствием услышал от мистера Гисборна о книжной посылке из Англии. Много ли там новых стихов? Ведь нынешние Бавии и Мевии³ весьма плодovиты; и я желал бы, чтобы те, кто адресует мне посылки с книгами, прочли и намотали себе на ус Ваши «Четыре Века Поэзии», ибо я охотнее получу для чтения книги о политике, геологии или морали, чем всю эту чепуху в форме terza, ottava и tremilesima rima*, которая своей низкой вульгарностью притянула на себя молнии Вашего гнева, заодно обрушившиеся и на святыни бессмертных песен. Стихи Проктера бесят меня куда более, чем Корд бесил Ювенала⁴, и немудрено; Ювенал мог и не быть им оглушен, если не хотел, а у меня ящики набиты хламом, не оставляющим места тому, что я хотел бы прочесть. Но Ваш ящик это искупает. Мы здесь, в Пизе, живем на революционных вулканах, которые пока только светят, но не сжигают; поток лавы еще не достиг Тосканы. Впрочем, из газет Вы узнаете больше, чем мне позволяет написать осторожность; на этот раз я буду соблюдать закон Политического Молчания — австрийцы желали бы, чтобы так же поступали неаполитанцы и пьемонтцы.

Часто ли Вы видитеcя с Хоггом? А с Бойнвилами и Колсоном⁵? С Хантом — едва ли. По-прежнему ли Вы заняты? Этой зимой мы жили менее уединенно, чем обычно, и завязали одно интересное знакомство — с греческим князем⁶, знатоком древней литературы и большим энтузиастом свободы и развития своей страны. Мери уже несколько месяцев изучает греческий язык и читает «Антигону» с нашим приятелем в тюрбане, которого, в свою очередь, обучает английскому. Клер провела карнавал во Флоренции и веселилась сверх всякой меры. У меня было сильное воспаление глаз, и я всю зиму мало читал и писал; а в одном заброшенном монастыре познакомился с единственной итальянкой⁷, которая меня заинтересовала.

Я имею до Вас просьбу. А именно купите в Лейстер-сквере на 2 фунта гемм⁸, самых красивых, какие найдете, в том числе с головой Александра⁹ и закажите две печати, одну поменьше, а другую покрасивее с изображением раскинувшего крылья голубя и девизом: Μάντις εἰμί ἐσθλῶν ἀνθρώπων**¹⁰.

Мери шлет Вам сердечный привет, а я, дорогой Пикок,

остаюсь искренне Вашим

П. Б. Ш.

* Терцин, октав и трехтысячников (итал.).

** Я — пророк победоносных сражений (греч.).

155

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пииза,
16 апреля 1821

Дорогой лорд Байрон!

Вернувшись из поездки по окрестностям, я нашел Ваше письмо, на которое поэтому не ответил раньше.

Я, кажется, уже писал Вам, что никогда не читаю писем Клер к Вам. Однако я готов верить, что они способны вызвать раздражение и то, что она пишет об Аллгре, — неразумно. Мери не менее меня убеждена, что Ваше отношение к Аллгре было безупречным, и мы полностью согласны, что при существующих обстоятельствах необходимо поместить ее в монастырский пансион, где-либо неподалеку от Вас. По-моему Вам следует рассматривать протест Клер, если она его высказывает, как следствие неразумной материнской любви, за которую можно осуждать, но следует также и жалеть. Я не показал ей Ваше письмо. Лучше избегать поводов к раздражению, хотя бы единственным следствием были терзания того, кто его чувствует. Излишне говорить, как я был бы рад получить от Вас письмо на эту или иную тему. Мери, подобно мне, живо интересуется всем, что касается Аллгры, и если обстоятельства когда-либо принудят Вас изменить Ваши нынешние планы относительно ее, Мери просит Вас верить, что она с радостью докажет это на деле.

Я прочел в газетах, что Вы выпустили в свет трагедию¹ на сюжет, о котором Вы говорили во время нашей встречи в Венеции. Я еще не видел ее, но чрезвычайно интересуюсь этой новой гранью Вашего таланта. Последнее Ваше произведение, которое я прочел, было «Дон Жуан», где Вы в поэтических пассажах достигли тех же высот, что в лучших строфах Ваших прежних поэм, если не считать сцены проклятия в «Манфреде»², строк о Шильоне в III песни «Чайльд Гарольда»³ и обращения к Океану⁴ в IV песни. Сейчас Вы достигли примерно того возраста, когда великие поэты, о которых мы имеем достоверные сведения, всегда начинали лучшую свою поэму, считая все предыдущие, как бы ни были они превосходны, лишь упражнениями, лесами, ступеньками, которые вели их к величайшему творению. Если Вы чем и уступаете им, то не гениальностью, а трудолюбием и решимостью. О, если б Вы отделились целиком великой задаче создания поэмы, которая заключала бы в себе зерно вечного, как для наших времен, так и для будущих!

Молодой Китс, так много обещавший своим «Гиперионом», недавно умер в Риме от разрыва кровеносного сосуда, доведенный до отчаяния оскорбительной критикой его книги в «Куотерли ревью»⁵. Прощайте. Мери присоединяется к моим пожеланиям.

Преданный Вам

П. Б. Шелли

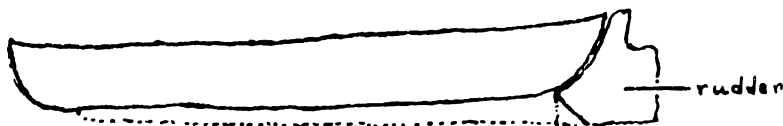
156

ГЕНРИ РЕВЛИ

Кава Аулла, Пиза,
19 апреля 1821

Дорогой Генри!

Уключины, или места для весла, должны быть не там, где они сейчас, но ближе к мачте, как можно ближе, чтобы гребцу было где сидеть. Кроме того, надо сделать фальшкиль вот такой формы



у кормы он должен иметь четыре дюйма в ширину, а к носу постепенно сужаться; его можно сделать как угодно тонким.

Передайте мистеру и миссис Г[исборн], что я прочел «Нумансию»¹; одолев весьма скучный I акт, пришел в восторг и подивился умению автора пробуждать сострадание и восхищение — умению, в котором с ним едва ли кто может сравниться. Собственно поэзии в этой пьесе, пожалуй, мало, но слог и стих отличаются таким мастерством, что начинает казаться, будто там есть и поэзия.

Прощайте. Скоро свидимся.

Преданный Вам

Ш.

157

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пиза,
4 мая 1821

Дорогой лорд Байрон!

Ваше предложение встретиться этим летом доставило мне величайшее удовольствие, тем более, что отсутствие Клер заставляет надеяться, что оно осуществимо. Не согласитесь ли Вы приехать и провести с нами лето в нашем уединении, у подножья Пизанских гор? Я живу, как обычно, вдали от общества, которое не смог бы выносить, даже если бы оно выносило меня. Вы легко можете себе представить, какое удовольствие Ваше согласие доставит Мери и мне. Если Вы приедете, привозите с собой кого угодно и устраивайтесь, как Вам удобно, ибо у нас будет «много места и простора»¹. Клер сейчас живет у людей, которые были к ней очень добры

и ввели ее в итальянское общество; с ними она, наверное, проведет все это лето, а может быть, останется гораздо дольше. В Пизе ее нет.

Боюсь, что известие о Китсе достоверно². Хант говорит, что первый приступ отчаяния вызвал у него разрыв кровеносного сосуда, и с этого началась скоротечная чахотка. Нет сомнения, что раздражительность, приведшая к этой катастрофе, сулила ему много страданий в будущем, если бы он остался жить. Однако этот довод не может примирить меня с презрительным и оскорбительным отзывом о человеке за то лишь только, что он писал плохие стихи; или, как Китс, иногда и хорошие стихи в дурном вкусе. Некоторые растения, требующие осторожности при выращивании, могут дать прекрасные цветы, когда достигают зрелости. Ваш пример в этом случае не применим. Вы ощущали в себе довольно сил, чтобы взлететь выше стрел; орел вскоре исчез в поднебесье, которое его взрастило, а глаза стрелявших не выдержали сияния. Что до меня, я, кажется, ненормально равнодушен к подобным похвалам или брани; и это, быть может, лишает меня стимула сделать то, чего я уже не сумею, а именно: написать нечто достойное названия поэзии. Зато благодаря этому счастливому безразличию я еще способен наслаждаться творениями тех, кто сумел; неуспех у читателей еще не превратил меня в бессердечного и злобного критика — эту вторую ступень в иерархии неудавшихся писателей.

Что касается достоинств Китса как поэта, то я сужу о них главным образом по отрывку поэмы, озаглавленной «Гиперион», которого Вы, возможно, не читали и которому, я думаю, не отказали бы в высокой похвале. Сила и красота его таланта проступают сквозь налет ограниченности и дурного вкуса, которые сказывались в его произведениях (к большому ущербу для сокрытой в них подлинной прелести). Вашего памфлета я не читал³, но уже послал за ним в Париж, где его, оказывается, переиздали. Трагедию⁴ я также еще не читал, но жажду прочесть. Мы ждем от Вас чего-либо достойного английской сцены взамен жалкой чепухи, которую от Милмана⁵ до Барри Корнуолла⁶ навязывают нам с тех пор, как появился спрос на трагические представления. Я не знал, что Китс выступал против Попа⁷; я слышал, что это сделал Баулс и что Вы за это весьма сурово с ним расправились. Очевидно, Поп избран в качестве некоего стержня в споре о вкусах, в котором я должен объявить себя нейтральным, пока не уразумею сути дела. Я, конечно, не считаю Попа или *любого другого поэта* образцом для всех последующих; если же решат, что должно быть именно так, то вопрос сведется к тому, в *какой форме* будет постоянно воспроизводить себя посредственность, — ибо истинный гений завоевывает право не считаться ни с какими предшественниками, — так что этот вопрос меня не интересует. Моя трагедия «Ченчи», кажется, потерпела полный провал, — по крайней мере, судя по молчанию издателя⁸. Сейчас, когда она написана, я понимаю, что сюжет был выбран неудачно, но, сочиняя ее, я думал иначе. Мне хотелось бы верить, что она или любое другое мое произведение заслуживает Вашей дружественной похвалы. «Проме-

тей» также весьма несовершенен⁹. Я начинаю понимать, *quid valeant humeri, quid ferre recusent**.

Попытка переворота в Италии¹⁰ оказалась весьма неудачной. Не будучи в ней лично заинтересованным, я крайне разочарован по мотивам общественным. Но я цепляюсь за моральную и политическую надежду, как утопающий за обломок челна. Быть может, наша собственная страна очень скоро потребует всего нашего сочувствия.

Я буду регулярно пересылать Клер ежемесячные бюллетени синьора Замбелли¹¹. Думаю, что Вы избавите ее от тревоги, если поручите ему делать эти сообщения пунктуально и подробно. Из Ваших слов я заключаю, что Клер писала Вам весьма нелепые письма. Я надеюсь, что в обществе, где она сейчас возвращается, она излечится от преувеличенных представлений, из которых проистекают ее поступки. Наша уединенная жизнь и мой чересчур отвлеченный образ мышления были для нее весьма неподходящими и, вероятно, явились причиной всех ее ошибок. Поэтому именно мне следует просить за нее прощения.

Я с большим нетерпением жду Вашего ответа, который решит, буду ли я иметь огромное удовольствие видеть Вас этим летом у себя. Если меня ждет разочарование, я, конечно, постараюсь сам навестить Вас, но из-за множества обстоятельств визит будет кратким и для меня неудобным.

Неизменно преданный Вам, дорогой лорд Байрон,

П. Б. Шелли

158

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

*Пиза,
8 июня 1821*

Дорогой сэр!

Вы можете объявить о выходе поэмы под заглавием «Адонаис». Это — элегия на смерть бедного Китса, с некоторыми выпадами по адресу тех, кто убил его покой и его славу. Поэме будет предпослан критический разбор «Гипериона», где я утверждаю, что этот отрывок дает Китсу право на то высокое место, какое я отвожу ему среди поэтов. Поэма закончена; она состоит примерно из сорока спенсеровых строф¹. Я пошлю ее Вам, либо уже отпечатав ее в Пизе, либо переписав таким образом, чтобы корректору было трудно пропустить в ней опечатки вроде тех, которые усугубляют непонятность «Прометея». Но, если я пошлю ее отпечатанной, это будет сделано только во избежание ошибок; я отпечатаю всего несколько экземпляров и наиболее дешевым способом.

Если Вас это достаточно интересует, я хотел бы просить Вас справиться у друзей и родственников Китса об обстоятельствах его смерти и перес-

* Что убрали бы с плеча, что отказались бы нести (лат.).

лать мне все сведения, какие Вам удастся собрать, в особенности о той — несомненной для меня — роли, какую сыграли грубые нападки «Куотерли ревью», вызвав болезнь, от которой он скончался².

На свое последнее письмо я не получил ответа. Получили ли Вы мое сочинение³ для Вашего журнала?

Искренне Ваш
П. Б. Шелли

159

ЛИ ХАНТУ, РЕДАКТОРУ «ЭКЗАМИНЕРА»

Пииза,
22 июня 1821

Сэр!

Узнав, что в Лондоне тайком от меня¹ издана поэма «Королева Маб» и что против издателя возбуждено судебное дело, я прошу Вас поместить следующее разъяснение.

Поэма, озаглавленная «Королева Маб», была написана мною в возрасте восемнадцати лет², без достаточного чувства меры, но даже и тогда она не предназначалась для издания и была отпечатана всего в нескольких экземплярах для моих ближайших друзей. Я уже несколько лет не видел ее; для меня несомненно, что она лишена малейших литературных достоинств; а во всем, что касается морали и политики, равно как и тонких разграничений философских и религиозных систем, является еще более примитивной и незрелой. Я заклятый враг религиозной, политической и семейной тирании; и я сожалею об издании этого произведения не столько из литературного тщеславия, сколько из опасения, что оно способно скорее повредить, чем послужить делу свободы. Я поручил своему поверенному обратиться в Канцлерский суд с ходатайством о запрещении продажи поэмы; но после случая с «Уотом Тайлером» мистера Саути³ (написанным, кажется, в том же возрасте и с тем же безрассудным энтузиазмом) я мало надеюсь на успех.

Я снимаю с себя всякую ответственность за распространение враждебных существующему порядку мнений в той форме, в какой они выражены в указанной поэме, но, разумеется, протестую против насаждения христианской веры и монархических идей, каковы бы ни были их достоинства, с помощью столь сомнительных доводов, как конфискация и тюрьма, брань и клевета и грубое попрание самых священных уз⁴, существующих в обществе.

Ваш покорный слуга
Перси Б. Шелли

160

ДЖОНУ ТАФФУ¹Баньи ди Пиза,
4 июля 1821

Дорогой Тафф!

Не хочу дожидаться медлительного Розини, чтобы поблагодарить Вас за любезное письмо и за еще большую любезность, доставившую мне знакомство с графом Магоули².

Я признателен Вам также за замечания об «Адонаисе». Первое из них я принял, вычеркнув из предисловия весь абзац, касающийся моих личных обид. — Вы правы: мне не следует скалить зубы, прежде чем укусить, или когда укусить невозможно. Нежелательные выражения в самой поэме, о которых Вы говорите, я вынужден оставить как есть. — В употреблении имени *Христа*, как антитезы *Каину*, отнюдь не следует усматривать неуважения или насмешки. Надеюсь, что, перечитав это место³, Вы снимете свое обвинение. Между тем слово «священник» стоит в списке запрещенных. Но заметьте, что я пишу, как писал бы Мильтон в защиту великого дела, поражение которого омрачило его старость. Я пошлю Вам экземпляр, как только получу его, и если Вы не обижены тем, как свободно я принимаю или отвергаю Ваши ценные советы, я прошу Вас давать их и впредь — ибо исправления в предисловии были весьма на пользу. — Но довольно об этих мелочах.

Как Вам понравилась поездка во Флоренцию? И что там нового? У нас, как всегда, «плетутся мелкими шажками дни»⁴. Перси совсем поправился и весел, как жаворонок. Из Англии по временам доходят забавные вести о том, с какой нелепой яростью меня там ненавидят; и подобно тому, как я созерцаю грозу — величавый трагический балет, даваемый небесами, — так же точно, на безопасном отдалении, я смеюсь комической пантомиме, которую разыгрывают в Лондоне добрые люди с моей тенью в роли Арлекина.

Когда можем мы ждать Вас обратно в Пизу? Или Вы все еще намерены совершить поездку в Комо? Комо — один из прелестнейших уголков на земле; но я не уверен, что даже Эдем стоит предьявления паспортов, прохождения через таможенную, препирательств с возницами и трактирщиками и всего прочего, что природа разместила на пути от Апеннин к Альпам.

Прошу передать мой поклон мистеру Грейнджеру⁵ и принять от меня и миссис Ш. лучшие пожелания.

Преданный Вам
Перси Б. Шелли

161

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пииза,
16 июля 1821

Дорогой лорд Байрон!

У меня была некоторая надежда, что Вы, быть может, навестите меня этим летом в моем уединении в каштановых рощах, но Ваше молчание говорит, чтобы я Вас не ждал. Это разочарование заставляет меня подумывать, не совершить ли осенью нашествие в Равенну на неделю-другую, преодолев мою *vis inertiae* *. Уверены ли Вы, что мое посещение не будет докучным?

Я не сумел достать ни одного из Ваших последних опубликованных произведений — ни трагедию, ни «Письмо», ни «Пророчество Данте»¹, а мое желание прочесть их очень велико. Если у Вас есть экземпляры, Вы весьма меня обяжете, прислав их по почте; я не просил бы об этой услуге, если бы мог добыть их иным путем. А Вам я посылаю — как Диомед дал Главку² свое медное оружие взамен золотого — несколько строф на смерть Китса³, написанных как только я получил о ней известие. Хотя я убежден в правильности своей оценки «Гипериона», и мне кажется, что Вы согласились бы с ней, если бы прочли эту поэму, я сознаюсь, что волнение первых минут и возмущение завели меня чересчур далеко в похвалах. Но если я ошибся, я утешаюсь тем, что ошибся, защищая слабого, а не подпевая сильным. Возможно также, что я ошибся из-за односторонности своего взгляда на Китса — я видел лишь, насколько он превосходит меня, но не насколько он ниже других; вот в каких тонких формах может проявиться эгоцентризм! Я невольно, наперекор своему желанию, был вынужден коснуться брани «Куотерли» также и по моему адресу; опустить те несколько слов, где я об этом говорю, показалось мне аффектацией. Я хотел, не смягчая презрения, которым объяснялось до сих пор мое молчание, одновременно предотвратить бумажную войну по поводу моих произведений; противник всех войн, я в особенности избегаю этой. На эту тему у меня была переписка с Саути⁴, который отрицает, что был автором статьи о «Восстании Ислама»; я узнал, что им является либо преподобный мистер Милман, либо мистер Гиффорд⁵. Это пока остается неясным. Что касается поэмы⁶, которую я Вам посылаю, боюсь, что она стоит немногого. Одному богу известно, отчего (после столь сурового осуждения, каким является равнодушие читателей) я упорно продолжаю писать стихи; и только небо, чьи веления я выполняю так неумело, ответственно за мою самонадеянность.

Сейчас я получил и с этой же почтой отправлю бюллетень для Клер. Я с радостью увидел почерк моего маленького дружка⁷. Я все более убеждаюсь, что Ваша твердость была мудрой, и одобряю ее, тем более, что

* Силу инерции (лат.).

знаю, как сам был бы слаб на Вашем месте, и я ясно вижу, сколько зла эта слабость могла бы причинить. Благополучие Аллегры зависит от Вашей твердости.

Я все еще глубоко убежден, что Вы должны создать, — а если надежда может быть пророческой, то *создадите*, — большую поэму, которая будет иметь для нашего времени то же значение, что «Илиада», «Divina Commedia» * и «Потерянный Рай» имели для своего; это не значит, что Вы станете подражать их форме или позаимствуете их сюжет, или вообще возьмете их за образец. Вам известно мое горячее восхищение тем, что Вы уже сделали; но это лишь «disjecti membra poetae» ** по сравнению с тем, что Вы можете сделать, и не ставит Ваше имя в один ряд с этими великими поэтами. Вот честолюбивая цель (простите это низменное слово), единственно Вас достойная.

Вы пишете, что равнодушны к жизненным соблазнам. Но это скорее хороший, чем дурной признак. Бессмертный дух может жить и вещать, словно из иного мира, спустя долгое время после смерти человека. Однако я начинаю выражаться высокопарно, а между тем хочу всего лишь высказать простыми словами простую истину.

Мери шлет Вам сердечный привет, а я остаюсь преданный и любящий Вас

Перси Б. Шелли

162

МЕРИ ШЕЛЛИ

Равенна,
7 августа 1821

Милая Мери!

Я приехал сюда вчера вечером в 10 часов и до 5 утра просидел, беседа с лордом Байроном. Затем я лег спать, а в 11 проснулся и, наскоро позавтракав, спешу написать тебе, так как в 12 уходит почта.

Лорд Байрон здоров и очень мне обрадовался. Здоровье его поправилось, и он ведет совершенно иную жизнь, чем в Венеции. У него прочная связь с графиней Гвиччиоли, которая сейчас находится во Флоренции и, судя по ее письмам, очень милая женщина. Она ожидает там решения — эмигрировать ли им в Швейцарию или оставаться в Италии. Из Папской области она должна была поспешно уехать, так как ей грозило пожизненное заточение в монастыре. В Италии брачные цепи, согласно закону и общественному мнению, гораздо тяжелее, чем в Англии, хотя реже ощущаются. Я содрогаюсь, думая об участи бедняжки Эмилии¹. В Венеции лорд Байрон почти успел сгубить себя; он так ослабел, что не мог перева-

* «Божественная Комедия» (итал.).

** «Разъятые члены поэта» (лат.).

ривать пищу; его сжигала лихорадка, и он скоро погиб бы, если бы не эта привязанность, спасшая его от разврата, которому он предавался более из беспечности и гордости, нежели по склонности. Бедняга, — но сейчас он выздоровел и поглощен политикой и литературой. О первой он сообщил мне немало весьма интересных подробностей — но в письме мы о них говорить не будем. Флетчер² тоже здесь; словно тень своего господина, он худел и таял вместе с ним, а теперь вновь похорошел и из-под преждевременных седин у него снова растут льяняные кудри.

Вчера ночью мы много говорили о поэзии и тому подобном и спорили, как обычно, и даже больше обычного. — Он провозглашает свою приверженность теории³, которая может рождать одни лишь посредственные произведения, и хотя все его прекрасные поэмы сочинены наперекор этой системе, ее вредное влияние сказалось на «Венецианском доже»⁴, и, пока он от нее не откажется, она будет сковывать все его творчество, как бы ни было оно гениально. Я прочел «Дожа» только частично, вернее, он сам прочел мне отрывки и сообщил план всего произведения. Аллегра, по его словам, очень красива, но он жалуется на ее своенравие и властность. Он не намерен оставить ее в Италии; это было бы действительно дурно и вызвало бы осуждение. Он говорит, что графиня Гвиччиоли очень ее любит; в самом деле, отчего бы ей не заняться девочкой, раз она будет открыто с ним жить. — Но скоро я узнаю все это подробнее.

Лорд Байрон сообщил мне также нечто, сильно меня потрясшее, ибо столь злобного коварства я не в состоянии постичь. Подобные вещи подвергают тяжкому испытанию мое терпение и мою философию, и я с трудом удерживаюсь, чтобы куда-нибудь не скрыться и никогда больше не видеть человеческого лица. Оказывается, Элиза, либо обозленная тем, что мы ее уволили, либо подкупленная моими врагами, либо объединившись со своим негодяем мужем⁵, убедила Хоппнеров в столь чудовищных и невероятных вещах, что нужна особая склонность думать о людях дурно, чтобы поверить подобным сведениям из подобного источника. Мистер Хоппнер сообщил об этом в письме к лорду Байрону, объясняя, почему сам не желает более со мной общаться, и советуя ему то же самое. Элиза утверждает, будто Клер была моей любовницей — ну, это ладно, тут ничего нового нет, об этом все уже слышали и могут верить или не верить, как им угодно. — Она говорит далее, что Клер была от меня беременна, — что я будто бы давал ей самые сильные лекарства, чтобы вызвать выкидыш, а когда они не подействовали и она родила, тотчас же отнял у нее ребенка и отправил его в приют для подкидышей. — Привожу слова мистера Хоппнера — и все это, будто бы, произошло в ту зиму, когда мы уехали из Эсте. Она добавляет, что я и Клер ужасно обращались с тобой, что я тебя бил и держал в черном теле, а Клер ежедневно осыпала самыми грубыми оскорблениями, причем я ее к этому поощрял.

Мне совершенно безразлично, что говорят рецензенты и весь свет; но когда люди, знавшие меня, могут счесть меня способным не только

на ошибку и безрассудство, каким была бы любовная связь с Клер, но и на такое чудовищное преступление, как убить или бросить ребенка, притом своего, — вообрази, как легко можно отчаяться в добре, — как трудно слабой и чувствительной натуре, вроде меня, находиться в этом страшном людском обществе — точно проходить сквозь строй [*Три строчки зачеркнуты*]. Ты должна бы написать Хоппнерам, чтобы опровергнуть это обвинение, если уверена в его лживости, и привести доказательства, на которых основана твоя уверенность.

Мне нечего диктовать тебе, что именно написать и, надеюсь, не надо воодушевлять тебя для опровержения клеветы, которую ты одна можешь опровергнуть успешно. Если ты пошлешь письмо сюда, я перешлю его Хоппнерам. — Лорд Байрон еще не встал, адрес Хоппнеров мне неизвестен, и я не хочу упустить сегодняшнюю почту. [*Одна строчка зачеркнута, на этом рукопись кончается.*]

163

МЕРИ ШЕЛЛИ

*Равенна,
среда, 8 августа 1821*

Милая Мери!

Я писал тебе вчера, а сейчас начинаю новое письмо, не зная наверное, когда пошлю его, так как почта, говорят, отправляется только раз в неделю.

Предмет второй части моего письма тебя, несомненно, огорчил, но нельзя же от него прятаться, а единственный достойный ответ на клевету можешь дать ты, и только ты. Она, очевидно, вдохновила и грубые нападки «Литературной газеты»¹ — сами по себе презренные, но имеющие в своей основе нечто такое, что мы презреть не в силах, пока не сбросили своей смертной оболочки, — а именно, — что люди, которые нас видели и знали, считают нас способными на самые черные злодеяния.

Некоторую долю поношений следует терпеть, и это даже лучший комплимент, какой возвышенная натура может получить от гнусного мира, пребывание в котором заменяет ей муки ада; но подобные вещи превосходят меру, и надо их опровергать хотя бы ради нашего милого Перси. И они будут опровергнуты, даже если я буду вынужден к такой неприятной необходимости, как подать на Элизу в Тосканский суд.

Отправив тебе вчерашнее письмо, я пошел осмотреть кое-что из здешних древностей, которые, кажется, представляют интерес. Равенна занимала некогда обширную территорию; развалины ее находят более чем в четырех милях от ворот нынешнего города. Море, прежде подступавшее вплотную к городу, отошло на пять миль, оставив унылую болотистую низменность, кое-где возделанную, а ближе к берегу поросшую соснами, которые следовали за Адриатикой и чьи корни подмыты ее волнами.

Эта низина лежит почти на уровне моря, и стоит вырыть канаву в несколько футов глубиною, как она тотчас наполняется морской водой. Все древние здания на высоту от 5 до 20 футов занесены отложениями моря или нередких здесь в зимнее время наводнений.

Я поехал в экипаже Альбе прежде всего в Къеза Сан-Витале, наверняка одну из древнейших церквей в Италии. Она представляет собой ротонду, подпираемую контрфорсами и пилястрами из белого мрамора; это некрасиво, но несколько скрашивается внутренней колоннадой. Купол очень высок и узок. Вся церковь, несмотря на наносы, поднявшие уровень почвы, очень высока для своих размеров и весьма необычно построена. На части одной из больших мраморных плит, которыми выложена церковь, мне показали четкую, будто специально нарисованную фигуру капуцина, образуемую прожилками и пятнами на мраморе. Вот поистине случай чистой антиципации² капуцина. Затем я посетил гробницу Феодосия, сейчас посвященную Святой Деве, но совсем не переделанную. Она находится примерно на расстоянии мили от нынешнего города. Здание более чем наполовину ушло под землю, но часть нижнего этажа откопана; там стоит вонючая солоноватая вода, царит полумрак и во множестве обитают огромные лягушки. В архитектурном отношении здание примечательно; не принадлежа ко времени, когда античный стиль еще господствовал, оно, тем не менее, хранит его следы. В нем два этажа — нижний, с очень простым антаблементом, опирается на дорические арки и пилястры; верхний имеет внутри округлую форму, снаружи — многоугольную, а вместо кровли — плиту из цельного камня, и одному небу известно, как ее сумели поднять на такую высоту. Это — подобие приплюснутого грубо обработанного изнутри резцом купола, с которого северные завоеватели содрали украшавшие его серебряные пластины; снаружи он отшлифован и имеет нечто вроде ручек, также высеченных из цельного камня, в которые, вероятно, продевали веревки, чтобы его можно было приподнять. На второй этаж ведет современная каменная лестница. — Затем я посетил церковь, называемую Ла Класса ди Сан-Аполлинаре; это — базилика, возведенная не помню уж каким из императоров-христиан; длинное здание с крышей, как у амбара, опирающейся на двадцать четыре колонны из самого лучшего мрамора, с алтарем из яшмы и четырьмя колоннами, также из яшмы и из giallo antico*, которые поддерживают балдахин над дарохранительницей, представляющей, как говорят, огромную ценность. Она напоминает ту церковь (я позабыл ее название), которую мы видели в Риме — (San Paolo) fuori delle mura** — должно быть, император украл эти колонны, совершенно не подходящие к месту, где они сейчас стоят. — В самом городе, подле церкви Сан-Витале, показывают гробницу императрицы Галлы Пладиции, дочери Феодосия Великого,

* Желтого от времени мрамора (итал.).

** Сан Паоло за городскими стенами (итал.).

а также ее супруга Констанция, брата Гонория и сына Валентиниана — все они были императорами³. Гробницы представляют собой массивные мраморные ящики, украшенные грубыми и безвкусными резными изображениями ягненка и других христианских символов, — и почти никаких следов античного искусства. Как видно, первое, что сделало христианство, — это уничтожило прекрасное в искусстве. Гробницы находятся в сводчатом зале, отделанном грубой мозаикой и построенном, кажется, в 1300 году. — Больше я пока ничего не видел в Равенне.

Пятница [10 августа]

По вечерам мы ездим верхом в сосновом лесу, отделяющем город от моря. Вот как проходит у нас день — я приспособился к этому распорядку без большого труда, лорд Байрон встает в два — завтракает — мы беседуем, читаем и т. п. до шести, затем верховая прогулка, обед в восемь, а после обеда мы беседуем до четырех или пяти часов утра. Я встаю в 12 и сейчас посвящаю тебе время между своим пробуждением и его.

Лорд Байрон во всех отношениях переменялся к лучшему — это касается и таланта, и характера, и нравственности, и здоровья, и счастья. Связь с мадам Гвиччиоли оказалась для него неоценимым благом. — Он живет в роскоши, но не превышая своих доходов, которые составляют сейчас около 4000 в год; из них 1000 он тратит на благотворительность. У него были дурные страсти, но он их, видимо, победил и становится тем, чем должен быть, — добродетельным человеком. О его интересе к итальянским политическим делам и его участии в них нельзя писать⁴, но они тебя восхитили бы и удивили. — Он еще не решил переселиться в Швейцарию⁵; и она в самом деле ему не подходит; сплетни и интриги тамошних англазированных кружков измучат его, как и прежде, и могут вновь толкнуть к разврату, — которому он, по его словам, предавался не по склонности, а от отчаяния: мадам Гвиччиоли и ее брат⁶ (друг и поверенный лорда Байрона, всецело одобряющий ее связь с ним) хотят ехать в Швейцарию, как говорит лорд Байрон, просто ради новизны и перемены мест. Лорд Байрон предпочел бы Тоскану или Лукку и старается их переубедить. — Он попросил меня написать ей подробное письмо, чтобы убедить ее остаться в Италии. Несколько странно, чтобы совершенно незнакомый человек писал возлюбленной своего друга о столь деликатных предметах. — Но мне, как видно, суждено деятельно участвовать в делах каждого, с кем я сближаюсь. Итак, я изложил ей на плохом итальянском языке самые веские доводы, какие мог найти, против переезда в Швейцарию, — по правде сказать, я буду рад, чтобы платой за мои труды был его переезд в Тоскану. Равенна — жалкий город; жители ее неотесанны и грубы и говорят на самом ужасном patois*, какой ты можешь себе вообразить. Среди тосканцев ему будет во всех отношениях лучше. Флорен-

* Местном говоре (франц.).

ция, я боюсь, не понравится ему из-за множества англичан. А что ты скажешь насчет Лукки? Сам он предпочел бы Пизу, если бы не Клер; и я действительно не склонен советовать ему такое близкое соседство, как ради его блага, так и ее. — Порох и огонь следует держать на почтительном расстоянии друг от друга. — Есть Лукка, Флоренция, Пиза, Сиенна — и вот, кажется, все. — А как, по-твоему, не подойдут ли ему Прато или Пистойя? — англичане туда не ездят, но боюсь, что там не удастся найти для него достаточно хорошего дома. — Аллегру я еще не видел, но завтра или послезавтра съезжу для этого верхом в Баньякавалло⁷. — Он прочел мне одну из неопубликованных песен «Дон Жуана»⁸, поразительно прекрасную. — Она ставит его не просто выше, но намного выше всех современных поэтов; каждое слово отмечено печатью бессмертия. — Неудивительно, что я отчаялся соперничать с лордом Байроном; а ни с кем другим и не стоит состязаться. Эта песнь в том же духе, что и конец песни, и написана с неслыханной свободой и силой; там нет ни одного слова, против которого мог бы возражать самый строгий защитник достоинства человеческой природы; в какой-то степени это — осуществление моей давней мысли: создания чего-то совершенно нового и отражающего наш век — и, вместе с тем, непревзойденного по красоте. Быть может, это с моей стороны тщеславие, но я вижу тут след моих настойчивых советов — создать нечто совсем новое. — Он довел свое *жизнеописание* до настоящего времени и отдал Муру⁹ с правом продать за наибольшую цену, какую тот сумеет выручить, при условии, что оно будет опубликовано после его смерти. — Мур продал его Меррею за *две тысячи фунтов*. Я жалею, что не был при этом, чтобы попросить хотя бы часть в пользу бедняги Ханта. — О Ханте, однако, я с ним говорил, не имея прямой целью просить о вспоможении для него, и хотя я уверен, что не встретил бы отказа, что-то мешает мне это сделать. Лорд Байрон и я большие приятели, и будь я совершенным бедняком или будь я писателем, не могущим претендовать на большую славу, чем моя, или будь эта слава незаслуженно громкой, мы были бы приятелями во всем, и я, не колеблясь, просил бы его о любом одолжении. Но сейчас это не так. — Между двумя людьми в нашем положении гнездится демон недоверия и гордости, отравляя наш союз и мешая свободно общаться. Тяжелую подать приходится платить за то, что ты человек. Полагаю, что вина тут не моя; этого не может быть, ибо я — слабейший из двоих. Надеюсь, что на том свете такие вещи уладятся лучше. — От того, кто строго заглядывает в глубь собственного сердца, редко укроются тайные движения чужого.

Пиши мне во Флоренцию, где я пробуду по меньшей мере день, и перешли письма или сообщи о них. — Как мой дорогой малыш? И как поживаешь ты, и как подвигается твоя книга¹⁰? Правь ее построже и жди строгости от меня, твоего искреннего почитателя. — Лышу себя надеждой, что ты написала нечто единственное в своем роде и, не довольствуясь наследственной славой, еще больше прославишь свое имя. — Жди меня

в конце назначенного мною срока, — думаю, что дольше я не задержусь. — Что Клер, у нас? Или собирается приехать? Не слышала ли ты чего-нибудь о моей бедной Эмилии, от которой я получил письмо в день моего отъезда, извещавшее, что ее бракосочетание отложено на *очень короткий срок*, из-за болезни ее sposo *. — Как поживают Вильямсы, в особенности он? Передай им самый сердечный привет и позаботься, прошу тебя, чтобы они не нуждались в деньгах.

У лорда Байрона здесь великолепные комнаты в палатце, принадлежащем мужу его возлюбленной — одному из богатейших людей в Италии. Она ¹¹ с ним разошлась и получает 1200 крон в год — жалкие крохи от человека с 120 000 годового дохода. — Здесь живут две обезьяны, пять кошек, восемь собак и десять лошадей, и все они (кроме лошадей) расхаживают по дому, как полные его хозяева. Венецианец Тита ¹² — также здесь и исполняет обязанности моего камердинера; дюжий мальчик с пышной черной бородой, который заколол на своем веку двух или трех человек, а выглядит необыкновенно добродушным.

Из Греции доходят сюда хорошие вести ¹³; есть слухи о войне с Россией. Я не хотел бы, чтобы русские в этом участвовали. Как и Эсхил, я считаю, что τὸ δουραβεῖς — μετὰ μὲν πλεῖστα τίχεται, ὀφειτέρα δὲ μὴ γέννα**

Вот тебе упражнение в греческом языке. От рабства можно ждать только тирании, как от семени — растения.

Прощай, милая Мери.

Любящий тебя

Ш.

[P. S.] Это письмо я посылаю спешной почтой во Флоренцию.

164

ГРАФИНЕ ГВИЧЧИОЛИ ¹

Равенна,
9 августа 1821

Сударыня!

По просьбе моего друга лорда Байрона я считаю своим долгом поделиться с Вами некоторыми соображениями о Вашем предполагаемом переезде в Женеву ², чтобы Вы могли себе представить, к каким неудобствам он может привести. Смею думать, что эта просьба и побуждения, заставляющие меня ее исполнить, извинят в Ваших глазах вольность, какую позволяет себе человек, совершенно Вам незнакомый. Единственной моей заботой является душевный покой моего друга и тех, чья судьба столь близка его сердцу. Я не имею и не могу иметь иных побуждений, и, чтобы убедить Вас в совершенной моей искренности, скажу, что сам был жертвою нетерпимости духovenства своей страны и тиранов и, подобно Вашей

* Жениха (итал.).

** Одно дурное дело влечет за собой другое (греч.).

семье, получил в награду за любовь к родине одни лишь гонения и клевету.

Позвольте, сударыня, изложить причины, которые, как мне кажется, делают Женеву неподходящей в качестве убежища. Ваше положение несколько напоминает то, в каком оказались моя семья и лорд Байрон летом 1816 года. Мы жили в близком соседстве и, не ища другого общества, вели жизнь уединенную и спокойную; трудно вообразить себе образ жизни более скромный и менее всего способный навлечь клевету.

Клевета эта была чудовищной и слишком гнусной, чтобы мы, ее жертвы, могли защититься презрением. Женевцы и жившие в Женеве англичане, не колеблясь, утверждали, что мы предаемся самому разнузданному разврату. Говорили, что все мы подписали пакт, которым обязались надругаться над всем, что почитается священным в человеческом обществе. Позвольте, сударыня, избавить Вас от подробностей. Скажу только, что нас обвиняли в *кровосмешении*, *безбожии* и многом другом — то нелепом, то ужасном. Английские газеты не замедлили распространить эти сплетни, а нация всецело им поверила.

Какими только способами не досаждали нам! Жители домов, выходявших на озеро напротив дома лорда Байрона, пользовались подзорными трубами, чтобы следить за каждым его движением. Одна английская дама от испуга лишилась чувств (может быть, притворно), когда он вошел в гостиную. Распространялись самые оскорбительные карикатуры на него и его друзей; и все это за какие-нибудь три месяца.

На лорда Байрона все это подействовало очень плохо. Его природная веселость почти совершенно его покинула. Чтобы терпеливо сносить подобные оскорбления, надо быть больше, чем стойком, — или меньше.

Не обольщайтесь надеждой, сударыня, что англичане, зная лорда Байрона за величайшего поэта нашего времени, не решатся поэтому тревожить его и преследовать. Они восхищаются его творениями помимо своей воли; ради удовольствия они его читают, а вследствие присущих им предрассудков они его чернят.

Что до женеvцев, то они не стали бы его тревожить, если бы не тамошняя английская колония, привезшая с собой свои мелочные предрассудки и беспокойную ненависть ко всем, кто их превосходит или чуждается; и, так как причины для этого остаются и теперь, следствия будут те же.

Англичан в Женеве почти столько же, сколько местных жителей; их богатство заставляет перед ними заискивать; женеvцы занимают при них положение лакеев или, в лучшем случае, хозяев гостиниц в городе, целиком сданном иностранцам.

Одно лично мне известное обстоятельство покажет Вам, какого приема Вы можете ждать в Женеве. Единственный женеvец, на чью верность и преданность лорд Байрон имел все основания рассчитывать, оказался как раз в числе тех, кто распространял самую гнусную клевету. Один из моих друзей, обманутый им, невольно выдал мне его коварство, что вы-

нудило меня предостеречь друга против лицемерия и порочности человека, который ввел его в заблуждение. Вы не представляете себе, сударыня, как неистово известный класс англичан ненавидит тех, чье поведение и взгляды хоть чем-то разнятся с его собственными. Взгляды их составляют целую систему предубеждений, непрерывно требующую и непрерывно находящую все новые жертвы. Как ни велика ненависть религиозная, она уступает у них ненависти социальной. В Женеве эта система принята, и, раз она однажды уже действовала против лорда Байрона и его друзей, я опасюсь, что в случае осуществления Вашего путешествия те же причины вызовут те же следствия. Привыкнув к более мягким нравам Италии, Вы едва ли представляете себе, сударыня, до чего доходит эта социальная ненависть в менее счастливых краях. Я испытал ее на себе; я видел, как все, что мне было дорого, опутывали сетью наговоров. Положение мое имело нечто сходное с положением Вашего брата, поэтому я спешу написать Вам все это, чтобы уберечь Вас от зла, которое мне было суждено испытать. Не стану добавлять к этому другие доводы; простите, прошу Вас, что я позволил себе написать это письмо, ибо оно продиктовано самыми искренними побуждениями и оправдано просьбой моего друга, которому я и поручаю заверить Вас в моей преданности его интересам, равно как и тех, кто ему дорог.

Примите, сударыня, выражения моего глубочайшего к Вам уважения.

Ваш искренний и покорный слуга

Перси Б. Шелли

P. S. Вы сумеете простить варвару, сударыня, дурной итальянский язык, в какой облечены искренние чувства моего письма.

165

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

*Равенна,
10 августа 1821*

Дорогой Пикок!

Ваше последнее письмо я получил как раз, когда выезжал сюда из Баньи навестить лорда Байрона. Очень признателен Вам за любезную заботу о моих докучных делах. Рад сообщить, что дело с моими доходами удовлетворительно улажено; но, так как Хорейс Смит все еще медленно едет по Франции, я не могу тотчас же выслать Вам, как хотел бы, весь мой долг и вынужден отложить это до встречи с ним или до очередных сентябрьских получений, которых уже совсем недолго осталось ждать. Я Вам очень благодарен за то, как Вы об этом пишете, но, конечно, если я не могу принести Вам пользы, я не допущу, чтобы Вы из-за меня пострадали.

Я послал Вам с Гисборнами экземпляр «Элегии на смерть Китса»¹. Знаю, что эта тема не придется Вам по вкусу; но композиция и стиль кажутся мне не плохими. Впрочем, судить об этом лучше Вам и просвещенным читателям. Лорд Байрон здоров и находится в отличном расположении духа. Он избавился от меланхолии и от недостойных привычек, которым предавался в Венеции. Он живет с одной женщиной, здешней знатной дамой, к которой привязан и которая привязана к нему, и во всех отношениях переменялся. Он сочинил еще три песни «Дон Жуана». Пока я слышал только V и нахожу, что каждому слову в ней суждено бессмертие. Его последних пьес я не читал, кроме «Марино Фальеро» — это очень хорошо, но не столь превосходно, как «Дон Жуан». Лорд Байрон встает в *два часа*. Я встаю в 12, наперекор своим привычкам, но приходится спать или умереть, как морскому Змею в «Кехаме» Саути². После завтрака мы беседуем до шести. От шести до восьми скачем верхом по сосновому лесу, который отделяет Равенну от моря; затем возвращаемся обедать и болтаем до шести утра. Не думаю, чтобы за неделю или две такой образ жизни убил меня, но дольше я не намерен пробовать. Лорд Байрон держит, помимо слуг, десять лошадей, восемь огромных собак, трех обезьян, пять кошек, орла, ворону и сокола; все они, кроме лошадей, расхаживают, точно хозяева, по всему дому, который по временам оглашается их ссорами, и никто их не разнимает. Лорд Байрон считает Вас автором памфлета³, подписанного «Джон Буль»; он говорит, что узнал это по стилю, напоминающему «Мелинкорт», который ему очень нравится. Я прочел памфлет и заверил его, что это не можете быть Вы. Сам я ничего не пишу и, вероятно, не буду больше писать. Мне обидно видеть свое имя среди тех, у кого нет имени. Если я не могу быть в чем-то незаурядным, я предпочитаю быть ничем, — а проклятый порядок, свержению которого я посвятил все свои способности, крепок, как могучий кедр, и осеняет своими ветвями всю Англию. До сих пор мною не руководила бессильная жажда славы; а сейчас, если я буду продолжать писать, я чувствую, что она во мне проснется. Но чаша славы по справедливости достается в каждую эпоху только одному; делиться ею, значило бы обесценить ее; и горе тем, кто стремится к ней и не достигает.

Поздравляю Вас — полагаю, что это следует сделать, — с ожидаемым прибытием маленького незнакомца⁴. Он вступает в весьма неприветливый мир. Поклонитесь от меня Хоггу, а также Колсону⁵, если его увидите.

Неизменно преданный Вам

П. Б. Ш.

Уже запечатав письмо, я обнаружил, что мой перечень зверей в этом дворце Цирцеи⁶ был неполон, и пробел весьма существен. Я только что повстречался на главной лестнице с пятью павлинами, двумя цесарками и египетским журавлем. Интересно, кем все они были прежде, чем их превратили в животных?

166

МЕРИ ШЕЛЛИ

Равенна,
Суббота, 11 августа 1821

Дорогая Мери!

Ты удивишься, узнав, что Альбе решил переехать в Пизу, если с моей помощью сумеет уговорить свою возлюбленную остаться в Италии, в чем я почти не сомневаюсь. Он намерен снять большой и роскошный дом, но мебель у него уже есть, и он отправит ее из Равенны. Справься, не сдастся ли который-нибудь из больших палаццо. Мы обсудили и Прато, и Пистойю, и Лукку, но ни один город не подходит ему так, как Пиза, которую он явно предпочитает. Да будет так! Флоренцию он отверг из-за огромного количества приезжающих англичан. — Разумеется, все это надо пока хранить в строгой тайне от Клер. (Что касается миссис Мейсон, решай, как знаешь; я думаю, что ей сказать можно.)

Я считаю, что это не должно изменить наши планы провести нынешнюю зиму во Флоренции, так как весной мы сможем вернуться в Пуньяно или на купанья, чтобы наслаждаться обществом благородного лорда. Однако ты подумай и напиши подробно на почтамт, во Флоренцию.

Аллегру я еще не видел — сегодня у меня слишком болит бок — вероятно, из-за проклятой здешней воды, — чтобы ехать верхом 24 мили. В остальном я здоров, и настроение мое улучшилось; оно непрерывно улучшалось еще до отъезда с купаний, после глубокой подавленности, которая владела мной в начале года.

Читаю «Анастасия»¹. Можно подумать, что именно отсюда Альбе заимствовал идею трех последних песен «Дон Жуана»². Это, разумеется, не умаляет достоинств последнего; поэт не обязан сам придумывать факты. Роман очень хорош и очень занимателен и, как говорят, дает верную картину нравов современной Греции. Прочел письмо Альбе к Баулсу³ — кое-что хорошее там есть, — но вообще ему не следовало бы заниматься критикой в прозе.

Ты получишь длинное письмо, вместе с несколькими письмами Альбе, которые надо отправить срочной почтой во Флоренцию. Спешу кончить.

Любящий тебя

Ш.

167

МЕРИ ШЕЛЛИ

Равенна,
Среда, 15 августа 1821

Моя любимая!

Пишу, хотя и сомневаюсь, чтобы это письмо прибыло раньше меня самого, так как почта уходит из Равенны только раз в неделю, по субботам, а я надеюсь выехать завтра вечером со скорым дилижансом. Но, так

как я должен непременно задержаться на день во Флоренции и какие-нибудь дорожные происшествия могут помешать мне воспользоваться скоростью этого экипажа, возможно, что письмо меня опередит. Кроме того, я не вполне еще распоряжаюсь собой. — Но об этом после. — Нет нужды говорить, как я стремлюсь вернуться к тебе и к моему милому малютке и как я огорчен нашей затянувшейся разлукой. Однако я рад, что ты не совсем одинока.

Лорд Байрон окончательно выбрал Тоскану, и нетерпение его столь велико, что он просит тебя (точно я не приеду вовремя) справиться о лучшем из необставленных палаццо в Пизе и снять его. — Желательно не на Лунг-Арно — но это не так уж к спеху; я так скоро вернусь, что тебе этим заниматься не стоит. Одно важно и требует немедленного решения, это — Аллегра и что с нею делать. Сразу по приезде сюда, когда еще не был отвергнут швейцарский вариант, мне удалось убедить лорда Байрона взять ее с собой; я сообщил ему такие сведения о внутреннем устройстве монастырей, которые пошатнули его веру в чистоту сих обитателей. Все было решено; теперь, когда он выбрал для себя Тоскану, я хочу, чтобы он опять-таки взял ее с собой. — Но как быть, если в Тоскане нечего предложить лучше Баньякавалло? Собственный его дом явно непригоден; хотя там уже не творится то, что в Венеции, но он держит распушенных лакеев, от которых можно ждать только плохого. Нет ли семейства или пансиона, английского или швейцарского, словом, любого убежища, кроме монастыря св. Анны, куда Аллегру можно было бы поместить? Не удастся ли уговорить миссис Мейсон, чтобы она предложила ее взять? Боюсь, что нет. — Подумай над этим до моего приезда. Если можешь, повидайся с Эмилией или напиши ей и спроси, не знает ли она что-либо подходящее. — Но самое безотлагательное, это — найти девушку, чтобы сопровождать ее из Равенны в Пизу и ходить за ней, пока не удастся подыскать что-либо лучшее, чем его дом. Кого-нибудь по возможности менее противного и непригодного, чем те итальянские служанки, какие попались ему.

На днях я навестил Аллегру в монастыре и провел с нею около трех часов. Она стала тоненькой и для своих лет высокой, а лицо несколько изменилось — черты стали тоньше, кожа — очень бледной; должно быть — следствие неподходящей пищи. Ее рот и синие глаза все так же красивы, но у нее появилось выражение задумчивости, и это, в сочетании с чрезвычайной живостью, которую она еще сохранила, кажется очень необычным в ребенке. Она здесь подчинена строгой дисциплине; это видно из мгновенного послушания, которое она оказывает воспитательницам; оно ей как будто несвойственно; однако мне не кажется, что его добились чрезмерной суровостью. Волосы у нее почти не потемнели; они очень густы и лежат на шее крупными локонами. Она была красиво одета в белое муслиновое платье с черным шелковым фартучком и панталончиками. Ее легкая, воздушная фигурка и грациозные движения выделяют ее среди

других здешних детей — она кажется высшим существом, созданием иной, более благородной расы. — Сперва она очень дичилась, но с помощью ласк и особенно золотой цепочки, которую я купил для нее в Равенне, я добился того, что она освоилась и провела меня по всему саду и монастырю, и при этом бегала и прыгала так, что я едва за ней поспевал. Она показала мне свою кроватку, свое место за обеденным столом и *carozzina* *, в которой она и ее любимая подружка возят друг друга по крытой аллее сада. Я привез ей корзиночку сластей, и она, прежде чем их отведать, угостила подругу и всех монахинь — это что-то не похоже на прежнюю Аллегру. Я просил ее, что передать маме, и она сказала: *Che mi manda un bacio e un bel vestitino*. — *E come vuoi il vestitino sia fatto?* — *Tutto di seta e d'oro* ** — был ее ответ. Ее слабостью, как видно, является тщеславие и желание блистать, а это растение может принести как хорошие, так и дурные плоды, смотря по умению садовника. Потом я спросил, что передать папе. — *Che venga far mi un visitino e che porta seco la mamma* ***. Как ты догадываешься, я был слишком тактичен, чтобы передать это поручение. Перед моим уходом она заставила меня обежать с нею весь монастырь, точно безумная; монахиням, которые уже ложились спать, было велено прятаться, а потом Аллегра принялась звонить в колокол, созывающий их всех; раздался набатный звон, и настоятельнице стоило немало труда помешать христовым невестам сбежаться в чем были на привычный зов. Никто ее не побранил за эти *scarrature* ****, так что с ней, по-видимому, хорошо обращаются — по крайней мере, терпят ее характер. Ум ее здесь не получает развития — она знает наизусть несколько *orazioni* *****, говорит о рае, ангелах и тому подобном и *видит все это во сне*; у нее имеется длинейший перечень святых, и она то и дело упоминает *Vambino* *****. Эта *fuoga* ***** ей не повредит — но подумать только, чтобы такое прелестное создание росло до шестнадцати лет среди подобной чепухи!

Я сообщал тебе, что по желанию Альбе писал к мадам Гвиччиоли, чтобы отговорить ее и ее родных от Швейцарии. Ее ответ только что пришел, и, как видно, мои доводы убедили ее в неправильности этого шага. — Письмо ее, после всевозможных лестных мнений, какие, по ее словам, она обо мне слыхала, заключается просьбою, которую я привожу буквально: *Signore — la vostra bonta mi fa ardita di chiedervi un favore —*

* Колясочку (*итал.*).

** «Пусть пришлет мне поцелуй и красивое платьице». — «А какое ты хочешь платьице?» — «Все из шелка и золота». (*итал.*).

*** «Пусть приедет ко мне в гости и привезет с собой мамочку» (*итал.*).

**** Шалости (*итал.*).

***** Молитвы (*итал.*).

***** Младенца-Христа (*итал.*).

***** Эд.: внешнее, наносное (*итал.*).

me la accordevete voi? Non partite da Ravenna senza Milord*. Итак, оказавшись по всем законам рыцарства, пленником дамской воли, я отпущен лишь *под честное слово*, и так будет, пока лорд Байрон не переедет в Пизу. Разумеется, я отвечу, что просьбу обязуюсь выполнить и что, если ее возлюбленный не захочет покинуть Равенну, когда я все готовлю для его встречи в Пизе, я обязуюсь сюда вернуться и настойчиво уговаривать его присоединиться к ней. По счастью, в этом нет надобности: и мне не нужно уверять тебя, что мое рыцарственное подчинение великим общим законам старой куртуазии, против которых я никогда не восставал и которые набожно чту, не помешает мне скоро приехать и долго с тобою пробывать, милая девочка.

Я посетил могилу Данте и поклонился этому священному месту. Строе-ние и его отделка сравнительно новы, но сама урна и мраморная плита с барельефным портретом явно восходят ко времени его смерти. Портрет, как видно по всему, был сделан с натуры; черты на нем резко обозначены, гораздо резче, чем на других портретах, в общем-то похожих; исключая глаза, которые полузакрыты и напомнили мне Паккиани¹. Вероятно, портрет выполнен с посмертной маски. Осмотрел я и библиотеку, видел образки иллюминированных первопечатных книг из той же печатни, что «Фауст». Они напечатаны на веленовой бумаге и по исполнению мало уступают современным.

Мы каждый вечер ездим и упражняемся в стрельбе из пистолета; мισηню служит тыква, и я не без удовольствия вижу, что не слишком отстаю в меткости от моего благородного друга. Вода здесь отвратительная, и я мучился ужасно; но сейчас пью только щелочную воду, и мне гораздо лучше. Уехать очень трудно; чтобы удержать меня, лорд Байрон уверяет, что без меня или мадам Гвиччиоли он наверняка вернется к прежнему образу жизни. Тогда я начинаю говорить, а он прислушивается к моим доводам, и я надеюсь, что он слишком хорошо понимает страшные и унижающие человека последствия этого образа жизни, чтобы поддасться искушению за то краткое время, пока он останется один. Лорд Байрон говорит о тебе с большой сердечностью и участием, и, кажется, хочет тебя повидать.

Четверг, 16 августа. Равенна

Я получил Ваши письма вместе с письмом к миссис Хоппнер. Я не удивляюсь, милый друг, что тебя взволновали дьявольские обвинения Элизы². Я испытал то же самое, но скоро ко мне вернулось равнодушие, с каким надлежит относиться ко всем голосам, кроме голоса совести, и именно так я стану относиться к ним впредь. Твоего письма я не переписал, это уничтожило бы его подлинность, а просто отдал лорду Байрону, который взялся отослать его Хоппнерам с собственным комментарием. Люди, как

* Синьор, — Ваша доброта дает мне смелость просить Вас об услуге — окажете ли Вы мне ее? — Не уезжайте из Равенны без милорда (итал.).

видно, охотно становятся сообщниками клеветников, ибо Хоппнеры потребовали, чтобы лорд Байрон скрыл эти обвинения от меня. Лорд Байрон не способен сохранить какую бы то ни было тайну, — но ему трудно так просто сознаться, что не сохранил ее, поэтому он пожелал сам отослать письмо — и это только прибавит веса тому, что ты написала. — Читала ли ты нападки на меня в «Литературной газете»?³ Там явно намекают на подобные слухи — при всех стараниях Хоппнеров не дать оклеветанному возможности оправдаться. Ты слишком хорошо знаешь свет, чтобы сомневаться, что этим их старания ограничатся. Но довольно об этом.

Лорд Байрон готов переехать в Пизу. Он выедет, как только я найду ему дом. Кто бы мог этого ожидать! — Нашей первой заботой должна быть Аллегра. Второй — наши собственные планы. Твои колебания относительно Флоренции передались и мне, хотя я не знаю, как быть с Хорейсом Смитом, который заслужил наше внимание и так нуждается в нем. Если я не прибуду раньше, чем это длинное послание, напиши во Флоренцию что-нибудь, что заставило бы меня решиться. Без особых причин я не намерен сейчас подписывать контракт на дом старого чудака, хотя, если мы все же остановимся на Флоренции, красота и удобство его местоположения должны бы перевесить возражения твоего глухого посетителя⁴. Есть, правда, один довод: в Пизе, где будет лорд Байрон и другие наши знакомые, у нас найдется защита и поддержка, на которую во Флоренции рассчитывать труднее. Впрочем, я не считаю этот довод веским. А что ты скажешь, если мы останемся в Пизе? Вильямсов на это, вероятно, удастся уговорить, раз там будем мы; Хант наверняка проведет с нами хотя бы эту зиму, если приедет вообще; и здесь же будет лорд Байрон со своими итальянскими друзьями. Лорд Байрон к нам, несомненно, очень внимателен, — внимание такого человека стоит некоторой дани, которую мы вынуждены отдавать низменным страстям людей при любом общении с ними, а он ее больше заслуживает, нежели те, кому мы воздаем ее по привычке. — Тут будут и Мейсоны — а в практических делах это тоже мои друзья. — Я признаю, что это как раз довод в пользу Флоренции. — Капризность миссис Мейсон очень мне досадна, тем более, что мистер Тай⁵ мне настоящему друг, и это не располагает поддерживать близкие отношения, которые, однажды установив, трудно прекратить.

В Пизе мне не придется дистиллировать себе воду — если это вообще где-либо возможно. Прошлой зимой я меньше страдал от своего обычного мучительного недуга, чем в ту зиму, что я провел во Флоренции. Доводы в пользу Флоренции тебе известны, и они очень вески. А теперь рассуди (я знаю, что тебе это занятие по душе), какая чаша весов перевешивает.

Больше всего мне хотелось бы совсем укрыться от людского общества. Я удалился бы с тобой и нашим ребенком на какой-нибудь пустынный остров среди моря, соорудил бы лодку и отрезал себя от мира. Не надо было бы читать журналы и беседовать с сочинителями. — Если бы я доверился своему воображению, оно подсказало бы мне, кроме тебя, еще

двух-трех избранных спутников. Но я не хочу слушаться этого голоса — там, где собираются двое или трое, между ними может затесаться черт. И не дурные, а именно добрые побуждения, не ненависть, а любовь — когда предметом ее не была ты — оказывалась для меня источником всех бед. Поэтому я хотел бы быть *один* и посвятить забвению или потомкам плоды ума, который, вовремя спасенный от заразы, не опускался бы до низменных предметов. Но это нам, как видно, не суждено.

Другое возможное решение (ибо середины быть не должно) это — создать вокруг себя общество подобных себе по интеллекту или чувствам и жить его интересами. Мы нигде не пустили таких корней, как в Пизе, а пересаженное дерево не расцветает. Люди, ведущие ту жизнь, какую мы вели до прошлой зимы, подобны арабам племени вахавеев, которые разбили бы свои шатры посреди Лондона. Надо выбрать либо одно, либо другое — ради тебя, ради нашего ребенка и нашего существования. Клевета, корни которой, вероятно, глубже, чем мы полагаем, имеет конечной целью лишить нас безопасности и средств к существованию. Ты видишь, как клевета создает предлог для травли, а травля приводит к отлучению. Именно поэтому, а не потому, что на нас обрушивает проклятия и насмешки тот или иной дурак или целое их судилище, клевету следует опровергать и карать.

[На этом рукопись обрывается]

168

ЛИ ХАНТУ

Пиза,
26 августа 1821

Дорогой друг!

С тех пор, как я Вам писал, я побывал в Равенне у лорда Байрона. В результате этого посещения он решил поселиться в Пизе; и я снял для него самый лучший палаццо на Лунг-Арно. Но главное, что я от него привез, это — адресованное Вам предложение, которое должно укрепить Ваше решение — ибо я надеюсь, что Вы его уже приняли, — восстановить пошатнувшееся телесное и душевное здоровье, переселившись в наш «благодатный теплый край»¹.

Он предлагает Вам приехать и вместе с ним и со мной основать журнал², где каждый из нас будет печатать все свои произведения и делить доходы. Он предлагал это Муру, но проект почему-то не был осуществлен. Нет сомнения, что любое предприятие, основанное Вами и лордом Байроном, по различным, но дополняющим друг друга причинам, должно приносить очень большие доходы. Что касается меня, то я сейчас являюсь всего лишь связующим звеном между Вами и им, пока вы не узнаете друг друга и не договоритесь обо всем, потому что (поверю Вам секрет, который я скрыл ради Вас от лорда Байрона) ничто не заставит меня согласиться

участвовать в барышах, а тем более светиться отраженным блеском таких партнеров. Вы и он, каждый по-своему, будете равны и вложите в предприятие каждый свою, но одинаковую долю известности и успеха. Я не хочу, чтобы моя откровенность с Вами и моя уверенность, что Вы заслуживаете ее больше, чем лорд Байрон, помешала Вам занять то место в современной литературе, до которого, по мнению моих современников, я не могу ни опуститься, ни подняться. Я — ничто, и хочу оставаться ничем.

Я не просил у лорда Байрона денег, чтобы выслать Вам на дорогу, потому что есть люди, пусть и прекрасные, которым ни за что не хочется быть обязанным в житейском смысле слова; так же как и себя, я не хочу подвергать этому своего друга. У меня, как Вам известно, денег нет. Однако я думаю набраться наглости и попросить Хорейса Смита добавить еще одну услугу к тем многим, какие он мне оказал. Я знаю, что мне достаточно попросить.

Кажется, я еще не говорил Вам, что мне очень нравится Ваш «Аминтас»³; он почти примирил меня с переводами. В остальном я еще колеблюсь. Вы могли бы без больших усилий написать еще одну поэму вроде «Нимф»⁴. У меня множество замыслов, и следовало бы что-то делать, если б слабое и хворое тело повиновалось заключенному в нем духу. Мне кажется, я тогда создал бы нечто великое.

Вы, вероятно, уже прочли «Адонаиса». Лорд Байрон — должно быть из скромности (ибо он там упомянут)⁵ — ни словом не обмолвился об «Адонаисе», хотя с воодушевлением хвалил «Освобожденного Прометея» и (тут Вы с ним не согласитесь) бранил «Ченчи». Конечно, если «Марино Фальеро» — драма, то «Ченчи» — нет; но пусть это останется между нами⁶.

Лорд Байрон исправился, если говорить о делах любовных, и живет с красивой и чувствительной итальянкой (графиней Гвиччиоли), которая любит его, как нельзя больше. Я очень надеюсь, что в общении с Вами его взгляды станут столь же чисты, как стала чиста, по его мнению, его жизнь. У него много благородных и возвышенных достоинств, но следовало бы вырезать раковую опухоль аристократизма; видит бог, что-то следовало бы вырезать в каждом из нас, — кроме Вас, пожалуй!

Вот Вам итальянский экспромт. Исправьте слог, если там окажутся ошибки, и делайте с ним, что хотите⁷

BUONA NOTTE

Buona Notte! Buona Notte! — Come mai
La notte sia buona senza te?
Non dimmi buona notte; che tu sai
La notte sa star buona da per se.

Mala notte, sola notte, senza speme,
E quella quando Lilla m'abbandona;
I cuori che si batton'insieme
Fanno sempre, senza dir, la notte buona.

Quanto male buona notte ci suona
 Con sospiri e parole interrotte!
 Il modo di aver la notte buona
 E mai non di dir la buona notte *.

[Письмо не подписано].

169

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пиза,
 26 августа 1821

Дорогой лорд Байрон!

Я снял для Вас дом за 400 крон в год и подписал контракт от Вашего лица, так что он теперь за Вами. Я еще ничего не купил, руководствуясь в этом советами семьи Гамба, а они считают, что надо дожидаться Вашего письма или подождать Лега¹, прежде чем что-либо делать. Дом им очень нравится, особенно довольна графиня.

Чтобы миновать Флоренцию, Вам надо ехать через Барберини. Спросите, не доезжая двух перегонов до Флоренции, и дорогу Вам укажут. По ней Вы выедете на пизанскую дорогу, милях в десяти от Флоренции, уже по ту сторону.

Прошу Вас прислать подробные указания насчет обстановки и пр. для палатцо Ланфранки. У меня здесь достаточно денег, так что Вам не надо в этом меня ограничивать. Я сейчас ищущу добавочные конюшни и думаю скоро найти.

Я откладывал письмо до приезда в Пизу, а сейчас спешу кончить.

Неизменно преданный Вам

П. Б. Шелли

*

ДОВОРОЙ НОЧИ

«Доброй ночи!» — Останься: отраду
 Даст нам ночи волшебный покров.
 Говорить «доброй ночи» не надо.
 Ночь бывает добра и без слов.

Ночь без милой огни погасила
 И навеяла тягостный сон,
 Когда ты удалилась, о Лилла,
 И сердца не звучат в унисон

«Доброй ночи!» — твердим мы, рыдая,
 И отчаянья не превозмочь...

«Доброй ночи!» — «Молчи, дорогая, —
 И придет эта добрая ночь».

Перевод с итальянского Б. Н. Лейтина

170

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пиза,

14 сентября 1821

Дорогой лорд Байрон!

Получив Ваше последнее письмо, я тотчас же выслал восемь повозок и т. п. по наивозможно дешевой цене. Синьор Пьетро Гамба¹ сделал то же, и в результате этого недоразумения в Равенну отправилось бы шестнадцать повозок вместо восьми, если бы то провидение, которое не дает упасть даже воробью², не доставило мое спешное послание во Флоренцию как раз вовремя, чтобы предотвратить отправку лишних фургонов, и не сберегло мне (ибо я ни за что не позволил бы Вам платить за последствия моей ошибки) некоторое количество скуди. Сейчас все в порядке, и я надеюсь, что Ваш караван уже в пути.

Мебель я не купил — семья Гамба считает, что лучше подождать пока приедете Вы сами или Лега, ибо Вы не сделали на этот счет никаких распоряжений.

Хорейс Смит, которого я ждал нынешней осенью в Тоскану, задержался в Париже из-за болезни жены. От Ханта писем еще нет. Моя приятельница из монастыря³ после многих тревожений и т. п. вышла, наконец, замуж и находится под неусыпной охраной своего девера. Вся эта история показала мне, что монастыри, может быть, и пригодны для детей в раннем возрасте, но нет для них хуже места, когда они способны уже воспринимать известные впечатления. В Пизе моя дружба с этой девицей вызвала много толков. Прошу Вас не говорить о том, что я Вам рассказывал, ибо никому не известна вся правда, и Мери может очень огорчиться. III, IV, V песни «Дон Жуана», оказывается, только что переизданы в Париже⁴. Я заказал их, но еще не получил. Я слышу со всех сторон самые восторженные похвалы «Марино Фальеро», в особенности от одного лица, завзятого критика, который восхищен также «Пророчеством Данте». Стихи там поистине божественны, и если это произведение не пользуется всеобщим признанием, Вы все же должны быть довольны; ибо и сюжет и слог его рассчитаны на немногих и, подобно наиболее возвышенным строфам «Чайльд Гарольда», будут вполне оценены лишь избранными читателями многих поколений. Однако величайшей Вашей победой над приписываемой Вам односторонностью дарования является «Дон Жуан», и следовало бы снять эмбарго со столь драгоценного товара. Я часто вижу с графиней и считаю Вас застрахованным от чар всех моих здешних приятельниц. Я не побоялся бы оставить Вас даже с миссис Вильямс⁵.

Что Вы решили относительно Аллегры? В здешних местах ее очень легко можно устроить, и, если бы Вы пожелали положиться на мои рекомендации, я обязуюсь сделать так, чтобы Клер не вмешивалась ни в какие Ваши планы. Конечно, на основании моего опыта⁶ я не расположен в пользу монастыря; но можно найти приличный семейный дом, куда ее

согласились бы взять. Я свободно об этом пишу, ибо уверен, что Вы теперь убедились, что мнение, которое Хоппнеры хотели создать у Вас обо мне и о Мери, лишено всякого основания.

Надеюсь вскоре Вас увидеть. Если Лега приедет раньше, я окажу ему всяческое содействие. Семья Гамба сообщит ему, где меня найти.

Остаюсь, дорогой лорд Байрон,
преданный Вам

П. Б. Ш.

171

ХОРЕЙСУ СМИТУ¹

Пиза.
14 сентября 1821

Дорогой Смит!

Не могу выразить, как огорчила и разочаровала меня перемена в ваших планах и ее печальная причина². Нынешней зимой Флоренция утратит для меня свою привлекательность, и я готов сидеть в скучнейшей Пизе, отложив на будущее удовольствие, которого я ждал в этом году от Вашего общества. Что делать с Вашими вещами, которые, кажется, все уже прибыли к Гебхарду³ в Ливорно? Нельзя ли надеяться, что улучшение здоровья миссис Смит изменит соответствующим образом Ваше решение, и не будет ли преждевременным отсылать вещи по Вашему теперешнему адресу или в Лондон? Ваши указания я выполню со всей возможной точностью.

Я присмотрел во Флоренции несколько домов, особенно один, на Арно, с прелестным местоположением; хотя за них просят несколько больше, чем Вы, вероятно, расположены платить, все же с английскими ценами нет никакого сравнения, — словом, я не совсем потерял на Вас надежду. Мне хотелось бы надеяться, что скоро состояние здоровья миссис Смит будет таково, что главное Ваше возражение против отличного здешнего климата отпадет. В нынешнем году я ничуть не страдал от жары, не считая каких-нибудь трех-четырёх дней. Впрочем, должен сознаться, что мой организм сродни саламандре.

Недели через две мы ждем сюда лорда Байрона. Я только что снял для него лучший палаццо во всей Пизе, и его багаж, лошади и домочадцы уже, вероятно, находятся на пути сюда. Вы, верно, слышали о его жизни в Венеции, где он состязался с мудрым Соломоном в численности своих наложниц. Так вот, он совершенно исправился и ведет скромный и добродетельный образ жизни в качестве *cavalier servente** при очень хорошенькой итальянке; она уже прибыла в Пизу, вместе с отцом и братом (таковы итальянские нравы), которые состоят шакалами при льве. Он хочет создать драму нового типа⁴ и, вооружась сводом правил, который, надеюсь, будет

* Кавалера (итал.).

расширен во время работы, намерен написать ряд пьес, где будет скорее следовать за французскими трагиками и за Альфиери⁵, чем за драматургами Англии и Испании, и создаст нечто новое, по крайней мере для Англии. Мне этот путь представляется неверным, но гений, подобный Байрону, рожден, чтобы вести за собой, а не подражать. Он стряхнет эти узы, когда они станут ему мешать. Я верю, что он создаст нечто великое; его знание драматического начала в человеческой природе скоро поможет ему смягчить суровые и дисгармонические черты его «Марино Фальеро». Кажется, Вы знакомы с лордом Байроном лично, или это Ваш брат? Если последний, то я знаю, что он хотел познакомиться с Вами и до некоторой степени разделит большое разочарование, которое мне причинила перемена в Ваших планах, — временная, как я все же надеюсь.

Я рад, что Вам понравился «Адонаис», и особенно рад тому, что Вы не находите его метафизическим — а я боялся, что это так. Я решил отдать дань покойному, не оцененному по достоинству при жизни, но по своему обыкновению я писал, совершенно не представляя себе, какой эффект это может произвести.

Вашей драматической пасторали я еще не читал⁶; если у Вас есть экземпляр, не будете ли Вы любезны прислать его? Из Англии я могу получить ее не раньше, чем через полгода. Я слышал о ней весьма хорошие отзывы и с большим интересом прочту.

Гисборны обещали купить мне в Париже некоторые книги, и я просил бы Вас не отказать одолжить им нужные для этого деньги. Мне непонятно, отчего они не выполнили это небольшое поручение; они знали, как мне хотелось получить эти книги вместе с фильтром. Осмелюсь ли я просить об этой услуге Вас? Я хотел бы Полное собрание сочинений Кальдерона, Канта во французском переводе, «Фауста» по-немецки, — и добавьте к этому «Нимфолепта». Не беда, если это обойдется несколько дороже, лишь бы получить их поскорее. Я пришлю Вам чек на Париж — на всю сумму, вместе с тридцатью двумя франками, которые Вы любезно за меня заплатили.

Внимание общества привлекает сейчас поразительная революция в Греции. После событий прошлой зимы⁷ я не смею надеяться, что рабы так легко могут стать свободными людьми; однако я знаю одного грека, в высокой степени наделенного отвагой и нравственными достоинствами; это князь Маврокордато; если остальные похожи на него, то все будет хорошо. Последние новости следующие: русская армия получила приказ выступить.

Миссис Шелли присоединяется к моим искренним сожалениям. А я, дорогой Смит, остаюсь

неизменно Вам преданный

П. Б. Ш.

Если Вы привезли мне экземпляр «Королевы Маб» в издании Кларка⁸, я очень хотел бы его видеть. Я, правда, едва помню, о чем эта поэма. Боюсь, что она довольно сырая.

172

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Пииза,
25 сентября 1821

Дорогой сэръ!

Мне было бы очень приятно уладить с Вами дело о романе миссис Шелли¹ к ее и Вашему удовлетворению. Сумму, которую она поручила мне просить за книгу, она предназначила для определенной цели²; и, хотя для этого необходима также и наличность, я полагаю, что сумею это устроить согласно ее желанию, если бы Вы могли уплатить одну треть к рождеству, а на остальное выдать ей векселей сроком на год и полтора. Мне было бы особенно приятно, чтобы издателем этого произведения оказались именно Вы, а не кто-либо другой; оно является плодом немало труда и, смею сказать, незаурядного таланта. Я уверен, что это сочинение сделает Вам честь и, в свою очередь, приобретет ее от Вашего имени. Надеюсь, Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы думать, что корысть или пристрастие могут на меня повлиять, когда я берусь судить о достоинствах любого сочинения.

Роман называется «Каструччо, князь Лукки»; он основан не на одноименной повести Маккиавелли³ (которая подменяет ребяческим вымыслом куда более романтическую правду истории), а на подлинном его жизнеописании. Это был сперва изгнанник и искатель приключений⁴, воевавший в Англии и во Фландрии во времена нашего Эдуарда Второго; возвратясь в родной город, чтобы освободить его от тиранов, он сам сделался тираном и умер на вершине власти, которую распространил на половину всей Тосканы. Это был миниатюрный Наполеон, который, владея герцогством вместо империи, навлек на него те же ужасы и беды, что его позднейший собрат. Интереснее всего в романе его невеста Евфанасия; она любит его, но не менее пылко любит свободу своей родины — Флорентийской республики — и всей Италии, для которой Каструччо является заклятым врагом, ибо близок к партии императора. Ее образ представляет собою шедевр; а основным узлом драмы, построенной с большим искусством, становится столкновение страсти и убеждений. Евфанасия — владетельная графиня, последний отпрыск знатного рода, в ее замке мы наблюдаем рыцарские обычаи того времени. Прорицательницу Беатриче нельзя описать иначе, как языком самого автора. Я не знаю в романах Вальтер Скотта ни одного лица, которое хоть сколько-нибудь приближалось бы к этому прекрасному и возвышенному образу, именно образу, ибо он совершенно оригинален; хотя и основанный на идеях и нравах изображаемого времени, он не имеет себе подобных в известной мне изящной литературе. Беатриче любит Каструччо и умирает; роман, хотя в нем немало занимательного, глубоко трагичен, и к концу тени все больше сгущаются. Здесь изображены обычаи, нравы и мнения времени; показаны верования, ереси и ре-

лигиозные преследования; не упущена ни одна подробность тогдашних итальянских нравов; и все вместе представляется мне живой картиной почти позабытых времен. Автор сам посетил места, которые описывает; а один или два второстепенных персонажа являются результатами наблюдений над современными итальянцами, ибо в некоторых ситуациях национальный характер и поныне проявляет себя так же, как во времена Данте. Как я уже сказал, роман состоит из трех томов, из которых каждый по меньшей мере равен тому «Рассказов трактирщика»⁵, и они в самом скором времени будут готовы для отправки. Если Вы согласитесь на предлагаемые условия, я хотел бы высказать одно пожелание, которое считаю весьма важным. Роман следует печатать полутомами и посылать автору по почте для последних исправлений. Можно печатать его на тонкой бумаге, вроде той, на которой я сейчас пишу, а расходы отнести на мой счет. Лорду Байрону все посылается именно так; и никто из тех, кто дорожит славою или деньгами, не должен издавать свои сочинения иначе.

Кстати, как обстоит у меня с обоими этими главными предметами человеческих стремлений? Когда-то у меня были цели более благородные и высокие; но я с таким же успехом мог бы добраться до луны; ныне, убедившись, что я гонялся за призраками, я не прочь узнать, какое количество этих главных ценностей, в особенности первой, имеется у Вас для меня. По воле богов, раздатчиками этих суетных благ сделались рецензенты; надо будет, кажется, сочинить им хвалебную оду, чтобы они и мне уделили малость, если я не хочу, чтобы они отделались векселем на потомков, а те, когда мой призрак предъявит его, ответят: «не выплачиваем».

«Карл Первый» зачат, но не рожден. Пока я не уверюсь, что смогу создать нечто хорошее, пьеса не будет написана. Гордость, погубившая Сатану, убьет и «Карла Первого», ибо его повитуха согласна быть ниже только одного — Того, кто сам возвысился над нами благодаря громам своим⁶.

Я полон великих замыслов; и если поделюсь ими с Вами, то лишь добавлю к этому списку загадок.

Я не читал «Мирандолу» мистера Проктера⁷. Пошлите ее посылкой, а посылку вышлите незамедлительно. Это крайне важно, и раз уж Вы столь обязательны, что обещаете не забывать моих поручений, то прошу это сделать, не мешкая. Впрочем, я надеюсь, что она уже послана и что Вы не забыли вложить туда по несколько экземпляров «Прометей», «Восстания Ислама», «Ченчи» и др., как я просил. Есть ли надежда на второе издание «Восстания Ислама»? Я мог бы выправить и значительно улучшить его. «Адонаис», несмотря на оттенок мистицизма, — наименее совершенное из моих произведений, и я рад, что мне удалось выразить свою печаль о бедном Китсе и отдать ему дань уважения. Со следующей почтой я, вероятно, напишу Вам об этой поэме и уже послал бы обещанные критические замечания для второго издания, если бы не затерял где-то

том, содержащий «Гипериона», который никак не найду. Прошу известить меня, когда Вам будет нужна вторая часть моей «Защиты Поэзии»⁸. Эту «Защиту» я Вам дарю, и можете делать с ней, что хотите.

Насчет романа прошу ответить без промедлений.

Остаюсь, дорогой сэр,

Вашим покорным слугой

Перси Б. Шелли

Следует добавить, что роман не содержит даже намека на какую-либо политическую или религиозную тенденцию.

173

ЛОРДУ БАЙРОНУ

Пииза,
21 октября 1821

Дорогой лорд Байрон!

Я написал бы Вам уже давно, если бы со дня на день не ждал Вас в Пиизу и не боялся, что мое письмо может с Вами разминуться. — Большое спасибо за «Дон Жуана»¹. Эта поэма — единственная в своем роде, и я все дивлюсь и восхищаюсь как изяществом ее композиции, так и силой и величавой свободой замысла. — Немногие пассажи, которые хотелось бы опустить в I и II песнях, здесь почти отсутствуют. Поэма отмечена печатью оригинальности и недоступна для подражаний. Ничего подобного еще не было на английском языке и — если осмелюсь пророчествовать — не будет, ибо может быть только заимствованием и повторением. Вы разоблачаете и показываете во всей их уродливости худшие стороны человеческой природы; именно на это и ропщут современные мелкие умы, сознающие, что им не вынести столь беспощадного яркого света. — Мы осуждены на познание и добра и зла, и нам следует знать, чего надо избегать, а не только к чему надлежит стремиться. Образ Ламбро — сцена его возвращения — гости, веселящиеся у его дочери, словно на его похоронах, — его встреча с влюбленными — и смерть Гайде — все это предстает перед нами в таком сочетании, какого я тщетно искал бы где-либо еще. В песни V, которую кое-кто из Ваших зоиллов с Олбемарл-стрит² находит скучной, не меньше, а больше великолепия и силы — язык ее, меняющийся, подобно хамелеону, под изменчивым небом Вашего вдохновения, является чем-то совершенно неожиданным для нынешних шепелявых времен и, несмотря на вынужденные похвалы, не может им нравиться.

На слух о многом трудно судить³, и, только увидев поэму напечатанной, я смог отдать ей должное. Вот какого рода сочинения, большого масштаба и, быть может, в более сжатой форме, я ждал от Вас, когда мечтал о новом эпосе. — Но я доволен. — Вы создаете драму, доселе невиданную в Англии, и это — задача, достаточно благородная и достойная Вас.

Когда можно ждать Вас сюда? Графиня Г[виччиоли] очень терпелива, хотя временами, видимо, опасается, что Вы никогда не уедете из Равенны. Я после возвращения занемог; это была обычная моя болезнь и малярия, и они помешали мне оказать ей в Пизе все внимание, какое я желал бы. Я получил вести от Ханта, который сообщает, что прибудет в ноябре, очевидно морем. — Ваш дом готов и мебель расставлена. Лега, как я слышал, должен был выехать вчера. Графиня говорит, что Вы намерены пока оставить Аллегру в монастыре. Поступайте, как находите лучшим, — но если бы Вы изменили свое решение, я берусь найти ей здесь место, которое Вы одобрите.

Из политических новостей я слышу только такие, по которым можно судить о постепенной победе старого духа над новым. На днях группа гетеристов⁴, уцелевших после поражения в Валахии, проезжала Пизу, чтобы в Ливорно сесть на корабль и присоединиться к Ипсиланти в Ливадии. К большой чести нынешнего тосканского правительства, этим несчастным беглецам было выдано по 3 лиры в день на человека и предоставлено бесплатное жилье на время их пребывания здесь.

Миссис Ш[елли] шлет лучшие пожелания

Преданный Вам

П. Б. Шелли

174

ДЖОНУ ГИСБОРНУ

Пиза,
22 октября 1821

Дорогой Гисборн!

Наконец почта доставила ожидаемое письмо от Вас, и я рад узнать, что Вы здоровы и благополучно доехали. Я с интересом и беспокойством жду вестей о том, как пойдут Ваши дела в Англии и насколько тамошние преимущества вознаградят Вас за отъезд из Италии. Хант мне пишет, что решил сюда переселиться, и если бы я был уверен, что это письмо дойдет до Вас вовремя, я попросил бы Вас помочь ему кое-какими советами, как-то: насчет отправки постелей, белья и прочего, что намного сократило бы его здешние расходы. Но Вы, вероятно, не простите мне, что я лишаю Англию всего, что она потеряет с отъездом Ханта.

Сообщал ли я Вам, что лорд Байрон намерен поселиться в Пизе и думает издавать вместе с Хантом журнал¹? Для него уже снят и обставлен дом мадам Феличи, и вот уже полтора месяца его здесь ожидают со дня на день. Мадам Гвиччиоли, его сага sposa*, которая с нетерпением его ждет, — очень хорошенькая, чувствительная, сентиментальная и пу-

* Милая супруга (итал.).

стенькая итальянка; она пожертвовала огромным состоянием, чтобы жить для лорда Байрона и, если я что-нибудь знаю о своем друге, о ней и о человеческой природе, будет иметь в дальнейшем полную возможность и время каяться в своей опрометчивости. Однако лорд Байрон совершенно отказался от своих порочных привычек как таковых; от ложных идей, которые их породили, он еще не избавился.

Мы обставили в Пизе дом и думаем здесь обосноваться. Я выпишу сюда все мои книги и засяду, как паук в паутине. Вы окажете мне особую услугу, если можете Пикоку отправить их в Ливорно; только не покупайте Кальдерона, «Фауста» и Канта, так как Хорейс Смит обещает прислать их из Парижа, где Вы, должно быть, не успели их достать. Все другие книги, какие Вы или Генри² сочтете нужными для моего замысла, Оллиер Вам добудет.

Мне очень хочется знать, как отзываются о моем «Адонаисе», и Вы меня обяжете, если вырежете и пришлете мне все заслуживающие внимания отзывы или попросите об этом Оллиера. Вы знаете, что меня не смущает одна-две кроны почтовых расходов. «Эпипсихидион» — это тайна. Что до изображения живых людей, Вам известно, что это не по моей части; Вы с таким же успехом можете спрашивать баранью ногу в винном погребе, как ожидать от меня чего-либо земного или человеческого. Я хотел, чтобы Оллиер не распространял этого произведения, кроме как среди Σύβουτοι*, и даже они, как видно, склонны причислить меня к кругу служанок и их вздыхателей. Но я намерен сочинить собственный «Пир», чтобы все это разъяснить³.

Сейчас я заканчиваю драматическую поэму под названием «Эллада», о нынешней борьбе греков — нечто вроде подражания «Персам» Эсхила, полное лирической поэзии. Я пытаюсь быть тем, чем мог бы стать, но напрасно. Я убеждаюсь (но, кажется, цитирую неверно⁴), что

Den herrlichsten, den sich der Geist emprängt,
Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an**.

«Эдинбургское обозрение» жлет⁵. Ответ Годвина Мальтусу является убедительным и блестящим, а если его таковым не признают, это только говорит о торжестве зла и деспотии. Мы отлично знаем, что нельзя равнять Годвина с Платоном и лордом Бэконом⁶. Но по сравнению с этими жалкими полужанками Годвин все же подобен ястребу (существу, как Вы знаете, прожорливому) по сравнению с червем.

Смиты все не едут. Миссис С[мит] хворает, и итальянская жара, а в особенности душные ветры, какие здесь бывают в декабре, январе и марте, могут ей повредить. Так говорят врачи, и бедняга Смит жалуется

* Ценителей искусства (греч.).

** К высокому, что в духе обретаем,
Все чуждое по малу пристаёт (нем.).

на свою долю. Я продолжаю читать греческих драматургов и Платона. Относительно Антигоны Вы правы — что за великолепный женский образ! А как Вы находите хоры, и в особенности лирические жалобы божественной жертвы? А угрозы Тиресия и их стремительное осуществление? Некоторые из нас в какой-то прошлой жизни любили такую Антигону и не могут обрести полного счастья в союзе со смертной женщиной. Что касается книг, советую поселиться поближе к Британскому Музею и там читать. С тех пор, как мы расстались, я прочел «Die Jungfrau von Orléans» * Шиллера — отличная пьеса, если бы в V действии не было некоторого спада. Несколько греков, уцелевших после поражения в Валахии⁷, проезжали через Пизу, чтобы из Ливорно плыть в Морею, и тосканское правительство на время их пребывания выдало им по 3 лиры в день и предоставило бесплатное жилье. Это хорошо. — Мери и я шлем лучшие пожелания миссис Гисборн и Генри.

Ваш любящий

П. Б. Ш.

P. S. Вы ничем так меня не обяжете, как содействием в отправке моих книг.

175

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ.

Пиза,
11 ноября 1821

Дорогой сэр!

Посылаю Вам драму «Эллада», полагаясь на Ваше обещание быстро выполнять мои литературные просьбы. Весь интерес, какой способно вызвать это произведение, зависит от *немедленного* опубликования; поэтому я настоятельно прошу Вас тотчас же отправить рукопись в типографию и корректуру прислать мне почтой сразу же, как Вы ее получите. Именно так посылают лорду Байрону его поэмы; и я не считаю, что различия в достоинствах произведения влекут за собой разницу в сроках работы типографии. — Если Вас что-либо испугает в примечаниях, можете это опустить; сама поэма не содержит ничего опасного.

Не забудьте и другие мои просьбы. Мне особенно хочется знать судьбу «Адонаиса». — Признаюсь, что буду удивлен, если эта поэма осуждена на забвение.

Через несколько дней мне, возможно, придется писать Вам о предметах более интересных. А пока надеюсь на Вашу любезность и быстрое выполнение моих теперешних просьб.

Ваш покорный слуга

Перси Б. Шелли

* «Орлеанскую деву»⁸ (нем.).

Р. С. Излишне напоминать Вам о необходимости дать незамедлительный ответ на предложение миссис Ш[елли]¹. Ее книга готова к печати. «Оду Наполеону» надо напечатать в конце².

176

КЛЕР КЛЕРМОНТ

Пииза,
11 декабря 1821

Милый друг!

Я очень хотел бы получить от тебя откровенное письмо — полную противоположность тем, что я пишу тебе; с подробным описанием твоих занятий и друзей и некоторыми сведениями о планах на будущее. Не думай, что я когда-либо перестану тебя любить и тревожиться о тебе или что любовь моя когда-нибудь уменьшится из-за того, что она была и будет для меня источником тревоги.

Южный Цветок, как тебе угодно меня называть, вянет при здешнем морозе — морозе физическом и моральном — в сердечном одиночестве. В последние дни я не могу ездить верхом — так холодно бывает под вечер, а мой бок напоминает мне, что я смертен. Медвин почти всегда сопровождает лорда Б[айрона], а иногда его компания состоит из Гамбы, Таффа, Медвина и Южного Цветка¹, который, к несчастью, принадлежит к семейству мимоз и плохо чувствует себя в таком большом обществе. Я не выношу общества многих, а общество одного бывает или большой радостью, или мукой.

Мы со дня на день ждем Хантов, но, должно быть, трамонтана² превращается на море в свежий ветер³ и задерживает их. Я, кажется, писал тебе, что они будут жить у лорда Б[айрона].

Из Греции приходят все более славные вести. Можно сказать, что Пелопоннес освобожден полностью, а Маврокордато отличился и, вероятно, займет высокий пост в правительстве новорожденной республики⁴.

Каковы твои успехи в немецком языке? Я не читаю по-немецки с тех пор, как мы расстались, и, вероятно, не буду до нашей новой встречи — если она нам суждена.

Я ничего не делаю — читаю, но мне недостает душевных сил для серьезных сочинений — я не верю в себя, а писать в одиночестве и выражать свои мысли, не встречая отклика, — пустое тщеславие.

Напиши мне, что ты намерена делать и хотела ли бы жить у нас. Вильямсы постоянно говорят о тебе с похвалою и симпатией и очень жалеют, что эту зиму ты не провела с ними; однако ни их сожаления, ни чувства не могут сравниться с моими.

Всегда твой

Ш,

177

КЛЕР КЛЕРМОНТ

Пииза,
31 декабря 1821

Милый друг!

Я возвратился из Ливорно в пятницу вечером, но почта уже ушла, иначе ты получила бы от меня письмо. Ожидаемый человек¹ не явился, задержанный свирепой непогодой. Скоро я надеюсь получить более подробные известия. Твои желания по этому поводу являются для меня предметом неустанной заботы.

Мери просит тебе передать (но не думай, что она читает это письмо или твои письма ко мне), что она написала бы тебе, если бы не была больна. Она очень страдала от ревматических головных болей, настолько, что несколько ночей подряд не могла заснуть. Сейчас шпанские мушки и опий принесли ей некоторое облегчение. Я страдал от болей и подавленного состояния духа. Погода здесь стоит ужасная. Арно так вздулась от проливных дождей, как не случалось уже много лет. Ярость потока не поддается описанию. Такого ветра я не припомню, и побережье Средиземного моря усеяно обломками крушений. Генуе нанесен этим огромный ущерб; человеческих жертв также очень много; суда, на которых подозревали чуму, ветер сорвал с якорей и прибил к городу, и теперь все суда из Генуи подлежат строгому карантину. Запоздали уже три почты из Франции, и о причинах этого ходит множество противоречивых слухов. — Ты можешь себе представить, как мы тревожимся о бедном Ханте², и, конечно, разделишь нашу тревогу. Я удивляюсь и негодную на собственную бесчувственность, раз я способен спать или хотя бы минуту быть спокойным, пока не узнал, что он в безопасности. Разумеется, я тебя извещу, как только он прибудет. Я знаю, что ты станешь тревожиться об этих беднягах. Судно, на котором они отплыли, видели в Бискайском заливе, и тогда на нем все было благополучно. — В политике мало нового. Ты уже, вероятно, слышала о двойственном положении вещей во Франции и создании ультра-министерства благодаря большинству, полученному коалицией с либералами. У греков дела идут отлично; резня в Смирне и Константинополе не причинит ущерба их делу³. В Ирландии нет ничего похожего на восстание. Правда, народ до крайности раздражен правительственным гнетом, и в южной части страны даже под угрозой штыков не удастся собрать налоги и ренту. Но правительству не противостоит никакая организованная сила, и у народа нет вождей. Англия напоминает сейчас дремлющий вулкан.

А ты, милая Клер, ничего не сообщаешь мне о своих планах, хотя и просишь хранить их в тайне. Будь уверена, милый друг, что всякая твоя *серьезная* просьба, касающаяся твоего благополучия, будет мной неуклонно выполняться. Напиши подробно о своих замыслах и надеждах. Тебе уже отчасти известно мое отношение к ним и к тебе. После уси-

ленных приглашений я побывал у миссис Боклерк⁴, которая меня очень обласкала. Если она не сделает визита Мери, я больше туда не пойду. А ты с ней знакома?

Если тебе вздумается зайти к Молини⁵ для меня, не смущайся тем, что за Кальдероном послано. Кальдерон мне нужен.

Твой верный

Ш.

[P. S.] Миссис Мейсон просит передать, что не пишет тебе потому, что пишу я.

178

ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

Пииза,
11 января 1822

Дорогой Пикок!

Некоторые обстоятельства помешали мне раньше приготовить документ и подпись¹, которые я сейчас Вам посылаю, а другие обстоятельства задержали меня уже после этого. Буду признателен, если Вы перешлете их по назначению.

Я все еще в Пиизе, где наконец обставил несколько комнат на верхнем этаже большого палаццо с видом на город и окрестности; я окружил себя книгами и растениями и устроился на неопределенное время, которое, если я умею предугадывать будущее, будет продолжительным. Прошу Вас при первой возможности прислать мои книги и ожидаю, что они много добавят к моему комфорту. Лорд Байрон обосновался здесь; мы постоянно видимся, — немалая отрада после томительного духовного одиночества, в котором прошли первые годы нашего изгнания, среди всевозможных бед и трудностей. Вы, разумеется, уже видели его последнюю книгу; если Вы и прежде считали его великим поэтом, каково же Ваше мнение сейчас, после прочтения «Каина»? «Фоскари» и «Сарданапала» я не читал², но раз они в духе его последних сочинений, то должны быть очень хороши. Мы со дня на день ждем сюда Ханта и сильно тревожимся из-за бурь, в которые он, очевидно, попал на рождество. Лорд Байрон отвел ему нижний этаж своего палаццо, и Хант будет приятно удивлен, оказавшись после утомительного и опасного пути в удобной квартире, нарочно для него приготовленной. Я уже давно пребываю в праздности; писать совершенно не настроен, но сейчас берусь за «Карла Первого», а это — чертовски крепкий орешек.

Мери и Клэр (последняя сейчас не живет у нас) здоровы, как и мой маленький сын, вылитый Вильям³. — Мы живем, как всегда, тихо; я встаю — во всяком случае просыпаюсь — рано; читаю и пишу до двух — обедаю — иду к лорду Б[айрону], ежу верхом или играю на бильярде,

смотря по погоде, а вечер посвящаю либо легкому чтению, либо случайно заглянувшему гостю. Наша мебель, очень приличная, обошлась в меньшее количество шиллингов, чем обстановка в Марло стоила в фунтах стерлингов, а окна уставлены растениями, превращающими солнечную зиму в весну. Здоровье мое улучшилось — забот стало меньше, и хотя моя карманная чахотка неизлечима, однако и карман умудряется жить, подобно своему хозяину; как кошелек Фортуната⁴, он вечно пуст, но почему-то не истощается до конца. — Вы, должно быть, прочли моего «Адонаиса», а может быть, и «Элладу», и как бы Вы ни судили о сюжете, композиция первой из этих поэм должна бы прйтись Вам по вкусу. — Мне хотелось бы делать нечто лучшее, чем бросать в ненасытную пасть Забвения погремушки, именуемые стихами; но лучшего нет, и раз Вы не обнадеживаете меня насчет Индии⁵, то и надеяться не на что.

Как Ваша звездочка и Небеса⁶, где раскинулся тот Млечный Путь, на котором она блестит? Прощайте.

Преданный Вам

Ш.

179

ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

Пиза,

11 января 1822

Дорогой сэръ!

Не могу не выразить своего удивления по поводу Вашего молчания, какое Вы сочли нужным хранить относительно ряда предметов, о которых я Вам писал за последние полгода. — Если я нарушаю его настоящим письмом, то единственно затем, чтобы сообщить Вам, что, сочтя молчание за отрицательный ответ на мое последнее предложение относительно романа миссис Шелли¹, я послал его мистеру Годвину с просьбой распорядиться им, как он сочтет лучшим; так что если у Вас все же есть желание издать книгу, за правом издания следует теперь обращаться к нему. Вы поймете, что не можете быть на меня в претензии за это, если я скажу, что между окончанием книги и ее отправкой в Англию прошло два месяца — в ожидании Вашего ответа.

Что до собственных моих произведений, то я очень желал немедленного издания «Эллады» по причинам не только личным, но и общественным; но, так как приходит одна почта за другой, а я все не получаю корреспондента, о которых просил, я вижу, что мне не следовало полагаться на Ваши предложения выполнять мои просьбы.

Кроме того, я был особо заинтересован в успехе «Адонаиса» — я имею в виду не выручку, а произведенное впечатление, — и был бы рад получить от Вас сведения об этом. — А я даже не знаю, вышел ли он², и был ли переиздан с теми поправками, которые я прислал.

Историческая трагедия «Карл Первый» будет закончена к весне. Я намерен продать право на ее издание. Вам, как моему постоянному издателю, я первому ее предлагаю. — А продать хочу потому, что книгопродавец, если говорить откровенно, должен быть достаточно заинтересован в успехе произведения, чтобы постараться об этом. Буде Вы не пожелаете приобрести его, Вы, конечно, не станете обвинять меня в непостоянстве, если я обращусь к другому издателю. Должен сказать, что трагедия обещает быть интересной, насколько это свойственно трагедиям, и в ней отсутствуют политические убеждения автора. Каков будет ее успех у читателя, я судить не могу.

Если нынешнему письму Вы окажете то же внимание, что и предшествующим, не удивляйтесь, если я больше не буду Вас беспокоить.

Имею честь быть Вашим покорным слугой

Перси Б. Шелли

180

ДЖОНУ ГИСБОРНУ

Пииза,
12 января 1822

Дорогой Гисборн!

Я не стану утомлять Вас на сей раз длинным письмом, но обращаюсь с просьбой, вернее, со списком просьб, исполнением которых Вы меня очень обяжете.

Прошу Вас увидеться с Оллиером от моего лица и настоящим письмом уполномочиваю договориться с ним по нескольким вопросам. Во-первых, я хочу видеть его счета и знать, что мне там причитается и на какую сумму я могу, если захочу, брать у него. Во-вторых, надо спросить, хочет ли он купить право издания «Карла Первого», за сколько, и когда уплатит. В-третьих, надо узнать, издал ли он поэму «Эллада», а если нет — отдать ее какому-нибудь другому издателю, лучше всего Уоррену или Олману. В-четвертых, надо собрать по четыре экземпляра каждой из моих поэм и как можно скорее отправить их мне морским путем, добавив другие книги, по Вашему усмотрению. В-пятых, надо достать экземпляр «Франкенштейна» и послать его мне с обратной почтой. Для всех этих и других дел с Оллиером настоящее письмо должно служить Вам уполномочивающим документом. Как подобает всем гражданам нашего мира, я особенно интересуюсь делами денежными. Какие новости? Как Вы? Как Ваши дела?

Одно я рад узнать: что «здоровье Ваше улучшилось». Мое также; но ум мой подобен загнанной скаковой лошади, запряженной в извозничий экипаж. А что Вы сейчас думаете о лорде Байроне? Вселенная меньше дивилась величавым и прекрасным творениям бога, когда ему на-

сучила пустота, чем я — последним созданиям¹ этого божественного духа в брэнной оболочке полуразрушенного тела. Так думаю я — а свет пусть восхищается и завидует.

Мы только что получили гравюры к «Фаусту»; иллюстратор достоин Гете². Встреча с Маргаритой великолепна. Она волнует мой ум; сердце давно уже к этому не способно. Но переводы, как этот, так и тот, что в «Блэквуде», отвратительны. Спросите Кольриджа³ — неужели подобное тупое непонимание глубокой мудрости и гармоничности оригинала не побудит его взяться за перо? Вы, наверно, слышали о Хантах и о том, сколько хлопот они мне доставляют⁴. У Вильямсов все благополучно. Миссис В[ильямс], как всегда, прекрасна и приветлива, воплощая, посреди наших бурь, идеал безмятежного покоя. Вот что значит первое впечатление! Они шлют Вам поклон. А я прошу передать поклон Хоггу и принять уверения в моем уважении и приязни к Вам.

Искренне Ваш, но очень спешу. Разбирайте почерк, как сумеете, и ждите вскорости подробного письма.

[Письмо не подписано]

181

ДЖОНУ ГИСБОРНУ

Пица,
26 января 1822

Дорогой Гисборн!

С последней почтой я послал Вам письмо на адрес Оллиера, но, так как он уверяет, что у него нет денег, он мог не передать Вам письма и даже не оплатить его доставку. С тех пор я получил Ваше письмо, датированное... Мне хотелось бы разделаться с Оллиером как с издателем, и я буду крайне признателен, если Вы возьметесь освободить меня из его когтей. Даю Вам поэтому все полномочия для того, чтобы с ним рассчитаться и взять у него все непроданные экземпляры моих сочинений, которые я хочу передать другому издателю, заново отпечатать для каждого заглавный лист с его фамилией и дать соответствующее объявление. Если у Оллиера окажутся ко мне претензии (едва ли на большую сумму), дайте ему вексель на меня с оплатой по предъявлении или после. Из-за какой-то пустяшной суммы я не продлю своей связи с м-ром Оллиером даже на один день, после того как найду другого книгопродавца. Тот, кто издает Ханта или Барри Корнуолла, или Тейлор и Хесси, издатели поэм Китса, не откажутся стать моими. Мне думается, что издавать следует просто за мой счет, но, если Вы считаете, что возможны более выгодные условия, поступайте по своему усмотрению. Должен сказать, что для «Розалинды и Елены» придется сделать исключение, так как, по соглашению с Оллиером, издание ее было поручено именно ему, не помню только, на каких условиях. То же касается и статьи «Защита Поэзии», которую

я дал Оллиеру для помещения в его журнале¹. Если он не захочет ее поместить, можете с ней делать, что хотите. — Издайте ее отдельной брошюрой. — К другим моим просьбам мне нечего прибавить, кроме того, что к посылке с книгами и пр. я очень прошу добавить секретер Мери, а список вещей, которые надо купить, можно исключить. С Оллиером я больше не желаю иметь дела, *какие бы условия и извинения он ни предложил*. Так как книги являются моею собственностью, я предпочту, чтобы их сожгли, только бы не оставляли у него. Но кончим с Бакингом².

Мне следовало бы просить извинения за доставляемые хлопоты, но я знаю Вашу доброту и уверен, что Вы с удовольствием окажете мне, вернее всем моим друзьям, эту услугу по де-Оллиеризации.

Вам известно, что я не слишком высокого мнения о журналах и о славе, которую они даруют или же отнимают. — Нелепо критиковать «Адонаиса» в каком бы то ни было журнале, а тем более уверять, что стихи плохи. «Прометей» предназначался для каких-нибудь 5—6 человек.

Каково Ваше мнение о последней книге лорда Байрона? По-моему, она содержит больше поэтических сокровищ, чем вся поэзия, возникшая в Англии после «Возвращенного Рая». «Каин» — это нечто апокалиптическое — откровение, какого еще не было.

Возможно ли, чтобы у Вас были в Англии денежные затруднения? Неужели не удался план миссис Г[исборн] — преподавать итальянский язык? Но даже в худшем случае Вы кое-что выиграли, если поправили здоровье в этом холодном и ядовитом тумане, который всех других убивает.

Я пишу только приступами. Поработал и над «Карлом Первым», но, хотя стихи мне удаются отлично, я еще не имею концепции сюжета в целом и сейчас редко притрагиваюсь к этому полотну. Моя монастырская приятельница вышла замуж; сам я пребываю в каком-то угрюмом покое. Об этом монастыре я мог бы сообщить Вам удивительные вещи, но, так как они касаются той стороны человеческой природы, которая меня отталкивает, я лучше о них умолчу.

Привет миссис Гисборн и Генри и, пожалуйста, напишите подробнее о Ваших замыслах и надеждах.

Преданный Вам

Ш.

182

ЛИ ХАНТУ

Дорогой друг!

У меня всего несколько минут, чтобы Вам написать. — Лорд Байрон просит переслать Вам прилагаемое письмо. Он достаточно охотно дал нужную сумму и согласился, чтобы я был за нее поручителем, подразу-

Пииза,
17 февраля 1822

мевая, что не потребует ее с меня до смерти моего отца. Вы можете, таким образом, быть совершенно спокойны, и это самая лучшая для Вас весть. Я еще не получил от него чеки, а как только получу, поеду в Ливорно и вышлю Вам деньги. Боюсь, что Вы немало потеряете на обмене, но тут уж ничего не поделаешь.

Должен сказать, что я уже послал Вам в Дартмут перевод на 150 ф., до востребования. Надеюсь, что с этим не выйдет никакого недоразумения.

Между мной и лордом Б[айроном] произошло много такого¹, что сделало общение с ним тягостным для меня, и особенно этот последний разговор о деньгах. Но его тон при этом, а еще более — проистекающая для Вас выгода, сейчас несколько примирили меня. Он вновь горячо высказывается за издание журнала², и я уверен, что Вам следует с ним сотрудничать. Я же приму участие в этом или других совместных предприятиях лишь настолько, насколько будет абсолютно необходимо в Ваших интересах. — Вы понимаете, дорогой друг, что я пишу все это, всецело полагаясь на Вашу скромность, не менее, чем на Вашу снисходительность. — При встрече я еще многое Вам об этом расскажу.

Сейчас мне некогда подробно расспросить о Ваших странных злоключениях: бедняжка Марианна, как она? Передайте ей привет и уверьте ее в моей неизменной дружбе и участии. Не считаю Вас разумным, но это уж мое тщеславие, однако я нахожу в Вас нечто лучшее, чем разум: доброту, которая простит мои несправедливые упреки. А теперь, мои дорогие, получив неожиданно больше денег, чем я надеялся для вас раздобыть, используйте их, будьте во всем экономны — и вы доедете отлично, несмотря на зимнее время, а встречены будете еще того лучше.

Я объяснил Вам действительное положение дел. А теперь напишите лорду Б[айрону], что благодарите его за ссуду, потому что он предпочел в качестве поручителя меня³, но с тем, чтобы об этом не упоминалось; а я уступаю ему право на *благодарность*, которая, как Вы знаете, не имеет хождения между друзьями. Мне велят кончать письмо немедленно. Прощайте, пишите, особенно о бедняжке Марианне.

Преданный Вам Ш.

Слыхали, что леди Ноэль умерла⁴, и лорд Б[айрон] стал еще богаче?

183

ХОРЕЙСУ СМИТУ

Пиза,
11 апреля 1822

Дорогой Смит!

Я еще не получил ни «Нимфолепта», ни его философских спутников¹ — «Собирает все подвиги в суму седое Время» — туда оно их, верно, и засунуло. Так как от меня оно получило немало для пасти «жесто-

кого забвенья»², полагаю, что на сей раз оно могло бы быть ко мне благосклонно. — Я, кстати, только что бросил еще один кусочек в эту пасть, озаглавленный «Эллада», который не знаю, как послать Вам, но думаю, что какая-либо из фурий литературного Аида завезет экземпляр ее в Париж. Это поэма, написанная прошлым летом на тему борьбы греков, — лирическая, драматическая, в общем неопределенная.

Вы, должно быть, уже слышали о стычке, которая произошла здесь у нас и наверное вырастет в серьезное дело, пока слух дойдет до Парижа; а в действительности это был пустяк, который начался с того, что пьяный драгун оскорбил одного из нас; но дело стало серьезнее, когда один из слуг лорда Б[айрона] опасно ранил этого молодца вилами. — Сейчас он выздоравливает, а отголоски дела будут слышны еще долго после того, как оно прогремело.

Лорд Байрон прочел мне пару писем к нему Мура, где Мур с большой теплотою отзывается обо мне; я, разумеется, польщен одобрением человека, превосходство которого над собою я с гордостью признаю. — Но Мур, после множества добрых советов лорду Б[айрону] насчет общественного мнения и т. п., видимо, недоволен моим влиянием на него в вопросах религии и приписывает этому влиянию тон, каким тот говорит в «Каине». — Против этого влияния Мур остерегает его со всем усердием друга и явно хочет услужить лорду Б[айрону], не оскорбив в то же время меня. — Вы, кажется, знакомы с Муром. — Прошу Вас заверить его, что в этом отношении я не имею на лорда Байрона ни малейшего влияния; но если бы имел, то постарался бы искоренить в его могучем уме заблуждения христианства, которые, наперекор разуму, возникают у него снова и снова и подстерегают его в часы тоски и болезни. «Каин» был задуман много лет назад и начат до нашей прошлогодней встречи в Равенне; но как я был бы счастлив, если бы мог приписать себе, хотя бы косвенно, участие в этом бессмертном творении! Я не согласен с Муром, что христианство является для мира благом; так не может думать ни один разумный человек; сочетание грубых суеверий общепринятой обрядности с чистыми доктринами деизма, исповедуемое такими, как Мур, идет на пользу первым, а последние только оскверняет. — Я согласен с ним, когда он называет учение французов и материалистическую философию столь же ложными, сколь и вредными; но они все же лучше христианства, как анархия лучше деспотизма — и вот почему: первая есть нечто переходящее, а второй вечен. — Мое восхищение личностью и талантом Мура заставляет меня желать, чтобы он не думал обо мне дурно.

Куда Вы поедете этим летом? Все еще будете в Париже? Все еще во Франции? Мы поселимся на лето вблизи Специи, лорд Б[айрон] — в Ливорно. — Можно ли надеяться видеть Вас в Италии, хотя бы на короткое время? Как поживает миссис Смит? Надеюсь, что климат Франции оказался ей полезен и что Ваши малютки здоровы. — У меня растет красивый и здоровый мальчик.

Мне все же удалось раздобыть музыкального угля, так сказать, в самом Ньюкасле³.

Преданный вам

П. Б. Ш.

184

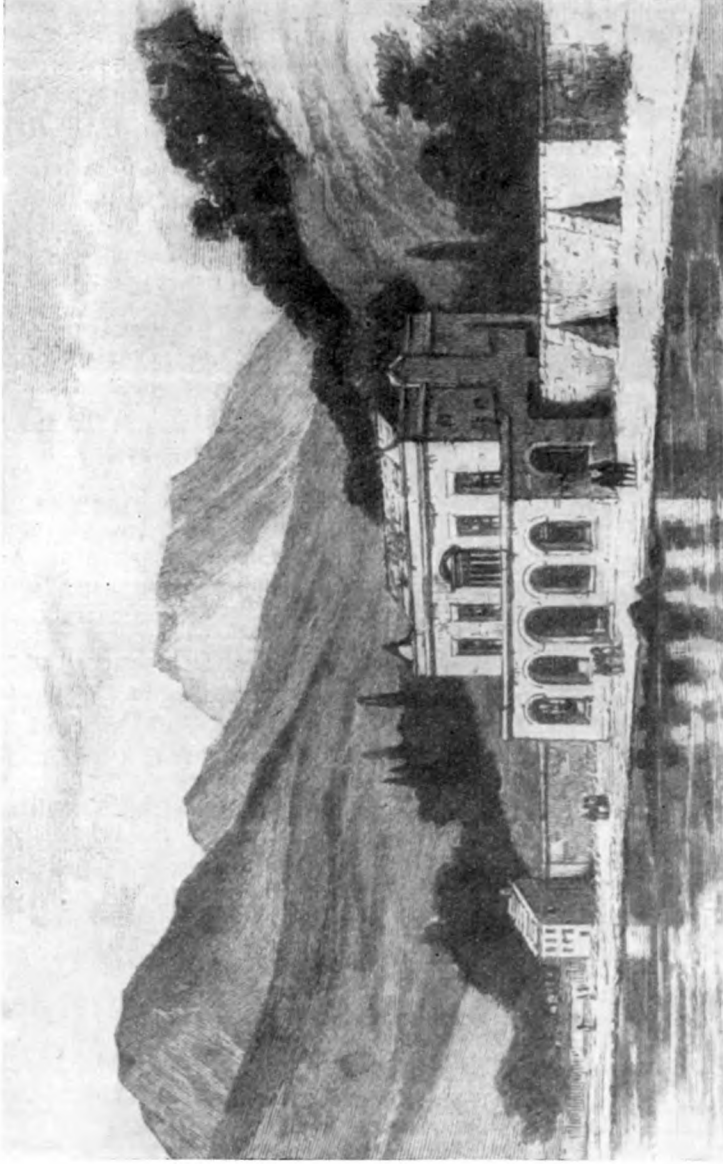
ЛОРДУ БАЙРОНУ

Леричи, вилла Маньи,
3 мая 1822

Дорогой лорд Байрон!

Обстоятельства вынудили меня сообщить Клер всю правду¹. Не стану описывать ее горе; Вы и сами слишком много страдали; единственная цель моего письма — передать Вам ее последние просьбы; как ни печальна одна из них, я не смог отказать ей и уверен, что не откажете и Вы. Она хочет увидеть гроб прежде, чем он будет отправлен в Англию, и я решился заверить ее, что этого утешения, раз оно кажется ей таковым, она не будет лишена. По многим причинам ей лучше приехать для этого в Ливорно, чем в Пизу; Вы можете сообщить мне точно, когда туда прибудет погребальный кортеж и таким образом избавить нас от лишнего часа задержки в пути, которая будет для меня едва ли менее мучительна, чем для Клер. Она хочет также получить от Вас портрет Аллегры и, если есть, прядь ее волос, хотя бы самую маленькую. Если Вы сочтете возможным, могу я просить Вас передать портрет и волосы подателю этого письма. Малейший пустяк может одновременно и питать, и рассеивать столь безысходное горе, как ее. Если у Вас всего один портрет и Вы хотите оставить его себе, я берусь заказать копию и возвратить Вам оригинал.

Боюсь, что это письмо заразит Вас скорбью, которой оно полно и которая царит у нас. Но природа здесь столь же роскошна и радостна, сколь мы печальны, а у нас, как сказано в Фаусте, «свет большой рождает малый свет»² скорее по контрасту с этим божественным образом, чем следуя ему. Должен сообщить, что Тита прибыл с паспортом мистера Доукинса³ и снова стал моряком. Он выглядит счастливым, точно птица, выпущенная из клетки. Будьте добры вернуть за меня Пьетро десять крон, которые я в суматохе отъезда позабыл ему оставить для учителя греческого языка, обучавшего Мери. Мы сочтемся при встрече. Прошу Вас передать мой искренний привет Пьетро, к которому я питаю большую приязнь, и напомнить ему об обещании скоро приехать и подольше у нас побыть. Вам очень понравится Специя, хотя жилища там столь же плохи, сколь великолепна природа. Вильямсы, отправив всю свою мебель и не имея пристанища, поселились пока у меня и при нынешних обстоятельствах служат нам большим утешением. В этом я крайне нуждаюсь. Бедняжка Клер очень больна, она терпит невыносимые душевные муки,



ВИЛЛА МАНБИ.
Последнее место жительства Шелли.

хотя и избегла самого страшного, чего я опасался, и сохранила рассудок. Посланец будет ждать Вашего ответа. Вероятно, я скоро Вас увижу. Сообщите, как Вы, и какие у Вас новости, хорошие или дурные.

Преданный Вам

П. Б. Шелли

185

КАПИТАНУ ДАНИЭЛЮ РОБЕРТСУ

Леричи,
13 мая 1822

Дорогой сэр!

«Дон Жуан», после долгого и бурного плавания, благополучно прибыл сюда в воскресенье вечером [12 мая] и я дождался улучшения погоды и обратной оказии, чтобы написать Вам. — Судно отличное и настолько превосходит мои и Вильямса ожидания, что мы даже думали, не послали ли Вы нам по ошибке «Боливара»¹. — Не знаю, как выразить Вам свою признательность, а еще менее, как отблагодарить Вас за ту затрату времени и труда, какой наверняка потребовало такое отличное судно.

Мы выходили на нем в море нынче утром, а также ненадолго в воскресенье вечером, хотя море было очень беспокойным. Вчера дул сильный юго-восточный ветер, и нужно было зарифить даже больше парусов, чем у него было. Сегодня мы прошли от Леричи до Специи и обратно *по ветру* за полтора часа или немногим больше. — Надеюсь, что скоро увижу Вас здесь и приму у себя, — это во всяком случае будет лучше гостиницы, хотя я и не могу похвалиться комфортабельным жильем. — Скажите Трелони, что я напишу ему по почте; он решит вместе с Вами, как мне лучше оплатить оставшиеся расходы на яхту; кажется, он хотел, чтобы я достал ему на эту сумму тосканских крон.

Много Вам обязанный и преданный

П. Б. Шелли

Я оставил у себя для обслуживания судна одного из присланных Вами юнг. — Трелони высмеял бы меня, если бы я поручил это моему дурню Доменико².

186

ДЖОНУ ГИСБОРНУ

Леричи,
18 июня 1822

Дорогой Гисборн!

Выбирая, на какое из Ваших весьма интересных писем ответить, я пока откладываю деловое, ибо единственная его часть, которая требует ответа, требует также и зрелого размышления. Прежде всего посылаю Вам деньги

на почтовые расходы, ибо хочу иметь вдоволь бумаги и не писать поперек страниц. Мери скоро Вам напишет; сейчас она крайне слаба после тяжелого выкидыша, но понемногу оправляется. В течение нескольких часов ее состояние внушало опасения, и, так как она была лишена какой-либо медицинской помощи, мне пришлось отважиться на решительные меры; я усадил ее на лед, и этим удалось прекратить кровотечение и обмороки, так что, когда прибыл врач, всякая опасность миновала, и ему оставалось только похвалить меня за смелость. Сейчас она поправляется, а морские ванны скоро укрепят ее.

Я просил Оллиера послать Вам свои счета. Я хотел, чтобы «Адо-наис» был издан как следует, потому что это мой любимец, а также в память Китса, который был гениальным поэтом, что бы там ни говорили классицисты. «Эллада» мне тоже нравилась за ее сюжет — всегда ведь отыщешь какой-нибудь предлог восторгаться собственным произведением. На «Эпипсихидиона» я не могу смотреть; особа, которую он прославляет, оказалась не Юноной, а облаком; и бедняга Иксион в ужасе отшатывается от кентавра, явившегося плодом его собственных объятий¹. Однако, если Вам интересно, кто я и кем был, эта поэма кое-что Вам расскажет. Она является идеализированной повестью моей жизни и чувств. Я полагаю, что мы вечно во что-нибудь влюблены; ошибка, — которой трудно избежать душам, заключенным в телесную оболочку, — состоит в том, что образ вечного мы ищем в брэнной плоти. Хогг высказывается об этой поэме очень смешно и цинично и говорит, что она ему нравится. В качестве похвалы он говорит:

«Tantum de medio sumptis accedit honoris» *.

А я утверждаю, что это не дозволено, даже по-латыни.

Хант еще не приехал, но я жду его со дня на день. Я редко буду видеться с лордом Байроном² и не позволю Ханту быть связующим звеном между нами. Мне тягостно всякое людское общество — почти всякое, — а лорд Байрон сосредоточил в себе все ненавистное и несносное, что есть в этом обществе. Он придет в ярость, когда узнает об этих «Мемуарах»³. Что до меня, то Вам известно мое совершенное безразличие к подобным вещам, разве что иногда посмеюсь нелепым ошибкам их сочинителей. Расскажите немного, что говорят обо мне, кроме того, что я атеист. Одного я опасуюсь — как бы это не повредило Ханту при основании журнала⁴, ибо лорд Байрон до того капризен, что малейшей причины достаточно, чтобы его поколебать. Не знаю, что сказать о Вашем намерении поселиться на Лендс-энд. Провизия там гораздо дешевле, но духовной пищи Вы будете лишены, не считая той, что засушена и засолена между книжными переплетами, а подобная диета, без добавки свежих продуктов, вредна для духовного пищеварения. Когда не нужно заботиться о деньгах,

¹«Она столько прибавила чести за счет общества» (лат.).

это, разумеется, очень хорошо, и во всяком случае вложить состояние в землю, за которой Вы сами всегда можете присмотреть, было бы весьма разумно. Но почему непременно Лендс-энд? Почему бы не выбрать местность вблизи Лондона, где до Вас будет доходить биение пульса этого центра мысли и деятельности? Так было бы лучше и для Генри. Мне хотелось бы, чтобы Вы вернулись в Италию; но для Вас, я полагаю, лучше остаться там, где Вы сейчас. Если бы миссис Гисборн удалось найти побольше учеников, это было бы Вам огромным подспорьем. Вы не пишете, каково ее здоровье. Я рад слышать, что Ваше улучшилось, и это также веский довод за то, чтобы оставаться в Англии. Что до меня, то Италия восхищает меня все больше, и почти единственное, чего мне остается желать, это — Вашего и миссис Гисборн присутствия, хотя, если бы мои надежды не ставили границ моим желаниям, я включил бы также и Хогга. Я ощущаю только отсутствие тех, кто способен меня понимать. Мери не принадлежит к их числу, быть может, вследствие постоянной семейной близости. И этого, пожалуй, даже требует необходимость скрывать от нее мысли, которые ее огорчили бы. Это Танталово проклятие, когда человек с такими дарованиями и с такой чистой душой, как она, не способен внушать симпатию, необходимую для проявления этих качеств в домашней жизни.

Вильямсы сейчас гостят у нас, и они мне очень милы. Однако с ними мое общение заключается не в разговорах. Джейн нравится мне все больше, а Вильямс чрезвычайно приятен в общении. Она любит музыку, а грациозность ее фигуры и движений отчасти искупает недостаток литературного вкуса. Миссис Гисборн знает, какой я профан в музыке, и извинит меня, если я скажу, что целыми вечерами с величайшим наслаждением слушаю на нашей террасе самые простые напевы. Здесь у меня есть яхта, которой поначалу я должен был владеть сообща с Вильямсом и Трелони, но нежелание быть третьим лицом побудило меня приобрести ее, став единственным владельцем. Это обошлось мне в 80 фунтов и поставило в несколько затруднительное положение с деньгами. Но яхта ходкая и красивая и выглядит отлично. Управляет ею Вильямс, и мы катаемся вокруг здешнего прелестного залива при вечернем ветерке, под летней луной, пока земля не начинает казаться чем-то неземным. Джейн берет с собой гитару, и если бы можно было зачеркнуть прошлое и будущее, настоящее удовлетворило бы меня настолько, что я мог бы, как Фауст, просить быстротечное время:

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно»⁵.

Клер сейчас у нас; смерть ребенка, видимо, вернула ей спокойствие. Ее характер несколько изменился. Она разговорчива и оживлена и хотя порой досаждаст мне, но нравится. Мери сейчас не слишком недовольна ее присутствием, разумеется, временным и нужным при нынешних обстоятельствах.

Лорд Байрон находится в Ливорно. Он снарядил великолепное судно — небольшую шхуну американского образца; капитаном будет Трелони. Долго ли наш грозный Пират станет подчиняться капризам Поэта — это мы посмотрим.

Что касается Ханта, он не способен ни видеть, ни чувствовать недостатки, от которых может лично пострадать. Я пишу сейчас мало. Невозможно творить без того подъема, какой вызывает уверенность, что ты найдешь отклик. Вообразите Демосфена, обратившегося с филиппикой к атлантическим волнам! Лорд Байрон в этом отношении счастливее. Он затронул струну, на которую отозвался миллион сердец, и вульгарные звуки, извлекаемые им из его лиры, чтобы нравиться, были ступенями к тому совершенству, к какому он приблизился ныне. Я оставил «Карла Первого». Я слишком не уверен в будущем и слишком недоволен прошедшим, чтобы всерьез углубиться в какую бы то ни было тему. Я словно стою на краю пропасти, куда поднялся с большой опасностью, а опуститься не могу без опасности *еще большей*: и доволен уж тем, что небо надо мною ясно, хотя бы сейчас.

Вы не пишете, как Вам понравился «Каин». Вы только сообщили мнение толпы, которым я, как Вам известно, не дорожу. Я прочел еще несколько пьес Кальдерона. Лучшая из них — «Los dos amantes del cielo»*, если не считать одной сцены в «Devocion de la cruz»** . Читаю я также по-гречески и подумываю писать.

Передайте мой сердечный привет миссис Гисборн и Генри. Я не слишком высокого мнения об ее ученице, которой не нравится Метастаззио⁶; девиз *nil admirari****, даже примененный уместно, — дурной признак у молодой особы. Я предпочел бы, чтобы моя ученица восторгалась хоть самим Марини⁷, чем находила недостатки у самого плохого автора. Вот если она по собственному побуждению восхитится лучшими сценами *Purgatorio*****, или вступлением к *Paradiso******⁸, или иным несправедливо забытым образцом высокого мастерства, от нее можно ждать многого.

Прощайте; мне не хватает бумаги, хотя я не побоялся, что Вам не хватит терпения меня читать.

Неизменно любящий Вас

П. Б. Ш.

P. S. Я три дня ждал, чтобы это перо очинили; но пришлось-таки им писать.

* «Небесные возлюбленные» (исп.).

** «Поклонение кресту» (исп.).

*** Ничем не восхищаться (лат.).

**** Чистилища (итал.).

***** Раю⁸ (итал.).

187

ЭДВАРДУ ДЖОНУ ТРЕЛОНИ¹Леричи,
18 июня 1822

Дорогой Трелони!

Я написал Геххарду², чтобы Вам выплатили 154 тосканских кроны, т. е. сумму, которую я оставался Вам должен, — согласно подсчетам Робертса³, сохраняемым мною для Вашего спокойствия, — за вычетом 60-ти, уплаченных мной aubergiste* в Пизе (итого 214). Нынче утром мы видели Вас милях в 8 от берега, но ветер стих, и мы не надеемся, что Вы к вечеру доберетесь до Ливорно. — Пожалуйста, пришлите нам полный правдивый и подробный отчет обо всей поездке — как лорду Байрону нравится судно — каковы Ваши планы на лето — и когда можно надеяться снова увидеть в наших краях Вас или его — и особенно, нет ли вестей о Ханте. Робертс и Вильямс усердно оснащают «Дон Жуана»; они хотят, чтобы он пришел в Ливорно во всей красе. Я не знаток этих вещей, но очень благодарен первому из них, и очень рад, что второй находит удовольствие в том, что, уподобясь воробью, обучает кукушкиных птенцов. — Вы, разумеется, бываете в ливорнском обществе; если Вам встретится ученый человек, который сумел бы добыть синильную кислоту или эфирное масло горького миндаля, очень Вас прошу достать немного для меня. Готовить кислоту надо очень тщательно, и она должна иметь высокую концентрацию; за это лекарство я готов заплатить любую цену. Помните, мы недавно о нем говорили с Вами и оба выразили желание его иметь; я этого серьезно желаю, ибо хотел бы избежать ненужных страданий. Надо ли уверять Вас, что я не имею сейчас намерения кончить самоубийством — но, признаюсь, я чувствовал бы себя спокойнее, когда бы обладал этим золотым ключом от храма вечного покоя. Синильная кислота в бесконечно малых дозах применяется в медицине, но такой препарат чересчур слаб, и не имеет той концентрации, которая излечивает все недуги наверняка. — Достаточно одной капли, даже меньше, чтобы вызвать паралич. — Я с интересом узнал про книгу о лорде Байроне⁴ и его пизанском кружке. — Надеюсь, что его она не рассердит — мне же совершенно безразлично. — Если Вы не показали ему то мое письмо, не делайте этого до прибытия Ханта, а тогда мы наверняка встретимся.

Ваш искренний друг

П. Б. Шелли

P. S. Мери лучше, но она еще крайне слаба.

* Трактирщику (франц.).

188

ЛИ ХАНТУ

Леричи,
19 июня 1822

Дорогой друг!

Пишу Вам на случай, если Вы еще будете в Генуе, когда придет мое письмо. Ваше было адресовано в Пизу, потом его переслали сюда, не то я, вероятно, отправился бы к Вам в Геную; но сейчас так мало шансов застать Вас там, что я не хочу рисковать — мы можем дольше не увидеться, если разминемся в пути. Поэтому, как только я узнаю, что Вы отплыли, я тотчас отправляюсь в Ливорно. — Мы сейчас живем в белом доме со сводами вблизи Леричи, в заливе Специя. — Вильямсы живут с нами. Он — один из лучших людей в мире, а его жена Джейн — очаровательное создание — по нашему общему мнению, — в прямом родстве с дамой, описанной мною в «Мимозе»¹, хотя это было прямо-таки прозрением будущего, ибо написано за год до знакомства с нею. Клер также живет у нас; ее настроение и характер улучшились после ее утраты². — Хорошо, если Вам не придется плыть мимо Леричи, но боюсь, что придется, — а тогда взгляните на белый дом и вспомните нас.

Добро пожаловать, лучший мой друг, в этот дивный край — горы и моря уже не будут разделять больше тех, кто соединен привязанностью. Когда мы встретимся в Ливорно, о многом надо будет подумать и поговорить, но итогом будет для Вас — успокоение, а для меня — самое большое удовольствие, какое мне выпадало со времени нашей разлуки.

Передайте нежный привет Марианне: ее болезнь не замедлит пройти — вместе с породившими ее причинами. Если почему-либо Вам придется сделать остановку в Леричи, это будет для нас восхитительным сюрпризом. — Бедняжка Мери, которая шлет Вам лучшие пожелания, серьезно болела после очень тяжелого выкидыша. — Она все еще не может вставать с кушетки и должна некоторое время очень беречься, иначе она поехала бы со мною в Ливорно.

Лорд Байрон находится в villegiatura* вблизи Ливорно, — а кроме того, Вы встретитесь с мистером Трелони, бесшабашным, но добросердечным моряком.

Когда приедете, обращайтесь за всеми справками к мистеру Данну³, хозяину английской лавки. Ваш приезд придаст мне так много бодрости, что мне почти все будет нипочем. А недостаток бодрости не могу объяснить ни любовью, ни телячьими котлетами. В Вашем присутствии я надеюсь наслаждаться первой и поглотить множество вторых⁴

* Даче (итал.).

Довольствуюсь тем, что я есть, я надеюсь позабыть, чем мог бы стать. Обнимаю всех вас с любовью.

Неизменно Ваш
П. Б. Ш.

P S. Возможно раньше известите меня о Вашем приезде.

189

ХОРЕЙСУ СМИТУ

Леричи,
29 июня 1822

Как видно, я должен быть не менее благодарен Вам за отказ¹, чем за выполнение просьбы, изложенной в моем предыдущем письме. — Я обращался с нею к Вам, потому что обещал это сделать, но неохотно, ибо считаю, что все деньги, которые ссужаешь Годвину на его деловые начинания, — это деньги, брошенные на ветер. Вы дали ему отличный совет, и хотя я не думаю, чтоб он последовал ему по собственной охоте, необходимость может заставить его принять какие-то меры, вроде тех, что Вы ему рекомендуете. У меня абсолютно нет средств, которые позволили бы этого избежать, и ни малейшего намерения забирать деньги в счет наследства, и так уже изрядно уменьшенного.

Пожалуйста, поблагодарите Мура за любезные слова² — я желал бы так же хорошо выразить мое высокое мнение о его таланте и личных достоинствах. — Я сам написал бы ему на тему моего последнего письма, не знаю только, имею ли на то право, хотя лорд Байрон не скрывал, что все рассказал мне. Мне думается, что нынешнее критическое положение общества требует от каждого, чтобы он отдал себе отчет, насколько существующие религии, как и политические системы, непригодны ни для руководства людьми, ни для сдерживания их. — Надо взглянуть в глаза правде, какова бы она ни была. — Едва ли назначение человека столь низко, что он родится лишь для того, чтобы умереть; а если так, то едва ли его возвысят заблуждения, особенно столь грубые и нелепые, как существующая религия; если бы каждый высказывал то, что он думает, она не продержалась бы и одного дня. Однако все в той или иной мере подчиняются окружающей среде, и этим своим лицемерием сами питают зло, на которое сетуют. Англия, видимо, находится в отчаянном положении, Ирландия — в еще худшем, и ни один из классов, существующих за счет общественного труда, не хочет признать, что ему надо умерить свои требования. И все же правительство должно удовлетвориться меньшими налогами, землевладелец — меньшей рентой, держатель ценных бумаг — меньшим процентом, иначе они не получат ничего или даже хуже того. Когда-то я намеревался изучать эти вопросы и

соответственно писать или действовать. — Я рад, что мой добрый гений шепнул мне: воздержись. Я мало встречаю примеров высоких гражданских чувств и предвижу, что борьба пойдет на кровь и на золото — а с этими веществами, как ни мало их в моих жилах и в моем кармане, я не хотел бы расставаться. — Лорд Байрон все еще в Ливорно; ему только что прислали из Генуи прелестную яхту, которую построили там по его заказу. Он сочинил еще две песни «Дон Жуана»³, но я их не читал. Я получил письмо от Ханта, который прибыл в Геную. Как только узнаю, что он оттуда отплыл, тотчас же подыму якорь на своей маленькой яхте и последую за ним в Ливорно, где надо помочь ему договориться с лордом Байроном⁴. — Между нами говоря, я очень опасаюсь, что из их союза ничего не выйдет, ибо я, который и прежде мог бы служить лишь посредником между двух грозовых разрядов, теперь не согласен даже на эту роль, — а сколь долго может длиться союз жаворонка и орла, я не берусь предсказать. Прошу только не сообщать никому об этих моих сомнениях, ибо это может повредить Ханту, и к тому же они, *быть может*, неосновательны. — Я по-прежнему живу у здешнего восхитительного залива, читаю испанских драматургов, хожу под парусом и слушаю прелестную музыку. У нас гостят друзья, и я жалею лишь о том, что лето пройдет и что Мери не разделяет моего пристрастия к здешним местам, а не то я бы отсюда никуда не уезжал.

Прощайте. —

Ваш благодарный и любящий друг

П. Б. Шелли

190

ДЖЕЙН ВИЛЬЯМС¹

Пииза,
4 июля 1822

Вы, вероятно, увидите с Вильямсом раньше², чем мне удастся разделаться с многочисленными делами. — Я возвращаюсь сегодня вечером в Ливорно и буду настаивать, чтобы он отправлялся с первым попутным ветром, не дожидаясь меня. Таким образом, взамен всех других удовольствий я буду иметь удовольствие порадовать Вас — и не оставить Вам иных поводов для сожалений, кроме отсутствия того, о ком едва ли стоит сожалеть. Боюсь, что Вам одиноко и грустно на Вилле Маньи. Хотя у себя дома я вынужден разделять большее горе, я мысленным взором вижу облачко печали на вашем лице, доставлявшем мне такое утешение.

Как быстро пролетели, как медленно возвращаются, чтобы вновь улететь, и, может быть, навсегда, счастливые часы, проведенные нами

вместе! — Прощайте, дорогой друг, — я пишу эти строки лишь ради приятного сознания, что они будут прочитаны Вами. Все новости Вам сообщит Мери.

Ш.

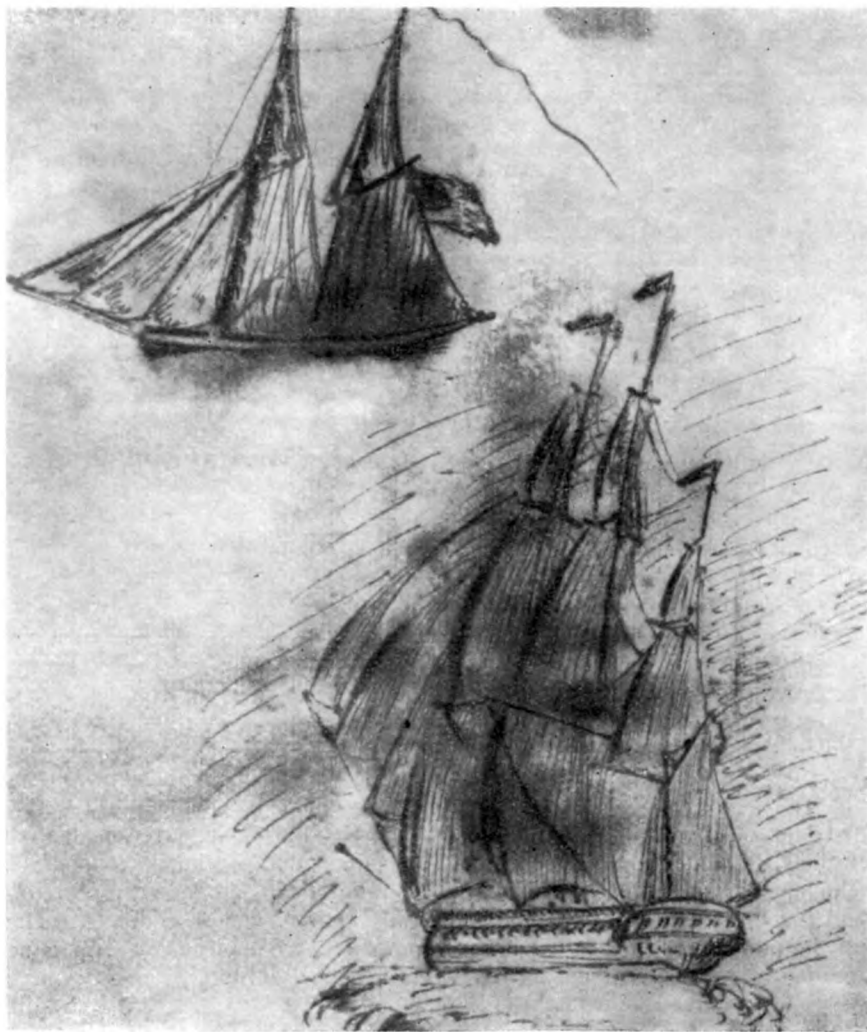
191

МЕРИ ШЕЛЛИ

Пиза,
4 июля 1822

Милая Мери!

Я получил оба твоих письма и выполняю все содержащиеся там распоряжения. — Покупать «Боливара» я не собирался; лорд Б[айрон] хочет его продать, но, вероятно, предпочел бы за наличные; о доме вблизи Пуньяно¹ я еще не справлялся — все мое время занято делами Ханта; я задерживаюсь здесь против своего желания и, видимо, Вильямс прибудет к Вам на шхуне раньше меня; но это решится завтра. Дела бедного Ханта из рук вон плохи. Марианна тяжело больна, и я по прибытии в Пизу послал за Вакка². Он считает ее безнадежной, и, хотя она может еще протянуть, роковой конец неизбежен³. Этот диагноз он почел нужным сообщить Ханту, одновременно указав весьма точно лечение, на случай, если он все же ошибается. Это известие погасило у Ханта последнюю искру надежды, а он и без того был подавлен. Дети здоровы и стали очень милы. — Лорд Байрон собирается уезжать из Тосканы. Семья Гамба выслана, и он жавет разделить их изгнание. Сперва он хотел отправиться в Америку, потом в Швейцарию, в Геную и, наконец, остановился на Лукке. — Все в отчаянии и в смятении. Трелони готовился плыть в Геную, чтобы затем переправить «Боливара» по суше в Женевское озеро, и уже доверительно попросил меня не отговаривать лорда Байрона от сей сухопутной навигации. Затем он получил приказ поднять якорь и идти в Леричи. Сейчас, не получая никаких распоряжений, он ходит хмурый и недовольный. Хуже всего придется бедняге Ханту, если только буря не пронесется мимо. Он возлагал все свои надежды на издание журнала⁴, все для этого сделал, и сейчас от его 400 фунтов остался только долг в 60 крон. — Разумеется, лорд Байрон должен теперь предоставить ему нужную сумму, раз этого не могу я; но он, кажется, намерен уехать без каких-либо объяснений и ничего не сделав для Ханта. Придется мне вступить, отбросив щепетильность. Для первого номера он предлагает Ханту «Видение Суда»⁵. Если предложение делается искренне, этого более чем достаточно, чтобы дать журналу ход и все уладить.



ЯХТЫ «ДОН ЖУАН» (сверху) и «БОЛИВАР».
Рисунок Эдварда Э. Вильямса.

А как ты, моя самая любимая Мери? Напиши прежде всего о своем здоровье и настроении; и не примирилась ли ты с мыслью остаться в Леричи, хотя бы на это лето.

Ты не можешь себе вообразить, как я занят. — Не имею ни минуты досуга, но напишу тебе со следующей почтой.

Твой неизменно любящий

Ш.

[P. S.] Перевод «Пира» я отыскал⁶.

СОХРАНИВШИЕСЯ ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ К ЭМИЛИИ ВИВИАНИ*

ПИСЬМО I

...не оказывает действия на богатых и знатных. Открыто заявив себя врагом всякой тирании, политической и домашней, я восстал против себя всех тиранов. А разве не тираны правят миром? Я готов предложить тебе все, что имею, — о если бы я имел больше!

Думай обо всех и обо всем. Придумай побольше доводов. Не отчаивайся; верь, что меня не остановит опасность для моей страны; во всем, что я смогу придумать, чтобы помочь тебе, я стану руководствоваться одним лишь твоим благом.

ПИСЬМО II

Я говорил о тебе с одной моей приятельницей и, чтобы возбудить в ней еще больше участия к твоей несчастнейшей судьбе, показал твое последнее письмо (прости мне эту нескромность, оправданную самыми лучшими намерениями). Она обещала написать о твоём несчастье приору церкви св. Николая в Пизе и просить его навестить тебя и всеми возможными способами заставить твоего отца выдать тебя замуж.

ПИСЬМО III

Связанные недолгой дружбой, по странной случайности сойдясь с разных концов земли, мы, быть может, окажемся друг для друга утешением. Желаю тебе и нам обоим, как говорит Данте¹, чтобы мы

Уплыли в море так, чтоб по желанью,
Наперекор ветрам неслась ладья,

* Оригиналы на итальянском языке.

Чтобы Фортуна, ревность затая,
Не помешала светлому свиданью...

Я добавил бы еще и это:

И легкому покорные дыханью
Любви, узнали б радость бытия

ПИСЬМО IV

Эмилия, ты была прекраснее, чем белая лилия на зеленом стебле,
и свежее, чем май, когда —

ПИСЬМО V }

[Весь отрывок зачеркнут]

Вижу тебя мысленным взором, и ты осеняешь меня своей божественной красотой. Сколько раз ты [?] Я вижу над собой твои темные глаза, всегда прекрасные. Чувствую твою руку на моей и твои губы — но тут я закрываю глаза, и когда ты уже не отвечаешь мне, пламя угасает, лишенное пищи. Сегодня я очень нездоров. Твои милые глаза улыбаются где-то в моем сердце. Я уже не думаю о смерти; я верю, что душа, любимая тобою, не может...

ИСТОРИЯ ШЕСТИНЕДЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ
ПО НЕКОТОРЫМ ОБЛАСТЯМ ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ,
ГЕРМАНИИ И ГОЛЛАНДИИ

с приложением писем, описывающих плавание
вокруг Женевского озера и ледника Шамони

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта маленькая книжка как нельзя более скромна. Она содержит рассказ о странствиях одной молодой компании по местам, которые сейчас так хорошо знакомы нашим соотечественникам, что едва ли какие-либо сведения о них ускользнули от внимания многих более опытных и точных наблюдателей, опубликовавших свои путевые записки. Наши авторы всего лишь придали некий порядок тому немногому, что содержалось в кратком путевом дневнике и в нескольких письмах к друзьям в Англию. Теперь, когда их маленькая повесть предлагается читателю, они сожалеют, зачем эти материалы не были более обильными и полными. Их ждут справедливые укоры тех читателей, которые ищут не столько развлечения, сколько возможности осудить. Но те, кто провел свою юность, как и авторы, кто стремился — а с каким успехом, не важно, — подобно ласточке, за переменчивым летом красоты и радости, озаряющим наш мир, те, быть может, не без удовольствия последуют за автором, ее мужем и сестрой в их пеших скитаниях по Франции и Швейцарии и в плавании по увенчанному замками Рейну, среди ландшафтов, которые прекрасны сами по себе, но которым великий поэт¹ даровал с тех пор новую, божественную жизнь. Им будет интересно прочесть о посещении Мейери, Кларана, Шильона и Вева — о местах, ставших уже классическими², населенных нежными и вдохновенными образами настоящего и прошедшего.

Читателям, быть может, не приходилось слушать тех, кто со всем восторгом юности созерцал глетчеры, озера, леса и потоки величавых Альп. Они, быть может, простят изъяны повествования ради описанных в нем событий и чувств и из интереса, какой сами по себе возбуждают все эти прославленные места.

Стихотворение, озаглавленное «Монблан», принадлежит автору писем из Шамони и Вева³. Оно было сочинено под наплывом глубоких и силь-

ных чувств, вызванных созерцанием того, что автор пытается описать; это ничем не сдерживаемое излияние чувств может представлять некоторый интерес как попытка изобразить ту дикую мощь и величавую неприступность, которая эти чувства вызвала.

ЗАПИСКИ О ШЕСТИНЕДЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ
ПО НЕКОТОРЫМ ОБЛАСТЯМ ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ,
ГЕРМАНИИ И ГОЛЛАНДИИ

Со времени этой поездки прошло уже почти три года; дневник, который я тогда вела, содержал лишь беглые заметки; но я так часто рассказывала о своих приключениях и описывала места, по которым мы проезжали, что, вероятно, помню все сколько-нибудь значительное.

Мы выехали из Лондона 28 июля 1814 г., в очень жаркий день, какие случаются в нашем климате лишь однажды за много лет. Я не принадлежу к выносливым путешественникам и сильно страдала от этой жары, пока, прибыв в Дувр, не освежилась морским купанием. Так как мы хотели совершить переезд возможно быстрее, мы не стали дожидаться пакетбота, отправлявшегося на следующий день (было около четырех часов пополудни), и наняли небольшую лодку, решив переправиться в тот же вечер, что заняло бы, по уверениям лодочников, каких-нибудь два часа.

Вечер был прекрасный, погода почти безветренная; паруса едва шевелились под ленивым бризом; взошла луна, сгустилась тьма, а с нею появилась мертвая зыбь, затем подул ветер, подняв на море такую волну, что нашу лодку сильно бросало. Я мучилась морской болезнью и, как обычно в таких случаях, проспала большую часть ночи, а просыпаясь, всякий раз спрашивала, где мы, и всякий раз получала неутешительный ответ: еще не прошли и полпути.

Дул сильный встречный ветер; если бы не удалось высадиться в Кале, лодочники предложили отвезти нас в Булонь. Вместо обещанных двух часов их прошло много, а мы все еще были далеко от цели; луна скрылась в багровых грозových тучах, и перед рассветом в небе сверкнула бледная молния.

Мы с трудом подвигались против ветра, как вдруг грозовой шквал ударил в парус, и волны захлестнули лодку; даже лодочники признали, что опасность была немалая; но им удалось зарифить парус; ветер вскоре переменялся, и мы смогли идти прямо в Кале уже по ветру. Я очнулась от беспокойного сна как раз когда мы входили в гавань и над причалом вставало в безоблачном небе огромное красное солнце.

ФРАНЦИЯ

Утомленная переездом и качкой, я со своими спутниками¹ побрела по песчаному берегу к гостинице. Впервые я услышала смутный гул голосов, говоривших на чужом, непривычном языке, и увидела людей, одетых совершенно иначе, чем на нашей стороне пролива: женщин в высоких чепцах и коротких кофтах, мужчин с серьгой, дам в высоких шляпках или *coiffures**², причесанных так, что все волосы подобраны на макушке и ни один локон не выбивается на висок или щеку. Впрочем, в манерах жителей Кале есть нечто очень приятное, располагающее в их пользу. Англичанин мог бы тут вспомнить, что при взятии Кале Эдуард III² изгнал коренных жителей и почти целиком заселил город своими соотечественниками; но нравы здесь, к сожалению, не английские.

Мы провели в Кале весь первый день и почти весь следующий: накануне нам пришлось оставить багаж в английской таможне, и его должны были прислать пакетботом, а тот из-за встречного ветра прибыл только к ночи. Ш[елли] и я пошли прогуляться по укреплениям за городской чертой; там оказались луга, где сушилось сено. Пейзаж был совершенно деревенский и очень приятный.

30 июля, около трех часов пополудни, мы выехали из Кале в кабриолете, запряженном тройкой лошадей. Для людей, которые до тех пор не видели ничего, кроме щегольских английских экипажей с фореитором, в нашей повозке было нечто невыразимо комическое. Кабриолет несколько похож на дорожную коляску, но на двух колесах, а потому не имеет боковых дверей; в него садятся спереди, и для этого передок откидывается. Все три лошади впрягаются рядом, самая рослая — посредине; она кажется еще огромнее из-за непонятной упряжи, похожей на пару деревянных крыльев, укрепленных у нее на спине. Постромки веревочные. За фореитора сидел странный человек с длинной косицей; он щелкнул кнутом, и мы покатали, провожаемые взглядом унылого старого пастуха в треугольной шляпе.

Дороги оказались отличные, но жара стояла нестерпимая, и я сильно от нее страдала. Первую ночь мы провели в Булони, где запомнили не красивую, но очень приветливую горничную. Тут мы впервые заметили, насколько они отличаются от английских. У нас они чопорны, а когда хоть сколько-нибудь освоятся, становятся наглы. Во Франции люди из простонародья держатся так же вежливо и свободно, как хорошо воспитанные англичане; они обращаются к вам как к равным, и, следовательно, дерзость невозможна.

Мы заказали лошадей на ночь, но слишком устали, чтобы ими воспользоваться. Возница потребовал денег за весь перегон. «Ah, madame, —

* Прическа (франц.).

сказала горничная, — *pensez-y; c'est pour dédommager les pauvres chevaux d'avoir perdu leur doux sommeil*» *. Английская горничная так бы не пошутила.

Первое, что поразило наши английские глаза, это — неогороженные поля³; однако, на них зрел отличный урожай. Виноградников мы не видели вплоть до Парижа.

Жаркая погода удерживалась, и путешествие крайне утомляло меня. Это побудило моих спутников торопиться; поэтому на следующую ночь мы нигде не останавливались и около двух часов дня прибыли в Париж.

Здесь нет гостиниц, где можно остановиться на любой срок: поэтому нам пришлось снять комнаты в гостинице на неделю. Они были дороги и не слишком удобны. Как и всюду во Франции, главной комнатой была спальня. Был еще чуланчик, где тоже стояла кровать, и прихожая, которую мы превратили в гостиную.

Жара стояла такая, что мы могли выходить только под вечер. В первый вечер мы гуляли в Тюильрийском саду; это типичный чопорный французский сад: деревья подстрижены, и совсем нет травы. Бульвары показались мне несравненно приятнее. Кольцо их почти окружает Париж и тянется на восемь миль; бульвары очень широки и по обе стороны обсажены деревьями. На одном конце находится великолепный фонтан, непрерывно плещущий свежими струями. Поблизости расположены ворота Сен-Дени с прекрасной скульптурой. Не знаю, насколько она теперь изуродована варварством завоевателей⁴, которые не удовольствовались тем, что захватили наполеоновские трофеи, но в бессильной злобе разрушили эти памятники своих поражений. Тогда я видела ворота во всем их великолепии, заставлявшем думать, что в Париже возродилось величие древнего Рима.

Проведя в Париже неделю, мы получили небольшой денежный перевод, освободивший нас из плена, который становился тягостным. Куда направиться далее? Обсудив множество планов, мы остановились на одном, довольно эксцентричном, но пленившем нас именно своей романтикой. В Англии мы не сумели бы осуществить его, не подвергаясь постоянным издевкам; во Франции к причудам ближних относятся куда более терпимо. Мы решили обойти Францию пешком; но так как я была слишком слаба для больших переходов, а сестра моя тоже не смогла бы пройти в день столько, сколько Ш[елли], мы решили купить ослика, который должен был везти наш портплед и — по очереди — одну из нас.

Итак, в понедельник 8-го августа, рано утром Ш[елли] и К[лер] отправились на ослиный рынок и купили осла; остаток дня был посвящен приготовлениям к отъезду; нас посетила хозяйка гостиницы, пы-

* Ах, мадам, подумайте; надо же вознаградить бедных лошадей бессонную ночь (франц.).

таясь отговорить от нашего замысла. Она напомнила, что в стране только что распущена многочисленная армия, что солдаты и офицеры разбрелись повсюду и *les dames seroient certainement enlevées* *. Но мы все остались глухи к ее убеждениям; упаковав самое необходимое, с тем чтобы остальной багаж везли дилижансом, мы отправились из гостиницы в извозчицей пролетке, за ней следовал ослик.

У заставы мы отпустили извозчика. Начинало смеркаться; ослик, казалось, совершенно не в силах был везти кого-либо из нас и изнемогал под тяжестью портпледа, хотя и маленького. Но нам было весело, и мила показались нам короткими. Около десяти часов мы добрались до Шарантона.

Шарантон красиво расположен в долине Сены, где она вьется меж берегов, поросших деревьями. Глядя на это, К[лер] воскликнула: «Как красиво! Давайте поселимся здесь». То же самое она восклицала на каждом новом месте, а так как каждое превосходило красотой предыдущее, то она говорила: «Хорошо, что мы не остались в Шарантоне, но здесь давайте поселимся непременно!»

Не видя от осла никакой пользы, мы продали его, прежде чем продолжать путь, и за десять наполеондоров купили мула. Около девяти часов мы двинулись дальше. Мы были в черных шелковых платьях. Я ехала на муле, везшем также портплед, а Ш[елли] и К[лер] шли следом, неся корзинку с провизией. Около часу дня мы прибыли в Гро Буа, и тут, в тени деревьев, поели хлеба и фруктов и выпили вина, вспоминая Дон Кихота и Санчо.

Местность, которую мы проезжали, была отлично возделана, но не живописна; виднелись одни лишь поля, где волновались золотые хлеба. Нам повстречалось несколько путников, но наш способ путешествия, при всей его необычности, не вызывал ни малейшего любопытства или замечаний. Ночь мы провели в местечке Гинь, в той самой комнате и тех самых постелях, где во время последней кампании спали Наполеон и кто-то из его генералов. Маленькая старушка, состоявшая при гостинице, была очень довольна, что может об этом рассказать, и восторженно говорила об императрице Жозефине и о Марии-Луизе⁵, каждая из которых в свое время проезжала по этой дороге.

Первым городом на нашем пути, показавшимся нам интересным, был Провен. Там нам предстояло заночевать; мы приблизились к нему на закате. С вершины холма нам открылся город, лежавший внизу, в долине; по одну сторону высился крутой утес, увенчанный развалинами крепости со множеством башен; ниже и дальше виднелся собор; все вместе составляло отличный сюжет для картины. После двух дней пути по ничем не примечательной местности глаза наши с наслаждением задерживались

* Дамы наверняка будут похищены (франц.).

на каждом выступе. В Провене нас плохо накормили и неудобно уложили, но воспоминание о ландшафте вполне нас утешило.

Теперь мы приблизились к местам, которые должны были напомнить нам то, что мы едва не забыли: что во Франции недавно разыгрались страшные события. Ножан, куда мы прибыли к полудню следующего дня, оказался полностью разрушен казаками. Эти варвары не оставляли камня на камне на своем пути. Быть может, они помнили Москву и разорение русских деревень; но сейчас мы были во Франции; и горе жителей, чьи дома были сожжены, скот истреблен, имущество уничтожено, заставило меня с новой силой возненавидеть войну, как может только тот, кто прошел по стране, опустошенной этим бедствием, которое человек в своей гордыне навлекает на ближнего.

Вскоре после Ножана мы отклонились от главной дороги, чтобы добраться до Труа. Около шести вечера мы прибыли в Сент-Обен, прелестную деревушку, утопающую в зелени; но вблизи увидели дома без крыш, черные балки, разрушенные стены — в деревне оставалось всего несколько человек. Мы спросили молока — у них ничего не было; все коровы были захвачены казаками. Нам предстояло в тот день сделать еще несколько лье, но выяснилось, что это не обычные лье, а сосчитанные местными жителями как-то по-своему и почти вдвое длиннее. Дорога пролегла пустынной равниной, надвинулась ночь, и мы то и дело теряли из виду колею — единственный наш ориентир. Когда совсем стемнело, мы не различали уже никакой дороги, но купа деревьев вдалеке, казалось, указывала на близость селения. Около десяти часов мы добрались до Труа-Мезон, поужинали там молоком и кислым хлебом и легли где пришлось; но бессоницей страдают одни бездельники; после утомительного дня я крепко заснула и проспала до позднего утра, хотя постелью мне служила солома, накрытая простыней.

Ш[елли] накануне вечером так сильно ушиб ногу, что был вынужден весь следующий день ехать на муле. Мы проезжали на редкость голой и унылой местностью; на известковой почве не росла даже трава; там, где пытались что-то посадить, редкие колосья только яснее показывали, как бесплодна тут земля.

Местность кишела насекомыми, такими же белыми, как дорога; небо было безоблачно, солнце жгло нас своими лучами, отражавшимися от дороги, и я почти теряла сознание от зноя.

Наконец мы завидели вдали деревню, где можно было надеяться на отдых. Это придало нам сил, но деревня оказалась разоренной и мало что могла предложить. Некогда она была большой и населенной, но теперь дома стояли без крыш; разбросанные всюду обломки, засыпанные известковой пылью сады, обугленные черные балки и люди в лохмотьях — все являло печальное зрелище разрушения. Уцелел только один дом — трактир; там нам дали молока, протухшую грудинку, кислый хлеб и кое-какие овощи, которые надо было самим приготовить.

Пока мы готовили себе обед среди грязи, способной отбить всякий аппетит, жители деревни собрались вокруг нас, грязные и оборванные, с грубыми лицами.

Они были словно отрезаны от мира и не знали, что в нем происходит. Во Франции селения гораздо более разобщены, чем в Англии. Это объясняется скорее всего системою паспортов. Жители деревни не слыхали о свержении Наполеона, а когда мы спросили, отчего они не отстроят свои хижины, они сказали, что боятся, как бы казаки на обратном пути не разрушили их снова. Эшмин (так называется эта деревня) запомнилась мне как самое гнусное место из всех виденных.

В двух лье оттуда, на той же дороге, мы увидели деревню Павийон — до того непохожую на Эшмин, что можно было вообразить себя на другом краю земли; здесь все сияло чистотой и приветливостью; немало домов было разрушено, но жители их чинили. Чем могла объясняться столь резкая разница?

Дорога все еще шла по невозделанным землям, и белые просторы без единого кустика утомляли взор. К вечеру мы добрались до небольшого виноградника, и он показался нам одним из тех зеленых оазисов, что встречаются в ливийской пустыне, но виноград еще не созрел.

Ш[елли] совершенно не мог идти; мы с К[лер] очень устали, пока добрались до Труа.

Здесь мы переночевали, а следующий день посвятили обсуждению дальнейших планов. У Ш[елли] оказалось растяжение связок, так что путешествие пешком стало невозможным. Поэтому мы продали мула и купили за пять наполеондоров открытый четырехколесный экипаж, а еще за восемь наняли человека и мула, чтобы за шесть дней добраться до Невшателя.

Предместья Труа оказались разрушены, а самый город — грязен и непривлекателен. Я осталась на постоялом дворе и принялась писать, пока Ш[елли] и К[лер] совершали упомянутую покупку и осматривали городской собор; на другое утро мы отбыли в экипаже в Невшатель. Покидая город, мы столкнулись с любопытным примером французского тщеславия. Наш возница указал на окружающую равнину и сообщил, что здесь произошла битва между русскими и французами. «В которой победили русские?» — «О нет, мадам, французы не знают поражений». — «Отчего же тогда русские вступили в Труа?» — «Их разбили, но они подошли окольным путем и так вот пробрались в город».

Вандевр — приятный городок, и тут мы сделали дневной привал. Мы прошли по парку местного вельможи; парк разбит на английский манер и примыкает к лесу; это напомнило нам родину. На выезде из Вандевра пейзаж разом изменился: крутые холмы, покрытые виноградниками и купаами деревьев, окружили узкую долину, по которой протекала река Об. Нам встречались зеленые луга, рощи тополей и белой ивы; виднелись

шпили деревенских церквей, пощажённых казаками. Но и в самых живописных местах попадалось немало деревень, разорённых войной.

Вечером мы приехали в Бар-сюр-Об, красивый городок у въезда в долину, где холмы внезапно обрываются. Мы взобрались на самый высокий из них, но едва достигли вершины, как пал туман и полил дождь; пока мы добрались до постоянного двора, мы успели промокнуть до нитки. Был вечер, но из-за свинцовых туч тьма казалась густой, точно в полночь, и только на западе сквозь туман пробивалось ярко-красное зарево, придававшее романтичность нашей прогулке. Огни деревни отражались в тихой реке, а темные холмы за нею казались огромными угрюмыми горами.

Покинув Бар-сюр-Об, мы на время простились и с холмами. После городов Шомон, Лангр (который расположен на холме и окружен древними укреплениями), Шамплитт и Грэй, мы почти три дня ехали по слегка холмистой местности, что не так утомляет глаз, как плоскость, но не вызывает особого интереса. По этим равнинам, окаймленные кое-где деревьями, текут медленные реки; над ними носятся тысячи прелестных мотыльков и стрекоз. Третий день был дождливый — впервые за нашу поездку. Мы скоро совершенно промокли и с удовольствием остановились в маленькой таверне, чтобы обсушиться. Нам оказали не слишком любезный прием; все продолжали сидеть вокруг огня, не желая уступить места промокнувшим пришельцам. К вечеру погода прояснилась, и около шести часов мы въехали в Безансон.

В течение всего дня на горизонте виднелись холмы, и мы постепенно к ним приближались; но это не подготовило нас к зрелищу, которое открылось нам при въезде в городские ворота. Отступая от городских стен, дорога вилась по дну глубокой лощины; на противоположной стороне холмы вздымались более полого, а лежащая между ними зеленая долина орошалась живописной рекой; впереди амфитеатром вставали другие холмы, покрытые виноградниками, но скалистые. Последние из городских ворот были пробиты в отвесной скале, которая в том месте перегораживала дорогу.

Этот горный ландшафт привел нас в восхищение; иное действие он произвел на нашего возницу: он был родом из равнин Труа, и горы так его испугали, что он словно лишился рассудка. Проехав извилистой дорогой по долине, мы начали подъем на замыкавшие ее горы; выйдя из экипажа, мы пошли пешком, радуясь каждому новому пейзажу.

Углубившись в горы мили на полторы, мы нашли нашего возницу у дверей жалкой таверны; он выпряг мула из экипажа и непременно желал заночевать в деревушке Мор. Нам пришлось подчиниться, ибо он был глух к нашим возражениям и на все повторял только: «Je ne puis plus»*.

* Не могу больше (франц.).

Постели наши были таковы, что о сне не могло быть и речи: нам отвели всего одну комнату, и хозяйка дала понять, что тут же будет ночевать и наш возница. Это не имело значения, раз мы все равно решили не ложиться. Вечер был погожий; после дождя воздух был насыщен множеством чудных ароматов. Мы взобрались на скалистый уступ горы, нависавший над деревней, и оставались там до заката. Ночь мы провели у кухонного очага, пытаясь вздремнуть хоть ненадолго, но это не удавалось. В три часа утра мы двинулись дальше.

Дорога вела на вершину гор, окружающих Безансон. С одной из этих вершин нам открылась вся долина, полная волнистого белого тумана, из которого, наподобие островов, вздымались поросшие сосняком горы. Солнце только что взошло, и его красные лучи ложились на эти зыбкие волны. На западе, против солнца, свет словно прибывал туман к скалам огромной пенистой массой, а затем он терялся вдаль, сливаясь с пушистыми облачками.

Наш возница потребовал двухчасовой остановки в деревне Ноэ, хотя мы не смогли достать там ничего съестного и хотели продолжать путь. Я уже говорила, что горы его подавляли, и он сделался несговорчив, угрюм и туп. Покуда он нас ждал, мы прошли в ближайший лес; то был великолепный лес, устланный мхом; местами над ним нависали скалы, где из расщелин росли молодые сосны, дававшие тень; полуденный зной уже сильно чувствовался, и мы были рады скрыться от него в тени этого чудесного леса.

Вернувшись в деревню, мы с величайшим удивлением узнали, что возница уже с час как уехал и велел нам передать, что встретит нас на дороге. Нога Ш[елли] все еще не позволяла ему много ходить, но делать было нечего, и мы пошли пешком к Мезон-Нев, до которой было четыре с половиной мили.

В Мезон-Нев нам передали, что возница поехал дальше, в пограничный городок Понтарлье, и что, если мы к вечеру там не будем, он оставит экипаж на постоялом дворе, а сам возвратится с мулом в Труа. Мы поразились такой дерзости, но мальчик-слуга на постоялом дворе успокоил нас, заверив, что может поехать верхом по кратчайшей дороге, где экипажу не пройти, и легко догонит нашего возницу. Мы послали его, а сами медленно пошли вслед. В ближайшей таверне мы остались дожидаться обеда; спустя два часа мальчик вернулся. Возница обещал ждать нас в харчевне, до которой оставалось еще два лье. Нога у Ш[елли] сильно болела, но нам не удалось достать повозку, солнце было уже низко, и мы были вынуждены идти пешком. Вечер был прекрасный, пейзаж так красив, что мы забывали об усталости; рогатый месяц висел в свете заходящего солнца, бросавшего огненные лучи на лесистые горы и лежащие меж них глубокие, темные долины; в лесу попадались поляны с живописными кучами деревьев; над дорогой склонялись темные сосны.

Спустя два часа мы достигли цели, но и там не было нашего возницы; после того, как мальчик расстался с ним, он продолжал путь в Понтарлье. Нам удалось наконец раздобыть какую-то телегу. Ш[елли] не в состоянии был идти дальше. Месяц пожелтел и опустился ниже, к самому лесистому горизонту. Временами я погружалась в дремоту, но наша повозка была слишком тряской. Я смотрела на звезды — сонные видения вторгались в действительность, и созвездия заводили причудливый хоровод. Так мы добрались до Понтарлье, где нашли своего возницу, который в виде извинения сочинил множество небылиц; тем и окончились приключения этого дня.

ШВЕЙЦАРИЯ

Тотчас за французской границей можно наблюдать удивительные различия между двумя нациями, живущими по соседству. Швейцарские хижины гораздо чище, и сами жители составляют с французами тот же контраст. Швейцарские женщины охотно носят белое полотно, и вся их одежда поражает чистотой. Эта чистота объясняется прежде всего религиозными различиями; те, кто путешествовал по Германии, замечали тот же контраст между протестантскими и католическими городами, зачастую отстоящими друг от друга всего на несколько лье.

В тот день мы ехали мимо живописнейших мест — гор, поросших сосной, голых утесов и островков неописуемо красивой зелени. После спуска длиною почти в лье меж величавых скал, поросших соснами и перемежающихся зелеными полянами с короткой, мягкой и удивительно свежей травой, мы прибыли в деревню Сен-Сюльпис.

Мул начал сильно хромать, а погонщик стал так дерзок, что мы решили на оставшуюся часть пути нанять лошадь. Наш возница опередил нас, но не уведомил о своем намерении; в этой деревне он решил нас покинуть и принял нужные меры. Теперь мы наняли швейцарца из зажиточных крестьян, который гордился своими горами и своей страной. Указывая на поляны, разбросанные среди леса, он говорил, что они прекрасны и представляют собой отличные пастбища; что коровы хорошо там кормятся и потому дают отменное молоко, из которого делают лучшие в мире сыр и масло.

После Сен-Сюльписа горы стали выше и красивее. Мы проехали узкой долиной между двумя грядами гор, одетых лесом; на дне долины протекала река, и по обе стороны ее узкого русла отвесно вздымались границы долины. Дорога лепилась по склону горы; высоко над нами нависали скалы, а внизу были огромные сосны и река, видная только потому, что она отражала небо. Горы в этом красивейшем ущелье сомкнуты так плотно, что во время войны с Францией ущелье перегораживают железной цепью. За два лье от Невшателя мы увидели Альпы: гряды черных гор тянутся одна за другою, а далеко за ними царственно высятся снеж-

ные Альпы. Они были еще в ста милях от нас, но они так высоки, что кажутся клубами ослепительно белых облаков, какие гроздятся летом на горизонте. Их огромность поражает воображение и настолько превосходит все виденное, что с трудом верится, что они составляют часть земли.

Оттуда мы спустились в Невшатель, расположенный в узкой долине между горами и огромным озером, и ничем, кроме этого, не примечательный.

В этом городке мы провели следующий день, обсуждая, что предпринять дальше. Деньги, взятые нами из Парижа, были уже на исходе, но местный банкир учел нам вексель и дал около 38 фунтов серебром; с этим мы решили ехать к озеру Ури, чтобы в тамошней романтической местности поискать хижину, где мы могли бы пожить в покое и уединении. Таковы были наши мечты, которые, вероятно, осуществились бы, если бы не недостаток столь необходимого предмета, как деньги, заставивший нас возвратиться в Англию.

Один швейцарец, с которым Ш[елли] познакомился на почте, принял в нас сердечное участие и помог нанять экипаж до Люцерна, главного города на берегах одноименного озера, соединяющегося с озером Ури. Этот человек был воплощением учтивости и старался оказывать существенные услуги, а церемонии почитал за вещи маловажные.

21 августа мы покинули Невшатель; наш швейцарский друг сопровождал нас при выезде из города. Поездка до Люцерна заняла немногим более двух дней. Местность была плоская и скучная, и если бы не божественные Альпы, временами видневшиеся вдаль, там не было бы ничего интересного. Люцерн сулил нечто лучшее, и мы, едва успев приехать (23 августа), наняли лодку, на которой намеревались объехать озеро в поисках подходящего жилья или даже, может быть, доехать до Альдорфа, перевалить через Сен-Готард и искать к югу от Альп теплый климат и здоровый воздух, более подходящий для слабого здоровья Ш[елли], нежели суровые края на севере. Люцернское озеро со всех сторон окружено высокими горами, круто поднимающимися из воды; местами их обнаженные склоны совершенно отвесны и бросают на воду темную тень, а кое-где заросли густым лесом, среди которого проглядывает голый гранит — на нем-то и укоренились деревья. Всюду, где лес расступается, земля возделана, и меж деревьев виднеются домики. По озеру разбросаны красивейшие скалистые островки, поросшие мхом и склоненными к воде деревьями. На многих стоят грубо сделанные восковые статуи святых.

Озеро простирается с востока на запад, а затем, повернув под прямым углом, идет с севера на юг; эта его часть носит другое название — озеро Ури. Первое озеро также делится посредине как бы на две части, там, где выступы суши почти сходятся, и скалистые берега бросают густую тень на узкий пролив, по которому вы плывете. Вершины нескольких гор, обступающих озеро с юга, покрыты вечными льдами; об одной из них,

той, что напротив Бруннена, существует предание: некий священник и его возлюбленная, спасаясь от гонений, укрылись в хижине у самой границы снегов. Однажды зимней ночью они были погребены под снежной лавиной, и в ненастные ночи там слышны их жалобные голоса, зовущие жителей на помощь.

Бруннен находится на северной стороне образуемого озером угла; тут кончается Люцернское озеро. Здесь мы остановились на ночь, отпустив своих гребцов. Нет ничего прекраснее вида, который отсюда открывается. Нас окружали высокие горы, затеняя воды озера; вдали, на берегах Ури, виднелась часовня Вильгельма Телля⁶: здесь он возглавил заговор против угнетателя своей родины, и действительно, великолепное озеро, величавые горы и дикие леса кажутся достойной колыбелью дерзаний и героических подвигов. Однако в нынешних его соотечественниках мы не нашли следов его высокого духа. Швейцарцы показали нам — и опыт подтвердил это впечатление — медлительными в мыслях и в действиях; но они отвыкли от рабства, и я не сомневаюсь, что они способны дать смелый отпор любому, кто посягнет на их свободу.

Таковы были наши мысли; мы провели на берегу озера весь вечер, беседуя, наслаждаясь легким ветерком и с восхищением созерцая окружавшие нас красоты.

На следующий день мы обсуждали наше положение и осматривали местность. Над озером метался яростный *vent d'Italie* * (южный ветер); он вздымал огромные волны и высоко взметал брызги, дождем падавшие в озеро. Волны с грохотом разбивались о скалистые берега. Так продолжалось весь день, но к вечеру ветер стих. Ш[елли] и я вышли прогуляться по берегу. Усевшись на камнях пирса, Ш[елли] читал вслух из Тацита описание осады Иерусалима⁷.

Тем временем мы пытались подыскать жилище, но сумели найти только две необставленные комнаты в большом и уродливом доме, носившем название Замка. Мы сняли их за гинею в месяц, велели поставить кровати и на следующий день въехали. Но место было прескверное, без всяких удобств. Мы с трудом добились, чтобы нам готовили пищу; было холодно и дождливо, и мы велели затопить. Нам затопили огромную печь, занимавшую угол комнаты. Она нагрелась нескоро, а когда накалилась, от нее пошел такой нездоровый жар, что пришлось настезь открыть окна, чтобы не задохнуться; в довершение, во всем Бруннене оказался лишь один человек, говоривший по-французски, ибо в этой части Швейцарии говорят на каком-то варварском немецком языке. Поэтому мы с трудом добивались выполнения самых простых просьб. Главным нашим развлечением было сочинительство. Ш[елли] начал роман об ассасинах⁸, а я писала под его диктовку.

* Ветер из Италии (франц.).

Эти неудобства побудили нас серьезно обсудить наше положение. Сперва мы думали ехать в Италию, перевалив через Сен-Готард, но у нас было всего 28 фунтов и вплоть до декабря ни на что больше мы не могли с уверенностью рассчитывать. Для получения денег непременно требовалось присутствие Ш[елли] в Лондоне. Что нам было делать? Нам грозила нужда. И вот, взвесив все обстоятельства, мы решили вернуться в Англию.

Придя к этому решению, мы не могли медлить; наши небольшие запасы быстро иссякали, и казалось, что 28 фунтов явно не хватит на столь далекое путешествие. Поездка по Франции от Парижа до Невшателя стоила нам 60; но теперь мы постановили путешествовать более экономно. Дешевле всего ехать водой, а мы, к счастью, могли по рекам Рейссу и Рейну добраться до Англии, не сделав и мили по суше. Таков был наш план; нам предстояло проехать 800 миль; возможно ли это на такую малую сумму? Но выбора не было, и только Ш[елли] знал, как ничтожны были наши средства.

На следующее утро мы выехали в Люцерн. В начале пути шел сильный дождь, но к нашему приезду небо прояснилось, и солнце высушило и подбодрило нас. Мы снова — в последний раз — увидели скалистые берега прекрасного озера, его зеленые острова и увенчанные снегами горы.

Причалив в Люцерне, мы провели там ночь, а на другое утро (28-го августа) diligence par-eau* повез нас в Лоффенберг, город на Рейне, около порогов, из-за которых это судно не могло идти дальше. Нашими спутниками на сей раз были простолюдины; они непрестанно курили и вели себя шумно. В середине дня, когда мы вернулись на корабль после завтрака, наши места оказались заняты; мы сели на другие, но тут вернулись сидевшие там раньше и сердито, почти силой, согнали нас. Такая грубость по отношению к нам, не знавшим их языка, заставила Ш[елли] ударить одного из зачинщиков и сбить его с ног; тот не стал драться, но браниться продолжал, пока не вмешались матросы и не отыскали нам места.

Река Рейсс — чрезвычайно быстрая; мы прошли несколько порогов, один из которых имел более восьми футов высоты. (В этом месте большая часть пассажиров сошла на берег, с тем чтобы сесть снова, когда судно войдет в тихие воды, но мы, по совету матросов, оставались на борту.) Есть нечто восхитительное в ощущении, с каким вы взлетаете на гребень порога, а через секунду оказываетесь внизу и несетесь с большой скоростью, придаваемой спуском. В Роне вода голубая, а в Рейссе темно-зеленая. Мне думается, что причиной тут дно этих рек, и разница не может объясняться целиком отражением берегов и неба.

Переночевав в Деттингене, мы на другое утро прибыли в Лоффенберг, где наняли маленькое каное, которое должно было доставить нас в Мамф. Я дала этим лодкам индейское название, ибо они крайне примитивны —

* Водный дилижанс (франц.).

длинные, узкие и плоскодонные; это, собственно, несколько неокрашенных еловых досок, сколоченных столь небрежно, что в щели постоянно проникает вода, и ее приходится все время вычерпывать. Река там быстрая и бьется о бесчисленные камни, едва покрытые водой. Было немного жутко, когда наше утлое суденышко скользило между водоворотами, кипевшими у скал, столкновение с которыми грозило смертью; и когда достаточно было чуть наклониться, чтобы лодка тотчас перевернулась.

В Мамфе нам не удалось достать лодку, и мы считали, что нам еще повезло встретить кабриолет, возвращавшийся в Рейнфельден. Однако удача сопутствовала нам недолго: не отъехав и одного лье от Мамфа, кабриолет поломался, и дальше пришлось идти пешком. К счастью, нас нагнала группа швейцарских солдат, отпущенных по домам, и они несли наши вещи до Рейнфельдена, а там нам указали путь к ближайшей деревне, где обычно можно нанять лодку. Тут, хотя и не без труда, мы наняли лодку до Базеля и снова поплыли по быстрой реке в наступающей темноте; воздух был сырой и промозглый. Переезд был, впрочем, короткий, и к шести часам вечера мы были уже у цели.

ГЕРМАНИЯ

Прежде чем ложиться, Ш[елли] условился с лодочником, чтобы нас отвезли в Майнц; и наутро, простясь со Швейцарией, мы сели в лодку, груженную товарами, но зато без пассажиров, которые могли нарушить наш покой своей грубостью. Дул сильный встречный ветер, но благодаря течению и некоторым усилиям гребцов мы продвигались вперед. Солнце светило, Ш[елли] читал нам вслух письма Мери Уолстонкрафт из Норвегии⁹, и время прошло очень приятно.

Вечер выдался на редкость погожий; с его приближением берега реки, до тех пор плоские и непривлекательные, сделались удивительно красивы. Река неожиданно сузилась, и лодка с невероятной скоростью понеслась вдоль скалистого берега, поросшего соснами; на другой скале, выступавшей в реку, высились развалины башни, печально зиявшие своими оконницами; закат освещал дальние горы и тучи, бросая в бурные волны свое пурпурное отражение.

Сверкание и переливы красок на поверхности быстрого потока было чем-то новым и прекрасным; солнце село, тени сгустились, а когда мы причалили и направились вдоль красивейшей бухты к нашей гостинице, взошла полная луна, и волны, прежде багряные, засверкали серебром.

На следующее утро мы продолжали путь в легкой лодке, где было опасно шевельнуться; но теперь поток был уже не так быстр, скалы исчезли с его пути, берега были низкие и поросшие ивами. Мы миновали Страсбург, а на другой день нам предложили следовать дальше водным дилижансом, ибо для нашей утлой лодки плавание представляло опасность.

Кроме нас там было всего четверо пассажиров, из которых трое были студентами Страсбургского университета: Швиц, недурной собою и добродушный юноша; Хофф, бесформенное создание с тяжелым, некрасивым немецким лицом; и Шнейдер, почти идиот, над которым его спутники непрестанно потешались; четвертым попутчиком была женщина с грудным младенцем.

Местность не отличалась живописностью, но погода стояла отличная, и мы с удовольствием спали на палубе под открытым небом. На берегу не было почти ничего достойного внимания, исключая город Мангейм, удивительно аккуратный и чистенький. Он расположен на расстоянии мили от берега реки, и дорога к нему обсажена с обеих сторон красивыми акациями. Последнюю часть пути мы шли у самого берега, ибо встречный ветер был так силен, что, несмотря на быстрое течение, мы едва подвигались. Нам сказали (и с некоторым основанием), чтоб мы радовались, что пересели с нашего каноэ, ибо река в этом месте была очень широка, и ветер подымал на ней большие волны. В то самое утро лодка с пятнадцатью пассажирами перевернулась при переправе на самой середине реки, и все погибли. Мы видели перевернутую лодку, плывшую по течению. Это было печальное зрелище, но наш *batelier* *, который почти ничего не знал по-французски, кроме слова *seulement* **, сказал о нем очень смешно. Когда его спросили, что случилось, он ответил, упирая на любимое словечко: *C'est seulement un bateau, qui était seulement renversé et tous les peuples sont seulement noyés* ***.

Майнц — один из сильно укрепленных немецких городов. С востока его ограждает широкая и быстрая река, а на холмах, на три лье вокруг, видны укрепления. Сам город стар, улицы в нем узкие, а дома высокие; собор и городские башни еще хранят следы обстрела со времен революционной войны¹⁰.

Мы заняли места в водном дилижансе, отправлявшемся в Кельн, и отчалили на следующее утро [4 сентября]. Судно больше походило на английское торговое, чем все, что мы видели до сих пор. Это было нечто вроде парохода, с каютой и высокой палубой. Большинство пассажиров предпочло каюту — на наше счастье, ибо нет ничего отвратительнее курящих и пьющих немецких простолюдинов, оказавшихся нашими спутниками; они громко и хвастливо переговаривались, [напились] и целовались — зрелище особенно неприятное для англичан; впрочем, среди них оказались два-три негоцианта, люди учтивые и просвещенные.

Часть Рейна, по которой мы сейчас плыли, великолепно описана лордом Байроном в III песни «Чайльд Гарольда». С восхищением читали мы

* Лодочник (франц.).

** Только (франц.).

*** Это только лодка, она только перевернулась, все люди только утонули (испорч. франц.).

стихи, изображавшие эти дивные ландшафты со всей яркостью и точно-стью живописи и со всей прелестью, какую им придает благородный слог и пылкое воображение.

Мы быстро неслись по течению; по обе стороны виднелись холмы, покрытые виноградниками и деревьями, суровые утесы, увенчанные башнями, лесистые острова, где из листвы выглядывали живописные руины, отраженные в бурных водах, которые колебали их, не искажая. Мы слушали песни сборщиков винограда; должно быть, соседство отвратительных немцев не давало нам столь безмятежно любоваться пейзажами, как это кажется мне сейчас; но память, стирая все темное, рисует мне эту часть Рейна прекраснейшим земным раем.

У нас было достаточно времени для наслаждения этими картинами, ибо лодочки, оставив весла и руль, пустили судно по течению, и оно на ходу все время поворачивалось.

С отвращением говоря о наших немецких спутниках, я должна, справедливости ради, отметить, что в одной из гостиниц нам повстречалась единственная за весь путь хорошенькая женщина. Это, видимо, чисто немецкий тип красоты: серовато-карие глаза глядели на редкость кротко и открыто. Она только что оправилась от лихорадки, и это еще придавало прелести ее облику, сообщая ему необычайную хрупкость.

На другой день мы расстались с холмами Рейна; теперь нам предстояло до конца нашего пути медленно двигаться по равнинам Голландии; к тому же русло реки стало извилистым; подсчитав оставшиеся деньги, мы решили закончить путешествие в сухопутном дилижансе. Наше судно осталось на ночь в Бонне, а мы, чтобы не терять времени, в тот же вечер выехали в Кельн, куда прибыли очень поздно, ибо в Германии редко удается сделать больше полутора миль в час.

Кельн показался нам огромным, пока мы ехали по его улицам до гостиницы. Прежде чем лечь спать, мы заказали места в дилижансе, который наутро отправлялся в Клев.

Нет ничего более унылого, чем путешествие в немецком дилижансе: карета неуклюжа и неудобна, и мы так медленно ехали, так часто останавливались, что, казалось, никогда не доедем. Нам дали два часа на обед, еще два мы потеряли вечером, когда меняли карету. Затем, поскольку в дилижансе не оказалось мест для всех желающих, нас попросили пересест в специально поданный кабриолет. Мы охотно согласились, надеясь ехать теперь быстрее, нежели в тяжелом дилижансе; но не тут-то было: мы всю ночь плелись позади этого громоздкого экипажа. Утром на остановке нам показалось на миг, что мы прибыли в Клев, который находился всего в пяти лье от нашей вчерашней стоянки; но за эти семь-восемь часов мы проехали всего три лье, и нам оставалось еще восемь миль. Но и тут мы простояли часа три, не получив завтрака и каких-либо удобств; около восьми часов мы снова отправились в путь и лишь к полудню, ослабевшие от голода и усталости, прибыли в Клев.

ГОЛЛАНДИЯ

Утомленные медленной ездой в дилижансе, мы решили оставшуюся часть пути проделать в почтовой карете. Теперь мы покинули пределы Германии и ехали примерно с той же скоростью, что в Англии. Местность тут совершенно плоская, а дороги песчаные, так что лошади подвигаются с трудом. Единственными украшениями служат дерновые укрепления вокруг городов. В Нимгене мы проехали летучий мост, упоминаемый в письмах леди Мери Уортли Монтегью¹¹. Мы намеревались ехать всю ночь, но в Триеле, куда мы добрались часам к десяти, нас заверили, что ни один форейтор не согласится ехать так поздно из-за разбойников, которыми кишат дороги. Эта была явная ложь; однако, не найдя ни лошадей, ни возницы, мы были вынуждены там заночевать.

В течение всего следующего дня наш путь пролегал между каналами, пересекающими страну во всех направлениях. Дороги здесь отличные, но голландцы все же постарались изобрести множество неудобств. Накануне мы проехали ветряную мельницу, которая стоит так близко к дороге, что приходится жаться к противоположной стороне и проезжать быстро, чтобы вас не задело крылом.

Ширина дорог между каналами такова, что позволяет проехать только одному экипажу; повстречав другой, мы иногда бывали вынуждены пятиться целых полмили, пока не доезжали до одного из подъемных мостов, ведущих в поля, и тогда один из экипажей откатывали в сторону, чтобы пропустить второй. Есть и нечто еще более несносное: лен сперва вымачивают в грязи канала, а потом сушат на деревьях, посаженных по обе стороны дороги; запах, который он испускает под лучами солнца, можно выносить лишь с большим трудом. В каналах мы видели множество огромных лягушек и жаб; единственное, что радовало глаз, была нежная зелень полей, где травы не менее обильны и сочны, чем в Англии, а это на континенте встретишь не часто.

Роттердам — на редкость чистый город; голландцы моют свои кирпичные домики даже снаружи. Здесь мы пробыли день и повстречали человека с весьма трудной судьбой: родившись в Голландии, он столько ездил по Англии, Франции и Германии, что научился языкам всех этих стран и на всех говорил очень плохо. Он заявил, что лучше всего знает английский, но почти ничего не мог сказать.

Вечером 8 сентября мы отплыли из Роттердама, но встречный ветер почти на два дня задержал нас в Марслойсе, городке примерно в двух лье от Роттердама. Здесь мы истратили нашу последнюю гинею и с удивлением обнаружили, что проделали 800 миль, не потратив и 30 фунтов, проехали красивейшими местами, насладились величавым Рейном и всеми красотами земли и неба и, вероятно, больше увидели с палубы судна, чем сумели бы увидеть из закрытой кареты, с дороги, огибающей горы. [В Марслойсе Шелли продолжал писать свой роман]¹².

Капитаном нашего судна был англичанин, в свое время служивший королевским лодманом. Рейнские перекаты пониже Марслоя так опасны, что голландские суда решаются проходить их лишь при самом благоприятном ветре; однако наш капитан на это отважился, хотя ветер не вполне нам благоприятствовал; он едва не раскаялся в своем решении, но был горд и рад, когда наперекор робким голландцам прошел перекаты и благополучно вывел судно в открытое море. Предприятие действительно представляло некую опасность; море всю ночь сильно волновалось, и хотя к утру оно стало спокойнее, у переката все еще ходили высокие валы. Задержавшись в гавани, где судно село на мель, мы на полчаса опоздали к назначенному времени. Волны были гигантские, и нам сказали, что не более двух футов отделяют днище судна от песков. Валы, с огромной силой разбивавшиеся о борта, вставали над нами отвесно, а иногда даже нависали. В этих бурных водах безмятежно резвилось множество огромных дельфинов. Мы благополучно миновали опасность и после очень быстрого переезда достигли Грейвзенда утром 13 сентября, на третий день после выезда из Марслоя.

ПИСЬМА,
НАПИСАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕХМЕСЯЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЖЕНЕВЫ ЛЕТОМ 1816 ГОДА

1

*Женева,
17 мая 1816*

Мы прибыли в Париж 8 числа этого месяца и задержались там на два дня для получения необходимых подписей под нашими дорожными паспортами, ибо французское правительство после побега Лавалетта¹ сделалось гораздо придирчивее. У нас не было ни рекомендательных писем, ни друзей в городе, и мы поэтому мало где бывали, кроме отеля, где пришлось снять комнаты на неделю, хотя сперва мы рассчитывали пробыть всего сутки; но в Париже нигде нельзя устроиться посуточно.

Нравы французов любопытны, хотя и менее привлекательны, по крайней мере для англичан, чем они были до последнего вторжения союзников²; недовольство и угрюмость проявляются непрестанно. И неудивительно, что они переносят на подданных правительства, наводнившего их страну враждебными войсками, ту горечь и негодование, которые следовало бы обратить только на само правительство. Подобные чувства делают честь французам и ободряют людей всех наций Европы, сочувствующих угнетенным и питающих неистребимую надежду на то, что дело свободы должно в конце концов победить.

От Парижа до Труа наш путь лежал по той же непримечательной местности, которую мы прошли пешком почти два года назад; но после Труа мы свернули с дороги, ведущей на Невшатель, и поехали по той, что должна была привести нас в Женеvu. Вечером на третий день после отъезда из Парижа мы въехали в Дижон, а затем, миновав Доль, прибыли в Полиньи. Этот город выстроен у подножья Юры, отвесно поднимающейся над обширной равниной. Утесы нависают прямо над домами. Здесь мы задержались до темноты, не сумев сразу достать лошадей, и при свете бурной луны поехали в Шампаньоль — маленькую деревушку в самом сердце гор. Дорога была извилистая и очень крутая; с одной стороны смутно виднелись отвесные утесы, с другой — бездна, где мчались темные тучи. Под шум невидимых горных потоков, говоривший о том, что равнины Франции остались позади, мы медленно подымались к Шам-

паньюлю, куда добрались в полночь, на четвертую ночь после отъезда из Парижа.

На другое утро мы двинулись дальше и продолжали подъем среди горных лощин и ущелий. Ландшафт становился все прекраснее и величественнее; со всех сторон простирались непроходимые, нетронутые и недоступные сосновые леса. Порою леса спускаются вдоль дороги в долины, и узловатые корни деревьев цепляются за расщелины голых скал; порою дорога уходит высоко в царство стужи, а там леса становятся реже, ветви деревьев гнутся под тяжестью снега, и сами огромные сосны наполовину погребены под снежными пластами. Весна, как сказали нам жители, наступила нынче на редкость поздно, и действительно было очень холодно; когда мы поднялись выше, те же тучи, которые в долинах изливали на нас дождь, теперь сыпали крупные хлопья снега. Изредка сквозь них сверкало солнце, освещая великолепные горные ущелья и гигантские сосны, то согбенные под снегом, то повитые легким туманом, то пронзающие темными вершинами ясную лазурь неба.

Чем ближе было к ночи и чем выше мы подымались, тем больше становилось на нашем пути снега, сперва белевшего только на вершинах утесов; он повалил густыми хлопьями, когда мы добрались до деревни Ле-Рус, где нам предстояла ночь в плохой гостинице и грязные постели. Ибо отсюда в Женеву ведут две дороги; одна через Нион, по швейцарской земле, где меньше приходится ехать горами и где в это время года проехать сравнительно легко, так как дорога на протяжении нескольких лье покрыта снежным слоем огромной толщины; вторая идет через Жекс и слишком длинна и опасна в столь позднее время. В нашем паспорте, однако, значился Жекс, и нам сказали, что изменить направление не разрешается; но все эти полицейские правила, сами по себе такие строгие, могут быть смягчены взяткой, так что эту трудность мы в конце концов преодолели. Мы наняли четырех лошадей и десять человек, чтобы поддерживать экипаж, и выехали из Ле-Рус в шесть часов пополудни, когда солнце было уже низко; хлопья снега, бившиеся о стекла экипажа, и наступившая темнота не позволяли нам видеть Женевское озеро и дальние Альпы.

Однако окружающая местность была достаточно величественна, чтобы привлечь наше внимание; нигде не увидишь пейзажа более печального. Деревья здесь необычайно велики и высятся среди снежной пустыни отдельными купами; на обширной белой равнине темнеют лишь эти гигантские сосны, да еще вежи, указывающие дорогу; ни реки, ни поляны среди скал, чтобы дать отдохнуть глазу и оживить величавую картину хоть одним живописным штрихом. Безмолвие, свойственное этой безлюдной пустыне, неожиданно нарушалось голосами наших проводников, которые, сильно жестикулируя и окликаая друг друга на *ratois**, состоящем из смеси

* Местном говоре (франц.).

французских и итальянских слов, одни только вносили суету туда, где ее вовек не бывало.

А там, куда мы сейчас прибыли, все совсем иное! Здесь теплое солнце и жужжание согретых им пчел. Из окон нашей гостиницы видно прелестное озеро, синее, как и глядящееся в него небо, и сверкающее золотыми бликами. Другой берег — пологий и покрыт виноградниками, которые, однако, в эту пору года еще не украшают пейзаж. По берегам разбросаны виллы, позади них поднимаются темные хребты гор, а еще дальше окруженный снежными альпийскими вершинами — величавый Монблан, царственно возвышающийся надо всем. Таков вид, отраженный в озере; это ясный летний пейзаж без того торжественного уединения и глубокой тишины, которые восхищали нас в Люцерне.

Мы еще не нашли особенно приятных мест для прогулок, но Вы знаете, что больше всего мы любим прогулки по воде. Мы наняли лодку и каждый вечер часов в шесть катаемся по озеру, и это всегда прекрасно — скользим ли мы по зеркально-гладкой воде или мчимся под сильным ветром. Здесь, на озере, я не страдаю от качки, которая отравляет мне путешествие по морю; напротив, колыхание лодки бодрит и необычайно веселит меня. Сумерки здесь короткие, но сейчас нам светит луна, с каждым днем прибывающая, и мы редко возвращаемся раньше десяти, а берег встречает нас восхитительным ароматом цветов и свежего сена, стрекотанием кузнечиков и пением вечерних птиц.

Мы здесь не бываем в обществе, однако время проходит быстро и приятно. В часы полуденной жары мы читаем латинских и итальянских авторов, а когда солнце опускается ниже — гуляем в саду при гостинице, смотрим на кроликов, подбираем упавших майских жуков и следим за бесчисленными ящерицами, обитающими на южной стене сада. Вы знаете, что мы только что бежали от мрачной лондонской зимы и в этом прелестном уголке, при этой дивной погоде я счастлива, точно недавно вылупившийся птенец. И мне все равно, на какую ветку я взлечу, лишь бы испробовать свои только что обретенные крылья. Более опытная птица была бы, вероятно, разборчивей в выборе гнезда; но при нынешнем моем настроении распускающиеся цветы, свежая весенняя трава и счастливые создания, которые живут и радуются вокруг меня, — этого вполне достаточно, чтобы и я радовалась и ликовала, пусть даже тучи и скрывают от моих глаз Монблан. Прощайте!

М. Ш.

2

КОЛИНЫ—ЖЕНЕВА—ПЛЕНПАЛЕ¹

Camagne* С*** близ Колины,
1 июня

По дате этого письма Вы видите, что с тех пор, как я Вам писала, мы сменили место нашего пребывания. Сейчас мы живем в маленьком домике на другом берегу озера и променяли вид на Монблан с его снежными aiguilles** на темную, хмурую Юру, за которую мы каждый день провожаем глазами солнце; вечер спускается в нашу долину из-за Альп, которые окрашиваются тогда тем ярко-розовым цветом, каким рдеют в Англии облака осенними вечерами.

У наших ног лежит озеро, а в маленькой бухте нас ждет лодка, в которой мы по-прежнему с удовольствием катаемся по вечерам. К сожалению, мы не можем сейчас похвалиться безоблачной погодой, какая встретила нас в первое время по прибытии сюда. Почти непрерывный дождь большей частью удерживает нас дома; но когда солнце все же появляется, оно дарит сияние и тепло, неведомые в Англии. Таких величественных и страшных гроз, как здесь, я еще нигде не видела. Мы наблюдаем их приближение с противоположной стороны озера, видим, как молнии сверкают то там, то тут среди туч и зигзагами мечутся по лесистым вершинам Юры, темным от нависших туч, а над нами в это время может сиять солнце. Однажды ночью мы любовались самой прекрасной грозой, какую я когда-либо видела. Озеро было все освещено — видны были сосны на Юре, вся окрестность на мгновение ярко озарялась, чтобы затем утонуть в непроницаемой тьме, и в этой тьме над нашими головами грохотал гром.

Но я все еще описываю окрестности Женевы, когда Вы уже ждете от меня описаний самого города; а между тем там нет ничего, что вознаградило бы путешественника за хождение по его неровным булыжным мостовым. Дома там высокие, улицы узкие и часто крутые, и ни одно общественное здание не привлекает взора и не пленяет своей архитектурой. Город обнесен стеной с тремя воротами, которые запираются ровно в десять часов, и тогда (в отличие от Франции) их не отомкнуть никакой взятке. К югу от города находится излюбленное место прогулок женевских жителей — поросшая травой равнина с несколькими купами деревьев, называемая Пленпале. Здесь воздвигнут небольшой обелиск во славу Руссо, и здесь же (такова превратность судьбы) члены магистрата, преемники тех, кто изгнал Руссо с родины², были расстреляны народом во время Революции³, которой он столько способствовал своими сочинениями и которая, несмотря на кровопролитие и несправедливости, временно

* Эд.: местность (франц.).

** Пиками (франц.).

осквернившие ее, принесла человечеству долговечные блага, и их не смогут свести на нет ни ухищрения государственных мужей, ни даже великий заговор монархов⁴. Чтя память предшественников, никто из нынешних отцов города не бывает в Пленпале. Другим воскресным развлечением горожан служит прогулка на вершину Мон-Салев. Эта гора находится на расстоянии одного лье от города и отвесно подымается над возделанной равниной. На нее всходят с другой стороны, и судя по ее местоположению, труд этот вознаграждается восхитительным видом на Рону, Арву и берега озера. Мы там еще не побывали.

Общественное неравенство заметно здесь меньше, чем в Англии. Следствием этого являются более свободные и менее грубые, чем у нас, манеры низших слоев населения. Высокомерные английские дамы, вероятно, возмущаются этими плодами республиканского строя, ибо женевские слуги очень часто жалуются на их *бранчливость*, здесь совершенно неизвестную.

А вот швейцарским крестьянам далеко до живости и грации французов. Они более чистоплотны, но медлительны и туповаты. Я знаю одну двадцатилетнюю девушку, которая всю жизнь живет среди виноградников, но не умела сказать мне, в каком месяце бывает сбор винограда, и я обнаружила, что порядок месяцев ей совершенно неизвестен. Она не удивилась бы, если бы я заговорила о декабрьской жаре и спелых фруктах или о морозах в июле. Межу тем она вовсе не глупа.

В женевских нравах много пуританского. Правда, обычай танцевать по воскресеньям у них сохраняется, но сразу же после ухода французских властей отцы города закрыли театр и распорядились снести его здание.

Погода в последнее время снова отличная, и нет ничего приятнее, чем слушать по вечерам пение виноградарей. Это все — женщины, и у большинства из них приятные, хотя низкие, голоса. В их песнях поется о пастухах, о любви, о стадах и о принцах, полюбивших красивых пастушек. Напевы этих песен монотонны, но в вечерней тиши звучат приятно, когда при этом любуешься закатом с холма за нашим домом или с озера.

Таковы наши здешние развлечения, которых было бы гораздо больше при более благоприятной погоде, ибо главное в них — это солнце и теплый легкий ветерок. Мы еще не совершили ни одной прогулки по окрестностям, но задумали уже несколько и напишем Вам о них; с помощью магии слов мы постараемся перенести невесомую часть Вашего существа в предгорья Альп, к горным потокам и лесам, которые одевают горы, а потоки осеняют своей огромной тенью.

Прощайте!

М. Ш.

3

Т. П., ЭСКВАЙРУ¹
МЕЙЕРИ—КЛАРАН—ШИЛЬОН—ВЕВЕ—ЛОЗАННА

Монталегр, возле Колиньи,
Женева,
12 июля

Скоро две недели, как я вернулся из Веве. Поездка была восхитительной² во всех отношениях, но прежде всего потому, что мне впервые открылась красота божественных вымыслов Руссо и его «Юлии»³. Невозможно передать, какую прелесть созерцание здешней местности придает его страницам, которым она, в свою очередь, сообщила самое трогательное очарование. Но расскажу вкратце о путешествии, которое длилось восемь дней; если у Вас есть карта Швейцарии, Вы можете проследить наш путь.

Мы выехали из Монталегра 23 июня, в половине третьего. Озеро было спокойно, и после трех часов на веслах мы достигли Эрманс, прелестной деревушки, где находятся развалины башни, построенной, как говорят жители, Юлием Цезарем. Там было еще три таких башни, которые женевцы в 1560 г. разобрали на укрепления⁴. Мы проникли в башню через какое-то подобие окна. Стены ее невероятно толсты, а камень, из которого они сложены, так тверд, что еще хранит следы резца. Лодочники сказали, что башня прежде была втрое выше, чем теперь. В толще стен умещаются две лестницы, из которых одна разрушена совсем, а другая — наполовину, и добраться до нее можно только по приставной лестнице. Сам город — ныне это маленькая рыбацья деревушка — был основан некой бургундской королевой, а до теперешнего своего состояния доведен жителями Берна, которые жгли и разрушали все, что могли.

Выехав на Эрманс, мы на закате прибыли в деревню Нерни. Оглядев наши комнаты — мрачные и грязные, — мы вышли прогуляться по берегу озера. Прекрасен был широкий простор «золотых песков, омытых морем»⁵ и туманных лиловых вод, испещренных вблизи берега скалистыми островками. В озере играло множество рыб; целые стаи их собирались возле скал в погоне за мухами, которые там вились.

Вернувшись в деревню, мы уселись на каменной ограде вблизи озера и принялись наблюдать за детьми, игравшими в нечто похожее на кегли. Здешние дети выглядят на редкость уродливыми и болезненными. Большинство из них кривобоки, с большими зобами; но один мальчик отличался такой красотой и грацией движений, каких я еще не видел у ребенка. Самым прекрасным в его лице было выражение. В глазах и губах читалась смесь гордости и нежности — признаки чувствительности, которые при том воспитании, какое ему суждено, сделают его либо несчастливцем, либо преступником; однако кротость преобладала над гордостью, словно эта врожденная гордость обуздывалась привычным проявлением

добрых чувств. Мой спутник⁶ дал ему монету, которую тот взял молча, поблагодарил милой улыбкой и непринужденно вернулся к игре. Все это казалось каким-то сном; но в ясный и лучезарный вечер, в уединенном, романтическом селении у тихого озера, по которому мы прибыли, воображение невольно оживляло даже предметы неодушевленные.

Вернувшись на постоялый двор, мы увидели, что слуга прибрал наши комнаты, и они уже далеко не столь унылы. Моему спутнику они напомнили Грецию; уже пять лет, сказал он, как ему не приходилось спать в подобной постели. Воспоминания, ненадолго оживившие нашу беседу, иссякли, и я отправился на покой, думая о предстоящем на другой день пути и об удовольствии, с каким я буду, возвратясь, описывать дорожные происшествия.

На утро мы проехали Ивуар — широко раскинувшееся среди деревьев селение со старинным замком, расположенное недалеко от Нерни, на мысу, выступающем из глубокого залива шириною в несколько миль. Начиная от этого мыса, берега озера стали более дики и величавы. Савойские горы, сверкавшие снеговыми вершинами, круто спускались к воде; вверху гор темнел сосновый лес, который делается все гуще и обширнее вплоть до той границы, где на острых голых скалах, разрезающих синее небо, лежат только лед и снег; но внизу рощи ореха, каштана и дуба и зеленые лужайки свидетельствуют о более мягком климате.

Миновав мыс на противоположной стороне, мы увидели реку Дранс, вытекающую из горной расселины; у впадения в озеро она образует долину, изрезанную многочисленными рукавами. Тысячи *besolets* — красивых водяных птиц, вроде чаек, но поменьше, с пурпуровым оттенком спинки, садятся на мелководье, там, где река вливается в озеро. По мере приближения к Эвиану горы все более отвесно спускались к озеру, и лесистые утесы нависали над блестящим шпилем.

В Эвиан мы приехали около семи часов, испытав за день больше резких перемен погоды, чем я когда-либо наблюдал. Утро было сырым и холодным; потом дул восточный ветер и неслись высокие облака; позже были грозовые ливни, а ветер непрестанно менялся; затем подул с юга, и над вершинами повисли летние облака, сквозь которые ярко синело небо. Спустя полчаса после нашего прибытия в Эвиан из темной тучи прямо над нами несколько раз сверкнула молния, и все еще сверкала, когда туча уже рассеялась. *Diespiter per riuo tonantes egit equos**. Однако на меня это явление не произвело того действия, что на Горация⁷.

Не помню более жалкого и убогого зрелища, чем вид обитателей Эвиана⁸. Надо сказать, что контраст между подданными короля Сардинии и гражданами свободной Швейцарской республики, отделенными друг от друга всего лишь несколькими милями, красноречиво говорит о пагуб-

* Юпитер по чистому небу гонит коней громовержца (лат.).

ном действии тирании. Здесь есть минеральные воды, *eaux savonneuses* * как их называют. Вечером у нас произошли некоторые затруднения с паспортами, но едва лишь синдик⁹ услышал имя и титул моего спутника, как извинился за задержку. Постоялый двор оказался хорошим. В пути мы издали увидели на холме, поросшем сосновым лесом, развалины замка, напоминавшие мне замки на Рейне.

Мы покинули Эвиан на следующее утро, при таком сильном ветре, что пришлось оставить всего один парус. Волны были огромные, а наша лодка так тяжело нагружена, что это представляло некоторую опасность. Однако мы благополучно достигли Мейери, быстро миновав могучие леса, нависшие над озером, предельные зеленые лужайки и горы с обнаженными ледяными вершинами, вырвавшимися прямо из скал, в подножье которых глухо ударялись волны.

Здесь мы услышали, что императрица Мария-Луиза¹⁰, в память Сен-Пре, провела ночь в Мейери еще до того, как была выстроена нынешняя гостиница, и когда жалкая деревушка не могла предоставить никаких удобств.

Как это прекрасно, что человеческие чувства, когда за них у врат Власти ходатайствует гений, волнуют даже тех, кто всех выше вознесен над простыми обязанностями и радостями. Признание их было к лицу императрице и подтверждает добрую память, какую она по себе оставила у великого и просвещенного народа. Бурбоны — те не посмели бы и вспомнить о Руссо. Императрица обязана этим той демократии, над которой династия ее супруга надругалась, но которую эта династия все же до некоторой степени представляла среди наций. Этот небольшой случай показывает, что старые взгляды, как и любая власть, стремящаяся их возродить, не имеют ни прав, ни шансов на длительное существование.

Здесь мы пообедали и отведали меда — лучшего, какой я ел в жизни, душистого, точно горные цветы. Возможно, что он-то и дал деревне ее имя¹¹. Мейери известно как место, куда был изгнан Сен-Пре; но даже без чародея Руссо это был бы поистине волшебный уголок. Он укрылся в тени сосен и каштановых и ореховых лесов, обширных и роскошных, не имеющих себе подобных в Англии. Леса перемежаются ярко-зелеными лощинами, усеянными множеством редких цветов и благоухающими тимьяном.

Когда мы уезжали из Мейери, волны, казалось, немного стихли; мы пошли вблизи берега; он становился все прекраснее с каждым мысом, который мы огибали. Однако мы обрадовались слишком рано; ветер стал крепчать и достиг огромной силы; налетая с дальней оконечности озера, он вздымал волны огромной высоты и превратил поверхность воды в клочущую пену. Один из наших лодочников, крайне тупой малый, непременно хотел идти под парусом, когда лодка в любой миг могла быть оп-

* Букв.: мыльные воды (франц.).

рокинута ураганом. Увидя свою ошибку, он совсем спустил парус, и лодка на миг перестала слушаться руля; к тому же руль был настолько поломан, что с ним трудно было управляться; на нас обрушилась волна, за ней — другая. Мой спутник, отличный пловец, снял шюртук, я сделал то же, и мы скрестили руки, ежеминутно ожидая, что лодка затонет. Однако парус подняли снова, судно послушалось руля, и хотя волны были все еще высоки, и опасность не миновала, мы через несколько минут вошли в тихую бухту у деревни Сен-Женгу.

Близость смерти вызвала во мне различные чувства, в том числе и страх, хотя не он был главным. Мне было бы легче, будь я один; но я знал, что мой спутник попытался бы спасти меня, и мне было унижительно сознание, что он подверг бы свою жизнь опасности ради моей. Когда мы достигли Сен-Женгу, собравшиеся на берегу жители, которые редко видят столь хрупкие суденышки, как наше, и вообще не отваживаются плавать в такую погоду, обменялись изумленными и одобрительными взглядами с нашими лодочниками, которые так же, как и мы, были рады ступить на твердую землю.

Сен-Женгу еще красивее, чем Мейери; горы здесь выше и более круто спускаются к озеру. Их вершины еще хранят много снега в своих расщелинах и в руслах невидимых потоков. Одна из самых высоких называется Рош-Сен-Жюльен; лес под нею гуще и обширнее; особую прелесть придают этой местности каштаны; она сохранится в моей памяти, отличная от всех других горных мест, где я побывал.

Так как мы прибыли туда рано, мы наняли экипаж, чтобы поехать к устью Роны. Дорога шла между озером и горами, в тени могучих каштановых рощ, вдоль потоков, питающихся горными снегами и образующих сталактиты на скалах, с которых они низвергаются. Мы видели исполнинский каштан, поваленный утренним ураганом. Там, где Рона впадает в озеро, вздымалась гряда огромных валов; река здесь такая же быстрая, как и при выходе из озера, но мутная и темная. Мы проехали еще около одного лье по дороге к Ла-Валэ и остановились у замка Латур де Бувери; здесь, как видно, пролегает граница между Швейцарией и Савойей, так как у нас спросили паспорта, думая, что мы едем дальше, в Италию.

По одну сторону дороги нависала огромная Рош-Сен-Жюльен, а сквозь замковые ворота виднелись снежные горы Ла-Валэ, окутанные облаками; по другую лежала заросшая ивняком долина Роны, являвшая разительный контраст с остальными ландшафтами, которые замкнуты темными горами, вознесшимися над Клараном и Веве и разделяющим их озером. Среди долины высится небольшой одинокий холм, где из каштановой рощи выглядывает белый шпиль церкви. Мы вернулись в Сен-Женгу еще до заката, и я провел вечер за чтением «Юлии».

Так как спутник мой встает поздно, я на следующее утро еще до завтрака успел подняться к водопадам вверх по реке, в этом месте впадающей в озеро. Поток несется по такой крутизне, что весь состоит из

водопадов, которые неумолчно гремят по его скалистому ложу и обдают водяной пылью листья и цветы, украшающие его дикие берега. Тропа, идущая вдоль потока, то отдалялась от кручи и шла лугами, то лепилась по самому краю отвесных скал, изрытых пещерами. В лугах я собрал букет цветов, никогда не виденных мною в Англии и показавшихся по этому еще прекраснее.

Когда я вернулся, мы позавтракали и отправились на лодке в Кларан, намереваясь посетить сперва три устья Роны, а затем Шильонский замок; погода была отличная, озеро спокойное. Из голубых вод озера мы въехали в воды Роны; они быстры даже вдали от впадения в озеро; эти бурные воды сливаются с озерными, но сливаются неохотно (см. «Новую Элоизу», 17, 4)¹². Я читал «Юлию» весь день; здесь, среди ландшафтов, которые эта книга населила своими чудесными образами, видно, насколько в ней через край переливается великий талант и необычайная сила чувств. Мейери, Шильонский замок, Кларан, горы Ла-Валэ и Савойи¹³ предстают воображению как памятники знакомым событиям и дорогим нам людям. Все это, разумеется, создание вымысла, но вымысла столь могучего, что он бросает тень сомнения на то, что зовется действительностью.

Затем мы проследовали дальше, в Шильон, и осмотрели его казематы и башни. Темницы помещаются ниже уровня озера; в главной из них потолок опирается на капители семи колонн. У самых стен замка глубина озера достигает 800 футов; в колонны вделаны железные кольца; на них вырезано множество имен — иные принадлежат посетителям, а иные, без сомнения, узникам, о которых исчезла самая память; это они коротали таким образом дни одиночества, которое давно перестали ощущать. Одна из дат была «1670». В начале Реформации, и еще долго спустя, в темницу бросали тех, кто колебал или отрицал основы идолопоклонства, от которого человечество только сейчас начинает постепенно освобождаться.

Рядом с этим длинным и высоким казематом находится узкая камера, а за ней — еще одна, побольше и повыше, очень темная, под двумя ничем не украшенными сводами. В один из сводов вбита балка, почерневшая и гнилая; здесь тайно вешали узников. Нигде не видел я более страшного памятника бесчеловечной тирании, которой человек с наслаждением подвергал своих ближних. Это одно из многих страшных зрелищ, когда слова великого Тацита о «*regnicies humani generis*»^{*} представляются мудрым и неопровержимым пророчеством. Жандарм, сопровождавший нас при осмотре замка, сказал, что оттуда в озеро вел ход, запиравшийся потайной пружиной, — ход, с помощью которого всю темницу можно было затопить, прежде чем узники успеют спастись!

В Кларан мы ехали при противном ветре и больших волнах. Высаживаясь в Кларане, я как никогда сильно ощутил, что былой дух покинул

* Гибели рода человеческого (лат.).

некогда любимые им места. Как часто, думал я, Юлия и Сен-Пре гуляли по этим уступам; смотрели на эти горы, которые сейчас созерцаю я; ступали по земле, где сейчас ступаю я. Из наших окон хозяйка показала нам *bosquet de Julie* *. Во всяком случае местные жители убеждены, что герои романа действительно здесь жили. Вечером мы туда пошли. Это поистине роща Юлии. Под деревьями сушилось сено; деревья были стары, но еще крепки; между ними поднималась молодая поросль, которой суждено их сменить и когда-нибудь, когда мы умрем, приютить в своей тени будущих поклонников природы; им будут милы нежные и мирные чувства, нашедшие здесь воображаемое пристанище. Мы шли мимо виноградников, узкими террасами, спускающимися к этим незабываемым местам. Отчего холодные правила света заставляли меня удерживать слезы сладкой грусти, которые мне было бы бесконечно приятно проливать, пока ночная мгла не скрыла бы вызвавшие их предметы?

Я забыл сказать — на это обратил внимание мой спутник, — что буря настигла нас как раз на том месте, где Юлия и ее возлюбленный едва не утонули ¹⁴ и где Сен-Пре хотелось броситься вместе с нею в озеро.

На другой день мы пошли осматривать замок в Кларане — квадратную крепость почти без окон, окруженную двойной террасой, откуда открывается вид на долину, вернее, равнину Кларана. К замку ведет дорога, вьющаяся по крутому склону среди ореховых и каштановых рощ. На террасе мы сорвали розы, которые, казалось нам, произошли от тех, что были посажены рукою Юлии. Их увядшие лепестки мы послали нашим далеким друзьям.

Потом мы вернулись в Сен-Женгу и обнаружили, что самого того места не существует, а там, где прежде стояла часовенка, нагромождена куча камней. Пока мы проклинали виновников этого нелепого варварства, проводник сообщил нам, что земля принадлежит монастырю Сен-Бернар и разрушения произведены по распоряжению монахов. Я и прежде знал, что если людские сердца ожесточаются скупостью, то власть религии еще враждебнее естественным человеческим чувствам. Я знаю, что отдельный человек порою постыдится оскорбить благоговейную память о гении, некогда изобразившем природу еще прекраснее, чем она есть; но бывают объединения людей, которые как бы даже освящают свой союз поправлением всякой деликатности и гуманности и всех укоров совести; всего истинного, всего нежного и возвышенного.

Из Кларана мы поплыли в Веве. — Городок Веве прекраснее в своей простоте, чем что-либо когда-либо мною виденное. С его просторной рыночной площади, обсаженной деревьями, открывается вид на горы Савойи и Ла-Валэ, на озеро и на долину Роны. Именно в Веве у Руссо родился замысел «Юлии» ¹⁵.

* Рощу Юлии (франц.).

Из Веве мы добрались до Уши — деревни недалеко от Лозанны. Берега кантона Во, хотя и изобилующие селениями и виноградниками, полны покоя и особенной красоты, вполне искупающих отсутствие столь милого мне обычно уединения. Холмы очень высоки и каменисты, на них и между ними растет лес. С утесов шумно низвергаются сверкающие издали водопады. В одном месте мы видели следы двух огромных камней, упавших с горы. Один из них попал в комнату, где спала молодая женщина, не причинив ей вреда. А повсюду на своем пути он сметал виноградники и взрывал землю.

В Уши нас на два дня задержал дождь. Тем не менее мы побывали в Лозанне и посетили дом Гиббона. Нам показали обветшалую беседку, где он дописывал свою «Историю»¹⁶, и старые акации на террасе, с которой он, написав последнюю фразу, любовался Монбланом. Есть нечто впечатляющее и даже трогательное в тех сожалениях, какие он выразил, завершая свое сочинение. Оно было задумано на развалинах Капитолия. Разлука с любимым и привычным трудом, подобно смерти близкого друга, должна была обречь его на одиночество и тоску.

Мой спутник, на память о нем, сорвал несколько листьев акации. Я этого не сделал, боясь оскорбить великую и священную память Руссо; созерцание его бессмертных творений не оставило в моем сердце места для чего-либо земного. Гиббон обладал холодным и бесстрастным умом. Я никогда не был так склонен посмеяться над подобными вещами, как в тот момент, когда «Юлия» и Кларан, Лозанна и «Римская империя» заставили меня сравнить Руссо и Гиббона.

Когда мы вернулись, солнце выглянуло впервые за весь день, и я прошелся по молу, омываемому волнами озера. Через озеро шагнула радуга; вернее, уперлась одним концом в воду, а другим — в подножье Савойских гор. В ее золотом блеске виднелась группа белых домов — быть может, то была Мейери.

В субботу 30 июня мы выехали из Уши и после двухдневного приятного плаванья прибыли в воскресенье вечером в Монталегр.

4

Т. П.

СЕН-МАРТЕН—СЕРВО—ШАМОНИ—МОНТАНВЕР—МОНБЛАН

Hôtel de Londres, Chamouni,
22 июля 1816*

Пока Вы, мой друг, ищете для нас жилище¹, мы ищем впечатлений, которыми хотим его украсить. Я не ошибаюсь, считая, что Вы живо интересуетесь всем, что есть в природе прекрасного и величавого; но как описать Вам зрелища, которые меня сейчас окружают? Исчерпать все эпи-

* Гостиница «Лондон», Шамони (франц.).

теты, выражающие изумление и восхищение, всю полноту восторга, когда, кажется, сбылось все, чего можно ждать, значит ли это представить Вашему мысленному взору те образы, которыми сейчас насыщаются мои глаза? Я и сам читал восторженные излияния путешественников; их пример служит мне предостережением; я просто перечислю все, что могу и что поможет Вам представить себе, что мы делали и что повидали после утра 20 числа, т. е. после отъезда из Женевы.

Нашу поездку в Шамони мы начали в половине девятого утра. Мы проехали открытую местность, которая тянется от Мон-Салева до подножья Высоких Альп. Эта местность достаточно плодородна, покрыта полями и огородами и пересечена холмами с плоскими вершинами. День стоял безоблачный и очень жаркий. Альпы были все время перед нами, и их предгорья все теснее сближались на нашем пути. Мы переехали по мосту речку, впадавшую в Арву. Сама Арва, сильно вздущаяся от дождей, все время течет справа от дороги.

Подъезжая к Бонневиллю по аллее прекрасных плакучих тополей, мы заметили на полях по обе стороны следы паводка. Бонневиль — чистенький городок без каких-либо достопримечательностей, если не считать белых башен тюрьмы — большого здания, господствующего над городом. В Бонневиле начинаются Альпы; одна из вершин, одетая лесом, подымается сразу же за рекой.

От Бонневилля до Ключа дорога проходит по обширной и плодородной равнине, окруженной со всех сторон горами, поросшими, как в Мейери, сосновыми и каштановыми лесами. У Ключа дорога сворачивает вправо, следуя за Арвой вдоль ущелья, которое река, видимо, прорыла себе среди отвесных гор. Ландшафт становится здесь более диким и грандиозным; долина сужается так, что вмещает лишь русло реки и дорогу. Сосны спускаются к самому берегу, повторяя своими неровными верхушками очертания пирамидальных вершин, вздымающихся высоко над линией леса в темно-синем небе среди ослепительно белых облаков. Здесь, вблизи Ключа, ландшафт отличается от Матлока² разве лишь более грандиозными пропорциями и неподвластными человеку просторами, где изредка видны только козы, пасущиеся на склонах.

Возле Маглана мы видели два водопада, отстоящие друг от друга менее чем на лье. Они образованы небольшими горными ручьями, но высота, с какой они низвергаются, — не менее тысячи двухсот футов — придает им характер, какого не ожидаешь от их скромных истоков. Первый падает с черного нависающего края пропасти на скалу, очень похожую на огромную статую какой-нибудь египетской богини. Разбиваясь о голову этой фигуры и красиво разделяясь, он ниспадает с нее пенными складками, более похожими не на воду, а на дымку, на тончайшее покрывало. Затем струи вновь соединяются, скрывая под собой нижнюю часть статуи, и сами исчезают в извилине русла, еще раз падают с уступа и на своем пути к Арве пересекают нам дорогу.

Второй водопад — больше размерами и более сплошной. Сила, с какою он падает, делает его похожим скорее на причудливые клубы испарений, чем на воду, ибо гора темнеет за ним, как за облаком.

Такая же местность тянется до Сен-Мартена (на картах обозначенного как Салланш); горы становятся все выше, и за каждым поворотом дороги предстают все более крутые вершины, все более обширные и величественные леса, все более темные и глубокие ущелья.

На следующее утро мы двинулись из Сен-Мартена в Шамони верхом на мулах, в сопровождении двух проводников. Как и накануне, мы поехали вдоль течения Арвы, по долине, окруженной огромными горами, у которых темные расселины перемежаются сверху полосами ослепительного снега. Их подножия и здесь поросли вечными лесами, все более густыми и темными по мере того, как приближаешься к сердцу гор.

В маленькой деревушке, на расстоянии одного лье от Сен-Мартена, мы спешились, и наши проводники повели нас взглянуть на каскад. Мы увидели огромную массу воды, падающую с высоты двухсот пятидесяти футов, с утеса на утес, образуя из брызг туман, где висело множество радуг, то исчезающих, то разгоравшихся с удивительной яркостью, как только изменчивое солнце выглядывало из облаков. Когда мы приблизились, брызги достигли и нас, и наша одежда пропиталась крохотными, но густо падающими частицами воды. Каскад низвергался в глубокую каменную пропасть у наших ног, а там, ставши горной рекой, бежал к Арве, шумя вокруг скал, преграждающих ему дорогу.

Наш путь и дальше лежал по долине, превратившейся в ущелье — творение грозной Арвы и одновременно ее ложе. Мы поднимались все выше, среди гор, поражающих воображение своей огромностью. Нам пришлось пересечь поток, который за три дня до того образовался из тающих снегов и размыл дорогу.

Пообедали мы в Серво, маленьком селении, где имеются залежи свинца и меди, а также кунсткамера природных диковин, подобная тем, что в Кесвике и Бетгелерте. В этой кунсткамере мы увидели рога серны, а также рога чрезвычайно редкого животного, называемого букетен и обитающего в снежных пустынях к югу от Монблана; это — животное, родственное оленю; рога его весят не менее 27 английских фунтов. Невозможно себе представить, как такое маленькое животное носит подобную тяжесть. Рога имеют очень своеобразное строение; они широки, массивны, на концах заострены и окружены кольцами, по которым, как говорят, можно определить возраст животного; на самых больших из рогов таких козед было семнадцать.

От Серво оставалось всего три лье до Шамони. Перед нами высился Монблан — Альпы с бесчисленными глетчерами, которые с разных сторон стекались в извилистую долину, — несказанно прекрасные в своей величавости леса, смесь бука, сосны и дуба, нависали над дорогой или же отступали, давая место лужайкам с такой яркой зеленью, какой я никогда

не видел, и, отступая, становились все темнее. Перед нами высился Монблан, но он был закрыт тучами; виднелось только его основание, изборозженное глубокими рассединами. Сквозь тучи кое-где проглядывали ослепительные снежные вершины прилегающего к нему хребта. Я доныне не знал — и не мог представить, что такое горы. Огромная высота этих вершин, внезапно открывавшихся взору, вызывала экстаз, сходный с безумием. И все это было вокруг, все обступало нас. Далекие снежные пирамиды, взмывавшие в синее небо, казалось, начинались прямо над нашей тропой; ущелье, поросшее гигантскими соснами и такое глубокое, что даже шум неукротимой Арвы, протекавшей в нем, не достигал до верха — все это настолько принадлежало нам, точно мы сами творили для других те впечатления, которые нас наполняли. Здесь поэтом была сама Природа, и ее гармония завораживала нас, как не могли бы величайшие из поэтов.

Когда мы въехали в долину Шамони (которая, собственно, является продолжением тех, что тянутся от Бонневиля и Ключа), на горах, на высоте примерно 6000 футов, висели тучи, скрывавшие не только Монблан, но и другие прилегающие к нему *aiguilles**, как их здесь называют. Мы ехали по долине, как вдруг услышали звук, похожий на приглушенный гром; однако в нем было нечто земное, говорившее о том, что это не могло быть громом. Проводник поспешно указал на противоположную гору, откуда исходил звук. Это был обвал. Мы увидели его дымящийся след среди утесов, и по временам до нас доносился грохот его падения. Он обрушился в русло потока, вытеснил его, и скоро коричневатые воды разлились по всему ущелью, где он протекал.

Сегодня мы не побывали, как намеревались, у ледника Буассон, хотя он находится всего в нескольких минутах ходьбы от дороги, ибо желали посетить его, сперва отдохнув. Этот ледник, вплотную подходящий к плодородной равнине, мы видели по дороге; поверхность его расколота на тысячу причудливых фигур; с нее поднимаются ледяные конусы и пирамиды более 50 футов вышиною; великолепные ледяные утесы нависают над лесами и лугами долины. Ледник, извиваясь, уходит вверх, а там сливается с массой льда, которая его породила, похожий на светлый пояс, брошенный посреди черных сосен. Этот ландшафт поражает не только своей грандиозностью; величавы сами очертания; несказанно прекрасны цвета, в которые окрашены эти удивительные горы, — во всем заключено особое, только им свойственное очарование, независимое даже от их исполинских размеров.

24 июля

Вчера утром мы отправились к истокам Арвейрона. Они находятся на расстоянии примерно одного лье от деревни; река бурно рвется из-под ледяного свода и разливается несколькими рукавами по долине,

* Пики (франц.).

которую опустошает во время наводнения. Питающий реку ледник выситя глыбами толстого льда над этим сводом, над равниной и окружающими сосновыми лесами. По другую сторону возвышается огромный ледник Монтанвер, протяженностью в 50 миль, занявший расщелину между гор невообразимой высоты и таких отвесных и остроконечных, что они словно бы пронзают небо. С нашего ледника, сидя на камне возле одного из рукавов Арвейрона, мы видели, как глыбы льда отрывались от него и с глухим грохотом неслись в долину. Сила падения обращала их в пыль, которая падала с утесов словно водопады.

Вечером я, со своим проводником Дюкре, единственным порядочным человеком, какой мне встретился в здешних местах, пошел к леднику Буассон. Этот ледник, как и Монтанвер, подходит вплотную к долине, нависая над зелеными лугами и темным лесом своими ослепительно белыми впадинами и остриями, похожими на сверкающие хрустальные шпили, покрытые узором из матового серебра.

Ледники непрерывно стекают в долину, в своем медленном, но неуклонном движении сметая окрестные пастбища и леса и производя в течение веков те же опустошения, какие лава могла бы совершить за один час, но зато гораздо более непоправимые; ибо там, где однажды прошел лед, не станет расти самое неприхотливое растение, даже если — что бывает лишь в редчайших случаях — однажды начав наступать, он отступит. Ледники неуклонно движутся вниз со скоростью одного фута в день, и движение их начинается на границе вечного замерзания, где они зарождаются, когда воды, получившиеся от частичного таяния вечных снегов, вновь обращаются в лед. Из области своего образования они несут с собою все горные обломки, огромные утесы и скопления песка и камней. Все это уносится могучим потоком сплошного льда; а там где уклон достаточно крут, все это обрушивается вниз, сея на своем пути опустошение. Я видел одну из таких скал, упавшую весной (зима здесь — самое тихое и спокойное время); скала имела и в высоту и в ширину не менее 40 футов.

Край ледника, подобного Буассону, являет собою самую суровую картину, какую можно вообразить. Сюда никто не дерзает приблизиться; ибо огромные ледяные сосульки постоянно обрушиваются с него и нарастают вновь. На опушке леса, в который упирается ледник, лежат поваленные сосны. Что-то невыразимо жуткое видится в оголенных стволах, ближайших к леднику, которые еще удерживаются на вздыбленной земле Луга гибнут под песком и камнями. За последний год эти ледники опустились в долину на 300 футов. Естествоиспытатель Соссюр³ говорит, что их масса периодически увеличивается и уменьшается; здешние жители держатся совершенно иного мнения, которое мне кажется более обоснованным. Всеми признано, что на Монблане и соседних вершинах снег скапливается непрерывно, а лед, в виде ледников, не тает в долине Шамони в течение короткого и переменчивого лета. Если масса снега, дающего

начало леднику, увеличивается, а жара в долине не в силах растопить уже спустившиеся массы льда, из этого следует, что ледники будут расти, пока не заполнят собою долину.

Я не стану здесь развивать внушительную, но мрачную гипотезу Бюффона⁴, что когда-нибудь наша планета целиком обледенеет вследствие наступления льдов с полюсов и с высочайших горных вершин. Предоставляю Вам, пророчащему победу Аримана⁵, воображать, как он воцарится среди этих суровых снегов, в этих замках смерти и вечного холода, высеченных, во всем их устрашающем великолепии, беспощадной рукою необходимости; и как он разбрасает вокруг, в виде первых знаков своей победы, обвалы, водопады, утесы и грозы, а главное — все эти смертоносные ледники, служащие доказательством и, вместе с тем, символом его власти; добавьте к этому вырождение людей, представленных в этих краях калеками и слабоумными, большей частью лишенными всего, что способно нравиться и восхищать. Это уже менее возвышенная и более печальная тема; однако ни поэту, ни философу не следует ею пренебрегать.

Нынешним утром, сулившим погожий день, мы отправились к леднику Монтанвер. Эта часть его, заполняющая идущую под уклон долину, зовется Ледяным Морем. Долина лежит на высоте 950 туазов⁶ или 7600 футов над уровнем моря. Мы не успели еще далеко отойти, как пошел дождь, но мы упорствовали, пока не прошли более половины дороги, а тогда уж повернули назад, промокшие до нитки.

Шамони, 25 июля

Только что вернулись с ледника Монтанвер, иначе называемого Ледяным Морем, — зрелище поистине ошеломляющее. Тропа, ведущая туда по склону горы, то окаймленная лесом, то пересеченная ложбинами, полными снега, широка и крута. Хижина Монтанвер находится в трех лье от Шамони; половину этого пути проделывают на мулах, вовсе не столь уж надежных, ибо мой в первый же день упал, сделав, по выражению проводников, *mauvais pas* *, и я едва не свалился в пропасть. Мы пересекли покрытую снегом ложбину, по которой часто скатываются огромные камни. Один из них обрушился накануне, вскоре после того, как мы вернулись; проводники торопили нас пройти, ибо говорят, что иной раз достаточно малейшего звука, чтобы ускорить падение такого камня. Тем не менее мы благополучно добрались до Монтанвера.

Долина здесь отовсюду окружена отвесными горами, где царит беспощадный холод; склоны их покрыты льдом и снегом, который то громоздит кучами, то открывает зияющие провалы. Вершины представляют собой острые, обнаженные пики, такие крутые, что снег на них не удерживается. В их вертикальных трещинах кое-где скопляется лед, ярко сверкающий сквозь плывущий туман; они вонзаются в облака, точно вовсе

Ложный шаг (франц.).

чужды земле. Вся долина наполнена массой вздыбленного льда и незаметно подымается к самым отдаленным пределам этих жутких пустынь. Она имеет всего пол-лье (около двух миль) в ширину, а на вид — много меньше. Кажется, будто мороз внезапно сковал волны и водовороты могучего потока. Мы немного прошли по нему. Ледяные волны вздымаются на двенадцать—пятнадцать футов над поверхностью, пересеченной длинными и бездонно глубокими трещинами, где лед синее ярче, чем небо. Все в этих краях изменчиво и все пребывает в движении. Огромная масса льда непрерывно, день и ночь, движется вперед; что-то в ней постоянно трещит и ломается, одни из волн вздыбливаются, другие проваливаются, и вся она постоянно меняется. Почти не умолкают отголоски падения камней, льда и снега, которые рушатся в пропасть или катятся с заоблачной вышины. Можно подумать, что Монблан, подобно божеству стойков, является гигантским животным⁷, и его ледяная кровь беспрерывно струится по каменным жилам.

Мы закусили (М[ери], К[лер] и я) на траве, под открытым небом, пред лицом всего этого великолепия. Воздух здесь прозрачный и разреженный. Затем мы спустились, попадая то в полосу облаков, то на солнце, и к семи часам добрались до нашей гостиницы.

Монталегр, 28 июля

На следующее утро мы под дождем вернулись в Сен-Мартен. Ландшафт уже не казался столь грандиозным; на самых высоких вершинах висели плотные тучи; однако в промежутках между ливнями проглядывало солнце, в разрывах белоснежных облаков, принесших ливень, синело небо; иногда вершины ослепительно сверкали между туч над нашей головой, и вся величавая красота вновь была перед нами. Мы вторично перешли Пон Пелисье — деревянный мост через Арву, и само ущелье Арвы. Мы вновь проехали сосновым лесом, обступившим теснину, мимо замка Сен-Мишель, населенных привидениями руин, повисших на краю пропасти, под сенью вечного леса. Мы снова проехали долину Серво, более прекрасную, — ибо более цветущую, — чем долина Шамони. Монблан и здесь образует одну из границ долины, а другая ее сторона представляет собой неровный полукруг из огромных гор; одна из них расколота на куски; пятьдесят лет назад она обрушилась на верхнюю часть долины; поднятая ею пыль была видна в Пьемонте, и люди приезжали из Турина посмотреть, не появился ли в Альпах вулкан. Обвал длился много дней, наполняя окрестность грохотом и сея повсюду страх. Вечером мы достигли Сен-Мартена. На другой день мы проехали долину, которую я описал выше, а к вечеру были дома.

На Монблане мы приобрели несколько образцов минералов и растений и две-три хрустальные печати на память о том, что побывали вблизи него. В Шамони, как и в Кесвике, Матлоке и Клифтоне, есть музей

Histoire naturelle*, владелец которого является самым гнусным образчиком гнусной породы шарлатанов, вместе с армией трактирщиков и проводников, питающихся слабостью и легковерием путешественников, как пьявки — кровью больного. Самой интересной из моих покупок является набор семян всех редкостных альпийских растений в пакетиках, на которых написаны их названия. Я хочу посадить их у себя в саду в Англии, а Вы сможете выбрать, что понравится. Это — друзья, которыми подлинный чистотел не должен пренебрегать; они столь же дики, как он, и более отважны, и расскажут ему повести не менее трогательные и возвышенные, чем те, что мы читаем во взоре певца весны.

Писал ли я Вам, что в здешних горах обитают стаи волков? В зимнее время они спускаются в долины, в течение полугода занесенные снегом, и пожирают все, что им удастся найти не укрытым под крышей. Волк сильнее самой свирепой и сильной собаки. Медведи в этих краях не водятся. Будучи в Люцерне, мы слышали, что они изредка встречаются в лесах, окружающих озеро. Прощайте.

Ш.

ЖЕНЕВСКИЙ ДНЕВНИК

Женева,
воскресенье, 18 августа 1816

Увиделись с могильщиком Аполлона¹, сообщившим нам множество тайн своего ремесла. Беседуем о привидениях. Ни лорд Байрон, ни М. Г. Л[ьюис], по-видимому, в них не верят; оба твердят, наперекор рассудку, что нельзя верить в привидения, если не веришь в бога. Я не думаю, чтобы все, кто заявляет о своем неверии в духов, действительно в них не верили; а если и не верят при свете дня, то одиночество и темнота наверняка заставляют их несколько почтительнее относиться к миру теней.

Льюис прочел стихотворение, сочиненное им по просьбе Принцессы Уэльской. Он сообщил, что принцесса верит не только в привидения, но и в магию, и в колдовство и уверяет, что пророчества, услышанные в годы ее молодости, сбылись.

В рассказе шла речь об одной немецкой даме.

Эта дама, по имени Минна, была необычайно привязана к своему мужу, и они поклялись, что тот из них, кто умрет первым, явится другому в виде привидения. Однажды она сидела одна в своей комнате, когда услышала на лестнице какие-то необычные шаги. Дверь отворилась и перед

* Естественной истории (франц.).

нею предстал призрак ее мужа в военных доспехах с глубокой раной на лбу. Она содрогнулась, а призрак сказал, что отныне при его посещениях она будет слышать погребальный звон, а над самым ухом слова: «Минна, я здесь». Оказалось, что муж ее в тот самый день был убит в сражении. Общение женщины с призраком некоторое время продолжалось, так что она забыла всякий страх и дала волю любви, какую питала к нему живому. Однажды вечером она отправилась на бал, и там позволила ухаживать за собой некоему флорентийцу, самому остроумному, изящному и нежному, как показалось ей, из всех, кого она знала. Он как раз танцевал с нею, когда раздался погребальный звон. Очарованная флорентийцем, Минна не услышала звона или пренебрегла им. Звон стал громче, испугав всех присутствующих; Минна услышала привычный шепот и, подняв глаза, увидела в зеркале призрак, склонившийся над нею. Говорят, она умерла от испуга.

Льюис рассказал еще четыре повести, и все мрачные.

I

Один молодой человек духовного звания получил приход после умершего священника. Дело происходило в некой местности Германии, населенной католиками. Он прибыл в церковный дом субботним вечером; время было летнее; проснувшись часа в три, когда уже рассвело, он увидел, что у окна сидит за книгой почтенный человек с выражением глубочайшей печали на лице, а подле него стоят два хорошеньких мальчика, на которых он устремил взор, полный скорби. Но вот он поднялся, мальчики последовали за ним, и все они исчезли. Молодой священник встал в большом смятении, не зная, было ли все это сном или грезой наяву. Чтобы развлечься, он направился к церкви, которую сторож уже готовил к утренней службе. Первое, что он там увидел, был портрет, чрезвычайно похожий на человека, который только что сидел у него в комнате. В той местности существовал обычай вешать в церкви портрет каждого из умерших священников.

Он тщательно расспросил о своем предшественнике и узнал, что то был общий любимец, человек беспримечательной доброты и порядочности; но что его точила какая-то неутолимая тайная печаль. Говорили, будто причиною была любовь к некоей молодой женщине, с которой его сан не позволял ему сочетаться браком. Другие утверждали, что он все же состоял с нею в связи, и она даже изредка приводила к нему двух престелых мальчиков, плод их любви. Ничего примечательного не произошло до наступления зимы, когда новый священник велел затопить в своей спальне печь. Из печи тотчас распространилось ужасное зловоние, и в ней были найдены кости двух детей мужского пола.

II

На охоте к лорду Литлону² и его друзьям присоединился незнакомец. Под ним была превосходная лошадь, и он проявил такую отвагу, а, вернее, такую безумную удаль, что никто не мог за ним поспеть. По окончании охоты джентльмены пригласили незнакомца отобедать с ними. Незнакомец оказался блестящим собеседником. Он удивлял и увлекал слушателей и сумел завладеть вниманием даже самых равнодушных. С наступлением ночи усталые охотники один за другим удалились на покой, гораздо позднее обычного часа; наиболее любознательные из них дольше всего засиделись с необыкновенным незнакомцем. Увидя, что все расходятся, он удвоил усилия, стараясь их удержать. Под конец, когда их оставалось совсем немного, он принялся умолять их остаться с ним; но все ссылались на утомившую их охоту и в конце концов разошлись. Не прошло и часа, как их разбудили ужасные крики, доносившиеся из комнаты незнакомца. Все кинулись туда. Дверь была заперта. Поколебавшись мгновение, они взломали ее и увидели, что незнакомец простерт в луже крови и корчится от мук. При их появлении он поднялся, видимо, с величайшим трудом, и попросил их уйти и оставить его одного, а утром он все объяснит. Они повиновались. Утром комната его оказалась пустою, и больше о нем ничего не слышали.

III

Майлс Эндрюс, друг лорда Литлтона, сидел как-то вечером один, как вдруг к нему явился лорд Литлтон и сообщил, что он умер и стал привидением. Эндрюс раздраженно попросил друга не разыгрывать дурацких шуток, ибо он не в настроении. Призрак удалился. На утро Эндрюс спросил своего слугу, в котором часу приходил лорд Литлтон. Слуга сказал, что он его не видел, но справится. А когда справился, оказалось, что лорд Литлтон не приходил вовсе, и дверь никому не отворяли всю ночь. Эндрюс послал к лорду Литлтону и узнал, что тот скончался в тот самый час, когда явился его призрак.

IV

Желая навестить друга, жившего на краю обширного леса в восточной Германии, некий господин сбился с дороги. Он несколько часов блуждал меж деревьев и наконец увидал вдали огонек. Приблизившись, он с удивлением обнаружил, что огонек светит в развалинах монастыря. Прежде чем постучаться, он решил заглянуть в окно. Он увидел множество кошек, окружавших маленькую могилу; четыре из них опускали туда гроб, на котором лежала корона. Пораженный этим зрелищем и думая, что попал на сборище чертей или ведьм, путник вскочил на коня

и поспешил уехать прочь. В дом своего друга он прибыл очень поздно, но там дожидались его и не спали. Друг спросил о причине волнения, отражавшегося на лице прибывшего. Тот принялся рассказывать о своем приключении, но лишь после долгих уговоров, ибо понимал, что ему вряд ли поверят. Едва он упомянул про гроб с короной, как кот, дремавший у огня, подскочил, крикнул: «Теперь, значит, я — король кошек!», — кинулся в каминную трубу и исчез.

Четверг, 29 августа. В девять утра мы покидаем Женеву. Швейцарцы ездят очень медленно; кроме того нам предстоит подъем на Юру; поэтому сегодня мы проехали мало. Местность весьма красива. Мы видим немало великолепных ландшафтов. Проезжаем Ле Рус³, которая в прошлый раз, весною, была занесена снегом. Ночуем в Моррезе.

Пятница, 30. Выезжаем из Морреза и к вечеру прибываем в Долю, испытав за день не одну перемену погоды.

Суббота, 31. Из Доля едем в Рувре, где останавливаемся на ночлег. Проезжаем Дижон; а после Дижона сворачиваем на другую дорогу — не ту, по которой мы ехали оба предыдущих раза. Местность хороша; своеобразны очертания гор, окружающих Валь-де-Сюзон. Невысокие, но крутые холмы, покрытые виноградниками или лесом, а внизу — река, луга и тополя.

Воскресенье, 1 сентября. Покидаем Рувре, проезжаем Оксерр, там обедаем; городок очень мил; в два часа прибываем в Вильнев ле Гиар.

Понедельник, 2. Из Вильнев ле Гиар приезжаем в Фонтенбло. Местность вокруг замка дикая. Почва каменистая; это, видимо, гранит, повсюду выступающий из-под слоя земли. Холмы низки, но круты. Долины, столь же дикие, поросли лесом. В этой глуши стоит замок. Некоторые его покои по своему великолепию не уступают всему, что я мог вообразить. Кровли украшены золотой резьбой, драпировки бархатные. Из Фонтенбло едем в Версаль по Руанской дороге. В Версаль приезжаем в девять.

Вторник, 3. Осмотрели дворец и сады Версаля, Большой и Малый Трианон. Они превосходят Фонтенбло. В садах много статуй, ваз, фонтанов и колоннад. Но нет почти ничего, что составляет подлинную прелесть сада. Оранжерея представляет собой до нелепости дорогое сооружение. Одно апельсиновое дерево, на вид не такое уж старое, было посажено в 1442 году. В Малом Трианоне мы осмотрели только сады и театр. Сады — в английском вкусе и очень красивы. Большой Трианон был

открыт. Это — летний дворец, легкая, но великолепная постройка. Картинной галерее мы могли посвятить лишь немного времени, меньше, чем она заслуживает. Там есть портрет мадам де Ла Вальер⁴, раскаявшейся любовницы Людовика XIV. Она печальна, но замечательно красива и изображена перед распятием, с черепом в руке, бледная, глаза опущены.

Затем мы отправились в большой дворец. Его залы не обставлены, но даже при этом великолепнее, чем в Фонтенбло. Они отделаны мрамором различных цветов, основания и капители колонн вызолочены, потолок тоже раззолочен и украшен живописью. Правда, в этом убранстве есть нечто изнеженное и королевское. Если бы греческий зодчий располагал теми деньгами и рабочей силой, какие были затрачены на Версаль, он создал бы нечто, еще невиданное в целом мире. Мы осмотрели зал Геракла и балкон, с которого король и королева показывались парижской толпе. Люди, которые водили нас по дворцу, упорно не хотели говорить о Революции. Мы даже не смогли добиться, в какой из комнат дворца застигли короля восставшие 10 августа⁵. Видели мы и Оперный зал, где теперь собраны портреты королей. Принцы Орлеанского дома, исключая Эгалите⁶, все очень красивы. Есть портрет мадам де Ментенон⁷, а подле нее — прелестная маленькая девочка, дочь Ла Вальер. Во время Революции портреты были спрятаны. Мы осмотрели также библиотеку Людовика XIV. Библиотекарь в свое время занимал какую-то должность при дворе Марии-Антуанетты. Он возвратился вместе с Бурбонами и теперь ожидает лучшего назначения. Он показал нам книгу, которую сберег во время Революции. Это — книга гравюр, изображающих турнир при дворе Людовика XIV; нынешнее жалкое состояние Франции, ярость оскорбленного народа и страшные дела, которые он совершил, мстя за долгие годы мук, были естественным следствием безумного расточительства вроде подобных турниров. Пустые покои дворца символизируют пустой и поганой блеск монархии. Осмотрев все это, мы поехали в направлении Гавра, а переночевали в Оксерре.

Среда, 4. Проехали через Руан и осмотрели собор — образчик великолепнейшей готики. Внутренность собора разочаровывает. Видели также гробницы Ричарда Львиное Сердце⁸ и его брата. Мраморный алтарь очень красив. Ночевали в Ивето.

Четверг, 5. Прибыли в Гавр и ждем пакетбот. Ветер противный,

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВИТЬ РЕФОРМУ НА ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Составлено Отшельником из Марло

Вся страна озабочена одним большим вопросом, решать который не вправе один человек или одна партия; и как он будет решен — предвидеть невозможно. Между тем от решения его зависит — быть нам рабами или свободными людьми.

Нет нужды повторять здесь все, что было сказано о реформе. Все согласны, что палата общин не представляет Народ. Остается решить, должен ли Народ сам издавать законы или же подчиняться законам и платить непосильные налоги, вводимые постановлениями собрания, которое представляет менее одной тысячной всей нации. Я считаю, что такие законы и такие налоги несправедливы. Только в доме умалишенных могла бы разыгаться та мрачная комедия, какую сейчас играет наша великая нация; когда один человек отнимает у тысячи своих ближних все их достояние путем угроз и обмана, а потом топчет и презирает их, хотя бы он был жалким выродком, а у них была и сила в руках, и мужество в сердце. Подобное политическое устройство вызывает величайшее негодование и гнев.

Прерогативы парламента осуществляются с полным пренебрежением к Народу; по всем законам человеческой природы, эти прерогативы несут ему одни лишь беды и горе. Люди стремятся сделать рабами тех, кого они презирают, чтобы их приниженность служила оправданием презрению. Целью реформаторов является возвращение Народу власти, которая сейчас служит для его унижения. Такова и моя цель, иначе я сейчас молчал бы.

Подчинение бывает иной раз добровольным. Быть может, Народ сам хочет рабства; быть может, он по собственной воле пребывает в унижении, невежестве и нужде; быть может, он признает лишь одного бога — привичку и, повинувшись ей, готов дрожать от холода и чахнуть от голода, лишь бы не отречься от этого кумира; быть может, большинство Народа решит, что не желает быть представленным в парламенте и не лишит

власти тех, кто довел его до нынешнего жалкого состояния. Если такова его воля — то это его дело. Если таково будет его решение, тогда борцам за права человека и всем, кто сострадает людским бедам и заблуждениям, надлежит молча удалиться и ждать, пока Народ не образумится под гнетом своих страданий.

Сейчас как раз и следует выяснить, желает ли большинство взрослого населения Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии быть полностью представлено в своем Законодательном Собрании.

Я не сомневаюсь, что воля его именно такова, и так думает большинство людей, знакомых с общественным мнением. Однако прежде чем действовать, надобно окончательно в этом убедиться. Если большинство взрослого населения торжественно заявит о своем желании избрать представителей, которые и составят палату общин, это положит конец всем спорам. К парламенту надо тогда обратиться с требованием — а не с петицией, — чтобы он принял действенные меры для выполнения народной воли; а если парламент откажется, ответственность за последствия целиком ляжет на его дерзостный отказ. Это будет значить, что парламент восстал против Народа.

Если большинство взрослого населения, будучи опрошено, решит на любых, пускай и ошибочных, основаниях, что новшества парламентской реформы будут большим злом, нежели следствия дурного управления, которое сейчас узаконено конституцией, нам подобает умолкнуть; мы сами будем виновны в преступлении, которое я условно приписал палате общин, если, невзирая на то, что народное волеизъявление одобрит нынешнюю систему, будем, посредством созыва собраний или любых иных действий, подстрекать меньшинство к нарушению этой воли.

Итак, первым шагом к реформе должно быть выяснение воли Народа. Для этой цели я считаю наилучшим следующим план:

Пусть в таверне «Корона и якорь»¹ такого-то месяца такого-то числа будет назначено собрание, чтобы найти наиболее верный способ установить, отвечает ли парламентская реформа желанию большинства Английской Нации.

Пусть наиболее красноречивые, наиболее достойные и заслуженные из числа друзей свободы употребят весь свой авторитет и талант, убеждая людей забыть всякую вражду и даже оставить на время все вопросы, по которым имеются расхождения; и, заклиная их, во имя любви к страждущей родине, сделать все для установления главного — желает ли Народ парламентской реформы или нет.

Пусть сторонники реформы по всей стране последним и решающим усилием добьются ответа на вопрос, который положит конец их опасениям или надеждам; пусть все, кто может, направляются в Лондон, а кто не может, — но чувствует, что мог бы принести пользу своим талантом, — пусть письменно изложит свои взгляды председателю собрания; пусть эти письма будут прочитаны вслух и пусть все вообще ведется открыто.

Пусть собранию будет предложена резолюция примерно следующего содержания:

1. Все, считающие, что Британский Народ должен требовать такой реформы палаты общин, которая сделала бы эту палату подлинной выразительницей народной воли, и что Народ имеет право этот свой долг выполнить, собрались на настоящее собрание для выяснения, действительно ли большинство Народа хочет выполнить этот долг и осуществить это право.

2. Население Великобритании и Ирландии должно быть разделено на триста округов с равным числом жителей в каждом²; тремстам специально назначенным лицам должно быть поручено лично посетить каждого человека в округе и спросить его, согласен ли он подписать декларацию, изложенную в пункте третьем, призывая его добавить к подписи любое объяснение или изложение своих взглядов, какое он пожелает. Декларация должна быть следующего содержания:

3. Поскольку палата общин не выражает воли Британского Народа, мы, нижеподписавшиеся, заявляем и собственноручными подписями скрепляем наше глубокое убеждение, что свобода, счастье и достоинство великой нации, принадлежностью к которой мы гордимся, находятся под угрозой и пришли в упадок вследствие порочной и несправедливой системы выборов в палату общин; поэтому мы перед богом и нашей страной заявляем, что если окажемся в меньшинстве, будем считать своим долгом подавать петиции; если же окажемся в большинстве, то будем требовать, чтобы палата осуществила реформы, которые сделают ее членов подлинными представителями нации.

4. Собрание не должно быть распушено, пока во всех подробностях не решат, как лучше всего узнать волю Народа относительно парламентской реформы.

5. Настоящее Собрание отрицает всякую, даже отдаленную, причастность к революционным беспорядкам, которые несправедливо приписываются друзьям реформы, и заявляет, что намерено действовать исключительно конституционными средствами.

6. Для покрытия расходов на эту кампанию следует объявить подписку.

В только что приведенном «Проекте Резолюций» для «Общенационального Собрания Друзей Реформы» я намеренно избегал подробностей. Если окажется, что я позволил себе что-либо подсказывать людям, заслужившим популярность личными жертвами и умственным превосходством, с которыми я не смею равняться, пусть они сами разработают все предложения, касающиеся великого дела свободы, вскормленного (и это едва ли метафора) их потом, кровью и слезами; одни лелеяли его в тюрьме, другие ради него терпели голод, и все оставались ему верны, несмотря на клевету и гонения, не боясь преследований правительства, — так пусть же они завершат то, что начали.

Поэтому я упомяну лишь об одном обстоятельстве, касающемся практической части моего предложения. Осуществление его неизбежно потребует значительных расходов, для покрытия которых понадобится сбор средств. Я располагаю доходом в тысячу фунтов в год, который трачу на приличное содержание жены и детей, а также на обязательную для каждого помощь нуждающимся. Если вы решите осуществить план, подобный предложенному мною, я внесу на эти цели 100 фунтов, т. е. десятую часть годового дохода; впрочем я не настолько полон самомнения, чтобы полагать, что останусь в одиночестве, как только какой-либо разумный план, направленный ко благу общества, получит одобрение достойных людей, посвятивших себя этому благу.

Для успеха дела необходимо единение искренних друзей реформы. Сторонники всеобщего или ограниченного избирательного права, одногодичных или трехгодичных парламентов должны договориться по этим спорным для них вопросам, если окажется, что Народ желает того, на чем все они сходятся.

Обсуждать, какая реформа нам нужна, — пустое занятие, пока еще не ясно, будет ли она вообще.

В ожидании этого мне остается только ясно изложить собственные свои взгляды на реформу. Это — нечто особое, не связанное с моими предложениями, и я подожду бы высказываться, пока не пришлось подписываться под заявлением, вроде предложенного мною выше, если б не возникающий естественно вопрос — каково личное мнение человека, вносящего такие предложения; а на него нельзя ответить точнее и лучше, как изложив это мнение здесь. Мне думается, что одногодичный парламент следует ввести немедленно, ибо это — мера, направленная к свободе и счастью народа. Она разовьет в людях ту активность, которая необходима гражданину свободной страны, законному стражу ее благополучия, для исполнения своего гражданского долга. Она приучит людей к свободе, сделав привычными те формы, в которых она осуществляется. Политические учреждения несомненно способны к усовершенствованию, какое никому не мыслится возможным, пока огромное большинство людей пребывает в той приниженности, до какой их довели вопиющие пороки нынешней системы правления. Самый верный путь к этим благодетельным переменам — постепенность и осторожность; иначе вместо порядка и свободы, попираемых ныне, по мнению друзей реформы, у нас воцарится анархия и деспотизм. Итак — я всецело поддерживаю одногодичный парламент. Не стану приводить общих доводов в его пользу, с которыми мистер Коббет и другие авторы уже познакомили наше общество.

Что касается всеобщего избирательного права, то я признаю, что при нынешней неподготовленности общественного мнения считаю его введение чреватым опасностями. Я полагаю, что в настоящее время посылать представителей в парламент должны только те, кто платит хотя бы минимальную сумму прямого налога³. Немедленно распространив избиратель-

ные права на все взрослое мужское население, мы дали бы власть в руки людей, которых вековое рабство сделало грубыми, тупыми и свирепыми. Мы предположили бы тем самым, что качеств, отличающих демагога, достаточно для законодателя. Я признаю неопровержимость доводов майора Картрайта⁴: теоретически каждый человек имеет право участвовать в управлении страной. Однако столь же неопровержимы и доводы мистера Пейна⁵: республика, как легко и очевидно можно доказать, является такой общественной системой, которая лучше всего обеспечивает счастье и истинное величие человека. И все же ничто не было бы безрассуднее и не принесло бы меньше добра, нежели отмена в нашей конституции королевской власти и аристократии, прежде чем общество постепенно достигнет той зрелости, когда сможет отбросить эти символы своего младенчества.

Мы жалеем об оперении,
забывая об умирающей птице¹.

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ ПРИНЦЕССЫ ШАРЛОТТЫ

Написано Отшельником из Марло

I. Принцесса Шарлотта скончалась. Она недвижима и бесчувственна. Она безжизненна, как земля, в которой ее погребут. Страшно подумать, что она стала трупом, а всего несколько дней назад была полна жизни и надежд — что молодая, невинная и прекрасная женщина внезапно вырвана из семейного круга, оставив ту пустоту, которую всегда оставляет после себя умерший.

II. Вот то общее, что смерть Принцессы Шарлотты имеет со смертью многих тысяч людей. Сколько женщин умирает в родах, обрекая детей на сиротство, а мужей — на безрадостное существование, омраченное тяжкой потерей. Сколько женщин, полных неутомимой доброты, кротких, любящих и мудрых, чья жизнь объединяла их близких, воплощая для них счастье и согласие, а оборвавшись, обездолила их навсегда, — сколько их умерло и было оплакано с тоской, какую не выразить словами! Иные умирали в нищете и позоре, и их осиротевшее дитя оказывалось среди чужих, брошенное и презираемое. Мужья сидели у изголовья умирающих жен и теряли рассудок от горя, слыша жуткий предсмертный хрип, kloкотавший в их груди, а розовый младенец спал между тем на коленях у равнодушной няни. В отчаянии вглядывался муж в лицо врача, читая там ясно написанный приговор. Все это было и есть. Вы весело проходите по улицам нашего великого города, не задумываясь над тем, что подобные сцены разыгрываются вокруг вас. Вы не считаете, сколько матерей умирает от родов. А это самая страшная из смертей. К больному, к старцу, к воину на поле битвы смерть приходит как бы к себе домой; но в пору радости и надежд, когда должна появиться на свет новая жизнь, и собравшаяся семья ожидает нового члена, самого младшего и самого любимого — чтобы вдруг умирала жена, мать, та, что своей любовью объединяла их всех! И однако такова участь тысяч беднейших из бедных, для которых горе еще усугубляется многим, о чем здесь говорить неуместно. А разве у них нет привязанностей? Разве у них не бьются сердца, не льются слезы

из глаз? Разве они не такие же люди? Однако никто их не оплакивает — никто о них не крушится — и когда их гробы опускают в могилу (если только у прихода хватает гробов), никто не предлагает погрузиться в скорбь.

III. У афинян существовал хороший обычай отмечать общественным трауром смерть тех, кто укрепил мощь республики своей отвагой и мудростью или прославил ее гениальными творениями. Вообще это хорошо, что люди оплакивают умерших; это доказывает, что мы способны любить не одних себя; и жестокое должен иметь сердце тот, кто видит смерть близкого человека и без волнения провожает его в «безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам»². А оплакивать тех, кто с пользой послужил родине, — благородный долг, еще более способствующий воспитанию лучших чувств человека. Когда умер Мильтон, всему английскому народу следовало облачиться в черное и во всех городах должен был бы раздаваться зауспокойный звон. Французам надлежало объявить траур, когда скончались Руссо и Вольтер. Мы не в состоянии искренне скорбеть о каждом умершем за пределами круга наших близких. Но кончина любимцев народа, заслуживших его восхищение и признательность, — это для каждого человека есть нечто такое, что вторгается в близкий ему круг. Хорошо было бы также, чтобы траур объявлялся не только по умершим, но и по случаю всякого общественного бедствия, постигшего страну или весь мир. Это способствовало бы укреплению той связи человека с человеком и со всеми людьми, на которой покоится жизнь общества. Общим трауром следовало бы отмечать те события, о которых все честные люди скорбят в душе: произвол иноземных или отечественных тиранов, злоупотребление общественным доверием, перетолковывание почтенных старых законов ради того, чтобы казнить невинных, преследование людей, составляющих цвет нации, за их преданность народному благу. Так, если бы Хорн-Тук и Харди³ были признаны виновными в государственной измене, надо было бы, чтобы негодование и скорбь не только наполнили все сердца, но и нашли внешнее выражение. А когда была уничтожена Французская Республика, весь мир должен был бы погрузиться в траур.

IV. Нельзя, однако, попусту взывать к чувствам людей; нельзя растрачивать по недостаточным поводам благотворные слезы, которые льются при общем трауре. Ими следует отмечать только самые тяжкие бедствия, только те, что воспринимаются как таковые всеми печальниками о благе родины и всего человечества; это должно быть бедствие общее, а не частное.

V. Известия о смерти Принцессы Шарлотты и о казни Брандрета, Ладлама и Тернера пришли почти в одно время. Если бы красоты молодости,

обаяния невинности и семейных добродетелей было довольно для объявления общественного траура, смерть принцессы вполне его заслужила бы. Она была последней в роде и самой лучшей. Однако тысячи других, не менее ее наделенных личными достоинствами, тоже гибнут во цвете лет. Случайность ее рождения ничего не прибавляет к ее добродетелям и не делает ее кончину более прискорбной. Принцесса не сделала обществу ни добра, ни зла; воспитание лишило ее способности как к тому, так и к другому. Она родилась принцессой; а те, кто рожден править людьми, не обязаны приобретать даже ту толику знаний и опыта, какие необходимы, чтобы управлять самим собою. Это не была леди Джен Грей⁴, или королева Елизавета⁵ — женщины глубокой и разносторонней образованности. Она ничего не свершила, ни к чему не стремилась и ничего не ведала о политических вопросах, от которых зависело счастье ее будущих подданных. Но это говорится не в осуждение, а скорее сочувственно; не будем говорить дурно о мертвых. В том и состоит несчастье и беспомощность королей, что им уже с колыбели не дают стать такими, чтобы они могли заслужить лучшую из всех наград — после чистой совести — награду народной любви и скорби.

VI. Казнь Брандрета, Ладлама и Тернера является событием совсем иного рода. Этих людей долгие месяцы держали в мрачной темнице под угрозой страшной смерти и вечных мук ада, а затем привели на эшафот и повесили. У них тоже были семейные привязанности, и все они были людьми высоких личных достоинств. Быть может, вследствие их низкого положения эти привязанности развились в них с такою силой, какая не подобает более высокому рангу. У них были сыновья и братья, сестры и отцы, которые, вероятно, любили их больше, чем могли любить принцессу Шарлотту те, кого придворный этикет постоянно держал от нее на расстоянии. Муж заменил ей и отца, и мать, и братьев. А Ладлам и Тернер были людьми зрелых лет, и их привязанности успели созреть и окрепнуть. Не стану говорить о том, что испытывали страдальцы. Но каковы были долгие и страшные терзания их близких, можно судить по Эдварду Тернеру, который, увидя, как его брата тащат к эшафоту, дико закричал, забился в припадке и был унесен без чувств. Каков был их ужас в тот день, когда, сидя в одиночестве, они услышали многоголосый вопль, возвестивший, что дорогая им голова отделена от тела! Да, они слышали страшный крик, который испустили зрители; они слышали топот десяти тысяч ног, крики и улюлюканье, по которым поняли, что в эту минуту палач показал толпе изуродованную голову. Страдальцы погибли. Что такое смерть? Кто осмелится сказать, что ждет нас за гробом? *

«Значит у твоей смерти есть глаза во лбу, хоть я и никогда не видел, чтобы ее изображали зрячей»⁶.

Брандрет был спокоен и, очевидно, думал, что за этой великой чертой наступает конец всем земным заблуждениям. Ладлам и Тернер боялись, что бог ввергнет их в вечный огонь. Мистер Пикеринг, священник, очень старался, чтобы Брандрет в своей ложной успокоенности не потерял единственного шанса примириться с владыкой потустороннего мира. Никто не знал и не мог знать, что такое смерть. И все же этих людей решились ввергнуть в бездонную пропасть; и это сделали другие люди, знавшие столь же мало и не подумавшие о нынешних или грядущих страданиях своих жертв. Нет ужаснее дела, чем лишить человека жизни за что бы то ни было. От всех других бед есть лекарство или утешение. Когда сила, дарующая жизнь, сама отнимает ее у человека, мы горюем и плачем; но это — бремя, которое надо нести, и скорбь, которая облагораживает душу. Но когда один человек проливает кровь другого, за этим тянется цепь мести и ненависти, казней, убийств и преследований, которой не видно конца.

VII. Таковы некоторые соображения, касающиеся смерти этих людей. Как бы ни было печально такое событие, оно еще не было бы поводом для общественного траура, будь оно только событием частным. Но здесь мы видим нечто большее. Обстоятельства, приведшие к гибели этих несчастных, являются именно общественным бедствием. Я не стану обвинять присяжных, признавших их виновными в государственной измене; быть может, закон велит называть их проступок именно так. Несомненно, надо чем-то сдерживать безрассудных, которые думают бороться с насилием посредством насилия, пусть даже угнетатели и довели их до этой крайности, принесшей им гибель. Они всего лишь — орудия зла, менее виновные, чем руки, пустившие их в ход, но тоже внушают опасения. И все же их казнь через повешение и отсечение головы и все обстоятельства, какие она собой завершает, являются бедствием, которое английский народ должен оплакивать с неутешной скорбью.

VIII. Во все времена короли и их министры отличались от прочих людей расточительностью и кровожадностью. До американской войны⁷ в нашей стране существовало, пусть слабое, но все же препятствие, которое сдерживало эту прискорбную склонность. Вплоть до провозглашения американской республики Англия была, вероятно, самой свободной и славной страной на свете. Она была не всем, чего можно желать, но всем, что было возможно при отсутствии самоуправления. И все же этот коренной порок не замедлил сказаться. Правительство, состоявшее, вследствие несовершенства нашего выборного органа, из кучки аристократов, усиленно прибегало к придуманным еще министрами Вильгельма III⁸ займам, обеспечиваемым будущими налоговыми поступлениями, и накопило таким образом огромный долг. Это продолжалось и во время войны против Фран-

цузской Республики, так что сейчас одни только проценты по национальному долгу более чем вдвое превышают расходы казны на содержание постоянной армии, королевской фамилии, получателей правительственных пенсий и обладателей выгодных синекур. Следствием этого долга является столь неравномерное распределение жизненных благ, что оно подрывает все общественное устройство.

Вместо одной аристократии, уже достаточно обременительной, появились две, и вдвое больше людей получило возможность жить в роскоши и праздности за счет трудолюбивых бедняков. И это достается им не за особую мудрость или заслуги по сравнению с другими, не потому, что свой досуг они посвящают работам об общественном благе или той работе разума и воображения, плоды которой облагораживают и украшают страну. В отличие от старой знати, это вовсе не люди чести, *sans peur et sans tache* *, но ничтожные, жалкие рабы, ставшие кредиторами общества либо с помощью биржевой игры, либо прислуживаясь к власти имущим, либо еще какой-нибудь подлостью. Это не «коринфские капители, украшающие общественное здание»⁹, а мелкие ползучие растения, которые портят его красоту.

В результате этой системы поденщик зарабатывает теперь за шестнадцать часов ежедневного труда не больше, чем прежде зарабатывал за восемь. Я выражаю суть дела наиболее простым и наглядным способом. Работник, тот, кто тклет сукно, из своего заработка, который он должен бы приносить жене и детям, платит за роскошь и комфорт для тех, кто получает с английского народа сорок четыре миллиона годовых. Прежде он содержал армию, получателей правительственных пенсий, королевскую фамилию и землевладельцев; и этой жестокой необходимости приходилось покоряться. Много бед порождается угнетением, но вот беда, как бы воплощающая их все, — когда один человек вынужден работать на другого, причем не только ради поддержания существующих общественных различий, но так, что несправедливость эта подтачивает самые основы всего лучшего в жизни общества и порождает анархию, являющуюся одновременно и врагом свободы, и детищем дурного правления, и возмездием за него. Балансируя на краю двух пропастей, страна устала от постоянных опасностей, унижений и бедствий, отсюда проистекающих; общественное мнение громко потребовало свободного народного представительства. Стало ясно, что никакой другой орган управления не сможет справиться с положением. Никто, кроме самого народа, не смеет решать вопрос: надо ли вечно выплачивать эти ежегодные сорок четыре миллиона, сверх необходимых расходов на содержание государства. Атмосфера изменилась к лучшему; в людях возродились свободолюбие, патриотизм и неразлучное с этими высокими чувствами самоуважение. Правительство оказалось в самой отчаянной крайности.

* Бесстрашные и незапятнанные (франц.).

IX. В промышленных районах Англии недовольство и брожение царили уже много лет. То было следствием правления двух аристократий, порожденного упомянутыми выше причинами. У рабочих, этих илотов роскоши, нынешняя система отнимает хлеб, привязанности, здоровье, досуг и все возможности просвещения, которые могли бы отвлечь их от пьяного буйства, порождаемого нуждой и неуверенностью в завтрашнем дне. Тут было широкое поле для любого авантюриста, который ради каких-либо целей захотел бы подстрекнуть темных людей к незаконным бесчинствам. Как только стало ясно, что требование народного представительства придется удовлетворить, если только не создать против него предубеждения, составилась гнусный заговор. Нам не дано знать, насколько высшие правительственные сферы ответственны за деяния своей дьявольской агентуры¹⁰. Нам не дано знать, сколько было этих агентов и как именно они действовали и какими призрачными надеждами продолжают завлекать невежественных людей в петлю и на плаху. Известно одно: едва только страна громко потребовала парламентской реформы, как появились провокаторы. Их завербовали среди самых презренных и преступных подонков общества и подослали к голодным и неграмотным рабочим. Этим людям было поручено создавать беспорядки там, где их не было. Им было поручено находить жертвы, быть то невинные или виновные. Им было поручено создать впечатление, будто при любой успешной попытке добиться свободы или уменьшить гнетущее нас бремя долгов и налогов голодающая толпа подымется и сокрушит всякий порядок, все различия, все установления и законы. Им надлежало вооружить правительство выводом, что деспотизм должен быть сохранен навечно. Чтобы укрепить в наших умах это благотворное убеждение, они втянули нескольких невинных и ничего не подозревавших поселян в преступление, караемое страшной смертью. Кучка голодных и невежественных рабочих, соблазненных пышными обещаниями этих бессовестных торговцев кровью, подняли то, что называется мятежом. А все уже было наготове, и восемнадцать драгун отвели изумленные жертвы в тюрьму, откуда они попали прямо в руки палача. Жестокие подстрекатели ретировались, получив жирный куш, заработанный подлостью. Общественный протест был заглушен голосами пугливых себялюбцев, которые бросили на чашу весов свой страх; и парламент снова облек исполнительную власть чрезвычайными полномочиями, которые, может статься, так и не будут отменены, разве лишь в результате кровопролития или по решению законного правительства, представляющего нацию. Мы, следовательно, стоим перед выбором: деспотизм, революция или реформа.

X. 7 ноября Брандрет, Тернер и Ладлам взошли на эшафот. Мы меньше сочувствуем Брандрету, ибо он, по-видимому, убил человека. Но вспомним, кто подстрекал его к действиям, приведшим к убийству. Перед смертью Брандрет сказал, что «до этого его довел Оливер», что

«если бы не Оливер, он сейчас не был бы здесь». А Ладлам и Тернер с сыновьями, братьями и сестрами стояли на коленях и в ужасе молились. Они видели перед собою ад и содрогались от страха, чтобы неискупленные грехи не обрекли их на вечный огонь. В предвидении этой страшной кары, которая служит порукой его правдивости, Тернер громко и внятно произнес, пока палач надевал ему петлю на шею: ЭТО ВСЕ ОЛИВЕР И ПРАВИТЕЛЬСТВО. Мы не узнаем, что еще он сказал бы, ибо священник не дал ему продолжать. Конные солдаты, сверкая обнаженными саблями, отгородили его от толпы, собравшейся на это возмутительное зрелище. «При стуке топора зрители испустили крик ужаса. Когда толпе показали отрубленную голову, она с воплями разбежалась, точно охваченная внезапным безумием. Оставшиеся на месте громко стонали и кричали» *. Если мы даем править над собою людям, которые, из каких бы то ни было побуждений, способны поощрять заговор, достигающий цели ценою такого кровопролития и таких страданий, — это национальное бедствие. Если целью этой является уничтожение наших прав и свобод и нам не остается иного выбора, кроме анархии или бесправия; если правители наши лгут, видя, что ошеломленная страна избирает второе; если они содержат огромную постоянную армию и из года в год увеличивают национальный долг, который, как им известно, выплатить невозможно и который, когда рассеется заблуждение, принесет всем слоям общества столько же смятения и горя, сколько уже сейчас приносит нужды и унижений беспомощным беднякам; если они чернят клеветой и бросают в тюрьму, по своему произволу, всех, кто пытается их обвинить, — то как же нам не скорбеть?

XI. Скорби же, Английский Народ. Оденься в траур. Звони в погребальные колокола. Размышляй о бренности и скоротечности всего сущего. Ищи уединения и мрака, чтобы там предаваться священной печали. Выражай свою скорбь как только можешь. Плачь — стеной — сокрушайся. Оглашай великую Столицу и бескрайние поля рыданиями и жалобами. Скончалась прекрасная Принцесса — та, кому предстояло стать Королевой любимого ею народа и чьи потомки должны были править здесь вечно. Она любила семейные радости; она ценила искусства, которые украшают жизнь, и отвагу, которая ее защищает. Она была добра и стала бы мудрой; но она была молода, и смерть похитила ее в расцвете юности. Умерла СВОБОДА. Раб! Не смей вторгаться с иными, ничтожными печальями в нашу глубокую и торжественную печаль. Если умерла та, которая, подобно Свободе, была молода, невинна и прекрасна и, подобно ей, должна была править нашей страной, знай, что ее смерть наступила по соизволению бога, и это горе касается лишь немногих. А Свободу убили люди, и пока жизнь вытекала из ее ран, все умы и все сердца ощутили это

* Описание взято из «Экзаминара» от воскресенья 9 ноября.

роковое несчастье. На нас давят оковы, которые тяжелее железных, ибо они сковали нам души. Мы томимся в темнице, более страшной, чем сырые и тесные стены, ибо полом ей служит земля, а кровлю — небо. Давайте же проводим благоговейно в могилу останки Британской Свободы. И если явится вдруг лучезарное Видение и воздвигнет свой трон на обломках мечей и скипетров и на сброшенных в прах королевских венцах, скажем себе, что это восстал из могилы Дух Свободы, оставив там брениую смертную оболочку; и преклоним колена и провозгласим ее нашею Королевой.

О ЖИЗНИ

Жизнь и весь мир — или как бы мы ни называли свое бытие и свои ощущения — вещь удивительная. Чудо существования сокрыто от нас за дымкой обыденности. Нас восхищают иные из его преходящих проявлений, но самым большим чудом является оно само. Что значат смены правлений и гибель династий вместе с верованиями, на которых они покоились? Что значит появление и исчезновение религиозных и политических доктрин в сравнении с жизнью? Что значит полет нашей планеты в пространстве и все превращения составляющих ее веществ в сравнении с жизнью? Что такое вселенная звезд и солнц, к которым принадлежит и наша земля, что такое их движение и их судьба в сравнении с жизнью? Жизнь, этим величайшим из чудес, мы не восхищаемся именно потому, что она — чудо. И это хорошо, что привычность этого одновременно столь несомненного и столь загадочного феномена защищает нас от изумления, которое иначе поглотило бы и подавило жизнедеятельность того самого живого существа, в котором жизнь проявляется.

Если бы солнце, звезды и планеты не существовали бы, а художник только вообразил их себе и потом представил нам словами или красками на холсте то самое зрелище, какое еженощно предстает нам в ночном небе, и разъяснил его как мудрый астроном — наше изумление было бы безмерно. Если бы он вообразил пейзажи нашей земли, горы, моря и реки, траву и цветы, все разнообразие форм лесных листьев, краски восхода и заката, цвета неба, ясного или грозового, а всего этого в действительности не было бы, мы бы поразились, а о художнике можно было бы справедливо сказать¹: «Non merita nome di creatore, sennon Iddio ed il Poeta»*.

Сейчас мызираем на природу без удивления, а если кто при виде ее испытывает восторг, это почитается за признак особо утонченной, исключительной натуры. Большинство людей не обращает на нее внимания. Так же и с Жизнью — которая все объемлет.

Что же такое жизнь? Вольно или невольнo в нас рождаются мысли и чувства, и мы выражаем их словами. Мы рождаемся, но не помним своего рождения, а детство помним лишь отрывочно; мы живем и, живя, теряем ощущение жизни. Тщетно было бы надеяться, что в тайну нашего бытия

* «Никто не заслуживает называться творцом, кроме Бога и Поэта» (итал.).

можно проникнуть словами! Если умело ими пользоваться, они могут лишь раскрыть нам наше неведение; впрочем, и это уже немало. Ибо что мы такое? Откуда мы и куда уходим? Должно ли считать рождение началом, а смерть — концом нашего существования? И что такое рождение и что такое смерть?

Утонченные логические абстракции ведут к такому восприятию жизни, которое хотя и поражает поначалу, но является именно тем, что приглушено в нас привычностью и повторением. Оно как бы срывает с жизненной сцены разрисованную завесу. Признаюсь, что принадлежу к тем, кто не может отказаться в признании философам, утверждающим, что все существует лишь постольку, поскольку воспринимается.

Правда, против этого восстают все наши ощущения, и нас долго приходится убеждать, что весь прочный мир создан «из вещества того же, что наши сны»². Поразительные нелепости общепринятой философии, разделяющей мир на дух и материю, ее роковые последствия для нравственности и ее фанатичный догматизм в вопросе о первопричине всего сущего в ранней юности привели меня к материализму. Материализм соблазнителен для молодых и поверхностных умов. Он позволяет своим adeptам говорить и избавляет их от необходимости думать. Но меня не удовлетворила предлагаемая им картина жизни; человеку свойственны высокие стремления, он «смотрит и вперед, и назад»³, его «мысли объемлют вечность», он не хочет признать себя недолговечным и тленным, не может себе представить небытие; он существует только в будущем и в прошедшем, будучи не тем, что он есть, но тем, чем он был и будет. Каково бы ни было его истинное и конечное предназначение, в нем живет дух, враждующий с небытием и уничтожением. Такова всякая жизнь. Каждый представляет собой одновременно и центр, и окружность; ту точку, где все сходится, и ту черту, которая все объемлет. Эти рассуждения равно противоречат и материализму, и общепринятой философии духа и материи; это совместимо лишь с интеллектуальной философской системой.

Было бы нелепо приводить здесь пространные доводы, уже достаточно знакомые тем любознательным умам, к которым одним только и могут обращаться философские сочинения. Вероятно наиболее ясное и красноречивое изложение интеллектуальной философии содержится в «Академических вопросах» сэра Вильяма Драммонда⁴. После такого изложения тщетно было бы пытаться пересказать другими словами то, что при этом неизбежно проиграло бы в силе и точности. Самые взыскательные умы не смогли найти в ходе его рассуждений ничего, что не вело бы неуклонно к уже высказанному нами заключению.

Что же из него следует? Оно не устанавливает какой-либо новой истины и не проливает нового света на сокровенную сущность человека или ее проявления. Философии, как бы ни стремилась она поскорее построить систему, предстоит еще много предварительной работы по рас-

чистке вековых зарослей. К этой цели она уже сделала шаг: она разрушает заблуждение и его корни. При этом она оставляет то, что слишком часто вынужден оставлять всякий реформатор в области политики и нравственности, а именно — пустоту. Она возвращает уму ту свободу, какою он мог бы пользоваться, если бы не злоупотребление словами и знаками, им же самим созданными. Говоря «знаки», я имею в виду широкое понятие — и то, что обычно разумеют под этим словом, и то, что называю им я. В этом смысле знаками являются почти все знакомые нам предметы, обозначающие не самих себя, а нечто иное, ибо они способны вызывать мысль, влекущую за собой целую цепь других мыслей. Вся наша жизнь является, таким образом, упражнением в заблуждениях.

Вспомним наши ощущения в детстве. Каким ясным и острым было тогда наше восприятие мира и самих себя! Нам было важно многое в общественной жизни, что сейчас уже нас не волнует. Но я имею в виду даже не это сравнение. В детстве мы меньше отделяем наши впечатления и ощущения от нас самих. Все это составляет как бы единое целое. В этом отношении некоторые люди навсегда остаются детьми. Людям, склонным к мечтательной задумчивости, кажется, будто они растворяются в окружающем мире или мир поглощается ими. Они не ощущают границы между тем и другим. Такое состояние предшествует или сопутствует особо острому и живому восприятию или же следует за ним. Становясь взрослыми, люди обыкновенно утрачивают эту способность и приобретают механические привычки. Таким образом чувства, а затем и рассуждения являются результатом множества смутных мыслей и ряда так называемых впечатлений, укореняющихся при повторном восприятии.

Взгляд на жизнь, вытекающий из тонкой философии интеллектуализма, отличается единством. Ничто не существует, если не воспринимается чувствами. Различие между двумя видами мысли, которые принято называть идеями и предметами внешнего мира, является чисто номинальным. Продолжая это рассуждение, мы обнаружим, что и мысль о существовании множества отдельных сознаний, подобных моему, которое сейчас размышляет над самим собою, также является заблуждением. Слова Я, ВЫ, ОНИ не выражают каких-либо подлинных различий между обозначаемыми таким способом идеями; это — всего лишь знаки, принятые для указания на различные модификации единого сознания.

Не следует думать, будто это учение ведет к чудовищной претензии на то, чтобы мне одному, сейчас пишущему и размышляющему, быть этим сознанием. Я — всего лишь частица его. Слова Я, ВЫ и ОНИ — всего лишь грамматические термины, придуманные для удобства и не содержащие того глубокого и исключительного смысла, какой им придают обычно. Трудно найти слова для выражения столь глубокой концепции, какова концепция интеллектуальной философии. С нею мы достигаем

той грани, где слова покидают нас, и неудивительно, что при взгляде в темную бездну нашего неведения у нас кружится голова.

В любой философской системе соотношение объектов остается неизменным. Под объектом разумеется всякий предмет мысли, т. е. всякая мысль, относительно которой возможна другая мысль, осознаваемая как отдельная от нее. Отношения их остаются неизменными; они и составляют предмет нашего познания.

Где же источник жизни? Откуда она взялась и какие посторонние по отношению к ней силы действовали или действуют на нее? Все известные истории поколения мучительно придумывали ответ на этот вопрос; и итогом была — Религия. Между тем ясно, что в основе всего не может лежать дух, как утверждает общепринятая философия. Насколько нам известно из опыта — а вне опыта сколь тщетны все рассуждения! — дух не способен творить, он способен лишь постигать. Нам говорят, что он-то и есть первопричина. Но причина — всего лишь слово, обозначающее известный взгляд человека на способ, каким соотносятся между собой два явления. Насколько неудовлетворительно решает этот великий вопрос общепринятая философия — в этом может убедиться каждый; ему достаточно без предубеждения проследить, как развивается мысль в собственном его сознании. Совершенно невероятно, чтобы источник сознания, т. е. существования, был тождествен самому сознанию.

О ЛЮБВИ

Что такое любовь? Спроси живущего, что такое жизнь. Спроси молящегося, что такое бог.

Я не знаю, что скрыто внутри у других людей, даже у тебя, к которой сейчас обращаюсь. Я вижу, что некоторыми внешними чертами люди эти похожи на меня; но когда, обманутый этой видимостью, я решался воззвать к чему-либо общему для всех нас и раскрывал им свою душу, оказывалось, что я говорю на непонятном для них языке, словно очутился в далекой и дикой стране. Чем больше опыта я приобретал, тем больше становилось расстояние между нами и тем дальше отходило то, что было в нас созвучного. Наделенный душою, которой не под силу подобное испытание, душою трепетной и слабой, именно потому, что нежной, я всюду искал понимания, а встречал отпор и испытывал горечь.

И ты спрашиваешь, что такое любовь? Это — могучее влечение ко всему, что мы воображаем, чего боимся и на что надеемся вне нас; когда мы обнаруживаем в себе зияющую пустоту неудовлетворенности и стремимся пробудить во всем сущем нечто общее с тем, что испытываем сами. Если мы рассуждаем, то хотим быть понятыми; если предаемся игре воображения, — хотим, чтобы воздушные создания нашей фантазии вновь рождались в мозгу другого; если чувствуем, — хотим, чтобы другая душа трепетала в унисон с нашей, чтобы чьи-то глаза загорались нам навстречу, лили свой свет в наши, чтобы губы, пылающие жаркой кровью сердца, не встречали губ ледяных и неподвижных. Вот что такое любовь. Это — узы и таинство, соединяющее человека не только с человеком, но и со всем живым. Мы приходим в мир и с первого же мгновения нечто внутри нас все сильнее стремится к себе подобным. Это, вероятно, выражается и в том, что дитя тянется к материнской груди; по мере нашего развития растет и это стремление. В нашем духовном «я» мы смутно видим как бы миниатюрную копию всего нашего существа, но без всего того, что мы осуждаем или презираем; идеальный прототип всего прекрасного, что мы способны себе представить в человеческой природе. Не только наш внешний облик, но собрание мельчайших частиц, составляющих нас *; зеркало, отражающее одни лишь

* Эти слова иносказательны и недостаточны. Таковы слова в большинстве своем. — Тут ничего не поделаешь.

образы чистоты и света; душа внутри нашей души, очертившая свой рай магическим кругом, за который не смеют проникать ни страдание, ни горе, ни зло. С ним мы неустанно сравниваем все наши чувства, стремясь отыскать сходство. Найти свое соответствие; встретить ум, способный оценить твой; воображение, способное понять тончайшие неуловимые оттенки чувств, которые ты втайне делял; тело, чьи нервы вибрируют вместе с твоими, подобно струнам двух лир, сопровождающих прекрасный голос певца; найти все это в том сочетании, какого жаждет наша душа, — вот невидимая и недостижимая цель, к которой стремится любовь; чтобы достичь этой цели, она побуждает человека ловить хотя бы слабую тень того, без чего не находит покоя сердце, где она воцарилась. Вот почему в уединении или в той пустыне, какая нас окружает среди людей, нас не понимающих, мы любим цветы, траву, воду, небо. В трепете весенних листьев, в синем воздухе мы находим тогда тайные созвучия своему сердцу. В безъязыком ветре есть красноречие, в шуме ручья и окаймляющих его тростников есть мелодия; и непостижимая связь их с чем-то внутри нас рождает в душе восторг, от которого захватывает дыхание; вызывает на глаза слезы непонятной нежности, такой же, какую будит патриотическая гордость или голос любимой, поющей для тебя одного. Стерн говорит, что, окажись он в пустыне, он полюбил бы какой-нибудь кипарис. Когда умирает это стремление и эта способность, человек превращается в живую гробницу: от него остается лишь оболочка того, чем он был прежде.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФРАГМЕНТЫ, ПРЕДИСЛОВИЯ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

АССАСИНЫ¹ (Отрывок повести)

ГЛАВА I

Ожесточенные непрерывными притеснениями и тиранией Рима², жители Иерусалима позабыли о внутренней вражде, чтобы восстать против общего врага и деспота. Уступая противнику во всем, кроме неистребимой жажды свободы, они обнесли свой город чрезвычайно прочными укреплениями, а перед храмом выставили отряд самых отчаянных храбрецов, готовых на все ради родины и веры. Даже женщины предпочитали умереть, лишь бы не пережить гибели отчизны. Когда римские войска подступили под стены священного города, их подготовленность, дисциплина и численность свидетельствовали об убеждении военачальника, что ему предстояло покорить не простых варваров. С приближением римлян все чужеземцы покинули город.

Среди множества пришельцев со всех стран света, проживавших в то время в Иерусалиме, была маленькая христианская община. Она не была многочисленной или влиятельной. Среди ее членов не было ни философов, ни поэтов. Не признавая иных законов, кроме божьих, каждый из них, в своих отношениях с ближними, руководился собственным разумением того, как применять эти законы на деле. Простота и строгость их нравов показывала, что презрение к человеческим установлениям выработало из них цельные и самоуглубленные натуры, возвышавшиеся над рабством языческих обычаев и грубыми заблуждениями старых суеверий. Многие их взгляды были близки к верованиям секты, ставшей позднее известной под именем гностиков³. Верховным судьей человеческих поступков они считали человеческий разум; они утверждали, что самые таинственные истины религии не требуют для своего истолкования ничего иного, кроме прилежных усилий человеческого ума. Им казалось невероятным, чтобы любая доктрина, угрожавшая общественному благу, не могла быть опровергнута доводами, основанными на самой природе вещей. Набожное следование заветам Христа сочеталось у них с бесстрашным стремлением самим находить правильный путь в различных случаях жизни. Руководствуясь в своих поступках милосердием и

справедливостью, завещанными Спасителем, они не соглашались признать, что в его божественном учении есть хоть одно окаменелое правило, согласно которому именно тот, а не иной поступок должен сам по себе считаться выполнением воли Учителя.

Презрение, с каким судьи и священство относились к этой безвестной секте мечтателей, до поры до времени спасало ее от гонений. Но вскоре она достигла той известности и влияния, которые особенно ненавистны богатым и сильным мира сего. Исход из Иерусалима решил ее судьбу. Если бы она продолжала искать временного убежища в одном из городов Римской Империи, преследования не замедлили бы наложить отпечаток на взгляды и поведение ее членов; сектантская узость и нетерпимость скоро вытеснили бы духовную красоту, обретенную в пору свободы.

Превыше всего возлюбив мирную жизнь, презирая и ненавидя обычаи и потехи развращенной толпы, скромное содружество счастливых и добрых укрылось в пустынях Ливана. Торжественная величавость этих безлюдных мест была особенно привлекательна для арабов, к тому же одержимых своей идеей. Их понятия о долге человека по отношению к ближнему требовали, чтобы все они трудились как равные; чтобы, свергнув владычество волка и тигра, на развалинах их царства воздвигли царство разума и добродетели. Отныне поклонники бога Природы не будут обязаны труду сотен рук и сами будут удовлетворять свои скромные потребности. Яд гниющей цивилизации не станет отравлять их пищу. Они не будут обязаны своим существованием людским порокам, суевериям и безумствам. Единственными побуждениями к труду станут любовь, дружба и человеколюбие. Пахарь будет трудиться ради любимой или друга; он позабудет о себе, зато о его нуждах позаботятся другие. «Господь питает голодных воронов и одевает лилии долин так, что и Соломон во всей славе своей не сравнится хотя бы с одной из них»⁴.

Рим к тому времени представлял собою лишь тень того, чем он был прежде. Его блеск и величие померкли. Последние и благороднейшие из его поэтов и летописцев, скорбя, предсказали ему близкое падение. Гибель человеческого духа — зрелище более страшное, нежели разрушение самых величественных храмов, — отбрасывала на раззолоченные дворцы мрачную тень, которая оставалась невидимой для невежественной толпы, но повергала властителей в страх и отчаяние. Развалины Иерусалима, беззащитные и безлюдные, vzdымались из раскаленных песков; трепет охватывал каждого, кто посещал это проклятое, запустевшее место. Предание гласит, что в почерневших развалинах храма обитало создание, которое не решались назвать человеком, — руки его были стиснуты, взгляд недвижим, лик пугал своим спокойствием.

Не от переменчивой толпы, не от постоянных колебаний безвольного большинства зависят судьбы царств и религий. Они — всего лишь кос-

ная материя, из которой выдающийся ум создает долговечные памятники. Те, кто правит земными делами, изрекают свою волю с престола, сокрытого во мраке и буре.

Да, могущество человека велико.

После многодневных скитаний ассасины разбили свои шатры в долине Бетзатанаи. Эта плодородная долина была веками скрыта от смелых землепроходцев грядami снеговых гор. В древние времена она была обитаема. Груды мрамора и обломки колонн, уцелевшие от зданий, которые, казалось, не могли быть грубыми творениями человека, но были созданы чьей-то более богатой фантазией, громоздились на берегу озера и виднелись в его прозрачных водах. Разрушенные портики заросли померанцем, бальзамовым деревом и душистым кустарником. Чаши фонтанов переполнились; среди обрамлявшей фонтаны роскошной растительности, никем не тревожимые, гнездились желтые змеи. Тигр и медведь приходили сюда охотиться на некогда прирученных животных, позабывших безопасность, в которой жили их предки. Когда голодный хищник покидал эти пустынные пределы, которые он только что сам опустошал, тишина нарушалась лишь резким криком аиста, тяжелым хлопаньем его крыльев над какой-нибудь одинокой колонной и клекотом голодного коршуна, упустившего свою добычу. В таинственных наскальных письменах запечатлелась древняя мудрость. Человеческий дух и человеческая рука некогда творили здесь величайшие чудеса. Здесь высился храм, посвященный богу Познания и Истины. Быть может, дворцы калифов и цезарей превосходили эти развалины размерами и великолепием; но те были задуманы тиранами и выстроены рабами. А Бетзатанаи был задуман и осуществлен высоким гением и совершенной мудростью. В каждой линии его причудливых скульптур заключался глубокий смысл. Никому уже не понятные символы, некогда столь прекрасные и поэтические, даже разрушенные, все еще вещали нечто, исполненное таинственного значения.

Но даже в пору наивысшего своего расцвета искусство в долине Бетзатанаи не могло соперничать с природой. Все ее красоты словно собрались в этом уединенном месте. Капризные стихии, казалось, обрели здесь постоянство и приняли самые прекрасные свои формы. Чтобы образовать этот счастливый уголок земли, горы Ливана раздвинулись до самого подножья; их снежные вершины со всех сторон вознеслись в лучезарное синее небо, подражая очертаниям минаретов, разрушенных куполов или колонн, источенных временем. Далеко под ними серебристые облака свивались в прекраснейшие видения и давали начало потокам, которые, перескочив над темными пропастями в виде бесчисленных сверкающих радуг, низвергались в тихую долину, вились меж кипарисовых и пальмовых рощ и впадали в озеро. Громады отвесных гор, снежные пирамиды их вершин заслоняли солнце, которое даже в зените не могло подняться над этими великанами. Зато от их льдистых зеркал

отражался смягченный, неземной свет; пробиваясь сквозь перламутровые облака, он создавал бесконечное разнообразие цветов и тонов. Трава здесь вечно зеленела, покрывая самые темные уголки леса и горных пещер.

В этом уединении, где ей ничто не мешало, Природа стала чародейкой; здесь она собрала все, что только есть чудесного в арсенале ее всемогущества. Даже ветры были здесь целительны и вселяли в человека радость, молодость и отвагу. Среди душистых цветов плескались прозрачные струи, примешивая свою свежесть к их ароматам. Ветви сосен стали затейливыми инструментами, из которых каждое дуновение ветерка извлекало все новые чарующие мелодии. Осколки метеоров, искрившиеся ярче лунного света, цеплялись за летучие облачка или кружились в стремительной пляске над струями фонтанов. Под скалами и среди развалин синие клочья тумана, свиваясь в причудливые фигуры, двигались тихой поступью призраков.

На востоке, сквозь узкую расселину в горах, в конце длинного прохода, сверкавшего всеми сокровищами подземного мира, сияла луна, разливая свои лучи сплошным золотым потоком. Выше, ближе к царству снегов, попеременно царили весна и осень. Увядавшие листья, опадая, останавливали течение медленных ручьев; холодный туман развешивал алмазы на каждой ветке; темными и студеными вечерами ветры пели в деревьях печальные песни. Еще выше сиял ледяной трон зимы — прозрачный и ослепительный. Порой снежные хлопья, озаренные заходящим солнцем, падали, словно дождь огненной серы. Водопады, застывшие в стремительном падении, казалось, подпирали хрустальными колоннами темные фронтоны утесов. По временам ледяной вихрь взметал пушистый снег кверху, где он смешивался с шипящими метеорами и рассыпал искры в разреженном воздухе.

Эти грандиозные картины, где все мешалось в причудливом беспорядке, окружая и замыкая со всех сторон долину, усиливали прелесть ее нерушимого, сладостного покоя. Каждый, побывавший там, невольно верил, что некий мудрый и могущественный дух предназначил эти уединенные и прекрасные места для великого таинства.

Действие подобного зрелища, внезапно предстающего глазам смертных, редко бывает запечатлено в рассказах очевидцев. Даже самый равнодушный раб привычного всегда запоминает те редкие мгновения, когда дыхание весны или клубы облаков на закате и бледный месяц, сквозящий за их легкими очертаниями, или песнь одинокой птицы на единственном древе какой-нибудь безлюдной поляны будили в нем чувство природы. А в долину Бетзатанаи пришли арабы — люди, поклонявшиеся природе и ее богу; для которых любовь, высокие помыслы, чистые устремления души составляли самую суть жизни. Уйдя от ненавистой житейской суеты, они со всем жаром пламенных сердец отринули принятые там законы. Они не признавали и презирали те пути,

которыми грубые и низкие натуры сдерживают порывы души, стремящейся к месту своего упокоения. Новый, священный огонь пылал в их сердцах и сиял в их глазах. Каждое их движение, каждая черта, малейший поступок озарялись святым вдохновением, снизошедшим на их пылкий дух. Это вдохновение с быстротою молнии распространилось на все сердца. Они стали бесплотными ангелами и уже обитали в раю. Жить, дышать, двигаться — само по себе приносило каждому из них бесконечную радость. Осознание своей человеческой природы всякий раз было для счастливец радостным открытием и сообщало всем органам, где духовное сочетается с телесным, более острое и тонкое ощущение всего, что в них есть божественного. Любить и быть любимым становилось столь ненасытной жаждой, что для ее утоления, казалось, не хватит вселенной со всем ее бесконечным разнообразием и великолепием.

Но, увы! Зачем эти духовные взлеты столь кратки! Зачем эти мгновения, когда наш дух поднимается вровень со всем великим и прекрасным, что он способен себе представить, не длется всю жизнь и не сопровождают нас за роковую черту!

Красота весеннего заката в завесах пурпурных облаков быстро исчезает для нас, чтобы когда-нибудь неожиданно вернуться и скрасить нежной грустью темные ночи отчаяния.

Да, возвышающий восторг, живший в груди каждого ассасина, со временем миновал. Житейские нужды и тяготы, кои суждены каждому человеку, погребли под собой, хотя и не угасили, священный вечный огонь. Однако в каждом из этих людей он оставил неизгладимый след; вся жизнь их общины определилась и сложилась под его влиянием.

ГЛАВА II

Рим пал. Его сенат сделался гнусным притоном воров и обманщиков; его величавые храмы — ареной теологических диспутов для проповедников чудовищных религий, прибежавших вместо доводов к огню и мечу. Столица изверга Константина⁵, которая самой историей своего основания символизировала безнравственность и слабость его преемников, была лишь жалким подобием некогда славного Рима. Паломники новой, крепнувшей веры стекались к развалинам Иерусалима, чтобы плакать и молиться у гроба вечного бога. На земле царили распри, смута и разорение. Во имя бескорыстного добра половина цивилизованного мира вооружилась против другой его половины. Отвратительные, жуткие суеверия отравляли жизнь людей. Высокомерие, предрассудки, мстительная злоба вытеснили естественные привязанности и древнюю веру.

Так протекли четыре столетия, отмеченные самыми пагубными переменами. Тем временем ассасины, не тревожимые окружающей смутой, возделывали свою плодородную долину. Их особое положение помогло

сложиться совершенно особым нравом. То, что уже не приводило их в экстаз, как вначале, сделалось незримым законом их жизни, их духовной опорой. В соответствии с их нравственным развитием изменились и их верования. Они теперь реже возносили благодарения доброму духу, который не только сотворил их души, но и искупил грехи; однако он не перестал быть их хранителем, поверенным их сокровенных мыслей и верховным судьей каждого их поступка. Они привыкли отождествлять этого незримого благодетеля с радостным чувством, что рождается среди пустынных скал и живет как в изменчивых красках неба, так и в глубинах подземных пещер. Будущее существовало для них лишь в блаженном покое настоящего. Время измерялось пороками и бедствиями людей, а между ними и счастливым племенем ассасинов не было ничего общего. Для него уже наступила пора вечного блаженства. У отверстых врат смерти уже не царил тьма.

Верования ассасинов и их образ жизни своеобразно и неповторимо сказывались на их поступках. Отдаленное от многолюдных мест, их уединенное убежище стало для них священным приютом, где все было гармонией, не нарушаемой ничьей деспотией и никакой враждой. Все их помыслы были устремлены к одной цели, к одному предмету. Каждый член общины посвятил себя счастью ближнего. Они постоянно соревновались в добрых делах; и это не была притворная, бездушная филантропия торговца, но та истинная добродетель, которая отражается в малейших движениях и в каждой из черт лица. Пороки и несчастья людей, обитавших за пределами их мирной обители, были им неведомы и непонятны. Не обремененные условностями цивилизованного общества, они не мыслили себе счастья, которое не стремишься делить с другими и постоянно распространять вокруг себя. На пути к добродетели и счастью они не видели препятствий. В любом случае они избирали тот образ действий, который вел к наибольшему блаженству. Они не представляли себе, чтобы человек из чувства долга мог отказаться любой ценой доставить себе и другому наибольшую и самую полную радость.

Отсюда возникли особенности нравов, которые не привели к чрезвычайным последствиям только потому, что ассасины не общались с миром, где вместо добра и справедливости царили иные принципы и иные мотивы поступков. Этим искренним и простым людям было трудно предвидеть конечные результаты своих поступков среди толпы развращенных рабов. Они не сумели бы избрать и средства для осуществления своих намерений. Необходимость причинять боль или нарушать сложившийся порядок ради будущего блага согласуется с самыми высшими религиозными и нравственными учениями, но всегда вызывает негодование большинства. Попав случайно в цивилизованное общество, ассасин из принципа повел бы против этих предрассудков и предпочтений упорную борьбу. Ему пришлось бы применять средства, кажущиеся людям недопустимыми, ради цели, которую они не могли бы понять.

Защищенный уверенностью в своей высшей правде, чистый, как свет небес, он подвергся бы среди людей клевете и гонениям. Неспособные понять его побуждения, они причислили бы его к самым гнусным из злодеев. С наглостью невежества они стали бы презирать того, кто неизмеримо выше их всех. За то, что он горел неугасимой жаждой творить им добро, они, глумясь и насмехаясь, повели бы его на позорную смерть, как вели некогда его великого Учителя.

Кто поколеблется убить ядовитую змею, подползшую к спящему другу, кроме себялюбца, который боится, как бы злобная гадина не обратила свою ярость против него самого? А если змея приняла человеческий облик, и яд ее отличается от змеиного лишь большей губительной силой, неужели спаситель и мститель отступит перед предрассудком, считающим человеческую жизнь священной? Неужели человеческий облик — всего лишь право на безнаказанные злодеяния? Неужели сила, питающаяся слабостью угнетенных или неведением обманутых, позволяет беспрепятственно угнетать и обманывать?

Подданный государства или последователь любой из узаконенных систем суеверий не решится задать подобный вопрос. Ради будущего блага он мирится с тем, что считает преходящим злом, и терпеливо взирает на нравственное падение человека. Но верования ассасина требуют от него иных добродетелей, кроме смирения, когда ближние стонут под игом тирании или принижены до состояния животных, не ощущающих своих цепей. Ассасин полагает, что человек — прежде всего человек, и лишь тогда имеет право на преимущества своего положения, когда и сердцем, и разумом воздает дань божеству Природы. А развращенные, порочные, низкие — что они такое? Всего лишь тени из дурного сна, сотворенные духом Зла; меч милосердного воителя должен исторгнуть их из нашего прекрасного мира. Это — бесплотные кошмары, призраки горя и зла, восседающие на раззолоченных тронах и в зловонных притонах нужды. Ни один ассасин не мог бы покорно мириться с пороком или стать милосердным пособником лжи и бед. Его путь через пустыню, именуемую цивилизованным обществом, был бы отмечен кровью угнетателей и разорителей. Злодей, перед которым униженно трепещут народы, искупил бы под его карающей рукой бесчисленные узаконенные преступления.

Сколько живых святош, сколько паразитов под величавыми масками он сбросил бы с их роскошного ложа и вверг в разверстую могилу, чтобы многоногие зеленые твари, жители кладбищ, обглодали их лица, на которых написана злоба и хитрость. Так называемый почтенный человек — лоснящийся, улыбающийся мерзавец, почитаемый всем городом, сделавший своим ремеслом обман и убийство, живущий за счет крови и слез людей, был бы брошен в пищу воронам. Ассасин совершил бы доброе дело, доставляя добычу стервятникам и безглазым червям могилы.

Но здесь, в их тихой обители, любовь и вера сделали этих людей необычайно кроткими и мягкими. Смелость, воинствующая добродетель, ненависть к пороку, возросшая до неодолимой страсти, спали в них, как спят вулканы, как спят стрелы молний в золотистых вечерних тучках. Они были невинны, но способны на нечто большее, ибо не забывали великих основ своей веры и постоянно к ним обращались; вкушая безмятежный покой, они не забывали, кому им обязаны.

Так прошло четыре столетия, не отмеченных большими событиями. Люди умирали, над могилами их проливались слезы той печали, которая смягчает сердце. Любящие пары уходили из жизни вместе, оставляя друзьям священную печаль; печаль, в которой есть нечто сладостное. Грудные младенцы становились взрослыми; взрослые, состарившись, умирали; густые травы, разросшиеся вокруг их жилищ, сплетались над их останками. Эта мирная жизнь была подобна летнему морю, которое колышется так тихо, что в нем отражаются звезды и не смещаются краски многоцветных закатов.

ГЛАВА III

Когда все так спокойно, малейшее событие становится памятным. На исходе шестого века произошел странный случай. Молодой житель долины, по имени Альбедир, бродя по лесу, услышал крик хищной птицы и, взглянув вверх, заметил, что с ветвей кедра капает кровь. Он влез на дерево и увидел страшное зрелище. На обломанный сук было насажено человеческое тело. Оно было чудовищно изуродовано; все его члены были изломаны так, что оно казалось страшной насмешкой над жизнью. Почуввав добычу, к нему уже подбиралась огромная горная змея, а над головой парил голодный стервятник. На окровавленном лице несчастного выделялись одни лишь пронзительные темные глаза, горевшие неземным светом. В них читалось спокойствие и сила бессмертного разума, который не страшится уничтожения. Горькая усмешка презрения и отвращения кривила израненные губы — казалось, он наблюдал окружающее, и самообладание не покинуло его искалеченное тело.

Альбедир приблизился к суку, на котором было подвешено тело. При его приближении змея нехотя развила сверкающие кольца и поползла к своей темной пещере. Стервятник, лишенный добычи, улетел в горы, оглашая их резкими криками. Поднялся ветер, и ветви кедра затрещали под тяжестью тела. И это было все — кругом царил мертвая тишина.

Но вот страдалец заговорил. Из груди его вырывался хриплый шопот. Он словно договаривал какой-то ему одному понятный монолог. Речь его была отрывиста и бессвязна, а долгие промежутки молчания полны таинственного значения.

— Тиран бессилен, хоть он и торжествует. Слава! Слава его распятому противнику! Слава червю, которого он попирает! Ха! Ведь это все равно, что пытаться уничтожить все сущее — и самого себя, безумный самоубийца! У замкнутых врат смерти царит радость и ликование. — Я не боюсь их черной и мрачной тени. Здесь кончается твоя власть! Ты создаешь — я гублю и разрушаю. — Я был твоим рабом — отныне я тебе равен — я твой противник. Перед твоим престолом трепещут тысячи, но по моему зову они сорвут золотой венец с твоей недостойной главы.

Он умолк. Полдневная тишь поглотила его слова. Альбедир крепче ухватился за дерево, не в силах отвести глаз. Содрогаюсь от ужаса, он молчал.

— Альбедир! — произнес тот же голос. — Во имя бога, приблизься ко мне. Тот, кто низверг меня сюда, видит нас; благостные и милосердные духи земной любви не могут радоваться зрелищу мучений. Именем сострадания, именем твоего кроткого бога, прошу тебя, Альбедир, приблизься! — Голос звучал кротко и нежно, как эолова арфа. Он донесся до ушей Альбедира, подобно теплоте дыхания июня, которое умиротворенно веет из зеленых рощ. На глаза его навернулись слезы жалости. Он словно слышал голос близкого друга. Товарищ его детских игр, любимый им, как брат, казалось, звал его на помощь и упрекал за промедление. Он не мог противиться волшебному зову и, приблизившись к раненому, осторожно освободил его. Затем он медленно спустился с дерева со своей несчастной ношей и положил ее на землю.

Наступило молчание. Ужас постепенно уступал в нем место другому чувству — мучительной жалости; и тут он вновь услышал тот же чарующий серебристый голос: «Не плачь надо мной, Альбедир! Нет такого страдальца, который не ожил бы здесь, в вашем райском краю. Я ранен и страдаю; но, найдя в этих местах убежище, а в тебе — друга, я достоин скорее зависти, нежели сожаления. Отнеси меня тайком в твою хижину; я не хочу испугать своим появлением твою кроткую подружку. Но скоро она полюбит меня нежнее, чем брата. Я стану играть с твоими детьми; я уже чувствую к ним отеческую любовь. Мое появление не должно казаться загадочным. Если б люди не были склонны к ошибкам и преувеличениям, что диковинного в том, что чужеземец, бродя в горах Ливана, упал со скалы в вашу долину? Альбедир, — продолжал он, и голос его зазвучал торжественно, — в ответ на любовь, которую я питаю к тебе и твоим близким, ты обязан повиноваться мне на этот раз».

Альбедир беспрекословно подчинился; у него не явилось даже мысли ослушаться. Он снова взвалил на себя свою ношу и направился к дому. Там он подождал, пока Халед отлучилась, и внес незнакомца в покой, предназначенный для гостей. Гость попросил надежно запереть дверь и не тревожить его до следующего утра.

Альбедир стал нетерпеливо ждать возвращения Халед. Непривычная тайна отягощала, словно проклятие, его простодушное сердце. Речи незнакомца навяли на него неясные и восхитительные грезы. Надежды, столь смутные, что он не сумел бы их назвать, завладели им, как ни были они призрачны. Рядом с ними возникало и беспокойство. В мыслях его царил сумятица, но ею правила твердая рука самой судьбы. Альбедир ходил по саду, перебирая в уме все связанное с происшествием этого дня. Он старался припомнить мельчайшие его подробности. Напрасно — кто-то словно подсказывал ему другие. Изумление, ужас, нестерпимая жалость и странное душевное волнение лишали его способности размышлять и властно вытесняли все попытки обдумать случившееся и понять его.

Возвращение Халед вывело его из задумчивости. Она вошла в свой мирный дом, убежденная, что перемены могут перевернуть весь мир, прежде чем вторгнутся в это святилище. Увидя Альбемира, она встревожилась. Без всяких предисловий, он торопливо пересказал ей события дня. Кроткая Халед едва успевала следить за стремительным бегом его рассказа. Его сбивчивая речь, его смятенный вид потрясли и ошеломили ее.

ГЛАВА IV

На следующий день Альбедир пробудился с восходом солнца и вошел к незнакомцу. Тот уже встал и украшал оконную решетку цветами из сада. Весь его вид и самое его занятие говорили о том, что он совершенно освоился с новым местом. Жилище Альбемира, казалось, всегда было ему домом. Он обратился к хозяину с тем ласковым и веселым приветом, который неизменно вызывает ответное чувство.

— Друг мой, — сказал он, — роса этой долины — истинный бальзам; или, быть может, ветры сговорились приносить в твой сад самые сладкие ароматы, какие они могут сыскать? Дай опереться на твою руку, ибо я еще очень слаб. — Он хотел идти, но не в силах двинуться дальше, сел возле двери. Несколько минут они молчали, если можно называть молчанием обмен счастливыми взглядами. Наконец он увидел лопату, прислоненную к стене. «У тебя всего одна лопата, брат мой, — сказал он; — и других орудий тоже, наверное, по одному. Между тем, твой сад необходимо расширить. Этому надо пособить поскорее. Я еще не смогу заработать свой ужин ни сегодня, ни завтра, но послезавтра я уже не буду в праздности есть твой хлеб. Я знаю, что ты готов взять на себя лишний труд, которого потребует мое пропитание; знаю также, что, трудясь на меня, ты будешь даже испытывать некоторое удовольствие, но именно этого-то удовольствия я не намерен тебе доставлять». Глаза его еще глядели томно, а голос звучал устало.

Пока они беседовали, подошла Халед. Незнакомец указал ей место рядом с собой и, взяв ее руки в свои, внимательно заглянул в ее кроткое лицо. Халед спросила, хорошо ли он спал. Он ответил веселым и беззаботным смехом; а затем, вложив одну ее руку в руку Альбедира, сказал: «Если это сон, здесь, в этой ароматной долине, где над нами витают улыбки и звучат любящие голоса, — если это сон, сестра моя, то после него даже тот, кто ложится в муках, встанет легким, как мотылек. Я явился к вам из бурного мира, столь отличного от здешних мест. И вот неожиданно оказался среди вас и среди жизни, о какой не смел и мечтать. Я должен здесь остаться, я не уйду». Халед, очнувшись от восхищения, в какое ее привели слова и поведение незнакомца, заверила его, что его общество доставит ей большую радость. Альбедир, еще сильнее, чем она, взволнованный событиями, снова выразил горячие чувства, которые ему внушал незнакомец. Тот кротко улыбнулся пылкой искренности, звучавшей в их словах, и встал, собираясь удалиться в дом; но тут Халед сказала: «Ты еще не видел наших детей, Маймуну и Абдаллаха. Они сейчас на озере, играют с любимой змейкой. Надо лишь пройти вон ту рожицу и по тропинке сойти со скалы, нависшей над озером — там мы их и найдем — берег там образует бухту, а скалы и лес замыкают ее со всех сторон. Только сможешь ли ты дойти туда?» — «Чтобы увидеть твоих детей, Халед? Думаю, что смогу, с помощью Альбедира и твоей». И они пошли через рожицу старых кипарисов, между которых цвело множество ярких цветов, сверкавших, точно звезды в их поэтической тени. Миновав зеленый луг, они вошли в ущелье, полное благоуханных трав. Наконец, по тропинке, извивавшейся среди зарослей, они подошли к озеру. Со скалы, нависавшей над ним, им были видны все создания природы и искусства, которые окружали и украшали его берега. Незнакомец смотрел на все с тем же выражением задумчивого созерцания. Халед сжала его руку и сказала тихо, но настойчиво: «Посмотри, посмотри вон туда!» Он оглянулся, но она глядела не на него. Она глядела вниз — губы ее приоткрылись под влиянием обуревавших ее чувств — дыхание было ровным, но неслышным. Она склонилась над обрывом; черные волосы, обрамляя ее лицо, оттеняли тонкие черты, светившиеся невыразимой любовью. Незнакомец проследил за ее взглядом и увидел внизу детей; затем, подняв глаза, обменялся с ней ласковыми взглядами, выражавшими одобрение и радость. Мальчику было на вид лет восемь, девочке — года на два меньше. Их лица и тела были так прекрасны, что всем, кто их видел, они казались дивным сном. На них были просторные льняные одежды, не скрывававшие прелестных очертаний их тел. Не зная, что за ними наблюдают, они продолжали свое занятие. Из древесной коры они соорудили лодочку, сплели для нее парус из перышек и спустили на воду. На плоском белом камне, где они сидели, лежала, свернувшись, маленькая змейка; окончив свой труд, они встали и что-то нежно про-

пели змейке, которая, как видно, понимала их. Ибо она развернулась и поползла к лодочке; как только она туда забралась, девочка отвязала лодку, и она отплыла. Дети побежали по берегу бухты, хлопая в ладоши и мелодично покрикивая, а змея изгибалась, словно отвечая. Но вот с берега подул ветер, лодочка повернулась и пошла к выходу из бухты; змейка, заметив это, выпрыгнула в воду и приплыла к ногам детей. Девочка что-то пропела ей, и она скользнула к ней на грудь; девочка скрестила на груди свои прекрасные руки, как бы давая ей приют. Тогда запел мальчик, и змейка выскользнула из-под рук и поползла к нему. Среди этой забавы Маймуна взглянула вверх и, увидев на утесе своих родителей, побежала им навстречу по крутой тропе; Абдаллах, оставив змейку, радостно помчался за нею.

КОЛИЗЕЙ

Фрагмент

В полуденный час, в праздник пасхи, старик и девушка, по-видимому, его дочь, вошли в римский Колизей. Они быстро прошли через арену и, отыскав уединенное место между арками южной части здания, уселись на обрушенную колонну и, взявшись за руки, молча созерцали окружающее. Но взгляд девушки был прикован к губам отца, а его лицо, величавое и кроткое, но неподвижное, как у Праксителява бюста величайшего из поэтов¹, посылало миру улыбки, которые не были отражением его зримой красоты.

То был светлый праздник Воскресения, и все жители Рима вместе с иностранцами, которые съезжаются на этот праздник со всех стран, собрались возле Ватикана. Самая величественная из всех религий мира выступала в окружении земного великолепия, и толпы стекались подивиться и поклониться созданиям своего собственного могущества. На улицах и на заросших травой тропах, ведущих к Колизею, не оставалось ни одного прохожего. Отец и дочь пришли сюда, едва прибыли в город.

На пути им попался некий человек, кого можно встретить в Риме только ночью или в пустынном месте — среди заброшенных храмов Форума или в заросших травой галереях Колизея. Его тело, несмотря на худобу, отличавшееся изумительной грацией, было облачено в одежды старинного покроя, отчасти скрывавшие и лицо; белоснежные ноги были обуты в сандалии из слоновой кости, украшенные изящной резьбой в виде двух женских фигур с крыльями, смыкавшимися на щиколотке, и полураскрытыми губами, которые, казалось, тоже жаждали встретиться. То было лицо, которое, однажды увидев, никто не мог забыть. Линии рта и подбородка напоминали пылкие и нежные черты статуи Антиноя²; но вместо изнеженно капризного выражения глаз и узкого, гладкого лба на челе его вы видели печать мысли глубокой и острой; лоб был открытый и светлый, а глаза глубоки, словно хрустальные водоемы, отражающие всевидящее небо. Общим выражением была женственная робость и нежность, которые противоречили спокойному бесстрашию движений и вместе с тем странно с ним сочетались.

Он тщательно избегал всякого общения с итальянцами, чей язык, казалось, едва понимал, но иногда его можно было застать за беседой

с каким-либо образованным иностранцем, который своим видом или жестами привлек его во время его одиноких прогулок. Он свободно говорил по-латыни, и особенно по-гречески, со своеобразным, но приятным акцентом; по-видимому, знал он и языки северных стран Европы. Ничто в нем не выдавало ни его национальности, ни происхождения, ни рода занятий. Одежда его была необычной, но богатой и пышной. Он неизменно был один. Римские *literati* * дивились ему, однако в его манерах было нечто таинственное, но внушительное, что заставляло их молча воздерживаться от навязчивости. Поселяне, возвращаясь при свете звезд с рынка на Кампо Вачино, изредка тоже встречали его, и, причудливо соединяя, как это любят в Италии, христианство и античность, прозвали *Il Diavolo di Bruto* **.

Таков был человек, который нарушил созерцание, — если именно этим были поглощены пришельцы, — обратясь к ним на их родном языке в выражениях правильных, но выдававших чужестранца. «Чужеземцы, вас двое; а я — третий во всем великом городе, кому вид этих величественных развалин милее, чем нелепые суеверия, разрушившие эти стены».

— Я ничего не вижу, — сказал старец.

— Что же ты тут делаешь?

— Я слушаю сладостное пение птиц, а дыхание моей дочери успокаивает меня, точно нежное журчанье воды, — я ощущаю нагретый солнцем ветерок — и мне хорошо.

— Несчастный старик, ты разве не знаешь, что перед тобою развалины Колизея?

— Увы! Чужеземец, — сказала девушка, и голос ее прозвучал, как печальная музыка. — Не говори так — ведь он слеп.

Глаза незнакомца внезапно наполнились слезами, а выражение лица смягчилось. «Слеп!» — воскликнул он тоном страдания, выразившим нечто большее, чем извинение; и сел поодаль на мшистых и шатких ступенях лестницы, которая вилась среди руин.

— Милая Елена, — сказал старец, — ты не сказала мне, что это Колизей.

— Как могла я сказать, дорогой отец, когда я и сама не знала? Я собиралась спросить дорогу к этому зданию, но тут мы вступили в круг развалин, и пока незнакомец не подошел к нам, я молчала, оробев от представшего мне зрелища.

— Обыкновенно, милое дитя, ты описываешь мне все, что тебе нравится. Ты все озаряешь мягким светом своих слов и когда говоришь, немощь, делающая меня зависимым от столь дорогого мне существа, кажется мне благом. Отчего же ты сейчас молчала?

* Образованные люди (лат.).

** Дьявол Брута (итал.).

— Не знаю — сперва от удивления перед зрелищем, а потом слова чужеземца, над которыми я задумалась, и весь его вид, — а сейчас, милый отец, собственные твои слова. . .

— Ну так скажи же мне, что ты видишь?

— Я вижу огромный круг, где арки вздымаются одна над другой, а кругом лежат упавшие камни, которые некогда были прочной стеной. В трещинах и на сводчатых кровлях растут кустарники, мирт, оливы, густые кусты ежевики и буйные травы, каких я раньше не видела. Камни огромны и массивны и нависают один над другим. В стенах — большие проломы и широкие окна, в которые видно синее небо. Арок здесь, кажется, больше тысячи; одни развалились, другие еще целы, и все они огромной высоты. Некоторые разрушены лишь отчасти, и на их осыпающихся вершухах точно султаны качаются кусты. Вокруг нас лежат огромные разбитые колонны — обломки капителей и карнизов, украшенных тончайшими рельефами.

— А над нами синее небо? — спросил старец.

— Да. Через проломы и окна видна прозрачная глубь небес; цветы, травы и ползучие мхи увлажняются небесным дождем. Над нами синее небо — огромное, ясное, синее небо, — оно вливается в проломы вверху и между голых ветвей смоковницы, растущей из мрамора, и между листьев и цветов диких кустарников, проникая даже под темные своды внизу. Я вижу и чувствую, как его всепроникающие лучи наполняют весь мир, пронизывают веселый ветер жизнью и светом и озаряют своим великолепием все — даже меня. Да, а в вышине висит бледный полуденный месяц, точно вырезанный из куска неба, а это значит, что воздух так ясен, что и ты это ощущаешь.

— А что еще ты видишь?

— Ничего.

— Ничего?

— Только ярко-зеленую мшистую землю, усеянную пучками влажного от росы клевера, который растет также в трещинах разрушающихся арок и вокруг каждого обломка.

— Так же, как на лужайках с короткой и мягкой травой между сосновых лесов Савойских Альп?

— Право, отец, твой взор видит яснее моего.

— А гигантские обрушенные арки и вся громада развалин, заросшая молодыми деревцами и больше похожая на обломки, оставленные в горах землетрясением, чем на остатки созданий человеческих рук, — какова она?

— Она поражает и удивляет.

— Не похожи ли развалины на пещеры, какие могла бы избрать в индийских джунглях дикая слониха для своих детенышей; или на просторные гроты, чтобы укрывать огромных морских чудовищ, если бы случилось море затопить землю?

— Отец, твои слова рисуют все так, как я хотела бы, но увы! — не умею.

— Я слышу шелест листвы и журчанье воды — но это не дождь — скорее падение капель в каком-то лесном источнике.

— Вода стекает с развалин над нашей головой — должно быть, это дождевая вода, скопившаяся в трещинах этих развалин, покинутых человеком, обращенных чародейством Природы в подобие ее собственных творений и разделивших с ними их бессмертие! Обратившихся в гору, прорезанную лесистыми лощинами, нависшую над извилистыми оврагами, образующую отвесные обрывы. Самые тучи, зацепившись за эти острые вершины, питают дождем их вечные источники. Колонна, на которой я сижу, должно быть, служила опорой храму или театру, и в священные дни празднеств толпа шла по крутой тропе увидеть жертвоприношение или игры. Да и сам храм был зрелищем*.

— Елена! Что за крылья шумят над нами?

— То дикие голуби возвращаются к своим птенцам. Слышишь воркование тех, что сидят в гнездах?

— Да, так они выражают свое счастье. Они так же счастливы, как мы, дитя, но по-иному. Им неведомы чувства, какие вызывают эти развалины у нас. Однако им нравится здесь селиться; очертания этих строений, над которыми они пролетают, рождают и у них какие-то образы, столь же священные для них, как наши — для нас. Внутренняя жизнь каждого существа очерчена кругом, за который не проникают другие; это взаимное отталкивание составляет несчастье жизни. Есть, однако, круг, обнимающий все живое, как и круг, из которого оно выключено. А для человека общественное и личное счастье состоит в том, чтобы сужать круг, включающий всех ему подобных, пока он не сольется с ними воедино. Именно потому, что нам понятны думы, замыслы и судьбы других, созерцание обломков человеческого могущества вызывает возвышающее душу чувство благоговения. Поэтому и в океане, и в глет-

* Мысль о возможном назначении храма не мешает испытывать волнение. Время бросает на это зрелище свою пурпурную тень, оставляя видимым лишь вечность человеческой мощи и гения, залог всего прекрасного и достойного восхищения в грядущих веках. Величавые храмы, где собирался сенат, властвовавший над миром, дворцы, триумфальные арки и уходящие в облака колонны, украшенные скульптурными изображениями завоеваний и побед, — для каких дел, каких мыслей были они предназначены? Суеверные обряды, которые даже в самых невинных своих формах оскорбляют разум и притупляют нравственное чувство человека; замыслы массовых убийств, опустошений, несправедливого правления и порабощения и, наконец, торжество всех этих замыслов — человек, возвращающийся среди радостных криков, ведя тысячи себе подобных, поработанных и прикованных к его колеснице, и претендующий на славу за то, что уничтожил труд столетий и творения гениев грубой силой, вложенной, точно меч, в его руки; и самое страшное и отталкивающее из зрелищ — он сам, существо, способное от природы на чувства нежные и добрые, — убежденный, что совершил нечто доблестное! Подобных вещей мы не забываем. . .

чере, и в водопаде, и в буре, и в вулкане обитает дух, заставляющий все наше существо трепетать от радости. Поэтому пение птиц, шелест листвы, ощущение ароматной земли под ногами и свежести ветра вызывают сладостное чувство. Это и есть Любовь. Это — религия вечности, почитатели которой сделались среди людей изгоями. — О, Всемогущий, — воскликнул старец, подымая незрячие глаза к солнцу, сиявшему сквозь дымку, — ты, который проникаешь все сущее, без кого наш великолепный мир был бы слепым и бесформенным Хаосом, ты — Любовь, Добро, Бог, Владыка и Отец! Друг всех, тебе поклоняющихся! Два одиноких сердца вызывают к тебе: да не разлучатся вовек! Если несчастья их порождены раздорами людских племен; если судьбою и собственным выбором им назначено было давать и искать счастье, воплощенное в тебе; если в величавых памятниках могущества своего рода они видят обещание того, чем ты судил им стать; если они стремились к справедливости, свободе, красоте и истине — твоим следам на земле — не разлучай их! Тебе дано соединять и увековечивать; даровать жизнь за гробом тем, кто оставил тебе памятники среди живых. Когда это тело обратится в прах, пусть надежды, желанья и радости, которые ныне одушевляют его, не угаснут в моей дочери; а если ее опустят в могилу, пусть моя память станет живою летописью ее неизреченных совершенств!

На лицо старца, озаренное его вдохновенными словами, вернулось, когда он умолк, обычное спокойствие; он услышал рыданья дочери и вспомнил, что говорил о смерти.

— О, отец! Как могу я тебя пережить? — сказала Елена.

— Не будем говорить о смерти, — заговорил старец другим тоном. — Гераклит, действительно, умер в моем возрасте, и будь у меня столь же скверный характер, меня уже можно было бы считать умершим. А Демокрит дожил до ста двадцати лет и все благодаря веселости и непобедимой отваге. Да и умер он только потому, что рядом с ним не было нежного и любимого хранительного духа, подобного моей Елене, ради которой он был бы счастлив жить. Помнишь, как веселая старушка, его сестра, потребовала, чтобы он подождал морить себя голодом, пока она не вернется с праздника Цереры; говоря, что иначе он испортит ей праздник; ведь сразу после смерти родственника нельзя участвовать в праздничном шествии; и как добродушно повиновался ее требованию мудрец.

Старец не мог видеть благодарную улыбку дочери, но почувствовал пожатие руки, которым она ее выразила. — В самом деле, — продолжал он, — смерть есть таинственная перемена, которую нам, как для себя, так и для других, не следовало бы ни призывать, ни бояться. Нам неизвестно, является ли она благом или злом, мы знаем лишь, что она есть. Умереть может и старый и молодой; никогда, нигде, ни в каком возрасте мы не защищены от смерти. Если умершие что-либо чувствуют, мы не знаем, как сделать эти чувства приятными, и способствуют ли этому нынешние события нашей жизни. Не думай о смерти или же думай о ней как о чем-то

общем для всех нас. Случалось, — произнес он голосом, исполненным муки, — что отцы хоронили своих детей.

— Увы! Милый отец, как мне жаль тебя. Не будем больше говорить об этом.

Они поднялись, чтобы покинуть Колизей, но человек, заговоривший с ними, снова к ним обратился:

— Благородная дева, — сказал он, — если возможно скорбью искупить оплошность, то я глубоко раскаиваюсь в словах, сказанных мною твоему спутнику. Люди, некогда обитавшие здесь, и те, у кого они переняли свою мудрость, чтити немощь и старость. Если я необдуманно обидел этого почтенного человека, столь величественного и, вместе, беззащитного, могу ли я надеяться на прощение?

— Мне больно видеть, как ты сокрушаешься о своей ошибке, — сказала она. — Если ты можешь забыть о ней, не сомневайся, что мы ее простили.

— Ты принял меня за одного из тех, кто слеп духовно, — сказал старец: — и если кто-либо заслуживает презрения и осуждения, так это они. А я, созерцая это здание, хотя лишь в зеркале души моей дочери, исполняюсь удивления и радости; словно душа ушедших поколений вселяется в меня и наполняет все мое существо. Чужестранец, если я выразил то, что тебе случалось чувствовать, нам надо узнать друг друга ближе.

— Звук твоего голоса и строй твоих мыслей восхищают меня, — сказал юноша, — и мне радостно видеть существо столь прекрасное и доброе как твоя дочь; если за мою грубую выходку ты вознаграждаешь меня тем, что позволяешь узнать вас, значит, она уже искуплена, и ты не помнишь моих злых слов. Я веду уединенную жизнь и редко встречаю незнакомцев, с которыми было бы приятно беседовать; к тому же их размышления, быть может, и ученые, не всегда согласуются с моими; я готов простить им это, но они не прощают. Никогда я не объяснял никому, отчего на мне эта одежда и отчего моя речь и обычаи отличают меня от всех, с кем я встречаюсь. Однако мне тяжело жить без общения с мыслящими и любящими созданиями. А я чувствую, что вы именно таковы.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ «ВОССТАНИЕ ИСЛАМА»

Поэма, ныне выпускаемая мною в свет, является попыткой, от которой я едва осмеливаюсь ждать успеха и в которой неудача не может быть постыдной даже и для самого знаменитого из писателей. Это — попытка проверить состояние умов и узнать, что уцелело после бурь, потрясших нашу эпоху¹, и живет ли еще среди просвещенных людей жажда более совершенного нравственного и политического устройства общества. Гармонию стиха, воздушную игру вымысла, быстрые и тонкие переходы чувств, — словом, все, из чего обычно слагается поэма, я пытаюсь заставить служить высокой нравственной цели; я стремлюсь зажечь в сердцах читателей то благородное восхищение принципами свободы и справедливости, ту веру и надежду на лучшее, которых ни гонения, ни клевета, ни предрассудки никогда не смогут всецело истребить в людях.

Для этого я избрал повесть о человеческих страстях в их наиболее общем виде, перемежающуюся трогательными и романтическими эпизодами и взывающую, наперекор всем искусственно созданным мнениям и установлениям, к чувствам, которые живут в каждом человеке. Я не пытаюсь последовательно излагать и отстаивать принципы, коими хотел бы заменить те, что господствуют ныне. Я стремлюсь лишь пробудить сердца, показать читателю красоту истинной добродетели и натолкнуть его на размышления, которые привели меня самого к моим нравственным и политическим взглядам, разделяемым некоторыми из величайших умов человечества. Таким образом, поэма (кроме первой, вступительной песни) является повествованием, но не поучением. Это — ряд картин, показывающих духовное развитие человека, стремящегося к совершенству и полного любви к людям; облагораживающее и очищающее действие этого стремления на самые дерзкие порывы воображения, ума и чувств: его нетерпимость ко всем видам угнетения, какие царят на земле; его стремление будить в обществе надежду, просвещать и совершенствовать его; быстрые результаты этой деятельности; пробуждение великого народа, пребывавшего в рабстве и унижении, осознание им своего нравственного достоинства и свободы; бескровное свержение поработителей; разоблачение религиозного обмана, помогавшего держать угнетенных в покорности; мирное торжество патриотов, терпимость и благожелательность подлинного человеколюбия; коварство и свирепость наемных солдат; попытку искоренить пороки не карами и жестокостью, но состраданием и доброю; вероломство тиранов; заговор правителей Мира и реставрацию

изгнанной династии² с помощью чужеземного войска; истребление патриотов и победу старого порядка; последствия деспотической власти — гражданскую войну, голод, мор, господство суеверий и полное исчезновение семейных привязанностей; узаконенное убийство приверженцев свободы; временное торжество угнетателей — этот верный залог их неизбежного конечного падения; преходящесть невежества и заблуждений и бессмертие гения и добродетели. Таковы картины, составляющие поэму. И если высокие чувства, какие я стремился вложить в свое повествование, не пробудят в читателе великодушных порывов, страстной жажды добра, глубокого и сильного интереса, какой неспособны вызвать менее важные предметы, пусть он не заключает из этого, что подобные возвышенные темы вообще не могут увлечь людей. Поэт должен уметь сообщить другим радость и восторг, вызываемые образами и чувствами, которые, поселившись в его душе, составляют для него и источник вдохновения, и одновременно лучшую из наград.

Панический ужас, охвативший, подобно эпидемии, все слои общества при виде крайностей Французской революции, постепенно уступает место здравым суждениям. Мы уже не полагаем, что целые поколения должны смиряться с мрачным царством невежества и несчастья только потому, что народ, веками пребывавший в рабстве и темноте, не сумел выказать мудрости и спокойствия, свойственных свободным людям, когда часть его оков была разбита. Что поступки его не могли быть иными, как только жестокими и необдуманными, это — тот исторический факт, из которого свобода извлекает урок, а клевета — свои худшие выдумки. Но отлив сменяется приливом, и после недавних бурь он доставит наши потерпевшие крушение надежды в безопасную гавань. Мне думается, что для нынешнего поколения пора отчаяния уже позади.

Французскую революцию можно рассматривать как одно из проявлений общего состояния цивилизованного общества, вызванного несоответствием между уровнем его знаний и политическими порядками, которые следовало улучшить или постепенно отменить. Год 1788-й можно считать годом одного из величайших кризисов, вызванных таким настроением умов. События эти нашли сочувственный отклик в каждой груди. Натуры наиболее благородные и гуманные сочувствовали им более всего. Но от этих событий ожидали одного лишь добра, и притом больше, чем то было возможно. Если бы Революция удалась во всех отношениях, угнетение и суеверия утратили бы самые отталкивающие свои черты — ведь тогда они оказались бы цепями, которые узнику ничего не стоит разомкнуть одним движением пальцев, а не такими, которые разъедают человеческие души своей ядовитой ржавчиной. Жестокость демагогов и восстановление во Франции одной тирании за другой вызвали весьма резкую перемену в отношении к ней, ощутимую на самых дальних окраинах цивилизованного мира. Но разве могли внять голосу разума жертвы, страдавшие под гнетом общественного порядка, который позволяет одним

утопать в роскоши, а других лишает куска хлеба? Разве может вчерашний раб сразу стать свободомыслящим, терпимым и независимым? Это происходит как результат иного общественного строя, которого можно добиться только упорством, решимостью, непоколебимой верой, терпеливым мужеством и непрерывными усилиями целых поколений людей высокой нравственности и высокого ума. Таков урок, преподанный нам опытом. А между тем, при первых же превратностях, постигших французскую свободу, нетерпеливое стремление к благу опередило разрешение этих вопросов и на время угасло — столь неожиданны оказались его результаты. Многие из наиболее пылких и чувствительных ревнителей общественного блага потерпели моральный крах, потому что в их одностороннем восприятии прискорбный ход событий, казалось, возвещал плачевную гибель всех их заветных надежд. Вот почему уныние и мизантропия стали знаменем нашего времени, прибежищем разочарованных, бессознательно находящих облегчение в своенравном преувеличении собственного отчаяния. Эта безнадежность наложила печальный отпечаток и на литературу нашего времени³. Философские*, нравственные и политические сочинения почти всецело сводятся к тщетным попыткам возродить отжившие предрассудки или же к софизмам — вроде рассуждений мистера Мальтуса**⁴, — призванным убедить угнетателей, что власти их не будет конца. Наши романы и стихи омрачены тем же заразительным унынием. Однако мне кажется, что человечество уже выходит из этого оцепенения. Мне думается, что я вижу признаки медленной, постепенной, незаметной перемены. С этой уверенностью я и написал свою Поэму.

Я не пытаюсь в ней состязаться с великими поэтами нашего времени. Не хочу также и следовать по стопам предшественников. Я старался избежать подражания какому бы то ни было стилю или стиху, характерному для его создателя; так что даже если мое творение окажется неудачным, оно все же будет моим собственным. Я не хотел, чтобы внешняя форма отвлекала внимание читателя от того важного, что мне, быть может, удастся создать, и заставляла его удивляться изобретательности, с какою я сумел испортить ему впечатление по всем правилам поэзии. Я просто облек свои мысли в те слова, какие казались мне наиболее ясными и уместными. Кто знаком с природой и с величайшими творениями человеческого гения, тот едва ли ошибется, если в выборе слов доверится инстинкту, который выработался у него благодаря этому знакомству.

* Мне следовало бы сделать исключение для «Академических вопросов» сэра В. Драммонда⁵ — философского сочинения большой проницательности и силы.

** В качестве признака возрождающихся в обществе надежд примечательно, что в новых изданиях своего труда мистер Мальтус приписывает сознательному воздержанию решающую роль в проблеме народонаселения. Эта уступка устраняет все неблагоприятные для совершенствования человека выводы, какие могут быть сделаны из его доктрины, и превращают «Опыт о народонаселении» в комментарий, иллюстрирующий неопровержимость выводов «Политической справедливости».

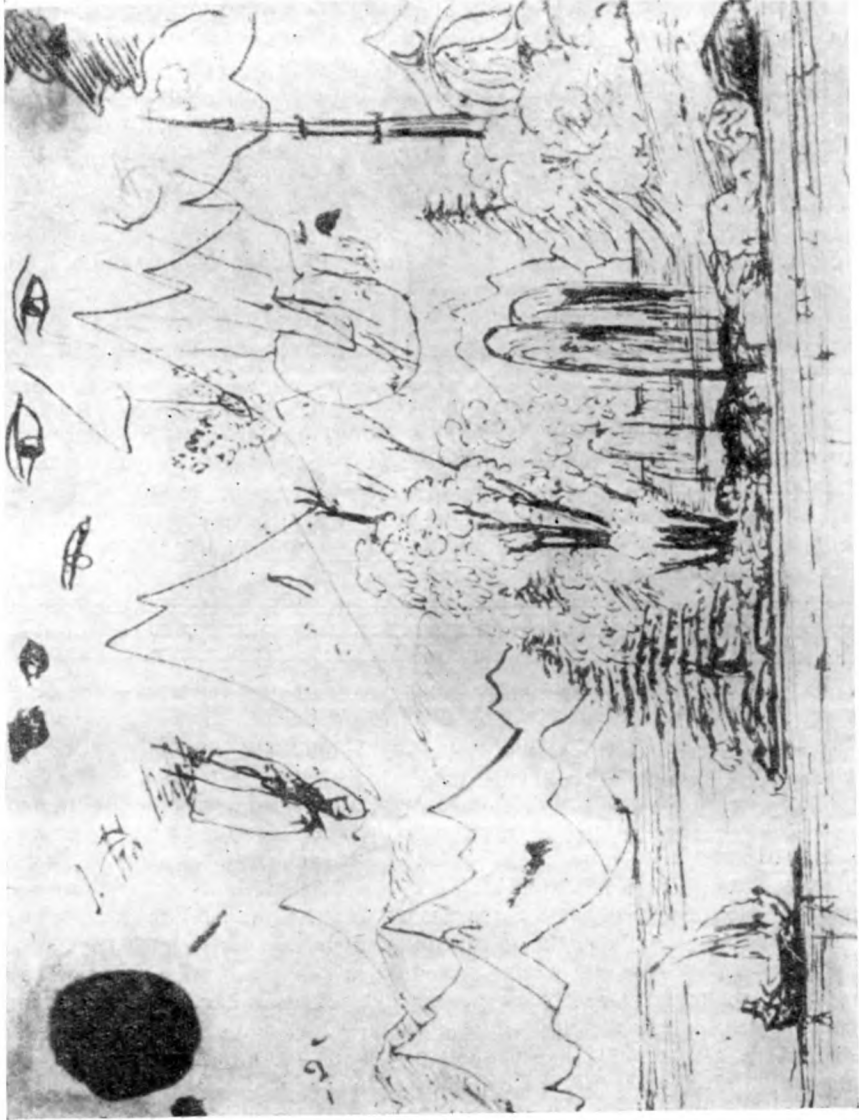


РИСУНОК ШЕЛЛИ НА РУКОПИСИ «ВОССТАНИЯ ИСЛАМА».

Есть школа, особенно необходимая поэту, без чего талант и чувство вряд ли могут служить ему в полной мере. Разумеется, никакая школа не дает права на звание поэта человеку тупому и ненаблюдательному или такому, кто не лишен ни остроты, ни наблюдательности, но у которого мысли с трудом находят путь к выражению. Не мне судить, не принадлежу ли и я к одной из этих разновидностей. Я стремлюсь быть выше их. Обстоятельства моего воспитания благоприятствовали этим стремлениям. Мне с детства знакомы горы, озера, море и лесная глушь. Опасность, ревящаяся на краю пропасти, была подругою моих игр. Я взбирался на альпийские ледники и жил под сенью Монблана. Я бродил по дальним полям. Я спускался по течению могучих рек; плавая днем и ночью вдоль быстрого горного потока, я видел, как вставало и садилось солнце и как зажигались звезды. Я видел шумные города и наблюдал страсти, которые вспыхивают и разгораются среди людских масс, угасают и сменяются другими. Я видел наиболее явные примеры разрушений, приносимых войною и тиранией: города и селения, обращенные в почернелые развалины, и нищих, голодных жителей, сидевших подле своих разоренных гнезд. Я беседовал с современными гениями. Поэзия древней Греции и Рима, современной Италии и нашей собственной страны, подобно природе, была для меня предметом любви и наслаждения. Таковы источники, из которых я черпал образы своей поэмы. Поэзию я рассматриваю в самом широком смысле; я читал поэтов, историков и доступных мне философов* и созерцал величавые красоты природы, видя как в первых, так и во вторых источник тех впечатлений, которые поэт призван сочетать и воспроизвести. Однако это созерцание и эти чувства сами по себе еще не создают из людей поэтов. Они лишь готовят для поэтов читателей. Насколько я обладаю главным даром поэта, т. е. способностью пробуждать в других чувства, которые волнуют мою собственную грудь, — я, откровенно говоря, не знаю; но готовлюсь со всем смирением узнать это из того впечатления, какое произведу на читателей.

Как я уже говорил, я избегал подражания какому-либо из современных стилей. Но между всеми писателями определенной эпохи должно существовать сходство, не зависящее от их воли. Они не могут избежать общего влияния, слагающегося из бесчисленных элементов, характерных для их времени, хотя каждый из них сам в какой-то мере создает это влияние, которое испытывает всем своим существом. Так, трагики Перикла века⁶, итальянцы, возродившие культуру античности⁷, могучие умы нашей страны в период после Реформации, переводчики Библии⁸, Шекспир, Спенсер, драматурги века Елизаветы⁹ и лорд Бэкон** и, наконец, более холодные умы позднейшего периода — в каждой такой плеяде все

* В этом смысле можно говорить о способности литературных произведений к совершенствованию, несмотря на частые утверждения сторонников прогресса человечества, будто эта способность является принадлежностью одних лишь наук.

** Мильтон был в свою эпоху одинок и один озарял ее.

похожи друг на друга и не похожи на последующих. В этом смысле Форда также нельзя назвать подражателем Шекспира, как и Шекспира — подражателем Форда¹⁰. Между ними было мало сходства помимо того сходства, какое порождалось общим и неизбежным влиянием их времени. Этого влияния не может избежать ни последний из писак, ни величайший из гениев любой эпохи; не пытался избежать его и я.

Я избрал спенсерову строфу¹¹ (размер необычайно красивый) не потому, что считаю ее более высоким образцом поэтической гармонии, нежели белый стих Шекспира и Мильтона¹², но потому, что этот стих не может служить прибежищем посредственности; тут надо или пасть, или одержать победу. Именно к этому, пожалуй, и должен стремиться отважный. Но меня привлекло также звуковое великолепие, которое поэт, воспитанный в любви к музыке, может создать в этой строфе посредством верного и гармоничного расположения пауз. Однако кое-где моя попытка совершенно не удалась; и я прошу читателя считать ошибкой все те случаи, когда в середине строфы оказывается, по моей оплошности, александрийский стих.

На этот раз, как всегда, я писал бесстрашно. Бедой нашего времени является пренебрежение писателей к бессмертию и чрезмерная их чувствительность к похвалам или брани современников. Страх перед журнальной критикой не оставляет их, когда они пишут. А ведь подобная критика родилась в эпоху застоя, когда не было поэзии. Поэзия и то искусство, которое хотело бы ее регулировать и ограничивать, не могут ужиться вместе. Лонгин¹³ не мог быть современником Гомера, а Буало¹⁴ — современником Горация. Впрочем, этот вид критики никогда не претендовал на самостоятельность суждений; в отличие от подлинной науки, он всегда следовал за общественным мнением, но не предварял его, а сейчас стремится купить дешевой лестью иных из величайших наших поэтов, чтобы те наложили на свое воображение добровольные цепи и стали невольными сообщниками ежедневного убиения всех талантов, менее смелых или менее счастливых, чем их собственные. Поэтому я стремился писать так, как писали бы, по моему мнению, Гомер, Шекспир и Милтон — с полным пренебрежением к анонимной критике. Я убежден, что клеветники могут вызвать во мне жалость, но не смутят моего покоя. Я пойму выразительное молчание умных противников, которые не решатся заговорить. Из брани, поношений и проклятий я постараюсь извлечь те уроки, которые помогут исправить недостатки, какие критики, вероятно, найдут в этом первом моем серьезном обращении к читающей публике. Если б иные критики были столь же пронизательны, сколь они ехидны, как много пользы можно было бы извлечь из их ядовитых писаний! Но теперь я боюсь, что сам буду язвительно посмеиваться над их жалкими происками и неуклюжими нападками. Если читатели признают мое творение никуда не годным, я склонюсь перед судом этого трибунала, присудившего бессмертие Мильтону; и, если мне суждено

жить, постараюсь в самом поражении почерпнуть силы для новой попытки, которую, быть может, сочтут не лишенной достоинств. Я не думаю, чтобы Лукреций, когда вынашивал поэму¹⁵, составляющую и ныне основу наших философских познаний и удивившую своим красноречием человечество, трепетал перед критикой, какую его творение могло встретить у софистов, состоявших на жалованье у развратной и невежественной римской знати. Когда Греция стала пленницей, а Азия — данником Римской республики, быстро клонившейся к рабству и упадку, множество сирийских рабов, фанатиков непристойного культа Аштарот¹⁶, и множество недостойных преемников Сократа и Зенона¹⁷, став вольноотпущенниками, с грехом пополам кормились тем, что угождали порокам и тщеславию сильных мира. Эти жалкие люди умели с помощью легковесных, но убедительных, на первый взгляд, софизмов учить тому презрению к добродетели, которое является уделом рабов, и тем суевериям — печальнейшей замене добрых чувств, кои, распространяясь из поработенных стран Востока, наводнили Запад. Уж не этих ли людей, не их ли осуждения должен был опасаться мудрый и высокий духом Лукреций? Последний и, может быть, самый недостойный из его последователей и тот не согласился бы принять одобрение из их рук.

Сочинение поэмы, представляемой ныне на суд читателя, заняло немногим более полугода. Я занимался ею с неослабевающим увлечением. По мере того, как она рождалась, я внимательно и строго ее оценивал. Перед тем как выпустить ее в свет, я охотно придал бы ей ту законченность, какую придает долгий труд. Но оказалось, что, выиграв этим кое-что в точности, я рискую утратить свежесть и силу образов и слов, вылившихся из-под пера. К тому же, хотя сочинение потребовало всего шесть месяцев, выраженные в нем мысли медленно созревали в течение стольких же лет.

Я надеюсь, что читатель отличит взгляды, уместные только в устах персонажей, которых они призваны характеризовать, от тех, что принадлежат собственно мне. Так, например, поэма содержит высказывания против ошибочного и низменного представления людей о Верховном Существо, но не против его самого. Суждения некоторых суеверных людей, выведенных мною, — несовместимые с понятием всеблагого провидения, — весьма отличны от моих. Провозглашая необходимость великих перемен во всех общественных установлениях, я избегал взывать к неистовым и злым страстям, всегда готовым омрачить самые благодетельные перемены. Я беспощадно изгоняю месть, зависть и предрассудки. Я прославляю любовь как единственный закон, которому надлежит управлять нравственным миром.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ «ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

Греческие трагики, избирая своей темой какой-либо эпизод национальной истории или мифологии, трактовали его с некоторой свободой. Они вовсе не считали себя обязанными придерживаться принятого толкования или подражать в сюжете, как и в названии, своим соперникам и предшественникам. Подражание равнялось бы отказу от надежды превзойти этих соперников, а ведь именно эти надежды и побуждают сочинителей к их труду. История Агамемнона была показана на афинской сцене в стольких же вариантах, сколько было сочинено о нем драм.

Я позволил себе подобную же вольность. В «Освобожденном Прометее»¹ Эсхила примирение Юпитера с его жертвой было ценою, за которую он купил предостережение об опасности, грозящей его царству, если он вступит в брак с Фетидой. При такой трактовке сюжета Фетиду сочетали браком с Пелеем, а Прометей, с согласия Юпитера, освобождался Гераклом. Если бы я следовал этому образцу, это было бы всего лишь попыткой реконструировать утраченную драму Эсхила; и даже если бы я предпочитал именно такой вариант сюжета, я все же колебался бы осуществить его, боясь напрашиваться на сравнение с высоким образцом. Но мне, по правде сказать, не нравилась столь жалкая развязка, как примирение Защитника людей с их Угнетателем. Нравственная сила мифа, заключенная прежде всего в страданиях Прометей и его непреклонности, была бы сведена на нет, если бы мы могли себе представить, что он отрекается от своих гордых речей и трепещет перед победоносным и коварным противником. Единственным вымышленным образом, сколько-нибудь подобным Прометей, является Сатана²; однако я нахожу образ Прометей более поэтичным, ибо он не только мужествен, величав и с терпеливой твердостью противостоит всемогущей силе, но и свободен от честолюбия, зависти, мстительности и стремления возвеличиться, которые мешают нам вполне сочувствовать герою «Потерянного Рая». Образ Сатаны рождает в наших умах вредную софистику, заставляющую нас взвешивать его вину и его страдания и оправдывать первую безграничностью последних. У тех читателей, которые судят об этом великольном произведении как люди верующие, он рождает даже нечто худшее. А Прометей является образцом нравственного и интеллектуального совершенства, движимым к благороднейшей цели наиболее чистыми и высокими побуждениями.

Моя поэма была сочинена большей частью на холмах, где высятся развалины Бань Каракаллы³, среди усеянных цветами прогалин и ароматных цветущих зарослей, которые причудливо раскинулись там на огромных площадках и головокружительных арках, повисших в воздухе. Синее

римское небо, могучее пробуждение весны в этом дивном краю, ощущение новой жизни, которым она переполняет и опьяняет все наше существо, — вот что вдохновляло меня.

Образы моей поэмы, как в этом убедится читатель, зачастую заимствованы из области человеческой мысли или тех внешних действий, в которых она выражается. Для поэзии нового времени это необычно, хотя Данте и Шекспир изобилуют подобными примерами; Данте — более всех других поэтов и с наибольшим успехом. Но у поэтов Греции, которым были ведомы все способы пробуждать интерес своих современников, этот прием был обычным, и я готов согласиться, чтобы употребление его мною было приписано изучению их творчества (поскольку большей заслуги за мной, вероятно, не признают).

Необходимо оговорить также и то, насколько отразилось в моем сочинении влияние современной литературы, ибо именно это ставится в вину поэмам, которые пользуются — и вполне заслуженно — гораздо большую популярность, чем мои. Невозможно быть современником таких писателей, какие сейчас стоят в первых рядах нашей литературы, и чистосердечно утверждать, что твой слог и направление мысли не подверглись влиянию этих необыкновенных умов. Правда, формы, в какие облеклось их творчество, — но, разумеется, не его дух, — порождены скорее нравственными и интеллектуальными особенностями среды, чем особенностями их собственной личности. Таким образом, немало писателей усвоило форму, — но не дух — тех, чьими подражателями они слывут; ибо первую они получают от своего времени, а второй должен быть грозным разрядом их собственной души.

Особая, яркая и всеобъемлющая образность, отличающая современную литературу Англии, вообще не является результатом подражания какому-либо одному автору. Сумма талантов в любую эпоху примерно одна и та же; но обстоятельства, вызывающие их к жизни, непрестанно изменяются. Будь Англия поделена на сорок республик, по населенности и пространству равных Афинам, у нас нет оснований сомневаться, что при строе не более совершенном, чем афинский, в каждом из них явились бы философы и поэты, равные афинским, которых доньше никто не превзошел (за исключением Шекспира). Великими писателями золотого века⁴ нашей литературы мы обязаны тому бурному пробуждению общественного сознания, которое повергло во прах старейшую и наиболее деспотическую из христианских церквей. Мильтон появился в результате дальнейшего развития того же самого духа. Не забудем, что великий Мильтон был республиканцем и отважным исследователем в области нравственности и религии. А великие писатели нашего времени, как мы имеем основания думать, являются спутниками и предтечами еще небывалой перемены в нашем общественном строе или в убеждениях, на которых он зиждется. Грозовая туча общественного сознания готова извергнуть исполинскую молнию, и соответствие между общественным порядком и

общественной мыслью восстанавливается или должно вскоре восстановиться.

Что касается подражания, то ведь поэзия является вообще искусством подражательным. Она творит, но творит посредством сочетания и воспроизведения. Поэтические абстракции представляются прекрасными и новыми вовсе не потому, что составляющие их элементы никогда прежде не существовали ни в сознании человека, ни в природе; но потому, что образуемое ими целое имеет некую очевидную и прекрасную аналогию с этими источниками наших чувств и мыслей и с их нынешним состоянием; великий поэт — это прекрасное создание природы, которое другой поэт непременно обязан изучать. Отказаться созерцать красоту, заключенную в творениях великого современника, было бы не более разумно и не более легко, чем отказаться отражать в нашем сознании все прекрасное, что есть в окружающем нас мире. Такой отказ был бы самонадеянностью со стороны каждого, исключая величайших гениев; а следствием отказа, даже и для них, была бы вымученность и неестественность. Поэта создает совокупность тех внутренних сил, какие влияют и на природу других людей и тех внешних влияний, которыми эти силы порождаятся и питаются; он не является чем-то одним из них, но сочетанием первых и вторых. В этом смысле сознание любого человека формируется всеми творениями природы и искусства, каждым словом и мыслью, какие на него воздействуют; это — зеркало, где отражаются все образы и где они сливаются в нечто единое. Поэты, как и философы, художники, скульпторы и музыканты, являются, с одной стороны, творцами, а с другой — творениями своего века. От этой зависимости не свободны и самые великие. Существует сходство между Гомером и Гесиодом⁵, Эскимом и Еврипидом, Вергилием и Горацием, Данте и Петраркой, Шекспиром и Флетчером⁶, Драйденом⁷ и Попом⁸; каждую такую пару объединяет родовая близость, в пределах которой располагаются индивидуальные различия. Если эта схожесть является результатом подражания, то я готов признаться, что подражал.

Я хочу при этом воспользоваться возможностью заявить, что мне свойственна «страсть к переделке мира»⁹, как называет это некий шотландский философ; какая именно страсть побудила его написать и опубликовать свою книгу, об этом он умалчивает. Что до меня, то я согласен скорее угодить в ад с Платоном и лордом Бэконом, чем попасть на небо с Пэли и Мальтусом¹⁰. Однако было бы ошибкой думать, что мои поэтические произведения целиком посвящены прямой пропаганде реформы или содержат какую-либо рассудочную теорию жизни. Дидактическая поэзия внушает мне отвращение; все, что может быть с тем же успехом выражено в прозе, в поэзии скучно и излишне. Моей же целью до сих пор было простое ознакомление избранных и одаренных живым воображением читателей поэзии с прекрасными образцами нравственного совершенства; ибо я убежден, что куда душа не научилась любви, восхищению, вере,

надежде и стойкости, рассудочные моральные наставления будут семени, брошенными в дорожную пыль, которые путник беззаботно топчет, хотя они принесли бы ему жатву счастья. Если мне суждено осуществить мой замысел, а именно — написать историю того, что мне представляется важнейшими элементами, составившими человеческое общество, пусть приверженцы несправедливости и предрассудков не надеются, что я возьму за образец Эсхила, а не Платона.

Если я здесь просто и свободно говорю о себе, мне нет нужды оправдываться в этом перед непредубежденным читателем; а предубежденные пусть знают, что, извращая мои слова, они меньше вредят мне, чем собственному уму и сердцу. Всякий, кто наделен, хотя бы и в ничтожной степени, способностью занимать и поучать людей, обязан эти способности упражнять; если попытки его окажутся неудачны, пусть неосуществленная цель послужит ему достаточным наказанием; и пусть никто не старается засыпать его труды прахом забвения; ибо, насыпав ее целый холм, они укажут таким образом место его могилы, которая иначе осталась бы никому не известной.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ «ЧЕНЧИ»

Во время моего путешествия по Италии мне дали копию рукописи, находящейся в архиве Палаццо Ченчи в Риме, с подробным описанием ужасов, которые в 1599 году, при папе Клименте VIII, привели к исчезновению одной из самых знатных и богатых римских фамилий. Рукопись повествует о старике, проведшем жизнь в распутстве и злых делах и воспылавшем неистребимой ненавистью к собственным детям; в отношении одной из дочерей она приняла вид кровосмесительной страсти, отягощенной всеми мыслимыми проявлениями жестокости и насилия. После многих тщетных попыток избежать того, что представлялось ей несмыслаемым позором для тела и души, дочь, вместе с мачехой и братом, замыслила убить их общего мучителя. Молодая девушка, которую толкнула на это страшное дело необходимость еще более страшная, была, очевидно, кротким и нежным существом, созданным, чтобы внушать восхищение, и совершившим насилие над своей природой лишь вследствие роковых обстоятельств. Убийство было вскоре раскрыто, и, несмотря на горячее заступничество многих влиятельных особ в Риме, убийцы были казнены. Старик при жизни не однажды случалось покупать у папы прощение самых черных и несказуемых грехов; это обходилось ему в сто тысяч крон; поэтому казнь его жертв вряд ли может быть объяснена стремлением к справедливости. Среди прочих мотивов, побудивших папу проявить суровость, был, видимо, и тот, что убийцы графа Ченчи лишили

папскую казну верных и обильных доходов *. Подобная повесть, рассказанная так, чтобы показать читателю все чувства ее участников, их надежды и страхи, уверенность и опасения, их различные интересы, страсти и помыслы, которые, взаимодействуя друг с другом, были направлены к единой страшной цели, — такая повесть может осветить самые темные и потаенные глубины человеческого сердца.

Приехав в Рим, я убедился, что упоминание о Ченчи неизменно вызывает у итальянцев глубокий и живой интерес; и что при этом они всегда высказывают романтическое сочувствие страданиям героини, которая вот уже двести лет лежит в земле, и горячо оправдывают кровавое дело, к которому ее вынудили обстоятельства. Ее история была в общих чертах известна всем слоям общества, и все разделяли жгучий интерес, который она, как по волшебству, рождала в человеческом сердце. У меня была копия с портрета Беатриче¹, написанного Гвидо и хранящегося в Палаццо Колонна, и мой слуга тотчас узнал в нем *La Cenci* **.

Именно давняя известность этого события среди всех слоев населения великого города, где воображению всегда готова обильная пища, подсказала мне мысль о его пригодности в качестве сюжета для драмы. Собственно говоря, оно уже представляет собой трагедию, снискавшую успех и одобрение своей способностью пробуждать в людях сочувствие. Мне казалось, что остается лишь облечь его в такие слова и действия, которые смогут дойти до сердца моих соотечественников. Величайший и глубочайший из трагических сюжетов — «Король Лир» — так же как две пьесы об Эдипе², уже существовали в виде преданий и были известны народу, прежде чем Шекспир и Софокл сделали их достоянием всех позднейших поколений.

История семьи Ченчи поистине чудовищна; сухое воспроизведение ее на сцене было бы неприемлемо. Тот, кто берется за подобный сюжет, должен усугубить его поэтический трагизм, но смягчить ужас реальных событий, чтобы поэтичность, заключенная в подобных бурных страданиях и злодействах, уменьшила тяжкое впечатление, вызванное созерцанием морального уродства. Не должно быть также и попыток подчинить это зрелище так называемой назидательной цели. Высочайшее назидание, к которому стремятся лучшие из драм, — это научить человеческое сердце самопознанию через сострадание и гнев; и чем глубже это самопознание, тем человек мудрее, справедливее, искреннее, терпимее и добрее. Если догмами можно достичь большего, тем лучше; но в драме им нет места. Никто не может быть опозорен деянием другого; и лучшим ответом на самые тяжкие обиды является доброта, терпение и решимость

* Прежде папское правительство принимало чрезвычайные меры предосторожности, не допуская огласки фактов, которые так трагически свидетельствуют о его слабости и развращенности; так что вплоть до самого последнего времени ознакомиться с рукописью было делом нелегким.

** Синьорину Ченчи (итал.).

отвратить обидчика от зла кротостью и любовью. Мечь, расправа и икупление являются пагубным заблуждением. Если бы так думала Беатриче, она была бы мудрее и лучше, но не стала бы трагическим характером; те немногие, кого она могла бы заинтересовать, не вывели бы ее на сцене, зная, что их интерес не будет разделен большинством. Ведь именно беспокойное усердие, каким люди выискивают самые изощренные оправдания для Беатриче, чувствуя, вместе с тем, что она нуждается в оправданиях; суеверный ужас, с каким они взирают на ее страдания и мечь, — именно это и придает драматизм тому, что она перенесла и что совершила.

Я попытался изобразить действующих лиц возможно ближе к тому, какими они, вероятно, были, и считал бы ошибкой заставить их руководиться моими собственными понятиями о добре и зле, верными или неверными; тем самым превращая, под прозрачными псевдонимами, людей и события шестнадцатого века в рассудочные воплощения моих собственных мыслей. Я представил этих людей католиками и притом глубоко верующими. Для протестанта есть нечто противоестественное в том постоянном ощущении связи между богом и людьми, каким проникнута трагедия семьи Ченчи. Протестанта особенно поражает сочетание несомненной убежденности в истинах религии с хладнокровной закоренелостью в самых тяжких грехах. Но в Италии религия не служит, как в протестантских странах, плащом, надеваемым только в известные дни; или паспортом, который носят при себе и представляют, чтобы избежать нареканий; или угрюмым стремлением проникнуть в непроницаемые тайники нашего существа — тайники, пугающие самого созерцателя, когда стремление это приводит его на край мрачной бездны. В душе итальянского католика религия сочетается с верою во все, относительно чего люди имеют самые достоверные сведения. Она вплетается в самую ткань жизни. Это — поклонение, вера, смирение, покаяние, слепой восторг, но только не правила добропорядочного поведения. Она не имеет обязательной связи ни с одною из добродетелей. Самый гнусный негодяй может быть набожным и выказывать свою набожность, никого этим не смущая. Религия пронизывает собою все здание общества; и, смотря по тому, в чьей душе она обитает, становится страстью, убеждением, оправданием или прибежищем, но никогда не бывает уздою. Сам Ченчи выстроил во дворе своего замка часовню, посвятил ее апостолу Фоме и заказал мессы на помин своей души. В первой сцене четвертого акта Лукреция дает мужу сонное питье и, рискуя выдать себя, хочет, с помощью выдуманной истории, побудить его исповедаться перед смертью, что почитается у католиков за необходимое условие спасения души; от этого своего намерения она отказывается только когда убеждается, что ее настояния подвергнут Беатриче новым глумлениям.

Сочиняя эту пьесу, я тщательно избегал того, что обычно называют чистой поэзией, и думаю, что там едва ли отыщется не связанное с дей-

ствием сравнение или описание, если не считать таковым монолог Беатриче об ущелье³, где было решено убить отца*.

В драматическом сочинении образы и чувства должны представлять во взаимопроникновении, причем первые служат лишь для развития и выявления последних. Поэтическое воображение подобно бессмертному богу, который, чтобы искупить земную страсть, должен воплотиться в существо из плоти и крови. Поэтому как самые отвлеченные, так и знакомые всем образы равно могут отвечать целям драматурга, если применяются для изображения могучего чувства, которое возвышает все низкое, а высокое делает доступным пониманию и на все отбрасывает отблеск собственного величия. В остальном я был более небрежен, т. е. не был слишком щепетилен и педантичен в выборе слов. Тут я вполне согласен с теми современными критиками, которые утверждают, что истинно тронуть читателя можно лишь с помощью знакомых всем слов и что нам надлежит учиться у наших великих предков, поэтов старой Англии, как делать для нашего времени то, что они сделали для своего. Но это должен быть именно язык *общий* для всех, а не диалект того слоя общества, к которому принадлежит автор. Этого я и пытался достигнуть; что, разумеется, еще не означает успеха, в особенности для того, кто лишь с недавних пор приобщился к драматургии.

В бытность свою в Риме я старался ознакомиться со всеми памятниками, относящимися к моей теме, какие доступны чужестранцу. Портрет Беатриче в Палаццо Колонна великолепен как произведение искусства; Гвидо писал ее, когда она находилась в темнице. Но этот портрет всего примечательнее как правдивое изображение одного из прекраснейших созданий природы. Бледное лицо девушки застыло в каком-то печальном спокойствии; видно, что она сражена горем, но отчаяние смягчается выражением терпеливой кротости. Голова ее окутана складками белой ткани, из-под которой выбиваются и ниспадают на шею пряди золотых волос. Черты ее лица поражают изяществом; брови четко изогнуты; губы говорят о пылом воображении и чувствительности, которых не изгладило страдание и, кажется, не сможет уничтожить даже смерть. Лоб высок и чист; глаза, отличавшиеся, по рассказам, поразительной живостью, опухли и потускнели от слез и все же смотрят нежно и ясно. Весь ее облик исполнен простоты и достоинства, что в сочетании с восхитительной красотой и глубоким горем несказанно волнует зрителя. Как видно, Беатриче Ченчи была одной из тех редких личностей, в которых энергия и нежность уживаются, не вытесняя друг друга; это была натура искренняя и глубокая. Преступления и несчастья, коих она оказалась участницей и жертвой, были точно маска и плащ, в которые облачила ее судьба для выступления на жизненной сцене.

* Одна из мыслей этого монолога была мне навеяна великолепными строками в «El Purgatorio de San Patricio»⁴ («Чистилище святого Патрика» — исп.) Кальдерона; это единственное сознательное заимствование во всей пьесе.

Палаццо Ченчи очень обширен; отчасти он перестроен на современный лад; но большая часть мрачной громады осталась в том виде, как была во время ужасных событий, составляющих сюжет этой трагедии. Дворец расположен в глухой части города, вблизи еврейского квартала; из верхних его окон виден Палатинский холм⁵ с его огромными руинами, наполовину скрытыми за разросшимися деревьями. В одном крыле дворца находится внутренний двор (быть может тот самый, где Ченчи выстроил часовню святому Фоме), окруженный гранитными колоннами, украшенный античными фризами тонкой работы и обнесенный, как то было принято в Италии, ажурными балконами в несколько ярусов. Особенно поразили меня одни из дворцовых ворот, сложенные из огромных камней и ведущие в темный переход, а оттуда — в мрачные подземные помещения.

О замке Петрелла⁶ я не сумел добыть иных сведений, кроме тех, что содержатся в самой рукописи.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ «ЭЛЛАДА»

Поэма «Эллада», написанная под впечатлением недавних событий, является всего лишь импровизацией; если она может оказаться интересной, то единственно благодаря горячему сочувствию автора тому делу, которое он воспевает¹.

На этот сюжет в настоящее время можно пока что писать только в лирическом роде, и если я назвал свою поэму драматической, по тому признаку, что она написана в форме диалога, то это — не бóльшая вольность, чем та, которую допускали иные поэты, именовавшие свои творения эпическими по той лишь причине, что они состоят из двенадцати или двадцати четырех песен.

Первоначальным образцом послужили для меня «Персы» Эсхила; но поскольку исход славной битвы, ведущейся ныне в Греции, еще не решен, здесь невозможна развязка, подобная возвращению Ксеркса и поражению персов². Поэтому я ограничился рядом лирических картин, а на завесе будущего, опускающейся над незавершенным действием, лишь едва намечил образы грядущей победы греков, которая будет способствовать победе цивилизации и общественного прогресса.

Впрочем, драма (если уж называть ее так) настолько незатейлива, что, будучи прочитана с повозки Фесписа³ перед афинскими поселянами на празднествах Диониса, едва ли получила бы Награду козла⁴. Я готов безропотно понести любое наказание, большее, нежели лишение этой награды, к какому сочтут нужным приговорить меня нынешние аристархи. Единственная козлиная песнь⁵, которую я сложил, несмотря на неблагодарный сюжет, снискала больше похвал, чем я ожидал и чем она заслуживает.

Подробности событий, составивших мою поэму, я брал исключительно из общеизвестных источников и я должен просить снисхождения читателей, если вынужден шеголять газетной эрудицией. Вплоть до окончания войны мы не можем получить о ней отчета, достаточно достоверного для историка; но у поэтов есть свои привилегии, и несомненно, что греки совершили деяния высокого мужества, что на море они выиграли не одну битву, а их поражение в Валахии отмечено героическими подвигами, более славными, чем победа⁶.

Равнодушие правителей цивилизованного мира к потомкам народа, которому они обязаны этой цивилизацией и который ныне, на удивление всем, восстал из пепла, является чем-то совершенно непостижимым для каждого простого зрителя на жизненном представлении. Ведь все мы греки. Наши законы, наша литература, наша религия, наше искусство — все они уходят корнями в Грецию. Если бы не Греция, то и Рим — наставник, завоеватель или отечество наших предков — не смог бы нести на своих копьях просвещение, и мы донныне оставались бы дикарями и язычниками, или хуже того, дошли бы до полного общественного застоя, в каком пребывают Китай и Япония.

Человеческое тело и человеческий дух достигли в Греции совершенства, воплотившегося в безупречных творениях, которые даже в виде обломков являются для современного искусства недостижимыми образцами; того совершенства, которое множеством явных или скрытых путей будет облагораживать и восхищать человечество, покуда оно существует.

Современный грек является потомком тех замечательных людей, в которых мы лишь с большим трудом узнаем себе подобных; он унаследовал многое от их чувствительности, быстрой мысли, энтузиазма и мужества. Если моральное и политическое рабство нередко принижает его до самых гнусных пороков, какие ему свойственны, — и низводит его при этом даже ниже обычной глубины падения, — вспомним, что именно самое лучшее порождает при своем распаде самое худшее; и можно надеяться, что нравы, существующие лишь при известном общественном устройстве, исчезнут, как только оно изменится. И действительно, с тех пор как нравы греков нашли верное отражение в превосходном романе «Анастасий»⁷, там уже произошли весьма важные перемены; цвет греческой молодежи, возвратясь на родину из университетов Италии, Германии и Франции, познакомил своих сограждан с новейшими достижениями той цивилизации, истоки которой восходят к их предкам. К началу восстания в Хиосском университете насчитывалось восемьсот студентов, в том числе несколько немцев и американцев. Всяческой похвалы достойны щедрость и энергия многих греческих князей и негоциантов, направленные на возрождение их родины, — энергия и мудрость, какой мало отыщется примеров.

Англичане позволяют собственным своим угнетателям следовать их естественной симпатии к турецкому тирану и тем навлекают на себя

вечное клеймо позорного союза с врагами человеческого счастья, христианства и цивилизации.

Россия стремится завладеть Грецией, а не освободить ее; она хотела бы видеть, как ее исконные враги — турки — и греки, которых она стремится поработить, ослабляют друг друга, пока один из противников, или же оба, не попадут в ее сети. Англия поступила бы мудро и великодушно, если бы помогла борьбе греков за независимость, поддерживая их и против России, и против Турции; но разве угнетатель бывал когда-нибудь великодушен и справедлив?

Если английский народ станет когда-нибудь свободным, он задумается над той ролью, какую сыграли в великой драме возрождения свободы те, кто берется представлять его; и задумается с такими чувствами, которые ему следовало бы испытывать и сейчас. Наш век — это век войны угнетенных против угнетателей, и все вожаки привилегированных банд убийц и мошенников, именуемых государями, ищут друг у друга помощи против общего врага и забывают свои распри пред лицом более грозной опасности. Все деспоты земли входят в этот священный союз. Но в Европе появилось новое племя, вскормленное в ненависти к воззрениям, которые его сковывают, и новые поколения свершают суд, который предпочитают и перед которым трепещут тираны⁸.

Испанский полуостров уже свободен. Франция частично освободилась от вол, которые тщетно стремится возродить ее жестокое, но слабое правительство. В Италии посеяны семена кровопролитий и бед, и, чтобы собрать жатву, там подрастает могучее племя⁹. Мир ждет теперь только вестей о революции в Германии, и мы увидим, как тираны, понадеявшиеся на тамошнюю косность, будут низвергнуты в пропасть, откуда им уже не подняться. Эти враги человечества хорошо знают, кто их противник, когда приписывают греческое восстание тому же духу, которого они так страшатся во всей Европе; а этот противник отлично знает их мощь и их коварство и подстерегает неизбежную минуту их слабости и раздоров между ними, чтобы вырвать из их рук окровавленные скипетры.

О «МАНДЕВИЛЕ» ГОДВИНА

Письмо редактору «Экзаминера»

Сэр!

Автор «Мандевилля» является одним из выдающихся умов нашего времени. Он обнаруживает многообразие и широту талантов, отличающие тех, кому суждена прочная слава, от авторов, снискавших лишь временную известность. Если б его заслуги заключались только в его обширных и глубоких исследованиях в науках нравственных и политических, то и тогда ему трудно было бы найти соперника. Отбросим все положения его нравственной философии, которые могут быть спорными, и будем говорить лишь о тех, которые достаточно высказать, чтобы установить, и которые принадлежат к самым важным истинам, так что провозгласивший их скорее напоминает о них человечеству, чем поучает его.

«Политическая справедливость»¹ представляет собой первую систему нравственной философии, основанную на отрицании прав и утверждении обязанностей, — смутное прозрение ее составляет основу всякой политической свободы и всякой личной добродетели. Но автор ее является также автором «Калеба Вильямса»²; и если бы от него сохранился всего лишь один из отрывков, рисующих образ Фокленда, мы и тогда несомненно сказали бы: «Вот необыкновенный интеллект, который наверняка был способен к величайшим свершениям».

«Сент-Леон» и «Флитвуд»³, хотя и не стоят на столь высоком уровне, отмечены тем же сочетанием тонкости и силы. «Опыт о гробницах»⁴ написан со всей серьезностью и глубиной чувства, отличающей человека, который, как о близком друге, печется о будущих поколениях и разделяет заботы поколений минувших.

Поистине Годвин не оценен по достоинству теми из своих соотечественников, от которых зависит прижизненная известность. Если б он употребил свои таланты на то, чтобы льстить себялюбью богачей, или проповедовать учения, нужные власти имущим для укрепления их власти, они в награду, без сомнения, оказали бы ему поддержку, и он мог бы греться в лучах этого солнца получше мистера Мальтуса или доктора Пэли⁵. Но различие между ними осталось бы столь же велико, сколь велика разница между известностью и славой.

В области нравственной философии Годвин является для нашего времени тем же, чем Вордсворт — в поэзии. Личные интересы этого последнего, вероятно, пострадали бы от служения принципам истинного вкуса в поэзии не меньше, чем прижизненная репутация Годвина пострадала от смелого утверждения им истинных основ нравственности; однако то не-

согласие с мнениями сильных мира, какое высказывал Вордсворт, оказалось легко совместимо с услужливостью, искательством и подчинением предрассудкам. Примечательно, что другие страны Европы предвосхищали суждение потомков; что имя Годвина, а также замечательной женщины — его покойной жены⁶, — с уважением произносится там даже теми, кто мало знаком с английской литературой; и что сочинения Мери Уолстонкрафт переведены и широко читаются во Франции и в Германии, тогда как у нас ее голос давно заглушен фанатичными противниками.

«Мандевиль» является последним произведением Годвина. Этот роман бесспорно не уступает «Калебу Вильямсу», а кое в чем превосходит его. Правда, там нет образа, подобного Фокленду, которого автор, силою искусных доводов, призывающих к терпимости и снисходительности, вынуждает нас полюбить, хотя его поступки не перестают нас поражать и возмущать. Мандевиль вызывает у нас сострадание, но не более. Его заблуждения имеют глубокие внутренние причины, из коих главной является врожденная подозрительность, скоро переходящая в ненависть, презрение и бесплодную мизантропию; а когда при этом отсутствуют гений или добродетель, то и плоды соответствуют почве, на которой выросли. Заблуждения Фокленда имеют своим источником высокое, хотя и неправильное, понимание достоинства человеческой природы, пылкое сочувствие к людям и убеждение, что человек незапятнанной репутации должен идти своим путем, недоступный скверне и никому не обязанный отчетом. Если можно упрекнуть автора за то, что он поставил в центре повествования фигуру, не выдерживающую сравнения с Фоклендом, тогда «Мандевиль» заслуживает этот упрек. Но если многообразие человеческих характеров, глубина и сложность человеческих побуждений, от которых идет и сила человека, и его слабость и которые вызывают к нашему снисхождению и нашей терпимости — если все это достойно быть изображенным в изящной литературе, тогда «Мандевиль» не уступает в увлекательности и значительности ни одному из сочинений нашего автора.

Язык романа богаче и разнообразнее, красноречие больше ласкает слух, не утрачивая при этом силы и ясности, характерных для «Политической Справедливости» и «Калеба Вильямса». Нравственные размышления отличаются большей последовательностью и смелостью, чем в других романах автора. Речь Генриетты, обращенная к очнувшемуся от безумия Мандевилю, где она призывает его к добродетели и к деятельности на благо людей, составляет прекраснейшую страницу современной литературы. Это — учение «Политической Справедливости», изложенное удивительно ясно и выразительно и облеченное в слова столь благозвучные, что о них, почти как о писаниях Платона, можно сказать вслед за Мильтоном:

Прекрасна философия! И не темна,
И не суха, как думают тупицы,
Но сладкозвучна, словно лютня Феба⁷.

Хороша также речь Клиффорда о богатстве, в которой легко отделить истину от заблуждений. Образ Клиффорда, лишенный обычных черт возвышенного, может быть, однако, назван возвышенным — так пленительна его чистота. Первая встреча Генриетты с Мандевилем в его поместье сверкает всеми красками расцвета жизни; она приводит на память многие видения — или, пожалуй, только одно: то видение, которое обманчивый восторг первых, еще не разбитых, надежд одевает розовым сиянием зари, но которое, в отличие от зари, однажды погаснув, не возвращается никогда. Генриетта представляется всем, что впечатлительное сердце видит в предмете своей первой любви. Мы едва можем ее разглядеть — так она прекрасна. Ее окружает сияние ослепительной прелести, скрывающее от глаз все, что есть смертного в ее бессмертной красоте. Но сияние постепенно гаснет, и вот она уже «неразличима в тусклом свете будней»⁸. Ее поступкам и даже чувствам недостает той возвышенности, которая отличает ее воззрения, и той бесстрашной чистоты, которая должна сопутствовать — и сопутствует — правдивости и добродетели. А Генриетта раздваивается в своих чувствах. Как могла чистейшая Генриетта в своей любви к Клиффорду считаться с пустыми и унижительными случайностями богатства и известности и с болтовнею жалкой старухи, как могла она, выслушав страстные и безумные речи Мандевила, без колебаний идти на свой брачный пир?

Быть может, это даже хорошо, что писатель показал, как рушатся людские надежды, ибо иначе его картина была бы освещена одним только лучом; он искусно доказал нам, что «все суета» и «дом плача об умершем... лучше дома пира»⁹; а мы должны быть признательны тем, кто дает нам почувствовать неустойчивость нашей природы, дабы мы накапливали знания, служащие ей прочным основанием, и лелеяли в душе привязанности, надежно ее скрепляющие. Но нам жаль, что Генриетта, которая в своих взглядах настолько опередила своих современниц и была столь прекрасна, что казалась среди людей неземным созданием, — что эта Генриетта поступала и чувствовала так же, как самые заурядные существа ее пола; и еще более жаль, что автор, способный задумать нечто столь прекрасное и достойное восхищения, из-за избранной им темы не осуществил вполне своего замысла. Быть может, в образе Генриетты он хотел выразить нечто слишком значительное и необычное, чтобы его можно было осуществить; и эта мысль оставляет в нас некое разочарование.

Однако все это по сравнению с главным предметом романа представляет собой лишь внешние подробности. Поток событий, все более мрачный и быстрый, движется закономерно и неотвратно, как сама судьба; мы не испытываем потрясения; мы с самого начала готовы к худшему, хотя и удивляемся, где писатель берет тени, от которых моральный мрак так сгущается и становится к концу полным и зловещим. Повествование стремительно и глубоко овладевает нами. Сопротивляться ему столь же тщетно, как паутине лететь против бури. В этом отношении роман превос-

ходит «Калеба Вильямса»; события в «Калебе Вильямсе» развиваются столь же быстро, как и в «Мандевиле», но он менее глубок. «Мандевиль» же подобен ветру, вздымающему волны с самого дна океана мысли. По мере приближения к концу он все более властно увлекает читателя. И вот наконец слово Smorgia* задевает какую-то струну, которая отзывается в глубинах души и, кажется, ранит ее до крови; и нам чудится, что усмешка, с какою Мандевиль сходит в могилу, отражается в этот миг на нашем лице.

Р[ыцарь] Э[льфов]

О РОМАНЕ «ФРАНКЕНШТЕЙН»

Роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» уже по одной своей фабуле несомненно представляет собой одно из наиболее оригинальных и цельных произведений последнего времени. Читая его, мы с изумлением спрашиваем себя, каковы могли быть размышления — и каков жизненный опыт, приведший к ним, — которые породили в воображении автора поразительные сочетания мотивов и событий и сокрушительную финальную катастрофу, составляющие эту повесть. Быть может, по некоторым второстепенным признакам можно заключить, что она является первой пробой пера. Однако это суждение, основанное на тончайших различиях, может быть и ошибочным; ибо роман от начала до конца написан твердой и уверенной рукой. Интерес постепенно возрастает по мере того, как повествование близится к концу с нарастающей скоростью камня, катящегося по склону. Мы следим, затаив дыхание, как событие громоздится на событие, а страсть вызывает ответную страсть. Мы кричим: «Постойте! Довольно!» — но впереди нас ждут все новые события; подобно жертве, о которой повествует автор¹, мы думаем, что больше не вынесем, но предстоит вынести еще. Пелион громоздится на Оссу, а Осса на Олимп². Мы взбираемся на одну вершину за другою, пока взору не открываются беспредельные дали; голова у нас кружится, и почва уходит из-под ног.

Главным достоинством романа является способность возбуждать глубокие и сильные чувства. Перед нами предстают изначальные побуждения человека; и, пожалуй, только те, кто привык углубляться мыслью в их истоки и направление, смогут вполне понять вытекающие из них действия. Но так как все они основаны на человеческой природе, то едва ли найдется читатель, способный интересоваться хоть чем-нибудь кроме новой любовной истории, который не отозвался бы на них какой-то из сокровенных струн души. Ибо изображаемые чувства столь нежны и

* Эд.: гримаса (итал.).

невинны — образы второстепенных персонажей этой необычайной драмы озарены столь мягким светом — картины домашней жизни просты и трогательны; пафос повествования глубок и могуч. Самые злодеяния и ярость одинокого Чудовища³ — как ни жутки они — не вызваны роковым стремлением к злу, но неизбежно следуют из известных причин, которые вполне их объясняют. Они являются как бы порождениями Необходимости и Человеческой Природы. В этом и заключается мораль книги — вероятно, наиболее важная и наиболее общезначимая мораль из всех, какие можно внушить с помощью примеров. Причините человеку зло, и он станет злым. Ответьте на любовь презрением; поставьте человека, по какой бы то ни было причине, в положение отверженного; отлучите его, существо общественное, от общества, и вы неизбежно принудите его быть злым и себялюбивым. Именно так слишком часто происходит в обществе: тех, кто скорее других могли бы стать его благодетелями и украшением, по какому-нибудь случайному поводу клеймят презрением и, обрекая на душевное одиночество, превращают в бич и проклятие для людей.

Чудовище в «Франкенштейне» несомненно является устрашающим созданием. Оказавшись существом общественным, оно не могло не встретиться у людей того приёма, какое встретило. Это был урод, аномалия; хотя душа его, под воздействием первых впечатлений, была любящей и чувствительной, происхождение его столь необычно и страшно, что когда выявились все последствия этого, первоначальная доброта превратилась у него в мстительность и неукротимую ненависть к людям. Сцена в хижине между Чудовищем и слепым Де Лэси является одним из высочайших образцов патетического, какие мы можем вспомнить. Читать этот диалог — как и многие другие, подобные ему, — невозможно без того, чтобы сердце не замирало и «слезы не струились по щекам»⁴. Встреча и спор Франкенштейна с Чудовищем на ледяном море по своей силе приближается к спору Калеба Вильямса с Фоклендом. Она действительно несколько напоминает по своему стилю и характерам замечательного писателя, которому автор «Франкенштейна» посвятил свою книгу и с творчеством которого он, очевидно, хорошо знаком.

Впрочем, следы чего-либо похожего на подражание можно найти лишь в одном эпизоде романа: высадка Франкенштейна в Ирландии. Общий же характер его не имеет себе подобных в литературе. После гибели Элизабет действие, словно поток, который в своем беге становится быстрее и глубже, приобретает грозное величие и великолепную силу бури.

Сцена на кладбище, когда Франкенштейн навещает могилы своих близких, его отъезд из Женевы и путь через татарские степи к берегам Ледовитого Океана похожи одновременно на жуткие движения ожившего трупа и на странствия некоего духа. Сцена в каюте у Уолтона — исполненная величия речь, какую Чудовище произносит над трупом своей жертвы, — свидетельствуют о силе интеллекта и воображения, которую — как несомненно признает читатель, — редко кому удавалось превзойти.

О ВОЗРОЖДЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ

В XV веке нашей эры новые и чрезвычайные события пробудили Европу от летаргического сна и положили начало ее нынешнему величию. Творения Данте в XIII веке и Боккаччо — в XIV были яркими светочами, дарившими проблески литературных познаний путнику, вынужденному взбираться на холм славы почти что в полном мраке. Но после взятия Константинополя¹ заблестал внезапно новый свет; темные тучи невежества рассеялись; в Европу нахлынуло множество ученых монахов, а еще больше — ученых рукописей, которые они увезли с собою с пепелища. В Константинополе водворились турки, не переняв у греков ничего, кроме их пороков; они пренебрегли даже теми остатками их древней цивилизации, которые, хотя и ослабленные и испорченные нелепым смешением языческих и христианских воззрений, будучи перенесены в Европу, оказались искрой, постепенно зажегшей над миром свет знания.

Италия, Франция и Англия — что касается Германии, то она еще на несколько столетий осталась менее цивилизованной, чем ее соседи, — кишели монастырями и монахами. Суеверия, касающиеся как земного, так и небесного, донныне остаются тем ярмом, которое приковывает человека к земле, не давая его гению воспарить в родную небесную стихию. Достижения человеческого разума поразительны, если не более; создания природы материальны и осязаемы; мы уже отчасти прозреваем их сущность и зачастую точно предсказываем их действие. Но дух, по-видимому, управляет миром без каких-либо видимых и осязаемых средств. Рождение его неведомо; действие и влияние незаметно; а существование, очевидно, вечно. Для гуманиста и философа нет ничего прискорбней, чем размышления о том, насколько суеверия задержали духовное развитие, а, следовательно, и счастье человека.

Монахи в своих обителях занимались пустыми и смехотворными диспутами; они довольствовались тем, что преподносили своей пастве догмы религии, а затем нетерпеливо устремлялись в университетские залы, где спорили со злобою и ехидством, плохо вязавшимися с их притязаниями на святость. Но жизнь монаха — это самое противоестественное, что только мог создать фанатизм, столь изобретательный в жестокости; пороки монахов можно извинить, ибо такими они стали по воле нескольких надменных и черствых прелатов, поработивших мир, чтобы самим жить в нем привольно.

Монастырские диспуты были почти всегда схоластическими; то были споры о словах, не имевшие отношения к нравственности. Нравственность — это великое орудие и, вместе с тем, великая цель человека, — по их утверждению, полностью умещалась на нескольких сотнях страниц некоей книги, которую другие с тех пор объявили всего лишь отрывками предсмертных изречений мучеников, кем-то собранными и навязанными нам. В хитросплетениях схоластической философии человечество рисковало утратить последние крохи истинной мудрости, какие у него еще оставались; единственно ценным в этих диспутах были попытки развить взгляды философов-перипатетиков². Платон, мудрейший и наиболее глубокий из древних мыслителей, и Эпикур, наиболее кроткий и человечный из них, находились у монахов в полном пренебрежении. Платон противоречил их своеобразным взглядам на небесные дела, а Эпикур, защищавший право человека на радость и счастье, был бы чересчур соблазнительным контрастом их мрачному и убогому нравственному кодексу. Уверяют, правда, будто святые отцы тешились на досуге тайным поклонением Эпикуру и профанировали философию, которая отстаивала права всех, себялюбиво пользуясь правами для немногих. Так обстоит дело: законы природы неизменны, и человек отрекается от них для того, чтобы иметь удовольствие сквозь лабиринты трудностей идти к ним снова.

Откровенное и невинное удовольствие по какой-то странной логике именуют пороком; а между тем человек (так крепко держит его цепь необходимости — так неодолимо стремится он исполнить свое земное предназначение) — человек ищет его любой ценой, а потому становится лицемером и готов на муки ада.

Греческая литература — лучшая из всех когда-либо созданных — была наконец возвращена миру; мы узнали ее из манускриптов, уцелевших от времени, от готов и еще более свирепых турок. Большим бедствием был пожар в Александрийской библиотеке³. В этой библиотеке, как говорят, хранились сочинения лучших греческих авторов.

ЗАМЕТКИ О СКУЛЬПТУРЕ РИМА И ФЛОРЕНЦИИ

I

АРКА ТИТА¹

На внутренней стороне Арки Тита есть барельеф, изображающий разгромленный город. По одну сторону — стены Храма, объятые пламенем и готовые обрушиться. На заднем плане показано все, что сопровождает взятие города: сбившиеся в кучу девушки, матери, дети и старики; разгул жестокой, разнузданной солдатни. На переднем плане — шествие победителей, несущих оскверненные ими священные подсвечники, столы для хлебов и прочие предметы иудейского культа. На противоположной стороне, в противовес этой печальной картине, представлен увенчанный лаврами Тит, стоящий на колеснице, запряженной четырьмя конями, среди толпы своих победоносных воинов, в то время как пленные жрецы, военачальники и философы влекутся за ним в цепях. Позади него стоит Победа с орлиными крыльями.

Сейчас арка обратилась в развалины, а барельефы, видевшие смену пятидесяти поколений, почти стерлись. Позади этого памятника, увековечившего поражение иудеев, видна гробница их победителя, ныне сама ставшая прахом.

Амфитеатр Флавиев² сделался обиталищем сов и летучих мышей. От могущества, которое он некогда олицетворял и которому сейчас служит памятником, осталось одно лишь воспоминание. Нет Иерусалима, но нет и Рима.

II

ЛАОКООН³

Сюжет Лаокоона неприятен, но по композиции и выполнению он может поспорить с лучшими из дошедших до нас древних памятников. Скульптура изображает отца и двух его сыновей. Байрон находит, что Лаокоон страдает не за себя, а за детей, и что муки смертного соединяются у него с терпением небожителя. Но это не так. Главное, что выражает образ Лаокоона, — это жестокое физическое страдание, против которого он протестует со всем сознанием его несправедливости, обратив к небу полное отчаяния лицо; и вместе с тем лицо это исполнено достоинства, которое облагораживает пытку.

Перейдем теперь к его детям. В их чертах и позах видна безграничная сыновняя преданность и любовь, поглотившая все иные чувства. Особенно это заметно у старшего. Глаза его обращены на Лаокоона, он тянется к нему и как бы сливается с ним. Особенно красноречива рука, которую он протянул к отцу не за помощью, а словно инстинктивно стремясь сам ее оказать. Нет ничего восхитительнее очертаний его лица и тела и выражения губ, приоткрывшихся не для жалобы или мольбы, — ибо он сознает их бесполезность, — а для нежных слов утешения несчастному родителю. Телесная мука выражена у него только в приподнятой правой ноге, которую он тщетно пытается высвободить из сжимающих ее мощных тисков.

На лице младшего мальчика написаны удивление, боль и отчаяние. Он не достиг еще того возраста, когда рассудок достаточно зрел и тверд, чтобы понять бедствие, постигшее его и его близких. Он обезумел от ужаса. Мы словно слышим его крики. Лево́й рукой он отталкивает голову змеи, вонзившей зубы ему в бок, и его тщетные, безнадежные попытки вырваться усиливают впечатление. Каждый член, каждая мышца, каждая жила Лаокоона с удивительной верностью изображают действие яда и удушающую тяжесть страшных колец змеи, столь запутанных, что их невозможно проследить глазом. Никогда еще резец скульптора не высекал с такою правдой и силой напрягшиеся мускулы руки, которая стискивает шею чудовища и вот-вот удушит его; а пасть огромного аспиды с явственно видными страшными зубами, готовыми пронзить сердце жертвы и там сомкнуться, заставляет зрителя, увидевшего это чудо скульптуры, отвернуться с содроганием, усомнившись в реальности увиденного.

XXIX

ВАКХ И АМПЕЛ⁴

Они здесь менее прекрасны, чем в неаполитанском королевском собрании, но все же удивительно хороши. Фигуры как бы неспешно движутся, бесе́дуя на ходу, и это выражено в их плавных, грациозных движениях. Одна рука Вакха покоится на плече Амπεла; другая красиво вытянута вперед, в такт движению ноги, и все ее пальцы с гибкими суставами кажутся одушевленными. Его сандалии и поножи скреплены двумя змеиными головами, а нога обвита змеями. Он увенчан виноградной лозой, отягченной крупными гроздьями; ее привядшие листья свисают на густые волосы, которые красиво разделяются на лбу и легкими локонами ниспадают на шею и грудь. Амπεл, облаченный в звериную шкуру, держит в правой руке чашу, а лево́й полуобнимает стан Вакха. Такими, где-нибудь на уединенной поляне школьного сада, вы могли бы видеть (но видите редко, из-за тирании разъединяющих обычаев) младшего и старшего школьников, связанных нежною дружбой, столь похожей на лю-

бовь. — Прелестное лицо Вакха выражает нежную шаловливость, как бы в ответ на лукавый взгляд Амπεла, обратившего к нему веселое лицо, точно он предлагает другу какую-то забавную проделку. Лицо Вакха полно божественной красоты того, кто проходит по жизни, неоскверненный ее низменными заботами; того, кто бессознательно, но радостно дарит окружающим счастье и покой. Грациозные округлости его груди и живота, переходящие одна в другую, плавно продолжают в нижних конечностях. Это похоже на гармонический аккорд, объемлющий душу и оставляющий в ней удивленное и радостное удовлетворение; это похоже на счастье любви, когда утоленное желание оставляет по себе светлую радость. Лицо Амπεла выполнено во всех отношениях хуже; оно кажется грубым; но Вакх сияет бессмертной красотой.

XXXIII

ВЕНЕРА АНАДИОМЕНА⁵

Она словно только что вышла из вод и еще радуется их свежести. Вся она — мягкая и нежная радость, и изогнутые линии ее прекрасного тела переливаются одна в другую с бесконечной прелестью. Лицо ее выражает томление любви, но это — тихая, невинная нега, чуждая притворства, чуждая сомнений; это и желание, и наслаждение, и приносимая ими радость.

Губы не выражают бурной страсти, как⁶ или величавого вдохновения, как у Аполлона Капитолийского⁷, или сочетания всего этого, какое мы видим у Аполлона Бельведерского⁸; они полны лукавого, но чистого и ласкового желания; уголки рта, приоткрытые порхающей вокруг них улыбкой, их трепетный изгиб, выражающий неутолимое вожделение, чуть видный кончик языка, как бы в истоме прильнувший к нижней губе, — все говорит о любви и только о любви.

Глаза затуманены наслаждением; маленький лоб образует над ними легкую выпуклость, а затем впадину, и эта линия переходит на щеки, придавая лицу выражение простодушной нежности.

Округлая шея вздымается, точно от счастливого вздоха, и плавно сливается с безупречными линиями тела.

Тело это поистине совершенно. Она наполовину приподнялась, выходя из раковины, и все ее округлые, безупречно изваянные члены вместе с тем дышат энергией и жизнью. Вас поражает совершенство, с каким переданы линии ее слегка изогнутой спины, переходящие в бедра, и мышцы живота, подчеркивающие ее позу. Положение ее рук, красота которых превосходит воображение, естественно и непринужденно. Это, вероятно, самое прекрасное в античной скульптуре изображение Венеры, богини чувственного желания. Такие грушевидные, острые, вечно девственные груди могли бы быть у девы Марии, но увы! [...]

XXXIV

СТАТУЯ МИНЕРВЫ⁹

Рука статуи реставрирована. Голова ее прекрасна. На ней плотно прилегающий шлем, из-под которого выбиваются волосы, разделенные на лбу. Обращенное вверх лицо открывает взору шею безупречной формы и полный, красиво очерченный подбородок, который у живых людей служит признаком прямой и цельной натуры. Поднятое к небу лицо выражает глубокую и страстную серьезность, жаркую и сосредоточенную мольбу не о себе, а о чем-то общем неотвратимом горе. В этом лице — сладость и поэзия печали, которая делает горе прекрасным и к чувству, именуемому на несовершенном человеческом языке болью, — хотя в нем не только боль, — примешивает нечто такое, что заставляет не одного лишь испытывающего это чувство, но и зрителя, предпочитать его тому, что называется удовольствием, — и всегда бывает не только удовольствием. Трудно поверить, что эта голова, при всей ее возвышенной красоте, изображает Минерву, хотя на это указывают и атрибуты, и положение нижней половины статуи. Греки редко изображали на лицах своих божеств волнение человеческих чувств (если только не причислять к таким чувствам поэтическое вдохновение Аполлона); а здесь божественное лицо оживлено глубокой и страстной тоской. Оно поистине божественно; мудрость, олицетворенная в Минерве, возносит мольбу к Верховному Могуществу и тоскует оттого, что мольба ее напрасна. У ног статуи сидит сова. Складки одежды, прекрасные ноги, исполненная красоты поза — все это можно видеть у многих других статуй той необыкновенной эпохи; но такое лицо — редкость.

Статуя стоит на алтаре, покрытом рельефными изображениями, выполненными в совершенно ином духе. Возможно, что алтарь предназначался для культа Вакха или для погребальной урны. На нем написано: D. M. M. ULPIUS. TERPNUS. FECIT. Sibi et Ulpiae Secundillae libertae. В. М. *

Под гирляндами плодов и цветов¹⁰ по углам козлиными черепами, посредине — опрокинутым цветком на скрученном стебле, изображены четыре менады, на которых снизошло божественное исступление. Трудно вообразить что-либо более дикое и страшное, чем судорожные жесты, исказившие их прекрасные, стройные фигуры. Впрочем, ничто здесь не переходит границ возможного в природе, хотя и приближается к ним.

Суеверный экстаз, усиленный опьянением и доходящий до безумия, подхватил их, словно вихрь, и несет по земле, как буря мчит крутящийся смерч; как горный поток несет и крутит листья. Их распущенные волосы вьются вослед их бурному бегу, лица запрокинуты назад в каком-то

* Ульпиус Терпнус воздвиг себе и Ульпии Секундилле, отпущеннице (лат.).

странном изнеможении и глядят в небо, а сами они, спотыкаясь, кружатся в неистовом танце. Одна из них — быть может, Агава с головою Пенфея¹¹ — держит в одной руке человеческую голову, а в другой — длинный нож; вторая потрясает увенчанным сосновой шишкой копьем, которое служило им тирсом; третья пляшет в сладострастном иступлении; четвертая ударяет в некое подобие тамбурина.

То было поистине чудовищное суеверие, возможное только в Греции, ибо только там идеальная красота и высокое поэтическое вдохновение могли сочетаться с безумными заблуждениями, пристекавшими из них же. В Риме все было более обыденно, все злее и суше, — такие вещи были чужды строгим и точным понятиям римлян; а когда этот культ нарушил их строгую нравственность, она пострадала гораздо сильнее, совсем не так, как у греков, у которых все — и суеверия, и предрасудки, и убийства, и безумие — все становилось Красотой.

LX НИОБЕЯ¹²

Из всех скульптур древней Греции эта, быть может, наиболее совершенна по красоте лица, подобно тому, как ватиканский Аполлон¹³ превосходит всех красотой тела. Размеры фигуры колоссальны; размеры произведения искусства умножают его красоту, ибо дают зрителю больше возможностей рассмотреть с разных сторон все бесконечные оттенки выражения, составляющие любое произведение, близкое к совершенству; здесь это — образ матери, стремящейся защитить от гибели последнее свое дитя.

Ребенок, потрясенный непостижимой гибелью сестер и братьев, бросился к матери, спрятав голову в складки ее одежды, простирая руку к той, у которой он доныне всегда и от всего находил защиту; и кажется, будто мрамор трепещет от ужаса. На ребенке надета легкая туника из тончайшей ткани, а волосы собраны в узел, вероятно, заботливой матерью, которой уже не суждено это делать больше. Ниобея левой рукой придерживает просторные одежды, инстинктивно укрывая ими дитя, хотя разум и говорит ей, что беда неотвратима. Правой рукой — и это верно понято реставратором, — она прижимает к себе ребенка и тем же инстинктивным движением успокаивает его. Но лицо ее — высшее воплощение величавой женской красоты, какое может создать воображение, подлинный шедевр поэтической гармонии в мраморе, — лицо ее выражает иные чувства. На нем читается сознание неизбежности рока, который словно уже наступил ее. Отчаяние и красота сочетались здесь, чтобы выразить божественное очарование горя. Если поза статуи выражает бессознательную веру в возможность защитить дитя и привычное стремление ласково успокоить его в своих объятиях, где оно до сих пор всегда находило убежище, — то лицо показывает, что разумом она поняла, как бессильны здесь смертные.

В этом лице нет страха — одно лишь глубокое горе. В нем нет гнева, — ибо что пользы гневаться на всемогущих богов? Нет в нем и селялюбивой боязни собственного страдания; нет и ужаса перед сверхъестественной силой — словом, нет ни единой мысли о себе. Постигшая ее беда столь велика, что не оставляет места для этих чувств.

Все поглотило горе. В ожидании неотвратимой стрелы, которая настигнет жертву, укрывшуюся в ее объятиях, она обратила лицо к своей всемогущей противнице¹⁴. Невозможно в скульптуре достигнуть большего, чем это потрясающее своей красотой воплощение отчаяния, спокойного и вместе с тем безутешного. Когда стрела поразит последнее ее дитя, Ниобея, как гласит миф, разольется фонтаном слез; но это будет лишь слабым символом того безысходного горя, в котором, мы это чувствуем, протекут оставшиеся ей годы.

О красоте ее лица трудно говорить: трудно передать словами, какими средствами достигнуто подобное совершенство. Голова ее несколько откинута назад на полной, красиво очерченной шее, словно в ожидании неотвратимого удара. Волосы красиво разделены надо лбом, и осененный ими широкий и чистый лоб сияет кроткою красотой. Все лицо тоже широко: черты его изваяны со смелюю гармоничностью уверенного в себе мастера. В этом есть нечто, напоминающее величественную небрежность, с какою Природа создает те редкие и лучшие свои творения, в которых гармония внешних форм рождается из гармонии внутренней. И все это не только совместимо, но и неразлучно с той ясной и нежной прелестью, которая является выражением одновременно душевной невинности и душевной высоты, чистоты и силы — всего, что затрагивает во мне сокровеннейшие струны, что рождает внутри меня музыку, а внешние чувства поражает изумлением. Чтобы увидеть это, взгляните на статую сперва спереди, а потом из-под ее левой руки, подвигаясь вправо до тех пор, пока линия лба не совпадет с линией кисти.

О ДЬЯВОЛЕ И ДЬЯВОЛАХ

Определение природы и деятельности Дьявола составляет изрядную часть европейской мифологии. Кто он или что, откуда, где пребывает, что ему суждено и насколько он силен — таковы вопросы, которые затрудняют даже самых хитроумных богословов и на которые не решается прямо ответить ни один верующий. Дьявол — это слабое место общепринятой религии, уязвимое брюхо крокодила.

Манихейское учение¹ о происхождении мира и о том, кто им правит, если не верно, то хотя бы является гипотезой, не противоречащей реальному опыту. Предположение, что мир создан и управляется двумя противоположными, но равными по силе началами, — это только олицетворение той борьбы добра и зла, которую мы ощущаем в себе и наблюдаем в окружающем нас мире. Предположение, что доброе начало сильнее и что оно победит, воплощает наши надежды и ту жажду лучшего, без которых было бы непереносимо царящее ныне зло. Простые люди все манихейцы — от общепринятых верований осталась одна оболочка. Нет ничего проще: отделить наши приятные и неприятные ощущения от конкретных обстоятельств и границ, — добавить понятие деятельной силы, также ощущаемой нами в себе, — приписать тому, что нам всего приятнее, превосходство или конечную победу, наделив его всеми хвалебными эпитетами, а то, что нам не нравится, заклеить словами отвращения и ужаса, пророча ему поражение, — это и будет тот ход рассуждений, каким простой человек приходит к знакомым понятиям Бога и Дьявола.

Наиболее мудрые из древних мыслителей объясняли существование зла, не выводя на сцену Дьявола. Дьявол был несомненно придуман халдеями, ибо впервые мы слышим о нем после возвращения иудеев из второго ассирийского плена. Он упоминается в Книге Иова²; но это обстоятельство не только не доказывает, что книга относится к очень раннему времени, а скорее подтверждает ее позднее происхождение. Великолепие и чистота ее слога, вся ее величавость настойчиво подсказывают, что она современна цветущему детству какой-то из человеческих общин. Она наверняка не была сочинена иудеем до второго пленения, ибо упоминает Дьявола, а этот персонаж не встречается больше ни в одном из многочисленных произведений того времени. Что она вообще не была сочинена иудеем, можно заключить из того, что автор постоянно, и с большим искусством, пользуется образами, почерпнутыми из более суровой природы, чем палестинская.

Однако вернемся к Дьяволу. — Те из греческих философов, чье поэтическое воображение рождало образные воплощения мировой первопричины, тем не менее обходились без Дьявола. Демокрит³, Эпикур⁴, Феодор⁵ и, пожалуй, даже Аристотель⁶ воздерживались от допущения живого и думающего Действующего Начала, аналогичного мыслящему человеку, в качестве творца мира или его управителя. Платон⁷, вслед за своим учителем Сократом⁸, пораженным красотой и новизной теистической гипотезы, как она была впервые высказана наставником Перикла⁹, предположил существование Бога и согласовал свою нравственную систему, носившую самый универсальный характер и включавшую учение о прошлом, настоящем и будущем человека, с ходячим представлением о нравственном надзоре, осуществляемом этой духовной первопричиной. Что касается стоиков¹⁰.., но не будем проследивать все видоизменения этого учения у последующих школ. Гипотезы эти, пусть достаточно примитивные, не столь уж нелепы и противоречивы. Тонкие размышления о существовании предметов внешних по отношению к нам — размышления, подсказывающие мысль о существовании материи, на которую Платон впервые обратил внимание мыслящей части человечества¹¹.. Частичное истолкование ее постепенно стало основой для всех наименее вдохновенных положений нашей религии.

Однако греческие философы не вводили Дьявола. Они объясняли существование зла вечностью материи и тем, что бог, создавая мир, сотворил отнюдь не лучшее из того, что был способен задумать не только он, но даже низший по сравнению с ним разум; из упрямого и неподатливого материала, бывшего у него под рукой, он вылепил всего лишь приближенное соответствие тому совершенству, какое имел в виду. Так, искусный часовщик, умеющий из алмазов, стали, меди и золота делать часы тончайшей работы, может создать лишь грубый и несовершенный механизм, если в его распоряжении окажется одно только дерево. Однако христианские богословы неизменно отвергали эту гипотезу на том основании, что вечность материи несовместима со всемогуществом бога.

Подобно трусливым рабам перед лицом гневливого и подозрительного деспота, они постоянно ухитрялись придумывать всевозможные льстивые софизмы, стараясь умиловить его самыми противоречивыми хвалами, пытаясь как-то объяснить всемогущество, благость и справедливость Создателя такого Мира, где добро и зло неразрывно сплетены, а лучшие стремления к счастью и благоденствию неизменно наталкиваются на бедствия и разрушение. И вот, чтобы выпутаться из этих трудностей, христиане придумали или позаимствовали Дьявола. Их объяснение происхождения Дьявола весьма любопытно: согласно принятым верованиям, Небо представляется некоей воздушной страной, где обитает Высшее Существо, а также множество духов низшего ранга. Относительно ее местоположения богословы не вполне единогласны, но обычно принято считать, что она помещается за самым дальним из видимых нам созвездий.

дий. Эти духи, подобно душам, якобы пребывающим в теле животных и людей, считаются сотворенными Богом, который при этом предвидел последствия, обусловленные их природой. Он сделал их возможно лучшими, но природа вещества, из которого они созданы, или непреодолимые законы, видоизменившие это вещество при сотворении, не позволили им быть столь совершенными, как он того хотел бы. Одни говорят, будто он наделил их свободной волей, иначе говоря, сотворил их, не вполне отдавая себе отчет в том, что из них получится, и оставил им возможность решаться на тот или иной поступок независимо от общих сил, закономерно действующих в остальной части мироздания. Это, очевидно, сделано им для того, чтобы он мог оправдаться перед собственной совестью, мучая этих несчастных духов, когда они прогневили его, оказавшись хуже, чем ожидалось. Подобное объяснение происхождения зла в лучшем случае не более лестно для Верховного Существа и не меньше вредит догмату о его всемогуществе и благодати, чем учение Платона.

Затем, как важно повествуют богословы, главный из духов в одно прекрасное утро вздумал восстать против бога, перетянув на свою сторону треть всех вечных ангелов, состоявших при особе Творца и Вседержителя Неба и Земли. После нескольких отчаянных схваток между теми, кто остался верен старой династии, и мятежниками, последние были разбиты и оттеснены в некое место, называемое Адом, которое стало скорее их владением, чем темницей, и где Бог отвел им роль сперва искусителей, а затем — тюремщиков и палачей новой породы существ, созданных им с теми же несовершенствами и в том же предвидении печальных последствий. О причине восстания у ранних мифотворцев ничего не сказано. Мильтон полагает, что Бог однажды усыновил и назначил своим наследником (но много ли стоит наследство по бессмертному владельце?) существо, отличное от прочих духов, по-видимому, некую часть себя самого, которая впоследствии сошла на землю в знакомом всем облики Иисуса Христа. Дьявол, как видно, вознегодовал на это предпочтение и принялся оспаривать его с оружием в руках — не знаю, на кого опирается здесь Мильтон, однако все сходятся на том, что за восстанием последовало поражение мятежников и низвержение их в Ад. Нет ничего более величавого и могучего, чем образ Сатаны в «Потерянном Рае». Здесь перед нами Дьявол, крайне непохожий на общепринятое воплощение зла, и было бы ошибкой считать, что он задуман как олицетворение непримиримой ненависти, коварства и утонченной изобретательности в выдумывании мук для противника; все эти черты, простительные рабу, непростительны владыке, они искупаются у побежденного многим, что есть благородного в его поражении, но усугубляются у победителя всем, что есть позорного в его победе.

Сатана у Мильтона в нравственном отношении настолько же выше Бога, насколько тот, кто верит в правоту своего дела и борется за него, не страшась поражений и пыток, выше того, кто из надежного укрытия



ПРОТИВНИК, НАПАВШИЙ НА ШЕЛЛИ В ТАНИРОЛТЕ.

Рисунок Шелли на деревянном экране.

верной победы обрушивает на врага самую жестокую месть — и не потому, что хочет вынудить его раскаяться и не упорствовать во вражде, но чтобы нарочно довести его до новых отчаянных поступков, которые навлекают на него новую кару.

Мильтон настолько противоречит всем общепринятым верованиям, какие можно проповедовать и доказывать, что не приписывает своему Богу никакого нравственного превосходства над Сатаной. Он словно смешал черты человеческой природы, как смешивают краски на палитре, и на своем великом полотне расположил их согласно законам эпической истины, т. е. согласно тем законам, по каким действия существ, наделенных разумом и нравственностью, описанные в ритмических строках, призваны возбуждать сочувствие или негодование последующих поколений. Поэт, который наделил бы красотой и величием победоносного и мстительного всемогущего творца, должен был бы удовольствоваться званием доброго христианина; он не мог бы стать великим эпическим поэтом. В стране, где прямое признание некоторых истин влечет за собой самые чудовищные кары со стороны закона и общественного мнения, трудно решить, был ли Мильтон христианином, когда создавал «Потерянный Рай». Возможно ли, чтобы Сократ всерьез верил, будто Эскулапа¹² можно умилостивить, принеся ему в жертву петуха? Одно несомненно: Мильтон дает Дьяволу все возможные преимущества; а доводы, коими тот изобличает несправедливость и бессилие своего противника, таковы, что будь они напечатаны отдельно, а не от имени поэтического персонажа, ответом на них был бы самый убедительный из силлогизмов — преследование.

Как бы то ни было, «Потерянный Рай» привел в систему современную мифологию. Когда вечно текущее время добавит еще одно суеверие ко всем тем, что жили и отжили свой срок на земле, ученые комментаторы и критики станут изучать религию древней Европы, которая потому лишь не будет совершенно позабыта, что сопричастна бессмертному творению гения*. Что касается Дьявола, то он всем обязан Мильтону. Данте и Тассо представляют его нам в самом неприглядном виде. Мильтон убрал его жало, копыта и рога; наделил величием прекрасного и грозного духа — и возвратил обществу.

Я опасюсь, что в наши дни вера в Дьявола у верующих сильно расшатана. Я рекомендую епископам строго указать священникам своих епархий на это опасное отклонение от догматов. Дьявол представляет собой форпост христианского вероучения — самое слабое его звено; вы, вероятно, заметили, что неверующие всегда начинают с шуточных сомнений в существовании Дьявола.

Будьте уверены, — когда человек начинает подумывать: а может быть, Дьявола и в самом деле нет? — он вступает на опасный путь. В хорошем

* Весь ход этой истории — искушение Евы — и наказание невинных потомков наших прародителей.

обществе, особенно среди духовных лиц, стали что-то часто кокетничать с понятием Дьявола, — и это не к добру. Его определяют как Злое начало, считают синонимом плоти. Его стремятся лишить всякой индивидуальности; из абстракции свести к конкретному; проделать в обратном порядке путь, которым сложилось понятие о нем, — что ни в коем случае не допускается в отношении Бога. Считается хорошим тоном отрицать, что у Дьявола есть «и обиталище и имя»¹³. Даже непросвещенные — и те начинают им гнушаться. Ад объявляется метафорой, обозначающей муки нечистой совести и не имеющей географического положения. Никто не упоминает о вечном огне или ядовитом черве, грызущем грешника¹⁴. Все это толкуется как угрызения совести, и я полагаю, что наиболее самонадеянные из нас смело могут сказать: «Люди разных стран равны в одном»¹⁵.

В то же время Небеса считаются неким вполне определенным местом, а блаженство праведных — чем-то весьма реальным. Подобное отношение к особе, занимающей столь важное место в мифологической системе, неизбежно ведет к неверию. В самом деле, когда проповедники и приверженцы любой религии вместо того, чтобы гордо и упрямо настаивать на самых неприятных или непонятных догмах своей веры, начинают смягчать и объяснять положения, которые их предки, более твердые в вере, принимали доверчиво, умиленно и восторженно, — это уже предвещает близкий конец любой религии. Может статься, конечно, что человек вообще не задумывается над тем, существует ли Дьявол; это ему может быть совершенно безразлично. Но может случиться, что ему придется высказать об этом то или иное мнение, — уверенность, с какою он это сделает, зависит от того, какого приема он ожидает для своего высказывания. Примером может служить эпизод из жизни доктора Джонсона¹⁶ — последнего из выдающихся людей, который обнаруживал приверженность к традиционной вере и чья жизнь и смерть, по сравнению с жизнью и смертью его современника Юма¹⁷, является образцом утешений христианства, как Юм — примером неверия. Некто спросил Джонсона, как он понимает слова «был проклят». «Попал в Ад, на вечные муки», — ответил тот. Царствие праведных.

Дьявол — это *Διάβολος*, т. е. Обвинитель. Именно в этом своем качестве он предстал, в числе других сыновей Бога, перед престолом Отца, прося о дозволении искушать Иова всевозможными напастьми, чтобы Бог мог отправить его в Ад. Бог, видимо, имел особые причины покровительствовать Иову; нам не очень понятно, почему он в конце пощадил его. Протест, с каким Иов обращается к Богу, весьма смел; от христианина он его наверняка не потерпел бы. Если бы Бог знал в этом толк — чего никогда не подумаешь, читая его Иезекииля¹⁸ — ему должна была бы прийти по душе щедрая и величаявая поэтичность сетований Иова, непревзойденная в древней литературе, не говоря уж о новой. В данном случае он (т. е. Дьявол) является одновременно и Осведомителем, и

Генеральным Прокурором, и Тюремщиком Небесного судилища. Соединять все это в одном лице не рекомендуется, во всяком случае, это противоречит конституции. Дьявол должен быть кровно заинтересован в том, чтоб добиться от судьи решения о виновности; ибо я полагаю, что на Страшном суде не будет присяжных, — а если и будут, то они так будут трепетать перед судьями и коронным адвокатом, что поддержат любое решение, угодное суду. Разумеется, половина вознаграждения выдается осведомителю, чтобы поощрить его старания. Сколько же должен Ад содержать шпионов и соглядатаев под руководством главного магистра — Дьявола! Сколько заговоров и¹⁹...

Если Дьявол получает от мучений грешников хотя бы половину того удовольствия, что Бог, который дал себе труд создать сначала их самих, а затем целую систему казуистики, чтобы оправдать осуждение их на муки, награда эта должна быть значительной. Представляете себе, как станет усердствовать доносчик, если в его пользу идет половина всего, что может быть добыто благодаря осуждению грешника, будь то он сам или его имущество. Тиберий, Бонапарт или лорд Каслри никогда не назначали за раскрытие или за фабрикацию заговора такой награды, какую божье правительство определило Дьяволу за то, чтобы он искушал, губил и подводил под суд несчастных людей. Эти два влиятельных лица, как видно, вошли в соглашение, по которому более слабый взял на себя всю вину за их совместные действия, чтобы более сильный мог изображать себя почтенной личностью, но зато участвовать в их любимом общем занятии: поджаривании людей на вечном огне. Дьявол выполняет грязную работу, совсем как какой-нибудь голодный горемыка, нанимаемый за известную долю добычи королем или министром, чтобы подвести под смертную казнь сколько-то других голодных горемык, когда король или министр сочтут нужным дать острастку остальным, повесив нескольких из тех, кто ропщет чересчур громко.

Нетрудно понять, почему земные тираны прибегают к помощи подобных агентов и почему Бог поступил точно так же в отношении Сатаны и его аггелов²⁰; и почему любой из власть имущих принимает такие меры, когда опасается, что у него могут вырвать власть. Но искушать людей ради того, чтобы обречь их вечным мукам, — это со стороны Бога и даже со стороны Дьявола может происходить только от чистой любви к мучительству, какая на земле наблюдается редко.

Больше всего это похоже на шайку скверных бездельников-мальчишек, когда они мучают кошек, сдирают кожу с живых угрей, варят живьем омаров, пускают кровь телятам или до смерти засекают поросенка; естествоиспытатели, которые потрошат живых собак (у собаки столько же прав и больше оснований выпотрошить ученого), — ничто по сравнению с Богом и Дьяволом, когда они судят, осуждают, а затем терзают душу несчастного грешника. Говорят, будто Богу это не нравится, но это просто некоторая застенчивость и жеманство, потому что все ведь делается по

его воле, и он мог бы не отправлять в Ад, если бы не хотел. У Дьявола имеются более веские оправдания, ибо он, будучи сотворен Богом, не может иметь никаких желаний и склонностей, кроме тех, что заложены в нем его создателем; а так как Бог сотворил и все остальное, то и задатки его могли развиться лишь настолько и лишь в том направлении, как это позволяло движение, приданное Богом всему мирозданию. Винить Дьявола в его дурных поступках столь же несправедливо, как винить часы, когда они неточно ходят; в первом случае всецело виноват Бог, как во втором — часовой мастер. Есть и другое соображение, подсказанное мифотворцами, которое заставляет нас сочувствовать Дьяволу, хотя это соображение менее согласуется с теорией божьего всемогущества, чем те, о которых была речь выше. Говорят, что до своего падения Сатана, будучи ангелом самого высокого ранга и отменных качеств, особенно любил творить добро. Величие его духа, укрепленное сознанием чистых и высоких целей, сделало его столь нечувствительным к обыкновенным пыткам, что Богу нелегко было изыскать для этого мятежника достойную кару; он тщетно испробовал на его внешней оболочке все виды удушения, замораживания, поджаривания и раздиранья, — Сатана только смеялся над бессильной злобою победителя. Наконец, добросердечие и кротость противника подсказали Богу верный способ страшной и медленной казни. Он обратил у Дьявола добро во зло и, пользуясь своим всемогуществом, внушил ему побуждения, заставляющие его, наперекор его природе, делать то, что ему всего противнее, и быть исполнителем всех козней, которых он сам становится жертвой. Дьявол постоянно терзается состраданием и любовью к тем, кого он губит; его мучит бессильное негодование против бедствий, какие он навлекает на людей; он подобен человеку, которого некий тиран заставляет поджигать собственное имущество, выступать свидетелем против самых дорогих друзей и близких, затем выполнять роль их палача и подвергать их самым изощренным и длительным пыткам. Если бы он был человеком, то, не имея иного выхода, мог бы умереть; но Бога изображают всемогущим, а Дьявола — бессмертным. Милтон воплотил все это в грандиозных и возвышенных образах²¹.

Принято считать, что у Дьявола ровно столько власти, сколько ему отпущено божественным провидением. Христиане призывают друг друга презирать сатанинские искушения и уповать на Бога. Когда надежды не оправдываются, им приходится туго, особенно если мы вспомним, что Бог устроил так, чтобы Дьяволу доставалась немалая доля человеческих душ. Моя набожная приятельница мисс *** говорит, что, по ее мнению, Аду обречены примерно девятнадцать человек из двадцати. Прежде считалось, что в Ад попадают все, кто не исповедует христианства или даже одной определенной его разновидности. Сейчас эта теория оставлена или признается лишь немногими. Согласно новомодным верованиям, нелегко разобрать, кто попадет туда, а кто нет.

Трудно определить также и сферу действий Дьявола. Изобретение телескопа и последние усовершенствования его значительно расширили наши понятия о границах Вселенной. Обнаружено, что земля представляет собой сравнительно небольшую планету в системе множества других, обращающихся вокруг солнца; и нет оснований отрицать, что и на всех других обитают мыслящие существа. Неподвижные звезды, по-видимому, являются солнцами, и каждая составляет центр системы, подобной нашей. Маленькие пятнышки, видимые в ясные ночи, оказались состоящими из огромного количества солнц, из которых каждое, вероятно, является центром для целой системы планет. Открыли, что система, куда входит наша земля, принадлежит к одному из более крупных скоплений солнц, которые издали представляются светлыми пятнышками; а светящаяся полоса, называемая Млечным Путем, оказалась концом гигантской вереницы солнц; к их числу относится и наше. Небеса усеяны неисчислимым множеством таких светлых пятен, и чем совершеннее становятся телескопы, тем больше их обнаруживают; а то, что сливалось в сплошное белое сияние, оказывается звездами. Все это было неизвестно в ту пору, когда постепенно создавалась христианская мифология; об этом даже не подозревали те варвары, обитавшие на глухих окраинах Римской империи, которые первыми ее приняли. Если бесчисленные сонмы солнц, планет, спутников и комет кем-то заселены, можно ли предположить, что их обитателей Бог сотворил лучшими и более ему угодными, чем первых духов, ангелов, окружавших его престол, — тех первых и наиболее совершенных его созданий, что восстали и были ввергнуты в ад? Или он постепенно совершенствовался в своем мастерстве, подобно скульптору или живописцу, и от первых малоудачных попыток перешел к более совершенным, так что позднейшие его создания оказались лучше первых? Или, быть может, вмешалась счастливая случайность, подобная той, которая помогла художнику, когда тот отчаялся изобразить пену на взмыленном коне, как вдруг вытертое губкой место приняло в точности вид этого самого «мыла»; и эта случайность придала отличные качества одному или нескольким видам живых существ. Трудно предположить, чтобы многие из планет были населены существами, способными лучше нас сопротивляться наущениям Дьявола. Впрочем, разве Дьявол вездесущ, подобно Богу? Если так, тогда он и Бог взаимно проникают друг друга и существуют вместе; ведь уподобляя же метафизики присутствие Бога в пространстве — соли, растворенной в воде. Если же Дьявол не вездесущ, то ему приходится посылать то на ту, то на другую планету кого-либо из своих подчиненных, чтобы склонять обитателей к неповиновению Богу, а затем убеждать их отвергать все условия спасения; причем для этой последней цели необходимо его собственное постоянное присутствие, ибо едва ли он или Бог, чьим произволением он уполномочен, а, вернее, вынужден, действовать, могут доверять столь важное дело ангелу низшего ранга. Весьма сомнительно, чтобы сам Дьявол — а не какой-нибудь мелкий

бес, — соблазнил и ввергнул в грех жителей Земли; и чтобы он не предпочел Юпитера, планету, способную вместить в сто раз больше жителей, чем Земля, — если говорить только о планетах нашей системы, — или Солнце, которое могло бы вместить их в миллион раз больше.

Тщетно стали бы возражать на это, что дьяволов имеется множество. Можно предположить в миллион раз больше дьяволов, чем существует звезд. На подобную тему вообще возможны любые предположения. Все мифотворцы сходятся на том, что дьяволов много и что они появляются отрядами по шесть-семь и более. Правда, христиане не признают, что в наше время дьяволы появляются на земле во плоти, и считают, что они все больше действуют невидимкою и исподтишка, по мере приближения к нашему времени и вообще ко временам значительных успехов исторических или естественных наук. Во времена Иисуса Христа в Иудее было множество дьяволов, и он и другие прославились тем, что именовалось изгнанием бесов. В частности, нам сообщают смешную историю о том, как Иисус Христос вогнал легион бесов в стадо свиней, которые пришли от этого в такое смятение, что бросились с обрыва в озеро и утонули. Это были свиньи-ипохондрики с возвышенным образом мыслей, весьма не похожие на всех известных нам свиней; они презрели жизнь, раз приходилось жить в столь тесном соседстве с бесами; и свинопасы были, вероятно, озадачены их необычным решением. Что случилось с бесами после гибели свиней; вселились ли они в рыб, чтобы затем через пищеварительные органы проникнуть в мозг рыбоядного населения Гадары²²; вернулись ли в Ад или остались в воде — об этом Историк предоставляет нам только строить догадки. Мне очень хотелось бы узнать, не выловил ли их какой-нибудь нищий иудей и не продал ли на рынке в Гадаре и каково было действие мяса одержимой свиньи, покончившей самоубийством, на тех, кто его отведал. Бесы попросили Иисуса Христа вселить их в свиней, и Сын Божий оказался более склонен сделать приятное бесам, чем позаботиться об интересах владельцев свиней. Несомненно, говорят христиане, он имел на то причины. А они, бедняги, вероятно, были этим разорены. Жители Гадары явно не одобрили такого метода изгнания бесов, — им могло показаться, что Иисус выказал несправедливое пристрастие к этим неприятным созданиям, — и направили к нему депутацию с требованием покинуть их край. Едва ли нынешние крестьяне обошлись бы с ним столь мягко. Но Иисус Христос этого не предвидел. Интересно, что сказал бы Одиссей Эвмею, если бы его свинопас доложил ему, что все свиньи утопились с горя, потому что какой-то странствующий пророк вселил в них легион бесов. Будь я свинопасом, я сплел бы любую басню, но только не эту, хозяину, известному своей пронизательностью и многоопытностью.

Среди ошибочных теорий, касающихся местопребывания дьяволов, есть и такие, которые используют пифагорейскую гипотезу²³, но при этом извращают ее гуманную суть, делая ее оправданием жестокости. Они полагают, что в животных, и особенно домашних, обитают дьяволы и что

жестокое обращение с этими несчастными созданиями со стороны человека является бессознательной мезтью существам, виновным в его грехопадении. Согласно этой теории, Закон лорда Эрскина²⁴ мог бы называться «Законом о покровительстве дьяволам». Как дьяволы вселяются в людей, — этого никто не объясняет. Не может же быть, чтобы они одушевляли тело наподобие того, что зовется душой или жизненным принципом, ибо считается, что душа занимает его целиком. Некоторые высказывали предположение, что они находятся в человеческом теле в виде всякого рода паразитов и микроскопических организмов; но едва ли лица, страдающие глистами, а ргіогі* более других подвержены вторжению дьяволов, хотя о них несомненно можно сказать, что они терпят дьявольские муки. Размышляя подобным образом, можно и вшивость приписать бесовскому влиянию, а sensorium** каждого насекомого посчитать за обиталище беса. — Иные полагали, что дьяволы живут на солнце и что именно это великолепное светило и является Адом; да и каждая из неподвижных звезд — тоже Ад, обслуживающий каждый свою систему планет, где большинство жителей, по-видимому, обречено на вечные муки, если для спасения им необходимо исповедовать определенную религию, а истины ее столь же темны и неясны, как и на нашей планете. Я не завиую богословам, которые сочинили эту теорию. Культ солнца как творца и правителя мира делает своим создателям куда больше чести. Он в сущности представляет собой поэтическую картину действительности, до того как современная наука так широко раздвинула границы видимого мира; наряду с чистым деизмом, или олицетворением всех сил, какие мы знаем или можем себе представить, он является наименее вредной из религий.

Если Ад помещается на солнце, то у Дьявола великолепное жилище, вознесенное над миром словно императорский трон. Но если мы отведем Дьяволу лучшее из всех известных нам мест, какую же резиденцию можем мы вообразить для его более могущественного противника? Следует ли предположить, что Дьявол занимает центр, а Бог — окружность вселенной и что один из них рвется внутрь, как сила центростремительная, тогда как другой вечно стремится из тесного центра наружу, в качестве силы центробежной, и что их постоянная борьба порождает то смещение добра и зла, гармонии и разлада, красоты и уродства, расцвета и тления, которое является общим законом нравственного и материального мира? Увы! Бедный теолог никогда не ломал себе голову над подобным философским вздором и довольствовался предположением, что Бог где-нибудь да должен находиться; а Дьявол со всеми его аггелами и с непрерывно растущим сонмом грешников вечно горит заживо в огне того небесного светила, которое поддерживает жизнь множества обитаемых планет, в том числе

* Эд.: тем самым (лат.).

** Чувствилище (лат.).

и земли. Другие высказывали предположение, что Ад располагается на кометах, представляющих собою в таком случае ряд летающих темниц, где пылает неугасимый огонь; эту мысль выражает великий современный поэт, когда называет комету «летающим в бесконечность Адом»²⁵.

Страдания и несправедливость производят в поэзии большое впечатление, ибо самое ценное в ней — это пробуждение сочувствия, а у людей, находящихся во власти унижительных и мрачных суеверий, оно гораздо легче вызывается видениями ужасного, чем прекрасного. Чтобы сделать предметами поэзии красоту, добродетель и гармонию — т. е. облечь их в такие образы и ритмы, которые сильнее всего действовали бы на читателей, — от поэта требуется больше искусства, чем для превращения в поэтические образы несправедливости, уродства, дисгармонии и ужаса; Рафаэли более редки, чем Микеланджело, об Аде написаны лучшие стихи, чем о Рае. Очень мало людей читало Дантово «Чистилище» или «Рай», по сравнению с теми, кто хорошо знает «Ад», — а между тем «Чистилище» лучше «Ада», если не считать двух знаменитых мест.

Не будучи уверен в сочувствии читателей, ни один поэт не сочиняет с той силой вдохновения, какой он достигает, когда знает, что они в его власти.

Что касается Дьявола, бесов и грешников, то едва ли они обитают на солнце. Кометы лучше приспособлены для этой цели; хотя некоторые астрономы предполагают, что их орбиты постепенно превращаются в эллипсы, так что они начинают в конце концов двигаться по орбитам, концентрическим к орбитам планет, остывают, уменьшаются в размерах и подчиняются тем же законам, которые управляют животной и растительной жизнью на поверхности других небесных тел. В таком случае, Дьявол и грешники без чудодейственного вмешательства оказываются обитателями очень приятного мира; а поскольку общее несчастье должно их сблизить, а долгое совместное пребывание — научить разумно избегать ссор, они, наверное, управляют своей колонией весьма согласно и успешно. Однако против теории солнечного и планетного Ада существует возражение, а именно: никем не доказано, что солнце или кометы горят. С огнем обстоит так же, как с остроумием; человек, подобно Фальстафу, может сам не быть остроумным, но, подобно ему, подавать другим повод к остроумию. Так и солнце, будучи источником огня, само, быть может, немного его имеет на своей поверхности. Открытия Гершеля²⁶ заставляют предположить, что это именно так. Он подметил, что общим источником света и тепла является не горящее вещество самого солнца, а оболочка из фосфорических паров, которые на много тысяч миль окружают солнце. Эти пары окружают его на расстоянии, точно не вычисленном, но наверняка очень большом, и обволакивают его, образуя над ним как бы легкий, сверкающий свод, внутренняя поверхность которого, быть может, играет ту же роль в жизненных процессах на солнце, какую внешняя играет для жизни на планетах. Некоторым подтверждением этой гипотезы является

тот факт, что изнутри оболочка темнее, чем снаружи, насколько можно об этом судить по виду боковых поверхностей; так называемые пятна на солнце являются не чем иным, как гигантскими разрывами, очевидно, образуемыми в недвижной массе паров воздушными течениями и позволяющими видеть плотную массу самого солнца. Все это уменьшает вероятность того, что на солнце помещается Ад, ибо показывает, что у нас нет оснований считать его намного жарче, чем планеты. Не говоря уж о том, что дьяволы могут быть подобны тем микроскопическим живым существам в мясном бульоне, которых можно варить сколько угодно, а они все будут живы и здоровы.

Гипотеза о том, что Ад находится на солнце, является попыткой подновить старое представление об Аде, помещенном в центре земли. А ведь если бы дьяволы и грешники размещались на столь ограниченном пространстве, они с течением веков оказались бы в ужасной тесноте.

Дьявол и его аггелы именуются Духами Воздуха, а сам Дьявол — Люцифером. Мне не удастся выяснить, почему он зовется Люцифером — разве что из-за неверно истолкованной строки у пророка Исаяи, где поэт ликует по поводу падения ассирийского царька, угнетавшего свою страну: «Как упал ты с неба, Люцифер, сын Зари?»²⁷ Присвоив себе постепенно рога, копыта, хвост и уши древних лесных божеств, Дьявол мало-помалу снова их утратил, но зато ему добавили крылья. Непонятно, почему люди наделили его именно этими принадлежностями, чтобы сделать уродливым и страшным. Сильваны и фавны с их предводителем, великим Паном²⁸, были созданиями чрезвычайно поэтическими и в воображении язычников сочетались со всеми радостями жизни. Их считали невинными существами, чьи нравы мало отличались от нравов пастухов, которым они покровительствовали. Но христиане умудрились обратить обломки греческой мифологии — как и то немногое из античной философии, что они сумели понять, — на службу лжи и уродству²⁹. Вероятно жало, которым был вооружен Дьявол, придавало ему сходство с драконом и ядовитой змеей.

Я понимаю, почему отец Зла изображался в виде змеи; это создание одним своим видом напоминало о многих своих ядовитых сородичах. Но так было только у евреев, у которых, в их древнейших мифах, змея выступает как источник всякого зла. Греки считали змею существом благостным. Она была атрибутом Эскулапа и Аполлона. В Египте иероглиф змеи обозначал вечность. А согласно еврейскому преданию, змий убедил первую человеческую чету вкусить от плода, который Бог запретил им пробовать, и за это Бог изгнал их из прекрасного сада, где прежде позволял жить. Тогда же Бог наказал и змия, повелев, чтобы он отныне ползал на брюхе. Остается предположить, что до своего проступка он передвигался, прыгая на хвосте; а такой способ передвижения я, если бы был змием, считал бы более суровой карой. Христиане превратили этого Змия в своего Дьявола и все предания приспособили к своей новой теории греха, милостивления и т. д.

ЗАЩИТА ПОЭЗИИ

ЧАСТЬ I

Есть точка зрения на два вида умственной деятельности, называемые рассуждением и воображением, согласно которой первое рассматривает отношение одной мысли к другой, что бы их ни порождало; а второе освещает эти мысли своим собственным светом и составляет из них, как из элементов, новые мысли, из коих каждая является чем-то целостным. Одно это — $\tau\acute{o} \text{ ποιεῖν}$, или синтез, и имеет дело с предметами, общими для природы и жизни; другое — $\tau\acute{o} \text{ λογίσειν}$, или анализ, рассматривающий отношения вещей просто как отношения, а мысли — не в их живой целостности, но в качестве алгебраических формул, из которых можно вывести некий общий результат. Рассуждение — это перечисление уже известных величин; воображение — это их оценка, по отдельности и в целом. Рассуждение учитывает различия, а воображение — то, что есть у предметов общего. Рассуждение относится к воображению как оружие к субъекту действия, как тело к духу, как отражение к сущности.

Поэзию можно в общем определить как воплощение воображения; поэзия — ровесница человеку. Человек — это инструмент, подверженный действию различных внешних и внутренних сил, подобно тому, как переменчивый ветер играет на Эоловой арфе, извлекая из нее непрестанно меняющуюся мелодию. Однако в человеке, а может быть и во всех существах, способных чувствовать, есть нечто отличное от арфы и рождающее не одну только мелодию, но и гармонию, которая создается посредством внутреннего согласования вызываемых звуков или движений с впечатлениями, которые их вызвали. Так было бы, если бы арфа, была способна соразмерять звучание своих струн с движениями того, что по ним ударяет, как певец согласует свое пение со звуками арфы. Ребенок, играющий в одиночестве, выражает свою радость голосом и движениями; и каждая интонация, каждый жест находятся в прямом соответствии с теми приятными впечатлениями, которые их вызвали, являются их отражениями. Как арфа еще дрожит и звучит, когда ветер уже стих, так и дитя, продлевая отзвук своей радости голосом и движениями, старается тем самым продлить и ощущение ее причины. По отношению к предметам, восхитившим ребенка, эти выражения радости являются тем же, чем является поэзия по отношению к предметам более высоким.

Дикарь (ибо дикое состояние для человечества — то же, что детский возраст для человека) подобным же образом выражает чувства, вызываемые у него окружающим миром; его речь и жесты, а также скульптура или рисунки отражают и самое воздействие на него этого мира и осознание им этого. А в цивилизованном обществе предметом радости и страсти для человека становится сам общественный человек с его радостями и страстями; новая область чувств обогащает и средства выражения; речь, жесты и изобразительные искусства становятся одновременно и изображением и его средством — кистью и картиной, резцом и статуей, струною и гармоническим аккордом. Где существуют вместе хотя бы два человеческих существа, там образуются общественные связи или те законы, из которых, как из элементов, складывается общество. Будущее заключено в настоящем, как растение — в семени; равенство, различие, единство, противоположность и взаимозависимость становятся единственными мотивами, побуждающими к действию волю человека как существа общественного; именно им мы обязаны тем, что среди ощущений есть приятные, среди чувств — добрые, в искусстве присутствует красота, в рассуждениях — истина, а в человеческих отношениях — любовь. Вот почему даже там, где общество еще находится в младенчестве, люди соблюдают в своей речи и действиях известный порядок, иной, чем в предметах и впечатлениях, обозначением коих они служат, ибо всякое выражение подчинено законам того, что дает ему начало. Но оставим эти общие рассуждения, которые потребовали бы рассмотрения самых основ общества, и ограничимся обзором того, как воображение осмысляет его формы.

На заре человеческой истории люди пляшут, поют и изображают предметы, соблюдая в этих действиях, как и во всех других, известный ритм или порядок. Хотя все люди соблюдают один и тот же порядок, он не тождествен для движений танца, для мелодии песни, для сочетаний слов и для воспроизведения предметов изобразительными искусствами. Ибо каждому из этих видов подражания жизни присущ особый порядок или ритм, доставляющий слушателю и зрителю более сильное и чистое удовольствие, чем любой иной; современные авторы называют умение приблизиться к этому порядку — вкусом. В младенческом возрасте искусства каждый соблюдает ритм, более или менее близкий к тому, который доставляет наибольшее удовольствие; но различия выражены еще недостаточно ясно, чтобы их осознали, за исключением тех случаев, когда способность приблизиться к прекрасному (ибо именно так мы позволим себе назвать отношение наибольшего удовольствия к вызывающей его причине) — когда способность приблизиться к прекрасному оказывается у кого-либо исключительно велика. Те, кто наделен ею в избытке, и являются поэтами в наиболее общем смысле слова; удовольствие, доставляемое их особым умением выражать воздействие на их душу природы и общества, сообщается другим и от этого как бы удваивается. Их язык состоит из живых метафор, т. е. отмечает незамеченные прежде соотношения предметов и

закрепляет эти наблюдения, так что выражающие их слова становятся со временем обозначениями частей или категорий понятия вместо того, чтобы быть образами цельных предметов; и если бы не являлись новые поэты, которые заново создают разрушенные таким образом ассоциации, язык оказался бы мертвым, непригодным для наиболее благородных целей человеческого общения. Об этих подобиях или отношениях лорд Бэкон отлично сказал, что это «те же отпечатки шагов природы, оставленные на различных предметах» *¹. Способность замечать их он считает источником истин, общих для всякого знания. На заре человеческого общества каждый автор — поневоле поэт, и язык сам по себе является поэзией; а быть поэтом — значит воспринимать истинное и прекрасное, иными словами, то лучшее, что заключено, во-первых, в отношении между существованием и восприятием, во-вторых, между восприятием и выражением. Всякий самобытный язык, еще близкий к своему источнику, представляет собой поэму, находящуюся в хаотическом беспорядке. Обильные накопления лексики и правила грамматики есть дело позднейших времен; это всего лишь каталогизация и оформление того, что создано поэзией.

Однако поэты, то есть те, что создает и выражает этот нерушимый порядок, являются не только творцами языка и музыки, танца и архитектуры, скульптуры и живописи; они — создатели законов, основатели общества, изобретатели ремесел и наставники, до некоторой степени сближающие с прекрасным и истинным то частичное осознание невидимого мира, которое называется религией. Все религии аллегоричны или тяготеют к аллегории и, подобно Янусу, двулики; имеют ложную сторону и истинную. Поэты, в зависимости от времени и страны, именовались некогда законодателями или пророками; поэт по природе своей включает и соединяет в себе обе эти роли². Ибо он не только ясно видит настоящее как оно есть и обнаруживает законы, по которым оно должно управляться, но и прозревает в настоящем грядущее; его мысли — это семена, в последующие эпохи становящиеся цветами и плодами. Я не говорю, что поэты являются пророками в прямом смысле слова и могут предсказывать формы будущего так же уверенно, как они предчувствуют его дух. Только суеверие считает поэзию атрибутом пророчества, вместо того, чтобы считать пророчество атрибутом поэзии. Поэт причастен к вечному, бесконечному и единному; для его замыслов не существует времени, места или множественности. Грамматические формы, выражающие время, место и лицо, в высокой поэзии могут быть безо всякого ущерба заменены другими; примерами могли бы служить хоры из Эсхила, книга Иова и «Рай» Данте, если бы размеры моего сочинения оставляли место для цитат. Творения скульпторов, живописцев и композиторов являются еще более наглядными иллюстрациями.

* De augment, scient., cap. I, lib. III. [Об умножении наук] (лат.).

Слова, краски, формы, религиозные и гражданские обряды — все они являются средствами и материалом поэзии; их можно назвать поэзией с помощью той фигуры речи, которая считает следствие синонимом причины. В более ограниченном смысле слова, поэзия — это особым образом построенная, прежде всего ритмическая, речь, порождаемая властной потребностью, которая заложена во внутренней природе человека. Она истекает также и из самой природы языка; он более непосредственно выражает наши внутренние движения и чувства, способен к более разнообразным и тонким сочетаниям, чем краски, формы или движение, более гибок и лучше подчиняется той потребности, которая его создала. Ибо язык возник по воле воображения и всецело относится к области мысли, тогда как все другие материалы и средства искусства связаны друг с другом, а это воздвигает преграды между замыслом и его выражением и ограничивает его. Первый, т. е. язык, является зеркалом, которое отражает, а другие — облаком, которое заслоняет тот свет, что все они призваны распространять. Вот почему слава скульпторов, живописцев и музыкантов — даже тогда, когда силою таланта великие мастера этих искусств ничуть не уступают тем, кто для выражения своих мыслей избрал язык, — никогда не могла сравниться со славой поэтов в собственном смысле слова; подобно тому, как два равно искусных исполнителя извлекают отнюдь не равноценные звучания из гитары и из арфы. Одни лишь законодатели и основатели религий, откуда живут их учения, по-видимому, снискивают более громкую славу, нежели поэты в узком смысле слова; но если вычтеть из их славы часть, достающуюся им за потворство грубым вкусам толпы, а также то, что принадлежит им по высшему праву, как поэтам, можно не сомневаться, что сверх этого ничего не останется.

Таким образом, мы ограничили значение слова «поэзия» тем искусством, которое является и наиболее привычным и наиболее совершенным выражением поэтического начала. Необходимо, однако, сузить его значение еще более, а для этого определить разницу между речью ритмической и неритмической; ибо принятое деление на прозу и стихи непригодно для серьезного рассмотрения вопроса.

Подобно мыслям, звуки находятся в известных отношениях, как один к другому, так и к тому, что они изображают, и восприятие иного порядка в этих отношениях неизменно оказывается сопряжено с восприятием порядка в самих выражаемых мыслях. Поэту поэтическая речь всегда отличалась равномерным и гармоническим чередованием звуков, без которого она не была бы поэзией и которое почти столь же необходимо для ее восприятия, как и самые слова. Вот почему переводить ее тщетно; пытаться перенести из одного языка в другой творения поэтов — это все равно что бросать в тигель фиалки, чтобы найти секрет их красок и аромата. Растение должно снова взрасти из семени, иначе оно не зацветет — таково следствие вавилонского проклятия³.

Наблюдения над правильным гармоническим чередованием звуков в языке поэтов, а также связь его с музыкой привели к возникновению размеров, т. е. некоей традиционной системы речевой гармонии. Однако для соблюдения гармонии, являющейся душой поэзии, поэту вовсе не обязательно приспособлять свой язык к этим традиционным формам. Они удобны и признаны, и их следует предпочитать, особенно когда большую роль в произведении играют форма и действие; но каждый великий поэт неизбежно вносит в свою версификацию нечто новое по сравнению с предшественниками. Деление на поэтов и прозаиков является грубым заблуждением. Деление на философов и поэтов чересчур поспешно. Платон был по существу поэтом, — правдивость и великолепие его образов и благозвучие языка находятся на величайшей высоте, какую только можно себе вообразить. Он отверг размеры, принятые для эпоса, драмы и лирической поэзии, ибо стремился к гармонии мыслей, независимых от формы и действия, и не стал изобретать какого-либо определенного нового ритма, которому он мог бы подчинить разнообразные паузы своей речи. Цицерон пытался подражать его каденциям, но без особого успеха. Поэтом был и лорд Бэкон. Его слогу свойствен прекрасный и величавый ритм, радующий слух не менее, чем почти сверхчеловеческая мудрость его рассуждений удовлетворяет разум; это — мелодия, расширяющая восприятие слушателей, чтобы затем вырваться за его пределы и вместе с ним влиться в мировую стихию, с которой она находится в неизменном согласии. Каждый, кто совершает переворот в области мысли, столь же обязательно является поэтом и не только потому, что творит новое, или потому, что его слова вскрывают вечные соответствия сущего через образы, причастные к жизни истины, но и потому, что он пишет гармоническими и ритмическими периодами, заключающими в себе главные элементы стиха, — этого отзвука вечной музыки бытия. Но и те великие поэты, которые пользовались традиционными размерами ради формы и действия своих произведений, не менее способны постигать и проповедовать истину, чем те, кто эти формы отбросил. Шекспир, Данте и Мильтон (если называть одних только авторов нового времени) являются величайшими философами.

Поэма — это картина жизни, изображающая то, что есть в ней вечно истинного. Отличие повести от поэмы состоит в том, что повесть является перечнем отдельных фактов, связанных только отношениями времени, места, обстоятельство, причины и следствия; в поэме же действие подчинено неизменным началам человеческой природы, как они существуют в сознании их творца, отражающем все другие сознания. Первая представляет собою нечто частное, относящееся лишь к определенному времени и к известным сочетаниям событий, которые могут никогда более не повториться; вторая есть нечто всеобщее, заключающее в себе зачатки родства с любыми мотивами или действиями, возможными для человеческой природы. Время разрушает красоту и ценность повести об

отдельных событиях, если они не облечены поэтичностью, но усиливает очарование Поэзии, раскрывая все новые и все более прекрасные грани вечной истины, в ней заключенной. Недаром всякого рода конспективные изложения называют молью истории — они истребляют в ней поэзию⁴. Повесть об отдельных фактах — это зеркало, которое затуманивает и искажает то, что должно было быть прекрасно; Поэзия — это зеркало, которое дивно преображает то, что искажено⁵.

Бывает, что отдельные части произведения поэтичны, но целое, тем не менее, не слагается в поэму. Иногда отдельная фраза может рассматриваться как некое целое, даже если находится в окружении не связанных между собою частей; и даже в отдельном слове может сверкнуть бессмертная мысль. Все великие историки — Геродот, Плутарх, Тит Ливий — были поэтами⁶, и хотя план, которому подчинено их повествование, особенно у Тита Ливия, мешал им развить это качество в полной мере, они с лихвою искупают эту подчиненность, перемежая повествование живыми образами.

Определив, что такое поэзия и кто такие поэты, рассмотрим воздействие поэзии на общество.

Поэзии неизменно сопутствует наслаждение; все, на кого она снизошла, становятся восприимчивы к мудрости, примешанной к этому наслаждению. В младенческую пору человечества ни поэты, ни их слушатели не отдавали себе вполне отчета в том, насколько прекрасна поэзия; ибо в ее действии есть нечто непостижимое и божественное, выходящее за пределы сознания; и только позднейшие поколения могут увидеть и измерить могучие причины и следствия во всей мощи и всем великолепии их слияния. Даже в новое время ни один поэт не достигал при жизни вершины своей славы; ибо присяжные, держащие его судить, — его, принадлежащего всем временам, — должны быть ему равными; они должны быть избраны Временем из числа мудрейших людей многих поколений. Поэт — это соловей, который поет во тьме, услаждая свое одиночество дивными звуками; его слушатели подобны людям, замороженным мелодией незримого музыканта; они взволнованы и расстроганы, сами не зная почему. Поэмы Гомера и его современников восхищали юную Грецию; они были частью того общественного порядка, который, подобно колонне, сделался опорой всей позднейшей цивилизации. Гомер воплотил в своих образах идеалы своего времени; нет сомнения, что его слушатели загорались желанием уподобиться Ахиллесу, Гектору и Одиссею; в его бессмертных творениях во всем величии и красоте представали дружба, любовь к родине и верность цели; столь возвышенные и прекрасные образы, без сомнения, облагораживали и обогащали чувства слушателей; от восхищения они шли к подражанию, а подражая, отождествляли себя с предметами своего восхищения. И пусть не возражают нам, говоря, что эти герои далеки от нравственного совершенства и отнюдь не могут считаться назидательными приме-

рами для подражания. Каждая эпоха обожествляет свойственные ей заблуждения под более или менее благовидными названиями; Месть — вот тот обнаженный Идол, которому поклонялись полуварварские века; а Самообман — это одетый покровами Образ неведомого зла, перед которым падают ниц роскошь и пресыщенность. Но поэт смотрит на пороки современников как на временное облачение для своих созданий, прикрывающее, но не скрывающее их извечную гармонию. Персонаж эпоса или драмы как бы носит их в душе, подобно тому, как он носит на теле древние доспехи или современный мундир, хотя нетрудно вообразить для него более красивую одежду. Внутренняя красота не может быть настолько скрыта под случайными облачениями, чтобы дух ее не сообщался самому этому облачению и не указывал, даже в манере носить его, что именно под ним сокрыто. Величавая фигура и грациозные движения видны даже под самой варварской и безвкусной одеждой. Среди величайших поэтов мало таких, которые выставляют свои замыслы в их неприкрытом великолепии; быть может, костюмы, обычаи и прочее являются даже необходимым добавлением, смягчающим для смертных ушей эту музыку сфер.

Все, что говорится о безнравственности поэзии, имеет своим источником заблуждение относительно того особого способа, каким поэзия содействует нравственному совершенствованию человека. Этика приводит в порядок ценности, созданные поэзией, и предлагает образцы и примеры из гражданской и семейной жизни; если люди ненавидят, презирают, чернят, обманывают и угнетают друг друга, это происходит отнюдь не из-за недостатка отличных нравственных доктрин. Поэзия идет иными, божественными путями. Она пробуждает и обогащает самый ум человека, делая его вместилищем тысячи неведомых ему до этого мыслей. Поэзия приподымает завесу над скрытой красотой мира и сообщает знакомому черты незнаемого; все, о чем она говорит, она воспроизводит; и образы, озаренные ее неземным светом, остаются в душе тех, кто их однажды узрел, как воспоминание о блаженном упоении, объемлющем все мысли и все поступки, которым она сопричастна. Любовь — вот суть всякой нравственности; любовь, т. е. выход за пределы своего «я» и слияние с тем прекрасным, что заключено в чьих-то, не наших, мыслях, деяниях или личности. Чтобы быть истинно добрым, человек должен обладать живым воображением; он должен уметь представить себя на месте другого и многих других; горе и радость ему подобных должны стать его собственными. Воображение — лучшее орудие нравственного совершенствования, и поэзия способствует результату, воздействуя на причину. Поэзия расширяет сферу воображения, питая его все новыми и новыми радостями, имеющими силу привлекать к себе все другие мысли и образующими новые вместилища, которые жаждут, чтобы их наполняли все новой и новой духовной пищей. Поэзия развивает эту способность, являющуюся нравственным органом человека, по-

добно тому как упражнения развивают члены его тела. А потому поэту не следует воплощать в своих созданиях, принадлежащих всему миру и всем временам, собственные понятия о хорошем и дурном, которые обычно принадлежат его времени и его стране. Принимая на себя более низкую роль толкователя результатов, с которой он, к тому же, едва ли хорошо справится, поэт лишает себя славы участника в причине. Гомер и другие величайшие поэты не заблуждались относительно своего предназначения и не отрекались от власти над обширнейшими из своих владений. Те, в ком поэтическое начало хоть и велико, но не столь сильно, — а именно: Еврипид, Лукан, Тассо, Спенсер — часто ставили себе моральную задачу, и воздействие их поэзии уменьшается ровно настолько, насколько они вынуждают нас помнить об этой своей цели.

Вслед за Гомером и циклическими поэтами⁷ через некоторое время пришли драматические и лирические поэты Афин, современники всего самого прекрасного в других искусствах: в архитектуре, живописи, музыке, танце, скульптуре, философии, и, добавим, в общественной жизни. Ибо, хотя афинское общество страдало многими несовершенствами, которые поэзия рыцарства и христианства искоренила в обычаях и общественных установлениях Европы, ни в какое другое время не существовало столько энергии, красоты и добродетели; никогда слепая сила и косная материя так не подчинялись человеческой воле и никогда эта воля так не гармонировала с велениями прекрасного и истинного, как в течение столетия, предшествовавшего смерти Сократа. Ни одна историческая эпоха не оставила нам памятников, столь явно запечатлевших божественное начало в человеке. Именно Поэзия, воплощенная в формах, движениях или словах, сделала эту эпоху памятной среди всех других, сокровищницей образцов на вечные времена. Ибо письменная поэзия существовала в то время вместе с другими искусствами, и тщетно было бы допытываться, какие из них были отражением, а какие — источником света, которым все они, собрав в общий фокус, озарили тьму последующих столетий. О причине и следствии мы можем судить лишь по неизменному совпадению: Поэзия всегда оказывается современницей других искусств, способствующих счастью и совершенствованию людей. Чтобы различить тут причину и следствие, я призываю обратиться к тому, что уже установлено.

В описываемый период родилась Драма; и даже если какой-либо из позднейших писателей сравнялся с немногими дошедшими до нас великими образцами афинской драмы или превзошел их, несомненно, что само драматическое искусство нигде не было так понято и не осуществлялось в духе его истинной философии, как в Афинах. Ибо афиняне пользовались средствами речи, действия, музыки, живописи, танца и религиозного обряда ради единой цели: представления высочайших идеалов страсти и могущества. Каждое из искусств достигало величайших вершин в руках художников, в совершенстве им владевших, и сочеталось с другими,

образуя гармоническое единство. На нынешней сцене одновременно применяются лишь немногие из средств, способных выразить замысел поэта. У нас есть трагедия без музыки и танца; а музыка и танец не воплощают высоких идей, которые они призваны нести; и все это отделено от религии, а религия вообще изгнана со сцены. В современном театре мы сняли с лица актера маску, объединявшую все выражения, свойственные изображаемому характеру, в одно постоянное и неизменное; это хорошо лишь для частных случаев, годится лишь для монолога, когда все внимание устремлено на мимику какого-нибудь великого мастера сцены. Современный принцип соединения комедии с трагедией, хотя он и ведет на практике ко множеству злоупотреблений, несомненно расширяет возможности драмы; но тогда комедия должна быть, как в «Короле Лире», высокой, идеальной и всеобъемлющей. Быть может, именно этот принцип дает «Королю Лиру» преимущество над «Царем Эдипом»⁸ или «Агамемноном»⁹ или, если угодно, трилогиями, в которые они входят; и разве только необычайная сила поэзии, заключенная в хорах, может уравновесить чаши весов. «Короля Лира», если он выдерживает и это сравнение, можно считать самым совершенным образцом драматического искусства, какой существует, несмотря на тесные границы, в которые ставило его автора незнание философии драмы, возобладавшей с тех пор в Европе нового времени. Кальдерон в своих Autos^{*10} попытался выполнить некоторые из высоких требований к драме, которыми пренебрег Шекспир: так, например, он сближает драму с религией и объединяет их с музыкой и танцем. Но он забывает об условиях, еще более важных, и больше теряет, чем выигрывает, подменяя живые воплощения человеческих страстей всегда одними и теми же жестко очерченными порождениями уродливых суеверий.

Однако мы отклонились от темы. — Автор «Четырех Веков Поэзии» осмотрительно избегает говорить о влиянии Драмы на жизнь и нравы. Раз я узнал Рыцаря по эмблеме на его щите, мне достаточно начертать на своем «Филоктет»¹¹, или «Агамемнон», или «Отелло», чтобы обратиться в бегство околдовавшие его исполинские Софизмы, подобно тому, как зеркало в руке слабейшего из Паладинов ослепляло нестерпимым светом и рассеивало целые армии чернокнижников и язычников. Связь театральных зрелищ с улучшением или падением нравов признана всеми; другими словами, отсутствие или наличие Поэзии в ее наиболее совершенной и всеобщей форме оказалось связанным с добродетелью или пороками в обычаях и поведении людей. Развращенность нравов, которую приписывают влиянию театра, начинается там, где кончается в театре Поэзия; обратимся к истории нравов и мы увидим, что усиление первой и упадок второй находятся в столь же тесной зависимости, как любая причина и следствие.

* Религиозных драмах (исп.).

В Афинах, как и повсюду, где она приблизилась к совершенству, драма была современницей нравственного и интеллектуального величия эпохи. Трагедии афинских поэтов¹² подобны зеркалам, где зритель видит себя лишь слегка замаскированным и освобожденным от всего, кроме высоких совершенств и стремлений, являющихся для каждого прообразом того, что он любит, чем восхищается и чем хотел бы стать. Воображение обогащается, сочувствуя мукам и страстям столь сильным, что их восприятие расширяет самую способность воспринимать; жалость, негодование, ужас и печаль укрепляют в зрителе добрые чувства; а после напряжения этих высоких чувств наступает возвышенное спокойствие, которое зритель уносит с собой, даже возвратясь в суету повседневной жизни; самое преступление представляется вдвое менее ужасным и утрачивает силу заразного примера, когда его показывают как роковое следствие неисповедимых путей природы; заблуждение уже не кажется своеволием; человек не может цепляться за него как за результат своего свободного выбора. В величайших из драм мало что можно осудить или возненавидеть; они учат скорее самопознанию и самоуважению. Ни глаза, ни ум человеческий не способны видеть себя иначе как отраженными в чем-то себе подобном. Драма, когда она заключает в себе Поэзию, является призматическим и многосторонним зеркалом, которое собирает наиболее яркие лучи, исходящие человеческой природой, дробит их и вновь составляет из простейших элементов, придает им красоту и величие и множит все, что оно отражает, наделяя его способностью рождать себе подобное всюду, куда эти лучи упадут.

Но в эпохи общественного упадка Драма отражает этот упадок. Трагедия становится холодным подражанием внешней форме великих творений древности, лишенным гармонического сопровождения смежных искусств и зачастую неверным даже и внешне; или же неловкой попыткой преподать некоторые догмы, почитаемые автором за нравственные истины, причем обычно это — всего лишь благовидно замаскированное стремление польстить какому-либо пороку или слабости, которым заражен и автор, и зрители. Примером первого может служить «Катон» Аддисона¹³, называемый классической и домашней драмой; вторые, к сожалению, столь многочисленны, что примеры были бы излишни. Поэзию нельзя подчинять подобным целям. Поэзия — это огненный меч, всегда обнаженный; он сжигает ножны, в которые его хотели бы вложить. Вот почему все указанные драматические сочинения на редкость непоэтичны; они претендуют на изображение чувств и страсти, но при отсутствии поэтического воображения все это — лишь названия, под которыми скрываются каприз и похоть. В нашей стране периодом наибольшего упадка драмы было царствование Карла II, когда все обычные виды поэзии превратились в воспевание королевских побед над свободой и добродетелью. Один лишь Мильтон озаряет это недостойное его время. В такие времена драма проникается духом расчета, и поэзия исчезает из нее.

Комедия утрачивает свою идеальную всеобщность; юмор сменяется острословием; смех вызывается не радостью, но самодовольным торжеством; место веселости занимает ехидство, сарказм и презрение; мы уже не смеемся, мы только улыбаемся. Непристойность, эта кощунственная насмешка над божественной красотой жизни, прикрывшись вуалью, становится от этого пусть менее отвратительной, но более дерзкой; это — чудовище, которому развращенность нравов непрерывно доставляет свежую пищу, пожираемую ею втайне.

Поскольку драма является той формой, где способно сочетаться наибольшее число различных средств поэтического выражения, в ней яснее всего можно наблюдать связь поэзии с общественным благом. Несомненно, что наивысшему расцвету драмы всегда соответствовал наилучший общественный порядок; а упадок или исчезновение драмы там, где она некогда процветала, служит признаком падения нравов и угасания тех сил, которые поддерживают живую душу общества. Но, как говорит Маккиавелли о политических установлениях, эту жизнь можно сохранить и возродить, если явятся люди, способные вернуть драму на прежний верный путь. То же относится и к Поэзии в наиболее широком смысле: язык и все формы языкотворчества должны не только возникнуть, но и поддерживаться; поэт остается верен своей божественной природе: он творец, но он же и провидение.

Гражданская война, завоевания в Азии и победы сперва македонского, а затем римского оружия были ступенями угасания творческих сил Греции. Буколические поэты, нашедшие покровительство у просвещенных деспотов Сицилии и Египта, были последними представителями славной эпохи. Их поэзия необычайно мелодична: подобно запаху туберозы, она пресыщает чрезмерной сладостью; тогда как поэзия их предшественников была июньским ветром, который смешивает ароматы всех полевых цветов и добавляет к ним собственное бодрящее дыхание, не дающее нашему восприятию утомиться восторгом. Буколическая и эротическая изысканность поэзии соответствует изнеженности в скульптуре, музыке и прочих искусствах, а также в нравах и общественных порядках; именно это и отличает эпоху, о которой идет речь. В этом недостатке гармонии неповинно ни само поэтическое начало, ни какое-либо неверное его применение. Подобную же чувствительность к влиянию чувств и страстей мы находим в творениях Гомера и Софокла: первый в особенности умел придать неотразимую привлекательность чувственному и патетическому. Превосходство этих авторов над позднейшими состоит в наличии у них мыслей, относящихся к внутреннему миру человека, а не в отсутствии таких, которые связаны с миром внешним; их совершенство заключается в гармоническом сочетании тех и других. Слабость эротических поэтов не в том, что у них есть, а в том, чего им недостает. Их можно считать причастными современной им развращенности нравов не потому, что они были поэтами, но потому, что они были

ими недостаточно. Если б этот распад сумел погасить в них также и восприимчивость к наслаждению, страсти и к красоте природы, которая ставится им в вину как недостаток, — вот тогда торжество зла было бы окончательным. Ибо конечной целью общественного распада является уничтожение всякой способности к приятным ощущениям; в этом-то и заключается разложение. Оно начинается с воображения и интеллекта, т. е. с сердцевины, а оттуда, подобно парализующему яду, распространяется на чувства и наконец даже на чувственные желания, пока все не превращается в омертвелую массу, в которой едва теплится сознание. С приближением такого времени поэзия всегда обращается к тем способностям человека, которые угасают последними и, подобно шагам Астреи¹⁴, уходящей из мира, голос ее слышится все отдаленнее. Поэзия неизменно дает людям все наслаждение, какое они способны испытывать; она всегда остается светочем жизни, источником всего прекрасного, благородного и истинного, что еще может существовать в години мрака. Несомненно, те из изнеженных жителей Сиракуз и Александрии, которые восхищались поэмами Феокрита, были менее бессердечны, жестоки и чувственны, чем остальные. Прежде чем исчезнет Поэзия, должна распасться самая плоть человеческого общества: Никогда еще не распадались полностью священные звенья той цепи, которая, проходя через множество сердец, восходит к великим умам и оттуда посылает незримую эманацию, все соединяющую воедино и поддерживающую жизнь повсюду. Это она содержит в себе одновременно зачатки и своего собственного, и общественного возрождения. Кроме того, не следует ограничивать влияние буколической и эротической поэзии теми, к кому она в свое время обращалась. Те могли воспринять ее бессмертную красоту лишь как отдельные фрагменты. Читатели, наделенные более тонкой восприимчивостью или рожденные в более счастливую эпоху, могут увидеть в ней части той великой поэмы, которую все поэты, подобно согласным думам единого великого ума, слагают от начала времен.

Тот же цикл, хотя и в более узких пределах, прошел и древний Рим; но там общественная жизнь, по-видимому, никогда не была до такой степени насыщена поэтическим началом. Римляне, как видно, считали, что греки достигли совершенства как в своих нравах, так и в следовании природе; они не пытались создавать, в стихах ли, в скульптуре, музыке или архитектуре, ничего, имевшего прямое отношение к их собственному бытию, но лишь такое, где отражалось нечто общее для всего мира. Впрочем, мы судим об этом по неполным данным, а потому, быть может, с недостаточной полнотой. Энний¹⁵, Варрон¹⁶, Пакувий¹⁷ и Акций¹⁸ — все четверо большие поэты — до нас не дошли. Лукреций¹⁹ обладал творческим даром в высочайшей степени, Вергилий²⁰ — в очень высокой. У этого последнего изысканность выражений подобна светлой дымке, прикрывающей от читателя ослепительную правдивость его изыска-

жений мира. Ливий весь исполнен поэзии. Однако Гораций²¹, Катулл²², Овидий²³ и все другие большие поэты, современники Вергилия, видели человека и природу в зеркале греческого искусства. Государственное устройство и религия также были в Риме менее поэтичны, чем в Греции, как тень всегда бледнее живой плоти. Поэтому римская поэзия скорее следовала за совершенствованием политического и семейного быта, чем звучала с ним в лад. Подлинная поэзия Рима жила в его гражданских установлениях; ибо все прекрасное, истинное и величественное, что в них было, могло порождаться только тем началом, которое творило самый этот порядок вещей. Жизнь Камилла²⁴; смерть Регула²⁵; сенаторы, торжественно ожидающие прихода победоносных галлов; отказ Республики заключить мир с Ганнибалом после битвы при Каннах²⁶ — все это не было результатом расчета и вычисления возможных личных выгод такого именно течения событий для тех, кто были одновременно и сочинителями, и актерами этих бессмертных драм. Воображение, созерцавшее красоту этого общества, создавало ее по собственному образу и подобию; следствием было всемирное владычество, а наградою — вечная слава. Все это — та же поэзия, хотя *quia carent vate sacro*^{*27}. Все это — эпизоды циклической поэмы, которую Время пишет в памяти людей. Прошлое, подобно вдохновенному рапсоду, поет ее вечно смеющимся поколениям.

Но вот наконец античная религия и культура завершили цикл своего развития. И мир всецело погрузился бы в хаос и тьму, если бы среди творцов христианской и рыцарской культуры не оказалось своих поэтов, которые создали дотоле неизвестные образцы для мысли и действия; отразившись в умах людей, они, словно полководцы, приняли командование над смятенными полками их мыслей и чувств. В мою задачу не входит рассмотрение зла, причиненного этими идеями; я только еще раз заявляю, на основе высказанных выше положений, что в этом ни в какой мере не повинна содержавшаяся в них поэзия.

Возможно, что удивительная поэзия Моисея, Иова, Давида, Соломона и Исаяи²⁸ произвела впечатление на Иисуса и его учеников. Отдельные фрагменты, сохраненные для нас биографами этого необыкновенного человека, исполнены самой яркой Поэзии. Но его учение, по-видимому, скоро подверглось искажению. Спустя некоторое время после победы идей, основанных на этом учении, три категории²⁹, на которые Платон разделил духовные способности человека, были как бы канонизированы и сделались в Европе предметом культа. И тут надо признать, «тускнеет свет» и

... ворон в лес туманный
Летит. Благие силы дня уснули.
Выходят слуги ночи на добычу³⁰.

* «Вещего не дал им рок поэта» (лат.).

Но заметьте, какой великолепный порядок родился³¹ из грязи и крови этого яростного хаоса! И как мир, словно воскреснув, взлетел на золотых крыльях познания и надежды и еще длит свой полет в небеса времен. Вслушайтесь в музыку, не слышную простым ухом и подобную вечному невидимому ветру, который придает этому нескончаемому полету быстроту и силу.

Поэзия, содержащаяся в учении Христа и в мифологии и укладе жизни кельтских завоевателей Римской империи, пережила смуту, сопровождавшую их появление и победу, и сложилась в новую систему нравов и идей. Было бы ошибкой приписывать невежество средневековья христианскому учению или господству кельтских племен. Все, что могло быть в них дурного, вызвано было исчезновением поэтического начала по мере развития деспотизма и суеверий. По причинам, слишком сложным, чтобы обсуждать их здесь, люди стали бесчувственными и себялюбивыми; воля их ослабела, и все же они были ее рабами, а тем самым и рабами чужой воли; похоть, страх, алчность, жестокость и обман отличали поколения, где не оказалось никого, способного *творить*, — будь то статуи, поэмы или общественные установления. Моральные аномалии такого общества нельзя отнести за счет каких-либо современных ему событий; и более всего заслуживают одобрения те события, которые всего успешнее могли их уничтожить. К несчастью для тех, кто не умеет отличать слов от помыслов, многие из этих аномалий вошли в нашу общепринятую религию.

Воздействие поэзии христианства и рыцарства начало сказываться лишь в XI веке. Принцип равенства был открыт и применен Платоном в его «Республике» в качестве теоретического правила, согласно которому все предметы удовольствия и орудия могущества, созданные общим трудом и искусством людей, должны между ними распределяться. Границы этого правила, утверждает он, определяются только разумом каждого или соображениями общей пользы. Вслед за Тимеем³² и Пифагором Платон построил также нравственную и интеллектуальную систему, охватывающую прошлое, настоящее и будущее человека. Христос открыл человечеству священные и вечные истины, заключенные в этой философии; христианство, в своем чистом виде, стало экзотерическим выражением эзотерических принципов древней поэзии и мудрости. Слившись с истощенными народностями юга, кельты принесли им поэзию своей мифологии и своего жизненного уклада. Результатом была некая сумма, составленная из действия и противодействия всех факторов; ибо можно считать, что ни одна нация или религия не может победить другую и при этом не вобрать в себя какую-то часть того, что она вытесняет. В числе этих последствий было уничтожение личного и домашнего рабства и освобождение женщин от большей части унижительных оков античности.

Отмена личного рабства является основой величайших надежд в области политики, какие может возыметь человек. Освобождение женщины создало поэзию половой любви. Любовь стала религией; предметы ее культа были постоянно на глазах. Казалось, статуи Аполлона и Муз ожили, задвигались и смешались с толпою своих почитателей, так что на земле появились обитатели небес. Обычные дела и привычные зрелища жизни сделались удивительными и чудесными; из обломков Эдема был сотворен новый рай. Самое создание его есть поэзия, а потому и создатели были поэтами; их орудием был язык: «Galeotto fù il libro, e chi lo scrisse»*. Провансальские труверы, что значит «изобретатели»³³, были предшественниками Петрарки, чьи стихи, подобно заговорам, открывают волшебные потайные источники счастья, заключенного в любовных муках. Невозможно воспринимать их и не стать при этом частицею созерцаемой нами красоты; едва ли нужно доказывать, что эти священные чувства, пробуждающие нежность и возвышающие душу, способны сделать людей лучше, великодушнее и мудрее и вознести их над тусклою мглою маленького себялюбивого мирка. Данте еще лучше Петрарки понимал таинства любви³⁴. Его «Vita Nuova»** представляет собой неисчерпаемый источник чистых чувств и чистого языка; это — опоэтизованная повесть тех лет его жизни, которые посвящены были любви. Апофеоз Беатриче в поэме «Рай», постепенное преобразование его любви и ее красоты, которое, словно по ступеням, приводит его к престолу Высшей Первопричины, — все это является прекраснейшим созданием Поэзии нового времени. Наиболее проникательные из критиков судят о частях поэмы иначе, чем толпа, и справедливо располагают их по степени совершенства в ином порядке, а именно: «Ад», «Чистилище», «Рай». Эта последняя представляет собою гимн вечной Любви. Любовь, которая в античном мире нашла достойного певца в одном лишь Платоне, в новое время воспевается целым хором величайших поэтов; эти песни проникли во все подземелья общества, и отзвуки их донные заглушают нестройный лязг оружия и завывания суеверий. Ариосто, Тассо, Шекспир, Спенсер, Кальдерон, Руссо и великие писатели нашего столетия, каждый в свой черед, прославляли любовь, как бы доставляя человечеству трофеи великих побед над чувственностью и грубой силой. Истинные отношения, в каких состоят оба пола, ныне понимаются вернее; и если в общественном мнении современной Европы отчасти рассеялось заблуждение, принимавшее различия в способностях обоих полов за признак их неравенства, то этим отрадным явлением мы обязаны культу, который Данте узаконило рыцарство, а проповедовали поэты.

Поэзию Данте можно считать мостом, переброшенным через поток времени и соединяющим современный мир с античным. Искажен-

* «И книга стала нашим Галеотом»³⁵ (итал.).

** «Новая Жизнь» (итал.).

ные представления о невидимых силах — предметах поклонения Данте и его соперника Мильтона, — всего лишь плащи и маски, под которыми эти великие поэты шествуют в вечность. Трудно определить, насколько они сознавали различия между их собственными верованиями и народными. Данте, во всяком случае, стремится показать эти различия в полной мере, когда отводит Рифею, которого Вергилий называет *justissimus unus**, место в Раю, а в распределении наград и наказаний следует самым еретическим капризам³⁶. А поэма Мильтона содержит философское опровержение тех самых догматов, которым она, по странному, но естественному контрасту, должна была служить главной опорой. Ничто не может сравниться по мощи и великолепию с образом Сатаны в «Потерянном Рае». Было бы ошибкой предположить, что он мог быть задуман как олицетворение зла. Непримируемая ненависть, терпеливое коварство и утонченная изобретательность в выдумывании мук для противника — вот что является злом; оно еще простительно рабу, но непростительно владыке; искупается у побежденного многим, что есть благородного в его поражении, но усугубляется у победителя всем, что есть позорного в его победе. У Мильтона Сатана в нравственном отношении настолько же выше Бога, насколько тот, кто верит в правоту своего дела и борется за него, не страшась поражений и пытки, выше того, кто из надежного укрытия верной победы обрушивает на врага самую жестокую месть — и не потому, что хочет вынудить его раскаяться и не упорствовать во вражде, но чтобы нарочно довести его до новых проступков, которые навлекут на него новую кару. Милтон настолько искажает общепринятые верования (если это можно назвать искажением), что не приписывает своему Богу никакого нравственного превосходства над Сатаной. Это дерзкое пренебрежение задачей прямого морализирования служит лучшим доказательством гения Мильтона. Он словно смешал черты человеческой природы, как смешивают краски на палитре, и на своем великом полотне расположил их согласно эпическим законам правды, т. е. согласно тем законам, по которым взаимодействие между внешним миром и существами, наделенными разумом и нравственностью, возбуждает сочувствие многих человеческих поколений. «Божественная Комедия» и «Потерянный Рай» привели в систему мифологию нового времени; и когда, с течением времени, ко множеству суеверий прибавится еще одно, ученые толкователи станут изучать по ним религию Европы, которая лишь потому не будет совершенно позабыта, что отмечена нетленной печатью гения.

Гомер был первым, а Данте — вторым из эпических поэтов, т. е. вторым из тех, чьи создания определены и ясно связаны со знаниями, чувствами, верованиями и политическим устройством их эпохи и последующих эпох и развивались в соответствии с их развитием. Ибо Лу-

* «Справедливости лучший блюститель» (лат.).

крекий смочил крыла своего быстролетного духа в клейких осадках чувственного мира; Вергилий, со скромностью, мало подобающей его гению, хотел прослыть всего лишь подражателем, хотя он создавал заново все, что копировал; а из стаи пересмешников ни один³⁷ — ни Аполлоний Родосский, ни Квинт Калабер из Смирны, ни Нонний, ни Лукан, ни Стаций, ни Клавдиан, — хотя они и пели сладко, — не отвечает требованиям эпической правды. Третьим эпическим поэтом был Мильтон. Ибо если отказывать в звании эпоса³⁸ в самом высоком его смысле «Энеиде», то тем менее заслуживают его «Неистовый Роланд», «Освобожденный Иерусалим», «Лузиады», или «Королева Фей».

Данте и Мильтон были оба глубоко проникнуты верованиями античности; ее дух присутствует в их поэзии в той же мере, в какой внешние ее формы сохранились в религии новой Европы до Реформации. Один из них предшествовал, второй — следовал за Реформацией почти через равные промежутки времени. Именно Данте и был первым из религиозных реформаторов, и Лютер превосходит его скорее язвительностью, нежели смелостью обличений папского произвола. Данте первый пробудил восхищенную им Европу; из хаоса неблагозвучных варваризмов он создал язык³⁹, который сам по себе был музыкой и красноречием. Он был тем, кто сплотил великие умы, воскресившие ученость; Люцифером той звездной стаи⁴⁰, которая в XIII веке, словно с небес, воссияла из республиканской Италии над погруженным во тьму миром. Самое его слово одухотворено; каждое подобно искре, огненной частице неугасимой мысли. Многие из них подернуты золою и таят в себе огонь, для которого еще не нашлось горючего. Высокая поэзия бесконечна; это как бы первый желудь, зародыш всех будущих дубов. Можно подымать один покров за другим и никогда не добраться до сокрытой под ними обнаженной красоты смысла. Великая поэма — это источник, вечно плещущий через край водами мудрости и красоты; когда отдельный человек и целая эпоха вычерпают из него всю божественную влагу, какую они способны воспринять, на смену им приходят другие и открывают в нем все новое и новое, получая наслаждение, какого они не ждали и не могли себе представить.

Век, наступивший после Данте, Петрарки и Боккаччо, был отмечен возрождением живописи, скульптуры, музыки и архитектуры. Чосер⁴¹ зажегся этим священным огнем, и таким образом английская литература поднялась на итальянском фундаменте.

Не будем, однако, отвлекаться от нашей задачи защиты Поэзии и заниматься ее критической историей и влиянием ее на общество. Достаточно сказать, что поэты, в широком и истинном смысле этого слова, воздействовали на свою эпоху и на все последующие, и сослаться на отдельные примеры, уже приводившиеся в подтверждение мнения, противоположного тому, которое высказывает автор «Четырех Веков Поэзии»⁴².

Но он выдвигает еще и иной довод, чтобы развенчать поэтов в пользу мыслителей и ученых. Признавая, что игра воображения приносит больше всего удовольствия, он считает работу разума более полезной. Чтобы принять такое разделение, посмотрим, что именно разумеется здесь под пользой. Удовольствием или благом зовется вообще то, к чему сознательно стремится существо, наделенное чувствами и разумом, и чему оно предается, когда находит. Есть две фазы или степени удовольствия, одно — длительное, всеобщее и постоянное, другое — преходящее и частное. Пользой может быть то, что является средством достигнуть первой или же второй. Если первой — тогда полезно все, что укрепляет и очищает наши привязанности, открывает простор воображению и одухотворяет область чувственного. Но автор «Четырех Веков Поэзии», видимо, употребляет слово «польза» в более узком смысле: как то, что утоляет потребность нашей животной природы, делает жизнь безопаснее, рассеивает наиболее грубые из суеверий и внушает людям взаимную терпимость в той степени, какая совместима с мотивами личной выгоды.

Нет сомнения, что ревнители пользы в этом ограниченном ее понимании также имеют свое место в обществе. Они идут по следам поэтов и копируют их стихи для повседневного употребления. Они творят пространство и создают время. Труд их весьма ценен, покуда они ограничиваются заботой о низших потребностях, без ущерба для высших. Пусть скептик разрушает грубые суеверия, но пусть не искажает, как это делали иные французские авторы, вечных истин, запечатленных в душах людей. Пусть изобретатель машин облегчает, а политический эконом упорядочивает человеческий труд, но пусть остерегаются, как бы их деятельность, не связанная с основными принципами, принадлежащими миру духовному, не углубила — как это случилось в современной Англии — пропасти между роскошью и нищетою. Они воплотили в жизнь евангельское изречение: «Имущему дастся, а у неимущего отнимется»⁴³. Богачи стали богаче, а бедняки — беднее; и наш государственный корабль плывет между Сциллою анархии и Харибдой деспотизма. Таковы неизбежные следствия безраздельного господства расчета.

Трудно определить удовольствие в его высшем смысле, ибо это определение заключает в себе ряд кажущихся парадоксов. Так, вследствие какого-то необъяснимого недостатка гармонии в человеческой природе, страдания нашего физического существа нередко приносят радость нашему духовному «я». Печаль, страх, тревога и даже отчаяние часто знаменуют приближение к высшему благу. На этом основано наше восприятие трагедии; трагедия восхищает нас тем, что дает почувствовать долю наслаждения, заключенную в страдании. В этом же — источник той грусти, которая неотделима от прекраснейшей мелодии. Удовольствие, содержащееся в печали, слаще удовольствия как такового.

Отсюда и изречение: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира»⁴⁴. Это не означает, что высшая ступень удовольствия обязательно связана со страданием. Радости любви и дружбы, восхищение природой, наслаждение поэзией, а еще более — поэтическим творчеством зачастую не содержат такой примеси.

Доставлять удовольствие в этом высшем его смысле — это и есть истинная польза. А доставляют и продлевают это удовольствие поэты или же поэты-философы.

Деятельность Локка, Юма, Гиббона, Вольтера, Руссо* и их учеников в защиту угнетенного и обманутого человечества заслуживает признательности. Однако нетрудно подсчитать, на какой ступени морального и интеллектуального прогресса оказался бы мир, если бы они вовсе не жили на свете. В течение столетия или двух говорилось бы немного больше глупостей, и еще сколько-то мужчин, женщин и детей было бы сожжено за ересь. Нам, вероятно, не пришлось бы сейчас радоваться уничтожению испанской инквизиции. Но невозможно себе представить нравственное состояние мира, если бы не было Данте, Петрарки, Боккаччо, Чосера, Шекспира, Кальдерона, лорда Бэкона и Мильтона; если бы никогда не жили Рафаэль и Микеланджело, если бы не была переведена древнееврейская поэзия; если бы не возродилось изучение греческой литературы; если бы поэзия античных богов исчезла вместе с их культом. Без этих стимулов человеческий ум никогда не пробудился бы ни для создания естественных наук, ни для применения к общественным заблуждениям рассудочного анализа, который ныне пытаются поставить выше непосредственного проявления творческого начала.

Мы накопили больше нравственных, политических и исторических истин, чем умеем приложить на практике; у нас более чем достаточно научных и экономических сведений, но мы не применяем их для справедливого распределения продуктов, которые благодаря этим сведениям производятся в возрастающем количестве. В этих науках поэзия погребена под нагромождением фактов и расчетов. У нас нет недостатка в знании того, что является самым лучшим и наиболее мудрым в нравственности, в науке управления и в политической экономии или, по крайней мере, того, что было бы мудрее и лучше нынешнего их состояния, с которым мы миримся. Но, как у бедной кошки в поговорке, наше «хочу» слабее, чем «не смею»⁴⁵. Нам недостает творческой способности, чтобы воссоздать в воображении то, что мы знаем; нам недостает великодушия, чтобы осуществить то, что мы себе представляем; нам не хватает поэзии жизни; наши расчеты обогнали наши представления; мы съели больше, чем способны переварить. Развитие тех наук, которые расширили власть человека над внешним миром, из-за отсутствия поэ-

* Я следую классификации, принятой автором «Четырех Веков Поэзии», однако Руссо был прежде всего поэтом. Остальные, даже Вольтер, всего лишь резонеры.

тического начала соответственно сузили его внутренний мир; поработив стихии, человек сам при этом остается рабом. Чем, как не развитием механических наук в ущерб творческому началу, являющемуся основой всякого познания, можно объяснить тот факт, что все изобретения, которые облегчают и упорядочивают труд, лишь увеличивают неравенство среди людей? По какой, если не по этой, причине изобретения, вместо того, чтобы облегчить, усилили проклятие, тяготеющее над Адамом? Место Бога и Маммоны⁴⁶ занимают в нашем обществе Поэзия и воплощенный в Богатстве Эгоизм.

Поэтическое начало действует двояко: во-первых, создает новые предметы, служащие познанию, могуществу и радости, с другой — рождает в умах стремление воспроизвести их и подчинить известному ритму и порядку, которые можно назвать красотой и добром. Никогда так не нужна поэзия, как в те времена, когда вследствие господства себялюбия и расчета количество материальных благ растет быстрее, чем способность освоить их согласно внутренним законам человеческой природы. В такие времена тело становится чересчур громоздким для оживляющего его духа.

Поэзия есть действительно нечто божественное. Это одновременно центр и вся сфера познания; то, что объемлет все науки, и то, чем всякая наука должна поверяться. Это одновременно корень и цветок всех иных видов мышления; то, откуда все проистекает, и то, что все собою украшает; когда Поэзию губят, она не дает ни плодов, ни семян; и пораженный бесплодием мир лишается и пищи, и новых побегов на древе жизни. Поэзия — это прекрасное лицо мира, его лучший цвет. Она для нас то же, что аромат и краски для веществ, составляющих розу; то же, что нетленная красота для тела, обреченного разложению. Чем были бы Добродетель, Любовь, Патриотизм, Дружба — чем были бы красоты нашего прекрасного мира — что служило бы нам утешением при жизни и на что могли бы мы надеяться после смерти, если бы Поэзия не приносила нам огонь с тех вечных высот, куда расчет не дерзает подняться на своих совиных крыльях? В отличие от рассудка, Поэзия не принадлежит к способностям, которыми можно пользоваться произвольно. Человек не может сказать: «Вот сейчас я возьму и сочиню поэму». Этого не может сказать даже величайший из поэтов; ибо созидательный дух подобен тлеющему углю, на мгновение раздуваемому неким невидимым дыханием, изменчивым, точно ветер; поэтическая сила рождается где-то внутри, подобно краскам цветка, которые меняются, пока он расцветает, а потом блекнет; и наше сознание неспособно предугадать ее появления или исчезновения. Если бы действие ее могло быть длительным и при этом сохранять первоначальную чистоту и силу, результаты были бы грандиозны; но, когда Поэт начинает сочинять, вдохновение находится уже на ущербе, и величайшие создания поэзии, известные миру, являются, вероятно, лишь слабой тенью первоначального

замысла Поэта. Я хотел бы спросить лучших поэтов нашего времени: неужели можно утверждать, будто лучшие поэтические строки являются плодом труда и учености? Неспешный труд, рекомендуемый критиками, в действительности является не более, чем прилежным ожиданием вдохновенных минут и искусственным заполнением промежутков между тем, что подсказано этими минутами, с помощью различных общих мест — необходимость, которая вызвана только ограниченностью поэтической силы. Ибо Мильтон задумал «Потерянный рай» целиком прежде, чем начал осуществлять свой замысел по частям. Он сам говорит нам, что Муза влагала ему в уста «стихи несочиненные»⁴⁷; и пусть это будет ответом тому, кто приводит в пример пятьдесят шесть вариантов первой строки «Неистового Роланда»⁴⁸. Сочиненные таким образом поэмы имеют такое же отношение к поэзии, как мозаика к живописи. Инстинктивный и интуитивный характер поэтического творчества еще заметнее в скульптуре и живописи; великая статуя или картина растет под руками художника, как дитя в материнской утробе; и даже ум, направляющий творящую руку, не способен понять, где возникает, как развивается и какими путями осуществляется процесс творчества.

Поэзия — это летопись лучших и счастливейших мгновений, пережитых счастливейшими и лучшими умами. Мы улавливаем в ней мимолетные отблески мыслей и чувств, порою связанных с известным местом или лицом, иногда относящихся только к нашей внутренней жизни; эти отблески возникают всегда непредвиденно и исчезают помимо нашей воли, но они возвышают душу и несказанно нас восхищают: так что к желанию и сожалениям, которые они по себе оставляют, примешивается радость, — ибо такова их природа. В нас проникает словно некое высшее начало; но движения его подобны полету ветра над морем — следы его изглаживаются наступающей затем тишью, оставаясь запечатленными лишь в волнистой ряби прибрежного песка. Эти и подобные состояния души являются преимущественно уделом людей, одаренных тонкой восприимчивостью и живым воображением; душа настраивается при этом на высокий лад, враждебный всякому низменному желанию. С этим состоянием духа неразрывно связаны добродетель, любовь, патриотизм и дружба: пока оно длится, интересы личности представляются тем, что они есть на самом деле, т. е. атомом по сравнению с космосом. Поэты, как натуры наиболее тонкие, не только подвержены таким состояниям души, но могут окрашивать все свои создания в неуловимые цвета этих неземных сфер; одно слово, одна черта в изображении какой-либо сцены или страсти способны затронуть волшебную струну и воскресить в тех, кто однажды уже испытал подобные чувства, уснувший, остывший и давно похороненный образ прошлого. Поэзия, таким образом, дает бессмертие всему, что есть в мире лучшего и наиболее прекрасного; она запечатлевает мимолетные видения, реющие в поднебесье, и, облекая их в слова или очертания, посылает в мир, как благу и ра-

достную весть, тем, в чьей душе живут подобные же видения, но не нисходят оттуда выхода во вселенную. Поэзия не дает погибнуть минутам, когда на человека нисходит божество.

Поэзия дивно преобразует все сущее: красоту она делает еще прекраснее, а уродство наделяет красотой. Она сочетает воедино восторг и ужас, печаль и радость, вечность и перемену; под своим легким ярмом она соединяет все, что несоединимо. Она преобразует все, к чему прикасается, и каждый предмет, оказавшийся в ее сияющей сфере, подвергается волшебному превращению, чтобы воплотить живущий в ней дух; таинственная алхимия Поэзии обращает в расплавленное золото даже те ядовитые воды, которыми смерть отравляет живущих; она срывает с действительности давно знакомые, приглядевшиеся покровы, и мы созерцаем ее обнаженную спящую красоту, иначе говоря — ее душу.

Все существует постольку, поскольку воспринимается; во всяком случае, для воспринимающего. «Дух сам себе отчина, и в себе из Неба Ад творит, из Ада — Небо»⁴⁹. Но Поэзия побеждает проклятие, подчиняющее нас случайным впечатлениям бытия. Разворачивает ли она собственную узорную ткань или срывает темную завесу повседневности с окружающих нас предметов, она всегда творит для нас жизнь внутри нашей жизни. Она переносит нас в мир, по сравнению с которым обыденный мир представляется беспорядочным хаосом. Она воссоздает Вселенную, частицу коей мы составляем, одновременно ее воспринимая; она очищает наш внутренний взор от налета привычности, затемняющего для нас чудо нашего бытия. Она заставляет нас прочувствовать то, что мы воспринимаем, и вообразить то, что мы знаем. Она заново создает мир, уничтоженный в нашем сознании впечатлениями, притупившимися от повторений. Она оправдывает смелые и верные слова Тассо: «Non merita nome di Creatore se non Iddio ed il Poeta» *⁵⁰.

Даруя другим величайшие сокровища мудрости, радости, добродетели и славы, поэт и сам должен быть счастливейшим, лучшим, мудрейшим и наиболее прославленным из людей. Что касается его славы, пусть Время решит, сравнится ли со славой поэта слава какого-либо другого устроителя человеческой жизни, Что он — мудрейший, счастливейший и лучший уже тем одним, что он поэт, в этом также нет сомнения; величайшие поэты были людьми самой незапятнанной добродетели и самой высокой мудрости, и — если заглянуть в тайники их жизни — также и самыми счастливыми из людей; исключения — касающиеся тех, кто обладал поэтической способностью в высокой, но не в высочайшей, степени, — скорее подтверждают это правило, нежели опровергают его. Снизойдем на миг до общераспространенных суждений и, присвоив себе и сочетав в своем лице несовместимые обязанности обвинителя, свидетеля, судьи и исполнителя приговора, решим — без доказательств и

* «Никто не заслуживает называться Творцом, кроме Бога и Поэта» (итал.).

судебной процедуры, — что тем, кто «превыше прочих смертных вознесен»⁵¹, случилось вести себя предосудительно. Допустим, что Гомер был пьяницей, Вергилий — льстецом, Гораций — трусом, Тассо — сумасшедшим, Бэкон — лихоимцем, Рафаэль — распутником, а Спенсер — поэтом-лауреатом. В этой части нашего трактата⁵² было бы неуместно перечислять ныне живущих поэтов, но те великие имена, которые мы только что упомянули, уже получили полное оправдание у потомства. Проступки их были взвешены и оказались на весах легче праха; пусть их грехи были краснее пурпура — сейчас они белы, как снег, ибо были омыты кровью всепримиряющего и всеискупающего Времени. Заметьте, в каком нелепом беспорядке смешались правда и ложь в современном злословии о Поэзии и поэтах; подумайте, сколь часто вещи являются не тем, чем кажутся, или кажутся не тем, что они есть; оглянитесь также и на себя и не судите, да не судимы будете.

Как уже было сказано, Поэзия отличается от логики тем, что не подчинена непосредственно умственному усилию, и ее проявление не обязательно связано с сознанием или волей. Было бы чересчур смелым утверждать, что таковы неперменные условия всякой причинной связи в области мысли, когда имеют место следствия, которые нельзя к ней возвести. Нетрудно предположить, что частые приливы поэтической силы могут создать в сознании поэта привычный гармонический порядок, согласный с собственной его природой и с воздействием его на другие умы. Но в промежутках между порывами вдохновения, обычно частыми, но не длительными, Поэт становится обычным человеком и внезапно подвергается всем влияниям, на прочих людей действующим постоянно. Отличаясь более тонким душевным складом и несравненно большей чувствительностью к страданию и к радости, своей и чужой, он избегает первого и стремится ко второй также с несравненно большей страстью, чем другие люди. А когда он упускает при этом из виду, что радость, к которой стремятся все, и страдание, которого все избегают, подчас маскируются и выступают одно вместо другого, он делает себя мишенью для клеветы.

Однако эти заблуждения вовсе не всегда преступны, и никогда еще среди предъявленных поэтам обвинений не значились жестокость, зависть, мстительность, алчность и наиболее злые из страстей.

Ради торжества истины я счел за лучшее расположить эти заметки в том порядке, в каком они мне явились при обдумывании самого предмета, вместо того, чтобы следовать за трактатом, побудившим меня опубликовать их. Не будучи полемическим ответом на него по всей форме, эти заметки, — если читатель признает их справедливыми, — содержат опровержение взглядов, высказанных в «Четырех Веках Поэзии»; во всяком случае, в первой своей части. Нетрудно догадаться, что именно разгневало ученого и мыслящего автора этого сочинения. Как и он, я тоже не склонен восхищаться «Тезеидами» современных силплых Кодров⁵³.

Бавий и Мевий были и остаются невыносимыми созданиями⁵⁴. Однако, если критик одновременно является и философом, он обязан скорее различать, чем смешивать.

Первая часть моих замечаний касается основных принципов и сущности Поэзии; насколько позволил мне ограниченный размер этого сочинения, я показал, что поэзия в собственном смысле слова имеет общий источник со всеми другими формами красоты и гармонии, в которых можно выразить содержание человеческой жизни, — они и составляют Поэзию в высшем ее смысле.

Во второй части моих заметок я намереваюсь приложить эти общие принципы к современному состоянию Поэзии, а также обосновать попытку претворения в поэзию современной жизни и взглядов и подчинения их творческому, поэтическому началу. Ибо английская литература, которая неизменно испытывала могучий подъем при каждом большом и свободном проявлении народной воли, сейчас возрождается к новой жизни. Несмотря на низкую зависть, стремящуюся умалить достоинства современных авторов, наше время будет памятно как век высоких духовных свершений⁵⁵; мы живем среди мыслителей и поэтов, которые стоят несравненно выше всех, какие появлялись со времен последней всенародной борьбы за гражданские и религиозные свободы. Поэзия — самая верная вестница, соратница и спутница великого народа, когда он пробуждается к борьбе за благодетельные перемены во мнениях или общественном устройстве. В такие времена возрастает наша способность воспринимать и произносить высокое и пламенное слово о человеке и природе. Те, кто наделен этой силой, нередко могут во многом быть, на первый взгляд, далеки от того духа добра, провозвестниками которого они являются. Но, даже отрекаясь от него, они вынуждены служить тому Властелину, который царит в их душе.

Нельзя читать произведения наиболее славных писателей нашего времени и не поражаться напряженной жизни, которую наэлектризованы их слова. С необыкновенной пронизательностью охватывают они все многообразие и измеряют все глубины человеческой природы и, быть может, более других удивляются проявлениям этой силы, ибо это не столько их собственный дух, сколько дух эпохи. Поэты — это жрецы непостижимого вдохновения; зеркала, отражающие исполинские тени, которые грядущее отбрасывает в сегодняшний день; слова, выражающие то, что им самим непонятно; трубы, которые зовут в бой и не слышат своего зова; сила, которая движет другими, сама оставаясь недвижимой.

Поэты — это непризнанные законодатели мира.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. А. Елистратова
ПРОЗА ШЕЛЛИ

Избранные письма, дневники, беллетристические фрагменты, литературно-критические статьи и публицистика Шелли, представленные в настоящем издании, открывают читателям ту сторону наследия этого замечательного революционно-романтического поэта, которая до сих пор в нашей стране не была широко известна.

А между тем это — не «подсобный» материал к биографии Шелли, а в подавляющем большинстве случаев произведения, равно интересные как по мыслям, так и по форме выражения, свидетельствующие о том, что в рано умершем Шелли — так же, как и в Байроне и Китсе, — европейская литература потеряла не только великого поэта, но и замечательного прозаика.

В трехтомном «*Полном собрании сочинений Шелли*» в переводе К. Д. Бальмонта (1907) была отчасти представлена и его проза¹. Правда, под пером Бальмонта фрагменты, статьи и наброски Шелли (как и его поэмы) нередко приобретали несвойственный им в оригинале оттенок слащавой велеречивости.

Надо, однако, отдать справедливость Бальмонту: в своих примечаниях он по достоинству оценил прозаические сочинения Шелли. «Здесь не менее ярко ощущается глубокая душа и крупный поэтический талант»², чем в его поэтических произведениях. Особо выделил он «*Защиту Поэзии*» — этот эстетический манифест Шелли. «Общая мысль этюда, — писал Бальмонт, — может служить руководящей для всех, кто хочет говорить о поэтах, а отдельные блестящие места, полные очаровательного лаконизма, свидетельствуют о том, что Шелли не только в стихах, но и в прозе умел давать истинные образцы философской лирики»³.

¹ Около трети последнего тома этого издания отведено «*Повествовательным отрывкам, заметкам, статьям*», расположенным в хронологическом порядке, начиная с «*Ассасинов*» и кончая «*Защитой Поэзии*». Кроме того, Бальмонт, что очень важно, воспроизвел в своем издании интереснейшие предисловия Шелли к его крупным произведениям, обычно опускавшимся, без всяких к тому оснований, в позднейших изданиях.

² К. Д. Бальмонт. Примечания. — В кн.: *Шелли*. Полное собрание сочинений в переводе К. Д. Бальмонта. Новое трехтомное переработанное издание, т. 3. СПб., «Знание», 1907, стр. 421.

³ Там же, стр. 422.

В советское время «Защита Поэзии» (в отрывках) была опубликована в переводе Э. Е. Александровой⁴. Письма Шелли, насколько нам известно, по-русски публиковались только в небольших отрывках в посвященных ему статьях и книгах советских исследователей.

Собственно художественные произведения составляют не самую значительную часть наследия Шелли-прозаика. Его ранние романы «Застроцци» (Zastrozzi, 1810) и «Сент-Ирвин, или Розенкрейцер» (St. Irvyne, or the Rosicrucian, 1811) представляют сейчас только биографический интерес. Первый из них был написан и напечатан, когда Шелли был еще школьником в Итоне; второй был начат тогда же. Запутанные и сбивчивые по композиции, полные зловещих тайн, преступлений и загадок, которые зачастую так и остаются неразрешенными, они показывают, какой притягательной силой обладали для юного поэта фантастические вымыслы «готического романа». А вместе с тем, как первая веха на его пути, они наглядно свидетельствуют о том, как стремительно развивался и мужал его талант: в автобиографическом письме Годвину от 10 января 1812 г. девятнадцатилетний Шелли уже с пренебрежением отзывается об этих произведениях: «оба совершенно нехарактерны для меня сейчас, но выражают мое тогдашнее душевное состояние. Я перестал зачитываться романами; до этого я жил в призрачном мире; теперь я увидел, что и на нашей земле достаточно такого, что может будить сердце и занимать ум».

Следующий замысел Шелли-прозаика, по-видимому, — роман или повесть «Юбер Ковэн» (Hubert Cauvin) — непосредственно отражал этот переход из «призрачного мира» к земным, общественным и политическим интересам. Шелли работал над этой книгой в Кесвике в 1811—1812 гг. Как можно судить по его письмам к Э. Хитченер, он намеревался «показать причину поражения Французской революции и состояние нравов и общественного мнения во Франции в последние годы монархии». Обещая, что «некоторые из господствующих страстей человеческого сознания найдут себе, конечно, место в его ткани», молодой автор сурово добавлял: «Я намерен исключить половую страсть»⁵. В ригоризме этого плана «романа без любви» нельзя не почувствовать отголоски аскетизма Годвина, который именно в эту пору становится — на время — властителем дум Шелли. «Юбер Ковэн», 200 страниц которого были уже написаны автором, не был окончен, и рукопись его не сохранилась. А когда в «Лаоне и Цитне» (поэме, впоследствии переименованной в «Восстание Ислама») Шелли вер-

⁴ Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века, составил А. А. Аникст, ч. 1. М., Учпедгиз, 1965. «Защита Поэзии», предисловие к «Восстанию Ислама» и некоторые образцы политической публицистики Шелли вошли в антологию его поэзии и прозы, изданную для советских читателей на языке оригинала в Москве (Percy Bysshe Shelley. Poetry and Prose. М., Изд-во Литературы на иностранных языках, 1959; составитель, автор вступительной статьи и примечаний И. Г. Неупокоева).

⁵ Percy Bysshe Shelley. Letters. Ed. by Frederick L. Jones, vol. I. Oxford. Clarendon Press, 1964, p. 218. Подробнее о замысле «Юбера Ковена» см. в письме Шелли к Хитченер от 7 января 1812 г. (стр. 57 настоящего издания).

нулся к теме Французской революции и ее поражения, революционная гражданская идея его эпопеи оказалась неотделимой от героического апофеоза любви, преодолевающей и поражение, и самую смерть.

Шелли оставался поэтом и в прозе. Это относится и к его публицистике, и тем более — к сохранившимся фрагментам начатых и не законченных им романов или повестей. «Колизей», в сущности, похож на великолепное стихотворение в прозе. Образ грандиозных развалин, где все, сотворенное человеческим трудом и напоминающее об истории древнего Рима, кажется, покорилося природе и растворилось в ее вечной жизни, выступает на передний план повествования. Диалог между слепым стариком-отцом и юной дочерью, описывающей ему полуразрушенные арки, обвитые лианами, деревья, цветущие кустарники и мхи, выросшие на обломках мраморных стен и колонн, и сияющее синее небо над Колизеем, кажется, нужен Шелли более всего для того, чтобы чередование реплик с их сменой интонаций позволило ему модулировать эмоциональные тона этой картины. Что же касается характеров отца, дочери и таинственного чужестранца, присоединившегося к их беседе, то они едва намечены, и трудно строить предположения о том, какой оборот могла бы принять их история.

Гораздо более драматичен фрагмент «Ассасины». Подлинная история известной под этим названием средневековой мусульманской шиитской секты, существовавшей в XII—XIII вв. в Персии и Сирии, вероятно не была досконально известна Шелли. Первый серьезный исторический труд на эту тему, «История Ассасинов» Хаммера (Hammer, Geschichte der Assassinen) был издан в Германии в 1818 г., а Шелли работал над «Ассасинами» в 1814 г. Но романтические подробности отчаянной борьбы ассасинов против крестоносцев, которых они беспощадно истребляли, совершая внезапные вылазки из своих горных крепостей, скрытых в неприступных ущельях Ливана, привлекли его воображение. Это объяснялось, вероятно, и тем, что в этой смертельной схватке «обреченных» (как называли себя сами ассасины) с чужеземцами-христианами, вторгшимися в их страну, Шелли мог увидеть символический прообраз борьбы за свободу против ненавистного ему христианского деспотизма, вооруженного крестом и мечом. Сама эта борьба остается за пределами фрагмента, действие которого, по-видимому, относится к эпохе более отдаленной. Но появление в уединенной долине, где, как в новом Эдеме, ведут блаженную мирную жизнь ассасины, таинственного незнакомца (которого некто, облеченный сверхчеловеческой властью, попытался предать чудовищной казни, смутно напоминающей распятие) уже предвещает неотвратимые перемены и конфликты. Кто этот незнакомец, гонимый роком и наделенный неземной мудростью? Быть может, сам Сатана (один из любимейших героев Шелли), богоборец и чело-веколюбец, своего рода Прометей христианской мифологии, которому предстоит вдохновить ассасинов на борьбу против христиан? Но об этом можно судить лишь гадательно: фрагмент обрывается слишком рано.

Шелли не удалось воплотить ни одного из этих беллетристических замыслов в прозе. И, вместе с тем, можно утверждать, что он оставил по себе памятник, который, независимо от его документального значения, образует настоящий эпистолярный роман, отмеченный печатью высокого поэтического таланта, полный огня и страсти. Это — свод писем Шелли.

Недаром Хогг, публикуя ранние письма своего друга в посвященной ему биографии, выдал некоторые из них за «отрывки из романа»; а Мери Шелли, возвращаясь мысленно к трудным месяцам их жизни в Лондоне осенью и зимой 1814—1815 гг., когда Шелли скрывался от кредиторов, а она, отвергнутая отцом и мачехой, ютилась одна в бедных меблированных комнатах, живя ожиданием весточки или редкой встречи с мужем, заимствовала из их тогдашней переписки многие эпизоды своего романа «Лодор» (1835).

По мере того как мужал талант Шелли, письма его приобретали все большую пластическую образную выразительность. Природа Италии и Швейцарии как живая встает со страниц его писем Пикоку; кажется, что мы видим эти пейзажи не только вместе с Шелли, но его глазами. Иные письма воспринимаются как законченные целостные эпизоды или главы ненаписанного (или написанного самой жизнью) романа. Таково, например, письмо от 15 августа 1821 г., где запечатлен беспечный, но вместе с тем овеянный легким облачком грусти день, проведенный поэтом вместе с его маленькой любимицей, пятилетней Аллегрой Байрон в саду монастыря Баньякавалло, куда в монастырский пансион поместил ее отец. Обоих — и резвую девочку, и ее друга — уже поджидала безвременная смерть.

В отличие от Байрона, который нередко предвидел, что его письма станут известны не только одному адресату, но и целому кружку читателей или слушателей⁶, и считался с возможностью их посмертной публикации, Шелли обычно не помышлял о печатании своих писем⁷ и мало заботился об их сохранности.

Ряд других обстоятельств способствовал распылению, а в некоторых случаях даже и прямой фальсификации его эпистолярного наследия. Отец поэта, сэр Тимоти Шелли, переживший сына на двадцать два года, упорно противился распространению его идей и сочинений. Когда его овдовевшая невестка вернулась с малюткой-сыном в Англию, сэр Тимоти, назначив им скромное вспомоществование, поставил условием, чтобы Мери Шелли не смела писать биографию мужа. Когда она все же отважилась обойти этот запрет, включив в посмертное издание поэтических произведений Шелли свои биографические примечания, документированные письмами поэта, разгневанный свекор едва не лишил ее и внука их маленькой пенсии.

⁶ Так было, например, с его письмами к матери из первого заграничного путешествия, а позднее — с письмами к Меррею, лондонскому издателю Байрона.

⁷ Исключение составляют письма к Пикоку, приложенные к «Запискам о шестинедельной поездке по некоторым областям Франции, Швейцарии, Германии и Голландии».

Впрочем, иные из «друзей» Шелли нанесли его эпистолярному наследию едва ли не больший урон, чем заведомые противники и недоброжелатели.

Незавидную пальму первенства снискал здесь Томас Джефферсон Хогг. Товарищ Шелли по Оксфордскому университету, вместе с ним исключенный оттуда за вольнодумство и пропаганду атеизма, он вел с будущим поэтом оживленную переписку в один из самых бурных периодов жизни юного Шелли; вместе с ним бунтовал против родительской тирании, мечтал жениться — увозом! — на его сестре (которую всего лишь раз украдкой видел через церковное окно), был поверенным его литературных замыслов, жизненных планов и сердечных тайн и вероломно волочился за обеими его женами — сперва за Харриет, а потом и за Мери.

Готовя к печати свою биографию Шелли (1858), Хогг, — в ту пору уже респектабельный адвокат, на седьмом десятке лет, — постарался самым решительным образом «отредактировать» задним числом свою буйную молодость, насколько она отразилась в его переписке с поэтом. Так, например, в соответствии с чопорным духом викторианской Англии, он заменял в письмах Шелли слово «атеист» более неопределенными: «скептик» и «философ», а «христианство» — «ортодоксией». В тех письмах, где Шелли горько упрекал друга за его вероломство и легкомыслие, он беззастенчиво заменял местоимение «ты» местоимением «я» и вносил другие «поправки», создавая впечатление, будто Шелли не предъявляет обвинений ему, Хоггу, а кается в собственных грехах. Наконец, иногда он просто сочинял за Шелли целые несуществующие письма⁸.

Фальсификация писем Шелли Хоггом была замечена уже вскоре после издания первых двух томов написанной им биографии поэта. Невестка П. Б. Шелли, леди Шелли, ревностная поклонница и пропагандистка его наследия, и муж ее, сын поэта, сэр Перси Флоренс Шелли отобрали у Хогга переданные ему рукописные материалы из своего фамильного архива и отказались санкционировать последний, третий том его сочинения, который так и не был издан. Однако и они сами, а под их давлением

«Исправления» Хогга не были целиком сняты даже в очень солидном во многих других отношениях издании Инглена. О фальсификации писем Шелли, произведенной Хоггом, см. редакционное предисловие Ф. Л. Джонса в первом томе его издания (*The Letters of Percy Bysshe Shelley*. Ed. by Frederick L. Jones, vol. I. Oxford, Clarendon Press, 1964, pp. VI—VII). Как вопиющий пример Джонс на стр. 176—177 того же тома приводит для сравнения подлинный текст заключительной части письма Шелли к Хоггу и тот текст, который смастерил взамен этот последний. Шелли пишет, что не доверяет твердости Хогга, опасается, как бы тот не поддался вновь своей страсти к Харриет, а потому отказывает Хоггу в его просьбе поселиться снова вместе. Шелли пишет о муках совести, уготованных Хоггу, — о «неутолимозгучих скорпионах», об «адском псе позора». Хогг беззастенчиво заменяет это письмо другим, собственного сочинения, где от лица Шелли восхваляет самого себя: «Я никогда не сомневался в тебе, — в тебе, брате души моей, предмете моего пылкого интереса; теме моего вдохновенного панегирика!»

и первый серьезный биограф Шелли Эдвард Дауден⁹, кое в чем отступали от истины, создавая своего рода легенду о Шелли. Леди Шелли, издавая документальные книги «Памяти Шелли» (Shelley Memorials, 1859) и четырехтомную «Шелли и Мери» (Shelley and Mary), опубликованную закрытым, «частным» изданием крошечным тиражом в 1882 г., начинала биографию поэта его союзом с Мери Годвин и намеренно игнорировала документы, относившиеся к более раннему периоду его жизни.

Пикок и Трелоуни — близкие друзья поэта, которые в то время были еще в живых, — обвиняли леди Шелли в пристрастном толковании фактов и сокрытии документов¹⁰. Позднейшие биографы и текстологи в некоторых случаях разделяют эту точку зрения.

Существовали и профессиональные «специалисты», занимавшиеся изготовлением и продажей поддельных писем Шелли (как и Байрона). По мере того, как в течение XIX в. возрастал интерес к творчеству и интимной жизни этих поэтов, это ремесло становилось прибыльным. Луиза Шутц Боас, автор солидно документированной биографии первой жены Шелли («Харриет Шелли. Пять долгих лет»), воскрешает из забвения две колоритные фигуры, которые, по-видимому, приложили свою руку к эпистолярному наследию поэта. Первый, именовавший себя майором Джорджем Байроном, незаконным сыном лорда Байрона и некоей знатной испанки, продал Мери Шелли и ее сыну значительное количество писем П. Б. Шелли, среди которых были и подлинники, и фальшивки. Майор был разоблачен после того, как одно из сфабрикованных им «писем Шелли» оказалось дословной выпиской из эссе Фрэнсиса Полгрейва. Издателю Моксону, ставшему жертвой этого обмана, пришлось спешно изъять из продажи напечатанный им том «Писем» Шелли (1852), предисловие к которому написал поэт Роберт Браунинг. Другим, еще более квалифицированным поставщиком подобных фальшивок был некто Томас Дж. Уайз, известный как опытный коллекционер редких рукописей. Именно через его руки прошел, в частности, один из двух существующих списков того письма Шелли к Мери (от 16 декабря 1816 г., — см. стр. 115 настоящего издания), где он говорит о причинах самоубийства своей первой жены с грубостью, неприятно поражающей читателя. «Относительно подлинности этого письма поныне бушует полемика», — пишет Луиза Боас; приводит

⁹ Сохранились документальные данные о том, что Дауден уже готов был отказаться от окончания своей биографии Шелли, — так велико было давление, которое оказывали на него сэр Перси Флоренс и леди Шелли. См. *N. I. White. Shelley, vol. I. New York, 1940, p. 677.*

¹⁰ Вот один характерный пример. В своем дневнике 12 февраля 1839 г. Мери Шелли записала: «Бедная Харриет, чьей печальной судьбе я приписываю столько моих тяжелых горестей, — как искупление, которого судьба потребовала за ее смерть». Леди Шелли напечатала эти строки в своем своде документов «Шелли и Мери». Но затем, передумав, она же, видимо, вырезала их ножницами из всех экземпляров этого издания, кроме одного, в котором они сохранились. Ее же рукой, очевидно, это место было вымарано и в рукописи «Дневника».

мые ею доводы в пользу того, что фраза о судьбе Харриет не принадлежит перу самого Шелли, представляются довольно убедительными¹¹.

Помимо возможности такого рода подделок и сокрытий, установлению текстологически точного канона эпистолярного наследия Шелли мешает и его раздробленность. Часть подлинных писем поэта находится во владении его наследников — потомков леди Эбингер, приемной дочери его сына, сэра Перси Флоренс Шелли (брак которого был бездетным), и потомков Джона Шелли, брата поэта, младшего сына сэра Тимоти Шелли, которые в конце концов унаследовали родовое поместье Филд-плейс. Многие письма хранятся в Британском музее, Бодлеевской библиотеке в Оксфорде и других. Но многие рассеяны по частным архивам, притом не только в Англии, но и за границей. Фредерику Л. Джонсу, редактору двухтомного собрания «Писем Перси Биши Шелли» (1964), удалось включить в свое издание 106 писем, ранее не входивших в собрания писем поэта. Но, как пишет он в предисловии, он смог сверить с подлинными рукописями только 453 письма из 745, им опубликованных. «Известно существование 26 писем, тексты которых недоступны»¹², — замечает, в частности, Джонс.

При изучении и публикации эпистолярного наследия Шелли возникают и значительные трудности в процессе самой расшифровки текстов. Шелли, особенно в ранней юности, писал, повинаясь смене настроений, поспешно, иногда не дописывая фраз, отступая от общепринятой орфографии. Почерк его зачастую столь труден для прочтения, что дает повод к различным, иногда даже прямо противоположным по смыслу интерпретациям.

При отборе писем мы руководствовались стремлением осветить настолько полно, насколько это позволяли размеры данного тома, главные этапы недолгого, но бурного и драматического жизненного пути Шелли, дать представление о широте и многообразии его интересов и деятельности и об особенностях его характера. Вместе с тем, нам хотелось предоставить советским читателям возможность судить о литературных достоинствах эпистолярной прозы Шелли, чьи письма, — так же, как и письма его современников Байрона и Китса, — принадлежат к числу замечательнейших памятников автобиографической прозы времен романтизма и имеют, взятые в целом, независимо от своего исторического, документального значения, непреходящую художественную ценность.

К письмам Шелли непосредственно примыкают и помещенные в настоящем издании дневники: «Записки о шестинедельной поездке по некоторым областям Франции, Швейцарии, Германии и Голландии», (опубликованные еще при жизни Шелли, в 1817 г.) и так называемый «Женевский

¹¹ *Louise Schutz Boas*. *Harriet Shelley. Five Long Years*. L., Oxford Univ. Press, 1962, p. 211—214.

¹² *Percy Bysshe Shelley. Letters*, ed by Frederick L. Jones, 1—2. Oxford, Clarendon Press, 1964 p. V.

дневник», изданный посмертно. Написанные в соавторстве с Мери Шелли, они полны живых биографических подробностей; «Женевский дневник» примечателен, в частности, и тем, что в нем отразился пылкий интерес Шелли ко всему еще непознанному, таинственному и загадочному в человеческой психике.

«Наука о человеческом сердце» (по выражению, употребленному самим Шелли в открытом письме Ли Ханту, — см. стр. 193 настоящего издания) постигалась им в тяжких испытаниях, борениях и муках. Одаренный тонкой и возбудимой душевной организацией, он необычайно живо откликался на все впечатления бытия и был поистине «*Cog cordium*» («сердцем сердца»), как гласит надпись над его могилой в Риме. Эта отзывчивость, пылкость воображения и порывистая стремительность в выражении чувств и принятии решений придают письмам Шелли их особый лирический и вместе с тем глубоко драматичный тон. Уже очень скоро после первых писем — записки, написанной десятилетним мальчуганом, озабоченным приготовлениями к дружескому пикнику, и шуточного послания к приятелю, которого семнадцатилетний Шелли вместе с пятнадцатилетней сестрой мистифицируют загадочными шифрами и таинственными намеками, пародируя традиции «готического романа», — мы вступаем в зону бурь и остаемся в ней до конца недолгой жизни поэта.

Исключение из университета, разрыв с отцом и отчим домом. Женитьба в 19 лет на шестнадцатилетней школьнице Харриет Вестбрук, оставленной им тремя годами позже ради Мери Годвин. Самоубийство Харриет. Утрата по приговору Канцлерского Суда отцовских прав на дочь и сына, рожденных в браке с нею. Смерть, одного за другим, трех детей от Мери. Клевета и горькое чувство разочарования во многих бывших друзьях.

Даже этот беглый перечень общеизвестных фактов интимной биографии Шелли позволяет читателям его писем предугадать, что их ждет немало «сердца горестных замет». Но, чтобы понять действительную жизненную драму, пережитую поэтом, — а вместе с ним и близкими к нему людьми, — следует глубже войти в его характер и уяснить себе побудительные мотивы его поступков.

Прозванье «Дон Кихота», какое зачастую применяли к гуманистам-просветителям XVIII в. — Филдингу, Годвину, Шеридану — то враги, то друзья, ни к кому из них не было приложимо в такой степени, как к юному Шелли.

Недаром именно «нашим Дон Кихотом» — и ласково, и чуть насмешливо — назвала Мери Шелли мужа, рассказывая об одной уличной стычке, в которой он, еще ничего не зная о причинах и сути ссоры, поспешил встать на сторону того, кто показался ему слабейшим из двух противников.

Воспитанный на литературе Просвещения, которую он знал досконально, он вступил в жизнь, вооруженный идеалом общественной справедливости, твердой верой в «природную» способность человека к безгра-

ничному совершенствованию и в могущество Слова (и слова мудрецов и слова поэтов) как средства переустройства мира. Это был поистине последний рыцарь просветительского гуманизма, которому пришлось пережить на собственном личном и общественном опыте историческую трагедию крушения просветительских иллюзий, на обломках которых и возник европейский романтизм.

Он рассылал свою брошюру «Необходимость атеизма» столпам англиканской церкви в надежде, что они поспешат вступить с ним в честный спор, а затем по совести признают себя побежденными. Выброшенный, вместо этого, из университета, он, едва женившись, уже мечтает объединить вокруг себя целый союз единомышленников: приглашает под свой скромный кров все семейство Годвинов (еще и не подозревая, что одна из дочерей станет затем его второй женой); думает найти достойную сподвижницу в борьбе за счастье человечества в своей свояченице, Элизе Вестбрук; обретает, как ему кажется, истую «сестру души своей» в провинциальной школьной наставнице Элизабет Хитченер и убеждает ее закрыть свой пансион и принять его гостеприимство. И что же?! Мисс Хитченер, явившись из своего прекрасного далека, вблизи оказывается назойливой, самодовольной и крикливой старой девой, «бурым демоном», от которого Шелли с трудом удается откупиться обещанием пожизненной ренты. Элиза Вестбрук, расчетливая и прижимистая дочь бывшего трактирщика из «любезной девицы» становится в его глазах «гадиной» и он не может без содрогания видеть у нее на руках свою маленькую дочь, Ианту. А Годвин? Здесь Шелли, пожалуй, ожидало наихудшее из всех разочарований. Автор «Исследования о политической справедливости», перед которым юный поэт преклонялся как перед своим духовным учителем, мудрецом и стойком, оказался при ближайшем знакомстве «бывшим Годвином» — трусливым ханжой, сплетником и сущей пиявкой во всем, что касалось его собственных денежных интересов. Подобные разочарования в людях не раз ждали Шелли и в дальнейшем. Но, подобно благородному герою Сервантеса, он отказывался признать себя побежденным в главном — в вере в свои идеалы, и отказывался сложить оружие.

В этих идеалах поначалу было много головного, априорного. Они так хорошо высказывались в пылких беседах с друзьями, так красноречиво изливались в искренних письмах, — и, вместе с тем, иной раз приходили в вопиющее, трагическое несоответствие с жизненными интересами других людей. Крушение первого брака Шелли и страшная судьба его жены Харриет — часть той тяжелой человеческой цены, которой оба расплатились и за поспешность, с какой послушались первого порыва еще ребяческого чувства, и за прекрасноту, с каким надеялись, что Разум и Природа помогут им преодолеть все жизненные испытания. Шелли был совершенно искренен, когда в своем письме из Швейцарии предлагал Харриет приехать и поселиться вместе с ним и Мери, на правах

доброго друга, в тройственном союзе. А Харриет — в это время уже мать двоих его детей — в отчаянии восклицала в письме к пожилой ирландской приятельнице — миссис Ньюджент: «Человек, которого я когда-то любила, умер; а это — вампир!»¹³

Понадобилось немало печальных жизненных уроков, раздумий и общественного опыта, чтобы возвыситься над рационалистической сухостью, а вместе с тем и наивностью этих юношеских схем, казалось, непосредственно заимствованных из «Исследования о политической справедливости», где Годвин обличал неразумие семейных уз, пророчил человечеству освобождение не только от семьи, но даже и от деторождения, и объявлял, что если бы перед ним встал выбор: спасти во время пожара родную мать или Фенелона, то он, разумеется, спас бы последнего, предоставив матери погибнуть в огне: что значит для человечества смерть какой-то ординарной женщины по сравнению с жизнью сочинителя «Телемака»!

Убеждаясь в ограниченности и иллюзорности просветительских главных схем всеобщего счастья человечества, Шелли продолжал верить в достижимость этого счастья. Его романтизм включал в себя и скорбь, и чувство одиночества, — но, как видно и из его писем, и из публицистики, и из таких замечательных литературных, а вместе с тем и общественных манифестов, как, например, предисловие к «Восстанию Ислама» и в особенности «Защита Поэзии», он не только не абсолютизировал этих настроений, но, напротив, считал своей священной обязанностью способствовать их преодолению и в себе самом, и в других.

Этюд «О жизни» открывается настоящим гимном во славу бытия. Шелли призывает читателей увидеть великое «чудо существования за дымкой обыденности». «Изменчивость» всего живого (которой Шелли-поэт посвятил два одноименных стихотворения) кажется ему залогом великого будущего, открытого человечеству. Эта философская мысль, воплощенная в поэме «Королева Маб» еще в сравнительно дидактической форме (которая позднее, как видно из его писем, не удовлетворяла самого автора), утверждается в «Освобожденном Прометее» в грандиозных символических картинах грядущего расцвета жизни преображенных людей на ликующей, обновленной Земле. Эта мысль о великом диалектически понятом законе изменчивости, — а следовательно, и изменемости — бытия развивается и в литературно-критических и теоретико-эстетических трудах Шелли.

— В «Защите Поэзии» он выдвигает замечательную для того времени концепцию исторического развития литературы в связи со сменой общественных форм. В предисловии к «Восстанию Ислама» он с удивительной прозорливостью выясняет социально-исторические корни романтического искусства, показывая, какую роль сыграла в его возникновении и

¹³ L. S. Boas. Op. cit. p. 168.

революция 1789—94 гг. во Франции и последовавшая за нею реакция. Непосредственно вмешиваясь этим предисловием в литературную и политическую борьбу, Шелли пророчит конец эпохи безвременья и уныния.

Многие мысли этого предисловия нашли отклик и в переписке Шелли с Байроном, и в поэме «Юлиан и Маддало», где в образах двух главных действующих лиц и в передаче их споров современники без труда узнавали самого Шелли и Байрона.

Письма Шелли к Байрону, поскольку они касаются творчества последнего, поражают пронизательностью и смелостью, а вместе с тем и тактом, с какими младший из двух поэтов призывает старшего возвыситься над односторонностью своего меланхолического взгляда на жизнь (в период создания «Манфреда»), выйти из созерцания собственного отчаяния и создать произведение эпических масштабов, достойное его таланта. Эта новая современная эпопея, которой Шелли ждал от автора «Чайльд Гарольда», вероятно, представлялась ему несколько иной по тону и колориту, чем «Дон Жуан». Тем более достойна восхищения та широта взгляда и понимания, которую обнаружил Шелли перед лицом этого шедевра Байрона: он оказался единственным из друзей Байрона, — а также и профессиональных критиков того времени, — оценившим по достоинству величие и глубочайшую актуальность «Дон Жуана».

В свою очередь и Байрон, во многом расхорившийся с Шелли и в зрелые годы отнюдь не склонный к сентиментальности в отношении своих друзей, писал о нем: «Что касается бедняги Шелли, который... представляется вам и всему свету каким-то чудовищем, то я знаю его за самого кроткого и наименее эгоистичного из людей — который больше, чем кто-либо из известных мне лиц, отдавал людям и денежных средств, и душевных сил»¹⁴. Это было написано еще при жизни Шелли. А под свежим впечатлением его безвременной смерти Байрон писал: «Вот ушел еще один человек, относительно которого общество, в своей злобе и невежестве, грубо заблуждалось. Теперь, когда уже ничего не поделаешь, оно, быть может, воздаст ему должное»¹⁵.

Стремление к полной отдаче людям всех своих душевных сил было, действительно, главным двигателем и жизни, и многообразнейшей деятельности Шелли. Нет ничего легче, чем иронизировать над наивностью юноши, запечатывавшего свои политические памфлеты в бутылки и бросавшего их в море, на волю волн, чтобы те разнесли их по свету, и мечтавшего о союзе единомышленников, который чаще всего распадался, едва возникнув. Такая ирония, то высокомерная (как в известном суждении Мэтью Арнольда о Шелли — «бессильном ангеле, который бьет крылами в пустоте»), то скептически-благодарная, как в популяр-

¹⁴ Байрон. Дневники. Письма. М., «Наука», 1965, стр. 298 (письмо Т. Муру от 4 марта 1822 г.).

Там же, стр. 301 (письмо Т. Муру от 8 августа 1822 г.).

ной романизированной биографии «Ариэль», принадлежащей перу Моруа, игнорирует главное в творчестве Шелли — его глубочайшую жизненность.

Публицистика, представленная в настоящем издании, открывает читателям такие стороны его дарования, которые, может быть, еще не успели воплотиться в его поэзии. Таков, например, замечательный этюд «О Дьяволе и дьяволах». Шелли выступает здесь против церкви и религии как прямой преемник и наследник вольнодумных полемистов эпохи Просвещения, во всеоружии блестящего вольтерьянского остроумия. Уже первый абзац его этюда, провозглашающий, что «дьявол — это слабое место общепринятой религии, уязвимое брюхо крокодила» (курсив мой. — А. Е.), заставляет вспомнить знаменитый призыв Вольтера: «Раздавите гадину!» С неподражаемым юмором Шелли «подает» свою тему в самых неожиданных поворотах и ракурсах; соблюдая напускную невозмутимую серьезность, он высмеивает своих противников, сторонников религиозной ортодоксии, обращая против них оружие логики, привлекая к обсуждению возможного бытия дьяволов новейшие данные наук, начиная от астрофизики и микробиологии и кончая филологической критикой библейских текстов.

И в то же время это сочинение проникнуто духом романтической иронии. Кроме сокрушительной логики, оно одухотворено и фантазией, заставляющей поэта, словно играя, перебирать одну за другой с лукавой усмешкой прихотливые шуточные полемические гипотезы, атакуя своих противников с самых неожиданных сторон. Когда Шелли с комическим сожалением вздыхает о попавшем впросак «бедном теологе» или с грустью вспоминает, как изуродовало христианство античные предания, обратив резвых поэтических фавнов и сивльванов, друзей пастухов, в отвратительных и злобных чертей, его интонации заставляют вспомнить Гейне. А весь этюд в целом по-своему перекликается с «Каином» Байрона, с таким же негодованием обличая систему мышления, подчиняющую человека тираническому произволу воображаемого верховного владыки, которому дьявол, согласно христианской мифологии, служит одновременно, как пишет Шелли, и осведомителем, и прокурором, и тюремщиком. Байроновскому образу Люцифера созвучна та трактовка, которую Шелли дает образу Мильтонова Сатаны, как революционно-романтического бунтаря и поборника правды, который «верит в правоту своего дела и борется за него, не страшась поражений и пыток»¹⁶.

Но в отличие от трагического скептицизма, преобладающего в «Каине» Байрона, этюд Шелли «О дьяволе и дьяволах» проникнут оптимистической уверенностью в действительности человеческого разума и

¹⁶ Замечательная характеристика Мильтонова образа Сатаны дана также в «Защите Поэзии».

в том, что человек сумеет занять на земле подобающее ему место полноправного хозяина жизни.

Волей к борьбе проникнуты и другие представленные выше памятники публицистики Шелли. Наряду с великолепным «Обращением к народу по случаю смерти принцессы Шарлотты» хочется обратить внимание читателей на менее известное открытое письмо Шелли Ли Ханту (от 3 ноября 1819 г.), вызванное судебным делом Р. Карлайла, радикального книгоиздателя, несправедливо осужденного за перепечатку «Века Разума» Т. Пейна. Как литературный памятник это письмо-памфлет особенно интересно рельефностью, с какой в нем проступает характерная для Шелли связь с лучшими традициями просветительской публицистики XVIII в., в сочетании с новым, романтическим пылом и патетической эмоциональностью образов и стиля. Письмо, кипящее негодованием, открывается, однако, строго логической юридической аргументацией. По британским законам о суде присяжных подсудимого должны судить лица, «равные ему». Между тем, вольнодумца Карлайла судили люди заведомо чуждых и враждебных ему взглядов, заранее предубежденные против подсудимого. Строй логических правовых доводов разворачивается точно и четко, с последовательностью, граничащей, казалось бы, даже с педантизмом. Но пламя гнева и страсти внезапно прорывается сквозь эту рационалистическую конструкцию в финале письма, где звучит во всю свою мощь голос революционного поэта-романтика: «Мы живем в грозные времена, дорогой мой Хант. Мы твердо знаем, к какому стану примкнуть; и какие бы ни произошли революции, как бы угнетение ни меняло свое название. ., нашей партией всегда будет партия свободы, партия угнетенных. . Час схватки, видимо, близится. .».

Стремление к действительному вмешательству в жизнь людей — лейтмотив всего литературного наследия Шелли, в том числе и его писем, и его публицистики и литературных манифестов. Его нередко обвиняли — или пытались, с лучшими намерениями, оправдать от обвинений — в идеализме. Но на том этапе развития общественной и эстетической мысли идеализм был важен и нужен для Шелли — революционного романтика как средство преодоления созерцательной метафизичности домарковского просветительского материализма. Именно поэтому Демокрит, Анаксагор и Лукреций, позднее — Спиноза могли сочетаться в его сознании с Платоном. В идеализме, к которому он обращался, его привлекала прежде всего *диалектика соотношений бытия и сознания*, провокационное возможности творческого *воздействия* на материальный мир.

Это воздействие Шелли представлял себе в самых многообразных формах. Он предвидел блистательный расцвет естественных и технических наук и многого ждал от них для освобождения человечества. Он живо интересовался медициной и в бытность в Лондоне (как это непохоже на традиционный придуманный образ «эфирного» Шелли!) не раз бывал в анатомическом театре и присутствовал при вскрытии трупов. Он вни-

мательно следил за успехами астрономии, геологии, физики и мечтал о перевороте, который произведет в жизни народов развитие воздухоплавания. Со всем пылом своей горячей природы он щедро отдавал свое время, силы и деньги различным техническим проектам — сооружению гигантской дамбы для осушения дна залива в Тремадоке (Уэлс), постройке морского судна с паровым двигателем — в Италии. Его познания в области химии, которой он увлекался со школьных лет, были так глубоки, что, по словам одного из его друзей, он и сам, если бы захотел, «мог бы стать Ньютоном среди химиков XIX столетия». Но он ждал не меньшего и от искусства, и от этической и социальной мысли, которые в его представлениях были нераздельны (недаром Л. Толстой поставил эпиграфом к своей статье «К политическим деятелям» слова Шелли: «Самая губительная ошибка, которая когда-либо сделана в мире, было отделение политической науки от нравственной»¹⁷).

Глубоко диалектическое понимание соотношения поэзии и общества с наибольшей последовательностью и художественной яркостью выражено в «Защите Поэзии». Сперва Шелли, вслед за просветителями, выдвигает общий тезис: «человек — это инструмент, подверженный действию различных внешних и внутренних сил, подобно тому как переменчивый ветер играет на Эоловой арфе, извлекая из нее непрестанно меняющуюся мелодию». Но, преодолевая односторонность просветительского механистического материализма XVIII в., он настаивает и на действенной, творческой и обобщающей силе человеческого сознания. Человек отличается от эоловой арфы тем, что впечатления, вызванные в его душе воздействием обстоятельств, образуют сложные гармонии, в которых есть уже элемент отбора и обобщения. Искусство, согласно другой излюбленной метафоре Шелли, есть зеркало жизни; но, порожденное жизнью, оно и само отбрасывает на нее свой могучий свет и участвует в ее преобразовании. Поэзия, — провозглашает Шелли, — «пробуждает и обогащает самый ум человека, делая его вместилищем тысяч неведомых ему до того мыслей». Это не было утверждением субъективного произвола поэтов. Воображение для Шелли — могущественное средство предугадывания еще скрытых, но реальных *возможностей* развития жизни; в этом смысле оно не противостоит разуму, но помогает ему. Поэтический дар не отъединяет поэта от общества — напротив, «могучий подъем» литературы в его родной стране, по словам Шелли, всегда предшествовал или сопутствовал каждому «большему и свободному проявлению народной воли». Задача поэзии в том, чтобы выражать дух народа и служить обществу. Так готовятся великолепные романтические, но вместе с тем глубоко жизненные определения в финале «Защиты Поэзии»:

¹⁷ Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 35. М., 1950, стр. 199. Те же слова Шелли Толстой включил и в «Круг чтения» (Полн. собр. соч., т. 41, М., 1957, стр. 273).

«Поэты — это жрецы непостижимого вдохновения; зеркала, отражающие исполинские тени, которые грядущее отбрасывает в сегодняшний день; слова, выражающие то, что им самим непонятно; трубы, которые зовут в бой. . .» И другое:

«Поэзия — самая верная вестница, соратница и спутница великого народа, когда он пробуждается к борьбе за благодетельные перемены во мнениях или общественном устройстве».

Такова проза Шелли в высших ее свершениях.

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу настоящего издания в части, касающейся фрагментов художественной прозы Шелли, его памфлетов, статей и набросков, положен текст десятитомного «Полного собрания сочинений» Шелли (так называемого «Юлианова издания») под редакцией Роджера Ингпена и Уолтера Э. Пека¹. Что касается эпистолярного наследия Шелли, то здесь, как правило, за основу взяты тексты писем Шелли, опубликованные в двухтомном собрании «Писем Перси Биши Шелли» под ред. Фредерика Л. Джонса², которому удалось значительно пополнить состав писем по сравнению с вышеназванным изданием и заново сверить многие из них с рукописными оригиналами. Однако составитель, переводчик и редактор считались и с тем текстом писем, который представлен в тт. VIII—X «Юлианова издания», вышедших под редакцией Роджера Ингпена. В тех случаях, где прочтение спорных или темных мест, предлагаемое Ингпенем, кажется более соответствующим смыслу и духу контекста, чем вариант, предлагаемый Джонсом, предпочтение отдавалось первому. Все подобные случаи, так же как и вообще важнейшие из разночтений эпистолярных текстов, оговорены в примечаниях переводчика, входящих в состав комментария к настоящему изданию.

Для удобства читателей собственные имена, обозначенные в письмах инициалами, расшифровывались (при первом упоминании в каждом письме) в квадратных скобках. Приписки других лиц к письмам Шелли воспроизводятся лишь в немногих, исключительных случаях, когда они органически входят в письмо и составляют его существенную часть (как, например, отдельные вставки сестры Шелли, Элизабет, или его первой жены, Харриет Шелли).

ПИСЬМА

1. МИСС КЭТ

18 июля 1805

Кэт — Кэтрин Пилфолд, родственница Шелли; письмо написано, когда Шелли не было еще одиннадцати лет.

² Том — Томас Медвин (1788—1869) троюродный брат Шелли, с которым он был близок в детские годы, затем — в Италии.

Percy Bysshe Shelley. Complete Works, newly ed. by Roger Ingpen and Walter E. Peck in ten volumes. Published for the Julian Edition. London, Benn, New York, Scribner's Sons, 1926—1930. Название «Юлианово издание» восходит к поэме Шелли «Юлиан и Маддало», где в образе Маддало Шелли изобразил Байрона, а в лице Юлиана — самого себя. В примечаниях это издание обозначается кратко «Ингпен».

² *Percy Bysshe Shelley. Letters, vv. 1—2, ed. by Frederick L. Jones. Oxford, Clarendon Press, 1964.* В примечаниях это издание обозначается кратко «Джонс».

2. ЭДВАРДУ ФЕРГЮСУ ГРЭМУ

23 апреля 1810

Грэм, Эдвард Фергюс (1787—1852) — один из ранних корреспондентов Шелли; вырос в доме отца Шелли, в Хоршеме, в это время он учился в Лондоне. Шутливое озорное письмо, написанное Шелли от своего имени и от имени его сестры Элизабет, имеет в виду предполагаемую поездку в Лондон 25 апреля с целью увидеться со своими кузинами Гроув и сестрами Мери и Эллен.

² *Миссис Феннинг* — начальница школы в Клэпеме, где учились сестры Шелли Харриет Вестбрук, его будущая жена.

³ *Когда б Сатана в преисподню не пал || То Ад бы тебя поджидал* — эти стихотворные строки помещены в начале девятой главы романа Шелли «Сент-Ирвин, или Розенкрейцер» (1810). Во всех случаях, когда имя переводчика не указывается, переводы отрывков и отдельных цитат принадлежат Э. Е. Александровой.

⁴ *«Застроцци»* (1810) — первый роман Шелли.

3. ДЖОНУ ДЖОЗЕФУ СТОКДЕЙЛУ

11 ноября 1810

Стокдейл, Джон Джозеф (1770—1847) — лондонский издатель, первый, кто начал публиковать письма Шелли: в 1826—1827 гг. в журнале «Стокдейлс баджит» он напечатал заметки о своем знакомстве с Шелли и девять писем Шелли к нему.

² *трактат на древнееврейском языке*. — По мнению Ингена (т. VIII, стр. 17), имеется в виду книга Бен Абраама (1642), переведенная М. Мокаттой под названием «Укрепленная вера». Интерес к ней Шелли, по-видимому, связан с началом его работы над трактатом «Необходимость атеизма» (1811).

4. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

20 декабря 1810

Хогг, Томас Джефферсон (1792—1862) — близкий друг Шелли, особенно в 1810—1812 гг. В марте 1811 г. вместе с Шелли был исключен из университета в связи с делом о памфлете «Необходимость атеизма». В 1832 и 1833 гг. в «Нью мансли мэгезин» Хогг поместил серию статей о жизни Шелли в Оксфорде. Позднее (1855) семья Шелли поручила ему написать биографию поэта; вышли два тома (1858), жизнеописание доведено до весны 1814 г. Хогг проявил большой интерес к литературе; его роману «Мемуары князя Алексея Хейматова» (1814) Шелли посвятил заметку в «Критикал ревью» (декабрь того же года).

² *твоего сочинения*. — Имеется в виду роман Хогга «Леонора», над которым он работал в это время.

³ *Уилки и Робинсон* — лондонские книгоиздатели. Робинсон опубликовал «Исследование о политической справедливости» (1793) В. Годвина.

⁴ *. мистер Манди* — Джозеф Манди, издатель из Оксфорда.

⁵ *.. пред алтарем оскорбленной любви*. — В письмах к двоюродной сестре, Харриет Гроув, в которую Шелли в это время был влюблен, он свободно выражал свои радикальные суждения, это встревожило его корреспондентку, и вскоре наступил разрыв. См. письмо к Т. Дж. Хоггу от 16 января 1811 г.

⁶ *Твои стихи*. — В это время Хогг думал заняться поэзией.

⁷ *Я сочиняю сатирическую поэму о l'Infâme. — L'Infâme* — гадина (фр.); намек на известное изречение-призыв Вольтера — «Еcrasez l'infâme» («Раздавите гадину!»), подразумевавшее церковь, которым он сопровождал многие свои письма в пору активной борьбы с фанатизмом и изуверством; далее в письме Шелли использует это выражение Вольтера. Поэма до нас не дошла.

...не Вильям Годвин, а Джон...—Шелли, еще не знакомый с Годвином, заблуждается: В. Годвин жил на Скиннер-стрит, Холборн-хилл; Джон Годвин — брат В. Годвина.

- ⁹ *Веджвуд* — священник; Шелли и Хогг вели с ним полемическую переписку по религиозным вопросам под псевдонимами.
- ¹⁰ *Притимем*, Томлайн Джордж (1750—1827) — епископ Линкольнский (1797) и Винчестерский (1820—1827), настоятель собора Св. Павла; один из адресатов полемической переписки.
- ¹¹ ...анафемы святого Афанасия...—Имеется в виду анафема арианской ереси, отрицавшей догмат о единой сущности троицы, провозглашенная на Никейском соборе (326) Афанасием, епископом Александрийским (293—373).
- ¹² *Мистер Дейрел*, Джон — общий знакомый Шелли и Хогга.

5. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

3 января 1811

- ¹ *«Мы все — лишь части общности огромной»* — А. Поп. Опыт о человеке (I, 267).
- ² ...я верую. — В оригинале кавычки не закрыты.
- ³ ...она уже не моя ... а ведь сама была тех же взглядов...—Вероятно, Шелли имеет в виду Харриет Гроув. См. примеч 5 к письму 4.
- ⁴ ...моя сестра...—т. е. Элизабет Шелли (1794—1831); пользовалась доверием и любовью брата, разделяла его литературные увлечения и сотрудничала с ним в сборнике «Подлинные стихотворения Виктора и Казеры» (1810). В это время Шелли помышлял о союзе Элизабет с Хоггом.
- ⁵ *Робинсон* — см. примеч. 3 к письму 4.
- ⁶ *Веджвуд* — см. примеч. 9 к письму 4.

8. ТИМОТИ ШЕЛЛИ

6 февраля 1811

- ¹ *Шелли, Тимоти* (1753—1844), с 1815 г. баронет, — отец поэта. Человек консервативных взглядов и убеждений, деспотического нрава, он с детских лет вызывал в сыне чувство отчуждения; после разрыва с сыном ограничивал его в средствах; положение несколько изменилось к лучшему только после смерти деда поэта в 1815 г. Когда умер Шелли, сэр Тимоти дал скромное обеспечение внуку — Перси Флоренсу, поставив условием, что Мери Шелли не будет писать о муже и пропагандировать его сочинения.
- ² Генри Хоум, лорд Кеймс (1696—1782) — автор многих просветительских исторических и философских сочинений, в том числе «Опытов о принципах морали и естественной религии» (1751).
- ³ Юм, Дэвид (1711—1776) — крупнейший философ зрелого Просвещения в Англии, подвергавший скептической оценке не только мистицизм и религию, но и возможности человеческого разума и познания.
- ⁴ Гиббон, Эдуард (1737—1794) — автор «Истории упадка и гибели Римской империи» (1776—1788), труда, пронизанного антиклерикальной тенденцией.
- ⁵ ...по словам святого Афанасия...— см. примеч. 11 к письму 4.

9. ЛИ ХАНТУ

2 марта 1811

- ¹ Хант, Джеймс Генри Ли (1784—1859) — литературный критик, поэт и публицист, редактор (1808—1821) либерального еженедельника «Экзаминаер», издателем которого был его брат, Джон Хант. В это время Шелли был знаком с Ли Хантом еще заочно, но вскоре они встретились и стали друзьями. После отъезда Шелли из Англии (1818) переписка и сотрудничество с Хантом оживляются. Шелли посвятил

Ханту трагедию «Ченчи» и способствовал приезду Ханта в Италию, где он должен был совместно с Байроном и Шелли участвовать в создании журнала «Либерал» (1822—1823), издателем которого был Дж. Хант. Хант присутствовал при сожжении праха Шелли, ему принадлежат слова, начертанные на надгробье поэта, — *Cor cordium* (Сердце сердец). В своих мемуарах «Лорд Байрон и некоторые из его современников» (1828) Хант воссоздает образ Шелли.

² ...поздравить Вас с победой... — 24 февраля 1811 г. «Экзаминер» перепечатал из одной провинциальной газеты материалы о телесных наказаниях в английской армии; за это братья Ханты были обвинены «в клевете» и преданы суду, но оправданы.

³ *Иллюминизм* — тайное религиозно-политическое движение, главным образом в Германии в XVIII в. Зачинателем его был Адам Вейсхаупт (1748—1830), немецкий религиозный лидер, автор нескольких книг; общество иллюминистов, основанное им в 1776 г., стремилось к замене монархии республикой и пропагандировало деизм.

10. ТИМОТИ ШЕЛЛИ

29 марта 1811

...о несчастье, постигшем меня и моего друга мистера Хогга. — Шелли здесь и далее имеет в виду обстоятельства своего исключения (25 марта 1811 г.) из Оксфорда в связи с трактатом «Необходимость атеизма». Хогг также был исключен. 27 марта Шелли и Хогг сняли помещение в Лондоне на Поланд-стрит.

11. ТИМОТИ ШЕЛЛИ

9 апреля 1811

...оба предложения... — В письме от 8 апреля 1811 г. Тимоти Шелли требовал, во-первых, чтобы Шелли немедленно вернулся домой, в Филд-плейс, приняв руководство избранного отцом наставника, и, во-вторых, прервал все связи с Хоггом.

12. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

18 апреля 1811

¹ Уиттон — Вильям Уиттон, поверенный Тимоти Шелли, через которого он сносился с сыном после исключения последнего из Оксфорда.

² ...если мне дадут... — Речь идет о Тимоти Шелли.

³ ...hermitage лорда Эджкома... — Имеется в виду, вероятно, поместье лорда Ричарда Эджкома, знакомого Шелли и Хогга, в Корнуолле, где друзья предполагали поселиться.

⁴ Мистер Пилфолд — Джеймс Пилфолд, дядя Шелли по матери.

⁵ Мисс Вестбрук и ее сестра... — Харриет Вестбрук, будущая жена Шелли, и ее старшая сестра, Элиза Вестбрук.

13. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

24 апреля 1811

¹ Галилеянин — Христос.

² Я побывал с ее сестрой у мисс Х[оукс]... — Речь идет о школе («тюрьме») миссис Феннинг в Клэпеме, руководимой мисс Хоукс; Шелли был там вместе с Элизой Вестбрук.

³ Джон Гроув — двоюродный брат Шелли; Тимоти Шелли поручил ему переговоры с сыном, а затем сам прибыл в Лондон в связи с ответным письмом Дж. Гроува.

⁴ ...моими «Предложениями». — В одном из апрельских писем 1811 г. к отцу Шелли отправляет «Предложения» — условия, на которых он и Хогг были согласны на компромисс с родителями. Шелли и Хогг обещали впредь «никому не навязывать атеистические мнения», «воздерживаться от публикации атеистических доктрин и даже размышлений», «немедленно возвратиться каждый в свою семью»,

но вместе с тем они требовали «не ограниченной ничем» переписки друг с другом; Шелли предполагал «избрать такой образ жизни, который был бы совместим с его стремлениями» (см. Джонс, т. I, стр. 60).

- ⁵ *Флориан* — вероятно, еще один из корреспондентов Шелли и Хогга.
⁶ *Брюстер* — знакомый Хогга по Элсмиру, где он находился.

14. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

28 апреля 1811

- ¹ ... бедная маленькая приятельница... — Харриет Вестбрук.
² *Моя сестра*. . . — Элизабет Шелли; см. примеч. 4 к письму 5.
³ «Поможет ли ветер умчаться стремительной ламе...» — Это стихотворение впервые было опубликовано Хоггом в 1858 г. в его биографии Шелли (см. примеч. I к письму 4); у В. М. Россетти в «Поэтических произведениях Шелли» — под заглавием «Жертва фанатизма».
⁴ ... не прибегать к закладу. — Вступив в конфликт со своими родителями, друзья были стеснены в средствах и должны были прибегать к экономии.

15. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

29 апреля 1811

- ¹ ... извиниться перед Гриффитсами... — Т. е. членами совета колледжа в Оксфорде; его главой был доктор Джеймс Гриффитс; Тимоти Шелли хотел, чтобы сын был вновь принят в университет.
² *Виллис* — доктор в Элсмире, где находился тогда Хогг.

16. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

9 1811

- ... насчет *Ахиллеса и черепахи*... — Имеется в виду парадокс древнегреческого философа Зенона или его учителя Парменида (V в. до н. э.), основанный на ложном заключении: черепаха, находящаяся хоть сколько-нибудь впереди Ахиллеса, никогда не будет настигнута им, так как, пока он преодолевает половину каждого расстояния, разделяющего их в данный момент, черепаха успеет уйти вперед, — и так до бесконечности.
² *Я начну à la Фабер*... — Шелли имеет в виду свои отношения с Харриет Вестбрук и позицию Дж. С. Фабера, рьяно защищавшего традиционные взгляды на брак; бракосочетание Шелли и Харриет состоялось 28 августа 1811 г. после их побега из Лондона.
Фабер, Джордж Стенли (1773—1854) — викарий, живший близ дома Хоггов в Нортоне; Шелли и Хогг вели с ним полемическую переписку.
³ *О, конечно, нет!* — Здесь и далее в письме Шелли тонко подмечает и справедливо подвергает критике просветельски абстрактный критерий разумности, целесообразности, утилитаризм Годвина, воплощенные в его трактате «Исследование о политической справедливости» (1793).
⁴ ... *Элоизу, которая отреклась от себя ради другого*. . . — Шелли вспоминает о трагической истории, которая отражена в знаменитых «Письмах Элоизы и Абеляра» (XII в.); потеряв возможность соединиться с любимым человеком, Элоиза удалилась из мира в монастырь.
⁵ *Макхит* — персонаж из пьесы Джона Гея (1685—1732) «Опера нищих» (1728), разбойник.
⁶ ... *неужели Антигона безнравственна?*... — Здесь Шелли имеет в виду поступок дочери Эдипа, Антигоны, послушавшейся приказа правителя Фив, Креонта, и совершившей погребальный обряд над своим погибшим в бою братом Полиником. Этот конфликт лег в основу трагедии Софокла «Антигона».
Элиза — сестра Шелли.

.пиши мне на имя капитана Пилфолда... — Джон Пилфолд, дядя Шелли по матери, жил недалеко от Филадельфии; сподвижник Нельсона, Пилфолд командовал фрегатом при Трафальгаре. Шелли с ним был в дружеских отношениях.

17. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

12 мая 1811

¹ Напишу также Ф[аберу]... — См. примеч. 2 к письму 16.

² ...о котором говорит Гельвеций. — Шелли имеет в виду главное сочинение выдающегося французского философа-материалиста и атеиста Клода-Адриана Гельвеция (1715—1771) «Об уме» (1758).

³ Я живу у дяди — Т. е. у Джона Пилфолда.

⁴ ...по фамилии Дж. — Имя врача не установлено.

⁵ «Необходимость атеизма» (1811) — трактат Шелли.

⁶ Младшая находится в темнице... — Харриет Вестбрук была в школе миссис Феннинг.

⁷ Я никогда не читал делилевского романа, а вот с моего, должно быть, был пла... — Шелли, вероятнее всего, имеет в виду Жака Делиля (1738—1813), французского поэта, переводчика Вергилия, Мильтона, Попа, жившего некоторое время в Англии. Джонс расшифровывает аббревиатуру как «плагиат».

18. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

14 мая 1811

¹ Общее сочинение... — Хогг планировал совместное с Шелли произведение.

² ...«Исповедь» Руссо... — В этом сочинении (1782—1789) Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) выразил сокровенные философские и этические взгляды.

³ Абингдонский издатель — издатель Кинг из Абингдона, прекративший

с Шелли и Хоггом после их исключения из Оксфорда.

⁴ Что касается моей... — Подразумевается роман Шелли «Сент-Ирвин».

⁵ ...«Необходимости»... — т. е. его трактата «Необходимость атеизма».

⁶ Один мой родич — Тимоти Шелли, отец поэта.

⁷ ...моим дядюшкой... — Джон Пилфолд.

19. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

5 июня 1811

Хитченер, Элизабет (1782?—1822) — один из постоянных корреспондентов Шелли в период 1811—1812 гг.; ей адресована ценная серия писем, в которых ярко изложены его философские, этические взгляды. Шелли познакомился с ней в июне 1811 г. в доме Джона Пилфолда, одна из дочерей которого училась в расположенной по соседству школе, руководимой мисс Хитченер.

Вначале Шелли был очарован Хитченер. Однако, как показало будущее, Шелли заочно создал во многом воображаемый образ своей корреспондентки, и поэтому постепенно нарастает разочарование, утрачиваются иллюзии, особенно после того, как она поселилась в его доме в 1812 г. Эта эволюция в отношениях Шелли и Хитченер отражена в помещенных письмах.

² «Проклятие Кехамы» (1810) — поэма Р. Саути.

³ ...«Народное Просвещение» Энсора. — Книга Джорджа Энсора (1769—1843) «О народном просвещении» (1811).

⁴ «Видение дона Родерика» (1811) — поэма В. Скотта.

20. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

19 июня 1811

¹ Оуэнсон, Сидни (1776—1859), леди Морган — английская писательница, автор романа «Миссионер, индийская повесть» (3 тт., 1811).

- ² «Сладчайшая звезда! Ты льешь...» — Стихотворение впервые опубликовано Хоггом в 1858 г. в его биографии Шелли (см. примеч. 1 к письму 4); у В. М. Россетти в «Поэтических произведениях Шелли» напечатано под заглавием «К звезде».
- ³ «Долго ль длится упоенье?». — Стихотворение впервые опубликовано Хоггом в 1858 г. в том же издании; у В. М. Россетти оно напечатано под заглавием «Любовь розы».

21. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

23 июня 1811

- ¹ ... предмет твоих нежных чувств... — Речь идет об Элизабет Шелли.

22. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

13 июля 1811

- ¹ Торгола — один из крохотных островков в британской Вест-Индии, входящий в группу островов Девы.
- ² ... следующие отличные строки... — Шелли цитирует, по-видимому, книгу Гельвеция «Об уме» (1758).

23. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Около 3 августа 1811

... это решит Харриет Вестбрук. — Здесь и далее письмо говорит о побеге молодой пары, который был совершен 25 августа.

- ² ... на имя (Эдварда) Грэма ... — Об Э. Грэме см. примеч. 1 к письму 2.

25. ТИМОТИ ШЕЛЛИ

27 сентября 1811

- ¹ Так не судите же, да не судимы будете. — Перефразировка изречения из Евангелия от Матфея (VII, 1).
- ² Вы должны сотворить плоды, достойные покаяния. — Перефразировка изречения из Евангелия от Матфея (III, 8).

26. СЭРУ БИШИ ШЕЛЛИ

13 октября 1811

- ¹ Сэр Биши Шелли (1731—1815) — дед Шелли; обращение Шелли за помощью не имело успеха.

28. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

16 октября 1811

- ... хотя и от него не следует отказываться... — Так у Джонса. В издании Ингпена вместо *resign* стоит *require*, что меняет смысл фразы: «хотя оно не может не потребоваться». (Примеч. переводчика).
- ² ... «расколоть могучий дуб» — В. Конгрив. Невеста в трауре (I, 1).
- ³ ... родственников, каких имею. — Ингпен здесь вместо *possess* прочел *profess*, т. е. считает, что фраза должна читаться: «... родственников, которых я признаю». (Примеч. переводчика).
- ⁴ ... родство душ — это цепуха... — Ингпен вместо *non sense* расшифровывает *got sense*, т. е.: «... родство душ — это романтика». (Примеч. переводчика).
- ⁵ ... а он — брат... — подразумевается Хогг.
- ⁶ Мой дядя... — Джон Пилфолд.

29. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

8 ноября 1811

¹ Он не пал, подобно Люциферу, чтобы уже не подняться. — Шелли несколько перефразирует Шекспира (*В. Шекспир*. Генрих VIII, (III, 2)).

30. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

14 ноября 1811

¹ ... о недавнем ужасном событии... — Шелли намекает на проступок Хогга в отношении Харриет; см. предыдущее письмо к Хитченер, а также следующее за этим письмо к Хоггу.

31. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

14 (?) ноября 1811

¹ Она это поняла... — Здесь мы следуем Ингпену, который расшифровал *received*; у Джонса — *refused* (прочла). (Примеч. переводчика).

32. ТОМАСУ ЧАРЛЗУ МЕДВИНУ

26 ноября 1811

¹ Медвин, Томас Чарлз (ум. 1829) — дядя Шелли, отец Томаса Медвина, адвокат в Хоршеме.

² Уиттон — см. примеч. 1 к письму 12.

³ ... язвительную приписку... — Ингпен вместо *posing* (язвительный) *passing* (беглый). (Примеч. переводчика).

⁴ ... у герцога Н[орфолка] в Грейстоке. — Хоурд, Чарлз (1746—1815), герцог Норфолк, влиятельный деятель партии вигов, был расположен к Шелли и пытался примирить его с отцом; у него было поместье близ Хоршема, а также и недалеко от Кесвика, где в это время жил Шелли, — Грейсток.

33. ТОМАСУ ЧАРЛЗУ МЕДВИНУ

30 ноября 1811

¹ «Не воля соглашается, а бедность». — *В. Шекспир*. Ромео и Джульетта (V, 1). Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

34. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

10 декабря 1811

¹ ... свиту герцога... — т. е. герцога Норфолкского.

² ... ни в каких ухищрениях. — Следуем Ингпену, который прочел *arts*, тогда как Джонс расшифровал это слово как *acts* (поступки, деяния). (Примеч. переводчика).

³ Уэлсли, Ричард Коули (1760—1842) — министр иностранных дел Англии (1809—1812), брат герцога Веллингтона, противник парламентской реформы.

⁴ «Моральная философия» Пэли. — Пэли Вильям (1743—1805), известный английский богослов, автор ряда трактатов в защиту церкви и религии, в том числе — книги «Принципы моральной и политической философии» (1785).

⁵ ... против Туллия... — т. е. Цицерона; следуем Джонсу, Ингпеном прочитано как *Taffy*. (Примеч. переводчика).

⁶ ... мы намерены посетить Ирландию... — Первое упоминание этого плана, осуществленного летом 1812 г.

⁷ ... я задумал поэму. — Имеется в виду поэма «Королева Маб».

⁸ ... о странном человеке... — Речь идет о Вильяме Калверте, сыне прежнего управляющего именем герцога Норфолкского в Грейстоке. Калверт и его жена стали друзьями Шелли в Кесвике.

⁹ Увижу также Саути, Вордсворта и Кольриджа. — За исключением Саути, встреча с этими поэтами, как и с Де Квинси и Дж. Уилсоном, жившими в тех местах, не состоялась. Встреча с Саути произошла в доме В. Калверта.

¹⁰ Энн — воспитанница мисс Хитченер.

¹¹ ... о моем предприятии. ... — вероятно, намек на поездку в Ирландию и на возможный характер деятельности там.

36. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

15 декабря 1811

«Так похоть, будь с ней ангел лучезарный. » — В. Шекспир. Гамлет (I, 5). Перевод М. Лозинского.

² ... негодованию и презрению. — Здесь вместо *indignant contempt* Ингпен прочел *indifferent contempt*, и тогда фраза имела бы примерно такой смысл: «от безразличия и презрения». (Примеч. переводчика).

³ ... ненавидевший фанатизм, тиранию и закон. ... — Шелли имеет в виду бунтарские мотивы раннего творчества Саути, когда им были созданы «Жанна д'Арк» (1790), «Уот Тайлер» (1798) и др., отмечая далее эволюцию этого писателя, ставшего певцом политической и церковной реакции; возможно, что Шелли имел дополнительную информацию о настроениях и взглядах Саути в этот период от В. Калверта.

В письме упомянуты руководители реакционной политики в Англии: Уэлсли — см. примеч. 3 к письму 34; Пэджет, Генри Вильям (1768—1854), маркиз Энглси и граф Аксбридж; Принц — принц-регент (1810—1820), наследник престола, принц Уэльский, будущий король Георг IV (1820—1830).

⁴ ... восторгается испанской войной. ... — Шелли имеет в виду поддержку Саути экспансионистской внешней политики Англии в период наполеоновского вторжения в Испанию.

⁵ боролись против всемогущества Природы. ... — Ингпен в фразе *Nature that is lord* расшифровывает последнее слово как *bad*; в таком случае фраза означала бы: «... боролись против прирожденного зла». (Примеч. переводчика).

⁶ Вордсворт. ... так беден, что не имеет даже на рубашку. — Шелли несколько сгущает краски.

36. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

26 декабря 1811

... три статуи в «Кехаме». ... — Р. Саути. Проклятие Кехамы, песнь XXIII, строфы 14—15.

² ... в том крохотном письме к Вам. ... — см. письмо от 10 декабря 1811 г.

³ ... к дяде и тетушке. ... — т. е. Джону Пилфолду и его жене.

⁴ ... о титулах и королях. — Следуем Ингпену, который прочел первое слово как *titles* (титулы) явно более правильно, чем Джонс, предлагающий чтение *tables* (столы). (Примеч. переводчика).

⁵ Мой друг, в Ноттингем посланы войска. — Ингпен прочел: *My friends the military are sent to Nottingham*, т. е. «Мои друзья военные посланы в Ноттингем». (Примеч. переводчика).

Это место великолепно по своей экспрессии и демократическому духу. Шелли встает на сторону рабочих Англии, луддитов, с негодованием говорит о действиях правительства, заверившихся утверждением в парламенте закона о смертной казни разрушителям машин; здесь он солидарен с позицией Байрона, который выступил с речью в защиту луддитов в палате лордов 28 февраля 1812 г.

яростная месть угнетенных. ... — Ингпен вместо *furious* прочел *ru* «разрушительная». (Примеч. переводчика).

⁷ Я оставил пока свою поэму. — Речь идет о поэме «Королева Маб».

⁸ Мелкие стихотворения. — см. письмо от 10 декабря 1811 г.

- ⁹ «Пою, и песнь моя свободе будет милой». — Здесь Шелли переходит как бы к поэтической форме повествования в своем письме.
- ¹⁰ Паркинсон, Джеймс (1755—1824) — английский врач, впервые описавший дрожательный паралич («болезнь Паркинсона»); помимо работ по медицине опубликовал популярные книги по вопросам воспитания и др.; ему принадлежит сочинение по геологии «Органические остатки прежнего мира» (3 тт., 1804—1811).
- ¹¹ Ксенофан (ок. 540—500 до н. э.) — греческий поэт и философ, основатель эклектической школы.
- ¹² «Политическая справедливость» — «Исследование политической справедливости» (1793) В. Годвина.

39. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

3 января 1812

Годвин, Вильям (1756—1836) — писатель и философ, виднейший представитель демократического движения в Англии конца XVIII—начала XIX в., отец второй жены Шелли — Мери Уолстонкрафт Годвин. Это первое письмо Шелли к Годвину, которое открыло историю их личного знакомства.

40. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

7 января 1812

- ...от сочинения, которым я сейчас поглощен. — вместо writings (сочинения) Ингпен здесь прочитал *discussion* (беседа). (Примеч. переводчика).
- меня не посадят в тюрьму. — В этом случае мы следуем Ингпену, так как правильность его прочтения подтверждается дальнейшим текстом. Джонс вместо *prisoned* (заключен в тюрьму) читает *poisoned* (отравлен). (Примеч. переводчика).
- ³ Блэкстон, Вильям (1723—1780) — автор фундаментальных «Комментариев к Законам Англии» (4 тт., 1765—1769); его имя стало синонимом непреложного авторитета в этой области.
- ⁴ Пейн, Томас (1737—1809) — выдающийся публицист революционно-демократического направления, активный участник борьбы за независимость США; книга «Права человека» (1791—1792) навлекла на него ожесточенное преследование со стороны реакции. Имя Пейна нередко встречается в письмах Шелли, он был для него образцом в период создания и распространения ирландских памфлетов («Обращение к ирландскому народу» и др.).
- Бердетт, Фрэнсис (1770—1844) — член парламента от Вестминстера, один из активных сторонников парламентской реформы, по политическим обвинениям подвергался аресту.
- ⁶ Персиваль, Спенсер (1762—1812) — премьер-министр Англии (1809—1812); убит 11 мая 1812 г. в здании парламента.
- Мисс Адамс — воспитательница Э. Хитченер; в письме от 26 января 1812 г. Шелли называет ее «моя мать», так как Э. Хитченер была «сестрой его души».
- ⁸ ... повесть. — далее Шелли сообщает ее название — «Юбер Ковен»; после 26 января 1812 г., однако, о ней больше не упоминается.
- ⁹ Посылаю Вам стихотворение... — Впервые опубликовано В. М. Россетти в «Поэтических произведениях Шелли» (1870) под названием «Мать и сын». В «Julian edition» оно фигурирует под подлинным, проверенным по рукописи заглавием «Повесть об обществе, как оно есть. На основании фактов 1811 г.».

41. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

10 января 1812

не достигнув семнадцати лет... — Шелли допускает неточность: «Застропци» был опубликован, когда ему было 17, а «Сент-Ирвин» — 18 лет.

Меня дважды исключали... — возможно, Шелли имеет в виду, что его отцу дважды советовали взять сына из Йтона.

- ³ Я издал памфлет... — речь идет о «Необходимости атеизма».
- ⁴ Коплстоун, Эдвард (1776—1849) — профессор поэзии и член совета колледжа в Оксфорде, позднее епископ и настоятель собора Св. Павла.
- ⁵ «Исследование причин, по которым Французская революция не смогла принести счастья человечеству». — Имеется в виду повесть «Юбер Ковен», см. примеч. 8 к письму 40.

42. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

26 января 1812

- ¹ Энн — см. примеч. 10 к письму 34.
- ² ...посеянные Вами семена взойдут среди плевел и терние... — Шелли использует образ из Притчи о сеятеле (Евангелие от Матфея, XIII).
- ³ ...заглохшим садом... — образ взят из трагедии Шекспира «Гамлет» (II, 2).
- ⁴ Харриет написала Вам о событии... — 19 января 1812 г. вечером на Шелли было совершено нападение в его доме в Кесвике; об этом происшествии сообщала в своей приписке Харриет.
- ⁵ «Обращение к ирландцам» — т. е. памфлет «Обращение к ирландскому народу» (1812), который был издан уже в Дублине.
- ⁶ ...маленьких американок... — Речь идет об американских детях, которые воспитывались в школе у Э. Хитченер.
- ...смерть закошенного распутника. — Так по Ингпену, тогда как Джонс вместо гербовате (распутник) читает apostate (отступник). (Примеч. переводчика).
- ⁸ Калверты — см. примеч. 8 к письму 34.
- ⁹ Дублинский замок — цитадель, построенная в XIII в. англичанами, оплот и символ угнетения Ирландии, резиденция наместника английского короля.

43. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

24 февраля 1812

- ...брошюру... — т. е. «Обращение к ирландскому народу».
- ...акта об унии; поступки принца... — Жестоко расправившись с очередным восстанием в Ирландии, английское правительство во главе с принцем-регентом, ущемляя ее политические права, с 1 января 1801 г. ввело в действие закон («Акт об унии»), согласно которому ирландский парламент упразднился путем «объединения» его с английским парламентом.
- ³ ...еще одна брошюра... — Подразумеваются «Предложения о филантропической ассоциации», появившиеся 2 марта 1812 г.
- ⁴ Керран, Джон Филпот (1750—1817) — ирландский поэт, адвокат и знаменитый оратор. Прославился как борец за парламентскую реформу и эмансипацию католиков; защищал ирландских патриотов на судебных процессах. Его дочь Амелия, художница, было коротко знакома с семьей Шелли в Риме в 1819 г. Ингпен усматривает прямое влияние речей Керрана на некоторые места «Обращения к ирландскому народу» (т. VIII, стр. 275).
- ⁵ ...место встречи Флитвуда и Руффиньи... — Флитвуд и Руффиньи — персонажи романа В. Годвина «Флитвуд, или Новый человек чувства» (1805), их встреча произошла в живописной швейцарской долине, близ подножья Сен-Готарда.
- ⁶ ...очень дорогой нам друг... — Э. Хитченер.
- ⁷ ...брошюру, за которую меня исключили. — Имеется в виду трактат «Необходимость атеизма» (1811).

44. ГАМИЛЬТОНУ РОУЭНУ

25 февраля 1812

- ¹ Роуэн, Арчибальд Гамильтон (1751—1834) — убежденный сторонник эмансипации католиков, член «Общества объединенных ирландцев», в 1794 г. был арестован, защищал его Дж. Ф. Керран.

...памфлет... — «Обращение к ирландскому народу».
 ...небольшой памфлет. — «Предложения о филантропической ассоциации».

45. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

27 февраля 1812

- ¹ ... своего памфлета... — т. е. «Обращения к ирландскому народу».
² ... моя брошюра... — см. примеч. 3 к письму 43.
³ Наша «Филантропическая ассоциация»... — См. письмо к В. Годвину от 24 февраля 1812 г.
⁴ Я не могу слышать восхвалений Славной Революции 1688 года. — Здесь и далее Шелли касается обстоятельств государственного переворота 1688 г. в Англии, имевшего непоследовательный, компромиссный характер, но именуемого в официальной буржуазной историографии «Славной революцией»; по решению парламента власть от Иакова II Стюарта перешла к Вильгельму III Оранскому и его жене, Марии II Стюарт, дочери низложенного монарха.
⁵ Сидней, Олджернон (1622—1683) — республиканец, обвиненный в измене и казненный.
⁶ Хемпден, Джон (1594—1643) — республиканец, участник английской буржуазной революции, пал на поле боя.
⁷ Я не читал Э. Флауэра... — Вероятно, Бенджамин Флауер (1755—1829), редактор радикальной газеты «Кембриджский информатор»; в 1799 г. был заключен в тюрьму за выступление против епископа Уотсона; позднее издавал еженедельник «Политический указатель» (1807—1811).
⁸ «Мемуары о якобинстве» — имеется в виду «История якобинства» (1797) О. Баррюэля, переведенная с французского Р. Клиффордом под названием «Мемуары, иллюстрирующие историю якобинства» (1797—1798).
⁹ ... О'Коннор, брат мятежного Артура... — Роджер О'Коннор (1762—1834) и его брат, Артур О'Коннор (1763—1852), — члены «Общества объединенных ирландцев»; в 1797 г. были арестованы и некоторое время находились в заключении.
¹⁰ ... остатки «Объединенных ирландцев». — Революционная организация «Общество объединенных ирландцев», борющаяся за независимую республиканскую Ирландию, против привилегий церкви, помещиков и английского господства, существовала в 1791—1798 гг.; под ее руководством в 1798 г. в Ирландии произошло восстание, которое было безжалостно подавлено Англией, а члены «Общества» подверглись жестоким репрессиям и преследованиям.
¹¹ ... в небольшом задуманном мною сочинении. — Вероятно, Шелли говорит здесь о подготовленном им томе «Извлечения из Библии».
¹² ... маленьких американок — см. примеч. 6 к письму 42.

46. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

8 марта 1812

- ¹ «Убеждение, что он действует на благо, присутствует в любом действии человека». — Шелли, несколько перефразируя, цитирует письмо Годвина к нему от 4 марта 1812 г.
² ... аргументы мистера Мальтуса! — Шелли имеет в виду реакционный трактат Т. Р. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» (1798), в котором автор ополчался против радикальной мысли своего времени, особенно Годвина и его трактата «Политическая справедливость» (1793). О Мальтусе см. примеч. 10 к предисловию к «Освобожденному Прометею».
³ Я предложил создать «Филантропическую ассоциацию»... — Шелли намекает на свои «Предложения о филантропической ассоциации».
⁴ «Обращение» — «Обращение к ирландскому народу».

- ⁵ «Предложения», «Замечания» — речь идет о брошюре «Предложения о филантропической ассоциации»; «Замечания» не были напечатаны.
- ⁶ *Посылаю газету...* — По свидетельству Годвина, «Уикли мессенджер», где был помещен отчет о массовом собрании 28 февраля 1812 г., на котором с большой речью выступил Шелли. Отклики об этом появились в ряде газет Дублина.

47. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

10 марта 1812

- ...узаконенной тирании... — Ингпен предлагает читать не *licensed* (узаконенный), а *unlicensed* (беззаконный). (Примеч. переводчика).
- ² ...одного ирландца... — Его имя было Редферн; об обстоятельствах его дела, в котором активное участие принял Шелли, см. письмо от 7 мая 1812 г. к Кэтрин Ньюджент.
- ³ *Бересфорд*, Вильям Кэрр (1768—1854) — в 1811 г. был маршалом в португальской армии.
- ⁴ *Бердетт* — см. примеч. 5 к письму 40.
- ⁵ *Лоулесс*, Джон (1773—1837) — ирландский агитатор по прозвищу «Честный Джек Лоулесс», был лишен права заниматься адвокатурой; редактировал «Уикли мессенджер» и опубликовал (7 марта) заметку о выступлении Шелли; см. примеч. 6 к письму 46.
- ⁶ вдалеке от дяди. — Джона Пилфолда.
- ⁷ досаднейшая ошибка. — Экземпляр «Обращения к ирландскому народу» был отправлен Хитченер, и, подобно Годвину, ей пришлось уплатить большой почтовый сбор.
- ⁸ С «Ассоциацией» дело подвигается медленно. — Речь идет об организации общества, принципы которого изложены Шелли в «Предложениях о филантропической ассоциации».
- ⁹ *Мексиканская республика процветает.* — В 1810 г. в Мексике произошло восстание и была образована республика.

48. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

18 марта 1812

- ...подчиняюсь Вашему решению. — В письме от 14 марта 1812 г. Годвин, испуганный характером активной деятельности Шелли в Ирландии, дает ему ряд наставлений, смысл которых раскрывается далее в этом письме.
- ² Я изъяс из обращения сочинения... — Имеются в виду «Обращение к ирландскому народу» и «Предложения о филантропической ассоциации».
- ³ ...называемая *Либерти*... — По-английски *Liberty* — Свобода.
- ⁴ *Одна особа исключительных дарований...* — Э. Хитченер.

49. ЭЛИЗАБЕТ ХИТЧЕНЕР

16 апреля 1812

- ...всею в какой-нибудь миле от мистера Гроува. — Т. от имени дяди Шелли, Томаса Гроува, Кум Элан.
- ² «Декларация прав» — политический трактат Шелли, написанный в Ирландии (1812).
- ³ *Франклин*, Бенджамин (1706—1790) — выдающийся американский ученый, писатель и политический деятель, один из составителей «Декларации независимости» США (1776).
- ⁴ *Хабес корпус* — закон о неприкосновенности личности и жилища, принятый английским парламентом в 1679 г.
- ⁵ *Этому негодяю П[ринцу] Уэльскому требуется все больше денег, принцессам тоже, мистеру Мак-Магону тоже.* — Здесь Шелли пишет вполне в духе выступлений

английской радикальной прессы, неоднократно обличавшей принца-регента, правление которого было отмечено усилением нищеты и экономической депрессии. Ингпен указывает, что Шелли имел в виду конкретный факт: на заседании палаты общин 23 марта 1812 г. обсуждались расходы королевской фамилии, а также размеры жалованья некоего полковника Мак-Магона, назначенного на новую придворную должность (т. VIII, стр. 308—309).

- ⁶ ...убийца семьи *Марр*... — Шелли намекает на некоего Вильямса, совершившего несколько месяцев тому назад жестокие убийства, а затем покончившего с собой.
- ⁷ Я написал стихи о Роберте Эммете... — Роберт Эммет (ум. 1803) — вождь ирландского освободительного движения, глава «Общества объединенных ирландцев», после подавления восстания в 1803 г. был казнен. Шелли имеет в виду стихотворение «На могилу Роберта Эммета», которое, возможно, было написано в Дублине.
- ⁸ *Миссис Ньюджент* — ирландка, с которой Шелли познакомился в Дублине в феврале 1812 г., страстная патриотка.

51. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

25 апреля 1812

- ¹ *Флитвуд* — см. примеч. 5 к письму 43.
- ² *Керран* — см. примеч. 4 к письму 43.
- ³ ...и еще одном моем друге... — т. е. о Э. Хитченер.

52. КЭТРИН НЬЮДЖЕНТ

7 мая 1812

- ¹ ...мистер Ньюмен — дублинский скорняк, у которого работала К. Ньюджент.
- ² ...наши английские волнения... — Шелли здесь подразумевает массовые выступления луддитов, имевшие место в Англии в это время.
- ³ ...капитан Генри и сэр [Джеймс] Крэг об этом постарались. — Крэг, Джеймс Генри (1748—1812) — генерал, губернатор Канады (1807—1811), обострил накалинные и без того отношения между Англией и Америкой, послав капитана Джона Генри со специальной разведывательной миссией в Бостон; США объявили войну Англии 18 июня 1812 г.
- ⁴ *Письма Редферна*... — см. примеч. 2 к письму 47.
- ⁵ *Рейнольдс* — видимо, знакомый Шелли по Дублину.
- ⁶ ...речь сэра Ф. Бердетта о казармах в *Мэрилебоне*... — речь была произнесена в палате общин 1 мая 1812 г.; о Бердетте см. примеч. 5 к письму 40.

53. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

3 июня 1812

- ¹ *Альберт Великий* (ок. 1193—1280) — средневековый немецкий ученый и философ.
- ² *Парацельс*, Филипп Аурелий (1493—1541) — врач и ученый.
- ³ *Рид*, Томас (1709—1796) — философ, профессор этики в Глазго, автор нескольких сочинений о познании и природе ума; его сочинение «Исследование человеческого разума» (1764) было ответом Д. Юму.
- ⁴ Я только что прочел «*Le Système de la Nature par M. Mirabaud*» — «Система Природы» (1770) — самое полное изложение материалистических идей Просвещения, принадлежит перу П. А. Гольбаха (1723—1789); книга была издана под именем О. Г. Р. Мирабо, в августе 1812 г. Шелли начинал переводить ее.

54. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

7 июля 1812

- ¹ *Кум Элан* — см. примеч. 1 к письму 49.
- ² *Мистер Итон* — владелец дома в Чепстоу, который Шелли предполагал арендовать до отъезда в Лаймут.

³ *Фанни* — Фанни Имлей (1794—1816), дочь Мери Уолстонкрафт, жены Годвина, жила в семье Годвина и была известна как Фанни Годвин.

56. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

3 декабря 1812

... следы *Гримгриффинхоффа*... — Шелли прибегает к словообразованию, которое обозначает: следы «мрачно (grim) бдительной настороженности (griffin)».

² *Бурый Демон* — Элизабет Хитченер; к этому времени произошли резкие изменения в ее отношениях с Шелли. Хитченер по приглашению Шелли приехала в его дом в Уэльсе в июле 1812 г. и прожила там четыре месяца. При ближайшем знакомстве Шелли и его домочадцы горько разочаровались в ней и ликовали после ее отъезда.

57. ТОМАСУ ХУКЕМУ

17 декабря 1812

¹ *Хукем-младший*, Томас (1787—1867) — лондонский издатель и книгопродавец.

² ... Вы получите «Извлечения из Библии»... — см. примеч. 11 к письму 45.

³ *Итон*, Даниель Исаак — радикальный книгопродавец, за свою деятельность в 1812 г. был заключен в тюрьму и выставлен к позорному столбу.

⁴ *Прилагаю список книг*... — В своем перечне Шелли называет следующие издания: *Э. Гиббон*. История упадка и гибели Римской империи (1776—1788); *Д. Юм*. История Англии (1759—1762); *Д. Юм*. Опыты о морали, политике и литературе (1741—1742); *Э. Дарвин*. Зоономия, или Законы органической жизни (1794—1796); *Р. О. Верто*. История революций Римской республики (Париж, 1719); *Дж. Гилли*. История древней Греции (1786); *Дж. Адольфус*. Продолжение истории Англии (1802); *Э. Мур*. Индийский Пантеон (1810); *Р. Сауги*. История Бразилии (1810—1829).

⁵ *Граф Румфорд*, Томпсон Бенджамин (1753—1815) — английский физик, особенно плодотворно занимавшийся изучением проблем теплоты и положивший начало крупным открытиям в этой области науки.

⁶ *Кабанис*, Пьер-Жан-Жорж (1757—1808) — врач и философ-сенсуалист, автор книги «Об отношениях между физической и нравственной природой человека» (1802).

58. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

27 декабря 1812

Каслри, виконт, Стюарт Роберт (1769—1822) — одна из одиознейших реакционных фигур в политической жизни той поры; министр иностранных дел Англии (1812—1822).

² ... побед, одержанных на Севере... — Имеются в виду события в России зимой 1812 г., отступление армии Наполеона.

³ *Защитительная речь Брума*... — 9 декабря 1812 г. видный английский политический деятель Генри Брум (1778—1868) выступил на заседании Верховного Суда по делу Ли и Джона Хантов, привлеченных к ответственности «за клевету» в связи с тем, что в своем журнале «Экзаминар» (22 марта 1812 г.) они допустили резкие выпады против принца-регента; в частности, последний был аттестован как «нарушитель своего слова», распутник, «жирный джентльмен пятидесяти лет», который, несмотря на столь солидный возраст, не принес никакой пользы ни Англии, ни собственной семье. Верховный Суд под председательством лорда Элленборо приговорил Хантов к двум годам заключения каждого и уплате денежного штрафа. Шелли изъявил готовность принять участие в подписке в пользу Хантов, но они отклонили предложения помощи и выплатили штраф сами.

⁴ ... ответа от герцога Норфолка. — Герцог Норфолк вновь предпринимал попытки примирить Шелли с отцом.

59. ТОМАСУ ХУКЕМУ

26 января 1813

- ¹ ... доводы сэра В[ильяма] Драммонда... — В. Драммонд (см. примеч. 5 к предисловию к поэме «Восстание Ислама») толковал ветхозаветные истории как астрономические аллегории.
- ² «Эдип» — сочинение В. Драммонда (1811).

60. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

7 февраля 1813

- ... дело с дамбой... — Живя в Тремадоке (Северный Уэлс), Шелли в 1813 г. принял участие в возведении дамбы с целью отвоения у моря куска суши; он был увлечен строительством и проявил в нем большую заинтересованность.
- ² ... «Талабу» Саути — т. е. поэму Р. Саути «Талаба-разрушитель» (1801).
- ³ ... непостоянной толпы... — Ингпен вместо «непостоянная» (*inconstant*) читает последовательная (*inconsistent*). (Примеч. переводчика).
- ⁴ ... свою поэму — т. е. поэму «Королева Маб».

61. ТОМАСУ ХУКЕМУ

15 февраля 1813

- ... о возмутительно несправедливом приговоре... — См. примеч. 3 к письму 58.
- ... бедняг, которых повесили в Йорке... — Шелли имеет в виду трагическую судьбу четырнадцати разрушителей машин, рабочих-луддитов.
- ³ ... посылают сотни тысяч... — Шелли намекает на английские займы царскому правительству.

62. ТОМАСУ ХУКЕМУ

6 марта 1813

- По дороге в Дублин... — В связи с усилившейся травлей в Тремадоке Шелли на месяц уезжает в Ирландию.
- ² Мой адрес... — Указан адрес Дж. Лоулесса (см. примеч. 5 к письму 47).

64. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

16 марта 1814

- ... в семье миссис Б[ойнвил]... — Весной 1814 г. Шелли поселился в Бракнеле, Беркшир, чтобы быть рядом с семьей Бойнвилей, родственников Дж. Ф. Ньютона (см. ниже, примеч. 7), с членами которой в дальнейшем сблизился. Миссис Бойнвил, ее дочь Корнелия (миссис Тернер), сын Альфред, кружок друзей миссис Бойнвил упоминаются во многих письмах Шелли.
- ² Помните, у Бернса... — Шелли далее цитирует строки 59—62 из поэмы Р. Бернса «Тэм О'Шентер» (1790). Перевод С. Я. Маршака.
- ³ Элиза еще с нами — не здесь! — но будет со мной... — Отношения с Элизой Вестбрук к этому времени у Шелли резко ухудшились; в данный момент она была вместе с Харриет и с маленькой дочерью Шелли, Иантой, в Виндзоре.
- ⁴ Беккариа, Чезаре (1735? — 1794) — итальянский философ-просветитель и публицист, автор знаменитого «Исследования о преступлениях и наказаниях» (1764), в котором он осуждает уголовные наказания и пытку, защищая метод воспитания как средство предупреждения преступления.
- ⁵ Дюмон, Пьер Этьен Луи (1759—1829) — ученик и популяризатор Иеремии Бентама, предпринял систематическое компилятивное изложение его учения в сочинениях «Рассуждение о гражданском и уголовном законодательстве» (1802) и «О наказании и воздаянии» (1811), написанных на французском языке.

- ⁶ Я сочинил всего одну строфу... — Стихотворение впервые опубликовано Хоггом в 1858 г. в его биографии Шелли; посвящено или миссис Бойнвил, или ее дочери, Корнелии Тернер, вероятнее всего последней, которая читала по-итальянски с Шелли.
- ⁷ Ньютоны — Джон Фрэнк Ньютон (1767—1837), миссис Ньютон и их дети; впервые Шелли встретил его в семье Годвинов.

65. ХАРРИЕТ ШЕЛЛИ

13 августа 1814

... мул вез наш багаж, а также Мери. — 28 июня 1814 г. Мери Уолстонкрафт Годвин соединила свою судьбу с Шелли, и они отправились в путешествие на континент; письмо по своему содержанию связано с «Историей шестинедельной поездки» (1817).

² Пикок — см. примеч. 1 к письму 74.

³ Таурден — поверенный, хорошо знал Годвина.

66. МЕРИ УОЛСТОНКРАФТ ГОДВИН

24 октября 1814

¹ Мы совершенно безопасно можем встретиться... — В это время Шелли находился в крайне стесненных обстоятельствах, под угрозой ареста за долги и был вынужден скрываться от кредиторов.

67. МЕРИ УОЛСТОНКРАФТ ГОДВИН

24 октября 1814

¹ Боллахи — ростовщик, ссудивший деньги Шелли.

² ... холодная несправедливость Годвина. — Годвин осудил гражданский брак Шелли и Мери.

³ Посылаю тебе «Таймс». — Ингпен (т. IX, стр. 99) указывает в связи с этим, что в «Таймсе» за 24 октября 1814 г. было помещено пространное письмо об отмене торговли рабами.

⁴ Передай привет Джейн. — Т. е. Клер Мери Джейн Клермонт (1798—1879); она была дочерью второй жены Годвина от ее первого брака. Сопровождала Шелли и Мери во время их поездок на континент в 1814 и 1816 гг.; в 1818 г. присоединилась к ним в Италии. В судьбе ее дочери от Байрона, Аллегры, приняла горячее участие Шелли и его жена.

68. МЕРИ УОЛСТОНКРАФТ ГОДВИН

27 октября 1814

¹ Фанни — Фанни Годвин; см. примеч. 3 к письму 54.

69. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

Конец августа 1815

¹ Лоуренс, Вильям (1783—1867) — лондонский врач Шелли.

² Речи против Верреса... — Шелли имеет в виду знаменитые разоблачительные выступления Цицерона в 70 г. до н. э. против Верреса, наместника в Сицилии, в защиту разоренных им сицилианцев.

³ «Фарсалия» — см. примеч. 37 к «Защите Поэзии».

70. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

22 сентября 1815

¹ ... из поездки по Темзе... — В сентябре 1815 г. Шелли и Мери в сопровождении Пиккока совершили лодочную экскурсию по Темзе.

...несколько литературных планов... — В том числе окончание поэмы «Аластор» (1816).

³ *речь в защиту поэта Архия*... — одна из лучших речей Марка Туллия Цицерона (106—43 гг. до н. э.), которую он произнес в 62 г. до н. э. в защиту греческого поэта Архия (конец II в.—начало I в. до н. э.); последний был обвинен в незаконном присвоении прав римского гражданства. Помимо юридического, эта речь прежде всего имеет глубоко гуманистический аспект, представляя собою аполигию поэзии, литературного художественного творчества.

⁴ *Бейль, Пьер* (1647—1706) — французский философ и критик, автор «Исторического и критического словаря» (1697), во многом предвосхитившего скептическое вольнодумство просветителей.

71. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

6 марта 1816

¹ *Тернер* — Томас Тернер; см. примеч. 1 к письму 64.

² ...ребенок... — Вильям, сын Шелли и Мери.

³ *Брайант* — ростовщик, с которым был связан и Годвин.

72. РОБЕРТУ САУТИ

7 1816

. небольшую поэму.. — «Аластор» (1816).

73. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

3 1816

¹ *Канцлерский суд постановил*... — Здесь и далее речь идет о завещании и наследстве умершего сэра Биши Шелли, деда писателя. Канцлерский суд — в XIX в. высшая контрольная и апелляционная судебная инстанция, которую возглавлял лорд-канцлер, одновременно бывший министром юстиции Англии; решения Канцлерского суда выносились в форме «приказа» лорда-канцлера, не ограниченного в своих действиях парламентскими законами. Канцлерскому суду подчинялись так называемые высшие Суды общего права, одним из которых был Суд королевской скамьи (в прошлом на его заседаниях присутствовал король), рассматривавший дела о должностных преступлениях и государственной измене.

² *Хейуорд* — поверенный Шелли.

74. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

15 мая 1816

¹ *Пикок, Томас Лав* (1785—1866) — английский романист, поэт, эссеист, друг и один из постоянных корреспондентов Шелли в годы его пребывания в Швейцарии и Италии; автор сатирических нравоописательных романов — «Хедлонг Холл» (1816), «Мелинкорт» (1817), «Аббатство кошмаров» (1818), которые были высоко оценены Шелли (в последнем произведении Пикок воспользовался некоторыми чертами Шелли, создавая образ Сайтропа) и др. Шелли и Пикок связывал интерес к изучению древней культуры, проблемам театра, теории поэзии и т. п.; все это отражается в письмах Шелли к Пикоку, особенно из Италии, а также в его трактате «Защита Поэзии» (1821). Пикоку принадлежат интересные и содержательные воспоминания о Шелли («Фрэзерс мэгезин» за 1858, 1860 и 1862 гг.).

² ...многочисленные дожди... — Вместо *many showers* (многочисленные дожди) Джонс читает *may showers* (майские дожди). (Примеч. переводчика).

³ *Нравы французов*. — Инглен опускает все от этих слов до конца абзаца. (Примеч. переводчика).

...подобно Вордсворту... — В письме сильно выражено чувство тоски по родине. Джонс (т. I, стр. 475) предполагает, что Шелли, видимо, имел в виду стихотворение Вордсворта «I travelled among unknown men» («Я путешествовал среди незнакомых людей»).

⁵ Лонгдилл — поверенный Шелли.

75. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

17 июля 1816

¹ Леди Л. — вероятно, владелица дома на Бишопгейте, где жил Шелли.

² Мы предполагаем... — Этот план о длительном путешествии ограничился поездкой вдоль побережья Женевского озера вместе с Байроном (23—30 июня 1816 г.).

³ Что с моей поэмой? — Шелли имеет в виду поэму «Аластор».

⁴ ...о предстоящем разорении... — Речь идет о сносе дома, в котором Шелли предполагал поселиться, вернувшись в Англию.

76. ЛОРДУ БАЙРОНУ

22 июля 1816

¹ ...«дворцов Природы». — Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда (III, 62); песнь была уже закончена, но не опубликована.

² наш маленький Вильям. — 6-месячный сын Шелли, который оставался в окрестностях Женевы, где в это время жил Байрон.

³ Клер — см. примеч. 4 к письму 67.

77. ЛОРДУ БАЙРОНУ

8 сентября 1816

о благополучном прибытии «Чайльда». — Имеется в виду III песнь «Паломничества Чайльда Гарольда», которую Шелли доставил из Швейцарии в Лондон издателю Байрона Дж. Меррею (1778—1843).

² ...«надежда — наш священный долг и мать всех других добродетелей». — Джонс не устанавливает соответствия этой цитаты с каким-либо произведением Кольриджа, отмечая лишь сходные мотивы в одном его стихотворении, а также в сонете Вордсворта (т. II, стр. 125).

³ Дж. К. Хобхауз, С. Б. Дэвис — друзья Байрона, бывшие с ним в Швейцарии на вилле Диодати, близ Женевы.

⁴ Поллатори, Джон Вильям (1795—1821) — личный секретарь и домашний врач Байрона, с которым они расстались в Женеве. «Дневник», который он вел в 1816 г. (издан В. М. Росsetти в 1911 г.), содержит много интересных сведений о Шелли и Байроне.

78. ЛОРДУ БАЙРОНУ

11 сентября 1816

¹ ...поэму — т. е. III песнь «Паломничества Чайльда Гарольда».

² Сталь, Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница, видная представительница европейского либерализма, одно время жила в Англии, встречалась с Байроном.

³ Киннерд, Дуглас Джеймс Вильям (1788—1830) — друг Байрона.

⁴ ...роман очень продвинулся. — Т. е. роман Годвина «Мандевиль» (1817).

⁵ Норткот, Джеймс (1746—1831) — английский художник.

⁶ «Гленарвон» — роман Каролины Лэм (1785—1828), леди Мельбурн, вышедший анонимно (1816), где описана история ее любовной связи с Байроном.

79. ЛОРДУ БАЙРОНУ

29 сентября 1816

- ¹ ...с *Вашей сестрой*. — Августой Ли (1783—1851), сводной сестрой Байрона, близким другом поэта. Шелли намекает далее на слух о кровосмесительной связи Байрона с Августой, который распространялся в светском обществе Лондона.
- ² *Сейчас Вы в Италии...* — Байрон, в сопровождении Хобхауза покинул Женеву лишь в начале октября и прибыл в Венецию 11 ноября 1816 г.
- ³ ...«*истину вещей*»... — Шелли, вероятно, перефразирует 49 строку из стихотворения Вордсворта «Строки, написанные близ Тинтернского аббатства» (1798).
- ⁴ *Хенсон, Джон* — поверенный Байрона.
- ⁵ ...*маленький Вилли*. — сын Шелли — Вильям.

80. ЛОРДУ БАЙРОНУ

20 ноября 1816

- ¹ *Гиффорд, Вильям* (1756—1826) — писатель и журналист, редактор журнала «Квотерли ревью» (1809—1824), его литературным мнением дорожил Байрон, хотя и не разделял его консервативной позиции.
- ² «*Эдинбургское обозрение*» напечатало рецензию на «*Кристабель*»... — Поэма Кольриджа «*Кристабель*» была подвергнута критике в «*Эдинбургском обозрении*» за 1816 г. (№ 27); был затронут и Байрон, который в свое время рекомендовал опубликовать поэму и высоко ценил ее поэтические достоинства. Шелли прочитал «*Кристабель*» 26 августа 1816 г. в Женеве.

81. ЛИ ХАНТУ

8 декабря 1816

- ...номер за прошлую неделю. — В «*Экзаминере*» от 1 декабря 1816 г. была помещена статья Л. Ханта «*Молодые поэты*», где рассматривались произведения Шелли, Дж. Г. Рейнольдса и Дж. Китса.
- ² ...подписаться под «*Гимном Духовной Красоте*»... — В начале октября 1816 г. Шелли представил на рассмотрение в «*Экзаминер*» стихотворение, подписав его псевдонимом — «*Рыцарь Эльфов*», — так шутливо называла мужа Мери. С указанием истинного имени автора «*Гимн*» был опубликован в том же журнале 19 января 1817 г.
- ³ «*Римини*» — поэма Л. Ханта «*Повесть о Римини*» (1816).
- ⁴ «*Хедлонг Холл*», «*Мелинкорт*» — см. примеч. 1 к письму 74.

82. МЕРИ ГОДВИН УОЛСТОНКРАФТ

16 декабря 1816

- ...к этой трагической смерти. — Имеется в виду самоубийство жены Шелли, Харриет. В начале сентября 1816 г., покинув отчий дом, она поселилась отдельно. Она утопилась в реке Серпентайн, в Лондоне; тело ее было обнаружено 10 декабря 1816 г.
- ² *Дессе* — поверенный семьи Вестбруков.
- ³ ...доведена до проституции... сошлась с грумом по фамилии Смит... — Об обстоятельствах жизни Харриет Шелли в последние месяцы достоверных сведений не имеется. Существуют сомнения относительно подлинности этой части письма (см. статью).
- ⁴ ...эта мерзкая гадина, ее сестра... — Элиза Вестбрук.
- ⁵ *Вильям* — сын Шелли и Мери.

83. ЛОРДУ БАЙРОНУ

17 января 1817

- ...самые неожиданные и тяжкие беды. — Шелли подразумевает обстоятельства и последствия смерти Харриет (см. далее в этом письме).
- ² ... прелестную девочку. — 12 января 1817 г. в Бате у Клер Клермонт родилась дочь, которая была названа Альбой (т. е. Зарей); в 1818 г. по желанию отца, Байрона, имя было изменено, и Альба стала Аллегрой.
- ³ ... гораздо более тяжкого удара. — 9 октября 1816 г. покончила жизнь самоубийством старшая сестра Мери — Фанни Годвин.
- ⁴ . распутная и мстительная женщина. — Элиза Вестбрук.

84. ЛОРДУ БАЙРОНУ

23 апреля 1817

- ¹ ... самый тяжкий удар. — По постановлению Канцлерского суда от 17 марта 1817 г. Шелли был лишен отцовских прав в отношении детей от Харриет — Ианты и Чарлза; Шелли обвинялся в нарушении церковных законов (гражданский брак с Мери Годвин), в безбожии и т. д.
- ² ... против «Королевы Маб». — В связи с делом об опеке над детьми в качестве обвинительного материала против Шелли привлекалась поэма «Королева Маб» как доказательство неблагонадежности и «безбожия».

85. ЛОРДУ БАЙРОНУ

9 июля 1817

- ¹ Роджерс, Сэмюель (1763—1855) — английский поэт, с которым Байрон был в приятельских отношениях.
- ² ... из сцены в Колизее. — Байрон. Манфред (III, 4).
- ³ ... объявлением о продаже Ньюстедда. — Поместье Байрона Ньюстедское аббатство было продано полковнику Уайлдмену за 94500 фунтов стерлингов.
- ⁴ ... рецидив моей постоянной болезни. — т. е. легочной болезни.

86. ЛОРДУ ЭЛДОНУ

20 сентября 1817

- ¹ Элдон, Джон Скотт (1751—1839) — английский реакционный политический деятель, лорд-канцлер (1801—1827). Неизвестно, было ли послано письмо по адресу; если это произошло, то просьба была отклонена.
- ² Мисс Вестбрук — Элиза Вестбрук.

87. ЛОРДУ БАЙРОНУ

24 сентября 1817

- ¹ ... буду Львом при этой маленькой Уне. — Байрон, видимо, просил Шелли позаботиться о доставке Альбы (Аллегры) к нему в Италию. Шелли ссылается на эпизод из поэмы Э. Спенсера «Королева Фей» (книга I, песнь III, строфы 5—9), в котором повествуется, как красота Уны (Истины) приручает могучего Льва, и он сопровождает ее, защищая от опасности.
- ² Я уже писал Вам. — см. письмо от 9 июля 1817 г.
- ³ ... чувства юного Тассо. — Байрон. Жалоба Тассо (VI, 149—173).
- ⁴ «Эдинбургское обозрение» очень хвалит «Манфреда». — Шелли упоминает о статье Ф. Джеффри (август 1817 г.).
- ⁵ ... ждем IV песни. — т. е. IV песни «Паломничества Чайльд Гарольда».
- ⁶ .. Мери родила мне дочь. — Клара Эверина Шелли родилась 2 сентября 1817 г.

⁷ Я написал поэму... — Имеется в виду поэма «Лаон и Цитна, или Революция в Золотом Граде» (1817). См. начало примечаний к предисловию к поэме «Восстание Ислама».

88. МЕРИ ШЕЛЛИ

6 октября 1817

¹ Мэддокс — знакомый Шелли по Марло.

² Смит, Хорейс — см. примеч. 1 к письму 171.

³ ...ее книгу... — Название этого сочинения Клер Клермонт не установлено.

⁴ Лекингтоны, Тейлор, Хесси — лондонские издатели; Лекингтоны, т. е. издательская фирма «Лекингтон и К^о», выпустили роман Мери Шелли «Франкенштейн» (1818), два последних — издатели Китса.

89. ИЗДАТЕЛЮ

13 октября 1817

¹ Издатель — вероятно, фирма «Лонгман и К^о», которая незадолго до этого опубликовала поэму Т. Мура «Лалла Рук» (1817).

90. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

3 декабря 1817

¹ Оллиер, Чарлз (1788—1859) — лондонский издатель, опубликовавший большинство сочинений Шелли; автор нескольких художественных произведений — «Олтам» (1818), «Инезиля» (1821) и др.

² Макмиллан — издатель, напечатавший «Восстание Ислама» (1818).

³ ...напечатания поэмы. — Здесь и далее в письме идет речь о поэме «Лаон и Цитна».

⁴ ...следует объявить... — Ингпен вместо «следует объявить» (*ought to be advertised*) читает «можно было бы объявить» (*might be advertised*). (Примеч. переводчика).

⁵ ...мне довольно безразлично... — Ингпен вместо *tolerably indifferent* (довольно безразлично) читает *totally indifferent* (совершенно безразлично). (Примеч. переводчика).

91. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

7 декабря 1817

¹ Ричардсон — кредитор Годвина.

² ...о Вашем Вильяме — т. е. о Вильяме Годвине-младшем (1802—1832), сыне Годвина от второй жены.

92. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

11 декабря 1817

...издание моей книги... — Здесь и далее идет речь о поэме «Восстание Ислама», изданной Ч. Оллиером в 1818 г.

² Шервуд и Нили — лондонские издатели.

³ ...отличного девиза на Вашей печати... — Это были латинские слова: «*In omnibus libertas*» («Свобода во всем»).

...весьма любезное и ободряющее письмо от мистера Мура... — По-видимому, Лонгман, которому Шелли вначале отослал свою поэму, познакомил с нею Т. Мура, отправив ее ему на отзыв.

93. ТОМАСУ МУРУ

16 декабря 1817

- ¹ *Существующее издание «Лаона и Цитны»*... — Шелли отправил Муру экземпляр поэмы «Лаон и Цитна» с надписью «От автора».
- ² *Маленькая книжка*... — «История шестинедельной поездки» (1817).
- ³ *Письма из Женевы*... — См. начало примеч. к «Истории шестинедельной поездки».
- ⁴ ... *литературный секрет*... — роман Мери Шелли «Франкенштейн».

94. ЛОРДУ БАЙРОНУ

17 декабря 1817

- ... *дать ей свое имя*... — Девочку окрестили в Лондоне 9 марта 1818 г. и назвали Клер Аллегра.
- ² *Мы уже слышали о IV и последней песни*... — IV песнь «Паломничества Чайльд Гарольда» была опубликована 28 апреля 1818 г.; в конце ее Байрон объявил, что поэма не будет продолжена.

95. ЛИ ХАНТУ

22 марта 1818

- ¹ «*Листва*» — том произведений Л. Ханта (1818); в нем было помещено стихотворение «К Перси Шелли».
- ² ... *Марианне и ее сестре*... — т. е. жене Ханта и Элизабет (Бесси) Кент.

96. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

6 апреля 1818

- ¹ *Фюзели*, Генри (1741—1825) — профессор и хранитель Королевской Академии Художеств; настоящее имя этого швейцарского художника — Иоганн Генрих Фюссли, последние 35 лет работал в Англии. Иллюстрировал Шекспира, Мильтона и др.
- ² ... *мисс Миллани* — танцовщица; на одном представлении с ее участием Шелли был вместе с Пикоком.
- ³ «*Отелло*» — балет известного итальянского танцовщика и балетмейстера Сальваторе Вигано (1769—1821) на музыку Россини, представлен впервые в Милане 6 февраля 1818 г.
- ⁴ ... *особенно один*... — Замысел трагедии о Т. Тассо; сохранился неполный план этой трагедии, «Сцена для „Тассо“» (27 строк) и «Песня для „Тассо“» (26 строк). В это время Шелли знакомился с различными материалами о жизни Тассо, например, с книгой Джованни Баттисты Мансо «Жизнь Торквато Тассо» (1619) и др.
- ⁵ ... *несколько листов корректуры*. — Корректурa части поэмы «Розалинда и Елена» (1819), начатой еще в Англии и завершенной в августе 1818 г.

98. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

20 апреля 1818

- ¹ *Плиний Младший* — Кай Плиний Цецилий Секунд (ок. 61 г.—ок. 113 г.), римский писатель и оратор, родился и жил близ озера Комо.
- ² ... *резные верхушки*... — Так у Джонса. Ингпен вместе *sculptured* (резные) читает это слово как *clustered* (тесно сгрудившиеся). (Примеч. переводчика).
- ³ ... «*Фацио*»... «*Бертрам*». — трагедии Г. Х. Милмана (1791—1868) «Фацио» (1815) и Ч. Р. Мэтьюрина (1782—1824) «Бертрам» (1816).
- ⁴ «*Рододафна*» (1818) — поэма Пикока.

100. ЛОРДУ БАЙРОНУ

28 апреля 1818

- ¹ Хант посылает Вам свою. — сборник «Листва» (1818).
² ... нашей маленькой любимицы. — Аллегры Байрон.
³ ... вторую часть «Путешествия в Корею»... — часть сочинения Э. Д. Кларка «Путешествия в различные страны Европы, Азии и Африки» (6 тт., 1810—1823).
⁴ «Беппо» — поэма Байрона «Беппо, венецианская повесть» (1818).
⁵ Элиза — няня-швейцарка, сопровождавшая Аллегру в Венецию.

101. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

5 июня 1818

... две последние части «Путешествий» Кларка... — см. примеч. 3 к письму 100.
 ... я там подписчик. — Отец Томаса Хукема (см. примеч. 1 к письму 57) был владельцем лондонской библиотеки с выдачей книг на дом; Шелли оставался ее абонентом и после отъезда из Англии.

102. ДЖОНУ И МАРИИ ГИСБОРН

10 июля 1818

- Гисборн, Джон (ум. 1836) и Мария (1770—1836) — близкие друзья Шелли в итальянский период его жизни; М. Гисборн была связана многолетним знакомством с семьей Годвинов; помогла Шелли в изучении испанского языка и литературы.
² ... перевожу... дивное красноречие Платонова «Пира»... — Шелли работал над переводом диалога 10—17 июля; он гордился им, однако перевод был опубликован лишь посмертно, в 1840 г.
³ ... собираются к полудню. — Ингпен читает вместо пооп—тооп, «собираются к полудню», а «собираются при луне». (Примеч. переводчика).
⁴ Машинист — дружески шутивное прозвище сына Марии Гисборн от первого брака, инженера Генри Ревли, конструировавшего паровую яхту; Шелли горячо поддерживал это начинание.

103. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

25 июля 1818

- ... шестнадцать футов в длину и десять — в ширину» — перефразировка 33 строки стихотворения Вордсворта «Терн» (1798).
² ... недружелюбные рецензенты из «Куотерли»... — См. примеч. 2 и 3 к письму 113.
³ Их заметка обо мне... См. примеч. 2 к письму 113.
⁴ Я получил письмо... — Годвин в письме к Шелли от 7 июля 1818 г. сообщал о поражении Г. Брума на выборах в Вестморленде.
⁵ Каков гнусный и жалкий негодяй Вордсворт. — В письме от 5 июля 1818 г. Пикок сообщал Шелли о некоторых обстоятельствах избирательной кампании в Вестморленде, где баллотировался Г. Брум; Вордсворт в опубликованном «Обращении к вестморлендским землевладельцам» (1818), агитируя против Брума, заявлял, что не следует выбирать столь малосостоятельного человека, как он, ибо обеспеченность — гарантия политической устойчивости и т. д.
⁶ Симонид Кеосский (ок. 556—467 гг. до н. э.) — выдающийся древнегреческий лирик, жил при дворах многих правителей, в том числе последние годы — при дворе сицилийского тирана Гиерона.
⁷ ... у Бен Джонсона... — Б. Джонсон. Всяк по-своему (III, 1).

104. ВИЛЬЯМУ ГОДВИНУ

25 июля 1818

...предложенного Вами замысла... — В письме от 8 июля 1818 г. Годвин намечал план книги «Жизнеописания республиканцев» и высказывал предположение, что эта тема может заинтересовать Мери как писательницу.

² ...прочла Ариосто... — Речь идет о поэме Ариосто «Неистовый Роланд».

³ ...эссе... — Опубликован Мери в 1840 г. под названием «Опыт о литературе, искусствах и нравах афинян. Фрагмент».

⁴ ...Вы вернулись к полемике с Мальтусом... — Результатом ее был трактат «О народонаселении. Ответ на «Опыт» мистера Мальтуса» (1820).

⁵ ...в том числе Вальтера Скотта в «Блэквудс мэгезин». — Статья в этом журнале была наиболее хвалебна; вполне возможно, что ее написал Скотт. Шелли от имени автора 2 января 1818 г. отправил ему экземпляр романа; известно высокое мнение Скотта о «Франкенштейне».

105. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

16 августа 1818

¹ Камени — в римской мифологии богини, покровительствующие искусству.

² ...небольшую поэму... — «Розалинду и Елену»; см. примеч. 5 к письму 96.

³ Я перевел «Пир»... — см. примеч. 2 к письму 102.

⁴ ...трактат... — «Опыт о литературе, искусствах и нравах афинян».

⁵ ...когда Нимфа является Полиадой — т. е. «городской нимфой».

⁶ Так это или нет, надеюсь, что Вы не оставили Вашу нимфолептическую повесть. — Неосуществленный замысел Пикока, о котором он сообщал Шелли.

⁷ ...место в «Федре»... — Шелли имеет в виду известный эпизод в диалоге Платона «Федр», где Сократ говорит о поэтическом прозрении как о «божественном безумии».

⁸ ...высокими и гордыми словами Тассо... — См. примеч. 50 к «Защите Поэзии».

106. МЕРИ ШЕЛЛИ

16 августа 1818

¹ Веттурино — возница (ит.).

² ...увиделся с Альбе... — т. е. с Байроном; в письмах Шелли Байрон часто фигурирует под этим прозвищем и под прозвищем Албанец.

³ Паоло — см. примеч. 5 к письму 162.

⁴ ...Вилли-мышонок и маленькая Ка... — сын Шелли, Вильям, и его дочь — Клара Эверина.

⁵ Прочел «Благородных родичей»... — Имеется в виду трагикомедия «Два благородных родственника», впервые изданная в 1634 г. как пьеса Дж. Флетчера и В. Шекспира; отчетливо видна двойственность стилиевой манеры.

107. МЕРИ ШЕЛЛИ

23 августа 1818

¹ Миссис Хоппнер — Изабелла Хоппнер, жена Ричарда Белгрейва Хоппнера (1786—1872), британского генерального консула в Венеции.

² ...«полно звездных предзнаменований для дела нашего». — Дж. Мильтон. Потерянный Рай (IX, 325).

³ ...мисс Байрон... — Харриет Байрон, героиня эпистолярного романа С. Ричардсона «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).

⁴ ...Элиза и маленькая Ба. — Речь идет об Аллегре Байрон, жившей в это время в доме Хоппнеров, и ее няньке.

⁵ ...не допустить подобного решения — т. е. решения Канцлерского суда о лишении Шелли прав отцовства; см. примеч. 1 к письму 84.

⁶ ... о его IV песни... — т. е. о IV песни «Паломничества Чайльд Гарольда».

⁷ ... о «Листве»... — см. примеч. 1 к письму 95.

⁸ Паоло — см. примеч. 5 к письму 162.

⁹ ... познакомились с дамой... — с миссис Хоппнер.

108. КЛЕР КЛЕРМОНТ

25 сентября 1818

¹ *Наша малютка стала слабеть...* — Здесь и далее идет речь о болезни и смерти дочери Шелли и Мери, Клары Эверины, которой незадолго до этого исполнился год.

² *Альбе* — см. примеч. 2 к письму 106.

109. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

8 октября 1818

... моего письма к Вам... — См. письмо Шелли к Пикокку от 16 августа 1818 г. ... с посвящением Саути... — Впервые это сатирическое посвящение было опубликовано в издании произведений Байрона лишь в 1833 г.

³ «Освобожденный Прометей» — лирическая драма Шелли «Освобожденный Прометей» (1820)

... у Цицерона... о драме Эсхила... — О драме Эсхила Цицерон говорит в «Тускуланских беседах» (II, 10).

⁵ ... я прочел Мальтуса... — т. е. «Опыт о законе народонаселения» (1798).

⁶ ... прекрасные строфы о нимфе Эгерии? — Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда (IV, 115—119).

110. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

6 ноября 1818

¹ *Пасифея* — в греческой мифологии одна из богинь плодородия.

² ... подобно описанному в «Георгиках»... — См. Вергилий. Георгики (I, 258—271).

³ *Ариосто, Тассо, Гварини.* — В этом письме Шелли останавливается на трех выдающихся поэтах Возрождения, живших в Ферраре при дворе герцогов д'Эсте. *Ариосто*, Лодовико (1474—1533), автор поэмы в октавах «Неистовый Роланд» (1532); *Тассо*, Торквато (1544—1595), крупнейший эпический поэт итальянского Возрождения, автор «Освобожденного Иерусалима» (1575), в 1579 г. был заключен в качестве душевнобольного на семь лет в госпиталь Св. Анны; *Гварини*, Джованни Баттиста (1538—1612), автор драматической пасторали «Верный пастух» (1590).

111. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

9 ноября 1818

¹ *Гвидо*, Рени (1575—1642) — итальянский художник, многие из полотен которого созданы в Болонье и хранятся в музее этого города; Шелли называет ряд знаменитых его произведений. *Корреджо*, Антонио Аллегри да (1494—1534); *Франческини*, Маркантонио (1648—1729); *Рафаэль Санти* (1483—1520); Шелли упоминает один из шедевров Рафаэля — «Св. Цецилию»; *Доменикино* (т. е. Доменико Дзампьерри, 1581—1641); *Альбано*, Франческо (1578—1660); *Гверчино* (т. е. Джованни Франческо Барбиери, 1590—1666); *Сарранни* Элизабетта (1638—1665).

² ... «к новым пастбищам спешим». — Дж. Мильтон. Лисидас, 193.

³ *Зевксис*, *Апеллес* — древнегреческие художники.

⁴ *Прошу держать их на Вашем столе отдельно от «Коббетов». Пусть лучше воюют с ними в Вашем сознании.* — Шелли здесь, с одной стороны, имеет в виду специальную философско-эстетическую проблематику своих писем об искусстве и, с другой,

острозлободневный характер материалов, которые публиковались в еженедельнике В. Коббета «Политический указатель» и были рассчитаны на широкий круг читателей.

112. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

20 ноября 1818

- ¹ *Антонин Пий* (Благочестивый) (86—161) — римский император (138—161).
² ... *разбит Газдрубал*; ... *у Ливия*. — Карфагенский полководец Газдрубал, пришедший из Испании на помощь своему брату Ганнибалу, был разбит римскими консулами Ливием Салинатором и Клавдием Нероном в Умбрии, на реке Метавр в 207 г. до н. э. *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — крупнейший историк древнего мира; упомянутое Шелли место находится в его «Истории Рима» (XXVII, 47—49).
³ *Велизарий*, *Нарсес* — полководцы восточноримского императора Юстиниана I (527—565), совершавшие походы в Италию против готов.

113. ЛИ ХАНТУ

20 декабря 1818

- вышла ли Ваша книга*. . . — В письме от 12 ноября 1818 г. Хант сообщил о задуманном им издании — литературном календаре-ежегоднике «Литературная записная книжка, или Спутник любителя искусства и природы»; он писал, что в раздел «Оригинальная поэзия» включил стихотворение Шелли «Сон Марианны», написанное еще в Англии в 1817 г. и посвященное Марианне Хант; оно было опубликовано в «Спутнике» за 1819 г.
² *В Венеции я видел «Куотерли»*. . . — Здесь и далее Шелли останавливается на второй книжке «Куотерли ревью» за 1818 г., где рецензировался роман Мери Шелли «Франкенштейн», сборник Ханта «Листва»; безымянный критик делал резкие выпады против Шелли, обвиняя его в непочтительности к «нашим гражданским и религиозным институтам» и т. п.
³ *Саути, а не Гиффорд*. — Хант в письме к Шелли от 12 ноября 1818 г. предполагал, что именно В. Гиффорд, редактор «Куотерли ревью», был автором критического отзыва о «Листве».
⁴ ... *мисс Кент* — см. примеч. 2 к письму 95.

114. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

25 февраля 1819

- ... *мучить собаку*. — «Собачья пещера» на побережье озера Аньяно примечательна выделяющимися в ней ядовитыми газами; желающие могли купить собаку и проверить на ней их действие.
² «*Тит Андроник*» (1594) — трагедия Шекспира.
³ *Тициан* (1477—1576) — выдающийся художник итальянского Возрождения.
⁴ *Каррачи*, *Аннибале* (1560—1609) — итальянский художник.

115. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

6 апреля 1819

- ¹ ... *исход Вашего дела с Индия-хаус*. . . — Пикок был кандидатом на должность чиновника в Ост-индской компании, которую в дальнейшем и занял; Индия-хаус — здание, где находились ее учреждения.
² *Прибыл австрийский император*. . . — Имеется в виду император Франц I (1792—1835).
³ *Мария-Луиза* — см. примеч. 5 к «Истории шестинедельной поездки» («Дневник»).

- ... знаменитое *Miserere*... — «*Miserere*» — начало покаянного 51 псалма («Помилуй мя, боже»), положенного на музыку многими композиторами, ежегодно исполняется в Сикстинской капелле в Риме. Шелли имеет в виду «*Miserere*» Грегорио Аллегри (1590—1652).
- ⁵ *Результаты выборов*... — Джон Кэм Хобхауз (1786—1869), английский литератор, друг Байрона, участвовал в выборах в парламент от Вестминстера как радикал и проиграл избирательную борьбу; Джон Лэм — соперник Хобхауза. Шелли, радея о консолидации радикальных сил, не прав, однако, в своем упреке Коббету, именно в 1810—1820 гг. выражавшего наиболее демократические тенденции в политической жизни Англии.
- ⁶ *Октавия* — дочь Дж. Ф. Ньютона; см. примеч. 7 к письму 64.
- ⁷ *Мой «Освобожденный Прометей» закончен*... — Шелли к этому времени завершил три акта, предполагая на этом закончить произведение.
- ⁸ *Роллс, Медокс* — кредиторы Шелли.

116. ЛИ ХАНТУ

29 мая 1819

... это последнее свое произведение. — Трагедия «Ченчи» была отпечатана Шелли в небольшом количестве экземпляров в Ливорно в 1819 г., а затем отправлена в Англию и здесь издана Оллиером в 1820 г.

118. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

20 июня 1819

- ¹ *Сайтропа я считаю отлично задуманным и изображенным*... — см. примеч. 1 к письму 74.
- ² «*Бога ради, говори как житель здешнего мира*» — В. Шекспир. Генрих IV, (II, V, 3). Перевод Вл. Морица.
- ³ *Один из томов Беркбека*... — Осенью 1818 г. Пикок прислал Шелли из Англии две книги М. Беркбека — «Заметки о путешествии по Америке» и «Письма из Иллинойса», изданные в том же году.

119. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

1819

- ¹ ... известие о Вашем успехе... — Речь идет об успехах Пикока по службе.
- ² *Я сочинил трагедию*... — «Ченчи».
- ³ ... перевод итальянской рукописи... — Перевод этой рукописи-хроники, раскрывающей историю семьи Ченчи, должен был, по замыслу Шелли, быть опубликован одновременно с трагедией; был издан лишь в 1839 г. Мери Шелли. Рукопись излагала драматические перипетии жизни главы знатной римской семьи, графа Франческо Ченчи, который, платаясь за тиранство и чудовищную развращенность, был убит в 1598 г. в фамильном замке Рокка Петрелла при прямом участии жены и своей дочери, Беатриче. Обстоятельства этой истории послужили основой для целого ряда литературных произведений и полотен живописцев.
- ... главного обстоятельства... — Шелли намекает на насилие, которое совершил Франческо Ченчи над собственной дочерью.
- ⁵ «*Раскаяние*» — драма Кольриджа, была поставлена в Дрюри-Лейнском театре в начале 1813 г.
- ⁶ *О'Нийл, Элиза* (1791—1872) — выдающаяся английская трагическая актриса. В 1815 г. Шелли видел ее в роли Бьянки в пьесе Милмана «*Фацио*».
- ⁷ *Кин, Эдмунд* (1787—1833) — выдающийся английский трагик романтического направления, особенно прославившийся в шекспировских ролях; Шелли видел его в роли Гамлета в 1814 г.

- ⁸ Так как это невозможно...—В 1819 г. Кин собирался на гастроли в Америку. Из-за контракта с Друри-Лейнским театром его поездка была отложена и состоялась в 1820—1821 гг.
- ⁹ ...театр ее отвергнет...—Трагедия «Ченчи» не была поставлена при жизни Шелли; отказ Ковент-Гарденского театра лицемерно мотивировался тем, что пьеса, будто бы, оскорбляет нравственное чувство. Впервые трагедия была представлена 7 мая 1886 г. в закрытом спектакле лондонского «Общества Шелли».
- ¹⁰ ...копия ее портрета...—В течение всего XIX в. портрет Беатриче Ченчи приписывался Гвидо Рени; авторство последнего оспаривается.
- ¹¹ «Прометей» хотя и готов. .—См. примеч. 7 к письму 115.

120. ЛИ ХАНТУ

15 августа 1819

- ...скоро я закончу еще одно произведение.—Имеется в виду окончательная отделка «Ченчи».
- ² «Мой друг, пребудь в неведенье, чтоб сразу возликовать»...—В. Шекспир. Макбет (III, 2).
- ³ ...небольшую поэму...—Поэма «Юлиан и Мадалло» опубликована Мери Шелли в «Посмертных произведениях» (1824), в ней представлены образы Шелли (Юлиан) и Байрона (Мадалло).
- ⁴ ...о моей эклоге...—Имеется в виду поэма «Розалинда и Елена, современная эклога», которую очень высоко ценил Л. Хант (см., в частности, его благосклонный разбор этой поэмы в «Экзаминере» 9 мая 1819 г.).
- ⁵ ...все еще страшно подавлена.—Шелли имеет в виду душевное состояние Мери в связи со смертью дочери и сына.
- ⁶ Как называется Ваша трагедия?...—Неизвестная трагедия Ханта, которая, очевидно, никогда не была опубликована. О ней он сообщал Шелли в одном письме в июле 1819 г.

121. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

24 августа 1819

- ...нечто от Слокенберга.—Шелли имеет в виду юмористический трактат о носе в IV книге романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767).
- ...ежемесячный симпозиум...—Имеются в виду регулярные дружеские встречи в доме Пикока.
- ³ Кальдерон де ла Барка, Педро (1600—1681)—крупнейший испанский драматург.

122. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

6 сентября 1819

- ¹ ...статью из «Куотерли»...—т. е. рецензию на «Восстание Ислама»; см. примеч. 1 к письму 125.
- ² ...еще одно сочинение...—трагедия «Ченчи»; см. примеч. 1 к письму 116.
- ³ ...прежние условия Лекингтонов...—Шелли имеет в виду невыгодные для Мери условия издания ее романа «Франкенштейн» в издательстве «Лекингтон и К^о» в 1818 г.
- ⁴ ...свою книгу...—Второй роман Мери Шелли—«Вальперга, или Жизнь и приключения Каструччо, князя Лукки», опубликованный лишь в 1823 г. в издательстве Дж. и В. Уиттгейкер. Оллиер отклонил предложение издать книгу.
- ⁵ ...Ваш «Олгам», поэму Китса и сочинения Лэма.—Шелли имеет в виду повесть Ч. Оллиера (1818), поэму Дж. Китса «Эндимион» (1818) и два тома сочинений Ч. Лэма, изданных Оллиером (1818).
- ⁶ «Инзилья»—см. примеч. 1 к письму 90.

- ⁷ ... о событиях в Манчестере... — Известное событие в политической жизни Англии тех лет, вошедшее в историю под названием «Манчестерской резни», происшедшее 16 августа 1819 г.; правительство разогнало митинг в Питерфилде, близ Манчестера, на который собралось несколько десятков тысяч участников. В столкновении с солдатами многие были ранены и убиты.
- ⁸ «Нет, нужно что-то сделать; || что — не знаю...» — П. Б. Шелли. Ченчи (III, 1). Перевод Л. Шифферса.
- ⁹ Джонс — известный английский знаток древности Вильям Джонс (1746—1794).

123. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

9 сентября 1819

- ¹ *Посылаю Вам трагедию...* — «Ченчи».
- ² «Эдип» — трагедия Софокла «Царь Эдип».

124. ЛИ ХАНТУ

27 сентября 1819

- ... оставив позади чуму... все удовольствия боккаччевых рассказчиков... — Здесь и далее Шелли имеет в виду «Декамерон» Дж. Боккаччо; он напоминает о своеобразной сюжетной ситуации в этом произведении: во время эпидемии чумы во Флоренции в 1348 г. из города на лоно природы, в уединенное поместье, удаляются десять молодых людей, которые, бросив вызов несчастью, проводят время в танцах, остроумных беседах, рассказывая поочередно веселые и поучительные истории.
- ² «Уста от поцелуя не умалются, а как месяц обновляются». — Дж. Боккаччо, Декамерон. День второй, новелла 7-я. Перевод А. Н. Веселовского.
- ³ Ллойд, Чарлз (1775—1839) — один из ранних поэтов «озерной школы», особенно близкий Кольриджу и Лэму; Ллойд высоко ценил поэзию Шелли.
- ⁴ Беркли, Джордж (1687—1753) — английский философ, субъективный идеалист, епископ, автор ряда книг, среди которых «Опыт новой теории зрения» (1709), «Трактат о принципах человеческого познания» (1810) и др.
- ⁵ Лэм, Чарлз (1775—1834) — английский писатель-романтик.

125. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

15 октября 1819

- Потешные рассуждения «Куотерли» и великодушное заступничество Ханта... — Л. Хант в «Экзаминере» за 26 сентября и 3 октября 1819 г. дал решительный отпор нападкам на Шелли, с которыми выступило «Куотерли ревью» (рецензия о «Восстании Ислама» в апрельском номере за тот же год).
- ² ... 250 экземпляров сочинения... — т. е. трагедии «Ченчи»; см. примеч. 1 к письму 116.
- ³ Рецензию... написал Саути... — Шелли ошибался: рецензия на поэму «Восстание Ислама» была написана Джоном Тейлором Кольриджем (1790—1876), однокашником Шелли по Итону.
- ⁴ ... посвятил этому превосходному человеку произведение... — Шелли имеет в виду посвящение Л. Ханту своей трагедии «Ченчи».

126. РЕДАКТОРУ «ЭКЗАМИНЕРА» [ЛИ ХАНТУ]

3 ноября 1819

- ¹ Карлайл, Ричард (1790—1843) — один из самых активных участников радикального движения в Англии, издатель и публицист, неоднократно подвергался судебным преследованиям и арестам. 12 октября 1819 г. он был привлечен к суду по обвинению в оскорблении христианства, как «деист», за напечатание «богохуль-

- ных» произведений, в частности — «Века Разума» Т. Пейна, и присужден к штрафу в полторы тысячи фунтов и трем годам тюремного заключения.
- ² «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой» — Евангелие от Матфея, VII, 12; Евангелие от Луки, VI, 31.
- ³ Унитарянство — эд.: протестантизм.
- ⁴ Вахавей — ваххабит, член мусульманской секты, образованной в XVIII в. в Аравии.
- ⁵ Тупинамбо — группа индейских племен в Южной Америке.
- ⁶ Унитариянец — отрицающий святую троицу.
- ⁷ Ромилли, Сэмюэль (1757—1818) — английский парламентарий, известный юрист, сторонник парламентской реформы.
- ⁸ Смит, Джонс, Белшем — известные английские парламентарии.
- ⁹ Квакер — член религиозной секты, основанной в Англии в XVII в.; ее устав, в частности, отрицает судебную присягу.
- ¹⁰ Суд королевской скамьи — см. примеч. 1 к письму 73.
- ¹¹ «Энкуайрер» — книга очерков В. Годвина «Энкуайрер. Размышления о воспитании, нравах и литературе» (1797).
- ¹² Бердон, Вильям (1764—1818) — английский писатель, автор книги «Материал для размышлений» (1803, 1812).
- ¹³ Бентам, Иеремия (1748—1832) — английский экономист и юрист, основоположник теории «утилитаризма» в этике.
- ¹⁴ Оуэн, Роберт (1771—1858) — великий социалист-утопист, живший в 1800—1829 гг. в Нью-Ланарке (Шотландия).
- ¹⁵ Линней, Карл (1707—1778) — выдающийся шведский ученый-натуралист.
- ¹⁶ ... красноречия Сократа в его Апологици, как ее приводит Платон. — Имеется в виду защитительная речь Сократа перед афинским судом, о которой пишет Платон в диалоге «Апология Сократа».
- ¹⁷ Ньюгейт — уголовная тюрьма в Лондоне.
- ¹⁸ Бэгарст, Генри (1744—1837), епископ Норичский (1805), отличался либеральными взглядами.
- ¹⁹ Ривингтон, Чарлз (1754—1831) — потомственный английский издатель.
- ²⁰ ... статью против Сократа... — В «Куотерли ревью» (апрель 1819 г.) была помещена рецензия на перевод сочинений Ф. Шлегеля (1818), где автор ее, осуждая Сократа, утверждал, что Аристофан был прав, высмеяв его в «Облаках».
- ²¹ Часть «Наблюдателя» Кемберленда... — Имеется в виду драма Ричарда Кемберленда (1732—1811) «Наблюдатель» (1785).
- ²² ... как было сделано для мистера Хона... — В. Хон, издатель и публицист, друг Р. Карлайла, в 1817 г. был предан суду по обвинению в богохульстве и оскорблении правительства, но под давлением демократической общественности был оправдан; Шелли участвовал в подписке в пользу Хона.
- ²³ ... Вас, которого лучшие люди страны посещали в тюрьме... — Шелли вспоминает о заключении Л. Ханта в 1813—1814 гг. (см. примеч. 3 к письму 58).
- ²⁴ ... чудовищным преступлениям в Манчестере... — см. примеч. 7 к письму 122.

127. ДЖОНУ И МАРИИ ГИСБОРН

6 ноября 1819

- ¹ ... письмо... о деле Карлайла... — см. примеч. 1 к письму 126.
- ² ... кредитора английского правительства... — Шелли в это время рекомендовал Дж. Гисборну изъять свой вклад из Английского Банка.
- ³ Генри — Генри Ревли; см. примеч. 4 к письму 102.
- ⁴ Лорда Фицвильяма лишили должности губернатора. — Фицвильям, Вильям Вентворт (1748—1833), государственный деятель, был освобожден от административной должности в Йоркшире за то, что он осудил резню под Манчестером в августе 1819 г.

⁵ *Феокрит* (III в. до н. э.) — поэт эллинистического периода, мастер буколической поэзии.

⁶ Я покинул благоуханные сады изящной словесности и пустился в путь по песчаной пустыне политики... — Ингпен (т. X, стр. 121) и Джонс (т. II, стр. 150) считают, что это первый намек Шелли на его неоконченный трактат «Философский взгляд на реформу», который был написан между ноябрем 1819 г. и маем 1820 г.; впервые опубликован в 1920 г.

128. ЛИ ХАНТУ

13 ноября 1819

¹ *Вчера утром Мери родила мне сына.* — Перси Флоренса Шелли (1819—1889).

² ...серьезного и доброго лица, которое сейчас висит напротив кровати Мери. — Шелли говорит о портрете Ли Ханта, выполненном Уайлденом.

³ ...прошедшие пять месяцев были для нас ужасными. — За это время умерли дочь и сын Шелли и Мери.

129. ГЕНРИ РЕВЛИ

17 ноября 1819

Ваше письмо было для меня крайне интересным. — В своем письме от 10—13 ноября 1819 г. Г. Ревли сообщал Шелли о ходе работы над завершением строительства паровой яхты.

² *Мелория* — остров в Лигурийском море близ Ливорно.

³ *Чарлз* (Клермонт) — брат Клер Клермонт.

130. ТОМАСУ МЕДВИНУ

17 января 1820

...по ливорнскому адресу... — постоянный адрес Шелли в Италии; Гисборны всегда были информированы о его местопребывании и переездах.

² ...озеро... — Женевское озеро. Т. Медвин в это время жил в Швейцарии.

131. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

6 марта 1820

...в эдзешний «*Рай Изгнанников*» — т. е. в Италию; Шелли цитирует строку 57 из «Юлиана и Маддало». Эту цитату в скрытом виде находим и в предыдущем письме к Т. Медвину.

132. ЛИ ХАНТУ

5 апреля 1820

...срок считаю за мое и Ваше фортепиано. — Речь идет о фортепиано, купленном в рассрочку на три года у Джозефа Киркмана еще во время пребывания Шелли в Англии, в Марло (1817), при участии В. Новелло.

² ...ирландской дамы и ее мужа... — Имеются в виду леди Маунткэшел и Джордж Тай, которые, состоя в гражданском браке, жили в Пизе под фамилией Мейсон. Миссис Мейсон была близкой знакомой Мери Шелли.

³ ...ради славных дел, какие там сейчас вершатся. — 1 января 1820 г. в Испании началась революция. Эти события вдохновили Шелли на создание «Оды к Свободе» (1820).

⁴ ...Вашу трагедию. — См. примеч. 6 к письму 120.

⁵ ...Ваше мнение о моей. — Т. е. о трагедии «Ченчи».

⁶ *Театр отверг пьесу в самых дерзких выражениях.* — Коvent-Гарденский театр, куда по просьбе Шелли обратился Пикок, решительно отказался принять к постановке

- «Ченчи», мотивируя это крайней ущербностью трагедии с нравственной точки зрения; отказ был изложен в категорических тонах.
- ⁷ «Робин Гуд» — поэма Л. Ханта, опубликованная позднее в «Спутнике любителя искусства и природы», в 1821 г.
- ⁸ ... о получении «Питера Белла». — «Питер Белл Третий» был опубликован Мери во втором ее издании поэтических произведений Шелли в 1839 г. Заглавие объясняется следующими обстоятельствами. Первой появилась поэма Дж. Г. Рейнольдса — «Питер Белл», пародия на анонсированную одноименную поэму Вордсворта. Шелли позабавило это, и он включился в эту полемику своим «Питером Беллом». Поэма была окончена в октябре 1819 г. и в начале ноября отослана Л. Ханту.
- ⁹ Далее следует [«Этюд о законодательстве»] Торнтона... — Здесь Шелли шутит: рассуждения десятилетнего сына Л. Ханта, Торнтона, он сопоставляет с рассуждениями прославленных буржуазных авторитетов в области экономики и права — И. Бентама и Ч. Беккариа.
- ¹⁰ ... письмо о Карлайле... — См. примеч. 1 к письму 126.

133. ТОМАСУ МЕДВИНУ

16 апреля 1820

- ... книга, упоминаемая в Вашем письме. — Вероятно, книга Медвина «Освальд Эдвин. Восточный очерк» (1820).
- ² ... подобна «Пиндареям»... — Как видно из письма, Шелли знакомится с рукописью поэмы на восточную тему «Пиндарей» Т. Медвина, которая будет опубликована Оллером в 1821 г.
- ³ Я готовлюсь издать кое-что... — Подразумевается книга «Освобожденный Прометей» и другие стихотворения» (1820).
- ⁴ Питер Пиндар — псевдоним поэта-сатирика Джона Уолкота (1738—1819); произведения снискали большую популярность у современных читателей.
- ⁵ ... с очаровательной дамой и Вашим другом... — Шелли имеет в виду Джейн Вильямс и ее мужа, Эдварда Э. Вильямса (см. примеч. 1 к письму 190); они жили в Женеве в одном доме с Медвином.
- ⁶ Фатом — «морская сажень», 6 футов.

134. ТОМАСУ ДЖЕФФЕРСОНУ ХОГГУ

20 апреля 1820

- ¹ Пикок на своей индийской должности... — См. примеч. 1 к письму 115.
- ² ... христианской максимы... — Далее идет изречение из Евангелия Матфея (V, 37).
- ³ ... ужасных событий... — болезнь и смерть Клары и Вильяма, детей Шелли и Мери.
- ⁴ ... с весьма интересной женщиной. — леди Маунткэшел (миссис Мейсон); см. примеч. 2 к письму 132.
- ⁵ ... сессия начинается в середине ноября... — В 1817 Хогг стал адвокатом и участвовал в выездных сессиях суда присяжных.
- ⁶ ... навещать лотоса, подобно мореходам Одиссея... — В своих скитаниях Одиссей и его спутники посещают страну лотофагов; отдававший чудесного лотоса остается в ней навсегда, забыв свое прошлое. (Гомер. Одиссея, IX, 82—104).

135. ЛИ ХАНТУ

1 мая 1820

... похвалы моей книге. — Хант в письме к Шелли от 6 апреля 1820 г. чрезвычайно высоко оценивал «Ченчи».

- «целого театра прочих». — В. Шекспир. Гамлет (III, 2). Перевод М. Лозинского.
- ³ ... маленький том песен для народа. — В это время Шелли замышляет издание сборника своих политических стихотворений, обращенных к широким кругам английского народа. Мери Шелли указывала, что некоторые из них были написаны; среди них — «Англия в 1819 году», «Мужам Англии» и др. Однако осуществить выпуск подобного сборника по разным причинам не удалось.
- ⁴ ... парижскую газету на английском языке... — Шелли имеет в виду «Вестник Галиньяни», издававшийся в Париже Джованни Галиньяни.
- ⁵ ... моя трагедия. — «Ченчи».

136. ЛОРДУ БАЙРОНУ

26 мая 1820

- ¹ Я прочел Вашего «Дон Жуана». — Песни I—II, опубликованные Дж. Мерреем 15 июля 1819 г.
- ² Как ужасна буря на море, а оба отца — как правдивы, и в то же время какой контраст! — Шелли имеет в виду два отрывка из II песни: строфы 26—68 и 87—90.
- ³ Любовное письмо со всеми подробностями. — Имеется в виду эпизод из I песни «Дон Жуана» (строфы 192—197).

137. РОБЕРТУ САУТИ

26 июня 1820

- ¹ ... автором рецензии на «Восстание Ислама»... — См. примеч. 3 к письму 125.
- ² Наше кратковременное личное знакомство. — Шелли вспоминает о встрече с Саути в Кесвике осенью 1811 г.
- ³ ... Вы отсклились от дела, воспетого в Ваших ранних творениях. — См. об этом примеч. 3 к письму 36.
- ⁴ ... я уверен, что получу ответ. — Сохранилось ответное письмо Саути к Шелли от июля 1820 г. (см. Джонс, т. II, стр. 205), где Саути отрицает свое авторство.

138. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

12 июля 1820

- ¹ Обер — вероятно, общий знакомый Шелли и Пиккока.
- ² «Есть два голоса, — говорит Вордсворт, — один — с гор, другой — с моря, и оба они могучи». — В. Вордсворт. Мысли британца о покорении Швейцарии (1—2).
- ³ ... одна с гор... — В марте 1820 г. Пикок женился на Джейн Гриффид из Корна-воншира.
- ⁴ ... другая — морская, — Индия-хаус... — Намек на чиновничьи обязанности Пиккока; см. примеч. 1 к письму 115.
- ⁵ ... как... с романом? — Ингпен считает, что речь идет о повести Пиккока «Maid Marian», которая была опубликована позднее, в 1822 г. (X, стр. 186); Джонс, со своей стороны, полагает, что слово «готатсе» следует читать как «геуепие» (годовой доход).
- ⁶ По-видимому, близится безболезненная кончина Коббета, и я думаю, что по случаю апофеоза национального долга у вас состоятся весьма шумные празднества. — Шелли намекает на возможность «гражданской смерти» В. Коббета (1762—1835) в это время как издателя радикального еженедельника «Политический указатель»; этот выдающийся политический деятель и публицист вынужден был вести многолетнюю неравную борьбу с цензурой и властями. Опасения не оправдались, «Политический указатель» выходил до 1835 г.
- ⁷ ... возвели в героини дня ее величество королеву. — Здесь Шелли иронически касается нелепой скандальной истории, происшедшей при английском дворе. Принц-регент, вступив на престол летом 1820 г., потребовал лишить свою бывшую жену, Каролину, с которой он разошелся еще в 1796 г., номинальных прав королевы; он

- лицемерно мотивировал свое решение весьма фривольными похождениями Каролины. Последняя апеллировала к парламенту, был начат судебный процесс, в результате которого ей был оставлен ее титул. Эти события, обнажившие крайнюю степень падения придворных нравов, явившиеся поводом для спекуляций политических партий и т. п., послужили для Шелли толчком при создании сатирической драмы «Эдип Тиран» (август 1820 г.).
- ⁸ *Парижская газета*. . . — «Вестник Галиньяни».
- ⁹ . . . пастораль Лонга. . . — Роман Лонга (II—III вв. н. э.) «Дафнис и Хлоя».
- ¹⁰ . . . гомеровский «Гимн Меркурию». — Перевод «Гимна» был завершён 14 июля 1820 г.; опубликован в 1824 г. в «Посмертных произведениях» Шелли.
- Бек и Инглиш* — кредиторы, с которыми Шелли был связан в пору его жизни в Марло, в 1817 г.
- ¹² *Посылаю ещё два стихотворения*. . . — Одно из этих стихотворений — «Ода к Свободе»; отмеченные Шелли 15 и 16 строфы содержат резкие выпады относительно королевской власти и церкви. «Ода к Свободе» опубликована вместе с «Освобожденным Прометеем» (1820).
- ¹³ *Шревелиев «Лексикон»*. — Имеется в виду книга: Schrevelius, Cornelius. Lexicon Manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum (1663); существовали издания 1817 и 1818 гг.
- ¹⁴ «*Ответ Мальтусу*» Годвина. . . — см. примеч. 4 к письму 104.
- ¹⁵ . . . 2-го издания «Ченчи». . . — Издание было осуществлено Ч. Оллиером в 1821 г.

139. ДЖОНУ КИТСУ

27 июля 1820

- Китс, Джон (1795—1821)*. — Письмо весьма точно передает чувства симпатии и заинтересованности, которые всегда питал Шелли к Китсу; Шелли внимательно следил за его поэзией, высоко ценил многие места «Эндимиона» и был в восхищении от «Гипернона». Он написал на смерть Китса элегию «Адонаис».
- ² . . . «до доброго далеко, но с великим может спорить». — Заключительная строка оды Т. Грея «Шестие поэзии» (1759).

140. МЕРИ ШЕЛЛИ

30 июля 1820

- ¹ *Тэтти* — мистер Мейсон, из дома которого пишет Шелли.
- ² *Из Палермо пришли дурные вести*. . . — Здесь и далее идет речь об известном карбонарском восстании в Неаполе, которое началось в июле 1820 г. и которому Шелли горячо сочувствовал.
- ³ . . . как и Неаполь. — Речь идет о победе восстания карбонариев в Неаполе.
- ⁴ . . . доставить денежный перевод. . . — Перевод Чарлзу Клермонту, который был в Вене.
- ⁵ . . . и кое-что другое. . . — Намек Шелли на возможную смерть его отца, Тимоти Шелли, и получение наследства.

141. РОБЕРТУ САУТИ

17 августа 1820

- ¹ . . . *Вашего письма*. — В письме к Шелли (июль 1820 г.) Саути энергично отклонял обвинение в том, что именно он был автором рецензии на «Восстание Ислама» в «Куотерли ревью».
- ² . . . у Меррея. . . — Джон Меррей (1778—1843) был издателем «Куотерли ревью».
- ³ . . . «да не судимы будете». — Евангелие от Матфея (VII, 1).
- ⁴ . . . бросить первый камень в женщину виновную в прелюбодеянии! — Шелли перифразирует изречение из Евангелия от Иоанна (VIII, 7).

...Вы берете одну страницу... — т. е. историю разрыва Шелли с Харриет Вестбрук.

⁶ ...последствия, на которые Вы намекаете... — т. е. самоубийство Харриет.

⁷ ...«в делах людей прилив есть и отлив» — В. Шекспир. Юлий Цезарь (IV, 3). Перевод М. Зенкевича.

⁸ ...убеждениях, которые некогда разделяли и Вы. — Намек на революционные симпатии Саути в молодости.

⁹ Я-то надеюсь, что дыплята не вернутся на насест! — Имеется в виду эпиграф к поэме Саути «Проклятие Кехамы» (1810), в котором были слова: «Проклятья подобны дыплятам: они всегда возвращаются на насест».

142. МЕРИ ШЕЛЛИ

1 сентября 1820

¹ Дель Россо — ливорнский адвокат, знакомый Шелли.

² Джексон — вероятно, один из знакомых Шелли в Ливорно.

³ ...в Париже большое восстание... — Здесь явное преувеличение; в Париже в это время происходили массовые волнения.

⁴ Что станет с Гисборнами... — Гисборны в это время возвращались в Италию после поездки в Англию.

143. ЛОРДУ БАЙРОНУ

17 сентября 1820

¹ Галиньяни сообщает... — т. е. «Вестник Галиньяни»; на самом деле Байрон находился в Равенне.

² ...самое могучее в мире собрание... — ироническое определение английского парламента.

³ Если бы я поехал в Левант и Грецию... — Шелли в очередной раз овладевает намерением отправиться на Восток, что и отражено в ряде писем этого периода (См., например, письмо 145).

144. МАРИАННЕ ХАНТ

29 октября 1820

...по «Индикаторам» и «Экзаминерам»... — названия еженедельников Ли Ханта («Указатель» и «Исследователь»).

² ...новую книгу Китса... — Сборник «Ламия, Изабелла, Канун св. Агнесы, и другие стихотворения» (1820).

³ ...остальные вещи в этом томе... — Шелли имеет в виду раздел «Драматические сцены» Барри Корнуолла (псевдоним Брайана Уоллера Проктера, 1787—1874), в который входит и «Гигес». Проктер, восхищавшийся творчеством Шелли, подарил ему «Драматические сцены» (1819).

⁴ Он только прикидывается распутником... — подразумевается Проктер.

⁵ ...капитан Медвин — Томас Медвин.

145. КЛЕР КЛЕРМОНТ

29 октября 1820

¹ Гантини — итальянские друзья Шелли, часто бывавшие в его доме во Флоренции, Пизе, Ливорно.

² Друзья Медвина... — Вильямсы; см. примеч. 1 к письму 190.

³ ...посетить Грецию, Сирию и Египет... — См. примеч. 3 к письму 143; ния ловека очень богатою не установлено.

⁴ Гисборны в деле с паровой яхтой поступают как нельзя хуже. — Здесь и далее в письме заметны следы охлаждения, наступившего в эту пору во взаимоотноше-

ниях между Шелли и супругами Гисборнами и отразившегося в перипетиях постройки яхты (см. примеч. 4 к письму 102 и примеч. 1 к письму 129).

⁵ *Доктор Бойти* — флорентийский профессор, в доме которого одно время жила Клер.

⁶ *Молини* — книгопродавец и владелец библиотеки во Флоренции.

146. ВИЛЬЯМУ ГИФФОРДУ, РЕДАКТОРУ «КУОТЕРЛИ РЕВЬЮ»

ноябрь 1820

¹ ... *кветвической статьи*... — См. примеч. 1 к письму 125.

² *«Я утвердился там, куда он не взлетит»*. — Шелли перефразирует стих из «Потерянного Рая» (IV, 829) Дж. Мильтона.

³ *Иное дело... автор «Эндимиона»*... — Здесь и далее Шелли напоминает статью Дж. Уилсона Крокера об «Эндимионе» Китса, помещенную в «Куотерли ревью» (апрель 1818 г.); она произвела на Китса удручающее впечатление, что повлияло на его слабое здоровье.

⁴ *Он скоро придет ко мне в Италию*... — Китс уже прибыл в Италию (17 сентября 1820 г.).

⁵ ... *вторую его книгу*... — См. примеч. 2 к письму 144.

⁶ ... *было для Вас оскорбительным*. — На письме сохранилась пометка Мери Шелли: «Это письмо, мне кажется, не было отправлено».

147. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

8 ноября 1820

... с *Вашим трактатом*... — Имеется в виду «Четыре Века Поэзии» (1820) Пикока; см. вступление к примечаниям к «Защите Поэзии».

... *Вы царите над Хаосом бюллетеней и отчетов, в склепе, где оцепенела в глубокой спячке куколка многоцветной Психеи*. — Шелли, ценя художественное дарование Пикока, иронизирует над сухой чиновничьей деятельностью, оторвавшей его от творчества, и надеется на возвращение к поэзии; *Психея* — у древних греков олицетворение человеческой души, чаще всего изображалась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки.

³ ... *школьный товарищ*... — Томас Медвин.

⁴ *Мери пишет роман*... — Речь идет о романе «Вальперга, или Жизнь и приключения Каструччо, князя Лукки» (1823).

⁵ ... *надо отдать фортепиано*... — См. примеч. 1 к письму 132.

148. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

10 ноября 1820

¹ *Прилагаю несколько стихотворений, которые надо добавить к «Юлиану и Мадалло»*. — Несмотря на неоднократные настоятельные просьбы Шелли, Оллиер так и не предпринял издание «Юлиана и Мадалло», оно было осуществлено Мери Шелли в «Посмертных произведениях» Шелли; среди стихотворных произведений, которые Шелли просил включить в сборник, должны были быть отрывок из «Принца Атаназа», «Атласская волшебница» и др.

² *Посылаю еще одно стихотворение*... — Какое именно, не установлено.

³ ... *стихи об охоте в Индии*... — Имеется в виду сборник Т. Медвина «Sketches in Hindoostan, and other Poems», который был опубликован Ч. Оллиером в 1821 г.

149. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

15 февраля 1821

¹ ... *обличения поэзии*... — См. примеч. 1 к письму 147.

² *Урания* — одна из девяти муз в древнегреческой мифологии, покровительница астрономии, руководящая ходом времен года.

- ³ ... рыцарем призрачного щита и копья из паутины. — См. примеч. 2 к письму 81.
⁴ ... ответ Годвина апостолу богачей... — См. примеч. 4 к письму 104.
⁵ Неаполитанская и австрийская армии быстро сближаются. — Шелли касается финальной стадии борьбы Священного Союза с восстанием карбонариев в Неаполе. После поражения при Рieti в начале марта 1821 г. восстание было обречено.
⁶ ... законов для Индии и т. п. — Намек на характер чиновничьей деятельности Пикока.

150. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

16 февраля 1821

- ¹ «Ода к Неаполю» — написана 18—25 августа 1820 г., опубликована Мери Шелли в «Посмертных произведениях» (1824).
² сонет... — Джонс (т. I, стр. 269) полагает, что это сонет «Ye hasten to the grave», опубликованный в «Спутнике любителя искусства и природы» за 1823 г.
³ «Эпипсихидион». — Эта лирическая философская поэма была опубликована Ч. Оллиером в 1821 г. под распространенным заглавием «Эпипсихидион. Стихи, адресованные благородной и несчастной госпоже Эмили Вивини, ныне заточенной в монастыре...» Отправной точкой для этой романтической поэмы были обстоятельства жизни Эмили Вивини, с которой Шелли познакомился осенью 1820 г. В это время Эмили было около 20 лет; по решению отца она была заточена в монастыре Св. Анны, где оставалась в течение трех лет, вплоть до замужества (8 сентября 1821 г.). Шелли посещал Эмилию и переписывался с нею; ее положение, редкая красота возбудили в нем горячее стремление помочь освобождению Эмили, хотя позднее Шелли пережил разочарование в ней. С Э. Вивини связаны некоторые его стихотворения этой поры («К Эмили Вивини», «Беглецы» и др.), а также и письма к ней, дошедшие до нас во фрагментах.
⁴ предупреждение будет соответствовать истине. — В упомянутом предупреждении к «Эпипсихидиону», подписанном буквой «Ш», сообщалось, что автор поэмы «умер во Флоренции, готовясь к путешествию на один из самых диких Спорадских островов, приобретенных им, где он восстанавливал руины старинной постройки и где надеялся воплотить некий план жизни, соответствующий, вероятно, тому счастливейшему и лучшему миру, обитателем коего он ныне является, но едва ли осуществимый в этом» (Джонс, II, 263).
⁵ Есть ли надежда на второе издание «Восстания Ислама»? — Шелли в эту пору неоднократно обращается в публикуемых письмах к своему издателю с подобным вопросом, считая целесообразной новую публикацию поэмы. Оллиер не выполнил это настоятельное требование Шелли.

151. ДОКТОРУ ТОМАСУ ЮМУ

17 февраля 1821

- ¹ Юм, Томас (1781—1857) — видный английский медик; согласно решению Канцлерского суда, дети Шелли от первого брака — Чарлз Биши и Ианта были отданы на воспитание в семью доктора Юма, плата за воспитание была определена в размере 200 фунтов стерлингов в год: 120 фунтов должен был выплачивать Шелли, 80 фунтов — семья Вестбруков. Т. Юм был соседом и другом поверенного Шелли Лонгдила.
² моему другу мистеру Смигу... — Хорейсу Смигу; см. примеч. 1 к письму 171.

152. КЛЕР КЛЕРМОНТ

18 февраля 1821

- ¹ Посылая чек, я написал всего несколько слов... — Имеется в виду письмо Шелли от 16 февраля 1821 г., сопровождающее чек для уплаты долга семье Бойти (см. примеч. 5 к письму 145).

- ...княгиня... — одна из великосветских флорентийских знакомых Клер, Монтемилетто Караффа; Клер искала место гувернантки.
- ³ ... в духе критики чистого разума. — Шутливый намек на И. Канта (1724—1804) и его труд «Критика чистого разума» (1781).
- ⁴ ... хорошо снаряженной армии. — По решению Лайбахского конгресса Священного Союза (январь 1821) Австрия была уполномочена подавить национально-освободительное движение в Италии.
- ⁵ Сгринчи, Томмазо (1788—1836) — известный поэт-импровизатор, посещал дом Шелли в Пизе. Неаполитанское восстание карбонариев, о котором идет речь в письме, Сгринчи воспринял враждебно.
- ⁶ ... как то было с французами и испанцами. — Шелли, вероятно, намекает на Французскую революцию 1789—1794 гг. и революцию в Испании 1820 г.
- ⁷ Со стороны тосканцев подло так относиться к Неаполю. — Так у Инглена. Джонс вместо *Tuscans* (тосканцы) предположительно читает *masses*? (массы?). (Примеч. переводчика).
- ⁸ ... некогда столь удачный союз против императорской власти... — Шелли, по всей вероятности, имеет в виду роль ломбардских городов-коммун, объединившихся в их общей борьбе за независимость Северной Италии против императоров так называемой «Священной Римской империи» (вторая половина XII—первая половина XIII в.).
- ⁹ Германия тоже вырвет у своих угнетателей власть, переданную им на условиях, которые они отказались выполнять... — По решению Венского конгресса (1814—1815) Священного Союза было создано объединение нескольких десятков крупных и малых германских государств (так называемый Германский союз), во главе его номинально был союзный сейм; однако вся полнота власти оказалась в руках Австрии и Священного Союза, усиливших реакционный политический пресс в германских землях.
- ¹⁰ Даже беспринципный Каслри. — В это время Каслри (см. примеч. 1 к письму 58), будучи министром иностранных дел, твердо проводил реакционную международную политику Англии; однако, преследуя свои интересы, в частности, не желая усиления Австрии в Италии, английское правительство не поддержало решения Лайбахского конгресса (1821) Священного Союза о подавлении революции в Неаполитанском королевстве, а также о немедленном вмешательстве во внутренние дела революционной Испании.
- ¹¹ ... прошение Эмили. — один из эпизодов истории Э. Вивiani; см. примеч. 3 к письму 150.
- ¹² ... мадам Мартини или мадам Орландини... — влиятельные знакомые Клер во Флоренции.
- ¹³ Дель Россо — см. примеч. 1 к письму 142.
- ¹⁴ «Будь счастлива, сильна будь и люби» — Дж. Мильтён. Потерянный Рай (VIII, 633). Перевод Е. Кудашевой.
- ¹⁵ Китс в Неаполе, и очень болен. — К этому времени Китс был уже в Риме, он умер в ночь на 23 февраля 1821 г., т. е. пять дней спустя.

153. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

22 февраля 1821

- ¹ Эссе Пикока. — см. примеч. 1 к письму 147.
- ² свою статью о поэзии... — трактат «Защита Поэзии».
- ³ .. Ваш журнал... — см. вступительную часть комментариев к «Защите Поэзии».
- ⁴ ... сонет... — см. примеч. 2 к письму 150.
- ⁵ Полагаю, что поэма «Юлиан и Мадалло» уже вышла. — См. примеч. 1 к письму 148.
- ⁶ Последнюю посланную мною поэму. — «Эпипсихидион».
- ⁷ Я сомневаюсь относительно «Карла Первого»... — По воспоминаниям Мерц Шелли побуждал ее написать драму на эту тему; в 1821—1822 гг. он сам взялся за ра-

- боту, но драма не была окончена. Фрагменты этой пьесы были опубликованы в «Посмертных произведениях» (1824).
- ³ ... кажется, такую написал Саути. — Саути принадлежит трехтомная «История войны на Пиренейском полуострове», которая вышла в свет позднее (1823—1832).
- ⁹ «Историю его времени» Бернета. — книга Гилберта Бернета (1643—1715) «История моего времени», изданная посмертно (1724—1734).
- ¹⁰ ... «Старую английскую драму» в трех томах. — Видимо, «Старая английская драма» (3 тт., 1810).
- Проктер — см. примеч. 3 к письму 144.

154. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

21 марта 1821

- 1-ю часть эссе из трех частей. — Тракта́т «Защита Поэзии» не был завершен; написана только 1-я часть.
- ... не станем уподобляться мистеру Прайсу и Пейну Найту. — Прайс, Эвидейл (1747—1829) — автор нескольких книг о принципах планировки садов и парков, в том числе «Опыта о живописном» (1774); Найт, Ричард Пейн (1750—1824) — автор дидактической поэмы «Ландшафт» (1794), «Опыта о живописном с практическими замечками о деревенском орнаменте» (1795) и др. Шелли намекает на разногласия и полемику, существовавшие между ними при трактовке общих для них вопросов. (см. Инглен, X, 248).
- ³ ... нынешние Баши и Мевии... — См. примеч. 54 к «Защите Поэзии».
- ⁴ ... более, чем Кодр бесил Ювенала... — В I Сатире Ювенал называет некоего Кодра и его поэму «Тезейду»; имя это и произведение, видимо, вымышлены и взяты Ювеналом для того, чтобы высказать свое отрицательное суждение о современных поэтах.
- Колсон, Уолтер (1790?—1860) — журналист и адвокат, знакомый Шелли по Марло; входил в круг знакомых Л. Ханта.
- ... завязали одно интересное знакомство — с греческим князем... — Шелли имеет в виду князя Александра Маврокордато (1791—1865), который находился в центре группы греческих эмигрантов в Италии, отправился в Грецию 26 июня 1821 г., как только там началось восстание против Турции; первый президент Греции. Маврокордато давал уроки греческого языка Мери. Шелли посвятил ему поэму «Эллада» (1821).
- ⁷ ... единственной итальянкой... — Речь идет об Э. Вивияни.
- ⁸ Гемма — резной камень с изображением надписи, человеческого лица, предмета.
- ⁹ ... с головой Александра... — т. е. Александра Македонского.
- ¹⁰ «Я — пророк победоносных сражений» — Софокл. Эдип в Колоне (1080).

155. ЛОРДУ БАЙРОНУ

16 апреля 1821

- ¹ Вы выпустили в свет трагедию... — «Марино Фальеро, дож Венеции» (1821).
- ² сны проклятия в «Манфреде»... — Байрон. Манфред (I, 1).
- ... строк о Шильоне в III песни «Чайльд Гарольда»... — По-видимому, здесь речь идет не о «Паломничестве Чайльд Гарольда», а о «Сонете к Шильону», который был опубликован с поэмой «Шильонский узник» (1816).
- ⁴ ... обращения к Океану. — Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда (IV, строфы 179—184).
- ⁵ оскорбительной крити «Кюотерли ревью» — См. примеч. 3 к письму 146.

156. ГЕНРИ РЕВЛИ

19 апреля 1821

... я прочел «*Нумансию*». — т. е. историко-героическую трагедию Сервантеса (1584); Мария Гисборн помогала Шелли при изучении испанского языка и литературы.

157. ЛОРДУ БАЙРОНУ

4 мая 1821

... «много места и простора» — стих 51 из оды «*Бард*» английского поэта Томаса Грея (1716—1771).

² ... известие о Китсе достоверно. — т. известие о его смерти. См. примеч. 15 к письму 152.

³ *Вашего памфлета я не читал.*... — Здесь и далее имеется в виду один из важнейших эстетических манифестов Байрона, в котором он полемически развивал свои литературные взгляды, — открытое «*Письмо Джону Меррею по поводу порочащих суждений преподобного В. Л. Баулса о жизни и сочинениях Попа*», написанное в начале февраля и опубликованное в марте 1821 г. Поэт и критик Вильям Лесли Баулс (1762—1850) в 1806 г. выпустил десяти томное издание сочинений А. Попа, сопроводив его суровыми замечаниями о Попе как о человеке и поэте. Эти последние, а также памфлет Баулса «*Неизменные законы поэзии*» (1819) породили спор о Попе, в котором энергичное участие принял Байрон. Защищая Попа в «*Письме к Меррею*», Байрон вместе с тем боролся за искусство большого общественного содержания. Баулс выступил с резким ответом, и 25 марта 1821 г. Байрон написал «*Второе письмо к Джону Меррею*», которое, однако, было опубликовано лишь в 1835 г.; в конце его помещены замечания о Китсе.

⁴ *Трагедию.*... — Речь идет о трагедии Байрона «*Марино Фальеро*».

⁵ *Милман* — см. примеч. 3 к письму 98.

⁶ *Барри Корнуолл* — Проктер.

⁷ ... *Китс выступал против Попа.*... — Китс сделал это, не называя имени Попа, в поэме «*Сон и поэзия*» (1816), стихи 181—206.

⁸ *Моя трагедия «Ченчи», кажется, потерпела полный провал, — по крайней мере, судя по молчанию издателя.* — Второе издание «*Ченчи*», выход которого ждал Шелли, было осуществлено Оллиером позднее, в том же 1821 г.; в целом же трагедия принадлежит к числу наиболее популярных при жизни Шелли его произведений.

⁹ «*Прометей*» также весьма несовершенно. — Подобное суждение об «*Освобожденном Прометее*» парадоксально и не соответствует действительной оценке этого произведения самим Шелли; скорее всего оно порождено большой требовательностью Шелли к собственному творчеству.

¹⁰ *Попытка переворота в Италии.* — Имеются в виду неаполитанские события лета 1820 г. См. письмо 140.

... *бюллетени синьора Замбелли.* — Секретарь Байрона Антонио Лега Замбелли посылал ежемесячные сообщения об Аллегре.

158. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

8 июня 1821

... примерно из сорока спенсеровых строф. — Поэма Шелли «*Адонаис*» состоит из 55 строф. О спенсеровой строфе см. примеч. 11 к предисловию к поэме «*Восстание Ислама*».

... *грубые нападки «Куотерли ревью», вызвав болезнь, которой он скончался.* — См. примеч. 3 к письму 146.

³ ... *мое сочинение.*... — «*Защита Поэзии*»; см. вступительную часть комментариев к «*Защите Поэзии*».

159. ЛИ ХАНТУ, РЕДАКТОРУ «ЭКЗАМИНЕРА»

22 июня 1821

- ...тайком от меня... — В 1821 г. лондонский книгопродавец В. Кларк самовольно переиздал «Королеву Маб»; однако в результате судебного преследования, распространив не более 50 экземпляров поэмы, вынужден был прекратить продажу остальной части тиража.
- ² ... в возрасте восемнадцати лет... — На самом деле «Королева Маб» была написана в 1812—начале 1813 г., т. е. когда Шелли было более 20 лет.
- ³ ...случая с «Уотом Тайлером» мистера Саути... — Драма Саути «Уот Тайлер», написанная в 1793 г., по политическим причинам не была опубликована; «Уот Тайлер» был напечатан лишь в 1817 г., вопреки воле Саути, к этому времени изменившему своим радикальным юношеским убеждениям.
- ⁴ ...грубое попрание самых священных уз... — Шелли намекает на решение Канцлерского суда, лишившего его прав на детей от первого брака.

160. ДЖОНУ ТАФФУ

4 июля 1821

- Тафф, Джон (1788—1862) — ирландский поэт, знакомый Шелли и Байрона в Италии.
- ² Розини, Магоули — итальянские знакомые Шелли.
- ³ ...перечитав это место... — См. «Адонаис» (строфа 34).
- ⁴ ...плетутся мелкими шажками дни... — В. Шекспир. Макбет (V, 5). Перевод А. Радловой.
- ⁵ ...мистер Грейнджер — знакомый семьи Шелли.

161. ЛОРДУ БАЙРОНУ

16 июля 1821

- ...ни трагедию, ни «Письмо», ни «Пророчество Данте»... — Т. е. трагедию «Марино Фальеро», первое «Письмо к Джону Меррею» (см. примеч. 3 к письму 157) и поэму «Пророчество Данте»; трагедия и поэма опубликованы вместе 21 апреля 1821.
- ...как Диомед дал Главку... — см. Гомер. Илиада, песнь VI.
- ...на смерть Китса... — Здесь и далее Шелли пишет о поэме «Адонаис» и предисловии к ней.
- ⁴ ...переписка с Саути. — См. письма от 26 июня и 17 августа 1820 г.
- ⁵ ...либо мистер Гиффорд. — Шелли заблуждался; см. примеч. 3 к письму 125.
- ⁶ Что касается поэмы... — Т. е. поэмы «Адонаис».
- ⁷ ...моего маленького дружка. — Аллегры.

162. МЕРИ ШЕЛЛИ

7 августа 1821

- ¹ ... об участии бедняжки Эмили — Э. Вивини.
- ² Флетчер — Вильям Флетчер, верный слуга Байрона.
- ³ ...приверженность теории... — В период работы над своими историческими трагедиями Байрон опирался на традиции революционного классицизма (в первую очередь Альфиери), традиции «правильной драмы»; с этими эстетическими взглядами Байрона Шелли не был согласен.
- ⁴ «Венецианский Дождь», «Дождь» — трагедия Байрона «Марино Фальеро, дож Венеции» (1821).
- ...объединившись со своим негодяем мужем... — Имеется в виду Паоло Фоджи, итальянский слуга Шелли, шантажист, женившийся на их служанке Элизе.

163. МЕРИ ШЕЛЛИ

8 августа 1821

- ...нападки «Литературной газеты»... — Еженедельник «Литературная газета» относится к числу периодических изданий, особенно ожесточенно преследовавших Шелли; в нем рецензировались «Ченчи», «Освобожденный Прометей» и др. В данном случае Шелли, вероятнее всего, имеет в виду выпад против нового издания «Королевы Маб» (1821) (см. примеч. 1 к письму 159) и против себя лично.
- ² *Антиципация* (лат. *anticipatio*) — предвосхищение.
- ³ ... все они были императорами. — После смерти Феодосия I Великого (346—395) Римская империя была разделена между его сыновьями Аркадием (377—408), которому отошла так называемая Восточная империя, и Гонорием (384—432), ставшим правителем так называемой Западной империи; в благодарность за выдающиеся воинские заслуги своего полководца Констанция император Гонорий выдал за него замуж сестру свою Галлу Плацидию и сделал его соправителем. Во время царствования сына Констанция и Плацидии — Валентиниана III (419—455) делами правления главным образом ведала его мать.
- ⁴ ... нельзя писать... — Шелли намекает на активную подпольную деятельность Байрона в рядах карбонариев в годы пребывания в Италии.
- ⁵ ... переселяться в Швейцарию... — Одно время обсуждалась возможность отъезда Байрона и Т. Гвиччиоли в Швейцарию по желанию последней.
- ⁶ ... ее брат... — граф Пьетро Гамба.
- ⁷ *Баньякавалло* — место, где находилась в монастырском пансионе Аллегра.
- ⁸ ... одну из неопубликованных песен «Дон Жуана»... — Речь идет о V см. письмо Пикоку от 10 августа 1821 г.
- ⁹ ... свое жизнеописание... отдал Муру... — Шелли имеет в виду утраченную рукопись автобиографических «Записок» Байрона, которые он в 1819 г. передал Т. Муру, с тем чтобы последний издал их после его смерти; однако Т. Мур, нуждавшийся в средствах, продал «Записки» издателю Байрона Дж. Меррею; после смерти поэта они были сожжены (17 мая 1824) в доме Меррея в присутствии ряда лиц, в том числе душеприказчика Байрона — Хобхауза и представителей его жены и сестры и др., как документ, будто бы порочащий его память.
- ¹⁰ ... как подвигается твоя книга? — Т. е. роман «Вальперга, или Жизнь и приключения Каструччо, князя Лукки».
- ¹¹ Она — т. е. Тереза Гвиччиоли; см. примеч. 1 к письму 164.
- ¹² *Венецианец Тита* — Фальчери, Джованни Баттиста (1798—1874), гондольер, верный слуга Байрона, как и Флетчер, сопровождавший его в Грецию.
- ¹³ Из Греции доходят сюда добрые вести. — Шелли имеет в виду успехи национально-освободительного движения в Греции, борющейся с Турцией; Россия поддерживала греческое восстание, несмотря на то, что царское правительство было членом Священного Союза.
- ¹⁴ Как и Эсхил... — Далее Шелли цитирует стихи 759—760 из трагедии Эсхила «Агамемнон».

164. ТЕРЕЗЕ ГВИЧЧИОЛИ

9 августа 1821

- ¹ Гвиччиоли, Тереза (1800—1873) — урожденная графиня Гамба, в 1820 г. разошлась с мужем, графом Гвиччиоли, и связала свою судьбу с Байроном; члены семьи Гамба были карбонариями и подвергались гонениям.
- ² ... переезде в Женеву... — см. примеч. 5 к письму 163.

165. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

10 августа 1821

- ¹ ... экземпляр «Элегии на смерть Китса» — т. е. «Адонаиса».
- ² ... приходится спать или умереть, как морскому Змею в «Кехаме» Сауги. — См. P. Сауги. Проклятие Кехамы (XVI, строфа 19).

- ³ *Лорд Байрон считает Вас автором памфлета...* — Автором памфлета «Джон Буль» был Дж. Г. Лохкарт (1794—1854), зять В. Скотта.
⁴ *... маленького незнакомца.* — Речь идет о первенце Пикока — дочери Мери Эллен.
⁵ *Колсон* — см. примеч. 5 к письму 154.
⁶ *... в этом дворце Цирцеи...* — Шутливое сравнение дома Байрона с дворцом волшебницы Цирцеи, которая превращала чужеземцев в животных.

166. МЕРИ ШЕЛЛИ

11 августа 1821

- Читаю «Анастасия» — роман Томаса Хоупа «Анастасий, или Мемуары современного грека» (1819).
² *... грех последних песен «Дон Жуана».* — Речь идет о III, IV и V песнях «Дон Жуана».
³ *Прочел письмо Альбе к Баулсу...* — см. примеч. 3 к письму 157.

167. МЕРИ ШЕЛЛИ

15 августа 1821

- Паккиани* — Франческо Паккиани, профессор Пизанского университета, член занского кружка знакомых Шелли.
² *... дьявольские обвинения Элизы...* — см. письмо к Мери Шелли от 7 августа 1821 г.
³ *... нападки на меня в «Литературной газете».* — см. примеч. 1 к письму 163.
⁴ *... глухого посетителя...* — По всей вероятности, речь идет о флорентийском знакомом Шелли Ханнименсе, решившем поселиться в Пизе и обратившемся к нему с этой целью за протекцией; Шелли снабдил Ханнименса письмом к Мери, которая была в это время в Пизе, и последний посетил ее (См. Джонс, II, 315, 316).
⁵ *Мистер Тай* — См. примеч. 2 к письму 132.

168. ЛИ ХАНТУ

26 августа 1821

- ... «благодатный теплый край».* — Дж. Мильтон. Комус, 4.
... основать журнал... — Речь идет об организации журнала «Либерал», всего четыре номера которого были изданы после смерти Шелли Дж. Хантом в Лондоне (октябрь 1822—июль 1823).
³ *... Ваш «Аминтас»...* — перевод одноименного произведения Т. Тассо, посвящен Л. Хантом Китсу (1820).
⁴ *«Нилфы» (1818)* — поэма Ли Ханта.
⁵ *... ибо он там упомянут...* — см. «Адонаис» (строфа 30), где Шелли применил к Байрону им самим найденный образ, назвав его «Паломником в Вечности» (см. «Паломничество Чайльд Гарольда», III, строфа 70).
⁶ *... но пусть это останется между нами.* — Пример расхождения во взглядах поэтов на характер драмы; см. примеч. 3 к письму 162.
⁷ *... и делайте с ним, что хотите.* — Впервые стихотворение было опубликовано Т. Медвином в 1836 г.

169. ЛОРДУ БАЙРОНУ

26 августа 1821

- ¹ *Лега* — Антонио Лега Замбелли; см. примеч. 11 к письму 157.

170. ЛОРДУ БАЙРОНУ

14 сентября 1821

Синьор Пьетро Гамба — брат Т Гвиччиоли.

...Провидение, которое не дает упасть даже воробью... — Перефразировка «Гамлета» Шекспира (V, 2).

³ Моя приятельница из монастыря... — Э. Вивiani.

⁴ ...только что переизданы в Париже. — Песни III—V «Дон Жуана» были изданы в Англии 8 августа 1821 г.

⁵ Миссис Вильямс — см. примеч. 1 к письму 190.

⁶ на основании моего опыта. — Имеется в виду история Э. Вивiani.

171. ХОРЕЙСУ СМИТУ

14 сентября 1821

Смит, Хорейс (1779—1849) — английский писатель, друг Шелли; в сотрудничестве со своим братом, Джеймсом Смитом, создал знаменитый сборник сатирических пародий «Отвергнутые речи» (1812).

² ... печальная причина. — Х. Смит направлялся в Италию, но по состоянию здоровья жены был вынужден остановиться во Франции.

³ Гебхард — ливорнская торговая и банковская фирма «Гебхард и К^о».

⁴ ... драму нового типа... — Здесь и далее Шелли вновь возвращается к своим эстетическим разногласиям с Байроном в вопросе о жанре драмы.

⁵ Альфиери, Витторно (1749—1803) — выдающийся итальянский поэт и драматург; см. примеч. 3 к письму 162.

⁶ ... драматической пасторали я еще не читал... — т. «Амаринтуса Нимфолепта» (1821).

⁷ После событий прошлой зимы... — Намек на исход неаполитанского восстания, подавленного Священным Союзом.

⁸ экземпляр «Королевы Маб» в издании Кларка... — см. примеч. 1 к письму 159.

172. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

25 сентября 1821

...о романе миссис Шелли... — Т. е. о «Вальперге, или Жизни и приключениях Каструччо, князя Лукки». Шелли и ранее горячо рекомендовал роман Оллиеру, который, однако, так и не опубликовал его. Роман вышел лишь после смерти Шелли, в 1823 г., в другом издательстве.

² ... для определенной цели... — Цель эта — материальная поддержка отца Мери, В. Годвина.

³ ... повести Маккиавелли... — Маккиавелли, Никколо (1469—1527), итальянский писатель, политический деятель и историк; среди его произведений находится и романизованная биография «Жизнеописание Каструччо» (во второй книге «Флорентийских историй»).

⁴ Это был сперва изнанник и искатель приключений... — Каструччо Касгракани (1281—1328), вынужденный бежать из Флоренции по политическим мотивам, был кондотьером, служил при дворах разных правителей, в том числе в войсках английского короля Эдуарда II (1284—1327); коварством и силой он достиг полноты власти, добился герцогского титула, овладел многими итальянскими городами, в том числе и Флоренцией.

⁵ «Рассказы трактирщика» — цикл романов В. Скотта, созданный в 1816—1819 гг.: «Черный карлик», «Пуритане», «Эдинбургская темница», «Ламмермурская невеста» и «Легенда о Монтрозе».

⁶ ..Того, кто сам возвысился над нами благодаря громам своим. — Дж. Милтон. Потерянный Рай (I, 257—258). Шелли имеет в виду слова Сатаны, низвергнутого

в преисподнюю: «Не все ль равно, // Коль остаюсь я тем, чем должен быть: // Лишь ниже вознесенного громами». Перевод С. Н. Протасьева.

⁷ «Мирандола» (1821) — драма В. У. Проктера.

⁸ ... вторая часть моей «Защиты Поэзии». — См. начало примечаний к «Защите Поэзии».

173. ЛОРДУ БАЙРОНУ

21 октября 1821

Большое спасибо за «Дон Жуана». — Здесь и далее речь идет о III, IV и V песнях «Дон Жуана».

... Ваших воилов с Олбемарл-стрит... — На Олбемарл-стрит в Лондоне находился дом Дж. Меррея, издателя «Куотерли ревью», здесь встречались руководители и сотрудники этого консервативного журнала.

³ На слух о многом трудно судить... — Байрон читал Шелли V песнь «Дон Жуана» во время посещения последней Равенны летом 1821 г.

⁴ ... группа гетеристов... — Гетеристы — участники тайных греческих патриотических обществ — гетерий, принимавших самое активное участие в свержении турецкой деспотии. В марте 1821 г. один из вождей гетеристов, Александр Ипсиланти (1783—1828), поднял вооруженное восстание в Молдавии и Валахии, однако вскоре оно потерпело поражение. См. примеч. 6 к предисловию к поэме «Эллада».

174. ДЖОНУ ГИСБОРНУ

22 октября 1821

¹ ... издавать вместе с Хантом журнал... — См. примеч. 2 к письму 168.

² Генри — Генри Ревли.

³ ... сочинить собственный «Пир», чтобы все это разъяснить. — Т. е. поступить, как Платон, изложивший в диалоге «Пир» свои эстетические взгляды.

⁴ ... кажется, цитирую неверно... — Шелли неточно цитирует строки 634—635 из I части «Фауста» Гете.

⁵ «Эдинбургское обозрение» лжет. — В конце сентября 1821 г. «Эдинбургское обозрение» выступило с критическим отзывом относительно сочинения В. Годвина «О народонаселении. Ответ на «Опыт» мистера Мальтуса» (1820).

⁶ Бэкон, Френсис (1561—1626) — великий английский философ-материалист и писатель.

«Орлеанская дева» (1801) — драма Ф. Шиллера.

... несколько греков, уцелевших после поражения в Валахии. — См. примеч. 6 к предисловию к поэме «Эллада».

175. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

11 ноября 1821

... ответ на предложение миссис Ш[елли]. — Речь идет о напечатании романа «Вальперга»; см. примеч. 1 к письму 172.

² ... «Оду Наполеону» надо напечатать в конце. — Стихотворение «Строки, написанные при известии о смерти Наполеона» было напечатано Оллиером в одном томе с «Элладой» (1822), в конце книги.

176. КЛЕР КЛЕРМОНТ

11 декабря 1821

... компания состоит из Гамбы, Таффа, Медвина и Южного Цветка... — Основной состав «пизанского кружка»: Пьетро Гамба, Джон Тафф, Томас Медвин, Шелли («Южный Цветок») и Байрон.

² ... трамонтана — холодный северный и северо-восточный ветер.

... свежий ветер... — Так у Ингпена. Джонс вместо «свежий ветер» (fresh wind) читает «греческий ветер» (Greek wind) (Примеч. переводчика).
 ... высокий пост в правительстве новорожденной республики. — См. примеч. 6 к письму 154.

177. КЛЕР КЛЕРМОНТ

31 декабря 1821

- ¹ Ожидаемый человек... — Очевидно, человек с новостями об Аллере, которого Байрон отправлял в монастырь Баньякавалло, где она находилась.
- ² ...тревожимся о бедном Ханте... — На самом деле Л. Хант с семьей был задержан непогодой и отплыл из Англии лишь 13 мая 1822 г.
- ³ У греков дела идут отлично; резня в Смирне и Константинополе не причинит ущерба их делу. — Турецкое правительство в ответ на успехи национально-освободительной борьбы обрушило репрессии на греческое население в районах, где еще удерживалась власть султана. Так было, в частности, в Смирне и Константинополе. Весной 1821 г. в Константинополе и Смирне турки напали на греческие кварталы и жестоко вырезали жителей христианского вероисповедания.
- ⁴ Миссис Боклерк — знакомая Шелли и Мери по Пизе; в ее доме бывали друзья Шелли — Медвин, Трелони, Вильямсы.
- ⁵ Молини — см. примеч. 6 к письму 145.

178. ТОМАСУ ЛАВУ ПИКОКУ

11 января 1822

- ¹ ...приготовить документ и подпись... — Один из эпизодов деловых отношений с английскими кредиторами Беком и Инглишем.
- ² ...после прочтения «Каина»? «Фоскари» и «Сарданапала» я не читал... — «Каин» был опубликован вместе с «Сарданапалом» и «Двое Фоскари» 19 декабря 1821 г. Как видно из текста письма, Шелли должен был читать «Каина» в рукописи; об этом же пишет в своем дневнике Мери.
- ³ ...мой маленький сын, вылитый Вильям. — Шелли сравнивает младшего Перси, с умершим сыном Вильямом.
- ⁴ ...как кошелек Фортуна... — Волшебный кошелек Фортуна, героя немецкого народного творчества, был неиссякаем.
- ⁵ ...не обнадеживаете меня насчет Индии... — Осенью 1821 г. у Шелли зародилась идея отправиться в Индию и занять должность советника при одном из магараджей. Об этом он, например, пишет в письме к Хоггу от 22 октября, просит Ч. Олдиера (письмо от 11 октября 1821 г.) прислать книгу Дж. Милля «История британской Индии» (3 т., 1817), наконец, он запрашивает Пикоча, в это время бывшего чиновником по индийским делам, о возможности подобной поездки. Пикок (письмо от октября 1821 г.) не одобрил этот проект как не соответствующий ни физическим, ни духовным качествам Шелли.
- ⁶ ...Ваша звездочка и Небеса... — Шелли имеет в виду дочь и жену Пикоча.

179. ЧАРЛЗУ ОЛЛИЕРУ

11 января 1822

- ¹ ...романа миссис Шелли... — т. е. романа «Вальперга».
- ² ...я даже не знаю, вышел ли он... — Это письмо раскрывает те разногласия, которые существовали и накапливались между Шелли и его издателем и привели к разрыву между ними.

180. ДЖОНУ ГИСБОРНУ

12 января 1822

- ...последним созданиям...—Прежде всего Шелли здесь имеет в виду «Каинна»; см. об этом письмо Дж. Гисборну от 26 января 1822 г.
- ² ...гравюры к «Фаусту»; иллюстратор достоин Гете.—Гравюры к I части «Фауста» были выполнены Ф. А. М. Ретчем (1779—1857) и опубликованы в 1820 г.
- ³ Спросите Кольриджа...—С. Т. Кольридж—знаток немецкого языка и немецкой литературы, перевел вторую и третью части трилогии «Валленштейн» Ф. Шиллера; известно, что Дж. Меррей обращался к нему с предложением перевести «Фауста», но эта работа не была осуществлена.
- ...хлопот... мне доставляют.—Шелли, вероятно, имеет в виду задержку Хантов с приездом в Италию и заботы, связанные с организацией журнала «Либерал».

181. ДЖОНУ ГИСБОРНУ

26 января 1822

- ¹ ...«Защита Поэзии»... для помещения в его журнале.—См. начало примеч. к «Защите Поэзии».
- ² Но кончим с Бакингемом.—Шелли использует выражение из драмы «Ричард III» (IV, 3) английского актера и драматурга Колли Сиббера (1671—1757), являющейся переделкой одноименной трагедии Шекспира.

182. ЛИ ХАНТУ

17 февраля 1822

- ...произошло много такого...—Шелли, вероятно, имеет в виду обстоятельства, связанные с историей его взаимоотношений с Клер Клермонт и его участием в судьбе Аллегры Байрон.
- ² ...за издание журнала...—т. е. издание «Либерала».
- ³ ...он предпочел в качестве поручителя меня...—Так у Джонса. Ингпен читает: «Он предпочел, чтобы поручителем были Вы». (Примеч. переводчика).
- ⁴ ...леди Нозль умерла...—22 января 1822 г. умерла мать Аннабеллы, леди Байрон, которой он наследовал вместе с женой.

183. ХОРЕЙСУ СМИТУ

11 апреля 1822

- ...ни «Нимфолепта», ни его философских спутников...—Речь идет о томе произведений Х. Смита (1821).
- ² ...«Собирает все подвиги в суму седое Время»—туда оно их, верно, и засунуло. Так как от меня оно получило немало для пасти «жесточкого забвенья»...—Здесь и далее Шелли перифразирует отрывок из монолога Улисса из драмы Шекспира «Троил и Кресснда» (III, 3).
- ³ Мне все же удалось раздобыть музыкального угля, так сказать, в самом Ньюкасле.—Этот каламбур проясняется следующими обстоятельствами. Еще в письме от 25 января 1822 г. к Х. Смиту, который жил в это время в Париже, Шелли просил помочь ему приобрести в подарок Джейн Вильямс арфу; покупка не была осуществлена, и Шелли сам приобрел для нее гитару на месте, в Италии,—классической стране музыкального искусства.

184. ЛОРДУ БАЙРОНУ

3 1822

сообщить Клер всю правду.—19 апреля 1822 в монастыре Баньякавалло умерла Аллегра, дочь Байрона и Клер Клермонт.

... «свет большой рождает малый свет». — Шелли цитирует собственный перевод «Фауста» (I, 2). Перевод сцены 2 был опубликован в «Либерале» (1822, № 1). Полностью переводы фрагментов из «Фауста» были изданы Мери Шелли в «Поэтических произведениях» (1824).

- ³ ... с паспортом мистера Доукинса... — Слуга Байрона — Тита, замешанный в деле с итальянским драгуном (см. письмо Х. Смиты от 11 апреля 1822 г.), был выслан из Пизы; Эдвард Дж. Доукинс, британский поверенный в делах во Флоренции, принял в нем участие.

185. КАПИТАНУ ДАНИЭЛЮ РОБЕРТСУ

13 1822

Даниэль Робертс... «Дон Жуан»... «Боливар»... — В письмах последних двух месяцев жизни Шелли часто возвращается к истории постройки и приобретения парусной лодки «Дон Жуан». Через своего друга Э. Дж. Трелони Шелли и Байрон обратились к капитану Даниэлю Робертсу в Геную с просьбой построить две парусные лодки. Заказ был выполнен. 12 мая 1822 г. из Генуи в Леричи, где в это время жил Шелли, прибыл «Дон Жуан», а через месяц, 13 июня, — байроновский «Боливар», с Робертсом и Трелони на борту.

- ² Доменико — слуга в доме Шелли.

186. ДЖОНУ ГИСБОРНУ

18 июня 1822

... особа, которую он прославляет, оказалась не Юноной, а Облаком; и бедняга Иксион в ужасе отшатывается от кентавра, явившегося плодом его собственных объятий. — Здесь получило свое выражение чувство разочарования в Эмилини Вивнани. Согласно легенде, охваченный страстью к Юноне, Иксион оказывается жертвой обмана: он принимает облако за богиню, и оно порождает кентавров. Для Шелли этот жизненный случай — трагическая ошибка, мираж, приобретший уродливые очертания.

- ² Я редко буду видеться с лордом Байроном... — В письме выражено чувство раздражения Шелли, вызванное, вероятнее всего, историей Аллегры и в связи с ней обстоятельством взаимотношений Байрона с Клер Клермонт.

- ³ ... об этих «Мемуарах». — Речь идет о книге Дж. Уоткинса «Мемуары о жизни и точинениях лорда Байрона, с присовокуплением подробностей частной жизни некоторых из его современников», опубликованной анонимно в 1822 г. и не чуждой тенденциозности; в ней фигурировал также и Шелли.

- ⁴ ... при основании журнала... — «Либерала».

- ⁵ «Остановись, мновенье, ты прекрасно». — Гете. Фауст (I, 3).

- ⁶ Метастазιο, Пьетро (1698—1782). — итальянский драматург и поэт.

- ⁷ Марини, Джамбаттиста (1569—1625) — итальянский поэт, стиль которого отличался большой долей манерности и вычурности.

- ⁸ «Чистилище», «Рай» — вторая и третья части «Божественной Комедии» Данте.

187. ЭДВАРДУ ДЖОНУ ТРЕЛОНИ

18 июня 1822

- ¹ Трелони, Эдвард Джон (1792—1881) — поклонник таланта Шелли, знакомый его и Байрона по Италии. Трелони руководил погребением праха поэта 16 августа 1822 г. и сам, по его желанию, был погребен рядом с Шелли на Новом протестантском кладбище в Риме, в земле, купленной им еще в 1823 г. Трелони принадлежат не слишком достоверные «Воспоминания о Байроне и Шелли» (1858).

- ² Гебхард — см. примеч. 3 к письму 171.

- ³ ... согласно подсчетам Робертса. — См. примеч. I к письму 185.

- ⁴ ... про книгу о лорде Байроне. — См. примеч. 3 к письму 186.

188. ЛИ ХАНТУ

19 июня 1822

- ¹ «Мимоза» — стихотворение Шелли «The Sensitive Plant», написано в 1820 г. и опубликовано вместе с «Освобожденным Прометеем» (1820).
- ² ... после ее утраты. — Т. е. смерти Аллегры.
- ³ Данн, Генри — англичанин, владелец магазина в Ливорно.
- ⁴ Ваш приезд придаст мне так много бодрости, что мне почти все будет нипочем. А недостаток бодрости не могу объяснить ни любовью, ни телячьими котлетами. В Вашем присутствии я надеюсь наслаждаться первой и поглотить множество вторых. — Это место проясняется текстом письма Л. Ханта от 15 июня 1822 г., где он, основываясь на словах Шелли относительно утраты им «ангельского состояния духа», шуточно замечал, не имел ли Шелли в виду «свое пристрастие к телячьим котлетам, или то, что он влюбился в кого-то, кто этого не заслуживает? Что бы он ни подразумевал, когда мы встретимся, я подарю его советом, как следует поступить, и сердечными объятиями» (Джонс, т. II, стр. 438).

189. ХОРЕЙСУ СМИТУ

29 июня 1822

- .. благодарен Вам за отказ. — Имеется в виду просьба о предоставлении займы суммы денег (400 фунтов стерлингов) для Годвина и совет Х. Смита последнему прибегнуть к защите закона о несостоятельности.
- ² ... поблагодарите Мура за любезные слова... — См. письмо Х. Смиту от 11 апреля 1822 г.
- ³ ... две песни «Дон Жуана»... — Подразумеваются VI и VII песни «Дон Жуана»; Шелли узнал об этом из письма Трелони, который был с Байроном. Вместе с VIII песней они были опубликованы в июле 1823 г.
- ⁴ договориться с лордом Байроном — об организации «Либерала»; журнал был основан, но просуществовал недолго (см. примеч. 2 к письму 168).

190. ДЖЕЙН ВИЛЬЯМС

4 июля 1822

- ¹ Вильямсы, Джейн (ум. 1884) и Эдвард Эллеркер (1793—1822) — знакомые Медвина и Трелони по Швейцарии, прибыли в Ливорно 13 января 1821 г.; с этого времени вплоть до 8 июля 1822 г. обе семьи встречались почти ежедневно; дневник Вильямса (21 октября 1821 г. — 4 июля 1822 г.) представляет значительный интерес. Это, видимо, последнее или одно из последних писем Шелли.
- ² Вы, вероятно, увидите с Вильямсом раньше... — События, однако, приняли иной, трагический оборот. Вильямс дождался Шелли в Ливорно, и они отплыли на борту «Дон Жуана» 8 июля. Когда лодка была далеко от побережья в районе Виареджио, ее опрокинул налетевший шквал, и она затонула. Шелли, Вильямс и английский юнга Чарлз Вивиан утонули. Их тела были обнаружены 16—18 июля 1822 г.

191. МЕРИ ШЕЛЛИ

4 июля 1822

- ... о доме вблизи Пуньяно... — По желанию Мери предполагался отъезд из Леричи в Пизу.
- ² Вакка Берлингиери, Андреа — известный итальянский врач.
- ³ ... роковой концы неизбежен... — Однако Марианна Хант прожила до 1857 г.
- ⁴ ... издание журнала... — «Либерала».
- ⁵ ... он предлагает Ханту «Видение Суда». — Сатира Байрона «Видение Суда» была опубликована в № 1 «Либерала» (1822).
- ⁶ Перевод «Пира» я отыскал. — Рукопись перевода диалога Платона «Пир» была утеряна Шелли и найдена им в Пизе.

ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ К ЭМИЛИИ ВИВИАНИ

В двух записных книжках Шелли в «*Bodleian Library*» находятся отрывки пяти писем к Э. Вивиани на итальянском языке. Они были открыты Невилем Роджерсом и напечатаны в его книге «*Shelley at Work*» (Oxford, Clarendon Press, 1956). Письма были написаны, очевидно, в декабре 1820—в первые месяцы 1821 г. Об обстоятельствах знакомства с Э. Вивиани см. примеч. 3 к письму 150.

ПИСЬМО III

- ¹ ... как говорит Данте... — Данте. Сонет 12 (LII) (Данте — к Гвидо Кавальканте). Шелли дает этот отрывок сонета Данте в собственном английском переводе. Перевод И. Н. Голенищева-Кутузова.

ИСТОРИЯ ШЕСТИНЕДЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ.

Основой этой книги, изданной в 1817 г. Т. Хукемом-младшим и Ч. Оллиером, был дневник, который вела при участии Шелли Мери Шелли в период их первого путешествия по Европе в июле—августе 1814 г. Готовя книгу к печати, авторы включили еще четыре письма; два из них — первое и второе — принадлежат перу Мери, написаны в 1817 г. и обращены к вымышленному адресату, третье и четвертое — действительные письма Шелли к Т. А. Пикоку от 12 и 22 июля 1816 г. Шелли, помимо этого, предпослал книге свое предисловие.

«История шестинедельной поездки» насыщена злободневным общественным содержанием, пронизана отчетливой тираноборческой тенденцией; с этим связана экспрессивная, окрашенная в революционно-романтические тона, отрицательная оценка ряда явлений политической жизни в Европе кануна падения Наполеона I и начального периода Реставрации. В этом смысле характерны неоднократные резкие выпады против армий антинаполеоновской коалиции, в том числе — царской России, вошедших во Францию после поражения Наполеона I.

ПРЕДИСЛОВИЕ

... великий поэт... — Шелли говорит о Байроне и о III песни «Паломничества Чайльд Гарольда», изданной в ноябре 1816 г., где описаны Рейн и его окрестности (строфы 46—61).

- ² ... ставших уже классическими... — Мейери, Кларан, Веве — известные живописные окрестности на северо-восточном берегу Женевского озера в Швейцарии, ставшие местом паломничества, благодаря тому, что здесь разворачивается действие романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761); знаменитое описание диких скал Мейери помещено в письме героя романа Сен-Пре к Юлии (I, 26). Шильон — средневековый замок на Женевском озере, построенный в XIV в., его подземелья высечены в скале; здесь был заточен в течение нескольких лет швейцарский республиканец Франсуа Боннивар (1493—1570), освобожденный восставшими жителями города Берна. История заточения Боннивара отражена в поэме Байрона «Шильонский узник» (1816).

- ³ ... автору писем из Шамони и Веве. — Шелли принадлежат третье и четвертое письма; Шамони — селение, расположенное на берегу р. Арвы с ее живописной равниной, замыкаемой на юге Монбланом.

ДНЕВНИК

- ¹ ...я со своими спутниками. — Шелли и Мери сопровождала Клер Клермонт.
- ² ...при взятии Кале Эдуард III... — Английский король Эдуард III (1312—1377) в начале Столетней войны захватил ряд областей и городов западной Франции, в том числе город Кале.
- ³ ...что поразило наши английские глаза, это неогороженные поля. — Здесь подмечена характерная деталь в жизни именно Англии: на протяжении нескольких столетий (XIII—XVIII вв.), в ходе известного массового захвата общинных земель, лендлорды огораживали свои владения деревянными, каменными, живыми изгородями; земельная карта сельской Англии представляла собою некую мозаику.
- ⁴ ...насколько она теперь изуродована варварством завоевателей... — Путешественники прибыли в Париж 2 августа 1814 г. Вспоминая эти дни в 1817 г., автор подразумевает вступление союзных войск после падения Наполеона.
- ⁵ ...об императрице Жозефине и о Марии-Луизе... — Наполеон I в 1810 г. женился на дочери австрийского императора Марии-Луизе (1791—1847), расторгнув бездетный брак с Жозефиной Богарнэ.
- ⁶ ...часовня Вильгельма Телля... — памятное место на берегу Фирвальдштетского (Люцернского) озера в честь легендарного народного героя Швейцарии, крестьянина кантона Ури, Вильгельма Телля (XIV в.).
- ⁷ ...читал вслух из Тацита описание осады Иерусалима. — Выдающийся римский историк периода Империи Корнелий Тацит (ок. 55—117) в своей «Истории» излагает события последней трети I в., в том числе осаду и взятие Иерусалима римскими войсками в 70 г.
- ⁸ ...начал роман об ассасинах. — т. е. «Ассасины» (см. примеч. I к фрагменту повести «Ассасины»).
- ⁹ ...письма Мери Уолстонкрафт из Норвегии. — Подразумевается книга Мери Уолстонкрафт «Письма, написанные во время краткого пребывания в Швейцарии, Норвегии и Дании» (1796). О М. Уолстонкрафт см. примеч. 6 к статье о «Мандевиле» Годвина.
- ¹⁰ ...со времен революционной войны. — Французской революции 1789—1794 гг.; город и крепость Майнц были местом активных военных действий в период 1792—1799 гг. и переходили из рук в руки. В 1813—1814 гг. Майнц был блокирован и сдался союзникам после взятия ими Парижа.
- ¹¹ Монтегью, Мери (1689—1762) леди Уортли — английская писательница, автор «Писем леди Мери Уортли Монтегью, написанных во время ее путешествий» (1763, 1765).
- ¹² ...продолжал писать свой роман. — «Ассасины»; см. выше, примеч. 8.

ПИСЬМО I

- ¹ ...после побега Лавалетта... — Лавалетт, Антуан Мари Шиманс (1769—1830), французский государственный деятель, граф, соратник Наполеона. После реставрации Бурбонов был приговорен к смерти. С помощью жены, переодевшись женщиной, бежал за границу.
- ² ...последнего вторжения союзников... — Подразумеваются события после поражения Наполеона при Ватерлоо и вступление союзных войск в Париж в июле 1815 г.

ПИСЬМО II

- ¹ Плен-пале — пригород Женевы.
- ² ...изгнал Руссо с родины. — В юности по приговору магистрата Руссо был изгнан из Женевской республики, ибо стал католиком; ему было возвращено звание гражданина Женевы 29 июля 1754 г., когда он вернулся к протестантизму.

- ⁸ ... во время Революции... — В 1798 г. Женева была присоединена к Франции, в том же году была провозглашена республика Гельвеция.
- ⁴ великий заговор монархов. — Имеется в виду реакционная военно-политическая коалиция — Священный Союз, организованная после низвержения Наполеона в 1815 г.

ПИСЬМО III

- ¹ Т. П., эсквайр — Томас Лав Пикок.
- ² Поездка была восхитительной. — Шелли имеет в виду лодочную экскурсию вдоль побережья Женевского озера в компании с Байроном (23—30 июня 1816 г.)
- ³ ... красота божественных вымыслов Руссо и его «Юлии». — см. примеч. 2 к предисловию к «Истории шестинедельной поездки».
- ⁴ ... разобрали на укрепления. — Шелли упоминает об эпизоде религиозных войн эпохи Реформации.
- ⁵ «Золотых песков, омытых морем». — Перефразируя, Шелли цитирует Шекспира: «На золотом песке, омытом морем». (В. Шекспир. Сон в летнюю ночь, II, 1. Перевод Т. А. Щепкиной-Куперник).
- ⁶ Мой спутник... — Байрон.
- ⁷ ... на меня это явление не произвело того действия, что на Горация. — Цитируя, видимо, по памяти оду Горация (I, 34), Шелли контаминирует разные ее строки; в противоположность Шелли, Гораций напуган грозой: ... ныне вспять направить || Я принужден свой челнок и прежних || Путей держаться. » (Перевод А. П. Семёнова-Тянь-Шанского).
- ⁸ Эвиан — город в верхней Савойе, на южном берегу Женевского озера; после падения Наполеона было восстановлено Сардинское Королевство, на территории которого находился Эвиан.
- ⁹ Синдик — здесь: чиновник, ведающий въездными визами.
- ¹⁰ императрица Мария-Луиза. — см. примеч. 5 к «Дневнику».
- ¹¹ ... она-то и дал деревне ее имя. — Шелли прибегает к игре названии местечка — «Мейери» (Meillerie) и «лучший» (meilleur).
- ¹² ... (см. «Новую Элоизу», 17, 4). — В 17-ом письме (часть 4) Сен-Пре описал прогулку по Женевскому озеру и в устье Роны, вплоть до Мейери.
- ¹³ Мейери, Шильонский замок, Кларан, горы Ла-Валэ и Савойи... — Шелли называет места, описанные Руссо в его романе; см. примеч. 2 к предисловию к «Шестинедельной поездке». Описание гор в кантоне Валэ дано в письме 23, ч. 1.
- ¹⁴ ... где Юлия и ее возлюбленный едва не утонули... — См. 17 письмо из 4 части «Новой Элоизы».
- ¹⁵ Именно в Веве у Руссо родился замысел «Юлии». — Об этом Руссо вспоминает в «Исповеди»; в 1754 г. он совершил лодочную прогулку по Женевскому озеру, и его впечатления во многом определили содержание романа. Шелли и Байрон как бы плывут маршрутом Руссо.
- ¹⁶ .. дописывал свою «Историю». — В «Автобиографии» Э. Гиббон вспоминает свои чувства в тот момент, когда им были дописаны «последние строки последней страницы» многотомной «Истории упадка и гибели Римской империи»; Шелли и Байрон посетили дом Гиббона в Женеве 27 июня 1816 г., в 29-ю годовщину завершения «Истории».

ПИСЬМО IV

- ... ищите для нас жилище... — Шелли просил Пиккока подыскать загородный дом в Англии, куда они с Мери могли бы приехать.
- ² Матлок — Матлок Бат — английский курорт в графстве Дербшир.
- ³ Соссюр, Орас Бенедикт де (1740—1799) — известный швейцарский естествоиспытатель и путешественник. Ему принадлежат исследования об Альпах, и, в частности, о ледниках Монблана.

- ..внушительную, но мрачную гипотезу Бюффона...—Шелли имеет в виду гипотезу знаменитого французского натуралиста Жоржа Луи Леклера Бюффона (1707—1788), которую он высказал в своем сочинении «Теория земли» (1749).
- ⁵ ..Вам, пророкающему победу Арилана. — Ариман — в древнеперсидской мифологии божество, олицетворяющее злое начало, ему противостоял бог добра и света Ормузд; они находились в состоянии вечной борьбы за обладание миром. Шелли подразумевает здесь неоконченную и неопубликованную поэму Пикока «Ариман», рукопись которой хранится в библиотеке Британского Музея.
- ⁶ Туаз — старинная французская мера длины (около 2 м).
- ⁷ Монблан, подобно божеству стошков, является гигантским животным. — Стойки рассматривали природу как некое живое разумное целое, находящееся в постоянном движении.

ЖЕНЕВСКИЙ ДНЕВНИК

- Этот дневник вела Мери Шелли при участии Шелли в течение 18 августа—4 сентября 1816 г.; с небольшими изменениями и купюрами впервые он был опубликован ею в 1840 г. в книге «Перси Биши Шелли. Этюды, письма из-за границы, переводы и фрагменты» в качестве дополнения к «Истории шестинедельной поездки».
- ¹ с могильщиком Аполлона...—Льюис, Мэтью Грегори (1775—1818), английский писатель, один из создателей так называемого «готического романа», для которого характерна атмосфера тайн, зловещих видений, кладбищенских ужасов. Таков был известный роман «Амброзио, или Монах» (1796) и др. самого Льюиса. В «Английских бардах и шотландских обозревателях» (1809) Байрон, обращаясь к Льюису, писал: «Ты в царстве Аполлона подрядился || В могильщики. (Перевод С. Ильина). В конце мая 1816 г. Байрон приехал в Женеву и вскоре поселился на вилле Диодати, по соседству с Шелли. Здесь они встречались с Льюисом; об этих встречах повествуется далее в Дневнике.
- ² Литлтон, Джордж (1709—1773) — английский государственный деятель, историк и писатель; в частности, ему принадлежат «Диалоги мертвых» (1762) и «Четыре новых диалога мертвых» (1765).
- ³ Ле Рус — горы на французской территории, недалеко от Женевы, входят в систему Французско-Швейцарской Юры.
- ⁴ мадам де Ла Вальер...—Луиза Франсуаза де Лавальер (1644—1710), фаворитка Людовика XIV, мать нескольких его детей, в том числе Марии Анны де Бурбон, о которой говорится ниже; в 1674 г. постриглась в монахини и вела строгий, аскетический образ жизни.
- ⁵ ..восставшие 10 августа.—Шелли упоминает об одном из самых кульминационных моментов Французской революции: 10 августа 1792 г. в результате народного восстания Конвентом была занята столичная резиденция короля — Тюильрийский дворец, произошло свержение монархии. Шелли ошибочно переносит место действия в Версаль, с которым связаны бурные события осени 1789 г.; 5—6 октября этого года парижане штурмом взяли Версальский дворец и потребовали, чтобы король переехал в столицу.
- ⁶ Принцы Орлеанского дома, исключая Эгалите. — Орлеанский дом, Орлеанские принцы — несколько ветвей королевского дома, представленных младшими сыновьями царствующих фамилий, по традиции им отходило герцогство Орлеанское. Двое из Орлеанов были королями: Людовик XII (1498—1515) и Луи-Филипп (1830—1848); отец последнего, Людовик Филипп Жозеф (1747—1793), в годы революции принял имя Филиппа Эгалите («Равенство»), вступил в якобинский клуб, голосовал за казнь короля, но вскоре сам был заподозрен в покушении на власть и гильотинирован.
- ⁷ Ментенон, Франсуаза, маркиза д'Обинье (1635—1719) — фаворитка Людовика XIV, который состоял с ней в мorganатическом браке.

- ⁸ *Ричард I, Львиное сердце* (1157—1199) — английский король, участник третьего крестового похода.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВИТЬ РЕФОРМУ НА ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Это публицистическое сочинение опубликовано Ч. Оллиером в середине марта 1817 г.; в это время Шелли жил в г. Марло, Бэкингемшир.

¹ *«Корона и якорь»* — место собраний «Лондонского корреспондентского общества».

² ... с равным числом жителей в каждом. — Шелли выступает против полного несоответствия выборных округов количеству населения в них; палата общин состояла из депутатов от графств, городов и университетов с твердо установленным числом мест от каждой категории и от различных частей государства (Англия, Уэльс, Шотландия, Ирландия).

³ ... кто платит хотя бы минимальную сумму прямого налога. — Считая преждевременной постановку на обсуждение вопроса о всеобщем избирательном праве, Шелли предлагает небольшой избирательный ценз. Прямой налог — в противоположность налогу косвенному — взимается с доходов, а не с расходов.

⁴ *Картрайт, Джон* (1740—1824) — английский политический деятель и публицист, горячий сторонник демократических преобразований и борец за парламентскую реформу, выступал за всеобщее избирательное право.

⁵ доводы мистера Пейна. — По мысли Т. Пейна, высшей формой правления, обеспечивающей расцвет государства и полную свободу личности, является республика; эту точку зрения он развивал в *«Правах человека»* (1791—1792).

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ ПРИНЦЕССЫ ШАРЛОТТЫ

Памфлет был написан 11—12 ноября 1817 г. в г. Марло и сразу же отправлен Ч. Оллиеру. Ни одного экземпляра первого издания не сохранилось. В 1843 г. Томас Родд, издавая памфлет, утверждал, что это — перепечатка, ему же принадлежит заявление о том, что в свое время Шелли отпечатал лишь 20 экземпляров *«Обращения»*. Джонс (т. I, стр. 566) констатирует это как факт; Ингпен (т. IV, стр. 355) высказал предположение, что издание Т. Родда было первым, а его заверение о перепечатке — тактическим приемом.

Памфлет создан под впечатлением двух одновременно происшедших событий: жестокой расправы, которая была учинена над группой рабочих из г. Дерби, участников борьбы за парламентскую реформу, и смерти дочери принца-регента, единственной наследницы престола принцессы Шарлотты (1796—1817), умершей от родов вместе со своим новорожденным сыном. Среди многочисленных жертв правительственной репрессии были трое рабочих — Джереми Брандрет, Исаак Ладлам и Вильям Тернер, повешенные 6 ноября 1817 г., в день кончины принцессы.

¹ Мы жалеем об оперении, забывая об умирающей птице. — Шелли для эпиграфа использует цитату из книги Т. Пейна *«Права человека»* (1791—1792); это был ответ Пейна Э. Берку, скорбевшему в *«Размышлениях о Французской революции»* (1790) о казненной Марии-Антуанетте.

² *«Безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам»* — В. Шекспир. Гамлет (III, 1). Перевод М. Лозинского.

- ... *Хорн-Тук и Харди*. — *Хорн-Тук*, Джон (1736—1812), *Харди*, Томас (1752—1832), выдающиеся деятели демократического движения в Англии, активные руководители радикальных организаций — «Конституционного общества», «Лондонского корреспондентского общества» и др.; в 1794 г. оба предстали перед судом по обвинению в государственной измене, но массовый протест широких общественных кругов заставил правительство прекратить преследование их.
- ⁴ *Джен Грей* (1537—1554) — племянница Генриха VIII, известна своей трагической судьбой: после смерти малолетнего Эдуарда VI была провозглашена королевой Англии (1553), а через полгода обезглавлена.
- ⁵ *Королева Елизавета* — Елизавета Тюдор, королева Англии (1558—1603).
- ⁶ «*Значит у твоей смерти есть глаза во лбу*...» — *В. Шекспир*. *Цимбелин* (V, 4). Перевод П. Мелковой.
- ⁷ *До американской войны*. — Шелли подразумевает Войну за независимость, которую вели в 1775—1783 гг. Североамериканские Штаты.
- ⁸ *Вильгельм III* — правитель Нидерландов, после свержения Иакова II король Англии (1689—1702).
- ⁹ «*коринфские капители, украшающие общественное здание*»: — Шелли цитирует книгу Э. Берка «Размышления о Французской революции» (1790).
- ¹⁰ ... *за деяния своей дьявольской агентуры*. — Шелли здесь и далее говорит о провокациях, использовании полицейских агентов, вроде упоминающегося ниже некоего «Оливера», сыгравших зловещую роль в судьбе казненных в Дербии рабочих.

О ЖИЗНИ

Этюд написан, вероятно, в период 1812—1814 гг.; опубликован в журнале «Атенеум» 29 сентября 1832 г.

- ¹ о художнике можно было бы справедливо сказать... — См. примеч. 50 к «Защите Поэзии».
- ² ... «из вещества того же, что наши сны». — *В. Шекспир*. *Буря* (IV, 1). Перевод М. Донского.
- ³ .. «*смотрит и вперед, и назад*» — Шелли перефразирует слова Гамлета: «Глядящий и вперед, и вспять». — *В. Шекспир*. *Гамлет* (IV, 4). Перевод М. Лозинского.
- ⁴ *Драммонд*. — См. примеч. 5 к предисловию к поэме «Восстание Ислама».

О ЛЮБВИ

Этюд обычно датируется 1815—1819 гг. Впервые опубликован в журнале «Кипсик» за 1829 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФРАГМЕНТЫ, ПРЕДИСЛОВИЯ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

АССАСИНЫ

Фрагмент представляет собою начало задуманного, но не осуществленного большого произведения; написан во время путешествия Шелли и Мери на континент летом 1814 г. Опубликован в первый раз Мери Шелли в книге «Перси Биши Шелли. Этюды, письма из-за границы, переводы и фрагменты» (1840); комментируя данный

фрагмент, она связывает его с «Освобожденным Прометеем» (1820): по ее мысли, в последнем произведении царит тот же дух «внутреннего мира и всеобщего братства, основанного на любви» (*Инген*, т. VI, стр. 359).

- ¹ *Ассасины* — религиозно-политическая мусульманская секта, возникшая в XI в. на территории нынешнего Ирана; описание жизни и нравов племени ассасинов во фрагменте Шелли не имеет ничего общего с конкретными историческими обстоятельствами.
- ² ... *притеснениями и тиранией Рима*. — В 63 г. до н. э. Помпей (106—48 до н. э.) взял Иерусалим, а в 70 г. н. э., подавив восстание иудеев, император Тит захватил и разрушил город, навсегда лишив его политического значения. Последняя фаза борьбы освещена Тацитом в его «Истории», книге, которую читал Шелли в период работы над фрагментом.
- ³ *Гностики* — религиозно-мистическая секта, учение которой было распространено в I—III вв. н. э. и оказало влияние на развитие раннего христианства.
- ⁴ «... *хотя бы с одной из них*». — Шелли перифразирует евангельские изречения: см. Евангелие от Матфея (VI, 28—29) и Евангелие от Луки (XII, 24 и 27).
- ⁵ *Столица изверга Константина*. — В 330 г. император Константин I Великий (274—337) перенес столицу Римской империи в Византию, которая стала называться Константинополем. Победа Константина была достигнута в результате беспринципной и жестокой борьбы. Это было начало разделения Римской империи на два государства и образования двух церквей. (См. примеч. 3 к письму 163).

КОЛИЗЕЙ

Отрывок этюда был начат 25 ноября 1818 г. во время пребывания Шелли в Риме. *величайшего из поэтов*. — Гомера.
статуй Антиноя. — Т. е. скульптурных изображений любимца римского императора Адриана (117—138), юноши Антиноя (ум. 130).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ «ВОССТАНИЕ ИСЛАМА»

В ноябре 1817 г. Шелли опубликовал поэму «Лаон и Цитна, или Революция в Золотом Граде. Видение девятнадцатого столетия», которая была подвергнута критике на страницах торийского «Куотерли ревью» (автор обвинялся в безнравственности и атеизме) и изъята из обращения. В январе 1818 г. вышло переработанное Шелли издание поэмы под новым названием — «Восстание Ислама».

- ¹ ... *бурь, потрясших нашу эпоху*. — Здесь и далее Шелли имеет в виду события конца XVIII—начала XIX в. — революцию во Франции и ее последствия, наполеоновские войны, поражение Наполеона, реставрацию Бурбонов, усиление реакции, самым мрачным проявлением которой была деятельность Священного Союза, наконец, оживление национально-освободительного движения в Европе, — которые и определили революционно-романтический пафос лиро-эпической поэмы «Восстание Ислама».
- ² ... *реставрацию изгнанной династии*. — Династии Бурбонов.
- ³ *Эта безнадежность наложила печальный отпечаток и на литературу нашего времени*. — Связывая состояние общественной мысли с судьбами Французской революции, Шелли пронизательно определяет своеобразие и причины романтического настроения своего времени, рождение мотивов разочарования, уныния и мизантропии.
- ⁴ ... *вроде рассуждений мистера Мальтуса*. — Имеется в виду «Опыт о законе народонаселения» (1798).

- Драммонд, Вильям (1770?—1828) — английский мыслитель и публицист, автор ряда трактатов на политические и философские темы, одним из которых были «Академические вопросы» (1805).
- ⁶ — ...трагики Периклова века. — классики античной трагедии — Эсхил, Софокл и Еврипид.
- ⁷ — ...итальянцы, возродившие культуру античности... — Т. е. деятели итальянского Возрождения.
- ⁸ ...переводчики Библии... — Шелли высоко ценил достоинства Библии как литературного памятника. Впервые Библия была переведена на английский язык Джоном Уиклифом (ок. 1320—1384) и его сотрудниками между 1380—1384 гг. Этот перевод пользовался широкой популярностью, которая особенно возросла в XVI в., после Реформации.
- ⁹ ...драматургии века Елизаветы... — Писатели второй половины XVI в., вместе с Шекспиром обозначившие расцвет ренессансной драмы в Англии, так называемые «елизаветинцы»: Джордж Пиль (1558—1597), Томас Лодж (1558?—1625), Томас Нэш (1567—1601), Роберт Грин (1558?—1592), Кристофер Марло (1564—1593) и др.
- ¹⁰ Форд, Джон (1567—ок. 1640) — младший современник Шекспира, в творчестве которого проявился кризис послешекспировской драматургии.
- ¹¹ Спенсерова строфа — введена в поэтический оборот Э. Спенсером (1552—1599) в его поэме «Королева Фей», состоит из девяти строк (ababbcbcc); первые восемь — пятистопные, девятая — шестистопная (александрийская) строка. Спенсеровой строфой написана поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», к ней обращались Дж. Томсон, Дж. Китс и др.
- ¹² ...белый стих Шекспира и Мильтона... — Нерифмованным белым стихом написано большинство пьес Шекспира и поэмы Мильтона «Потерянный Рай» и «Возвращенный Рай».
- ¹³ Лонгин Кассий (ок. 213—273) — греческий философ и филолог, автор «Филологических бесед».
- ¹⁴ Буало-Депрео, Никола (1636—1711) — французский поэт и критик, крупнейший теоретик классицизма, автор «Поэтического искусства» (1674).
- ¹⁵ ...вынашивал поэму... — Имеется в виду поэма Лукреция «О природе вещей».
- ¹⁶ ...непристойного культа Аштарот... — В культе финикийской богини брака и любви, покровительницы оплодотворяющей силы природы, слишком откровенно чувственное начало.
- ¹⁷ ...недостойных преемников Сократа и Зенона. — Отмечая деградацию философии периода упадка Римской республики, Шелли противопоставляет этому Сократа (ок. 469—399 г. до н. э.) и Зенона (IV в. до н. э.), основываясь на сильных чертах их этики и самой их личности; Сократ, например, защищал в человеке принципы высокой нравственности, достоинства, стоик Зенон отличался крайне суровым образом жизни.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ «ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

Первые три акта «Освобожденного Прометея» были закончены весной 1819 г., четвертый — в декабре того же года; произведение опубликовано Ч. Олленером в 1820 г.

¹ В «Освобожденном Прометее»... — Заключительная часть трилогии Эсхила о Прометее — «Освобожденный Прометей» — дошла до нас в незначительных отрывках; Шелли излагает содержание мифа и указывает на характерное отличие его собственной интерпретации истории Прометея.

² ...является Сатана. — Здесь и далее Шелли дает глубокое истолкование центрального образа поэмы Дж. Мильтона «Потерянный Рай» (1667) — образа Сатаны, мощно воплощающего идею мятежа и протеста против деспотизма бога.

- ...развалины Бани Каракаллы... — При императоре Каракалле (211—217) в Риме были воздвигнуты общественные бани (термы), колоссальные руины которых сохранились.
- ⁴ ...писателями золотого века... — английскими писателями эпохи Возрождения.
- ⁵ Гесиод (VIII в. до н. э.) — автор поэм «Труды и дни» и «Теогония».
- ⁶ Флетчер, Джон (1579—1625) — английский драматург, современник Шекспира.
- ⁷ Драйден, Джон (1631—1700) — поэт и драматург, теоретик и наиболее последовательный сторонник классицизма в Англии XVII в.
- ⁸ Поп, Александр (1688—1744) — английский поэт первой половины XVIII в. и теоретик искусства, продолжавший традиции классицизма.
- ⁹ ...«страсть к переделке мира» — Шелли цитирует сочинение шотландского публициста Роберта Форсита (1766—1846) «Принципы морали (1805).
- ¹⁰ ...я согласен скорее угодить в ад с Платоном и лордом Бэконом, чем попасть на небо с Пэли и Мальтусом. — Шелли высоко ценил Платона и Бэкона как мыслителей и писателей; этическая и эстетическая концепция Платона оказала на Шелли влияние, его диалоги «Пир» (1820) и «Ион» (1820), а также фрагменты «Республики» он перевел на английский язык. Не менее постоянной была антипатия Шелли к современному представителю реакционной мысли, в частности, Мальтусу и Пэли. Пэли, Вильям — см. примеч. 4 к письму 34. Мальтус, Томас Роберт (1766—1834) — английский буржуазный экономист, священник, автор «Опыта закона о народонаселении» (1798), где развивал реакционную «теорию перенаселения», призывая трудящихся к аскетизму и воздержанию.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ «ЧЕНЧИ»

Трагедия «Ченчи» написана в мае—августе 1819 г., напечатана весной 1820 г. в Италии небольшим тиражом; второе издание вышло в 1821 г. в Лондоне; посвящена Ли Ханту.

- ¹ ...копия с портрета Беатриче... — См. примеч. 10 к письму 119.
- ² ...две пьесы об Эдипе... — Имеются в виду трагедии Софокла «Царь Эдип» «Эдип в Колоне».
- ³ — ...монолог Беатриче об ущелье... — П. Б. Шелли. Ченчи. (III, 1).
- ⁴ «El Purgatorio de San Patricio» — драма Кальдерона «Чистилище святого Патрика» (1636).
- ⁵ Палагинский холм — один из семи холмов, на которых был построен Рим, древнейшая часть города.
- ⁶ Замок Петрелла — Рокка Петрелла, поместье графов Ченчи.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЭМЕ «ЭЛЛАДА»

Поэма была закончена в октябре 1821 г., опубликована Ч. Оллиером в феврале 1822 г. Предисловие к «Элладе» трактует вопросы, связанные не только с ее творческим замыслом, но и с эстетическими и общественными взглядами Шелли в целом.

- ¹ ...которое он воспевает. — Здесь и далее Шелли имеет в виду национально-освободительное движение в Греции, горячим сторонником которого он был. Увлеченная, пламенная защита национальной независимости греческого народа определяет, в частности, те резкие, не лишённые открытой тенденциозности, выпады Шелли против политики царского правительства на Балканах, которые мы находим далее в предисловии к поэме «Эллада». Передовая общественная мысль тогдашней России горячо сочувствовала борьбе греков за свободу и независимость.

- ...подобная возвращению Ксеркса и поражению персов. — В трагедии «Персы», проникнутой героико-патриотическим пафосом, Эсхил изобразил победу греков над персами-завоевателями в период греко-персидских войн (VI—V вв. до н. э.); в финале трагедии свое поражение оплакивают сами персы и их царь Ксеркс.
- ³ ... с повозки Фесписа... — Считается, что древнегреческий драматург Феспис (VI в. до н. э.) был одним из тех, кто присоединил к дифирамбическому хору на празднествах в честь Диониса актера и тем самым определил зерно драмы; по преданию, вместе с труппой переезжал в повозке — отсюда выражение «повозка Фесписа», обозначающее странствующий театр.
- ⁴ ... едва ли получил бы Награду козла. — Шелли, вероятно, имеет в виду обычай, описанный Платоном в схолиях к «Государству»; козел — одна из трех наград победителю в состязании на празднике Диониса: первый поэт получал быка, второй — кувшин вина, третий — козла.
- ⁵ — ... козлиная песнь... — т. е. трагедия «Ченчи» (1819); слово «трагедия» этимологически состоит из двух частей — «трагос» (козел) и «оде» (песнь), что указывает на связь этого жанра с культом Диониса.
- ⁶ ... на море они выиграли не одну битву, а их поражение в Валахии отмечено героическими подвигами, более славными, чем победа. — В марте 1821 г. Александр Ипсиланти вторгся с группой единомышленников в Молдавию, пытаясь поднять восстание в дунайских княжествах, но не получил достаточной поддержки; собрав отряд, он во главе его дошел до Бухареста. Однако в июне 1821 г., в сражении при Драгошане, в Валахии, Ипсиланти был разбит и бежал; остатки отряда, не желая сдаваться врагу, взорвали себя в монастыре Секко. Греки одержали ряд побед на море, захватив несколько турецких военных кораблей, множество торговых судов.
- ⁷ «Анастасий» — см. примеч. 1 к письму 166.
- ⁸ ... перед которыми трепещут тираны. — Абзац, начинающийся словами «Если английский народ...» и завершающийся словами «... перед которыми трепещут тираны», был вычеркнут в гранках Ч. Оллиером при издании поэмы «Эллада» в 1822 г. Впервые восстановлен по гранкам Б. Форманом в его издании поэтических произведений Шелли в 1892 г. (Poetical Works of Percy Bysshe Shelley, vol. IV, p. 40—41).
- ⁹ Испанский полуостров уже свободен... В Италии... подрастает могучее племя. — Имеется в виду революция в Испании в 1821 г. и перспективы национально-освободительного движения в Италии.

О «МАНДЕВИЛЕ» ГОДВИНА

Роман В. Годвина «Мандевиль, история из жизни Англии XVII столетия» (1817) получил резкую оценку на страницах «Куотерли ревью». Шелли написал рецензию на этот роман для «Экзаминера» Л. Ханта, где она и была напечатана 28 декабря 1817 г. и подписана инициалами Р. Э., т. е. «Рыцарь Эльфов» (см. примеч. 2 к письму 81).

¹ «Политическая справедливость» (1793) — трактат Годвина.

² ... автором «Калеба Вильямса»... — В 1794 г. Годвин опубликовал свой роман «Вещи, как они есть, или Приключения Калеба Вильямса»; Фокленд — один из центральных образов этого романа.

³ «Сент-Леон» и «Флитвуд» — романы Годвина «Сент-Леон, повесть из жизни XVI столетия» (1799) и «Флитвуд, или Новый человек чувства» (1805).

⁴ «Опыт о гробницах» (1809) — книга очерков В. Годвина.

⁵ ... получше мистера Мальтуса или доктора Пэли... — см. примеч. 4 к письму 34.

⁶ ... замечательной женщины — его покойной жены... — Речь идет о Мери Уолстонкрафт (1759—1797), выдающейся деятельнице революционно-демократического движения в Англии конца XVIII в., публицистке и писательнице, матери Мери Шелли. Лучшие ее сочинения «Защита прав женщины» (1792), «Исторический и

нравственный взгляд на происхождение и развитие Французской революции и на воздействие, которое она оказала на Европу» (1794) и др. получили европейский резонанс.

⁷ Прекрасна философия! И не темна... — Шелли цитирует отрывок из «Комуса» Мильтона (476—478).

«неразличима в тусклом свете будней». — В. Вордсворт. Ода о бессмертии (76).
что «все суета» и «дом плача об умершем лучше дома пира». — Екклезиаств, VII, 2.

О РОМАНЕ «ФРАНКЕНШТЕЙНЕ»

Первый роман Мери Шелли — «Франкенштейн» был начат ею в Швейцарии летом 1816 г. и закончен в Англии, в Марло. Отвергнутый Мерреем и Оллиером, он был опубликован Лекингтоном в марте 1818 г. без имени автора, с предисловием Шелли, не подписанным им, и с посвящением Годвину.

¹ ... подобно жертве, о которой повествует автор... — Герой романа, молодой швейцарский ученый Виктор Франкенштейн, становится жертвой своего собственного создания — человекоподобного гиганта.

² Пелион громоздится на Оссе, а Осса на Олимп. — Шелли, говоря о стремительном развитии романа, намекает на древнегреческий миф о борьбе богов-олимпийцев с титанами, нагромождавших горы на горы.

³ .. злодеяния и ярость одинокого Чудовища... — Здесь и далее Шелли имеет в виду поступки детища Франкенштейна, которое мстит людям и своему создателю за собственное одиночество и обреченность в мире.

⁴ «слезы не струились по щекам...» — Шелли цитирует роман «Франкенштейн»; сцена в хижине описана в главе XIII.

О ВОЗРОЖДЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Вероятная дата создания фрагмента 1815 г.; впервые опубликован Т. Медвином в журнале «Атенеум» 24 ноября 1832 г.

¹ ... после взятия Константинополя... — В 1453 г. турецкий султан Магомет II захватил столицу Византийской империи Константинополь; византийские ученые, переехавшие в Европу, значительно обогатили представления гуманистов XV в. о философии и литературе древней Греции, способствовали дальнейшему росту гуманистического движения.

... философов-перипатетиков. — Перипатетики («гуляющие») — последователи Аристотеля, который учил, прогуливаясь взад и вперед по аллеям афинского Ликейя — роще, посвященной Аполлону Ликейскому. Наиболее известны имена Теофраста (390—305 гг. до н. э.), ставшего после смерти Аристотеля главой школы перипатетиков, греческого философа I в. до н. э. Андроника, который привел в порядок и издал сочинения Аристотеля, и др.

³ — ... пожар в Александрийской библиотеке. — Город Александрия, особенно начиная с момента воцарения в Египте Птолемея I (323 г. до н. э.), был местом оживленной научной деятельности в течение ряда веков; библиотеки при Музее и при храме Сераписа стали уникальными хранилищами древних рукописей. При осаде Александрии войсками Юлия Цезаря в 47 г. до н. э. большая часть этих рукописей сгорела.

ЗАМЕТКИ О СКУЛЬПТУРЕ РИМА И ФЛОРЕНЦИИ

Заметки сделаны в 1819 г. для собственного пользования, не для публикации; впервые небольшая часть их была напечатана Т. Медвином в «Атенеуме» (1832). Полностью все 60 фрагментов появились у Б. Формана в книге «Прозаические произведения Шелли» (1880).

- ¹ *Арка Тита* — Триумфальные ворота, воздвигнутые в 81 г. в честь победы императора Тита Флавия Веспасиана (41—81) над иудеями, разрушившего Иерусалим. На внутренней стороне прохода арки и на фризе изображены эпизоды взятия Иерусалима и триумфального шествия римлян.
- ² *Амфитеатр Флавиев* — т. е. Колизей, начатый императором Веспасианом и законченный его сыном Титом.
«*Лаокоон*» — группа, созданная скульпторами родосской школы Агесандром, Афиндором и Полидором, обратившимся к мифу о гибели троянского жреца Лаокоона и его двух сыновей. Лаокоон был жестоко наказан богами, предрешившими падение Трои, за то, что он пытался воспротивиться вводу в город деревянного коня: две огромные змеи, посланные Аполлоном, удушили свои жертвы. Скульптурная группа была найдена в начале XVI в. и хранится в Ватиканском музее.
- ⁴ «*Вакх и Амтел*» — скульптурная группа, хранящаяся в Ватиканском музее и изображающая Диониса (Вакха) и его любимца, прекрасного юношу Амтела (ἄμπελος — лоза).
- ⁵ «*Венера Анадиомена*» — «Венера, выходящая из воды», скульптурное изображение древнегреческой богини любви и красоты Афродиты.
- ⁶ *Губы не выражают бурной страсти как...* — Здесь обрыв текста.
- ⁷ *Аполлон Капитолийский* — т. е. статуя Аполлона, находящаяся в Капитолийском музее в Риме.
- ⁸ *Аполлон Бельведерский* — самая знаменитая статуя Аполлона, изображает бога в виде стрелка-лучника; хранится в Бельведере — Ватиканском дворце статуй в Риме.
- ⁹ *Минерва* — латинская форма имени древнегреческой богини Афины, богини мудрости, богини-воительницы, покровительницы ремесла, врачевания; атрибутами Афины были сова и змея. В Ватиканском музее находится статуя Афины Паллады.
- ¹⁰ *Под ширляндами плодов и цветов...* — Здесь обрыв текста.
- ¹¹ ... *Агава с головою Пенфея...* — Шелли воскрешает экзотическую атмосферу культа Диониса, поклоницы которого, вакханки (менады), вооруженные тирсами — жезлами, сопровождающая свои танцы звуками тамбуринов, приходили в состояние неистовства. Согласно древнегреческому мифу, Агава, дочь легендарного основателя Фив — Кадма, во время вакханалии растерзала собственного сына, Пенфея, противившегося культу, приняв его в исступлении за дикого зверя.
- ¹² «*Ниобея*» — скульптурная группа, возможно, работы Скопаса или Праксителя; копии отдельных фигур этой группы находятся в музее Уфици во Флоренции. Ниобея (Ниоба), жена Амфиона, царя Фив, дерзнула глумиться над богиней Латоной, которая родила всего лишь двух детей — Аполлона и Артемиду. В отместку за это Аполлон и Артемиды убили стрелами всех детей Ниобеи, и от горя она превратилась в камень, источающий слезы.
- ¹³ ... *ватиканский Аполлон...* — т. е. Аполлон Бельведерский, см. выше, примеч. 8.
- ¹⁴ ... *к своей всемогущей противнице.* — Т. е. богине Латоне.

О ДЬЯВОЛЕ И ДЬЯВОЛАХ

Эссе «О дьяволе и дьяволах» сочинен Шелли, вероятно, в 1819 г., не позже 1820 г.; опубликован впервые Б. Форманом в его издании «Прозаические произведения Шелли» (1880). Это ироническое и саркастическое эссе, направленное против

религиозных предрассудков, против абсурдности христианской мифологии и т. п., — одно из блестящих и своеобразнейших произведений Шелли.

¹ *Манихейское учение* — еретическое вероучение, распространенное особенно на Ближнем Востоке и в Римской империи с III в. н. э., сочетало элементы христианства с древнеперсидской религией; манихейство в целом отличается сильно выраженный дуалистический принцип, его основным догматом явилось утверждение, что мир пребывает в состоянии борьбы доброго и злого начал. Распространенное в широких народных слоях средневековья, манихейское учение жестоко преследовалось церковью и просуществовало до X в.

² *Книга Иова* — входит в состав древней части Библии и принадлежит к числу наиболее художественных библейских повествований; привлекала внимание английских романтиков — Блейка (серия иллюстраций), Шелли (его план написания лирической драмы) и др.

³ *Демокрит* (ок. 460—370 гг. до н. э.) — великий древнегреческий философ-материалист, один из основателей атомистической теории, утверждал, что миры не создаются богами, а возникают и уничтожаются в силу закона необходимости.

⁴ *Эпикур* (341—270 гг. до н. э.) — выдающийся греческий материалист и атеист древности, один из продолжателей материализма Демокрита, боролся против суеверия и невежества.

⁵ *Феодор* (конец IV в. до н. э.) — древнегреческий философ киренской школы, за свои взгляды прозванный «Атенстом»; в своем произведении «О богах» отвергал в принципе веру в богов.

⁶ *Аристотель* (384—322 гг. до н. э.) — величайший мыслитель древности, греческий философ.

⁷ *Платон* (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, мир — результат божественного творческого акта.

⁸ *Сократ* (469—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, выступавший с проповедью религиозно-нравственного учения.

⁹ ...наставником *Перикла*. — Шелли имеет в виду древнегреческого философа-материалиста Анаксагора (ок. 500—428 гг. до н. э.), снискавшего поддержку Перикла, благодаря заступничеству которого избежал наказания по обвинению в безбожии. Объясняя круговорот явлений в материальном мире, Анаксагор допускал существование некоей бесконечной и самовластной духовной движущей силы, которую он называл «умом»; предполагают, что среди слушателей Анаксагора был и молодой Сократ.

¹⁰ *Стоики* — философское направление, возникшее в древней Греции в III в. до н. и просуществовавшее до VI в. н. э.

¹¹ ...внимание мыслящей части человечества... — На этом фраза у Шелли обрывается.

¹² *Эскулап* — латинская форма имени Асклепия, бога врачевания в древнегреческой мифологии; в благодарность за исцеление больные обычно приносили в жертву богу петуха. Атрибут Эскулапа — змея как символ мудрости.

¹³ ...«и обиталище и имя». — *В. Шекспир*. Сон в летнюю ночь (V, 1). Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

¹⁴ ...о вечном огне или ядовитом черве, грызущем грешника. — Перефразировка цитаты из Евангелия от Марка (IX, 44).

¹⁵ «Люди разных стран равны в одном». — *В. Шекспир*. Трои и Крессида (III, 3). Перевод Т. Гнедич.

¹⁶ *Джонсон*, Сэмюэль (1709—1794) — выдающийся английский критик, лексикограф и писатель, отличавшийся крайней религиозностью.

¹⁷ *Юм*, Дэвид — см. примеч. 3 к письму 8.

¹⁸ читая его *Иезекиила*. — *Иезекиил* — пророк иудейский; здесь говорится о его пророчествах, которым противопоставляется художественность и поэтичность «Книги Иова».

¹⁹ Сколько заговоров и. — Здесь обрыв текста.

- его ангелов. . — т. е. падших ангелов, поддержавших мятежного Сатану.
 .. в грандиозных и возвышенных образах. — Имеется в виду поэма Дж. Мильтона «Потерянный Рай».
- ²² Гадара — город в древней Палестине, где, по Евангелию от Марка, Христос исцелил бесноватого.
- ²³ пифагорейскую гипотезу. . . — Шелли имеет в виду учение древнегреческого философа Пифагора (ок. 582—507 до н. э.) о метампсихозе, т. е. переселении душ.
- ²⁴ ... Закон лорда Эрскина. . . — Эрскин, Томас (1750—1823) — выдающийся английский юрист, защитник Т. Пейна; Шелли имеет в виду законопроект «За предотвращение жестокости к животным», который был внесен в парламент в 1809 г., но утвержден лишь в 1824 г.
- ²⁵ .. «летающим в бесконечность Адам» — Байрон. Манфред (I, 1).
- ²⁶ Гершель, Вильям (1738—1822) — английский астроном; главное внимание Гершеля было сосредоточено на звездной астрономии.
- ²⁷ «Как упал ты с неба, Люцифер, сын Зари?» — «Книга пророка Исаи» (XIV, 12).
- ²⁸ Сильваны, Фавны, великий Пан. . . — Пан — древнегреческий бог рощ и лугов, покровитель пастухов, охотников; в древнем Риме культ Пана слился с культом Фавна и имел множество других воплощений.
- ²⁹ . на службу лжи и уродству. — По мысли Шелли, христианская мифология разрушила и исказила прекрасные древнегреческие мифы.

ЗАЩИТА ПОЭЗИИ

Трактат «Защита Поэзии» написан в марте 1821 г. как ответ на статью Т. А. Пиккока «Четыре Века Поэзии», помещенную в первом и единственном номере «Литературного альманаха», который был издан Чарльзом и Джеймсом Оллиерами в 1820 г.; Шелли предполагал написать трехчастное сочинение, но выполнить это намерение ему не удалось. Братья Оллиеры не смогли опубликовать трактат; рукопись была передана Джону Ханту для опубликования в «Либерале», но в связи с тем, что журнал вскоре прекратил свое существование, трактат не был выпущен. Впервые «Защита Поэзии» была напечатана Мери Шелли в 1840 г. в книге «Этюды, письма из-за границы, переводы и фрагменты» Шелли.

- ¹ «... различных предметах» — Шелли цитирует трактат Ф. Бэкона «Успехи и развитие науки» (1605), III, 1.
- ² — ... обе эти роли. — Развертывая свое суждение об особой миссии поэта — общественного законодателя и провидца, Шелли подхватывает мысль Т. Пейна, выраженную последним в 7 главе «Века Разума» (1793).
- ³ таково следствие вавилонского проклятия. — Имеется в виду библейская легенда о смешении языков строителей Вавилонской башни, которые по воле бога перестали понимать друг друга.
- ⁴ ... конспективные изложения называют молью истории — они истребляют в ней поэзию. — Шелли перефразирует отрывок трактата Ф. Бэкона «Успехи и развитие науки» (II, 2).
- ⁵ Поэзия — это зеркало, которое дивно преображает то, что искажено. — Эти и подобные им рассуждения в «Защите Поэзии» о характере поэзии, ее преимуществе и отличии от истории переключаются с рассуждениями Аристотеля и некоторых предшественников Шелли в этой области, например, Ф. Сидни («Защита поэзии», 1580), Д. Юма («Исследование о человеческом разумении», 1748); как известно, Аристотель в своей «Поэтике» возвысил поэзию над историей как более философичную и серьезную.
- ⁶ ... Геродот, Плутарх, Тит Ливий — были поэтами. — Шелли называет имена авторов, сочинения которых отмечены большой долей художественности: Геродота (ок. 484—425 до н. э.), создателя «Истории греко-персидских войн»; Плутарха

- (ок. 46—126), автора «Сравнительных жизнеописаний»; Тита Ливия — см. примеч. 2 к письму 112.
- Циклические поэты* — древнегреческие поэты, продолжавшие традиции Гомера и в VIII—VI вв. до н. э. создавшие целый цикл эпических поэм, в которых прежде всего были разработаны различные разделы мифической истории Троянской войны, не вошедшие в «Илиаду» и «Одиссею», а также цикл сказаний об Эдипе.
- ⁸ «*Царь Эдип*» — первая часть трилогии Софокла об Эдипе.
- ⁹ «*Агамемнон*» — первая часть трилогии Эсхила «Орестея».
- ¹⁰ *Кальдерон, в своих Autos.* — В разнообразном творческом наследии Кальдерона имеются аллегорические драмы на религиозные темы — аутос сакраменталес.
- ¹¹ «*Филоклет*» — трагедия Софокла.
- ¹² *Трагедии афинских поэтов...* — т. е. Эсхила, Софокла и Еврипида.
- ¹³ ... «*Катон*» Аддисона... — «*Катон*» (1713) — политическая классическая трагедия на сюжет из истории древнего Рима, принадлежит перу английского писателя Джозефа Аддисона (1672—1719); Шелли точно подмечает подражательный характер драмы, хотя Аддисон и претендовал воскресить на английской почве как классические принципы античного искусства, так и гражданские нравы древности.
- ¹⁴ *Астрея* — прозвище богини справедливости Дике, управлявшей в золотом веке; когда нравы людей пришли в упадок, она удалилась от них.
- ¹⁵ *Энний*, Квинт (239—169 до н. э.) — выдающийся римский поэт, драматург и эпик.
- ¹⁶ *Варрон*, Публий Теренций — римский поэт I в. до н. э.
- ¹⁷ *Пакувий* (220 — ок. 130 до н. э.) — римский поэт и художник, ученик Энния, автор трагедий, являющихся главным образом обработкой произведений Еврипида.
- ¹⁸ *Акций* (170—85 до н. э.) — римский трагик, творчество которого отличалось тираноборческой направленностью; использовал в своей драматургии не только сюжеты греческой трагедии, но и сюжеты из истории Рима.
- ¹⁹ *Лукреций* (ок. 94—55 до н. э.) — выдающийся римский поэт-философ, автор поэмы «О природе вещей», отмеченной материалистическими и антирелигиозными тенденциями.
- ²⁰ *Публий Вергилий Марон* (70—19 до н. э.) — крупнейший поэт классического периода римской литературы, автор «Буколик», дидактической поэмы «Георгики» и эпической поэмы «Энеида».
- Квинт Гораций Флакк* (65—8 до н. э.) — выдающийся римский поэт, создавший «Оды», «Эподы», «Послания».
- ²² *Катулл*, Гай Валерий (ок. 87—54 до н. э.) — виднейший римский поэт, мастер любовной и политической лирики.
- ²³ *Публий Овидий Назон* (43 до н. э. — 18 н. э.) — крупнейший поэт классического периода римской литературы.
- ²⁴ *Камилл*, Марк Фурий (конец V — нач. IV в. до н. э.) — знаменитый римский политический деятель и полководец, согласно преданию, спас Рим от нашествия галлов.
- ²⁵ *Регул*, Марк Атилий (III в. до н. э.) — римский полководец и политический деятель, участник I Пунической войны; попал в плен под Карфагеном и был убит.
- ²⁶ ... *битвы при Каннах...* — В 216 г. до н. э. карфагенский полководец Ганнибал (247—183 до н. э.) в битве при Каннах разгромил армию римлян.
- ²⁷ ... «*вещего не дал им рок поэта*» — *Гораций*. Оды (IV, 9). Перевод Н. С. Гинцбург.
- ²⁸ ... *удивительная поэзия Моисея, Иова, Давида, Соломона и Исаяи...* — Шелли имеет в виду Ветхий завет, его вторую часть — «Книги Пророков».
- ²⁹ ... *три категории...* — т. е. мудрость, храбрость и умеренность; см. диалог Платона «Тимей».
- ³⁰ «... *тускнеет свет*», и «*ворон в лес туманный // Летит. Благие силы дня уснули. // Выходят слуги ночи на добычу*». — *В. Шекспир*. Макбет (III, 2). Перевод Ю. Корнеева. ... *какой великопленный порядок родился...* — Здесь и далее Шелли имеет в виду наступившую после средневековья эпоху Возрождения.
- ³² *Тимей* (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ пифагорейской школы.

- ³³ *Провансальские труверы, что значит «изобретатели».* — В XII—XIII вв. во Франции развивается рыцарская лирика, создателями которой были поэты Прованса — трубадуры, а на севере страны — труверы, мастера и новаторы поэтической формы; сами слова «трувер», «трубадур» происходят от глаголов «выскакивать», «изобретать» и т. п. Их творчество подготовило развитие лирики эпохи Возрождения. Шелли указывает на одного из величайших лириков итальянского Возрождения — Франческо Петрарку (1304—1374), автора «Канцоньере».
- ³⁴ *Данте еще лучше Петрарки понимал таинства любви.* — Это высокое суждение Шелли о Данте-лирике связано с книгой «Новая Жизнь», где была воспета Беатриче, а также с «Божественной Комедией», где «тема Беатриче» раскрывается вновь, но философски более осложненно и широко, особенно в третьей кантике — в «Раю».
- ³⁵ *«И книга стала нашим Галеотом».* — Данте. Божественная Комедия. Ад (V, 137). Перевод М. Лозинского. Во французском рыцарском романе о Ланселоте и его любви к королеве Женьевре (XII в.), который читали Франческа да Римини и ее возлюбленный Паоло, рыцарь Галеот способствует сближению героя и дамы его сердца.
- ³⁶ *...самым еретическим капризам.* — Шелли упоминает, в частности, о троянце Рифее, язычнике, которого Данте помещает в пределах рая («Рай», XX, 69); Рифей, по Данте, верил в пришествие Христа. Об этом герое, павшем при взятии Трои, писал Вергилий, называя его — «справедливости лучший блюститель». (Вергилий, Энеида. II, 427. Перевод Валерия Брюсова и Сергея Соловьева).
- ...из стаи пересмешников ни один...* — Констатируя упадок эпического жанра после Гомера, Шелли приводит в доказательство ряд примеров из творчества греческих и римских поэтов-подражателей, поэтов-«пересмешников». Аполлоний Родосский (ок. 295—215 до н. э.), автор крупнейшей героической поэмы эллинистического периода «Аргонавтика»; Квинт Смирнский (конец V в. н. э.), пытался продолжить «Илиаду» в поэме «Прибавление к Гомеру»; Нонний Панопольский (IV—нач. V в. н. э.), продолжавший традиции эллинистической эпической поэмы; Марк Анней Лукан (39—65), автор «Поэмы о Троянской войне», главное его произведение — «Фарсалия, или О гражданской войне»; Стаций Публий Папиний (I в. н. э.), автор поэмы «Фиваида», незавершенной поэмы «Ахилл» и др.; Клавдий Клавдиан (вт. пол. IV в. н. э.) — один из последних поэтов античного периода, автор поэмы «Похищение Прозерпины».
- если отказывать в звании эпоса...* — Шелли, называя Мильтона «третьим эпическим поэтом» (после Гомера и Данте), упоминает «Энеиду» Вергилия, «Неистового Роланда» Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, «Лузиады» Камоэнса, «Королеву Фей» Спенсера как произведения, отступающие от принципов истинно эпического жанра.
- ³⁹ *...он создал язык...* — В своей высокой оценке Шелли исходил из того, что создатель «Божественной Комедии» был строителем итальянского литературного языка не только как автор художественных произведений, но и как автор трактатов «Пир» и «О народной речи».
- ...Люцифером той звездной стаи...* — Люцифер — здесь: название утренней звезды — Венеры, которая возвещает о наступлении нового дня; Шелли называет Данте предтечей великих гуманистов Возрождения.
- ⁴¹ *Чосер, Джеффри (1340—1400)* — крупнейший английский писатель XIV в., автор «Кентерберийских рассказов», отец Возрождения в Англии; на творчество Чосера оказало большое влияние раннее итальянское Возрождение и, в частности, Боккаччо.
- ⁴² *...автор «Четырех Веков Поэзии»* — Т. Л. Пикок.
- ⁴³ *«Имущему дастся, а у неимущего отнимется».* — Перефразировка Евангелия от Матфея (XXV, 29).
- ⁴⁴ *«Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира»* — Шелли неточно цитирует Екклезиаста (VII, 2).

. как у бедной кошки в поговорке, наше «хочу» слабее, чем «не смею». — Шелли перефразирует отрывок из «Макбета»: В. Шекспир. Макбет (I, 7). Перевод Ю. Корнеева.

⁴⁶ Маммон — в древнесирийской мифологии бог стяжательства и богатства.

⁴⁷ «стихи несочиненные». — Дж. Мильтон. Потерянный Рай (IX, 21).

⁴⁸ .. пятьдесят шесть вариантов первой строки «Неистового Роланда». — Ариосто кропотливо работал над поэмой «Неистовый Роланд» (1507—1532), по многу раз отделявая иногда отдельные строки.

⁴⁹ «Дух сам себе отчизна, и в себе || Из Неба Ад творит, из Ада — Небо». — Дж. Мильтон. Потерянный Рай (I, 254—255).

⁵⁰ «Никто не заслуживает называться Творцом, кроме Бога и Поэта». — Эта мысль Тассо неоднократно появляется у Шелли (в письме к Пикоку от 16 августа 1818 г., в этюде «О жизни», в письме к Л. Ханту от 14—18 ноября 1819 г.); у Тассо она выражена, хотя и несколько иными словами, в его «Рассуждении об эпической поэзии». По всей вероятности, Шелли встретил эту фразу в комментариях Дж. К. Хобхауза к IV песни «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрона («Historical Illustrations of the Fourth Canto of Childe Harold», 1818).

... «превыше прочих смертных вознесен». — Дж. Мильтон. Потерянный Рай (IV, 828—829).

⁵² В этой части нашего трактата. — Анализу современной ему литературы Шелли предполагал посвятить следующие разделы «Защиты Поэзии».

⁵³ ... «Тезеидами» современных силплых Кодров. — См. примеч. 4 к письму 154.

⁵⁴ . были. созданиями... — Бавий и Мевий — бездарные поэты-рифмоплеты, произведения которых до нас не дошли, зло высмеянные не только Вергилием (Третья Эклога), но и Горацием («Эподы», № 10); их имена стали как бы нарицательными. В стихотворении А. С. Пушкина «К Жуковскому» (1816) также возникает сатирический образ Мевия.

... век высоких духовных свершений. — Глубокая и смелая оценка тогдашней романтической литературы, высказанная здесь и ниже автором «Защиты Поэзии», выдержала испытание временем.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ

- 1792, августа 4 — в Филд-плейс (графство Сассекс) родился Перси Биши Шелли.
1802—1804 — обучение в подготовительной школе «Сион-хаус Академи», близ Лондона.
1804—1810 — обучение в привилегированной школе в Итоне.
1810, весна — издан первый роман Шелли, «Застропци».
1810 — издание первого сборника стихов Шелли (совместно с его сестрой Элизабет) «Подлинные стихотворения Виктора и Казеры».
1810, октябрь — поступление Шелли в Оксфордский университет; знакомство с Т. Дж. Хоггом.
1810, ноябрь — издание «Посмертных фрагментов Маргарет Никольсон».
1810, декабрь — издание романа «Сент-Ирвин, или Розенкрейцер».
1811, январь — знакомство с Харриет Вестбрук, будущей женой Шелли, школьной подругой его младших сестер.
1811, февраль — анонимное издание брошюры «Необходимость атеизма».
1811, март 25 — исключение из Оксфорда Шелли и его друга-единомышленника Хогга в связи с установлением авторства «Необходимости атеизма».
1811, август — тайный отъезд из Лондона и женитьба Шелли на Харриет Вестбрук в Эдинбурге; переезд в Кесвик (Кемберленд), где в ту пору жили Саути, Вордсворт и Кольбридж.
1812, февраль—апрель — пребывание Шелли в Ирландии, его активное участие в политической жизни Дублина и поддержка национально-освободительной борьбы ирландцев; публикация и распространение политических памфлетов «Обращение к ирландскому народу», «Декларация прав» и др.
1812, октябрь — встреча Шелли с В. Годвином.
1812, ноябрь—1813, февраль — Шелли живет в местечке Таниролт, близ Тремадока (Уэлс).
1813, март—апрель — вторая поездка Шелли в Ирландию.
1813, май — выход в свет поэмы «Королева Маб».
1813, июнь 23 — рождение старшей дочери Шелли — Ианты.
1814 — выход брошюры Шелли «Опровержение деизма».
1814, июль — Шелли вступает в гражданский брак с Мери Уолстонкрафт Годвин.
1814, июль—сентябрь — поездка на континент Шелли и Мери Уолстонкрафт Годвин, которых сопровождает Клер Клермонт, падчерица В. Годвина.
1814, ноябрь 30 — рождение сына Шелли и Харриет, Чарльза Шелли.
1815, январь — смерть деда Шелли, сэра Биши Шелли.
1815, март — смерть двухнедельного ребенка Мери Шелли.
1816, январь 24 — рождение Вильяма Шелли, сына Мери и Шелли.
1816, февраль — выход в свет поэмы «Аластор».
1816, май—август — вторичная поездка на континент, пребывание в Швейцарии (совместно с Мери и Клер Клермонт); знакомство и начало дружбы с Байроном.
1816, октябрь 9 — самоубийство старшей сестры Мери, Фанни Имлей, воспитанной В. Годвином.
1816, ноябрь — самоубийство Харриет Шелли.

- 1816, декабрь 30 — церковный брак Шелли и Мери.
- 1817, март — решением Канцлерского суда Шелли лишен права воспитания детей от первого брака.
- 1817, март — Шелли поселяется в г. Марло; публикация «Предложения поставить реформу на всенародное голосование»; завершение поэмы «Лаон и Цитна»; начало работы над «Розалиндой и Еленой».
- 1817, сентябрь 2 — рождение дочери Шелли — Клары Эвериной.
- 1817, ноябрь — написание памфлета «Обращение к народу по случаю смерти принцессы Шарлотты».
- 1817, ноябрь — выход в свет «Лаона и Цитны»; по требованию издателей поэма была изъята из продажи, пересмотрена Шелли и под новым заглавием, «Восстание Ислама», опубликована в январе 1818 г.
- 1818, март — Шелли с семьей поселяется в Италии.
- 1818, июль — окончание работы над поэмой «Розалинда и Елена» (напечатана весной 1819 г.).
- 1818, сентябрь 24 — смерть дочери Шелли — Клары Эвериной.
- 1818, осень — работа над поэмой «Юлиан и Мадалла», окончание I акта «Освобожденного Прометея».
- 1818, декабрь—1819, февраль — пребывание Шелли в Неаполе; переезд в Рим.
- 1819, март—апрель — написание II и III актов «Освобожденного Прометея».
- 1819, июнь 7 — смерть сына Шелли — Вильяма.
- 1819, лето — работа над трагедией «Ченчи» (напечатана в 1820 г.).
- 1819, август 16 — разгон войсками массового митинга на Питерфилде, близ Манчестера (так называемая «Манчестерская резня» или «Питерлоо»).
- 1819, сентябрь — написание поэмы «Маскарад Анархии».
- 1819, октябрь — переезд Шелли из Ливорно во Флоренцию.
- 1819, ноябрь 12 — рождение сына Шелли — Перси Флоренса.
- 1819, осень — написание сатиры «Питер Белл Третий», трактата «Философский взгляд на реформу»; окончание «Освобожденного Прометея» (опубликован в августе 1820 г.).
- 1820, январь — переезд Шелли в Пизу.
- 1820, январь—1823 — революция в Испании.
- 1820, июнь—август — написаны «Ода к Свободе», «Жаворонок», «Письмо к Марии Гисборн».
- 1820, июль — начало Неаполитанской революции.
- 1820, август—октябрь — написаны «Ода к Неаполю», поэма «Атласская волшебница», сатира «Эдип Тиран, или Тиран-Толстоног».
- 1821, январь—февраль — работа над поэмой «Эпипсихидион» (напечатана анонимно в мае 1821 г.).
- 1821, февраль—март — Шелли работает над трактатом «Защита Поэзии».
- 1821, февраль 23 — смерть от туберкулеза Дж. Китса в Риме.
- 1821, март — начало Пьемонтской революции.
- 1821, апрель — начало национально-освободительного восстания в Греции.
- 1821, май—июнь — написание поэмы «Адонаис», посвященной памяти Китса (напечатана в июле 1821 г.).
- 1821, октябрь — написание поэмы «Эллада» (опубликована в феврале 1822 г.).
- 1822 — работа над неоконченной исторической трагедией «Карл Первый».
- 1822, май—июнь — Шелли пишет поэму «Торжество жизни».
- 1822, июль 8 — трагическая гибель Шелли, утонувшего в Средиземном море, в заливе Специя, вместе со своим другом капитаном Э. Вильямсом и юнгой Ч. Вивианом; их тела были найдены через несколько дней и кремированы.
- 1822, август 16 — погребение праха Шелли на Новом протестантском кладбище в Риме, близ могилы сына Шелли, Вильяма; сердце было увезено в Англию.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

- Август Октавиан 132
 Адамс мисс 56, 63, 461
 Аддисон Джозеф 420, 516
 Адольфус Джон 86, 466
 — «Продолжение истории Англии» 86, 466
 Адриан 508
 Акций 422, 516
 Александр Македонский 232, 491
 Аллегри Грегорио 479
 Альбани Франческо 160, 477
 Альберт Великий 81, 465
 Альфонсо I герцог Феррарский 156
 Альфиери Витторио 260, 493, 496
 Анакреон 189
 Анаксагор 449, 514
 Андроник 512
 Аникст А. А. 438
 Антонин Пий 161, 478
 Аполлоний Родосский 427, 517
 — «Аргонавтика» 517
 Ариосто Лодовико 141, 143, 144, 155, 156, 183, 420, 476, 477, 517, 518
 — «Неистовый Роланд» 427, 431, 476, 477, 517, 518
 Аристотель 23, 399, 512, 514, 515
 — «Поэтика» 515
 Аристофан 482
 — «Облака» 482
 Аркадий 494
 Арнольд Мэтью 447
 Архий 469
 Афанасий Александрийский 8, 13, 454

 Байрон Аннабелла 108, 109, 499
 Байрон Аллегра 116—122, 129, 130, 133, 135—139, 146, 149, 152, 208, 209, 217, 218, 233, 239, 241, 245, 250—252, 254, 258, 264, 276, 440, 468, 472, 474—477, 494, 498—501
 Байрон Джордж Гордон 106—109, 111, 112, 114—118, 120, 123, 129, 130, 133, 135—138, 148, 149, 152, 154, 165, 182, 185, 204, 208, 212, 217—219, 233, 234, 236, 239—259, 260, 262—267, 269, 271, 273—276, 279, 280, 282—286, 304, 326, 392, 437, 442, 443, 447, 448, 452, 455, 460, 470—472, 475, 476, 479, 480, 485, 487, 491—497, 499—502, 504, 505, 515, 518, 519
 — «Английские барды и шотландские обозреватели» 505
 — «Беппо, венецианская» 139, 152, 475
 — «Видение Суда» 286, 501
 — «Второе письмо Джону Меррею» 492
 — «Двое Фоскари» 269, 498
 — «Дон Жуан» 152, 208, 218, 233, 245, 249, 250, 258, 263, 285, 447, 485, 494—497, 501
 — «Жалоба Тассо» 120, 472
 — «Записки» 494
 — «Канн» 269, 273, 275, 281, 448, 498, 499
 — «Лара» 119
 — «Манфред» 118—121, 233, 447, 472, 515
 — «Марино Фальеро, дож Венеции» 241, 249, 256, 258, 260, 491—493
 — «Паломничество Чайльд Гарольда» 107, 109, 119, 233, 258, 304, 447, 470, 472, 477, 491, 495, 502, 509, 518
 — «Письмо Джону Меррею по поводу порочащих суждений преподобного В. Л. Баулса о жизни и сочинениях Попа» 492, 493
 — «Сарданапал» 269, 498
 — «Сонет к Шильону» 491
 — «Шильонский узник» 119, 502
 Бальмонт К. Д.

* Указатель составлен О. К. Логиновой.

- Баррюэль Огюстен 68, 463
 Баулс Вильям Лесли 235, 250, 492, 495
 — «Неизменные законы поэзии» 492
 Бейль Пьер 99, 469
 — «Исторический и критический словарь» 469
 Белшем 189, 482
 Бентам Иеремия 93, 191, 203, 467, 482, 484
 Бердетт Фрэнсис 56, 72, 80, 461, 464, 465
 Беккариа Чезаре 93, 203, 467, 484
 — «Dei delitti e репе» («Исследование о преступлениях и наказаниях») 93, 467
 Бердон Вильям 191, 482
 — «Материал для размышлений» 191, 482
 Бересфорд Вильям Кэrr 72, 464
 Берк Эдмунд 506, 507
 — «Размышления о Французской революции» 506, 507
 Беркбек Моррис 175, 479
 — «Заметки о путешествии по Америке» 479
 — «Письма из Илинойса» 479
 Беркли Джордж 184, 481
 — «Опыт новой теории зрения» 481
 — «Трактат о принципах человеческого познания» 481
 Бернет Гилберт 231, 491
 — «История моего времени» 231, 491
 Бернс Роберт 93, 467
 — «Тэм О'Шентер» 467
 Блейк Вильям 514
 Бэтарт Генри, епископ Норичский 194, 482
 Блэкстон Вильям 56, 461
 — «Комментарии к Законам Англии» 461
 Боас Луиза Шутц 442
 Бойнвил миссис 92, 94, 170, 206, 467, 468
 Бойти 229, 488
 Боккаччо Джованни 183, 390, 427, 429, 481
 — «Декамерон» 207, 481
 Бонивар Франсуа 502
 Брандрет Джереми 337—339, 506
 Браунинг Роберт 442
 Брум Генри 87, 466, 475
 Брут 30
 Брюсов В. Я. 517
 Буало-Депрео Никола 373, 509
 — «Поэтическое искусство» 509
 Буонапарте см. Наполеон
 Бурбон Мария Анна де 505
 Бюффон Жорж Луи Леклер 324, 505
 Бэкон Фрэнсис 194, 265, 372, 377, 415, 429, 433, 497, 510, 515
 — «Успехи и развитие науки» 515
 Вакка Берлингиери Андреа 286, 501
 Валентиниан III 244, 494
 Варрон Публий Теренций 422, 516
 Вейсхаупт Адам 455
 Велларий 162, 478
 Вергилий Публий Марон 66, 98, 137, 377, 422, 427, 433, 457, 477, 516—518
 — «Буколики» («Эклоги») 516, 518
 — «Георгики» 85, 155, 477, 516
 — «Энеида» 99, 427, 516, 517
 Верто Рене Обер 86, 466
 — «История революций Римской республики» 86, 466
 Вестбрук Джон 19, 31, 45, 52, 119, 120
 Вестбрук Элиза 16, 17, 19, 24, 39, 41, 65, 73, 75, 77, 80, 85, 91, 93, 115, 116, 445, 455, 467, 471, 472
 Вестбрук Харриет см. Шелли Харриет
 Виванн Чарлз 520
 Вивiani Эмилия 229, 240, 246, 288, 289, 489—491, 493, 496, 500, 502
 Вигано Сальваторе 474
 Вильгельм Завоеватель 36
 Вильгельм III Оранский 339, 463, 507
 Вильямс Эдвард Эллеркер 280, 282, 285, 484, 501, 520
 Вильямс Джейн 258, 272, 280, 283, 285, 484, 496, 499, 501
 Вольтер Аруэ Франсуа Мари 13, 86, 337, 429, 448, 453
 Вордсворт Вильям 48, 51, 57, 103, 143, 185, 210, 218, 385, 386, 460, 470, 471, 475, 484, 485, 512
 — «Мысли британца о покорении Швейцарии» 485
 — «Ода о бессмертии» 512
 — «Питер Белл» 484
 — «Строки, написанные близ Тинтернского аббатства» 471
 — «Терн» 475
 Газдрубал 162, 478
 Галиньяни Джованни 485
 Галла Пластиция 243, 494
 Гамба Пьетро 258, 267, 276, 494, 496, 497
 Ганнибал 423, 478, 516

- Гварини Джованни Баттиста 156, 477
 — «Верный пастух» («Pastor fido») 156, 477
 Гверчино (Барбиери Джованни Франческо) 160, 477
 Гвидо Рени 158—160, 169, 171, 176, 379, 381, 477, 480
 — «Избиение младенцев» 158
 — «Магдалина» 169
 — «Распятый Христос» 158
 — «Madonna lattante» («Мадонна, кормящая грудью») 158
 Гвиччиоли Тереза 240, 241, 244, 246, 252, 253, 256, 263, 264, 494, 496
 Гей Джон 456
 — «Опера нищих» 456
 Гейне Генрих 448
 Гельвеций Клод Адриан 24, 30, 457, 458
 — «Об уме» 457, 458
 Генри Джон 80, 465
 Генрих VIII 507
 Геродот 86, 142, 416, 515
 — «История греко-персидских войн» 515
 Гершель Вильям 409, 515
 Геснод 377, 510
 — «Труды и дни» 510
 — «Теогония» 510
 Гетте Иоганн Вольфганг 272, 497, 499, 500
 — «Фауст» 260, 265, 272, 276, 497, 499, 500
 Гилли Джон 86, 466
 — «История древней Греции» 86, 466
 Гиббон Эдуард 13, 86, 191, 319, 429, 454, 466, 504
 — «Автобиография» 504
 — «История упадка и гибели Римской империи» 13, 86, 319, 454, 466, 504
 Гинцбург Н. С. 516
 Гисборн Джон 140, 184, 196, 201, 211, 212, 221, 223, 224, 232, 234, 264, 271, 272, 278, 475, 482, 497, 499, 500
 Гисборн Мария 140, 179, 196, 234, 266, 273, 280, 281, 475, 492
 Гиффорд Вильям 111, 112, 164, 222, 239, 471, 478, 488, 493
 Гнедич Т. 514
 Годвин Вильям 7, 8, 12, 47, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 74, 78, 80, 82, 96, 99, 101, 117, 122, 124, 130, 144, 178, 180, 182, 191, 212, 226, 265, 284, 385, 386, 438, 444—446, 453, 454, 456, 461—465, 468—470, 473, 475, 476, 482, 486, 496, 497, 503, 511, 512, 518
 — «Исследование о политической справедливости» 61, 70, 75, 191, 371, 385, 386, 445, 446, 453, 456, 461, 463
 — «Калеб Вильямс» 385, 386, 388, 511
 — «Мандевилль» 125, 126, 385, 386, 388, 470, 503, 511
 — «О народонаселении. Ответ на «Опыт» мистера Мальтуса» 212, 476, 486, 497
 — «Опыт о гробницах» 385, 511
 — «Сент-Леон» 385, 511
 — «Флитвуд» 385, 462, 511
 — «Энкуайрер. Размышления о воспитании, нравах и литературе» 191, 482
 Годвин Вильям младший 126, 473
 Годвин Джон 8, 454
 Годвин (Имлей) Фанни 108, 466, 468, 472, 518
 Годвин Мери Джейн 75, 79, 80, 468
 Годвин Мери Уолстонкрафт — см. Шелли Мери
 Голищев-Кутузов И. Н. 502
 Гольбах Поль-Анри 465
 — «Система Природы» («La système de la Nature») 81, 465
 Гомер 110, 112, 211, 373, 377, 416, 418, 421, 426, 433, 484, 493, 508, 516, 517
 — «Илиада» 240, 493, 516, 517
 — «Одиссея» 484, 516
 Гонорий 244, 494
 Гораций Флакк Квинт 85, 377, 423, 433, 504, 516, 518
 — «Оды» 516
 — «Послания» 516
 — «Эподы» 516, 518
 Грей Джен 338, 507
 Грей Томас 486, 492
 — «Бард» 492
 — «Шествие поэзии» 486
 Грин Роберт 509
 Гриффид Джейн 485
 Гриффитс Джеймс 21, 456
 Гроув Джон 17, 18, 21, 76, 92, 455
 Гроув Томас 464
 Гроув Харриет 453, 454
 Грэм Эдвард Фергюс 5, 31, 453, 458
 д'Аламбер Жан 86
 Данн Генри 283, 501
 Данте Алигьери 135, 137, 160, 169, 179, 183, 208, 253, 262, 288, 376, 377, 390, 402, 413, 415, 425—427, 429, 500, 501
 — «Божественная Комедия» («Divina Commedia») 240, 426, 500, 517
 — «Ад» 409, 425

- «Новая Жизнь» («Vita Nuova») 425, 517
 — «О народном красноречии» 517
 — «Рай» («Paradiso») 281, 409, 413, 425, 500, 517
 — Сонет 12 (LII) 502
 — «Чистилище» («Purgatorio») 281, 409, 425, 500
 Дарвин Эразм 86, 466
 — «Зоономия, или Законы органической жизни» 86, 466
 Дауден Эдвард 442
 Дейрел Джон 8, 454
 Де Квинси Томас 460
 Делиль Жак 457
 Дель Россо 216, 230, 487
 Демокрит 399, 449, 514
 Демосфен 281
 Джонс Вильям 182, 189, 212, 481
 — «Греческая грамматика» 182, 212
 Джонс Фредерик Л. 441, 443, 452, 457—460, 462, 469, 470, 474, 483, 485, 489, 490, 495, 499, 501, 506
 Джонсон Бен 143, 475
 — «Всяк по-своему» 143, 475
 Джонсон Сэмюель 403, 514
 Доменикино (Доменико Дзампиери) 160, 477
 Донской М. 507
 Доукинс Эдвард 276, 500
 Драйден Джон 377, 510
 Драммонд Вильям 88, 191, 345, 371, 467, 507, 509
 — «Академические вопросы» 345, 371, 509
 — «Эдип» 88, 467
 Дэвис Скроп Бердмор 108, 470
 Дюмон Пьер Этьен Луи 93, 467
 — «О наказании и воздаянии» 467
 — «Рассуждение о гражданском и уголовном законодательстве» 467
 Еврипид 377, 418, 509, 516
 Елизавета Тюдор 338, 372, 507, 509
 Жозефина Богарне 294, 503
 Замбелли Антонио Лега 236, 492, 495
 Зевксис 160, 477
 Зенкевич М. 487
 Зенон 374, 456, 509
 Иаков II Стюарт 463, 507
 Ильин С. 505
 Ингпен Роджер 452, 453, 458, 462, 464, 467, 468, 473—475, 483, 485, 490, 498, 499, 506, 507
 Ипсиланти Александр 264, 497, 511
 Итон Даниель Исаак 82, 85, 466
 Кабанис Пьер-Жан-Жорж 86, 466
 — «Об отношениях между физической и нравственной природой человека» 466
 Кавальканти Гвидо 502
 Калверт Вильям 53, 459, 460
 Кальдерон де ла Барка Педро 180, 224, 260, 265, 269, 281, 380, 418, 425, 429, 480, 510, 516
 — «Devocion de la (Поклонение кресту)» 281
 — «El purgatorio de San Patricio» («Чистилище святого Патрика») 380, 510
 — «Los dos amantes del cielo» («Небесные возлюбленные») 281
 Камилл Марк Фурий 423, 516
 Камоэнс Луис де 517
 — «Лузиады» 427, 517
 Кант Иммануил 85, 86, 88, 260, 265, 490
 — «Критика чистого разума» 490
 Каракалла 375, 510
 Карл II 420
 Карлайл Ричард 186, 187, 190—196, 203, 449, 481, 482
 Каррачи Аннибале 169, 478
 Картрайт Джон 335, 506
 Каслри Стюарт Роберт 87, 193, 229, 404, 466, 490
 Каstrуччо Кастракани 496
 Катулл 423, 516
 Квинт Смирнский 427, 517
 — «Прибавление к Гомеру» 517
 Кеймс лорд (Генри Хоум) 13, 454
 — «Опыты о принципах морали и естественной религии» 454
 Кемберленд Ричард 194, 482
 — «Наблюдатель» 194, 482
 Кент Элизабет 474, 478
 Керран Амелия 462
 Керран Джон Филпот 65, 68, 71, 78, 462, 465
 Кин Эдмунд 176, 479, 480
 Киннерд Дуглас Джеймс Вильям 108, 109, 470
 Киркман Джозеф 483
 Китс Джон 181, 182, 212, 218, 219, 222, 223, 226, 230, 233, 235, 236, 239, 262, 272, 279, 437, 443, 471, 473, 480, 486—488, 490, 492, 495, 509, 520

- «Гиперион» 218, 223, 226, 233, 235
236, 239, 262, 486
- «Ламия, Изабелла, Канун св. Агнесы и другие стихотворения» 487
- «Сон и поэзия» 492
- «Эндимион» 213, 222, 480, 486, 488
- Клавдиан Клавдий 427, 517
- «Похщение Прозерпины» 517
- Кларк Вильям 493, 496
- Кларк Эдвард Дэниел 140, 475
- «Путешествия в различные страны Европы, Азии и Африки» 140, 475
- Клермонт Клер 107, 108, 110, 111, 115—119, 121, 122, 130, 132, 133, 136—139, 142, 146, 151, 154, 170, 175, 180, 199, 208, 209, 217, 220, 228, 232—234, 236, 239, 241, 242, 245, 246, 250, 258, 267—269, 276, 280, 283, 293, 294, 296, 325, 468, 470, 472, 487, 490, 497—500, 503, 519
- Клермонт Чарлз 199, 483, 486
- Климент VIII 378
- Клиффорд Ричард 463
- «Мемуары, иллюстрирующие историю якобинства» 463
- Коббет Вильям 132, 172, 211, 478, 479, 485
- Кодр 232, 491
- Колсон Уолтер 232, 249, 491, 495
- Колридж Джон Тейлор 481
- Кольридж Сэмюэль Тейлор 48, 57, 105, 108, 272, 460, 470, 471, 479, 499
- «Кристабель» 112, 471
- «Раскаяние» 479
- Конгрив Вильям 458
- «Невеста в трауре» 458
- Константин I Великий 354, 508
- Констанций 244, 494
- Коплстоун Эдвард 61, 462
- Корнуолл Барри см. Проктер Брайан Уолтер
- Корнеев Ю. Б. 516, 518
- Корреджо Антонио Аллегри да 158, 477
- Крокер Джон Уилсон 488
- Крэг Джеймс Генри 80, 465
- Ксенофан 54, 461
- Лаваллетт Антуан Мари Шиманс 308, 503
- Лавальер де Луиза Франсуаза 329, 330, 505
- Ладлам Исаак 337—339, 342, 506
- Лега см. Замбелли Антонио Лега
- Ли Августа 109, 471
- Ливий Салинатор 478
- Ливий Тит 144, 162, 416, 423, 478, 515
- «История Рима» 478
- Линней Карл 193, 482
- Литатон Джордж 327, 505
- «Диалоги мертвых» 505
- «Новые диалоги мертвых» 505
- Ллойд Чарлз 184, 481
- Лозинский М. А. 460, 485, 507, 517
- Локк Джон 13, 26, 47, 74, 81, 84, 429
- Локхарт Джон Гибсон 495
- «Джон Буль» 495
- Лонг 211, 486
- «Дафнис и Хлоя» 486
- Лонгдилл Пинсон Уилмот 104, 105, 114, 115, 119, 120, 122, 124, 172, 470, 489
- Лонгин Кассий 373, 509
- «Филологические беседы» 509
- Лонгман, издатель 473
- Лодж Томас 509
- Лоулесс Джон 73, 464, 467
- Лоуренс Вильям 97, 468
- Лукан Марк Анней 98, 99, 418, 427, 517
- «Поэма о Троянской войне» 517
- «Фарсалия» 98, 99, 468, 517
- Лукреций Тит 374, 422, 426, 427, 449, 509, 516
- Луи-Филипп 505
- Льюис Мэтью Грегори 326, 505
- Лэм Каролина 109, 470
- «Гленарвон» 108, 470
- Лэм Джон 184, 479
- Лэм Чарлз 480, 481
- Людвик XII 505
- Людвик XIV 329, 330
- Людвик Филипп Жозеф Орлеанский 505
- Лютер Мартин 427
- Маврокордато Александр 260, 267, 491
- Магомед II 512
- Макмиллан 124, 473
- Маккиавелли Никколо 261, 421
- «Жизнеописание Каструччо» 496
- Мальтус Томас Роберт 70, 125, 144, 154, 174, 225, 265, 371, 377, 385, 463, 476, 477, 507, 510, 511
- «Опыт закона о народонаселении» 371, 463, 477, 507, 510
- Манди Джозеф 7, 11, 453
- Мансо Джованни Баттиста 474
- «Жизнь Торквато Тассо» 474
- Мария-Антуанетта 330, 506
- Мария-Луиза 294, 315, 478, 503, 504
- Марини Джамбаттиста 281, 500

- Марло Кристофер 509
 Маршак С. Я. 467
 Медвин Томас Чарлз 44, 45, 199, 203, 219, 220, 225, 267, 452, 459, 483, 484, 487, 488, 495, 497, 501, 512, 513
 — «Освальд и Эдвин. Восточный очерк» 484
 — «Пиндарей» 203, 204, 484
 — «Sketches in Hindoostan and other Poems» 488
 Мейсон миссис (леди Маунткэшел) 213, 214, 219, 220, 250, 251, 254, 269, 483, 484.
 Мейсон мистер (Тай Джордж) 254, 483, 486, 495
 Мелкова П. 507
 Ментенон Франсуаза 506
 Меррей Дж. 108, 111, 112, 139, 182, 214, 245, 470, 485, 486, 494, 497, 499, 512
 Метастазιο Пьетро 281, 500
 Микеланджело Буонаротти 155, 168, 169, 183, 429
 — «Страшный Суд» 168, 169
 Миллани, танцовщица 132, 136, 474
 Милль Джеймс 498
 — «История британской Индии» 498
 Милман Генри Харт 235, 239, 479
 — «Фацио» 474, 479
 Милльтон Джон 66, 89, 230, 238, 273, 337, 372, 373, 376, 386, 400, 402, 405, 415, 420, 426, 427, 429, 431, 457, 474, 476, 477, 488, 490, 495, 496, 509, 512, 515, 517, 518
 — «Возвращенный Рай» 509
 — «Комус» 495, 512
 — «Лисидас» 477
 — «Потерянный Рай» 240, 375, 400, 402, 426, 431, 476, 488, 490, 496, 515, 518
 Мокатта Монсей 453
 Моксон, издатель 442
 Молини, библиотечкарь 221, 269, 488, 498
 Мориц Вл. 479
 Моруа Андре 448
 — «Ариэль» 448
 Мур Томас 86, 123, 124, 126, 128, 182, 204, 245, 255, 275, 284, 447, 473, 474, 494, 501
 — «Лалла Рук» 473
 Мур Эдвард 86, 466
 — «Индийский Пантеон» 86, 466
 Мэтьюрин Чарлз Роберт 474
 — «Бертрам» 474
 Найт Ричард Пейн 231, 491
 — «Ландшафт» 491
 — «Опыт о живописном с практическими заметками о деревенском орнаменте» 491
 Наполеон I Бонапарт 86, 87, 193, 261, 466, 502, 503, 504
 Нарсес 162, 478
 Нерон Клавдий 478
 Неупокоева И. Г. 438
 Новелло Винсент 202, 483
 Нонний Панопольский (Панополитанский?) 427, 517
 Норткот Джеймс 108, 470
 Норфолк герцог (Хоурд Чарлз) 45, 46, 49, 84, 87, 92, 459, 466
 Ноэль леди 274, 499
 Ньюджент Кэтрин 77, 79, 464, 465
 Ньютон Исаак 13, 74, 450
 Ньютон Джон Фрэнк 467, 468, 479
 Ньютон миссис 94, 468
 Овидий Назон Публий 90, 423, 516
 — «Метаморфозы» 90
 О'Коннор Артур 68, 463
 О'Коннор Роджер 68, 463
 Оллиер Джеймс 515
 Оллиер Чарлз 124, 126, 132, 145, 172, 176, 178, 181, 184, 200, 205, 207, 211, 213, 215, 224, 226, 230, 231, 236, 261, 265, 266, 270—273, 279, 473, 479—481, 486, 488—491, 496—498, 502, 506, 511, 512, 515
 — «Иневиля» 473, 480
 — «Олтам» 181, 473, 480
 Олман, издатель 271
 О'Нийл Элиза 176, 479
 Оуэн Роберт 193, 482
 Оуэнсон Сидни 27, 457
 — «Миссионер, индийская» 27, 457
 Паккиани Франческо 253, 495
 Пакувий 422, 516
 Парацельс Филипп Аурелий 81, 465
 Паркинсон Джеймс 54, 461
 Парменид 456
 Пейн Найт 491
 Пейн Томас 56, 63, 191, 449, 461, 482, 506, 515
 — «Век Разума» 191, 449, 482, 515
 — «Права человека» 461, 506
 Пек Э. Уолтер 452
 Перикл 399, 514
 Персиваль Спенсер 56, 461

- Петрарка Франческо 141, 160, 183, 377, 425, 427, 429, 417
- Пикок Томас Лав 95, 96, 102, 104, 113, 131, 133, 139, 142, 145, 152, 154, 157, 161, 165, 166, 170, 172, 174, 175, 179, 182, 184, 205, 210, 212, 217, 223, 225, 230—232, 248, 265, 269, 319, 442, 468—470, 474—480, 483, 485, 488—491, 494, 495, 498, 502, 504, 505, 515, 517
- «Аббатство кошмаров» 143, 145, 174, 469
- «Мелинкорт» 113, 223, 249, 469, 471
- «Maid Marian» («Юная Мариан») 485
- «Хедлонг Холл» 113, 223, 469, 471
- «Четыре Века Поэзии» 231, 232, 427, 433, 488, 515, 517
- Пилфорд Джон 24, 50, 455, 457, 458, 460, 464
- Пиль Джон 509
- Пиндар Питер см. Уолкотт Джон
- Пифагор 424, 515
- Платон 126, 141, 142, 144, 145, 193, 224, 225, 265, 377, 378, 386, 391, 399, 400, 415, 423—425, 449, 476, 501, 510, 511
- «Пир» 126, 141, 144, 265, 288, 475, 476, 482, 501, 510, 514, 516
- «Апология» 193, 482
- «Государство» 511
- «Ион» 225, 510
- «Республика» 424, 510
- «Тимей» 516
- «Федр» 146, 476
- Плиний Младший 134, 474
- Плутарх 86, 416, 515
- «Сравнительные жизнеописания» 515
- Полгрейв Фрэнсис 442
- Полидори Джон Вильям 108, 470
- Поп Александр 9, 235, 377, 454, 457, 492, 510
- «Опыт о человеке» 454
- Прайс Эвидейл 231, 491
- «Опыт о живописном» 491
- Пракситель 513
- Принц (впоследствии Георг IV) 51, 65, 76, 77, 80, 196, 460, 464, 485
- Принцесса Уэльская (Каролина) 326, 464, 485, 486
- Принцесса Шарлотта 336—338, 342, 506
- Притмен Томлайн Джордж 8, 454
- Проктер Брайан Уоллер (Корнуолл Барри) 218, 225, 231, 232, 235, 262, 272, 487, 491, 492, 497
- «Гигес» 219, 487
- «Драматические сцены» 487
- «Мирандола» 262, 497
- «Сицилийская повесть» 218
- Протасьев С. Н. 497
- Птолемей I 512
- Пушкин А. С. 518
- «К Жуковскому» 518
- Пэджет Генри Вильям 51, 460
- Пэли Вильям 47, 377, 385, 459, 510, 511
- «Принципы моральной и политической философии» 47, 459
- Рафаэль 159, 160, 169, 171, 183, 429, 433, 477
- «Святая Цецилия» 159, 477
- Ревли Генри 198, 211, 221, 234, 265, 475, 482, 483, 492, 497
- Регул Марк Антоний 423, 516
- Редферн 80, 464, 465
- Рейнольдс Джон Гамильтон 80, 465, 471
- «Питер Белл. Лирическая баллада» 484
- Ривингтон Чарлз 194, 482
- Рид Томас 81, 464
- «Исследование человеческого разума» 465
- Ричард I Львиное Сердце 330, 506
- Ричардсон Сэмюэль 476
- «История сэра Чарлза Грандисона» 476
- Ричардсон Вильям 124, 473
- Робертс Даниэль 278, 282, 500
- Робинсон, издатель 7, 10, 453, 454
- Родд Томас 506
- Роджерс Сэмюэль 118, 472
- Ромилли Сэмюэль 189, 482
- Россетти Вильям Майкл 456, 458, 461
- Россини Джакомо 474
- Роуэн Арчибальд Гамильтон 66, 462
- Румфорд Томпсон Бенджамин 86, 466
- Руссо Жан-Жак 13, 25, 311, 313, 315, 318, 319, 337, 425, 429, 457, 502—504
- «Исповедь» 25, 504
- «Юлия, или Новая Элоиза» 313, 316—319, 502, 504
- Саррани Элизабета 160, 477
- Саути Роберт 41, 48, 51—53, 57, 60, 64, 86, 89, 100, 152, 164, 165, 184, 185, 209, 214, 231, 237, 239, 249, 457, 460, 466, 467, 469, 477, 478, 481, 485—487, 491, 493, 494
- «Жанна д'Арк» 460

- «История Бразилии» 86, 466
 — «История войны на Пиренейском полуострове» 491
 — «Проклятие Кехамы» 53, 249, 457, 487, 494
 — «Талаба-разрушитель» 89, 467
 — «Уот Тайлер» 237, 460, 493
 Сервантес Мигель 492
 — «Нумансия» 492
 Сиббер Колли 499
 — «Ричард III» 499
 Сгриччи Томмазо 229, 230, 490
 Семенов-Тянь-Шанский А. П. 504
 Скопас 513
 Сидней Олджернон 68, 463
 Сидни Филипп 515
 — «Защита поэзии» 515
 Симонид Кеосский 143, 475
 Скотт Вальтер 27, 145, 261, 457, 476, 495, 496
 — «Видение дона Родерика» 27, 457
 — «Ламмермурская невеста» 496
 — «Легенда о Монтрозе» 496
 — «Пуритане» 496
 — «Рассказы трактирщика» 262, 496
 — «Черный карлик» 496
 — «Эдинбургская темница» 496
 Смит Адам 13
 Смит Вильям 189, 190
 Смит Джеймс 496
 Смит Хорейс 122, 166, 182, 201, 207, 227, 248, 256, 258—260, 265, 274, 284, 473, 489, 496, 499, 501
 — «Амаринтус Нимфолепт» 496, 499
 — «Отвергнутые речи» (с Джеймсом Смитом) 496
 Сократ 194, 374, 399, 402, 418, 482, 509, 514
 Соловьев С. 517
 Соссюр Орас Бенедикт де 323, 504
 Софокл 160, 379, 421, 456, 491, 509, 510, 516
 — «Антигона» 232, 456
 — «Филоктет» 419, 516
 — «Царь Эдип» 182, 419, 481, 510, 516
 — «Эдип в Колоне» 491, 510
 Спенсер Эдмунд 86, 372, 418, 425, 433, 509, 517
 — «Королева Фей» 86, 427, 472, 517
 Спиноза Бенедикт 85, 86, 449
 Сталь Анна Луиза Жермена де 108, 470
 Стаций Публий Папиний 427, 517
 — «Ахилл» 517
 — «Фиваида» 517
 Стерн Лоренс 480
- «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» 480
 Стокдейл Джон Джозеф 6, 7, 11, 35, 453
- Тай Джордж — см. мистер Мейсон
 Тассо Торквато 135, 141, 146, 153, 155, 156, 183, 402, 418, 425, 432, 433, 474, 476, 477, 495, 517, 518
 — «Аминтас» 495
 — «Освобожденный Иерусалим» 156, 427, 477, 517
 — «Рассуждение об 518
- Тафф Джон 238, 267, 493, 497
 Тацит Корнелий 301, 317, 503, 508
 — «История» 503, 508
 Тейлор и Хесси, издатели 122, 272, 473
 Телль Вильгельм 301, 503
 Теофраст 512
 Тернер Вильям 99, 337—339, 342, 506
 Тернер Корнелия 93, 467, 468
 Тернер Томас 469
 Тиберий 404
 Тимей 424, 516
 Тит Флавий Веспасиан 392, 508, 513
 Тита см. Фальчнери
 Тициан 169, 478
 — «Даная» 169
 Толстой Л. Н. 450
 Томсон Джеймс 509
 Трелони Эдвард Джон 278, 280—283, 286, 442, 500, 501
 — «Воспоминания о Байроне и Шелли» 500
- Уайз Томас Дж. 442
 Уиклиф Джон 509
 Уилки и Робинсон, издатели, 7, 453
 Уилсон Джон 460.
 Уиттон Вильям 16, 45, 52, 63, 77, 455, 459
 Уолкот Джон (Питер Пиндар) 204, 484
 Уолстонкрафт Мери 303, 386, 466, 503, 511
 — «Защита прав женщины» 511
 — «Исторический и нравственный взгляд на происхождение и развитие Французской революции и на воздействие, которое она оказала на Европу» 512
 — «Письма, написанные во время краткого пребывания в Швейцарии, Норвегии и Дании» 503
 Уоррен 271
 Уортли Монтегью Мери 306, 503

- «Письма леди Мери Уортли Монтегью, написанные во время ее путешествий» 503
 Уоткинс Дж. 500
 — «Мемуары о жизни и сочинениях лорда Байрона» 500
 Уотсон 463
 Уэсли Ричард Коули 47, 51, 459, 460
 Фабер Джордж Стенли 22, 24, 25, 26, 456, 457
 Фальчиери Джованни Баттиста (Тита) 246, 276, 494, 500
 Феодосий I Великий 243, 494
 Феодор 399, 514
 — «О богах» 514
 Феофан 197, 422, 483
 Фердинанд 166
 Феспис 382, 511
 Филдинг Генри 444
 Филипп Орлеанский 330
 Фицвильям Вильям Вентворт 197, 482
 Флауэр Бенджамен 68, 463
 Флетчер Вильям 241, 493
 Флетчер Джон 377, 476, 510
 Форд Джон 373, 509
 Форман Бакстон 511, 513
 Форсит Роберт 510
 — «Принципы морали» 510
 Франклин Бенджамин 76, 464
 Франческини Маркантонио 159, 477
 Франц I 478
 Фукидид 86
 Фюзели Генри 132, 474
 Хаммер 439
 Хант Джон 455, 466, 495, 515
 Хант Ли 14, 90, 91, 114—116, 118, 119, 121, 123, 127, 128, 131, 132, 139, 154, 164, 171—173, 177, 180—186, 196, 198, 201, 205—207, 212, 218, 219, 232, 237, 245, 254, 255, 258, 264, 268, 272, 273, 279, 282, 283, 285, 286, 444, 449, 454, 455, 466, 471, 474, 475, 478—484, 491, 493, 495, 498, 501, 510, 511, 518
 — «Аминтас» 256
 — «К Перси Шелли» 474
 — «Листва» 474, 475, 477, 478
 — «Нимфы» 256, 495
 — «Повесть о Римини» 113, 471
 — «Робин Гуд» 203, 484
 Хант Марианна 131, 132, 136, 140, 165, 178, 183, 198, 218, 219, 274, 283, 286, 474, 478, 487, 501
 Хант Торнтон 203, 484
 Харди Томас 337, 507
 Хейуорд 101, 469
 Хемпден Джон 68, 463
 Хенсон Джон 110, 471
 Хитченер Элизабет 26, 30, 32, 35, 38, 39, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 67, 72, 75, 84, 438, 445, 457, 459, 460—464, 466
 Хобхауз Джон Кэм 108, 172, 470, 471, 479, 494, 518
 Хогг Джон 35
 Хогг Томас Джефферсон 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 37—39, 41, 50, 53, 54, 84, 86, 88, 92, 97, 98, 172, 175, 179, 180, 182, 205, 207, 211, 232, 249, 272, 280, 440, 441, 453—459, 466—468, 484, 498, 519
 — «Леонора» 10, 11, 25, 453
 — «Мемуары князя Алексея Хейматова» 453
 Хон Вильям 195, 482
 Хоппнер Изабелла 148—150, 152, 476, 477
 Хоппнер Ричард Белгрейв 149, 152, 241, 476
 Хорн-Тук Джон 337, 507
 Хоуп Томас 495
 — «Анастасий, или Мемуары современного грека» 383, 495, 511
 Хукем Томас 85, 87, 90, 91, 115, 140, 154, 466, 475, 502
 Цезарь Юлий 106, 313, 512
 Цицерон Марк Туллий 47, 97, 99, 154, 415, 459, 468, 469, 477
 — «Речь в защиту поэта Архия» 99, 469
 — «Речи против Верреса» 97, 469
 — «Тускуланские беседы» 477
 Ченчи Беатриче 176, 379, 380, 381, 479, 480
 Ченчи Франческо 378, 380, 382, 479, 480
 Чосер Джеффри 427, 429, 517
 — «Кентерберийские рассказы» 517
 Шекспир Вильям 110, 148, 160, 169, 180, 372, 373, 376, 377, 379, 415, 419, 425, 429, 459, 460, 462, 474, 476, 478—480, 485, 487, 493, 496, 499, 504, 507, 509, 514, 516, 518
 — «Благородные родичи» («Два благородных родственника») (вместе с Дж. Флетчером) 146, 476

- «Буря» 507
 — «Гамлет» 460, 462, 485, 496, 507
 — «Генрих IV» 479
 — «Генрих VIII» 459
 — «Король Лир» 379, 419
 — «Макбет» 480, 493, 516, 518
 — «Отелло» 132, 419, 474
 — «Ричард III» 499
 — «Ромео и Джульетта» 459
 — «Сон в летнюю ночь» 504, 514
 — «Тит Андроник» 169, 478
 — «Троил и Крессида» 499, 514
 — «Цимбелин» 507
 — «Юлий Цезарь» 487
 Шелли Биши, дед поэта 34, 50, 63, 458, 519
 Шелли Вильям, сын поэта 104, 107, 110, 115, 118, 119, 121, 122, 126, 130, 148, 151, 269, 469—471, 476, 484, 498, 519, 520
 Шелли Джон, брат поэта 443
 Шелли Ианта, дочь поэта 93, 95, 115, 467, 472, 489, 519
 Шелли Клара Эверина, дочь поэта 121, 122, 148, 151, 152, 472, 476, 479, 484, 519, 520
 Шелли Мери, сестра поэта 453
 Шелли леди, невестка поэта 441, 442
 Шелли Мери (Мери Уолстонкрафт Годвин) 95—97, 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 116—119, 121, 122, 125, 126, 129, 132, 133, 136, 139, 141—152, 154, 165, 170, 173—175, 178—181, 183, 184, 196, 198, 199, 204—206, 209, 212, 213, 216, 218, 220, 221, 224, 226, 232—234, 238, 240, 242, 246, 250, 258—261, 264, 266, 268—270, 273, 276, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 288, 325, 440—442, 444, 445, 454, 461, 468, 471—473, 476, 478, 479, 480, 483, 488, 490, 491, 493—496, 498, 500—502, 504, 505, 507, 515, 519
 — «Вальперга, или Жизнь и приключения Каструччо, князя Лукки» 261, 480, 488, 494, 496, 498
 — «Лодор» 440
 — «Франкенштейн, или Современный Прометей» 139, 143, 145, 164, 271, 388, 389, 473, 474, 476, 478, 480, 512
 Шелли Перси Флоренс, сын поэта 198, 205, 214, 217, 242, 269, 441—443, 454, 483, 498, 520
 Шелли Тимоти, отец поэта 12, 15—17, 21, 25, 26, 33—35, 45, 49, 50, 52, 60, 61, 63, 77, 87, 92, 101, 440, 443, 454, 455, 457, 486
 Шелли Элизабет, мать поэта 15, 16, 26, 27, 34, 36, 45, 52, 83
 Шелли Чарлз Биши, сын поэта 115, 472, 489, 518
 Шелли Харриет (Вестбрук Харриет) 16—18, 24, 27, 31, 38—44, 48, 51, 52, 54, 56, 60, 63—66, 69, 72, 73, 75, 77—80, 82, 85—92, 94, 115, 116, 441—446, 453, 455—459, 462, 467, 468, 471, 472, 487, 519
 Шелли Элизабет, сестра поэта 6, 9—11, 15, 17, 23, 25—27, 29, 49, 452—454, 456, 458
 Шелли Эллен, сестра поэта 77, 453
 Шервуд и Нили, издатели 127
 Шеридан Ричард 444
 Шиллер Фридрих 266, 497, 499
 — «Валленштейн» 499
 — «Die Jungfrau von Orleans» («Орлеанская дева») 266, 497
 Шифферс Л. 481
 Шлегель Фридрих 482
 Шревелиус Корнелиус 212, 486
 Щепкина-Куперник Т. Л. 459, 504, 514.
 Эбингер леди 443
 Эджком Ричард 16, 455
 Эдуард III 292, 503
 Эдуард VI 507
 Элдон Джон Скотт 119, 472
 Элленборо лорд 87
 Эммет Роберт 77, 465
 Энний Квинт 422, 516
 Энсор Джордж 26, 27, 457
 — «О народном просвещении» 457
 Эпикур 391, 399, 514
 Эрскин Томас 408, 515
 Эсхил 154, 189, 205, 246, 265, 375, 377, 378, 382, 413, 477, 494, 509, 511, 516
 — «Агамемнон» 205, 419, 494, 516
 — «Освобожденный Прометей» 375, 509
 — «Персы» 265, 382, 511
 Ювенал 232, 491
 Юм Дэвид 13, 81, 84, 86, 191, 403, 429, 454, 465, 514, 515
 — «История Англии» 466
 — «Опыты о морали, политике и литературе» 466
 — «Исследование о человеческом разумении» 515
 Юм Томас 227, 489
 Юстиниан I 478

УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ ШЕЛЛИ

- «Адонаис» 236, 238, 256, 260, 262, 265, 266, 270, 273, 279, 486, 492, 493, 494, 520
«Аластор» 124, 113, 114, 469, 470, 518
«Англия в 1819 году» 485
«Ассасины» 437, 439, 503
«Атласская волшебница» 230, 488, 520
«Восстание Ислама» 128, 130, 209, 227, 239, 262, 438, 446, 467, 473, 474, 480, 481, 485, 486, 489, 507, 508, 519, 520
«Гимн Духовной Красоте» 112, 471
«Декларация прав» 76, 464, 519
«Жаворонок» 520
«Записки о шестинедельной поездке по некоторым областям Франции, Швейцарии, Германии и Голландии» (совместно с Мери Шелли) 443
«Застропци» 6, 61, 70, 72, 438, 461, 519
«Защита Поэзии» 263, 272, 437, 446, 450, 490—492, 497, 499, 507, 515, 518, 520
«Женевский дневник» 442, 443
«Извлечения из Библии» 463, 466, 85
«Исследование причин, по которым Французская революция не смогла принести счастье человечеству» 62
«Карл Первый» 231, 262, 269, 271, 273, 281, 490, 520
«К звезде» 458
«Колизей» 439
«Королева Маб» 88—90, 117, 121, 237, 260, 446, 459, 460, 467, 472, 493, 494, 496, 519
«К Эмили Вивиани» 489
«Лаон и Цитна, или Революция в Золотом Граде» см. «Восстание Ислама»
«Любовь розы» 458
«Мать и сын» 461
«Маскарад Анархии» 520
«Мимоза» 283, 501
«Монблан» 290
«Мужам Англии» 485
«На могилу Роберта Эммета» 465
«Обращение к ирландскому народу» 63, 70, 462—464, 519
«Обращение к народу по случаю смерти Принцессы Шарлотты» 449, 520
«Ода к Неаполю» 226, 230, 489, 520
«Ода к Свободе» 483, 486, 520
«О Дьяволе и дьяволах» 448, 513
«О жизни» 446, 518
«О необходимости атеизма» 15, 24, 61, 66, 453, 455, 457, 462, 518
«Опыт о литературе, искусствах и нравах афинян. Фрагмент» 446
«Освобожденный Прометей» 154, 172, 176, 177, 181, 184, 185, 200—202, 211, 213, 223, 224, 227, 231, 235, 236, 256, 262, 273, 463, 477, 479, 480, 484, 486, 492, 501, 508, 509, 520
«Письмо к Марии Гисборн» 520
«Питер Белл Третий» 203, 484, 520
«Подлинные стихотворения Виктора и Казеры» 519 (с Элизабет Шелли)
«Предложения о филантропической ассоциации» 462—464
«Принц Атаназ» 488
«Розалинда и Елена» 181, 209, 272, 474, 476, 480, 519, 520
«Сент-Ирвин, или Розенкрейцер» 8, 25, 60, 70, 72, 438, 453, 457, 461
«Сон Марианны» 478
«Строки, написанные близ Евганейских холмов» 172
«Строки, написанные при известии о смерти Наполеона» 266, 497
«Торжество жизни» 520
«Философский взгляд на реформу» 483

- «Ченчи» 175, 180, 182, 200, 201, 205, 209, 212, 224, 226, 227, 235, 256, 262, 378, 455, 479—481, 483—485, 492, 510, 511, 520
- «Эдип Тиран, или Тиран-Толстоног» 486, 520
- «Эллада» 265, 266, 270, 275, 279, 382, 491, 497, 510, 511, 520
- «Эпипсихидион» 226, 265, 279, 489, 490, 520
- «Юбер Ковен» («Исследование причин, по которым Французская революция не смогла принести счастья человечеству») 57, 62, 63, 64, 438
- «Юлиан и Маддало» 224, 225, 230, 447, 452, 480, 483, 488, 490, 520

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Шелли. Портрет, приписываемый Эдварду Э. Вильямсу. Акварель.

Шелли ребенком. Миниатюра работы неизвестного художника.

Томас Джефферсон Хогг студентом. Силуэт.

Вильям Годвин. Гравюра Робертса по портрету Томаса Керсли.

Мери Шелли в возрасте девятнадцати лет. Акварель работы неизвестного художника.

Томас Л. Пикок в 1803 г. Портрет работы неизвестного художника.

Клер Клермонт. Портрет работы Амелии Керран.

Байрон после прогулки верхом. Силуэт работы Марианны Хант.

Мери Шелли. Миниатюра работы Реджинальда Истмена.

Вилла Маньи. Последнее место жительства Шелли.

Яхты «Дон Жуан» (сверху) и «Боливар». Рисунок Эдварда Э. Вильямса.

Рисунок Шелли на рукописи «Восстания Ислама».

Противник, напавший на Шелли в Таниролте. Рисунок Шелли на деревянном экране.

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМА. СТАТЬИ. ФРАГМЕНТЫ

Перевод *Э. Е. Александровой*, составление *Ю. М. Кондратьева*

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ

Письма (1810—1822 гг.)	5
История шестинедельной поездки по некоторым областям Франции, Швейцарии, Германии и Голландии	291
Женевский дневник	326

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

Предложение поставить реформу на всенародное голосование	331
Обращение к народу по случаю смерти принцессы Шарлотты	336
О жизни	344
О любви	348

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФРАГМЕНТЫ, ПРЕДИСЛОВИЯ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Ассасины	350
Колизей	362
Предисловие к поэме «Восстание Ислама»	368
Предисловие к поэме «Освобожденный Прометей»	375
Предисловие к драме «Ченчи»	378
Предисловие к поэме «Эллада»	382
О «Мандевиле» Годвина	385
О романе «Франкенштейн»	388
О возрождении литературы	390
Заметки о скульптуре Рима и Флоренции	392
О Дьяволе и дьяволах	398
Защита Поэзии	411

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>А. А. Елистратова</i> . Проза Шелли	437
Примечания (Составил <i>Ю. М. Кондратьев</i>)	452
Основные даты жизни и творчества Шелли (Составил <i>Ю. М. Кондратьев</i>)	519
Указатель имен и названий	521
Список иллюстраций	533

ШЕЛЛИ
ПИСЬМА. СТАТЬИ. ФРАГМЕНТЫ.

Утверждено к печати
Редколлекцией серии „Литературные памятники“

Редактор издательства *О. К. Логинова*
Художник *С. А. Данилов*
Художественный редактор *Н. Н. Власик*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*

Сдано в набор 24/IX 1971 г.
Подписано к печати 26/I 1972 г.
Формат 70×90¹/₁₆. Бумага № 2.
Усл. печ. л. 39,93. Уч.-изд. л. 37.
Тираж 25 000 экз.
Тип. зак. 561.
Цена 2 р. 57 к.

Издательство „Наука“
Москва, К-62, Подсоосенский пер., д. 21
1-я типография издательства „Наука“
Ленинград, В-34, 9-я линия, д. 12

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
26	12 сн.	Поэтому	Поэму
28	16 св.	дивной	дневной
104	10 »	непростительным и	непростительными
243	13 сн.	Класса	Къеза
334	10—11 св.	достойный	достойных
474	5 сн.	вместе	вместо
495	2 св.	Лохкарт	Локхарт

Переводы стихов на стр. 57—59 и 94 принадлежат Б. Н. Лейтину
Шелли. Письма. Дневники



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»